





Utro
УТРО.

ЛИТТЕРАТУРНЫЙ СБОРНИКЪ.

Утро вечера мудренѣе.

МОСКВА.

1859.

PG 3226
2183
1859

ПЕЧАТАТЬ ДОЗВОЛЯЕТСЯ

съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ Ценсурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва, декабря 15-го дня 1858 года.

Ценсоръ Н. Фонъ-Крузе..

СОДЕРЖАНІЕ.

	Стр.
МОСКВА. Въмѣсто предисловія.	9
ЛИПЫ. Повѣсть въ стихахъ. Н. М. Языкова.	19
ВЗГЛЯДЪ НА РУССКУЮ ЛИТТЕРАТУРУ ВЪ 1858 ГОДУ. Б. А.	31
ДВА ПЕРВЫЯ ДѢЙСТВІЯ ТРАГЕДІИ: ПЕТРЪ ПЕР- ВЫЙ. М. П. Погодина.	81
О ПОЭЗІИ ПУШКИНА. Б. Н. Алмазова.	139
ШЕСТЬ РУССКИХЪ ПЪ- СЕНЪ. Изъ собранія П. И. Якушкина.	193
ИЗЪ ПУТЕВЫХЪ ЗАМѢ- ТОКЪ. Письмо къ С. А. Хрулеву. В. А. Кокорева.	197
ИНГКАПСКІЙ РИФЪ. Изъ Саути. Стихотвореніе . . . О. Б. Миллера.	211
КОНЬ. Басня.	213
СВѢТСКІЯ ЯЗВЫ. Повѣсть. С. П. Колошина.	215
ЦЕЗАРЬ. Стихотвореніе . . . Б. Н. Алмазова.	344
Н. ЩЕДРИНЪ И НОВѢЙ- ШАЯ САТИРИЧЕСКАЯ ЛИТТЕРАТУРА. Е. П. Эдельсона.	351
БЛАГОЧЕСТИВОМУ МЕ- ЦЕНАТУ. Стихотвореніе. А. С. Хомякова.	367

КЪ ПОРТРЕТУ MISS

J... L... Стихотвореніе. . . С. П. Колошина.	368
ДВѢ ЗАПИСКИ ТАТИЩЕ-	
ВА, ОТНОСЯЩІЯСЯ КЪ	
ЦАРСТВОВАНІЮ ИМ-	
ПЕРАТРИЦЫ АННЫ.	369
ОРЛЕАНСКАЯ ДѢВА. По-	
дражаніе Шиллеру. Сти-	
хотвореніе. Б. Н. Алмазова.	389
ГРОЗА. Стихотвореніе. . . Его же.	391
ИЗЪ ШИЛЛЕРА. Стихотво-	
реніе. А. П.	394
ПОЕДИНЩИКИ. Разсказъ. І. Желѣзнова.	395
ПО ПОВОДУ АМЕРИКАН-	
СКОЙ ЖЕНЩИНЫ. . . С. П. К—на.	405

УТР0.

МОСКВА.

Вмѣсто предисловія.

Москва издавна и всѣми называется сердцемъ Россіи. Но большинствомъ опредѣленіе повторяется какъ бы попугаемъ, машинально, съ голоса, который въ первый разъ произнесъ его. Для иныхъ оно утратило свой первобытный смыслъ, подобно многимъ выраженіямъ, истершимся отъ злоупотребленія. Такъ съ монеты, черезъ-чуръ долго ходившей по рукамъ и очутившейся въ заключеніе на шеѣ Цыганки или Мордовки, время, наконецъ, стираетъ пробу, и она оттого теряетъ цѣнность въ обращеніи. Однакожь, знатокъ и безъ клейма различаетъ качество металла.

Для насъ, пристальныхъ читателей отечественной лѣтописи, предопредѣленныхъ и страстныхъ наблюдателей народной жизни, — для насъ, имѣющихъ удѣломъ дышать убѣжденіями,

органически въ насъ вырастающими, Москва дѣйствительно есть и всегда будетъ сердцемъ Россіи. Уподобляйте другіе важные пункты государства какимъ вамъ угодно членамъ организма,—Москва остается сердцемъ. Мы стыдимся тревожить священные тѣни прошлаго: однимъ появленіемъ своимъ напомнили бы онѣ невѣрующему и невѣдающему въ какой мѣрѣ первопрестольная столица всегда отправляла миссіи сердца въ общественномъ тѣлѣ отчизны. Но пусть только современникъ внимательно взглянется въ настоящую фizioномію города, въ тѣ его физическія и нравственныя черты, которыя составляютъ его особенность отъ другихъ городовъ русскихъ,—всякій долженъ будетъ убѣдиться, что въ Москвѣ, какъ въ сердцѣ, сосредоточиваются всѣ существенныя біенія національной жизни, всѣ самыя горячія примѣты народнаго характера, самыя рѣзкіе признаки русскаго типа. Не выведетъ отсюда ничего тотъ развѣ, кто смотритъ на различныя мѣстности нашей планеты какъ на загоны, куда бы случайно забѣжалъ тотъ или другой косякъ; еще, пожалуй, разрѣшится скептической улыбкой иной добродушный фанатикъ паровой выводки народностей, который, напримѣръ, въ состояніи вѣрить возможности несокрушимаго преуспѣянія(?) не нормальныхъ явленій, подобныхъ нѣкоторымъ штатамъ Америки... По-нашему же, можно выстроить на акціяхъ факторію, какъ вывести насильственно—не то что цвѣтокъ—цыпленка, но искусственно создать городъ, который былъ бы городъ, а не рядъ лавокъ и складочныхъ мѣстъ, племя или народъ, которые были бы племя и народъ, а не ватага искателей приключеній,—невозможно. Оттого-то такъ важны для насъ, сколько и дороги, тѣ опредѣленные очертанія, тѣ яркія особенности, въ которыхъ выразилась и выражается Москва предпочтительно передъ всѣми остальными мѣстностями и точками нашего отечества.

Да, еще разъ, она есть сердце Россіи.

Но чѣмъ возвышеннѣе всегда была миссія Москвы, чѣмъ по-

четнѣе ея ступень, — тѣмъ, естественно, должны быть важнѣе и священнѣе ея обязанности въ кругу отправленій народнаго организма. *Noblesse oblige*. Пусть Петербургъ и Астрахань, Бердянскъ и Семипалатинскъ, Архангельскъ и Одесса, Ливава и Кяхта растагиваются на служеніи чисто-утилитарнымъ стремленіямъ времени, пусть Оренбургъ, Тифлисъ и т. д. стоятъ себѣ сторожевыми вышками, — дѣло Москвы, воспріавъ съ признательностію плоды дѣятельности окончностей русскаго тѣла, разливать отъ себя единственно здравыя, чистыя, существенно-полезныя начала народной жизни, стало-быть и противодѣйствовать злоупотребленію тѣхъ направленій, которыя вполнѣ оцѣнить — вовсе не призваны тѣ члены русскаго тѣла, коихъ назначенія второстепенныя, частныя.

Польза и утилитаризмъ — великія слова нашего времени, послѣднія выраженія новѣйшей цивилизаціи, модные лозунги всемірнаго движенія. Прекрсно. Кто не знаетъ, что манна давно съ небесъ не падаетъ, что молочныя рѣки съ кисельными берегами случаются только въ сказкахъ? — Изошреніе средствъ пріобрѣтенія, усовершенствованіе разнородныхъ орудій труда, примѣненіе многоразличныхъ силъ и способностей человѣка къ достиженію возможнаго удобства жизни и удовлетворенію потребностей, порождаемыхъ положеніемъ общества — вотъ тѣ задачи, рѣшенію коихъ всегда были преданы лучшіе умы каждой эпохи новой исторіи. Такъ это и теперь. Но горе тому обществу, которое, углубившись въ позитивизмъ, вздумало бы изгнать изъ своей среды всѣ интересы, не подлежащіе рыночной оцѣнкѣ, точно такъ же, какъ весьма жалокъ человѣкъ, которому снятся однѣ цифры, который въ сердцѣ своемъ способенъ воздвигнуть алтарь лишь золотому тельцу! Стройте желѣзныя дороги, поднимайте нови, составляйте компаніи, — но не забывайте, что если чрезъ массу заботъ вашихъ не будутъ проноситься живительныя струи иныхъ стремленій, болѣе возвышенныхъ и не имѣющихъ цѣны на биржѣ, не далеко уйдти вамъ.

Не смотрите на Америку, или лучше смотрите, да смотрите трезво, — и содрагайтесь передъ поучительнымъ образцомъ!

Наше общество молодо въ смыслъ современнаго усовершенствованія. Тѣмъ легче увлечься ему, — тѣмъ горячѣе рвется оно по пути, который для него имѣетъ еще прелесть новинки. Всѣ эти промышленныя предпріятія на европейскую ногу начались, вѣдь, только что не вчера. Повсемѣстная дискразія утилитаризма, поэтому, легко оправдываетъ и извиняетъ себя: кому не заманчива прибыль? кому не лестно окружить себя всѣми условіями комфорта? Но, идя по дорогѣ, пробитой новымъ временемъ, оглядывайтесь назадъ, допрашивайте почаще вашу божественную природу, и съ осторожностію слушайте философовъ—реалистовъ, первосвященниковъ биржевой игры, новѣйшихъ диктаторовъ доходнаго парадокса.

Москва, какъ сердце Россіи, по нашему мнѣнію обязана прежде всего служить отечеству оплотомъ противъ чрезмѣрныхъ завоеваній реализма и уравнивать его вліяніе — началами человѣчными, гуманными. Эти требованія отъ нея мы основываемъ опять—таки на ея исторіи и на ея настоящей фizioноміи. Ультра—утилитаріямъ, монтаньярамъ реализма, этимъ онаграмъ, постоянноимѣющимъ притязаніе сдѣлаться львами своего времени, никогда не нравилось географическое положеніе Москвы. Но ему—то именно и одолжена она тѣми силами, которыхъ не даетъ ненормальный ростъ, и которыя, твердо укоренившись въ ней, надѣмся, помогутъ ей, не глядя ни на какія измѣненія, ни на какое искусственное сближеніе, выдержать борьбу противъ заразительнаго принципа утилитарнаго повѣтрія. Укажемъ, на выдержку, на одинъ фактъ, поясняющій нашъ взглядъ на Москву. Давно ли стали у насъ плодиться журналы, а въ Петербургѣ (по вычисленію, за которое мы обязаны «Современнику») въ 1858 году уже выходило двадцать девять уличныхъ листовъ, которыхъ единственнымъ побужденіемъ была торговая спекуляція не выше и не ниже открытія харчевни близъ мѣста, гдѣ

бы вдругъ должна была сойтись толпа рабочаго народа. Въ Москвѣ до сегодня нѣтъ, кажется, ни одного подобнаго предпріятія, и мы увѣрены, что не будетъ. Какъ ни незначителенъ фактъ съ виду, — для насъ онъ имѣетъ глубокое значеніе, — и мы останавливаемся на немъ съ любовію.

Не безъ грусти, зато, должны мы замѣтить другой, несомнѣнный же, характеристическій признакъ мѣстной жизни: апатію и равнодушіе. Въ самомъ дѣлѣ, Москва проявляетъ свои силы наиболѣе пассивно, отрицательно, — и въ особенности нѣкоторые кружки. Этому быть не слѣдуетъ. Организмъ, въ которомъ сердце задремлетъ, склоняется къ нравственной спячкѣ, а моральная атонія способствуетъ только развитію клѣтчатки.

Какъ, скажите, не печалиться отголосками мнѣній нѣкоторыхъ индивидуумовъ, бездѣятельностью другихъ, отъявленнымъ обскурантизмомъ третьихъ. Сколько маленькихъ Репетилowychъ развелъ, напримѣръ, великій, міровой вопросъ объ улучшеніи быта крестьянъ! И вдругъ вы слышите жалобы, что дѣятели русской мысли и русскаго слова осмѣливаются высказывать свои взгляды на вопросъ освобожденія, предлагать, по мѣрѣ своихъ понятій, тѣ или другія средства къ его рѣшенію. Это, изволите видѣть, покушенія непризванныхъ, посягательства теоріи противъ практики. Правда, теорія иногда жестоко обмолвливается. Случается, она слѣпитъ вамъ такую общину, какой бы не построилъ въ припадкѣ лирическаго экстаза и отчаяннѣйшій изъ мечтателей, — или вдругъ паладинъ иныхъ убѣжденій, платя безсознательную дань вѣрованіямъ, казалось бы вымершимъ, и крови, имѣвшей тысячу разъ досугъ переработаться со временъ Геродота, создаетъ усовершенствованное пенальное уложеніе со включеніемъ традиціональной лозы — въ микроскопическихъ приемахъ. Но кто же виноватъ въ подобныхъ явленіяхъ, до сихъ поръ самихъ по себѣ только комическихъ, — кто, кромѣ общества, чѣмъ, кромѣ апатіи тѣхъ его членовъ, которые считаютъ себя, иногда быть-можетъ и не безъ осно-

ванія, болѣе опытными въ извѣстномъ вопросѣ? Когда же перестанутъ они поспѣвать только къ развѣзду, опять—таки по образу Репетилова, — или молчать? Но намъ отвѣчаютъ, и не разъ отвѣчали уже, что это молчаніе — есть выжиданіе, кунктаторство. А мы возражаемъ, и не разъ возражали уже, что въ дѣлѣ, о которомъ мы ведемъ рѣчь, кунктаторствовать теперь не время. Достаточно насидѣлись мы сиднемъ, какъ на сѣдкѣ... Самъ Фабій Максимъ, этотъ геній выдержки, пересталъ бы нынче выдерживать, живи онъ посреди насъ.

Присмотритесь же еще къ тому, что значитъ апатія общества.

Теорія, подъ названіемъ общины, создала какую-то идиллическую игрушку, за которой, пожалуй, мы оставимъ достоинство отвлеченной замысловатости, но на которую, разумѣется, практическій смыслъ не можетъ взирать безъ смѣха. Съ другой стороны поднимается опять теорія, облачается въ мантию и парикъ, и съ высоты своей кафедрѣ доказываетъ, что..... въ карточномъ домикѣ жить почти невозможно, развѣ мухамъ. Въ другомъ уголкѣ появился наивный законодатель съ однимъ изъ лекторскихъ инсигній. Опять смѣхъ со стороны человѣка съ опытнымъ, эмпирическимъ взглядомъ. Что же дѣлаетъ теорія? Она, по выраженію, нами подслушанному, «вѣнчаетъ себя розгами» новѣйшаго Ликурга и надѣваетъ глубочайшій трауръ по современномъ писателѣ, рѣшившемся такъ неосторожно обмолвиться противъ философскихъ (!) принциповъ. Не смѣшно ли, въ самомъ дѣлѣ? Кто же мѣшалъ обществу выразить громко впечатлѣніе, производимое вышеупомянутыми событіями, впечатлѣніе единственно—законное? Отъ общества зависитъ, чтобы не разыгрывалось вѣчное «Много шуму изъ ничего». А мы только пожимаемъ плечами, да шепчемъ за печкой... Гдѣ же право сѣтовать, если намъ будутъ писать законы люди, по цѣлымъ годамъ не выдающіе иной компаніи, кромѣ бюстовъ, пусть то будутъ Платоны, Гегели и Плутархи, — когда мы

сами не хотимъ выходить на форумъ? Дозволено повѣрять каждадневно свою кухарку, горячиться за ералашемъ, развозить изъ дома въ домъ комеражи; но хоть крохи досуга необходимо удѣлять общественному дѣлу, которое для каждаго должно быть своимъ, кровнымъ.

Итакъ, общество не только не имѣетъ основанія протестовать противъ вмѣшательства теоріи въ современные вопросы, и особенно въ крестьянскій, но и должно во-первыхъ быть признательно ей, а во-вторыхъ протянуть ей дружескую руку, дабы вмѣстѣ, поддерживая другъ друга, успѣшнѣе слѣдовать по пути совершенствованія.

Есть у насъ поклонники мрака, конечно; вывелись далеко не всѣ обскуранты, налитанные выдолбленными понятіями и видящіе въ жизни одну послѣдовательность обрядныхъ исполненій; но проявляетъ наше общество—мы все-таки говоримъ о Москвѣ — и замѣтные, хотя опять-таки Богъ вѣсть еще положительные ли, однакожъ отрадные, признаки самосознанія. Вспомнимъ, напримѣръ, недавнее пребываніе въ Москвѣ г. Дюма. Далеко ли то время, когда у насъ носили на рукахъ сына кронштадтскаго трактирщика, выдававшего себя за англійскаго лорда? А французскій закупщикъ пшеницы, которому всѣ въ глазъ смотрѣли потому, что онъ напечаталъ на своей визитной карточкѣ «*Bâle de Montpellier*», — покуда какой-то студентъ не объяснилъ, что это «*de Montpellier*» значитъ просто «изъ Монпельльэ»? — Автору «Сорока лѣтъ спустя» и не всѣхъ своихъ сочиненій, знаменитому литтературному метръ-д'отелю, посчастливилось не такъ-то. И превосходно. Можетъ-быть, когда соберемся прочесть впечатлѣнія, вынесенныя имъ изъ Россіи, мы и найдемъ нѣсколько стрѣлъ, пущенныхъ въ Москву за ея равнодушіе, за непомѣщеніе о немъ ни слова хоть бы въ какомънибудь фельетонѣ; но эти стрѣлы будутъ нашими трофеями. Пусть въ одномъ московскомъ журналѣ и была выставлена дикость какого-то господина, рѣшившагося представлять г. Дюма

жену и дочерей; — все-таки въ массѣ Французъ-путешественникъ не произвелъ и тѣни того оскорбительнаго для народнаго самолюбія впечатлѣнія, которое бы вызвалъ, быть-можетъ, пятнадцать лѣтъ тому назадъ.

Стало-быть, вотъ вамъ и успѣхъ, вотъ вамъ и примѣты развивающагося самосознанія. Желательно, необходимо, чтобы Москва смѣлѣе шла по этому направленію, дѣйствуя положительно, опираясь на разумныя преданія, исторически сплоченныя съ народнымъ произрастѣніемъ, и отвергая тѣ, которыя извнѣ налили на обществѣ.

И между прочимъ мы убѣждены, что обязанность литературы въ области своего призванія и предѣлахъ своего права возбуждать общество къ дѣятельности самосовершенствованія не только разсужденіями объ отвлеченныхъ вопросахъ и изящными перифразами того или другаго гражданскаго злоупотребленія, но и прямыми указаніями на ежедневныя уклоненія общественной жизни, современнаго движенія, отъ пути къ тѣмъ идеаламъ, которыхъ возможное осуществленіе должно быть цѣлью каждаго свободно-мыслящаго человѣка. Мы не смѣемъ и предполагать, чтобы московская публицистика, столь блистательно заявившая въ самое короткое время серьезность и благородство своего взгляда на свое назначеніе, затѣвала потворствовать обществу, въ частности движимому и неразумными, недолжными стремленіями, но почитаемъ ее не совсѣмъ безвинною, что пренебрегаетъ она до сей поры тѣмъ средствомъ воздѣйствія на общество и въ его пользу, которое выше упомянуто нами. Мы съ своей стороны не признаемъ себя въ правѣ оставлять безъ вниманія то, въ чемъ видимъ одну изъ существенныхъ обязанностей современныхъ служителей слова. Полу-слова, позолоченныя пилюли, апологи, дипломатизированіе — не въ духѣ времени, которое всѣми воздыханіями жаждетъ моральнаго обновленія, а сіе послѣднее возможно единственно чрезъ посредство безпристрастнаго взаимнообличенія — гласнаго об-

щественнаго покаянія... Братья—писатели, дадимъ другъ другу торжественное обѣщаніе отречься навсегда отъ всѣхъ литературныхъ суевѣрій. Не на то ли мы, Русскіе, молоды и богаты нравственною непечатостію, чтобы не гнущься подъ пошлыя соціальныя консидераціи, которыя сгноили не одно европейское общество. Насъ ждетъ тотъ же судъ, который изрекаемъ мы теперь нашимъ предшественникамъ, но только судъ надъ нами будетъ строже, потому что намъ было дано больше, нежели имъ...

Въ заключеніе просимъ читателей не отказать въ нѣкоторомъ снисхожденіи нашему изданію. Каждое благонамѣренное указаніе ихъ на недостатки, безъ которыхъ, конечно, не обойдется оно, будетъ принято нами съ особенною признательностію. Что касается до присяжныхъ журнальных цѣнителей, не вездѣ еще отставленныхъ за штатомъ, мы напередъ радуемся удовольствію, которое доставимъ имъ нашими погрѣшностями противъ стереотипныхъ схемъ, съ вѣрою въ кои имъ суждено сойти въ могилу. Иные изъ этихъ господъ, мы увѣрены, не задумаются даже, пользуясь выраженіемъ англійскаго писателя, назвать выпрыгиваніемъ за окошко нашу смѣлость не пристроиться тотчасъ къ какой—либо торгово—литтературной фирмѣ. Исполать имъ!

Лишь бы ты, читатель свободно—мыслящій, прочитавъ книжку «Утро», пожелалъ появленія другой — подобной, и напутствовалъ нашъ трудъ добрымъ словомъ: *transeat benefaciendo!*

Л П П Ы.

повѣсть

Н. М. ЯЗЫКОВА.

И вымыслы правятся, но для полного
удовольствія должно обманывать себя
и думать, что они истина.

Карамзинъ.

I.

На пурпурѣ лѣнивки драгоцѣнной
Краснорѣчиво, пышно развалиясь,
Князь Петръ Ильичъ Хрулевъ уединенно
Курилъ гаванскую сигару. Князь
Глядѣлъ сурово, думалъ безпокойно:
Табачный дымъ небрежно и нестройно
Изъ-подъ усовъ на воздухъ онъ бросалъ;
Обыкновенно жь онъ его пускалъ
Отчетисто, красивыми кружками.
Что жь занимало голову его?
На поприщѣ служенья своего

Блится онъ чинами и звѣздами,
Онъ и богатъ, и знатенъ, и силенъ,
Чего жь ему, о чемъ же думалъ онъ?

Быть-можетъ, онъ воспоминалъ тоскливо
Прекрасные, бывые дни свои,
И молодость, когда онъ цвѣлъ счастливо
Избыткомъ силъ, для жизни и любви;
Когда онъ бойко, славно рисовался
Передъ полкомъ, иль нѣгой упивался,
Въ шуму высокихъ, царственныхъ потѣхъ,
Гдѣ онъ имѣлъ рѣшительный успѣхъ
У первыхъ лицъ, — гдѣ былъ онъ несравненно
Уменъ, и милъ, и ловокъ, и остеръ,
И привлекалъ къ себѣ огнистый взоръ
И сладку рѣчь красавицы надменной.
Быть-можетъ, онъ воспоминалъ тѣ дни,
И думалъ: «ахъ, зачѣмъ прошли они!»

Они прошли, какъ сонъ пустой; а нынѣ,
Куда судьба его перенесла!
Онъ здѣсь одинъ, и словно какъ въ пустынѣ,
И кучами кругомъ его дѣла
Прескучныя; онъ толку въ нихъ не видитъ,
И знаетъ, что добра изъ нихъ не выдетъ;
Тоска ему, невыносимо дикъ
Его большой Бузанскій пашалыкъ:
Сама его столица какъ могила.
Здѣсь онъ завялъ и сердцемъ и умомъ
Въ глуши. Да нѣтъ, онъ думалъ не о томъ.
Забота въ немъ кипѣла и бродила
Важнѣйшая: онъ преисполненъ былъ
Думъ глубочайшихъ. Вотъ онъ позвонилъ.

И передъ нимъ, нагнувшись и блистая,
Лакей какъ тутъ. — «Крумахера ко мнѣ.»
Лакей ушелъ. Забота вотъ какая
Смушала князя: въ этомъ Бузанѣ,
Гдѣ все еще и пошло и уныло,

Полезно бы, прекрасно бѣ даже было,
 Притомъ же и не слишкомъ мудрено,
 Бульваръ устроить! такъ и рѣшено.
 Покончена работа черновая,
 Лишь осенью деревья насадить;
 Но вдругъ приказъ: бульваромъ поспѣшить!
 И чтобы онъ къ шестнадцатому мая,
 И непременно весь отдѣланъ былъ.
 Объ этомъ князь бумагу получилъ
 За чаемъ: онъ задумался надъ нею,
 «Срокъ очень малъ! всего-то восемь дней!
 Такъ, какъ мнѣ быть, когда же я успѣю?
 Гдѣ я возьму такую тѣму людей?
 Бульваръ великъ; нѣтъ, это слишкомъ скоро!
 Стоять жары, теперь садить не споро,
 Деревья будетъ нужно поливать
 Весь день, — да гдѣ ихъ столько и набрать?
 Лѣсъ за семь верстъ! и лѣсъ какой же? хвойной!
 А липы рѣдки въ этой сторонѣ,
 А нужны липы; чтó же дѣлать мнѣ?
 Ну какъ тутъ быть?» князь думалъ безпокойно,
 И мысли въ немъ, одна другой чертѣй,
 Какъ волны водъ, когда реветъ борей.

Вошелъ Крумахеръ. Чинно поклонился.
 Князь объяснилъ ему, и прочиталъ
 Бумагу. Тотъ ничуть не удивился
 Разумному приказу, и сказалъ:
 «Такъ надобно, не мѣшкая, за дѣло, —
 И чтобы оно безъ устали кипѣло:
 Прикажете, я завтра же начну
 Распоряжаться, мигомъ поверну
 Работу къ спѣху: множество народу
 Собьемъ изъ подгородныхъ деревень,
 Велимъ ему работать цѣлый день
 Вплоть до ночи, возить къ деревьямъ воду,
 И для поливки буду высылать
 Моихъ пожарныхъ.» — «Трудно липъ достать,
 Ихъ сотни съ двѣ потребно для бульвара»,
 Замѣтилъ князь. — «И это ничего:

Насъ липы не задержатъ; садъ у Кнара
 Весь липовый; достанемъ у него.
 И липы все, какъ на подборъ, прямыя
 И чистыя: ну именно какія
 Намъ надобно. Я самъ къ нему зайду,
 И завтра же: есть липы и въ саду
 Жернова, ихъ мы тоже пересадимъ
 На нашъ бульваръ, и будетъ онъ какъ-разъ
 У насъ готовъ; — могу увѣрить васъ,
 Не безпокойтесь: славно дѣло сладимъ!»
 И князь сказалъ: «поди же торопись,
 Любезнѣйшій, и всѣмъ распорядись.»

Ушелъ Крумахеръ. Князь легко и плотно
 Поужиналъ, потомъ на ложе сна
 Легъ, и заснулъ, какъ отрокъ беззаботный.

Какая ночь: осенняя луна,
 То ясная и яркая, сіяетъ
 Въ лазурномъ небѣ; то она мелькаетъ
 Въ летучихъ и струистыхъ облакахъ,
 Какъ бѣлый лебедь, спящій на волнахъ.
 Какая ночь! Рѣка то вдругъ заблещетъ,
 И лунный свѣтъ, въ стеклѣ ея живомъ,
 Разсыплется огнемъ и серебромъ;
 То вдругъ она померкнетъ и трепещетъ,
 Задержана налетнымъ облачкомъ.
 Земля уснула, — будто райскимъ сномъ.

Вотъ лунный свѣтъ прекрасной вешней ночи
 И въ спальнѣ князя весело блеститъ,
 Его цѣлуетъ и въ уста и въ очи.
 Сонъ видитъ князь: съ министромъ онъ сидитъ,
 И объясняетъ складно и подробно,
 Какъ было трудно, вовсе неудобно,
 Въ такую пору, только въ восемь дней,
 Бульваръ устроить: и согнать людей
 И липъ найти, и подвозить къ нимъ воду,
 Песокъ возить, укатывать каткомъ;
 Но онъ-таки поставилъ на своемъ,
 И, такъ-сказать, преодолѣлъ природу.

Бульваръ готовъ, а прежде тутъ была
Пустая площадь, и трава росла!

И видитъ князь, какъ онъ министра водить
По дивному созданью своему:
Министръ доволенъ, весело онъ ходитъ,
Все хорошо, все нравится ему,
Все сдѣлано отлично, превосходно,
Какъ надобно, и князя всенародно
Онъ тутъ же, и не разъ, благодарить,
И князь въ восторгъ. Онъ едва стоитъ;
Онъ очарованъ ласковымъ возрѣньемъ
Вельможныхъ глазъ на слабый, малый плодъ
Его трудовъ, усилій и хлопотъ:
Онъ пораженъ приливомъ и волненъемъ
Сладчайшихъ чувствъ; онъ ими поглощенъ —
И три раза онъ видитъ тотъ же сонъ.

II.

Аптекарь Кнаръ, съ своей женой Алиной
И кучею дѣтей, спокойно жилъ.
Его семьи счастливою картиной
Всѣ любовались; онъ жену любилъ
Сердечно, и такую жь отвѣчала
Она ему любовью: управляла
Хозяйствомъ восхитительно, была
Добра, умна, чувствительна, мила.
Его жена любила также нѣжно
И постоянно липовый свой садъ,
Пріютъ своихъ семейственныхъ отрадъ.
Она объ немъ заботилась прилежно:
И процвѣталъ Алининъ садъ, предметъ
Ея живой заботы многихъ лѣтъ.

Она его въ наслѣдство получила
Отъ матери покойной, и сама,

Еще при ней, деревья въ немъ садила —
 Не просто; нѣтъ, она была весьма
 Замысловата. При сажаньи сада
 Не только что прогулка, иль прохлада
 Пріятная была у ней въ виду:
 Нѣтъ ей хотѣлось, чтобъ въ ея саду
 Произрасталъ, красиво зеленѣя,
 Альбомъ родныхъ и милыхъ ей людей,
 Чтобъ легкій шумъ густыхъ его вѣтвей,
 При мѣсячномъ сіяньи тихо вѣя,
 Напоминалъ ей сладко, вновь и вновь,
 Ея семью и дружбу и любовь.

И эту мысль она осуществила
 Прекрасно. Вотъ Адамъ Адамычъ Бокъ,
 Бандажный мастеръ; вотъ его Камила
 Эрнестовна; вотъ Францъ Иванычъ Брокъ,
 Сапожникъ, и жена его Бригита
 Богдановна, и дочь ихъ Маргарита,
 И мужъ ея Петръ Ѳеодорычъ Годейнъ,
 Штабъ-лекаръ; вотъ Иванъ Андреичъ Штейнъ,
 Кондитеръ и обойщикъ; вотъ почтмейстеръ
 И кавалеръ Крестьянъ Егорычъ Шпукъ;
 Вотъ Фабіанъ Мартыновичъ фонъ-Фукъ
 И Александръ Вильгельмовичъ фонъ-Клейстеръ;
 Два генерала; вотъ и двѣ жены
 Двухъ генераловъ, бывшія княжны
 Мстиславскія: Елена и Полина, —
 Красавицы! а вотъ семейный міръ
 Хозяйки: вотъ ея мама Кристина
 Егоровна; папа, аптекаръ Шмиръ
 Иванъ Иванычъ; дядя Карлъ Иванычъ;
 Вотъ мужъ аптекаръ Николай Богданычъ
 Кнаръ; дѣти: Лиза, Лена, Максъ, Андрей,
 И прочія... Въ дни юности своей
 Она сама здѣсь нѣкогда гуляла,
 Влюбленная, и томною мечтой
 Питалася, бесѣдуя съ луной
 Задумчиво, и «Вертера» читала.
 Здѣсь вмѣстѣ съ ней женихъ ея гулялъ,
 И въ первый разъ ее поцѣловалъ.

И съ той поры, въ тотъ часъ, когда смѣняетъ
 Шумливый день ночная тишина,
 И небосклонъ румяный потухаетъ
 За дальними горами, и луна
 Слегка освѣтитъ дремлющія сѣни
 Завѣтныхъ липъ, и сѣтчатыя тѣни
 Падутъ на лугъ, — Алина здѣсь блуждать
 Любила, и душой перелетать
 Въ минувшее, и чувствовать уныло,
 Что сердцу милыхъ многихъ, многихъ нѣтъ,
 Что эта жизнь полна пустыхъ суетъ,
 И вѣровать, что будетъ за могилой
 Иная жизнь и лучшая, иной
 И вѣчный свѣтъ, небесный, неземной!

Такъ этотъ садъ хозяйкѣ драгоцѣненъ.
 Прекрасный садъ! Онъ застѣненъ горой
 Отъ сѣвернаго вѣтра, многотѣненъ,
 И далеко отъ пыли городской.
 Какъ живо улыбается Алина,
 Когда ея семейная картина
 И двое-трое милыхъ ей гостей
 Въ ея саду, въ тѣни его вѣтвей,
 Сидятъ, пьютъ кофей, мужъ спокойно куритъ
 Табакъ; съ нимъ тихо говоритъ Конрадъ
 Блехшмидтъ, портной, его табачный братъ;
 Съ мамзелями невинно балагуритъ
 Танцмейстеръ Кацъ; а съ Миною фонъ-Флитъ
 Онъ вѣчно шутитъ: какъ онъ ихъ смѣшитъ!

Былъ вечеръ. Кнаръ, съ своей женой Алиной,
 Сидѣлъ у раствореннаго окна.
 Онъ занимался важно медициной,
 И рылся въ толстой книгѣ, а жена
 Чулокъ вязала, между тѣмъ глядѣла
 На улицѣ, которая кипѣла
 Народомъ и телѣгами, и самъ
 Крумахеръ горделиво по толпамъ
 Расхаживалъ; полиція кричала

И гнѣвалась жестоко на народъ.
 «Ахъ Боже мой! Крумахеръ къ намъ идетъ!
 Что это значить?» жалобно сказала
 Алина, и хотѣла выйти вонъ;
 Но въ дверь стучать. Такъ точно, это онъ.

И мужъ ея немедленно смутился,
 Насутился и книгу отложилъ.
 Крумахеръ величаво поклонился,
 И сѣлъ. Сначала онъ заговорилъ,
 О томъ, что хороша теперь погода.
 Обыкновенно въ это время года
 Бываетъ грязь и дождикъ ливня-льеть;
 Что въ городѣ сгорѣлъ свѣчной заводъ,
 И сильный вѣтеръ пособлялъ пожару,
 А затушить не можно было: тутъ
 И заливыя трубы не берутъ;
 Потомъ онъ ловко перевелъ къ бульвару
 Свои слова, и наконецъ довелъ
 Ихъ и до липъ, а тутъ онъ перешелъ
 И къ липамъ Кнара. Нужно непременно
 Ихъ на бульваръ, и скоро перевести,
 Чтобъ къ сроку былъ готовъ онъ совершенно.
 Князь приказать изволилъ. — Эта вѣсть
 Хозяину пришлось не по нраву:
 Насиліе, неуваженіе къ праву
 Онъ видѣлъ въ ней; Алина же чуть-чуть
 Не обмерла, не смѣла идохнуть;
 Но Николай Богданычъ прибодрился,
 Вскочилъ со стула, выступилъ впередъ,
 И объявилъ, что липъ онъ не даетъ,
 Во что бъ ни стало. Онъ разгорячился,
 И ну твердить: «гдѣ жъ правда, гдѣ законъ?»
 Такимъ отвѣтомъ крайне удивленъ,
 Крумахеръ скоро вышелъ. Очевидно
 Мирволилъ онъ аптекарю, щадилъ
 Его: онъ съ нимъ ни мало не обидно,
 Спокойно, даже мягко говорилъ.
 И то сказать — Кнаръ человѣкъ извѣстный,

Почтенный Нѣмецъ, говорятъ, и честный,
 И многими уваженъ и любимъ:
 Зачѣмъ его дразнить, или надъ нимъ
 Ругаться! Пусть живетъ благополучно.
 Но вообще Крумахеръ былъ не такъ
 Учтивъ, былъ грубъ и рѣзокъ на кулакъ,
 И рѣчь его бѣжала громозвучно,
 Какъ быстротокъ весеннихъ, буйныхъ водъ,
 Сердитый, пѣнный, полный нечистотъ.

А между тѣмъ аптекаръ расходился.
 Въдъ садъ — его, принадлежитъ ему,
 Принадлежитъ по праву. Онъ рѣшился
 Липъ не давать никакъ и никому.
 Князь приказалъ! — Князь человекъ военный,
 Однакоже, какъ слышно, просвѣщенный.
 Онъ этого не сдѣлаетъ. О, нѣтъ,
 Ты лжешь, Крумахеръ! Завтра же чѣмъ-свѣтъ
 Иду самъ къ князю, смѣло, откровенно
 Съ нимъ объяснюсь, и липы отстою:
 Я защищаю собственность мою!
 Я правъ и въ томъ увѣренъ несомнѣнно. —
 И съ этой мыслью Кнаръ пошелъ ко сну,
 Поцѣловавъ чувствительно жену.

III.

Бузанскій полицмейстеръ собирался
 Въ объятія Морфея: онъ курилъ
 Гаванскую сигару, раздѣвался
 Прохладно, и квартальнымъ говорилъ:
 Калинкину (Калинкинъ былъ вѣрнѣйшій
 Его подручникъ, ревностный, грубѣйшій;
 Онъ могъ назваться правою рукой
 Крумахера): «Послушай ты, косою:
 Похлопочи, чтобъ дѣло сдѣлать толкомъ.
 Ты долженъ непремѣнно до зари

Управиться; а главное смотри,
 Чтобы все шло безъ шума, тихомолкомъ.
 Пожалуйста, получше все уладь!
 А ты, Мордва, изволь-ка завтра встать
 Пораньше, да къ Жернову отправляйся
 Съ рабочими, и вырой сотню липъ —
 И на бульваръ вези ихъ. Ты старайся,
 Чтобъ корни были цѣлы, и могли бѣ
 Онѣ принятыя; выбирай прямыя
 И чистыя деревья, молодые
 И ровныя; рабочихъ понукай
 Какъ можно чаще, — нашъ народъ лѣнтяй, —
 Ступайте же». — Крумахеръ потянулся,
 Прилегъ къ подушкѣ, раза два зѣвнулъ
 Глубоко и пріятно, и заснулъ,
 И захрапѣлъ. Поутру онъ проснулся
 До пѣтуховъ. Лазурный неба сводъ
 Былъ чистъ и ясенъ. Солнечный восходъ
 Багряными, златистыми лучами
 Блистательно его осѣивалъ;
 Багряными, златистыми столбами
 Рѣка блистада: ярко въ ней игралъ
 Прекрасный день. Вдоль берега туманы
 Еще дымились; рощи и поляны
 Сверкали переливною росой,
 И зеленѣли. Воздухъ, теплотой
 И свѣжестью весны благоухая,
 Былъ тихъ и сладокъ; жаворонокъ пѣлъ,
 И благовѣсть надъ городомъ гудѣлъ,
 Къ заутрени протяжно приглашая
 Благочестивый православный людъ...
 Крумахеръ всталъ, и глядь: къ нему ведутъ
 Купца Жернова. «Это что такое?» —
 — Липъ не даетъ, кричить и гонить вонъ! —
 «Липъ не даетъ! — Нѣтъ это, братъ, пустое!
 Ты липъ намъ дашь, ты мало, зная, ученъ:
 Буянить вздумалъ. Ты не уважаешь
 Начальниковъ, полиціи мѣшаешь!
 Ахъ ты, разбойникъ! Мы тебя уйемъ.»
 (И ну его гордовымъ чубукомъ!)

«Въ тюрьму его! тамъ будетъ онъ смириѣе —
 Въ тюрьму его! да насчитать ему.....»
 (И отвели несчастнаго въ тюрьму.)
 «А ты, Мордва, ты, право, не смѣѣ
 Моихъ индѣекъ; баба, размазня!
 Хорошъ кварталный, — ты срамишь меня!
 Нѣтъ, у меня бѣ Жерновъ не раскричался,
 Не пикнулъ бы. Иди же ты назадъ!
 Стыдись, братецъ, кого ты испугался?
 Бородача, купчишки: — плохъ ты, братъ!
 И больно плохъ, и время упускаешь
 По пустякамъ. Иди же и, какъ знаешь,
 Какъ я велѣлъ, все сдѣлай поскорѣй,
 Да, ради Бога, будь ты посмѣлѣй!» —
 Мордва ушелъ. Работою живою
 Давнымъ-давно бульваръ уже кипѣлъ,
 На немъ и рядъ деревьевъ зеленѣлъ,
 Посаженныхъ, и тѣнью ихъ густою
 Игралъ прохладный, вѣшній вѣтерокъ,
 И падала роса ихъ на песокъ.

Дышать прохладой сладостнаго мая
 Пошла Алина: дѣти вмѣстѣ съ ней.
 Князь собирался къ князю, размышляя,
 Какъ онъ пойдетъ и просьбою своей
 Предохранить свой садъ отъ господина
 Крумахера. Вдругъ слышитъ кликъ. Полина
 И Максъ бѣгутъ, и плачутъ и кричатъ:
 «Папа, папа, иди скорѣе въ садъ;
 Мама больна, въ садъ воры приходили,
 И взяли наши липы.» — Онъ бѣжитъ,
 И что жъ онъ видитъ: замятво лежитъ
 Его Алина. Тотъ же часъ пустили
 Ей кровь, да кровь едва-едва текла:
 Несчастный мужъ! — Алина умерла!

Бульваръ кипитъ работою. Горделиво
 Князь и Крумахеръ смотрятъ на него.
 И подлинно: все дѣлается живо.

Помѣхи нѣтъ ни въ чемъ, ни отъ кого.
Пріѣхали и съ липами Жернова, —
Сегодня же и садка вся готова:
Останется лишь разровнять песокъ,
И поливать. Бульваръ поспѣетъ въ срокъ.
И даже прежде срока. Въ самомъ дѣлѣ
Бульваръ, еще до срока, въ жаркій день
Уже манилъ гуляющихъ подъ тѣнь
Своихъ вѣтвей... И не прошло недѣли
Какъ и прелестный, райскій князевъ сонъ
Сбылся точь-въ-точь, какимъ приснился онъ.

Апрѣля 9-го 1846 г.

ВЗГЛЯДЪ НА РУССКУЮ ЛИТТЕРАТУРУ ВЪ 1858 ГОДУ.

È pur si muove!

Обозрѣніе русской литтературы за цѣлый годъ — совершенный анахронизмъ въ наше время; а въ-старину этотъ родъ критическихъ статей былъ въ большомъ ходу и почетѣ. Особенно богата обозрѣніями эпоха альманаховъ, и справедливость требуетъ замѣтить, что самое серьезное обозрѣніе, послужившее для послѣдующихъ критиковъ неисчерпаемымъ источникомъ общихъ взглядовъ на исторію новой русской словесности, было напечатано въ альманахѣ. Мы говоримъ о статьѣ покойнаго И. Кирѣевского въ «Денницѣ».

Послѣ упадка альманаховъ и съ водвореніемъ владычества журналовъ, обозрѣнія хотя и стали не такъ многочисленны, какъ прежде, но лучшія періодическія изданія все еще держались обычая обозрѣвать въ каждомъ первомъ номерѣ литтературу за предшествовавшій годъ. Обозрѣнія уменьшились въ числѣ, зато увеличились въ размѣрахъ, такъ что иногда дробились на нѣсколько книжекъ. Съ увеличеніемъ объема статьи эти стали богаче общими взглядами, «философскими» и нравственными разсужденіями; въ нихъ шли толки уже не объ однихъ литтературныхъ явленіяхъ, но и о жизненныхъ и научныхъ вопросахъ; въ нихъ разсуждалось обо всемъ, что «вызываетъ на размышленіе». И зато съ какой жадностью читались эти статьи тогдашнимъ молодымъ поколѣніемъ! Съ какимъ нетерпѣніемъ дожидались любозна-

тельные юноши январской книжки журнала! Въ наше время первый нумеръ журнала не можетъ возбудить такого интереса въ людяхъ не равнодушныхъ къ литературѣ; онъ по роду статей своихъ ничѣмъ не отличается отъ остальныхъ нумеровъ. Но въ тѣ времена читатель зналъ навѣрное, что такой-то журналъ въ январской своей книжкѣ непременно напечатаетъ статью подъ названіемъ «Русская литература въ 18.. году», что въ ней будетъ трактоваться обо всей русской литературѣ настоящей, прошлой... и даже будущей; что въ ней въ сотый разъ пересмотрятъ всѣхъ русскихъ писателей отъ Кантемира до Гоголя, поставятъ на очную ставку съ современными писателями, и размѣстятъ всѣхъ дѣятелей нашей словесности въ новомъ порядкѣ, сообразно съ *новой* философской или нравственной идеей, которая ляжетъ въ основаніе ожидаемой статьи. Подобныя обозрѣнія обыкновенно начинали рѣчь очень издавна, — если не съ самаго сотворенія міра, то по крайней мѣрѣ не позже какъ съ разселенія народовъ послѣ вавилонскаго столпотворенія и перваго образованія гражданскихъ обществъ. Сперва говорилось о томъ, каково было человѣчество въ дикомъ состояніи, какъ грубость нравовъ, занятія звѣроловствомъ и отсутствіе комфорта задерживали въ человѣкѣ дѣятельность мысли и мѣшали успѣхамъ словесности. Далѣе авторъ, упомянувъ вкратцѣ о зачаткахъ образованности на Востокѣ вообще и въ Индіи особенно, переходилъ къ Грекамъ и Римлянамъ. Здѣсь критикъ трактовалъ о классической литературѣ, о пластикѣ и тождествѣ идеи съ формой въ античномъ искусствѣ, о Гомерѣ, и т. д. Обозрѣвъ древній міръ, онъ переходилъ къ обновленію человѣчества чрезъ водвореніе христіанства; говорилъ объ отличіи средней исторіи отъ древней, новаго міросозерцанія отъ античнаго, и классицизма отъ романтизма. Потомъ толковалось о французской псевдоклассической поэзій, о ея недостаткахъ и вліяніи на нашу словесность. Обращаясь къ нашему отечеству, критикъ прежде всего разсматривалъ зачатки русской поэзій, то-есть народныя сказки и пѣсни, стараясь открыть въ нихъ міросозерцаніе народа, и такъ какъ это ему не совсѣмъ удавалось, то онъ объявлялъ, что русская народная поэзія мелка и груба по своей идеѣ, и весьма справедливо замѣчалъ, что Ерусланъ Лазаревичъ и Бова Королевичъ не могутъ выдержать сравненія съ Иліадою и Одиссеей. Затѣмъ онъ почти прямо переходилъ къ новой послѣ-петровской литературѣ: — о русской письменности до Петра онъ говорилъ очень коротко, утверждая, что у нея не было внутренней исторіи, и что она не имѣла никакого вліянія на послѣдующую литературу. Обозрѣвая исторію новой русской словесности, онъ обыкновенно располагалъ факты такъ, чтобы доказать ими

какое-нибудь новое положеніе. Положенія эти были въ родѣ слѣдующихъ: у насъ нѣтъ литературы;—у насъ есть словесность, но нѣтъ литературы;—у насъ есть великія поэтическія произведенія, но нѣтъ беллетристики, и т. д. Такая же мысль проводилась и черезъ перечень литературныхъ явленій за истекшій годъ. Статья обыкновенно заключалась размышленіемъ, какая великая будущность ожидаетъ наше отечество и нашу литературу, причемъ Россія нерѣдко сравнивалась съ богатыремъ, который сидѣлъ сиднемъ тридцать лѣтъ.

Существованіе такихъ обширныхъ трактатовъ, написанныхъ по поводу десяти или девяти книжекъ, напечатанныхъ въ Россіи въ продолженіе извѣстнаго года,—въ настоящее время покажется невѣроятнымъ. Но они дѣйствительно существовали, и, въ доказательство этой истины, мы можемъ указать, какъ на фактъ, на очень умную и дѣльную статью о «Горѣ отъ ума» (напечатанную въ 1839 году), которая начинается довольно-длиннымъ разсужденіемъ объ исторіи древняго міра, потомъ переходитъ къ вліянію христіанства на нравы человѣчества, и, уже послѣ размышленія о французской литературѣ, приступаетъ къ своему естественному вступленію, то-есть къ объясненію значенія комедіи вообще. Это вступленіе тоже очень длинно, такъ, что самой комедіи «Горѣ отъ ума» посвящено не болѣе десятой части всей статьи. Въ то время такія отступленія не только не казались неумѣстными, но даже почитались необходимыми. Да онѣ и были необходимы, потому что совершенно соответствовали потребностямъ тогдашняго времени. Молодое поколѣніе жаждало новыхъ взглядовъ на науку, новыхъ идей, а ничего подобнаго не давали ему сухіе учебники и мертвое школьное преподаваніе. И чтò могло быть интереснаго, живаго и увлекательнаго для молодыхъ пробуждающихся умовъ въ урокахъ тогдашнихъ учителей и въ тогдашнихъ руководствахъ? Вы уже начинали задумываться надъ судьбами человѣчества, васъ безпокоили вопросы о томъ, какія внутреннія причины двигали цивилизацію, какую идею выражалъ такой-то народъ, чтò ожидаетъ человѣчество въ будущемъ, къ какому новому совершенствованію оно должно стремиться, и въ замѣнъ отвѣта на такіе вопроса вы слышали фразу: «Но вскорѣ отъ чрезмѣрной роскоши и развращенія нравовъ сія монархія разрушилась, и царь ея Сарданапалъ сжегъ себя со всѣми своими сокровищами»... Вы восхищались Пушкинымъ и Лермонтовымъ, и уже знали наизусть отъ доски до доски всѣ ихъ стихотворенія, а васъ заставляли учить какую-нибудь скучную оду, написанную тяжелымъ стихомъ и устарѣлымъ языкомъ, и восхищаться ея красотами, въ которыхъ вы не видѣли ничего хорошаго. Вотъ отчего критики сороковыхъ годовъ читались съ такимъ восторгомъ тогдашней

молодежью. Она находила въ нихъ разрѣшеніе вопросовъ, ее тревожившихъ, находила сочувствіе къ поэтамъ, которыми сама восхищалась, и истолкованіе тѣхъ поэтическихъ красотъ, которыми любовалась безотчетно. Вотъ отчего съ такой благодарностью и любовью вспоминають о прежней критикѣ нашихъ журналовъ, — о статьяхъ съ длинными вступленіями и годичныхъ обзорѣяхъ литературы...

Обозрѣнія, процвѣтавшія въ продолженіе почти цѣлаго десятилѣтія, стали приходить въ упадокъ въ концѣ сороковыхъ годовъ, и въ началѣ пятидесятихъ вышли совершенно изъ употребленія: прошла мода на критическія статьи съ обширными вступленіями, высшими и общими взглядами. Да и вообще въ критикѣ стала замѣчаться апатія. Причина этой апатіи очень понятна. Русская критика, предававшаяся болѣе двадцати лѣтъ самой напряженной и тревожной дѣятельности, воевавшая съ такимъ жаромъ со старыми литературными теоріями, громившая безъ устали старые авторитеты и повторявшая безъ отдыха почти однѣ и тѣ же теоріи, одержала наконецъ побѣду надъ всѣмъ, что ей противостояло. Старые кумиры російской словесности были торжественно развѣнчаны и низвержены съ пьедесталовъ, при рукоплесканіяхъ большинства публики; противники новой критики освистаны, голоса ихъ совершенно заглушены, — и новыя литературныя теоріи распространились съ такимъ успѣхомъ, что ихъ уже зналъ наизусть всякій школьникъ. Что еще оставалось дѣлать критикѣ? Она достигла того, къ чему стремилась, высказала все, что у нея было на умѣ и на сердцѣ: всѣ свои свѣдѣнія, теоріи и чувства, словомъ, выполнила свое призваніе; новаго уже ничего не могли придумать дѣятели *новой критики*, которая въ свою очередь наконецъ уже сдѣлалась старою; повтореніе стараго надобно и публикѣ и самой критикѣ. Слѣдовательно и критикѣ оставалось только умолкнуть. Къ этимъ внутреннимъ причинамъ, обусловившимъ паденіе критической школы сороковыхъ годовъ, присоединилась и случайная, ускорившая это паденіе: — смерть ея главнаго дѣятеля и представителя, Бѣлинскаго *.

Со смертію Бѣлинскаго, характеръ русской критики совершенно измѣнился. Въ литературныхъ убѣжденіяхъ она оставалась вѣрна началамъ своего учителя и смотрѣла на все его глазами, но въ отношеніи способа высказывать свои убѣжденія она представляла съ нимъ совершенную противоположность. Въмѣсто жара и горячности, которыми отличались статьи Бѣлин-

* Не задолго до смерти Бѣлинскаго въ петербургскихъ журналахъ стали появляться прекрасныя критическія статьи покойнаго В. Майкова. Этотъ даровитый критикъ высказалъ много самостоятельныхъ мыслей о русской литературѣ, но къ сожалѣнію дѣятельность его была очень не продолжительна.

скаго, въ статьяхъ его преемниковъ явились холодность и апатія, вмѣсто рѣзкости въ приговорахъ — уклончивость, вмѣсто смѣлости — робость, вмѣсто парадоксовъ — общія мѣста, вмѣсто тонкаго природнаго эстетическаго чувства — мертвыя книжныя теоріи; словомъ: ученики не имѣли ни достоинствъ, ни недостатковъ своего учителя. Читатели журналовъ скоро замѣтили перемѣну, происшедшую въ критикѣ, и охладѣли къ ней. Прежде, едва ли не наиболѣе читаемымъ отдѣломъ въ журналѣ была критика; теперь публика перенесла свою симпатію на отдѣлъ изящной словесности, гдѣ помѣщались повѣсти и романы, — и была совершенно права. Бѣлинскій по дарованіямъ своимъ былъ несравненно-выше всѣхъ такъ-называемыхъ писателей-беллетристовъ, печатавшихъ статьи свои въ журналахъ его времени. Исключенію подлежатъ только два-три писателя, успѣвшіе уже при немъ вполнѣ обнаружить свой высокій художественный талантъ, и писатели, еще не успѣвшіе его хорошенько обнаружить, но занимающіе въ настоящее время почетныя мѣста въ нашей литературѣ. Напротивъ того преемники Бѣлинскаго стояли несравненно-ниже беллетристовъ своего времени. Положеніе критики было затруднительно. Отзываться рѣзко о посредственныхъ писателяхъ она не дерзала, потому что симпатія читателей была на ихъ сторонѣ, и отдѣломъ словесности, а не «критикой», держались журналы. Надо было дѣйствовать осторожно. Критика такъ и поступила, — и журнальныя рецензіи наполнились уклончивыми отзывами, общими фразами, оговорками и тому подобнымъ лавированіемъ. Еще затруднительнѣе было положеніе критики къ писателямъ, о которыхъ она хорошенько не знала мнѣнія своего учителя Бѣлинскаго, — о которыхъ онъ не успѣлъ сказать ничего яснаго, опредѣленнаго. Своего мнѣнія она не имѣла и не могла составить, а въ то же время была обязана высказать какое-нибудь мнѣніе. И вотъ она усугубила свою уклончивость въ приговорахъ и расточительность на общія фразы. Но самое неловкое, даже отчаянное положеніе критиковъ было въ отношеніи писателей, появившихся послѣ смерти Бѣлинскаго: они рѣшительно не знали чтò о нихъ сказать. Вслѣдствіе всего этого, плохіе писатели писали и печатали совершенно-безнаказанно, а даровитые оставались совершенно-неоцѣненными; и такимъ образомъ какіе-нибудь господа N. и X., представители однихъ недостатковъ натуральной школы, слышали о себѣ такіе же неопредѣленные отзывы критики, какіе приходились на долю Гончарова и Тургенева. Положеніе этихъ двухъ писателей, впрочемъ, еще не было самое худшее: критика нѣсколько знала, какъ думать о нихъ Бѣлинскій, и потому не боялась сказать, что они люди не безъ дарованія. Но въ какія отношенія къ ней должны были стать

Островскій и Писемскій, которые явились въ литературѣ по смерти Бѣлинскаго? Конечно, въ критическомъ отдѣлѣ журналовъ помѣщались иногда дѣльныя и полезныя статьи, какъ, на-примѣръ, статьи гг. Галахова, Дудышкина и Гаевского. Но то были разборы старыхъ русскихъ писателей, имѣвшіе цѣлью не столько ихъ эстетическую оцѣнку, сколько собраніе и обработку матеріаловъ для исторіи литературы. Критикой же современныхъ писателей занимались безыменные рецензенты.

Но—повторяемъ—нигдѣ такъ не обнаружилось типично направленіе тогдашней критики, какъ въ годовичныхъ обзорѣніяхъ литературы. По смерти Бѣлинскаго была сдѣлана попытка писать обзорѣнія по его методу, то—есть съ большими вступленіями и общими взглядами, но попытка эта рѣшительно не удалась. Тогда началась самая печальная эпоха обзорѣній, къ счастью продолжавшаяся недолго. Въмѣсто прежнихъ шумныхъ и блестящихъ статей о русской литературѣ стали печатать одни сухіе перечни, или просто систематическіе реэстры литературныхъ явленій за цѣлый годъ. Публика, разумѣется, перестала ихъ читать, вслѣдствіе чего критика, разумѣется, перестала ихъ писать, — и обзорѣнія совершенно исчезли.

Тѣмъ не менѣе мы пишемъ нѣчто въ родѣ обзорѣнія литературы за прошлый годъ.

Какая же цѣль нашей статьи, которую, однакоже,— просимъ замѣтить — мы не позволили себѣ назвать «обзорѣніемъ»?

Цѣль нашей статьи высказать нашъ взглядъ на современную русскую литературу и ея замѣчательнѣйшихъ дѣятелей, чтобы дать понятіе, въ какомъ духѣ и съ какой точки зрѣнія будутъ обсуживаться литературные вопросы и разсматриваться литературныя произведенія въ изданіи начинающемся. Самымъ удобнымъ способомъ, для достиженія этой цѣли, мы полагаемъ: произнести сужденіе о каждомъ по чему—нибудь замѣчательномъ явленіи въ литературѣ истекшаго года. Сообразно съ этимъ, читатель въ правѣ предположить, что мы теперь же прямо перейдемъ къ оцѣнкѣ стихотвореній, повѣстей, романовъ и журнальныхъ статей, появившихся въ прошедшемъ году. Но не таковъ этотъ годъ, не таковы были въ этомъ году умственные движенія общества, не такое мѣсто займетъ онъ въ исторіи, чтобы можно было въ статьѣ о русской литературѣ въ 1858 году ограничиться частными сужденіями о литературныхъ явленіяхъ и не сказать ни слова объ общемъ направленіи литературы послѣдняго времени, — направленіи, въ которомъ такъ живо и ярко выразились настроеніе умовъ и стремленіе цѣлаго общества. Потому мы считаемъ необходимымъ предпослать нѣсколько замѣтокъ объ общемъ характерѣ современной русской литературы.

Направленіе современной нашей литтературы заключается въ самомъ живомъ и горячемъ сочувствіи къ общественнымъ вопросамъ и равнодушій къ вопросамъ чисто—литтературнымъ и ученымъ.

Это направленіе, начавшее такъ замѣтно овладѣвать нашей литтературой три года тому назадъ и совершенно господствующее въ ней теперь, разумѣется, уже давно подготавливалось. Еще въ началѣ пятидесятихъ годовъ показались въ литтературѣ яркіе признаки теперешняго ея направленія; но то были признаки отрицательные. Ибо что иное, какъ не признаки скорого литтературнаго переворота, представляла дѣятельность первой половины текущаго десятилѣтія? Молчаніе большей части писателей; скудная производительность и какая—то неохота къ дѣятельности остальныхъ; рѣдкое появленіе новыхъ дѣятелей; безцвѣтность критики; словомъ, почти всеобщая апатія: вотъ характеристическія черты тогдашней литтературы.

Еслибъ въ такомъ состояніи находилась литтература народа, имѣвшаго въ продолженіе тысячелѣтія рѣшительное вліяніе на ходъ всемірныхъ событій, литтература, процвѣтавшая нѣсколько вѣковъ, — такое состояніе могло бы почесаться признакомъ ея совершеннаго упадка. Но въ литтературѣ, недавно возникшей, въ литтературѣ народа, такъ еще мало сдѣлавшаго для себя и для другихъ, и потому не успѣвшаго истощить свои силы,—это было не что иное какъ доброе предвѣщаніе, болѣзнь къ росту. Ибо и самый закоренѣлый противникъ теперешняго направленія русскаго общества согласится, что еще никогда у насъ не было такого движенія въ литтературѣ и такого сочувствія къ ней въ публикѣ, какъ въ настоящее время.

«Но можно ли, замѣтятъ намъ, современное книжное и журнальное движеніе называть движеніемъ въ строгомъ смыслѣ литтературнымъ? Не все то, что печатается, относится къ литтературѣ. Блестящимъ ея положеніемъ обыкновенно называютъ богатство произведеній несомнѣннаго художественнаго достоинства, изобиліе ученыхъ трудовъ, остающихся на—вѣки въ исторіи науки, и процвѣтаніе критики съ чисто—художественнымъ направленіемъ. А что дѣлается въ нынѣшней нашей литтературѣ? — Произведеній высоко—художественныхъ очень мало, да и тѣ почти всѣ болѣе или менѣе отзываются духомъ современнаго направленія; произведенія по части наукъ суть на—половину произведенія эфемерныя, а критика судитъ о художественныхъ произведеніяхъ съ юридической и политико—экономической точки зрѣнія. Это ли литтература?»

За тѣмъ намъ еще скажутъ: «если вы не только не огорчаетесь современнымъ направленіемъ литтературныхъ произведеній, но даже и отзываетесь о немъ съ сочувствіемъ, значитъ

вы принадлежите къ числу тѣхъ критиковъ , которые , отвергая принципъ искусства для искусства, требуютъ отъ поэтовъ и художниковъ , чтобъ они служили утилитарнымъ цѣлямъ , и судятъ о ихъ произведеніяхъ по началамъ , не имѣющимъ ничего общаго съ эстетикой.»

На это мы объявляемъ, что не принадлежимъ къ такового рода критикамъ , и что свято чтимъ принципъ искусства для искусства, но въ то же время не обвиняемъ современнаго направленія русской литературы и не имѣемъ ни малѣйшаго желанія ему противодѣйствовать.... Послѣдующія страницы объясняютъ это противорѣчіе и можетъ-быть отразятъ отъ насъ упрекъ въ дуализмъ.

Людамъ, которые хотятъ, во что бы ни стало, навязывать литературѣ то или другое направленіе , не худо почаще задавать себѣ вопросъ : что такое литература? и всегда помнить, что литература служить такимъ же орудіемъ для цѣлей общества, какимъ слово — для цѣлей каждаго отдѣльнаго человѣка. Какимъ же цѣлямъ должно служить наше слово? — Кто бы какъ ни смотрѣлъ на жизнь и на обязанности человѣка , всякій навѣрное согласится, что нельзя обречь слово на исключительное служеніе одной какой-нибудь цѣли. Слово свободно, и каждый человѣкъ воленъ употреблять его на что ему заблагоразсудится. Слово выражаетъ самыя высокія чувства человѣка — стремленіе къ высшему міру, изливаемое въ молитвѣ ; слово служить выраженіемъ лирическаго настроенія души — въ пѣсни ; слово же, наконецъ , служить намъ орудіемъ въ самыхъ обыкновенныхъ житейскихъ распоряженіяхъ. Такимъ образомъ слово , какъ всякому извѣстно , выражаетъ человѣка во всѣхъ сферахъ его дѣятельности. Оттого, если какой-нибудь индивидуумъ употребляетъ слово на служеніе одной какой-нибудь сферѣ , слѣдуетъ прямое заключеніе, что онъ въ дѣятельности своей предался одному чему-нибудь исключительно. Такъ, напримѣръ, если человѣкъ развѣваетъ ротъ только для того, чтобъ говорить о своемъ хозяйствѣ, тогда можно навѣрное предположить, что онъ чуждъ высшихъ духовныхъ интересовъ. И наоборотъ: человѣкъ, который только и дѣлаетъ, что поетъ пѣсни да сказываетъ сказки, справедливо почитается въ народѣ за пустаго балагура и лѣнтяя. Но бываютъ періоды въ жизни каждаго лица, когда одностороннее направленіе дѣятельности не только извинительно, — даже законно ; когда слово можетъ служить исключительно одной какой-нибудь сферѣ. Бываютъ , напримѣръ , времена , когда человѣкъ поставленъ въ крайнюю необходимость устроить или преобразовать свое матеріальное житье-бытье, когда , для этого , ему нужны безостановочныя труды , страшныя усилія , непрестанныя заботы.

У крестьянина сгнила и валится изба; ему нужно новую, а построить новую не изъ чего и не на что. Онъ копить деньги, копить долго, а между тѣмъ изба дѣлается все хуже и хуже, и наконецъ какъ-разъ къ тому времени, когда скоплены деньги, становится совсѣмъ неудобной для жилья. Надо проворнѣе строиться, чтобы осень не застала семью въ холодной полуразвалившейся лачужкѣ, а въ то же время и полевая работа не кончена. И вотъ начинается работа—ломка, стройка и всякая возня. Въ головѣ и на языкѣ у домохозяина только работа да работа, и больше ничего. Тутъ ему не до пѣсенъ, сказокъ и прибаутокъ: онъ и Богу молится на скорую руку! Если и запѣваетъ онъ пѣсню, то не въ услажденіе себѣ и другимъ, а съ цѣлью чисто-практической, чтобы подъ кадансъ пѣсни дружище, «разомъ», поднимали тяжелыя бревна, да вбивали въ землю столбы: кончится работа, переберется семья строителя въ теплую избу, устроится хозяйство, уймутся заботы, — тогда, если у мужика есть довольство, онъ можетъ цѣлую зиму забавляться пѣснями и сказками и даже не дѣлать ничего другаго. Ибо такое одностороннее направленіе дѣятельности законно, какъ отдыхъ послѣ тяжкаго труда, какъ выраженіе чувства благосостоянія, самодовольствія и радости давножеланному, добытому по́томъ успокоенію.

Такіе переходы изъ одной крайности въ другую бываютъ и съ цѣлымъ обществомъ, и выражаются въ литературѣ. Бываютъ въ ней періоды, когда господствуетъ одно поэтическое и художественное направленіе, вытѣсня всякое другое. Бываетъ и наоборотъ, — что духъ утилитаризма завладѣваетъ литературой, проникаетъ всѣ сферы ея дѣятельности, и подчиняетъ себѣ даже и поэтическія произведенія. То и другое направленіе — крайности, и, разумѣется, всякій бы желалъ, чтобы въ литературѣ въ одно время и процвѣтала поэзія и разрѣшались общественные вопросы. Но такія *pia desideria* не очень часто исполняются....

Конечно, счастливыми эпохами литературы справедливо считаются тѣ, когда въ ней господствуетъ артистическое направленіе,—когда она богата поэтическими и художественными произведеніями. Но такое богатство литературы не всегда бываетъ признакомъ плодотворнаго направленія общества, не всегда совпадаетъ съ добрымъ и здоровымъ состояніемъ націи. Въкѣ Августъ процвѣталъ поэтическими произведеніями. Почти всѣ римскія литературныя знаменитости жили въ то время; а общество уже вступало въ періодъ разложенія, ибо у націи были порваны всѣ живые нервы реформами покровителя искуствъ — Августа, — и она двигалась не собственной силой, а какъ автоматъ, по прихоти своего обладателя. Причина такого контраста между состояніемъ общества и состояніемъ литературы очень понятна. Политическое броженіе, столь долго одушевлявшее

Римъ, было подавлено тяжелой рукой Августа ; общественные вопросы должны были смолкнуть передъ его голосомъ ; словомъ невозможно было дѣлать ничего такого, чѣмъ жилъ римскій народъ столько вѣковъ , чему онъ служилъ исключительно, для чего былъ единственно призванъ. А между тѣмъ прежнее даровитое и благородное поколѣніе въ то время еще не совсѣмъ вымерло въ Римѣ, — и для лучшихъ умовъ нужна была какая-нибудь интеллектуальная дѣятельность. Убѣжищемъ такого рода дѣятельности были въ то время единственно художественныя и литературныя занятія , ибо онѣ однѣ могли не беспокоить божественнаго цесаря. И вотъ лучшіе люди времени, за невозможностью дѣйствовать на форумѣ, предались дѣятельности въ тиши своихъ кабинетовъ, — и можетъ-быть поэтъ Гораций въ трудѣ надъ тщательной отдѣлкой каждаго стиха находилъ забвеніе своей скорби по разбитымъ надеждамъ. Обществу тоже не оставалось никакой умственной пищи , кромѣ литературы, и оно обратилось къ чтенію , какъ къ нравственно-наркотическому средству ; усыпляющему общественныя тревоги. Потому справедливо говорить одинъ писатель, что искусства и поэзія не были въ Римѣ здоровыми плодами , а явились такими же причиной и слѣдствіемъ праздности, развращенія и разслабленія нравовъ, какъ всѣ гастрономическія затѣи Римлянъ. — Выдаются въ исторіи народа и другіе періоды: когда, напротивъ, богатство изящной словесности является прямымъ слѣдствіемъ самаго желаемого, самаго нормальнаго положенія общества, то-есть возможно-совершеннаго благоденствія цѣлой націи. Такое вожделѣнное время настаётъ для народовъ послѣ благодатныхъ реформъ, послѣ возрожденія и обновленія общества, когда устройство общественное такъ хорошо, такъ удобно, что народу нечего желать, не о чемъ тревожиться: тогда утилитарныя движенія совершенно исчезаютъ въ литературѣ. Въ такія-то вожделѣнныя времена народнаго отдыха, произведенія искусства и поэзіи представляютъ самые сочные, самые здоровые плоды.

Какъ процвѣтаніе изящной словесности не есть непремѣнный признакъ благодатнаго состоянія общества, такъ и ея упадокъ не есть и слѣдствіе его упадка. И въ литературѣ молодого, бодрого, полнаго энергіи народа можетъ иногда придти невзгода на поэзію, и это бываетъ не дѣломъ случайности, а слѣдствіемъ особаго настроенія умовъ. Если въ обществѣ сильно возбуждены утилитарные вопросы, если общество съ полной вѣрой въ будущее стремится къ разрѣшенію ихъ, при такомъ напряженномъ, хлопотливомъ его состояніи, въ литературѣ, этомъ форумѣ общественныхъ движеній, голоса поэтовъ заглушаются голосами публицистовъ , юристовъ , политико — экономовъ. Тутъ идетъ дѣло не объ эстетическихъ наслажденіяхъ,

а о насущныхъ, настоятельныхъ потребностяхъ народа, и поневоля «печной горшокъ цѣнится несравненно-дороже кумира Аполлона Бельведерскаго.

Въ такомъ состояніи паходятся наше общество и наша литература въ послѣднее время, не благопріятное для искусства, но благотворное для нашей гражданственности. Общество стремится къ самоулучшенію, къ осуществленію высоко-нравственныхъ началъ въ своемъ устройствѣ — къ «наряду», для котораго тысяча лѣтъ тому назадъ оно призвало изъ-за моря Варяговъ.

Вотъ отчего литература приняла утилитарное направленіе и закипѣла общественными вопросами. Особенно-ярко выступило это направленіе, особенно-сильно закипѣли эти вопросы съ минуты, когда правительство подняло вопросъ о новомъ устройствѣ земледѣльческаго класса. Дѣло, о которомъ давно мечтали лучшіе и благороднѣйшіе умы, изъ мечты перешло вдругъ въ возможность. Сколько надеждъ пробудилось при мысли о новой жизни, которая готовится для нашей меньшей братіи, какая дѣятельность закипѣла въ нѣсколькихъ тысячахъ умовъ, дремавшихъ доселѣ въ совершенномъ бездѣйствіи! Всѣ журналы наполнились статьями о крестьянскомъ дѣлѣ. Явилось даже нѣсколько специальныхъ періодическихъ изданій по этому предмету. — Земледѣльческій вопросъ придавъ еще больше жизни другимъ, уже прежде поднятымъ, утилитарнымъ вопросамъ; и вотъ почти годъ какъ въ литературѣ нашей только и слышатся толки о взяткахъ, гласности, откупахъ, акціонерныхъ компаніяхъ, усадебной осѣдности, желѣзныхъ дорогахъ, и проч. До стиховъ ли и романовъ въ такое время? Общество погрузилось въ домашнія хлопоты: занято стройкой, ломкой, устройствомъ своего хозяйства. Повсюду только и слышатся голоса домохозяевъ, да споръ работниковъ.

Но какъ бы ни были полезны эти хлопоты, какія бы прекрасныя надежды ни звучали въ этомъ шумѣ и спорахъ, — отъ нихъ бѣжить поэзія, не терпящая никакихъ хлопотъ и тревоженій. Если и теперь раздастся ея пѣсня, это — пѣсня рабочихъ при вбиваніи свай и поднятіи бревенъ, пѣсня съ практической цѣлью: чтобы подъ музыкальный кадансъ дружище шла работа. Вотъ отчего почти всѣ, даже художественныя, произведенія нашей литературы, за немногими исключеніями, болѣе или менѣе проникнуты утилитарнымъ и общественнымъ направленіемъ; вотъ отчего почти всѣ наши поэты уже не поютъ для того только, чтобы пѣть, какъ въ-старину, а приняли на себя роль мирныхъ Тиртеевъ. Правда, страдаетъ искусство отъ наплыва враждебныхъ ему стихій дидактики и резонерства; въ поэзіи слышатся не сродные ей звуки и терзаютъ слухъ диссонан-

сами. Но поклонники чистаго искусства должны въ настоящую минуту переносить все это безъ ропота и, при мысли о современномъ состояніи нашей изящной литтературы, утѣшать себя слѣдующею перифразой словъ Крылова изъ басни «Пѣвцы»:

« Они немножко и деруть,
Но всѣ съ прекраснымъ направленьемъ ».

Въ самомъ дѣлѣ, должно не только мириться съ современнымъ направленіемъ литтературы, но и сочувствовать ему. Кто изъ истинно-любящихъ отечество осмѣлится возвысить голосъ противъ направленія, въ которомъ проявляется желаніе добра нашей Россіи, направленія, которое должно ей принести столько пользы. Не сочувствовать стремленіямъ современной русской литтературы, значило бы не радоваться успѣхамъ родной земли въ дѣлѣ гражданственности. И, разумѣется, всякій благородно-мыслящій человѣкъ сочувствуетъ этимъ стремленіямъ: потому трудно современному русскому писателю удержать себя отъ того, чтобъ не выразить этого сочувствія. Самъ Гоголь, не принадлежавшій къ поколѣнію нынѣшнихъ писателей, заплатилъ дань нашему времени. Онъ былъ призванъ исключительно для художественной дѣятельности; въ ней, какъ у Самсона въ волосахъ, была вся его сила. И что же? силу эту онъ обратилъ на служеніе хотя и прекраснымъ, но совершенно постороннимъ для искусства цѣлямъ: пустился въ правоучительный родъ, и, вмѣсто прежнихъ своихъ высокохудожественныхъ образовъ, вывелъ цѣлую фалангу лицъ, подобныхъ *очень скромно одѣтому чело-вѣчку* (въ «Театральномъ разбѣздѣ»), лицъ, напоминающихъ дѣтскія повѣсти Беркэня и госпожи Котэнь.

Всѣ вышеприведенныя обстоятельства налагаютъ на насъ обязанность быть снисходительными къ недостаткамъ произведеній нашей изящной словесности за 1858-й годъ. Конечно и въ прошломъ году появились произведенія съ чисто-художественнымъ направленіемъ, безъ малѣйшей примѣси элементовъ, враждебныхъ истинному искусству. Но такихъ исключеній было немного. Большая же часть даже и замѣчательныхъ литтературныхъ явленій оказалась вѣрна духу нашего времени, и для нихъ—то требуется снисхожденіе. Что касается до произведений по части изящной словесности съ утилитарнымъ направленіемъ, совершенно лишенныхъ какъ художественнаго, такъ и всякаго другаго достоинства, — мы говорить о нихъ не будемъ. По поводу такого рода печатныхъ упражненій можно сказать только, что въ прошломъ году ихъ явилось неисчислимое множество. Какъ въ—старину, когда была мода на стихи, все, что есть бездарнаго, пускалось въ стихотворство; какъ, во время владыче-

ства натуральной школы, люди, лишенные таланта, дѣятельно упражнялись въ литературныхъ дагерротипахъ; какъ, наконецъ, во времена моды на историческія изслѣдованія, лица, совершенно ни на что не способныя, кромѣ физическаго труда, предавались занятіямъ русскою исторіею и наводняли журналы статьями о значеніи мышей и таракановъ въ славянской міеологіи, статьями, которыя никто не могъ читать: такъ въ настоящее время люди, одаренные вышеозначенными качествами, работаютъ что есть силы на поприщѣ изобличенія общественныхъ недостатковъ. Впрочемъ, если и флейта, хуже которой, по выраженію Керубини, могутъ быть только двѣ флейты,—если и флейта необходима для полного оркестра, то и голоса нашихъ бездарныхъ писателей—изобличителей въ общемъ хорѣ русскихъ литераторовъ необходимы для пользы общаго дѣла. Но ихъ голоса даже и не флейта, потому что и флейту пріятно слышать въ *solo*. Это скорѣе контрбасы, литавры, тарелки, ложки и турецкіе барабаны.

*

Прошлый годъ былъ довольно щедръ на стихи. Кромѣ значительнаго количества стиховъ, напечатанныхъ въ журналахъ, вышли собранія стихотвореній гг. Майкова, Плещеева, Панютина, Прокоповича и Гербеля; переводы въ стихахъ: пѣсень Беранже, г. Курочкина и — Гейне, г. Михайлова. Въ замѣтку наши позволяемъ себѣ включить и собраніе стихотвореній г. Мея, какъ потому, что оно появилось въ Москвѣ только въ прошедшемъ году, такъ и потому, что намъ доставитъ удовольствіе сказать о немъ нѣсколько словъ.

Изданіе стихотвореній г. Майкова, какъ по внѣшнему виду, такъ и по внутреннимъ достоинствамъ, весьма замѣчательно: оно великолѣпно и отличается строгостію выбора пѣснь. Г. Майковъ пишетъ болѣе двадцати лѣтъ, всегда остается вѣренъ своему направленію и постоянно въ любви къ своему искусству. Двадцать лѣтъ! Чего не перебивало въ это время съ русской литературой. Въ нашей поэзіи господствовало мрачное направленіе: поэты пѣли недовольство жизни, разочарованіе и скептицизмъ, а г. Майковъ въ это время, какъ всегда, выражалъ въ своихъ произведеніяхъ свѣтлый и спокойный взглядъ на жизнь, полную вѣру во все прекрасное. Потомъ, когда свирѣпствовала натуральная школа, онъ печаталъ свои идеальные очерки Рима. Было гоненіе на стихи; но г. Майковъ продолжалъ писать стихи. Словомъ, онъ устоялъ во всѣхъ тревоженіяхъ нашей литературы. Такое постоянство въ направленіи, такая любовь къ своему дѣлу имѣли то слѣдствіе, что поэтъ съ каждымъ го-

домъ совершенствовался, и содержаніе произведеній его дѣлалось все полнѣе и полнѣе. Г. Майковъ началъ такъ-называемыми антологическими стихотвореніями. Гармонія и правильность стиха, живость картинъ, совершенная вѣрность античному духу, пластичность и роскошь выраженій были отличительными чертами этихъ произведеній и съ-разу обнаружили въ поэтѣ весьма замѣчательный талантъ. Г. Майковъ могъ бы на этомъ и остановиться и не идти впередъ, потому что такія стихотворенія, какъ *Барельефъ, Сонъ, Вхожу съ смущеніемъ въ забытыя палаты*, не позволяли требовать ничего лучшаго отъ антологическаго рода, и критикъ могъ только выразить желаніе, чтобъ было побольше такихъ произведеній. Но чѣмъ больше писалъ г. Майковъ, тѣмъ все больше и больше выступали въ его поэзіи новыя стихіи,—новыя достоинства. Содержаніе первыхъ его произведеній состояло только въ картинности, и онѣ отличались достоинствомъ хорошей картины — живостью красокъ и правильностью рисунка. Впослѣдствіи изящныя поэтическія формы, выработанныя г. Майковымъ съ такой любовью и тщательностію, стали наполняться мыслию и начали отражать уже не однѣ красоты внѣшней природы, но и наблюденія надъ жизнію и сердцемъ чловѣка.

Отличительное свойство таланта г. Майкова заключается въ необыкновенной живости изображенія античнаго міра. Поэтъ такъ сжился съ Греціей и Римомъ, такъ свыкся съ ихъ мифами и героями, что, описывая какое-нибудь лицо или событіе изъ классической древности, онъ приводитъ до-того живыя подробности, какія обыкновенно представляются въ нашемъ воображеніи только при мысли о предметахъ самыхъ намъ близкихъ по времени, хорошо знакомыхъ, часто видѣнныхъ. Таково у г. Майкова изображеніе дѣтства Бахуса, которое мы теперь и приводимъ.

«Въ томъ гротѣ сумрачномъ, покрытомъ виноградомъ,
Сынъ Зевса былъ врученъ элидскимъ ореадамъ.
Сокрытый отъ людей, сокрытый отъ боговъ,
Онъ росъ подъ говоръ водъ и шелестъ тростниковъ.
Лишь мирный богъ лѣсовъ, надъ тихой колыбелью,
Младенца улаждалъ волшебною свирѣлюю.
Какой отрадою, средь сладостныхъ заботъ,
Онъ нимфамъ былъ! Глухой внезапно ожилъ гротъ.
Тамъ, кожей барсовой одѣтый, какъ въ порфиру,
Съ тимпаномъ, съ тирсомъ онъ являлся божествомъ.

То въ играхъ хмѣлемъ и плющемъ
Опутывалъ рога, при смѣхѣ нимфъ, сатиру;
То гроздіи срывалъ съ изгибленной лозы,

Ихъ связывалъ въ вѣнокъ, вѣчалъ свои власы,
 Иль нектаръ выжималъ, смѣясь, своей рученкой
 Изъ золотыхъ кистей надъ чашей среброзвонкой,
 И тѣшилъ, когда струей ему въ глаза
 Изъ ягодъ брызнетъ сокъ, прозрачный какъ слеза.»

Послѣдніе восемь стиховъ ясно показываютъ, какъ свыклась мысль поэта съ древнимъ міромъ. Чтобы представить такъ живо въ своемъ воображеніи дѣтскія черты слагающагося мифологическаго типа—его первообразъ, нужно было сильно проникнуться духомъ древнихъ, много вдумываться въ ихъ мифологію. Это стихотвореніе принадлежитъ къ самымъ раннимъ произведеніямъ г. Майкова, потому посвящено больше описанію внѣшней пластической стороны предмета, чѣмъ раскрытію его внутреннихъ свойствъ. Въ произведеніяхъ его зрѣлой эпохи, гдѣ изображеніе природы отходитъ на второй планъ, давая мѣсто изображенію страстей, душевныхъ движеній и характеровъ, — живость и богатство фантазіи поэта и его короткость съ лицами древности выступаютъ еще съ большею яркостью.

Недостатки произведеній г. Майкова заключаются во-первыхъ въ нѣкоторой небрежности стиха и вообще въ недоконченности внѣшней отдѣлки. Можетъ-быть покажется страннымъ, если мы скажемъ, что этотъ недостатокъ относится не къ раннимъ стихотвореніямъ г. Майкова, а напротивъ къ позднѣйшимъ. Мы этимъ не хотимъ сказать, будто вообще стихъ г. Майкова утратилъ прежнія свои достоинства. Такой приговоръ былъ бы несправедливъ, ибо въ мастерствѣ стиха нашъ поэтъ постоянно совершенствуется. Но нельзя не замѣтить, что съ тѣхъ поръ, какъ въ его поэзіи прибыло внутренняго содержанія, онъ какъ будто меньше сталъ заботиться о внѣшней формѣ. Онъ весьма часто довольствуется тѣмъ, что высказалъ въ превосходныхъ стихахъ одну половину своей мысли, и договариваетъ остальную вяло, небрежно — вообще какъ-то неохотно. Оттого у г. Майкова встрѣчаются даже отдѣльныя строфы, которыя начинаются самыми блестящими стихами и оканчиваются весьма слабыми, сложенными какъ-будто другимъ стихотворцемъ. Въ слѣдующемъ стихотвореніи чрезвычайно-ярко выразились и достоинства произведеній г. Майкова и недостатокъ, о которомъ мы сказали.

«АЛКИВІАДЪ».

«Внучекъ, вѣрь наукѣ дѣда:
 Вѣрь, надъ женщиной побѣда
 Намъ труднѣй, чѣмъ надъ врагомъ:
 Здѣсь все случай, все удача!
 Сердце женское — задача,
 Не рѣшенная умомъ!»

«Ты слыхалъ ли имя Фрины?

Покорялися Аѣины

Взгляду гордой красоты, —

Но на насъ она взирала,

Какъ богиня съ пьедестала

Недоступной высоты.

«На пирахъ ея быть званымъ —

Это честь была избраннымъ, —

Принимала какъ сатрапъ!

Всѣмъ серебряныя блюда

И хрустальные сосуды,

И за каждымъ — черный рабъ!

«Разъ былъ пиръ... то пиръ былъ грацій!

Острыхъ словъ, импровизаций

И рѣчей лился каскадъ...

Мнѣ везло: привѣтнымъ взглядомъ

Позвала ужъ сѣсть съ ней рядомъ —

Вдругъ вошелъ Алкивиадъ.

«Видимъ: свѣтлый и румяный!

Весь въ цвѣтахъ — ну, Бахусъ пьяный!

Прямо къ ней — и въ губы чмокъ!

Пиръ весь ахнулъ и смутился,

А безстыдникъ воцарился

У ея у самыхъ ногъ!

«Я какъ-разъ въ тѣни остался!

Для приличья улыбался;

Краснорѣчьемъ думалъ взять, —

Но едва уста открою —

Онъ насмѣшкой, какъ стрѣлою,

Поразить меня опять.

«Были тутъ послы, софисты,

И архонты, и артисты...

Онъ бесѣдой овладѣлъ,

Хохоталъ надъ мудрецами,

И безумными глазами

На прекрасную глядѣлъ.

«Что тутъ дѣлать?... Полны злости,

Расходиться стали гости...

Смотримъ — спитъ онъ! Та — молчать

И не будить... Что жъ, добился!

Ей повѣса полюбился,

Да и насъ потомъ стыдитъ!»

Во-первыхъ, какое роскошное описаніе пировъ у греческой красавицы. Какъ дышетъ древнимъ міромъ сравненіе «принимаетъ какъ сатрапъ». Во-вторыхъ, вы здѣсь замѣчаете вѣрное

и живое воспроизведеніе историческаго лица. Вспомните объ Алкивіадовой способности первенствовать и внушать къ себѣ уваженіе даже своими недостатками, вспомните шумное появленіе аѳинскаго денди на пирѣ мудрецовъ въ Платоновомъ «Симпосіонѣ»: Далѣе васъ поражаетъ необыкновенно-вѣрное, въ психологическомъ отношеніи, описаніе лица, побѣжденнаго Алкивіадомъ, и самаго Алкивіада посреди побѣды. Но это прекрасное стихотвореніе начинается общимъ мѣстомъ, и кончается очень блѣдной, неловкой и совершенно-лишней строфой.

У г. Мея талантъ чисто-объективный. Собственные чувства, мысли и впечатлѣнія не даютъ содержанія его поэзій, и потому въ собраніи его стихотвореній такъ мало лирическихъ произведеній, да и тѣ, которыя есть, не представляютъ ничего замѣчательнаго. Но это отсутствіе лиризма и составляетъ одно изъ главныхъ достоинствъ его произведеній съ историческимъ и описательнымъ содержаніемъ: спокойствіе разсказа, выдержанность тона даютъ имъ совершенно-эпическій характеръ. Особенно заслуживаютъ вниманія стихотворенія, писанныя въ русскомъ народномъ духѣ. Его подражанія народнымъ пѣснямъ превосходны. Никто изъ нашихъ современныхъ поэтовъ-стихотворцевъ такъ не проникнуть духомъ народной поэзій, такъ не владѣть народной рѣчью, какъ г. Мей. У него и мотивы, и складъ, и обороты, и сравненія, и эпитеты, и все до мелочей истинно-русское. Чтобы слова наши не показались преувеличеніемъ, приводимъ двѣ пѣсни:

«Охъ, пора тебѣ на волю, пѣсня русская,
Благовѣстная, побѣдная, раздольная,
Погородная, посельная, попольная,
Непогодою-невзгодою повитая,
Во крови, въ слезахъ крещенная — омытая!
Охъ, пора тебѣ на волю, пѣсня русская!
Не сама-собой ты спѣлася-сложилася:
Съ пустырей тебя намыло снѣгомъ-дождикомъ,
Нанесло тебя съ пожарищъ дымомъ-копотью,
Намело тебя съ сырыхъ могилъ метелицей...»

*

«Снаряжай скорѣй, матушка родимая,
Подъ вѣнецъ свое дитятко любимое.
Я гнѣвить тебя нонче зарекалася —
Отъ сердечнаго друга отказалася...
Расплетай же мнѣ косыньку шелковую,
Уложи меня на кровать тесовую,
Пелену набрось мнѣ на груди бѣлая,
И скрести подъ ней руки помертвѣлая,

Въ головахъ зажги свѣчи воску ярова,
И зови ко мнѣ жениха-то старова.
Пусть войдетъ старикъ — смотритъ, да дивуется,
На красу ль мою дѣвичью любитъся...

Но нигдѣ такъ блистательно не выказывается талантъ г. Мея и способность его схватывать черты народной поэзіи, какъ въ произведеніяхъ легендарнаго и міѳологическаго содержанія: онѣ проникнуты, такъ — сказать, истинно — русскимъ романтизмомъ: здѣсь — то особенно дорого отсутствіе лиризма, ибо авторъ не внесъ въ свои рассказы и описанія никакихъ личныхъ воззрѣній, а все бралъ у народа. Оттого все, что относится къ области чудеснаго, является у г. Мея въ первобытной чистотѣ народнаго вымысла, безъ малѣйшей примѣси германскаго, шотландскаго и вообще западнаго романтизма. Вспомните превосходное стихотвореніе «Хозяинъ». Какъ легко было бы поставить на ходули миѳъ домового, и какъ было эффектно приложить къ нему какое-нибудь модное воззрѣніе на русскія повѣрья. Поэтъ устоялъ противъ всѣхъ соблазновъ, и характеръ «хозяина» является у него во всей своей умильной простотѣ... Впрочемъ талантъ г. Мея не ограничивается способностію изображать картины изъ одной русской народной жизни: г. Мей превосходно изображаетъ черты и другихъ національностей. Особенно замѣчательны его подражанія восточному... Стихотвореніе «Сплю, но сердце мое чуткое не спитъ» извѣстно рѣшительно всѣмъ и всѣми признано превосходнымъ.

Главный недостатокъ произведеній г. Мея въ излишнемъ богатствѣ красивыхъ образовъ, въ излишней яркости красокъ, въ излишней роскоши и блескѣ выраженій, словомъ въ *embarras de richesses*. Каждый отдѣльный стихъ, каждая отдѣльная строфа безъукоризненно прекрасны; но слишкомъ много лишнихъ строфъ, выражающихъ почти то же самое, что уже выражено другими строфами, много слишкомъ сходныхъ между собою картинъ и образовъ, стоящихъ рядомъ, и потому повтореніемъ одного и того же ослабляется впечатлѣніе цѣлаго. Такое излишество мы встрѣчаемъ, напримѣръ, въ слѣдующемъ описаніи:

«Мечется и плачетъ, какъ дитя больное
Въ беспокойной люлькѣ, озеро лѣсное.

«Тучей потемнѣло, брызжетъ мелкой зернью —
Такъ и отливаетъ серебромъ да чернью.

«Вѣтеръ по дубровѣ сѣрымъ волкомъ рыщетъ;
Молнія на землю жгучимъ ливнемъ прыщетъ;

«И на голось бури, побросавши прялки,
Выпрыгнули со дна рѣзвыя русалки...

«Любо некрещенымъ въ бурю-непогоду
 Кипятить и пѣнить жаркой грудью воду;
 «Любо имъ за вихремъ перелетнымъ гнаться,
 Любо звонкимъ смѣхомъ съ громомъ окликаться.
 «Волны имъ щекоцуть плечи наливныя,
 Чешутъ бѣлымъ гребнемъ косы разсыпныя;
 «Ласточки быстрѣе, легче пѣны зыбкой,
 Руки ихъ мелькаютъ бѣлобокой рыбкой;
 «Огонькомъ подъ пепломъ щеки половѣютъ;
 Яркимъ изумрудомъ очи зеленѣютъ», и т. д.

Нѣтъ спора, здѣсь каждая строфа отдѣльно такъ хороша, что жаль что—нбудь исключить. Но нельзя не замѣтить, что описаніе русалокъ слишкомъ длинно, слишкомъ подробно. Довольно двухъ-трехъ строкъ изъ приведеннаго нами описанія для полной характеристики русалки; остальные, при всей ихъ красотѣ, не прибавляютъ никакой новой типической черты къ миѳу. Припомните русалокъ другаго поэта:

«Любо намъ порой ночью
 Дно рѣчное покидать,
 Любо вольной головою
 Высь рѣчную разрѣзать,
 Подавать другъ дружкѣ голосъ,
 Воздухъ звонкій разрѣзать,
 И зеленый влажный волосъ
 Въ немъ сушить и отряхать.»

И только. Больше ничего и не нужно. Конечно, описаніе г. Мея красивѣе и наряднѣе Пушкинова, но Пушкиново сжатѣе, кратче, внутренне-сильнѣе, типичнѣе и относится къ описанію г. Мея какъ щитъ Гомеровъ къ щиту Виргиліеву.

Къ означенному недостатку произведеній г. Мея имѣетъ весьма близкое соотношеніе и другой недостатокъ, общій имъ съ произведеніями г. Майкова. Оба поэта, по любви своей къ картинности, слишкомъ щедры на черты мѣстнаго колорита (*coloris local*). Конечно, они мастера въ дѣлѣ рельефности изображенія, но излишекъ въ чемъ бы то ни было все-таки называется излишкомъ. Такъ, напримѣръ, въ одномъ изъ лучшихъ своихъ произведеній («Клермонтскомъ соборѣ»), среди величественнаго описанія слушателей Петра Пустынника, поэтъ говоритъ:

«Вокругъ ихъ — сырыхъ обороны —
 Толпою рыцари стоятъ:
 Въ узорныхъ латахъ Итальянцы,
 Тяжелый Швабъ и рыжій Бриттъ.»

Рыжій Бриттъ! это уже въ буквально́мъ смыслѣ слишкомъ яркій мѣстный колоритъ. Такія прозаическія подробности рѣшительно неумѣста передъ поэтической рѣчью Пустынника, призывающаго на высокій подвигъ. Въ другомъ стихотвореніи поэтъ обращается къ Пріапу:

«..... пролей свою благодать
Щедрой рукою на эти орудья простыя —
Заступъ садовый и серпъ *полукруглый* и соху.»

«Полукруглый» — эпитетъ совершенно въ духѣ Гомера, но совершенно — лишній, ибо во-первыхъ форма серпа вѣтъ известна, во-вторыхъ эта подробность описанія не заключаетъ въ себѣ никакой красоты.

У г. Мея, въ стихотвореніи «Подражаніе восточнымъ», женщина, призывающая любовника, говоритъ:

«Тебя я ждала и искала —
Ждала отъ вечерней поры,
Завѣсила одръ и постлала
Египта двойные ковры,
Посыпала ложе шафраномъ,
Корицей *посыпала* *полъ* —
Войди, и въ весельи желанномъ
Возляжемъ за трапезный столъ.»

«Корица» можетъ совершенно-вѣрная подробность, но ужь слишкомъ мѣстная, и потому нѣсколько комическая.

Еще примѣръ. Стихотвореніе г. Мея «Слѣпорожденный» начинается слѣдующей строфой:

«То были времена чудесъ,
Сбывались слова пророка,
Сходили ангелы съ небесъ;
Звѣзда катилась отъ востока,
Міръ искупленія ожидалъ —
И въ бѣдныхъ ясляхъ Виолесеа,
Подъ пѣснь хвалебную эдема,
Младенецъ дивный возсіалъ, —
И загремѣлъ по Палестинѣ
Гласъ вопіющаго въ пустынѣ...»

Послѣ этихъ возвышеннаго тона стиховъ, пропитанныхъ истинно-библейскимъ духомъ, слѣдуетъ прекрасное описаніе природы Палестины, гдѣ между прочимъ говорится:

«Порой далеко точкой черной,
Газель, иль страусъ, иль верблюды
Мелькнутъ на мигъ — и пропадутъ.»

Все это у мѣста въ антологическомъ стихотвореніи, въ описаніи, имѣющемъ цѣлью мірскіе чувства и образы, но въ произведеніи, предметъ котораго исцѣленіе слѣпаго, въ которомъ главное лицо Спаситель, такая мелочная заботливость въ изображеніи предметовъ чувственныхъ, не соотвѣтствуетъ высотѣ общаго содержанія, непріятно измѣняетъ и нарушаетъ тонъ разсказа.

Впрочемъ не одни гг. Мей и Майковъ, но вообще всѣ наши поэты слишкомъ любятъ мѣстный колоритъ.

Читатели вѣроятно замѣтятъ, что мы слишкомъ строги къ гг. Майкову и Мею. Сознаемся. Но причина нашей строгости и мелочныхъ придирокъ заключается въ особенной любви и симпатіи къ нимъ. Гг. Майковъ и Мей принадлежатъ къ тѣмъ немногимъ въ наше время писателямъ, которые не считаютъ стихотворство шуткой, глубоко уважаютъ красоты роднаго языка, и служатъ ему честно и ревностно. Потому намъ бы хотѣлось, чтобъ они не останавливались на томъ, чего достигли, но шли бы все впередъ и совершенствовались. Отъ нихъ этого можно и требовать и ожидать. При томъ же наши мелочныя придирки къ нимъ могутъ служить доказательствомъ, какъ много и съ какимъ вниманіемъ ихъ читаютъ. А много читаютъ и часто перечитываютъ ихъ потому, что они доставляютъ много наслажденія.

Планъ нашей статьи не позволяетъ намъ войти въ подробныя указанія достоинствъ и недостатковъ остальныхъ оригинальныхъ стихотвореній, вышедшихъ въ прошломъ году отдѣльными книжками; потому мы должны ограничиться краткими отзывами. Самыя замѣчательныя изъ нихъ — стихотворенія г-жи Жадовской. Извѣстность г-жи Жадовской началась стихотвореніемъ «Ты скоро меня позабудешь», которое было положено на музыку и распространилось повсюду въ видѣ романа. Главная характеристическая черта стихотвореній г-жи Жадовской — женственность, которою онѣ проникнуты, черта, особенно дорогая въ лирическихъ произведеніяхъ дамы. Нѣжность и кротость чувствъ, мягкость стиха несравненно больше идутъ къ женщинѣ, нежели громовый стихъ и бурныя страсти.

Вышли въ 1858 г. еще собранія стихотвореній гг. Плещеева, Панютина, Прокоповича и покойнаго Языкова.

Въ стихотвореніяхъ г. Плещеева много истиннаго чувства; но онѣ однообразны и не представляютъ пока ничего оригинальнаго въ отношеніи формы стиха. — Стихотворенія г. Панютина не безъ достоинствъ. Если ихъ недостатки происходятъ, какъ намъ показалось, отъ молодости и незрѣлости, то есть надежда, что авторъ современемъ усовершенствуется. — Стихотворенія г. Прокоповича хороши только въ отношеніи

языка и стиха. — Что касается до стихотвореній Языкова, то для разбора ихъ требовалась бы особая большая статья: разбирать ихъ на-скоро мы считаемъ себя не въ правѣ.

Переходимъ къ переводамъ.

Переводы г. Курочкина пѣсень Беранже были встрѣчены всеобщей радостью и доставили переводчику въ самое короткое время большую извѣстность. Всѣ думали, что произведенія самаго народнаго французскаго поэта не переводимы, и потому крайне удивились, когда прочли ихъ въ прекрасныхъ русскихъ стихахъ. Что касается до насъ, мы почитаемъ переводъ г. Курочкина, несмотря на всѣ его достоинства, новымъ доказательствомъ непереводаемости Беранже. Беранже въ своихъ произведеніяхъ выразилъ по большей части тѣ черты французскаго народа, которыя въ насъ не существуютъ, и выказалъ тѣ именно свойства французскаго языка, которыхъ нѣтъ въ русскомъ. Сходство русскаго характера съ характеромъ Француза, на которое такъ любятъ указывать обѣ націи, совершенно вѣтшнее. Оно не коренится въ народѣ, а происходитъ вслѣдствіе любви и искусства нашихъ соотечественниковъ корчить Парижанъ. Конечно, встрѣчаются у насъ и въ низшихъ классахъ народа (но никакъ не между крестьянами) черты аналогическія съ чертами парижскихъ блузниковъ, гризетокъ, лоретокъ и т. д. Но что у Французовъ не только извинительно, по легкости ихъ характера, а даже очень мило, граціозно и трогательно, — то у насъ выходитъ аляповатымъ, грубымъ и подѣ-часъ просто грязнымъ — отвратительнымъ. Roger Bontemps Беранже очень добрый и милый малый во Франціи; но подыщите аналогическій съ нимъ типъ въ Россіи, — и вы получите негодяя. Описывая счастье двухъ любовниковъ, происходящее отъ незатѣйливости и простоты ихъ взаимныхъ отношеній, Беранже начинаеть такъ:

« Commissaire!
Commissaire!
Colin bat sa menagère.
Commissaire,
Laissez faire;
Pour l'amour
C'est un beau jour».

Дальше идетъ описаніе въ этомъ же родѣ, и читатель видитъ, что не смотря на то, что Colin бьетъ свою Колету, а она ему измѣняетъ, они очень счастливы. Но если вы найдете у насъ на Руси подобную простоту отношеній между мущиной и женщиной, то вѣрно не позавидуете счастью такой четы.

Не смотря на несходство нашей народности съ французскою, русскому поэту можно бы было воспроизвести на родномъ

языкъ и черты народныхъ нравовъ и черты народной поэзіи Франціи, еслибъ русскій языкъ былъ на то способенъ. Но языкъ нашъ, обладающій, подобно нѣмецкому, удивительнымъ свойствомъ передавать всѣ оттѣнки чуждыхъ народностей, подобно нѣмецкому же неспособенъ выразить весьма многіе оттѣнки народности французской. Къ нему можно примѣнить слова Шиллера, обращенныя къ «Германскому гению»:

«Ringe... nach römischer Kraft, nach griechischer Schönheit:
Beides gelang dir, doch nie glückte der gallische Sprung.»

Какъ выразить нашъ «гордый языкъ» всѣ милыя ужимки, всѣ дѣтски-наивныя обороты французской рѣчи? Гораздо легче взрослому мужика заставить грасепировать и произносить въ носъ французскій *n*, чѣмъ передать по-русски подобныя фразы:

«Oh! oh! oh! oh! ah! ah! ah! ah!
Quel bon petit roi c'était là!
La, la.»

Или :

«Zon, zon, zon, zon, zon, zon, zon!
Le fouet, petit polisson!»

Какъ по-русски все это выйдетъ грубо, и какъ непріятно будетъ отзываться тономъ дурнаго общества! Слова, въ родѣ вышеприведеннаго «zon, zon», иногда являются у Беранже превосходнымъ звукоподражаніемъ. Попробуйте замѣнить французскія звукоподражанія соответствующими русскими, — и выйдетъ «бумъ, бумъ, пифъ, пафъ», и тому подобное.

Такія-то и еще другія затрудненія не дали г. Курочкину возможности *перевести* Беранже. Потому онъ переложилъ его на русскіе нравы, и переложилъ также превосходно, какъ Котляревскій — Энеиду. Стихъ г. Курочкина, хотя не вышелъ изъ школы Пушкина и не имѣетъ ничего общаго со стихомъ гг. Мейя, Полонскаго, Майкова и Щербины, но по-своему очень хорошъ. Это стихъ рукописныхъ комическихъ стихотвореній, стихъ г. Некрасова, стихъ лучшихъ пародій Новаго Поэта — безцеремонный, но сильный, бойкій и отличающійся затѣйливыми и звучными рѣзмами. На Руси существуетъ цѣлая школа такого рода поэзіи; отличительная черта поэтовъ этой школы — умѣнье укладывать въ стихъ обыкновенную разговорную рѣчь. Въ этомъ отношеніи, какъ и во всѣхъ другихъ, г. Курочкинъ далеко оставилъ за собою своихъ предшественниковъ.

Кстати упомянуть, что въ «Современникѣ» было помѣщено нѣсколько стихотвореній Беранже въ переводѣ г. Ленскаго. Выборъ піесъ, сдѣланный г. Ленскимъ, очень хорошъ: онъ по

большой части взялъ тѣ пѣсни, которыя можно перевести. Нѣтъ правила безъ исключенія: и у Беранже есть произведенія безъ особенно рѣзкихъ, непереводимыхъ чертъ національности. Нѣкоторые переводы г. Ленскаго превосходны. «Старый фракъ» и «Сенаторъ» переведены такъ, какъ рѣшительно у насъ никто не переводилъ Беранже.

Переводы г. Михайлова стихотвореній Гейне прекрасны, какъ вообще всѣ его переводы.

Кромѣ отдѣльныхъ собраній, появлялись въ журналахъ стихотворенія гг. Хомякова, Фета, Аксакова, гр. Толстаго.

Хомяковъ ветеранъ между поэтами нашего времени. Онъ принадлежитъ къ поэтамъ пушкинской эпохи, и произведенія его носятъ яркій отпечатокъ ея поэзіи: въ нихъ слышится что-то особенное, чего нѣтъ въ теперешней поэзіи. Не знаемъ вполнѣ ли опредѣлимъ мы эту особенность поэзіи Хомякова, если скажемъ, что она заключается въ возвышенности содержания, осязательной опредѣленности поэтической мысли, въ высотѣ и торжественности тона и строгой красотѣ выраженій. Прочитайте эти стихи, — и увидите правы ли мы:

«Въ часъ полночный, близъ потока
Ты взгляни на небеса:
Совершаются далеко
Въ горнемъ мірѣ чудеса.
Ночи вѣчныя лампы
Невидимы въ блескѣ дня,
Стройно ходятъ тамъ громады
Негасимаго огня.
Но внивайся въ нихъ очами,
И увидишь, что вдали,
За ближайшими звѣздами,
Тьмами звѣзды въ ночь ушли.
Вновь взглядишь — и тьмы за тьмами
Утомятъ твой робкій взглядъ:
Всѣ звѣздами, всѣ огнями
Бездны синія горять.

«Въ часъ полночнаго молчанья,
Отгнавъ обманы сновъ,
Ты взглядишь душой въ писанья
Галилейскихъ рыбаковъ.
И въ объемѣ книги тѣсной
Развернется предъ тобой
Безконечный сводъ небесный,
Съ лучезарною красой.
Узришь: звѣзды мысли водятъ
Тайный хоръ свой вкругъ земли.
Вновь взглядишь — другія всходятъ;

Вновь взглядишь — и тамъ вдали
Звѣзды мысли, тьмы за тьмами,
Всходятъ, всходятъ безъ числа, —
И зажжется ихъ огнями
Сердца дремлющая мгла.»

Г. Фетъ любимецъ нашей публики. Мы очень уважаемъ г. Фета, какъ автора многихъ прекрасныхъ стихотвореній, изъ числа которыхъ превосходное «Къ смерти» могло бы занять почетное мѣсто во всякой литературѣ; — уважаемъ его какъ переводчика Гёте, Горація и Гейне, и потому намъ очень жаль, что поэтъ нашъ слишкомъ предался туманному и неясному роду поэзіи.

Всѣ произведенія его, носящія такой характеръ, состоятъ изъ недомолвокъ, темныхъ намековъ, не договоренныхъ фразъ, не дорисованныхъ образовъ. Никому не можетъ служить оправданіемъ то обстоятельство, что туманное направленіе въ поэзіи ведетъ свое начало отъ Гёте, написавшаго нѣсколько превосходныхъ стихотвореній въ этомъ родѣ. Туманъ въ произведеніяхъ Гёте не мѣшаетъ различать предметы, которые покрываетъ, и только придаетъ имъ особый таинственный колоритъ. Гейне довелъ туманность до крайности, а подражатели его стали просто непонятны; туманъ ихъ или искажаетъ предметы или совершенно скрываетъ ихъ отъ глазъ читателей. Вотъ типическій образецъ такого рода произведеній:

«Уноси мое сердце въ звенящую даль.
Гдѣ, какъ мѣсяцъ за рошей, печаль;
Въ этихъ звукахъ на жаркія слезы твои
Кротко свѣтитъ улыбка любви.

«О дитя! какъ легко средь незримыхъ зыбей
Довѣряться мнѣ пѣснѣ твоей:
Выше, выше плыву серебристымъ путемъ,
Будто шаткая тѣнь за крыломъ.

«Вдалекѣ замираетъ твой голосъ, горя
Словно за моремъ ночью заря,
И откуда-то вдругъ, я понять не могу,
Грянетъ звонкій приливъ жемчугу.

«Уноси жъ мое сердце въ звенящую даль,
Гдѣ кротка, какъ улыбка, печаль;
И все выше помчусь серебристымъ путемъ
Я, какъ шаткая тѣнь за крыломъ.»

Это стихотвореніе напоминаетъ знаменитую фразу Байрона изъ «Часовъ досуга»: «Что за мрачный призракъ блеститъ на

кровавыхъ волнахъ бури?» Но Байрону жестоко доставалось за подобныя фразы отъ «Эдинбургскаго обозрѣнія.» Конечно, онъ жестоко и отмстилъ своимъ критикамъ, однако въ послѣдствіи сдѣлался точнѣе и осмотрительнѣе, и враги его, шотландскіе критики, стали привѣтствовать исправившагося поэта самыми лестными одобреніями.

Г. Аксаковъ (И. С.) обладаетъ истиннымъ поэтическимъ талантомъ; но жаль, что въ послѣднее время онъ сталъ давать своей поэтической дѣятельности одностороннее направленіе. Направленіе это, какъ выразилось объявленіе о «Парусѣ», гражданское. Г. Аксаковъ относится даже съ нѣкоторымъ пренебреженіемъ къ своему стиху. Онъ говоритъ:

«Мой черствый стихъ души не грѣетъ».

Но стихъ долженъ непременно грѣть душу, иначе онъ не поэтическій. А этого эпитета нельзя отнести къ стиху поэмы «Бродяга», особенно въ описаніи всенощной. Еслибъ у г. Аксакова въ самомъ дѣлѣ былъ талантъ односторонній, еслибъ онъ для своихъ произведеній не могъ найдти никакого содержанія помимо гражданского, несправедливо бы было отъ него и требовать другаго направленія. Между тѣмъ авторъ «Бродяги» показалъ многосторонній талантъ: потому читатели въ правѣ требовать отъ его произведеній разнообразія...

Гр. Толстой владѣетъ прекрасно русскимъ народнымъ стихомъ и народной рѣчью. Онъ съ замѣчательнымъ искусствомъ умѣетъ облекать мысли и чувства образованнаго человѣка въ простонародныя формы и отбѣняетъ ихъ то ироніей русскаго человѣка, то его грустью, то удалью. — Къ сожалѣнію въ прошломъ году не печатали своихъ произведеній гг. Полонскій и Щербина. По крайней мѣрѣ намъ не случилось нигдѣ видѣть ихъ имена.

Въ журналахъ вышло также множество стихотвореній (чего и слѣдовало ожидать) съ *чисто-современнымъ* направленіемъ. Содержаніе ихъ съ одной стороны составляетъ взяточничество, невѣжество общества и вообще всякіе общественные пороки, съ другой — улучшеніе быта крестьянъ и надѣленіе ихъ землею, гласность, и вообще все то, о чемъ гораздо лучше, полезнѣе и приличнѣе писать въ прозѣ. Что бы сказалъ Пушкинъ, еслибъ видѣлъ господство такого направленія въ русской поэзіи, Пушкинъ, не хотѣвшій признать поэтомъ самаго Беранже, за то, что тотъ въ своихъ пѣсняхъ служилъ общественнымъ вопросамъ?

Переходя отъ стихотворцевъ къ писателямъ по части изящной словесности въ прозѣ, мы прежде всего назовемъ автора, кото-

рый, хотя и не сочиняетъ повѣстей и романовъ, занимаетъ одно изъ самыхъ почетныхъ мѣстъ между писателями-художниками. Мы говоримъ объ авторѣ «Семейной Хроники».

Положеніе С. Т. Аксакова въ нашей литературѣ и отношенія его къ публикѣ совершенно-особенныя : его всѣ читаютъ и всѣ хвалятъ. Несмотря на то, что въ произведеніяхъ своихъ онъ никогда не касается современныхъ общественныхъ вопросовъ, на которые такъ падки теперешніе читатели, «Семейная Хроника и Воспоминанія» едва ли не наиболѣе читаемая и наиболѣе любимая книга въ настоящее время. Чѣмъ объяснить такое противорѣчіе? Слишкомъ много потребовалось бы и мѣста и времени на такое объясненіе, потому что оно повлекло бы насъ въ подробный разборъ произведеній г. Аксакова. Скажемъ только, что главныя причины успѣха «Семейной Хроники» заключаются въ необыкновенной нормальности, такъ-сказать общности чувствъ, которыми она проникнута, и въ необыкновенной типичности и отчетливости образовъ, въ ней представленныхъ.

Г. Островскій напечаталъ комическія сцены въ трехъ картинахъ подъ названіемъ «Не сошлись характерами». Г. Островскій безъ сомнѣнія первый нашъ сценическій писатель настоящаго времени. Еще не прошло десяти лѣтъ съ появленія первой его комедіи, а уже мѣсто его въ исторіи нашей словесности опредѣлилось. Онъ показалъ совершенно-самостоятельное дарованіе: своеобразныя приемы въ изображеніи характеровъ и оригинальность языка дѣйствующихъ лицъ. Комедія «Свои люди — сочтемся» въ самое короткое время разошлась по всей Россіи, породила не одного подражателя, и авторъ ея сдѣлался народнымъ писателемъ. Можетъ-быть этотъ эпитетъ многимъ покажется слишкомъ сильнымъ, но мы не знаемъ, какъ иначе называть писателя, имя котораго вдругъ стало извѣстно всѣмъ грамотнымъ классамъ общества—отъ кабинета профессора до лавки въ Ножевой линіи. Насценѣ произведенія г. Островскаго имѣютъ огромный успѣхъ и составляютъ любимый репертуаръ посѣтителей московскаго Малаго театра. Причина этого успѣха заключается во-первыхъ въ необыкновенной живости и быстротѣ дѣйствія; во-вторыхъ въ вѣрности и рельефности характеровъ и языка дѣйствующихъ лицъ; въ-третьихъ въ разнообразіи впечатлѣній, производимыхъ на зрителей: смѣшное и трогательное, какъ это бываетъ въ самой жизни, перемѣшаны въ произведеніяхъ г. Островскаго. Много также помогаетъ успѣху его произведеній на театрѣ игра гг. Садовскаго и Васильева, которые являются ихъ истолкователями передъ массою.

Послѣднее произведеніе г. Островскаго не велико по объѣму, но по содержанію могло бы быть матеріаломъ для большой комедіи, еслибъ авторъ развилъ подробнѣе отношенія нѣкоторыхъ

дѣйствующихъ лицъ. Большая часть характеровъ очерчена прекрасно. Особенно хороши купецъ и его жена. Разговоръ этой четы самый типическій, и въ то же время самый вѣрный и естественный изъ всѣхъ купеческихъ разговоровъ въ произведеніяхъ г. Островскаго, — а это много. Мы не совсѣмъ довольны двумя лицами пьесы — сентиментальной дамой и ея сыномъ. Они оба изображены слишкомъ угловато, а сынъ даже и не совсѣмъ вѣрно. При изображеніи этого характера авторъ, кажется, заплатилъ дань времени, и немножко увлекся нынѣшнимъ сатирическимъ направленіемъ. Конечно, въ наше время есть очень много недорослей съ такими безправственными понятіями, какъ у г. Островскаго молодой Брежневъ, но нѣкоторыя понятія и слова этого лица являются совершеннымъ анахронизмомъ. Такъ, на примѣръ, молодой человѣкъ, не лишенный внѣшняго лоска воспитанія, называетъ «старой каргой» женщину, которая нянчила его въ дѣтствѣ. Этого не бываетъ . . . И Митрофанушка фонъ-Визина — типъ прошедшаго столѣтія — не относится такъ къ своей Еремѣвнѣ.

Однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ литературныхъ произведеній прошлаго года былъ романъ г. Писемскаго «Тысяча душъ.» Произведеніе г. Писемскаго исполнено такихъ серьезныхъ красотъ, что для достойной оцѣнки его потребовалась бы большая критическая статья, а мы по-неволѣ должны ограничиться краткимъ отзывомъ.

Направленіе современнаго общества обыкновенно называютъ положительнымъ, практическимъ, и современный человѣкъ гордится этимъ названіемъ передъ прошлыми поколѣніями. Въ наше время нѣтъ прозвища унизительнѣе названій романтика, идеалиста, названій, которыя почитаются равнозначущими выраженіямъ: ни на что не способный человѣкъ, дуракъ, а слово дуракъ, по замѣчанію Гоголя, ужаснѣе для современнаго человѣка, чѣмъ титулъ подлеца.

Такое всеобщее уваженіе и стремленіе къ практичности и положительности, по мнѣнію многихъ, есть слѣдствіе того равновѣсія между духовными и матеріальными стремленіями человѣка, которое установилось въ немъ въ наше время. Если эта гармонія матеріи съ духомъ дѣйствительно существуетъ, то по всѣмъ вѣроятіямъ она-то и есть источникъ того непомѣрнаго корыстолюбія, которымъ одержимъ нашъ вѣкъ, вѣкъ, когда всѣ помыслы устремлены на пріобрѣтеніе денегъ, какъ средства для комфорта. Но знаютъ ли герои нашего времени, величающіе себя положительными людьми, что большая часть изъ нихъ такіе же безумные мечтатели, какъ алхимики и искатели *perpetuum mobile*? Мечтатель среднихъ вѣковъ тратилъ состояніе и здоровье, терпѣлъ всевозможныя лишенія въ надеждѣ

найти средство дѣлать золото; мечтатель нашего времени жертвуетъ тѣмъ же самымъ въ надеждѣ сдѣлаться милліонеромъ. Конечно, многимъ въ наше время удаются такіе расчеты, но и многіе изъ средневѣковыхъ ученыхъ открывали то, чего желали, потому что не всѣ же они стремились къ такимъ открытіямъ, какъ дѣланіе золота и вѣчное движеніе.

Симптомы этой эпидемической болѣзни нашего вѣка прекрасно изображены г. Писемскимъ въ героѣ его романа—Калиновичъ.

Калиновичъ, кандидатъ университета, человѣкъ умный, образованный и благородный настолько, насколько можетъ быть благороденъ человѣкъ совершенно-неспособный жертвовать своими интересами для блага другихъ, получаетъ мѣсто смотрителя училища въ уѣздномъ городѣ. Тамъ онъ сходится съ молодой дѣвушкой, дочерью прежняго смотрителя, и влюбляется въ нее. Настенька (такъ зовутъ героиню романа) дѣвушка умная, образованная, развитая, одаренная пылкимъ и благороднымъ сердцемъ, но совсѣмъ не практическая. «Она жила, говоритъ авторъ, въ какомъ-то особенномъ мірочкѣ, наполненномъ Гомерами, Орасами, Онѣгинами, героями французской революціи. Любовь женщины она представляла себѣ не иначе, какъ чувствомъ, въ основаніи котораго должно было лежать самоотверженіе, жизнь въ обществѣ — мученіемъ, общественный судъ — вздоромъ, на который не стоитъ обращать вниманія. Окружавшая ее среда сдѣлалась для нея невыносимою». Познакомившись въ Калиновичемъ, она встрѣтила въ немъ перваго человѣка, который понималъ то, что она читала и съ которымъ она могла говорить о томъ, что ее интересуетъ. Можно себѣ представить какъ она ему обрадовалась и какое почувствовала къ нему уваженіе. Уваженіе это еще болѣе усилилось, когда оказалось, что Калиновичъ литераторъ, и что произведеніе его имѣло успѣхъ. Настенька влюбляется въ Калиновича. Человѣкъ другаго покроя былъ бы счастливъ такою взаимностью и благополучно бы женился на предметѣ своей любви. Но герой нашъ — человѣкъ «положительный» и потому мечтающій о блестящей карьерѣ.... Когда дѣло дошло до объясненія, онъ, не желая влачить узы брака съ бѣдной дѣвушкой, потребовалъ, чтобъ она пожертвовала своей честью для ихъ взаимной страсти, и когда на это послѣдовалъ рѣшительный отказъ, пересталъ съ ней видѣться. Очень естественно, что Настенька мучилась и страдала, не видя человѣка, котораго любитъ, который одинъ ее понимаетъ, — и положительный человѣкъ настоялъ на своемъ... Много еще доставилъ онъ мученій и своей жертвѣ и самому себѣ, служа своимъ практическимъ цѣлямъ. Наконецъ, цѣлей своихъ онъ достигъ: женился на богатой, купилъ мѣсто, и сдѣлался значи-

тельнымъ человѣкомъ. Но, несмотря на эти удачи на поприщѣ практической жизни, счастья онъ не приобрѣлъ, потому, что женился на женщинѣ отвратительной наружности, сомнительной нравственности и старой, — живя съ которой, разумѣется, мучился, а служебная его карьера кончилась тѣмъ, что его отставили отъ службы съ преданіемъ суду. Не практичны ли было ему жениться на Настенькѣ и жить скромно въ уѣздномъ городкѣ?

Вотъ мораль, которую мы выводимъ изъ романа г. Писемскаго. Говоримъ «мы», потому что авторъ, какъ истинный художникъ, спокойно нарисовалъ картину современныхъ нравовъ, не выводъ изъ нея никакихъ заключеній и предоставляя каждому читателю дѣлать ихъ *ad libitum*. Главное достоинство «Тысячи душъ» — необыкновенная вѣрность дѣйствительности, естественность, правда. Кромѣ того, произведеніе г. Писемскаго представляетъ рѣдкое сочетаніе живости и интереса разсказа съ глубоко-серьезнымъ содержаніемъ. Дѣйствующія лица романа всѣ до одного типы. Разговоры ихъ, несмотря на то, что въ нихъ очень часто идетъ рѣчь объ отвлеченныхъ предметахъ, всегда исполнены драматическаго смысла. Такъ вести разговоры — особенность таланта г. Писемскаго, ему одному принадлежащая. У него, напримѣръ, разговоръ о литературѣ, о критикѣ Бѣлинскаго завязываетъ отношенія между любовниками... Въ романѣ есть множество сценъ истинно драматическихъ, которыя такъ и просятся на сцену.

Но есть одинъ недостатокъ въ произведеніи г. Писемскаго: это кое-гдѣ встрѣчающіяся излишнія подробности въ описаніяхъ. Такъ, напримѣръ, описаніе визита Калиновича къ какой-то Амальхенъ могло быть и опущено. Конечно, описаніе это само по себѣ хорошо и имъ могъ бы гордиться любой литераторъ натуральной школы, но для таланта г. Писемскаго гоняться за такого рода картинками, значить ходить на муху съ обухомъ. Пушкину въ «Капитанской Дочкѣ» представлялся весьма удобный случай ввести эпизодъ такого рода. Но онъ благоразумно ограничилъ свое описаніе словами героя романа: «Что прикажете? День я кончилъ также безпутно, какъ и началъ. Мы отужинали у Аринушки.»

О повѣсти г. Тургенева «Ася» мы распространяться не будемъ, а скажемъ только одно слово о томъ, что, по нашему мнѣнію, составляетъ особенность таланта ея автора.

Намъ кажется, что можно довольно-вѣрно охарактеризовать произведенія г. Тургенева вообще и «Записки охотника» въ особенности, назвавъ ихъ поэтическими впечатлѣніями. Г. Тургеневъ въ своихъ романахъ, повѣстяхъ и разсказахъ, какъ справедливо было замѣчено нѣкоторыми критиками, по

преимуществу поэтъ. Выводя передъ читателемъ лица, имъ созданныя, онъ по большой части изображаетъ не характеры ихъ, но собственные впечатлѣнія, полученныя при взглядѣ на эти лица.

Въ 1858 году была также напечатана повѣсть гр. Л. Толстаго «Альбертъ». Гр. Толстой по справедливости почитается однимъ изъ очень даровитыхъ писателей нашихъ. Онъ принадлежитъ къ немногому числу тѣхъ, которые творятъ изъ чисто-художественныхъ цѣлей. Характеристическая черта произведеній автора «Четырехъ эпохъ развитія» и «Военныхъ разсказовъ» заключается въ тонкости, вѣрности и глубинѣ психическихъ наблюденій,—въ благородствѣ и чистотѣ чувствъ, которыми онѣ согрѣты.

Что касается собственно до повѣсти «Альбертъ», то ея вмѣстѣ съ «Записками маркёра» слѣдуетъ отнести къ неудавшимся произведеніямъ автора. Герой повѣсти «Альбертъ» человѣкъ полусумасшедшій, а психическія наблюденія надъ такими субъектами не должны и не могутъ составлять матеріала для художественнаго произведенія.

Г. Потѣхинъ напечаталъ повѣсть «Бурмистръ» и драму «Мишура». «Бурмистръ» рѣшительно лучшее изъ всѣхъ произведеній г. Потѣхина. Содержаніе этой повѣсти, какъ уже видно изъ ея названія, взято изъ народной жизни, которую съ такой искренней любовью всегда изображаетъ авторъ. Дѣлая удареніе на словѣ «искренній», мы хотимъ этимъ сказать, что г. Потѣхинъ любить народъ не по теоріи или модѣ, но потому, что сжилъ душой съ его интересами. Смотра съ этой точки зрѣнія на произведенія г. Потѣхина, мы думаемъ, что неправы тѣ, кто ставятъ автору въ вину излишнія подробности въ описаніяхъ жизни и обстановки нашего мужика. Такого рода подробности показываютъ въ г. Потѣхинѣ не писателя-натуралиста, рисующаго сплошь да рядомъ все, что ни попадется на глаза, но человека, который такъ высоко уважаетъ народный бытъ, что дорожитъ, какъ сокровищемъ, каждой мельчайшей его чертою. — Піеса «Мишура» проникнута серьезною мыслию, заключаетъ въ себѣ много удачно-очерченныхъ характеровъ и прекрасныхъ отдѣльныхъ сценъ, но не удовлетворяетъ требованіямъ критики въ отношеніи драматической постройки.

Г. Панаевъ напечаталъ повѣсть «Внукъ русскаго милліонера», гдѣ между прочимъ высказалъ слѣдующую остроумную шутку противъ критическаго направленія, которому слѣдуемъ и мы грѣшныя:

«Я пишу какъ пишется, не имѣя ни малѣйшей претензіи на художественность, на чистое искусство, на творчество, и тому по-

добное. Говоря откровенно, я даже не совѣмъ понимаю изъ чего такъ хлопочуть защитники *чистаго искусства* и *художественности*? Сколько бы они ни заботились о насъ, по добротѣ души своей, они изъ насъ, простыхъ писателей, не сдѣлаютъ художниковъ, и, какъ бы мы сами ни желали угодить имъ, какъ бы мы ни усиливались превратиться въ *творцовъ*, всѣ наши усилія останутся не только тщетными, но и смѣшными... »

Защитники чистаго искусства, какъ у насъ, такъ и вездѣ, никогда не имѣли и не имѣютъ претензій требовать отъ писателей, чтобъ они были творцами. Творчество, какъ извѣстно, бываетъ и у людей, никогда не занимавшихся никакой отраслью художественной дѣятельности, и наоборотъ оно не всегда бываетъ у людей, служащихъ чистому искусству и одаренныхъ талантами. Коперникъ и Вико не были художниками, но они творцы новыхъ системъ; Альфредъ дѣ Мюссэ обладалъ большимъ художественнымъ талантомъ, но смѣшно называть его произведенія твореніями. Что касается до повѣсти г. Панаева, то вѣроятно защитники чистаго искусства не найдутъ въ ней ничего противорѣчащаго «принципу искусства для искусства», хотя и не назовутъ ея автора творцомъ. Г. Панаевъ не проводитъ въ своей повѣсти никакихъ общественныхъ идей, а просто передаетъ, съ свойственными ему наблюдательностью и остроуміемъ, черты петербургской жизни. Слогъ течетъ очень живо, рассказъ мѣстами проникнутъ чувствомъ, читается легко и съ удовольствіемъ.

Въ 1858 году въ нашей литтературѣ появился новый чрезвычайно-замѣчательный талантъ, обратившій на себя вниманіе какъ знатоковъ изяшнаго, такъ и друзей нашей народности. Мы говоримъ о г-жѣ Кохановской, и ея повѣсти «Послѣ обѣда въ гостяхъ». Судя по тонкому анализу женскаго сердца, замѣчаемому въ этомъ произведеніи, видишь, что авторъ его дѣйствительно дама; но необыкновенная наблюдательность надъ жизнью людей простаго класса, необыкновенная вѣрность, типичность языка дѣйствующихъ лицъ, художественное спокойствіе рассказа заставляютъ въ этомъ сомнѣваться. Первая повѣсть г-жи Кохановской «Любила» гораздо болѣе похожа на произведеніе современной русской женщины: тамъ есть много фантастическаго, эксцентрическаго и невѣрнаго. Ничего подобнаго не найдетъ и самый строгій критикъ—реалистъ въ «Послѣ обѣда въ гостяхъ».

Сюжетъ этой повѣсти самый простой. Молодую дѣвушку хотятъ выдать насильно замужъ за почти совѣмъ незнакомаго и ненавистнаго ей человѣка. Она противится этому; мать прибѣгаетъ къ побоямъ, и дѣвушку почти безчувственную ведутъ подъ вѣнецъ. Послѣ вѣнца молодая не хочетъ и смотрѣть на своего

мужа, не говоритъ съ нимъ, и отвѣчаетъ грубостями на его любовь. Такъ проходитъ около года. Наконецъ, побѣжденная кровостостью, безответностью и любовью мужа, она дѣлается примѣрной, страстно-любящей женой. Исторія этого душевнаго переворота, составляющая содержаніе, художественную идею повѣсти, рассказана г-жою Кохановской такъ, что рѣшительно не знаешь, какія слова и выраженія приискать для похвалы: «мастерство», «искусство» — выраженія, какъ-то не идущія къ описанію, которое по простотѣ, безыскусственности и правдѣ заставляетъ рѣшительно забыть, что передъ вами литературное произведеніе. Сколько высокаго драматизма, сколько глубоко-трогающихъ душу словъ въ слѣдующемъ рассказѣ главнаго дѣйствующаго лица повѣсти:

«То-есть не терплю я его, какъ стала я на томъ, что не терплю — и кончено, сударыня моя! Да, вѣдь, какъ не терплю? И не подходитъ онъ ко мнѣ, и не говори; и глядѣть я на него не гляжу! Вотъ тебѣ святое слово: ей Богу! годъ и два мѣсяца коли онъ слышалъ отъ меня другое что, одно *да* и *нѣтъ*, и больше ничего. Я съ нимъ по недѣлямъ глазами не встрѣчалась. Коли онъ *здѣсь*, то я смотрю *туда*, или поверхъ его звѣзды по потолку считаю; а коли ужъ опустила глаза, хоть онъ часъ битый стой передо мною, не взгляну я. Его три дня дома нѣтъ; прійдетъ онъ, я у окна сижу, головы не поворочу, когда онъ въ комнату войдетъ. Вотъ какое я золото была! Что тутъ говорить? Чай мы пьемъ, онъ отъ меня на два аршина сидитъ; такъ я сама не спрошу у него, хочеть ли онъ еще чаю. «Малашка, говорю (дѣвка его Малашка была), спроси у барина, хочеть еще чаю»... Какъ тебѣ и рассказать все?... Противный онъ мнѣ показывался такой, что я бы завязала глаза и бѣжала въ лѣсъ отъ него, и все мнѣ отъ него противно, вотъ я не глядѣла бы ни на что! Онъ, матушка, гдѣ тамъ копѣйку какую несчастную разгорить, какъ муравей, гляди, тащитъ мнѣ не то, такъ другое, коли не подарочекъ какой, такъ лакомство. И что ты изволишь думать? Такъ оно изваляется все по комнатѣ у меня, пылью припадетъ, а я его пальцемъ не трону, пока сама Малашка не догадается прибрать въ сундукъ. Пріѣхала къ намъ матушка, поглядѣть-то, знаешь, на наше житье-бытье. Ну, и увидала... «Да что жъ ты это, Любовь, чудеса творишь?» стала она говорить мнѣ, осматриваясь, чтобъ его не было. «У кого ты это научилась? мужъ къ тебѣ какъ мужъ, а ты ему, что называется, и черезъ губу не плюешь?» Я поворотилась и будто про себя говорю: «Напрасно еще: навязали шатуна на шею, да и возись съ нимъ, какъ съ путнымъ чѣмъ.» — «Такъ ты еще вотъ что говоришь!» — Тудасюда, поискала руками матушка, и увидѣла на окнѣ аршинъ. — «Коли у тебя закону божьяго, ни страху мужнина нѣтъ, такъ вотъ я тебя материнскою рукой поучу.» — И ко мнѣ матушка съ аршиномъ; а тутъ онъ, откуда ни возьмись въ дѣряхъ, увидѣлъ. «А нѣтъ! матушка! заслѣнилъ меня. Какъ вамъ угодно, говоритъ. Было ваше время, когда вы учили ее, а теперь ужъ Любаша моя.» А я, что

думаешь? изъ рукъ у него рвусь. Лучше бы меня матушка аршиномъ прибила, чѣмъ онъ защищаетъ меня. Да, моя родная! хоть бы онъ побилъ меня, желала я. Не шутя говорю... То-есть хоть бы я дала себѣ волю и набрала его, сколько душа хотѣла, такъ нѣтъ! и въ томъ не доля моя. Молчить, на всѣ мои мудрости молчить, и еще какъ скажетъ мнѣ: «мое сокровище!» Лучше бы онъ ножемъ подь сердце мнѣ далъ. Зароюсь я головой въ подушки, и лежу по цѣлымъ часамъ, словно я не живая. Гашка безъ него придетъ усовѣщевать меня. Станетъ надо мною. «Матушка! барынька! Любушка! что ты это съ собою дѣлаешь? оглянись ты на Бога и на него, сердечнаго. Вѣдь краше въ гробъ кладутъ. Ты его совѣмъ извела.» И начнетъ меня упрасивать. Стыдно мнѣ ее, старуху, прогнать. Долго терплю я, да ужъ какъ станетъ она расписывать, что онъ п добрый, и хорошій, за такимъ бы мужемъ только жить, да Бога небеснаго благодарить, я, матушка, въ подушкахъ не улежу... «Возьми его, старая, себѣ, скажу, и повѣсь на шею: равно длиненъ.» Съ тѣмъ Гашка вздыхаючи и поидетъ отъ меня... Наступила весна, и, Мати Божія! какъ-то она тяжка мнѣ была! По улицамъ знакомыя пѣсни поютъ, люди всѣ будто повеселѣли, посмотришь, всякій словно радъ чему, народъ, какъ пчелы, высыпалъ, чудить по надворью, и думаешь, что у матушки садикъ цвѣтетъ, сестрицы, голубочки, воркуютъ подъ яблоней, вспоминаютъ меня... Наступаетъ божій великій праздникъ, радость небесная на землѣ; думаю я, думаю себѣ, хотя не для своего веселія, такъ ради Свѣтлаго дня Христова, пусть и я буду на людей похожа. Занялась я всѣмъ, матушка, какъ слѣдуетъ къ празднику. И пасочки хорошія и спекла, куличъ попу посадила, яица покрасила, и таки милостыньку не забыла нищимъ дать, и въ тюрьму послала; все какъ пріучилась у матушки въ домѣ, что она бывало изъ послѣдняго бьетъ, а чтобы ей достойно хлѣбомъ святымъ и милостынею Христовъ праздникъ принять. И онъ еще, далъ ему Богъ, говѣлъ на послѣдней недѣлѣ, почти безвыходно все въ церкви да въ церкви; такъ мнѣ ужъ весело было да хорошо такъ распоряжаться всѣмъ. Наступилъ самый канунъ Свѣтлаго праздника; я и думки никакой не гадаю. Все какъ водится: зазвонили къ *Дьяніямъ*; одѣлся онъ, пошелъ на *Дьянія*, а я осталась въ домѣ къ празднику все прибрать. Салфетки чистыя на столики достала, пока столъ накрыла, устала его, чѣмъ Богъ послалъ; пока постель нарядила, лампадки всюду засвѣтила, ладаномъ по дому покурила, пока то-другое, едва успѣла сама одѣться, гляжу, и онъ пришелъ за мною проводить меня въ церковь, что ужъ заутреня скоро начнется. Пошли мы, и еще на дорогѣ какъ это звучно да чудно огласилъ насъ великій благовѣстъ! Боже Ты мой Господи! Кажется, вѣдь, все равно ночь и благовѣстъ святой, развѣ его въ первый разъ отъ роду слышишь? А между тѣмъ будто именно въ первый и въ послѣдній разъ въ своей жизни слышишь его, какъ онъ, матушка, дрогнетъ у тебя нъ ухахъ среди неусыпальной ночи Свѣтлаго дня Христова!... Вотъ-то и заутреня отошла. Всѣ люди радостно идутъ по домамъ, и мы пришли, то-есть я первая вошла въ комнату и стою, наклонилась надъ столомъ, красныя яица къ посвященію отбираю; смотрю, онъ

вошелъ и прямо ко мнѣ, «Нынче, говоритъ, враги заклятые цѣлуются и обнимаются; а мы, мы все же, передъ Богомъ и передъ людьми, мужъ и жена, говоритъ; а голосъ у него, какъ струна, дрожитъ... «Христосъ воскрес!» И онъ, матушка, обнялъ меня и поцѣловалъ три раза. Я того не помню, отвѣтила я ему «Воистину воскрес», или не отвѣтила; только какъ я опомнилась, его уже не было въ комнатѣ, я одна стою, и всѣ мои красныя лица раскатились по столу. Вотъ тогда, матушка, со мною что-то стало такое, что и Господь Святый вѣдаетъ! Никакого я сужденія къ себѣ не приложу. Стою въ церкви, у такой великой обѣдни, и вдругъ позабуду, гдѣ я стою. Мурашки по мнѣ по всей пойдутъ и разомъ сердце замретъ — замретъ... Вотъ, думаю, Господи, на ногахъ не устою. Сказать бы: болѣзнь какая? не болитъ ничего; а всю меня третъ да мнетъ, словно меня сглазилъ кто... Но въ такой великій праздникъ святаго Христова Воскресенія, ни какой злой глазъ не беретъ: это извѣстно. Разговѣлись мы, не легчаетъ мнѣ; а тутъ еще я знаю, что, отдохнувши, надо собираться ѣхать къ матушкѣ. Она черезъ людей приказывала, чтобы мы на праздникъ непременно къ ней были. Не хочется мнѣ подъ колокола ѣхать, да дѣлать нечего. Онъ еще со вчерашняго дня самъ все въ бричкѣ осматрѣлъ и уладилъ; сегодня только садись да поѣзжай. Вотъ, думаю себѣ, бѣда не приходитъ одна. Пусть я отдохнуть лягу; можетъ — статься, оно перейдетъ сномъ. И легла я, матушка: взяла подушку, положила на диванчики и голову платкомъ укрыла — нѣтъ, не спится мнѣ. Томитъ меня какая-то истома, словно я боюсь чего и не боюсь, словно меня что за дверьми ждетъ и кровь по мнѣ волною ходитъ. Встала я, щеки у меня горять; а я этого дива, матушка, какъ замужъ вышла, не видала, чтобы у меня цвѣтъ на лицѣ былъ. Нечего дѣлать, стала я собираться къ поѣздкѣ. Выдвинула сундучекъ, чтобы уложить кое-что, укладываю я — и уложеннаго ничего нѣту: такъ у меня, сами собою, колѣни подгибаются и руки опускаются. «Господи, говорю, хоть бы на вѣтеръ скорѣе. Авось бы меня вѣтромъ провѣяло». И вѣтромъ не провѣваетъ, матушка. Поѣхали мы — все одно. Душно мнѣ въ бричкѣ сидѣть, и будто я сержусь, и сама не знаю на кого сержусь. Стали мы подъѣзжать къ Купянкѣ, прилучился намъ на дорогѣ мосточикъ. «Дай, говорю, хоть выйду, пройдуся, перейду этотъ мосточикъ». Онъ велѣлъ остановить лошадей, и мы вышли. Только онъ, матушка, хотѣлъ меня взять подъ руку, чтобы перевести, значить, черезъ мостокъ (дурно было идти), я какъ отшатнусь отъ него, и прямо съ размаху упала подъ мостокъ, не удержалась на краю. Я перепугалась, а онъ бросился ко мнѣ, лица на немъ нѣтъ. «Боже мой! сплеснулъ руками, долго ли еще это будетъ?» Я стала подниматься, матушка, и какъ-то мнѣ пришлось, что я прямо глянула глазами на него; а онъ бѣлый какъ полотно, стоитъ надо мною, и *мнѣ его, матушка, жалко стало...* Сѣли мы, опять поѣхали, а мнѣ все его жалко. Ушибиться я вовсе не ушиблась: упала мягко на прошлогоднюю траву и даже не замарала ничего... а какъ подумая, а мнѣ жалко его. Дай, говорю себѣ, погляжу на него. Поглядѣла я, матушка, а онъ сидитъ какъ словно окаменѣлый: въ лицѣ

ни кровиночки нѣтъ; протянулъ руки, сложилъ ихъ себѣ на колѣно и сидитъ, хотъ бы онъ двинулся или пошевелинулся; даже у него глаза будто остановились. Я хочю позвать и не знаю, какъ. Позабыла я, не знаю, какъ моего мужа зовутъ. Тронула его за рукавъ, онъ не слышитъ. Я и не знаю что дальше со мною стало. Только я, матушка, упала къ нему на руки, ухватилась за него, говорю: «Прости меня! я больше не буду». Онъ даже задрожалъ весь. «Не будешь?» Наклонился ко мнѣ и глядитъ на меня быстро глазами, что мнѣ даже страшно стало. «Посмотрю я, какъ ты не будешь? Поцѣлуемся». И вотъ тебѣ, какъ Богъ святъ, родная моя, откажись я въ ту минуту поцѣловать его, онъ бы, кажется, тутъ же убилъ меня... Я закинула ему руки кругомъ шеи, крѣпко обняла его, и какъ своимъ поцѣлуемъ поцѣловала его, да и не оторвусь отъ него... Какъ зарыдаю я, какъ польются у меня слезы — и вотъ, матушка, когда пришелъ потокъ имъ! Я тебѣ и сказать не умѣю, какъ это я плакала. Ни прежде ни послѣ я не видѣла и не слыхала, чтобы человѣкъ лился такъ слезами, какъ я лилась тогда. Никаноръ Семенычъ меня обнялъ, держитъ возлѣ себя. «Любаша! говоритъ, Богъ съ тобою! Христосъ съ тобою!» креститъ меня, цѣлуетъ меня; а я одно, что льюся слезами, припала на грудь у него. Пріѣхали мы; я встать не могла. Вынулъ онъ меня изъ брички, несетъ на рукахъ... Сестрицы выбѣжали на встрѣчу, матушка за ними идетъ; а я еще пуще плачу, льюсь слезами. Внесъ онъ меня въ комнаты; положилъ на постель, и самъ сталъ около меня; а я, какъ дитя, что ни больше ухвачусь за него, то больше зарыдаю. «Никаноръ Семенычъ! да что ты это сдѣлалъ съ моей дочерью?» говоритъ матушка; а сестрицы кругомъ меня какъ ласточки выются. Положилъ онъ меня на матушкину кровать, такъ нѣтъ моихъ силъ, не оторвусь я отъ него! Что будто утишусь немного, подниму голову, да только гляну на него, такъ меня опять слезы залиютъ! Опять я, какъ сумасшедшая, прилну до него... И не скажу я тебѣ, и ты меня не спрашивай, заключила Любовь Архиповна, обѣими руками махая на меня, — какъ это я насилу унялась отъ великаго плача моего...!.. Зато, матушка, проснувшись на другой день, я съ тѣхъ моихъ слезъ словно вновь на свѣтъ родилась. Такъ мнѣ на сердцѣ легко да хорошо, и будто солнце на меня радостно свѣтитъ, а Никаноръ Семенычъ мой краше мнѣ яснаго солнышка. И мы, родная моя, послѣ того девять лѣтъ прожили вмѣстѣ, мы другъ другу косога взгляда не показали. Онъ поѣдетъ куда, я его жду не дождусь, всѣ глаза просмотрю; а какъ меня нѣтъ, Никаноръ Семенычъ, бывало, къ землѣ припадаетъ, прислушивается скоро ли я буду.»

Сколько представлялось автору удобныхъ случаевъ къ внѣшнимъ эффектамъ, къ разсужденіямъ о разныхъ общественныхъ вопросахъ. Мать отдаетъ насильно дочь за ненавистнаго ей человѣка изъ того только, что у него есть состояніе! Какими громовыми протестами противъ нарушенія человѣческихъ правъ разразился бы тутъ иной писатель!... Мать бьетъ свою дочь! Опять какой великолѣпный поводъ для протеста. Какъ бы кетати

была тутъ выходка противъ грубости семейныхъ началъ въ людяхъ, не укрощенныхъ цивилизаціей! На какой бы пьедесталь можно было поставить Любушку, какъ благородную жертву низкихъ расчетовъ. Какъ бы удобно можно было казнить и мать, продавшую дочь, и человѣка, женившагося на женщинѣ, его не любящей! Но ничѣмъ этимъ не воспользовался авторъ. Нигдѣ онъ не высказываетъ ни своихъ собственныхъ, ни общепринятыхъ взглядовъ на событія, которыя описываетъ, и оттого столько силы въ его описаніяхъ.

Если есть что-нибудь субъективное въ этой повѣсти, такъ это развѣ просвѣчивающее во всемъ разсказѣ безъ воли автора его мудрое, кроткое и любовное воззрѣніе на жизнь.

Огромное достоинство произведенія г-жи Кохановской заключается тоже въ рѣдкомъ знаніи характера русскаго человѣка и русской жизни. Всѣ драматическіе мотивы ея повѣсти взяты прямо изъ русской жизни: нѣтъ ничего навѣяннаго чтеніемъ иностранныхъ романовъ. Недостатокъ произведенія состоитъ въ неудачномъ выборѣ рамки для повѣствованія. Такой разсказъ, какъ разсказъ Любови Архиповны, не совсѣмъ умѣста въ домѣ предводителя, и причины, вызвавшія его, совершенно не натуральныя. Но это показываетъ только, что авторъ не привыкъ къ нѣкоторымъ рутиннымъ приемамъ въ дѣлѣ сочинительства. Видно, что у автора сильный природный талантъ, когда и литературная неопытность не помѣшала ему такъ блистательно высказаться.

Сколь ни покажется странно нашимъ читателямъ, но къ произведеніямъ изящной словесности 1858 года мы должны отнести книгу отца Парѣенія о расколѣ. Хотя книга эта на половину написана довольно неловко, исполнена неровностей въ слогѣ и частыхъ повтореній однихъ и тѣхъ же фразъ, но есть въ ней нѣсколько главъ (какъ, на примѣръ, разсказъ о Некрасовцахъ), составляющихъ нѣчто цѣльное и написанныхъ такъ увлекательно, простодушно и одушевленно, что авторъ ихъ можетъ стать въ ряду замѣчательныхъ расказчиковъ нашего времени.

Отъ произведеній по части изящной словесности перейдемъ къ критикѣ.

Критика наша въ настоящее время, какъ мы уже упомянули, совсѣмъ не занимается чисто-литературными вопросами и судить объ изящныхъ произведеніяхъ съ точки зрѣнія совершенно нелитературной. Она цѣнитъ писателей не по степени ихъ таланта, а по степени утилитарности ихъ направленій. Потому какъ бы ни былъ даровитъ писатель, какъ бы художественно ни создавалъ онъ характеры, но если онъ не кричитъ на каждой страницѣ о прогрессѣ, о пользѣ добродѣтели, о вредѣ порока и о другихъ подобныхъ новооткрытыхъ истинахъ, — его произ-

веденія не удостоиваются одобренія современной критики. Съ другой стороны самому бездарному писаку стоитъ только объявить посредствомъ какой-нибудь драмы или повѣсти, что просвѣщеніе и безкорыстіе полезны, а безграмотность и воровство вредны, и онъ сейчасъ же провозглашается великимъ литературнымъ дѣятелемъ, просвѣтителемъ общества. На основаніи этого критеріума, современная критика объявила, что Пушкинъ имѣлъ только внѣшнія дарованія и не принесъ обществу никакой пользы; что Гоголь былъ такой невѣжда, что не понималъ даже значенія слова «принципъ» и не зналъ отличія судебной власти отъ полицейской; что Гораций былъ не великій поэтъ, а великій негодай и бездушный риторъ, писавшій стихи только для того, чтобъ поддѣлаться къ Меценату. Съ своей точки зрѣнія критика права. Пушкинъ дѣйствительно не принесъ обществу никакой пользы, потому что не основывалъ на свой счетъ ни больницъ, ни богадѣленъ, и не уличилъ никого во взяткахъ; Гоголь, дѣйствительно, не показавъ никакихъ познаній въ наукѣ права, потому что не заставилъ лицъ «Ревизора» разсуждать объ энциклопедіи законовѣдѣнія и не употреблялъ слово «принципъ», потому что не любилъ испещрять свои сочиненія иностранными словами. Гораций... но довольно! Простимъ нашей критикѣ ея заносчивость, ея странныя выходки и поверхностные взгляды. Ея ошибки происходятъ не изъ дурнаго источника: онъ — слѣдствіе слишкомъ сильнаго, юношескаго увлеченія современными вопросами.

«Простимъ горячкѣ юныхъ лѣтъ
И юный жаръ и юный бредъ!»

Какъ ни досадно слушать выходки современной критики противъ Пушкина и Гоголя, однако утѣшаешь себя мыслию, что эти выходки не имѣютъ ничего общаго съ нападками прежней русской критики на «Евгенія Онѣгина» и «Мертвыя Души», нападками, имѣвшими источникомъ промышленные и имъ подобные расчеты.

Нельзя не похвалить тѣхъ журналовъ съ утилитарнымъ направлениемъ, которые совсѣмъ не помѣщаютъ критическихъ статей о произведеніяхъ изящной словесности: лучше совсѣмъ не судить о литературѣ, чѣмъ судить о ней вкривь и вкось.

Но—повторяемъ и повторяемся—нѣтъ правила безъ исключенія. Все, что мы сказали выше о направленіи современной критики, никакъ не можетъ быть отнесено къ критическимъ статьямъ «Библіотеки для Чтенія». Это единственный русскій журналъ, въ настоящее время интересующійся эстетическими вопросами. Произведенія изящной словесности оцѣниваются въ

немъ съ чисто-художественной точки зрѣнія, притомъ спокойно и разсудительно. Особенно похвальная черта «Библіотеки для Чтенія» — ея уваженіе къ литературнымъ заслугамъ и трудамъ. Не говоря уже о томъ, что она постоянно противодѣйствуетъ нападкамъ на Пушкина и Гоголя, она старается воздать должное всякому литературному труду и указать на его достоинства. Она сказала нѣсколько утѣшительныхъ словъ г. Бенедиктову, котораго, въ продолженіе почти четверти столѣтія, неумоимо преслѣдовала русская критика, и показала хорошую сторону въ дѣятельности покойнаго Сенковского, у котораго иные отнимали всякое значеніе въ литературѣ.

Къ критическимъ статьямъ, не проникнутымъ моднымъ направлениемъ, должно также отнести превосходную статью «О порабощеніи искусства», напечатанную въ «Отечественныхъ Запискахъ» и принадлежащую г. Ахшарумову, автору нѣсколькихъ прекрасныхъ стихотвореній.

Нельзя также не упомянуть о полезныхъ статьяхъ г. Лонгинова о русскихъ литераторахъ. Онѣ хотя и относятся больше къ статьямъ библіографическимъ, чѣмъ критическимъ, но должны способствовать къ развитію нашей критики на прочныхъ историческихъ данныхъ.

Современное направленіе науки русской исторіи есть направленіе обличительное, то-есть то же самое, которое господствуетъ въ «Губернскихъ Очеркахъ» Щедрина и въ произведеніяхъ его подражателей. Но между современными нашими историками-сатириками и сатириками-беллетристами есть большая разница. Во-первыхъ представитель обличительнаго направленія въ изящной словесности, Щедринъ — имѣетъ неоспоримый талантъ, а таланты представителей исторической школы остаются только въ сильномъ подозрѣніи. Во-вторыхъ разница состоитъ въ предметѣ обличенія. Наши домашніе Тациты устремляютъ свои сарказмы на древнюю Русь и казнятъ ея обычаи, нравы и понятія; Щедринъ обличаетъ совсѣмъ другое и относится съ благороднымъ сочувствіемъ къ остаткамъ древней Руси — простому народу. Въ-третьихъ Щедринъ и вся его школа приносятъ пользу, потому что указываютъ на недостатки современнаго живаго общества, и такимъ образомъ способствуютъ его исправленію; помянутые Тациты пользы никакой не приносятъ и дѣйствуютъ только для собственнаго удовольствія, потому что древняя Русь отжила и исправить ее трудно.

Изъ этой маленькой интродукціи читатель вѣроятно увидитъ, что мы не только не сочувствуемъ современной исторической школѣ, но даже относимся къ ней враждебно. Мы относимся съ терпимостью ко всѣмъ недостаткамъ современнаго направленія русской литературы потому, что уважаемъ ихъ источники. Но

никакъ не намѣрены мы мирволить писателямъ, презирающимъ обычаи своихъ предковъ, искажающимъ смыслъ древней русской исторіи, издѣвающимся надъ нашей народной поэзіей и смотрящимъ съ презрѣніемъ на остатки древней Руси, то-есть на нашего простолюдина и его одежду. Мы говоримъ прямо всѣмъ этимъ джентльменамъ: «иду на вы».

Главное положеніе нашихъ историковъ натуральной школы состоитъ въ томъ, что въ древней, до-петровской, Россіи не было ни добродѣтели, ни благородныхъ помысловъ, ни логики, и что все это у насъ завелъ только Петръ Первый. По ихъ мнѣнію, у насъ на Руси, безъ регулярнаго, хорошо-устроеннаго войска и флота, безъ побѣдъ надъ Шведами, учрежденія правительствующаго сената и открытія ассамблей, женщина не могла быть добродѣтельна, а мужчины не могли писать хорошія книги.

Петръ Великій такъ высоко стоитъ въ мнѣніи, какъ своего народа, такъ и всѣхъ остальныхъ европейскихъ націй, что, кажется, не нуждается въ панегирикахъ современныхъ историковъ. Но странно почитать его за бога и приписывать ему то, что одинъ человѣкъ не въ силахъ сдѣлать.

Вторая причина неспособности древней Руси ни къ чему хорошему, по мнѣнію этихъ господъ, заключалась въ неразвитости централизаціи.

Допуская необходимость централизаціи, которая дала такую силу нашему отечеству, мы все-таки не видимъ въ ней единственнаго двигателя въ исторіи развитія русскаго народа.

Конечно, она сплотила народъ въ одинъ несокрушимый колоссъ, но въ этомъ дѣлѣ и самъ народъ принималъ участіе, не оставался пассивнымъ. Притомъ же вліяніе централизаціи болѣе внѣшнее; она помогаетъ развитію народа, но никакъ не составляетъ цѣль этого развитія. Чтобъ централизовать, надо имѣть что централизовать, а это-то *что* и ставятъ ни во что наши историки. Могла ли централизація создать умъ русскаго человѣка, вложить ему въ душу благородныя чувства, а въ уста поэтическое слово; она ли дала ему высокій ростъ, широкія плечи, голубые глаза и русые волосы? Сомнительно! Что вызвало мясника, бородача Минина, на его святое дѣло? Одно ли чувство потребности централизаціи? Конечно, онъ выразилъ собой тяготѣніе къ центру — Москвѣ, но высокій его патріотизмъ имѣлъ и другіе источники.

Приписывать все хорошее, у насъ существующее, только централизаціи и администраціи — значитъ считать русскій народъ за стадо барановъ. Это ужъ выходитъ *laesio majestatis populi*.

Въ наше время знаменитые люди, какъ, напримѣръ, Монтаньберъ и Токвиль, говорятъ о вредѣ излишней централизаціи.

Самъ Людовикъ Наполеонъ, этотъ идолъ всѣхъ приверженцевъ ультра-централизаціи, счелъ нужнымъ въ своей тронной рѣчи сказать для приличія кое-что противъ нея. А наши историки слушаютъ да... пишутъ.

Третья причина всѣхъ золъ, какъ въ самомъ дѣлѣ существовавшихъ въ древней Руси, такъ и сочиненныхъ въ воображеніи ея порицателей, заключается въ родовомъ бытѣ, который будто убивалъ въ ней всѣ хорошія наклонности и всякій здравый смыслъ.

Колумбамъ родового начала въ русской исторіи уже доказано какъ дважды два четыре, что они подъ словомъ «родовой бытъ» разумѣютъ совсѣмъ не то, что разумѣть должно: — они съ несокрушимой твердостью продолжаютъ отстаивать существованіе своего призрака. Но положимъ, что родовый бытъ дѣйствительно существовалъ въ древней Россіи и притомъ существовалъ въ такомъ совершенно видѣ, въ какомъ обыкновенно описывается. Нельзя же приписывать его вліянію всѣ недостатки древней Россіи, точно также какъ нельзя приписывать всѣ хорошія стороны новой Россіи успѣхамъ централизаціи.

Отчего же такъ понравился этотъ родовый бытъ? Отъ непомѣрнаго желанія написать русскую исторію съ общимъ взглядомъ — съ идеей. Писать, какъ написалъ Карамзинъ «Исторію Государства Россійскаго,» какъ написалъ Пушкинъ «Исторію Пугачевского бунта,» т. е. просто, не мудрствуя лукаво, для иныхъ слишкомъ мало, слишкомъ легко, не достойно геніальнаго историческаго таланта. Нашихъ историковъ соблазнили европейскіе историки, блистательно проводившіе свои идеи черезъ цѣлыя исторіи народовъ. Соблазнясь примѣрами авторовъ «Исторіи цивилизаціи» и «Исторіи покоренія Англіи Норманами,» они рѣшились найти какую-нибудь идею и для русской исторіи. Встрѣтивъ нѣсколько разъ въ лѣтописи слово «родъ», они обрадовались, какъ Колумбъ твердой землѣ, — и взглядъ на русскую исторію былъ созданъ. Но развѣ такъ составилъ Гизо свой взглядъ на исторію Франціи? Развѣ такого рода безплодную идею положилъ онъ въ основаніе своего курса? Нѣтъ. Онъ открылъ ее не въ словахъ хроники, писанной тысячу лѣтъ назадъ, онъ ее *чувствовалъ* въ жизни современнаго французскаго общества, въ окружавшихъ его людяхъ, въ самомъ себѣ. Идея эта предстала передъ нимъ, облеченная въ плоть и кровь, въ переворотѣ 1789 года. Переворотъ этотъ былъ результатомъ всей предшествовавшей исторіи Франціи и исходнымъ пунктомъ всей послѣдующей. Онъ близокъ каждому Французу: сердце каждаго Француза бьется за него — или противъ него. Такимъ образомъ идея, по которой Гизо расположилъ факты, живая, неразлучная ни въ чьей головѣ съ мыслию о французской исторіи, — и зна-

менитый историкъ не выдумалъ, не сочинилъ ее, а только выразилъ въ ней сознание цѣлаго общества. Оттого его исторія трогаетъ за-живое каждаго Француза, который, читая ее, родится съ давно прошедшей исторіей своего отечества, яснѣе постигаетъ связь своего существованія со всѣмъ, что прожито его народомъ.

Такова ли идея нашихъ историковъ? Родовой бытъ! Да какое дѣло до него читателямъ—гражданамъ! Рвется ли русское сердце при этомъ новомъ ученомъ терминѣ, интересномъ только для специалистовъ. Пожалуй, читатель согласится, что былъ родовой бытъ, что онъ шелъ чрезъ всю русскую исторію, и, поздравляя съ этимъ историковъ, скажетъ : «прекрасно, да мнѣ-то что до этого?»

И выходитъ, что нашу исторію съ идеями не читаютъ общество и публика. А читаютъ ее только спеціалисты, одни для собственнаго назиданія, другіе для потѣхи.

Но что значитъ для нашихъ историковъ равнодушіе русскаго общества, — толпы. Они замкнулись въ свой кружокъ, — кружокъ избранныхъ, въ кружокъ своихъ поклонниковъ, — и услаждаются ихъ рукоплесканіями. Всякій, кто имѣетъ сколько-нибудь оригинальный взглядъ на русскую исторію, а не повторяетъ передъ ними наизусть ихъ собственные теоріи, признается человѣкомъ отсталымъ, неспособнымъ понимать глубокомысленную систему родоваго быта. И какъ любятъ наши историки родовой бытъ, какъ усердно они нянчатся съ этимъ своимъ единственнымъ найденнымъ! Нѣтъ ни одного явленія въ русской исторіи, которое бы они не старались объяснить родовымъ бытомъ.

Такъ, напримѣръ, одинъ современный писатель, проникнутый системой родоваго начала, въ письмѣ своемъ къ другу рассказываетъ такимъ образомъ одно происшествіе изъ царствованія Петра Великаго :

«Петръ велѣлъ записывать дворянскихъ дѣтей въ Москвѣ и опредѣлять на Сухареву башню для изученія мореплаванія. Родители, вопреки указу, отдали дѣтей въ Заиконоспасское училище: тогда разсерженный царь велѣлъ взять молодыхъ дворянъ изъ Заиконоспасскаго монастыря въ Петербургъ, и тамъ заставилъ ихъ бить сваи на Мойкѣ, гдѣ строились пеньковые амбары. Адмиралъ графъ Апраксинъ, одинъ изъ сильныхъ приверженцевъ старины, узнавъ, что царь ѣдетъ осматривать амбары, поспѣшилъ туда, снялъ съ себя Андреевскую ленту, мундиръ, повѣсилъ ихъ на шею, и началъ самъ вбивать сваи. Царь пріѣхалъ, и съ удивленіемъ спросилъ его : «Федоръ Матвѣичъ ! ты адмиралъ и кавалеръ : какъ же ты вбиваешь сваи?» — «Государь! отвѣчалъ Апраксинъ: здѣсь бьютъ сваи мои племянники и внучата: а я что за человѣкъ? *Какое имѣю въ родѣ преимущество?*»

Смыслъ отвѣта Апраксина очень простъ, и кажется не требуетъ никакихъ объясненій. Вѣроятно всякій, у кого бы спросили что значать эти слова, перевелъ бы ихъ такъ: Государь, здѣсь работаютъ такіе же дворяне, какъ и я; чѣмъ же я лучше ихъ.

Но такое простое, естественное объясненіе не удовлетворяетъ нашего историка, какъ не сподручное его системѣ, и онъ прибѣгаетъ къ слѣдующему:

«Не сказалъ онъ: «здѣсь бьютъ свои дворяне, люди одинаковаго со мною сословія и происхожденія, и это занятіе ихъ унижаетъ все наше сословіе». Нѣтъ, онъ говоритъ: «здѣсь бьютъ свои мои племянники и внучата, а я какое имѣю въ родѣ преимущество? Каждому было дѣло только до своего рода: до понятія о высшемъ частномъ союзѣ, союзѣ сословномъ, еще не достигли».

Quousque tandem?! Ужъ встарину у насъ и дворянства не было!

О ужасъ, ужасъ, ужасъ!

Не вслѣдствіе одной приверженности своей къ системѣ родового быта, авторъ даетъ такое объясненіе словамъ Апраксина. Есть и другая причина.

Въ послѣднее время въ сочиненіяхъ европейскихъ историковъ и публицистовъ стало высказываться сильное уваженіе къ англійской аристократіи, стало указываться на пользу, которую могутъ иногда принести государству правильно-развитыя аристократическія начала. У нашихъ порицателей древней Россіи сейчасъ родилась слѣдующая печальная мысль: въ Россіи существуетъ аристократія, и существуетъ не со вчерашняго дня, но издревле, а это начало признается теперь хорошимъ. Ужели же нашъ народъ могъ самъ выработать что-нибудь хорошее. — И вотъ они, желая себя утѣшить, пускаются доказывать, что аристократія, существовавшая до Петра, была не аристократія, а родовой бытъ, и что дворянское сословіе и его корпорационный духъ заведены у насъ только Петромъ.

Но самой роскошной пищей «сатирическому уму» нашихъ историковъ-обличителей служитъ то обстоятельство, что въ древнюю Русь не проникала западная образованность.

Никто и никогда у насъ ничего не говорилъ противъ западной образованности. Всякій знаетъ, что образованность въ истинномъ значеніи слова, какая бы она ни была: западная, восточная, южная, всегда дѣло хорошее. Но можно ли предполагать вмѣстѣ съ нѣкоторыми господами, что древняя Русь, вслѣдствіе отсутствія западной науки и цивилизаціи, была погружена въ совершенное невѣжество, лишена всякаго правильнаго ум-

ственного движенія и выражала въ своихъ нравахъ и понятіяхъ только грубость, дикость и безнравственность. Можно ли раздѣлять мнѣніе г. Буслаева, что грамотный человѣкъ время до-петровской Руси считался нашими предками за человѣка пропаднаго и въ самомъ дѣлѣ былъ таковымъ?... Какъ самый яркій обращикъ безнравственности и невѣжества до-петровскаго общества историки указываютъ на древнюю русскую женщину. О порочности нашихъ почтенныхъ прабабушекъ они заключаютъ по нѣкоторымъ стариннымъ стихамъ, въ которыхъ говорится о коварствѣ и другихъ недостаткахъ, свойственныхъ женщинѣ вообще.

Положеніе древней русской женщины въ семейномъ и общественномъ быту возбуждаетъ въ одно и то же время состраданіе и негодованіе въ сердцахъ нашихъ новѣйшихъ бытописателей старины. Русская женщина до-петровскихъ временъ представляется имъ не иначе какъ невѣрной и раболѣпной одалиской своего мужа. Въ статьяхъ своихъ они приняли двойную роль—адвокатовъ и обвинителей древнихъ русскихъ дамъ: съ одной стороны они дамскіе угодники и соболѣзнуютъ о томъ, что у насъ въ-старину прекрасный полъ не былъ эманципированъ, что въ немъ были задавлены *эстетическія стремленія къ мужчинамъ*; съ другой стороны они за это ихъ и обвиняютъ.

На поприщѣ обличенія древней русской женщины и соболѣзнованія о ея невольническомъ положеніи, эти господа особенно преуспѣваютъ, и въ этомъ отношеніи справедливо могутъ почесаться россійскими Жоржъ-Сандами, подобно тому какъ Сумароковъ почитался россійскимъ господиномъ де Вольтэромъ. Вотъ, напримѣръ, что говорятъ:

«Какъ ни странна можетъ показаться нѣкоторымъ читателямъ даже самая мысль о возможности идеальнаго, художественнаго представленія женщины въ древнерусской литературѣ, которая вообще не отличалась художественнымъ творчествомъ, и того менѣе была способна, по грубости нашихъ старинныхъ нравовъ, видѣть въ женщинѣ что-нибудь идеальное.....»

Какое ужасное положеніе женщины! Въ другомъ мѣстѣ той же статьи:

«Русская женщина имѣетъ полное право жаловаться на постыдное невниманіе къ ней старинныхъ грамотниковъ, и особенно женщина изъ простаго крестьянскаго быта».

Повторяемъ, главная черта современнаго направленія науки русской исторіи заключается во враждѣ къ древней Россіи и ко всему, что выработалъ русскій народъ. Откапывать все дурное

до-петровской Руси и чернить все хорошее, доставлять имъ великое наслажденіе и составляетъ всю ихъ дѣятельность. Съ какой враждой они относятся ко всему, гдѣ выражается любовь къ жизни нашихъ предковъ! Стоить только указать на одну какую-нибудь хорошую черту древней Руси — сейчасъ поднимается гвалтъ, кричатъ: какое неуваженіе къ западной наукѣ, какой обскурантизмъ; какое пристрастіе къ своему, какое неуваженіе къ прогрессу и пр. и пр. Странное дѣло? Во всѣхъ образованныхъ странахъ дорожатъ и гордятся каждой хорошей чертой своего народа, а у насъ сочувствуютъ только тому, что сдѣлано для русскаго народа Петромъ и централизациею, а коренныя наши, самородныя начала вызываютъ одно презрѣніе и насмѣшки. Какъ согласить неуваженіе и презрѣніе нѣкоторыхъ нашихъ писателей къ древней Руси и неразлучное съ нимъ презрѣніе и неуваженіе къ ея живымъ остаткамъ, то-есть народу, съ сочувствіемъ къ уничтоженію крѣпостнаго права? Они бы должны не радоваться, а соболѣзновать, что русскій человѣкъ, лишенный западнаго образованія, и слѣдовательно (какъ они думаютъ) ни къ чему не способный, лишается опеки людей цивилизованныхъ, людей новой петровской Руси, то-есть помѣщиковъ. Помилуйте! Русскій человѣкъ, грубый, тупой, безнравственный, ни къ чему не способный, какъ вы его изображаете, долженъ погибнуть вслѣдствіе такого освобожденія!

Отчего же происходитъ эта нелюбовь къ собственной народности? Главнѣйшимъ образомъ, какъ всѣмъ извѣстно, отъ разединенія интересовъ нашихъ образованныхъ, или, лучше сказать, побуберованныхъ классовъ съ интересами народа. Другая причина — отсутствіе въ нашихъ историкахъ эстетическаго чувства. Они рѣшительно не чувствуютъ красоты характеровъ, подвиговъ и событій древней Руси; имъ конечно недоступны внутреннія красоты и западной исторіи, но они стоятъ за нее, во-первыхъ потому, что за нее стоятъ великіе литературные авторитеты, во-вторыхъ потому, что западный человѣкъ всегда и вездѣ являлся покрытый наружнымъ блескомъ и лоскомъ, которые такъ привлекательны для внѣшнихъ чувствъ, что часто закрываютъ передъ нами внутренніе недостатки предмета, — блескомъ и лоскомъ, которыхъ лишена и древняя Русь, и простой нашъ народъ. Оттого, восхищаясь какимъ-нибудь событіемъ изъ средневѣковой жизни западной Европы, наши историки смотрятъ съ презрѣніемъ на точно такое же событіе въ древней исторіи Руси. Дурной поступокъ какого-нибудь рыцаря нравится имъ гораздо больше, чѣмъ великодушный подвигъ нашего богатыря, ибо рыцарь представляется воображенію при блестящей обстановкѣ — въ красивыхъ латахъ, съ перьями на шлемѣ, съ гербомъ на щитѣ, съ золотой цѣпью на шеѣ и шпо-

рами на сапогахъ, а бѣдный нашъ богатырь — въ сермягѣ, да пожалуй еще въ лаптяхъ.

Еслибъ у нашихъ историковъ было эстетическое чувство, они не могли бы предполагать, что въ русскомъ народѣ не было силы къ самосовершенствованію и что все хорошее, нынѣ у насъ существующее, пришло къ намъ извнѣ. Еслибъ было у нихъ эстетическое чувство и они понимали всю красоту и глубину нашей народной поэзіи, они бы разсудили, что народъ, создавшій такіе звуки и образы, какіе созданы русскою поэзіею, русскимъ искусствомъ, не могъ быть грубымъ, безнравственнымъ народомъ, и что древнюю Русь одушевляли великія идеи и высокія чувства. Но у нихъ нѣтъ этого чувства, и потому, какъ прилежно ни роются они въ памятникахъ нашей древней поэзіи, какъ пристально ни всматриваются въ нихъ, какъ внимательно ни прислушиваются къ звукамъ родной пѣсни, — все-таки ничего не видятъ и не слышатъ...

Вслѣдствіе всего этого наука русской исторіи и исторіи русской словесности находится въ самомъ печальномъ состояніи. Иначе и быть не можетъ. Безъ любви и сочувствія ничего хорошаго не сдѣлаешь. Можно ли писать съ увлеченіемъ древнюю русскую исторію, создавать художественно характеры древнихъ лицъ, питая постоянное отвращеніе къ предмету описанія. Разумѣется, нельзя, — и оттого наши историки, чувствуя скуку при созерцаніи фактовъ родной исторіи и не умѣя оживить ихъ художественнымъ воспроизведеніемъ, прибѣгаютъ, какъ для собственнаго развлеченія, такъ и для развлеченія читателей, къ разнымъ идеямъ — родовому быту, женственности Ивана Грознаго, или къ приложенію модныхъ общественныхъ понятій къ событіямъ и характерамъ русской исторіи... Иногда имъ до-того дѣлается скучно описывать самимъ событія, что они просто цѣлыми страницами переписываютъ источники безо всякихъ разсужденій.

Но кчастью существуетъ противодѣйствіе анти-историческому направленію историковъ. Органъ этого противодѣйствія «Русская Бесѣда». Статьи т. Г—ва «О механическихъ способахъ въ изслѣдованіи исторіи», статьи гг. Хомякова, Аксакова и Самарина служатъ прекраснымъ доказательствомъ, что есть у насъ умы, которые имѣютъ свѣтлый, отрадный взглядъ на нашу исторію и нашу народность. Интересно сравнить статьи историковъ — обличителей со статьями людей, сочувствующихъ нашей старинѣ: у первыхъ всѣ мысли заимствованныя, всѣ приемы рутинные; у вторыхъ все свое, все живо, все оригинально. Изъ этого сравненія ясно увидишь, что, хотя защитники русской старины представляютъ меньшинство въ родной литературѣ, но моральная сила на ихъ сторонѣ.

И въ другихъ журналахъ появлялись статьи противъ общительнаго направленія въ наукѣ русской исторіи. Такъ, напримѣръ, «Русскій Вѣстникъ» сказалъ нѣсколько горячихъ словъ противъ неуважительныхъ отзывовъ о нашей старинѣ и народной поэзіи. «Библіотека для Чтенія», разбирая книгу г. Милюкова, тоже вступилась за народную русскую поэзію.

Но довольно о наукѣ русской исторіи: непріятно и тяжело долго говорить о ея теперешнемъ направленіи. Скорѣе къ исторіи Запада, читатели! Къ трудамъ нашихъ молодыхъ ученыхъ, посвятившихъ себя изученію всеобщей исторіи. Труды эти освѣжаютъ и разсѣяютъ наши грустные мысли; въ нихъ нѣтъ претензіи на собственные глубокомысленные взгляды на судьбы цѣлыхъ народовъ и самодѣльные теоріи; эти дѣятели открыто слѣдуютъ взглядамъ и мнѣніямъ великихъ учителей Запада, за то не впадаютъ въ грубые ошибки.

По древней исторіи, помнится, вышло только одно замѣчательное сочиненіе — диссертация г. Зедергольма о Катонѣ Старшемъ. Сочиненіе г. Зедергольма, написанное прекраснымъ языкомъ, отличающееся живостью и популярностію изложенія, несмотря на отсутствіе всякой претензіи на новые взгляды на исторію Рима, заключаетъ много новыхъ и дѣльныхъ мыслей. Событія изложены въ немъ чрезвычайно-изобразительно; нѣкоторые характеры, какъ, напримѣръ, Сципіонъ Африканскій, очерчены полно, художественно. Но лицо самого Катона вышло не совсѣмъ цѣльно: многія черты его, какъ хорошія, такъ и дурныя, схвачены вѣрно, только не сгруппированы вокругъ одной идеи. Авторъ то хвалитъ Катона за хорошіе поступки, то порицаетъ за дурныя, а строго-опредѣленнаго мнѣнія о немъ не высказываетъ. Впрочемъ, сильно проглядываетъ нерасположеніе къ великому мужу древности, и замѣтно, что г. Зедергольму пріятнѣе уловлять Катона въ дурныхъ дѣлахъ, чѣмъ указывать на его подвиги....

Должно, однакожь, замѣтить, что вообще съ легкой руки Нибура, историки стали черезъ-чуръ недовѣрчивы къ великимъ людямъ древности, любятъ низводить ихъ съ пьедесталовъ и представлять обыкновенными людьми. Въ-старину, до Нибура, въ Европѣ существовала историческая школа, которая была черезъ-чуръ довѣрчива къ источникамъ: слишкомъ высоко ставила великихъ мужей древности и видѣла въ нихъ существа, одаренныя свыше-человѣческими силами. Нибуръ свелъ ихъ на землю. Въ наше время стало проглядывать иное направленіе; во многихъ историческихъ сочиненіяхъ видно желаніе свести великихъ людей даже съ ихъ земнаго, законнаго пьедестала. Крайность и вредъ стариннаго направленія очевидны. Поколѣнія, въ немъ воспитанныя, необходимо должны были возымѣть

слишкомъ высокое мнѣніе о силахъ человѣка. Это мнѣніе и принесло плоды во Франціи, въ ту эпоху, когда она вздумала преобразовывать себя по примѣру Греціи и Рима. Тамъ явились патріоты, сильно понадѣявшіеся на свои силы, и хотѣвшіе, подобно Ромулу, создать въ своемъ отечествѣ все то, что въ самомъ дѣлѣ создалъ не Ромуль, что создается не однимъ человекомъ, а цѣлымъ народомъ, въ продолженіе тысячелѣтій.

Не менѣе вреденъ въ нравственномъ отношеніи и скептическій взглядъ на исторію. Объясняя поступки великихъ людей мелкими побужденіями, умаляя ихъ доблести и геройскіе подвиги, онъ разрушаетъ всякую вѣру въ высокое на землѣ.

Обыкновенно для того, чтобъ развѣнчать великаго человѣка, стараются доказать, что онъ принесъ мало пользы отечеству и человечеству. Но если и въ самомъ дѣлѣ окажется, что человѣкъ, за которымъ титулъ великаго укрѣпленъ тысячелѣтіями, не сдѣлалъ никакихъ полезныхъ учрежденій, все-таки, будьте увѣрены, титулъ достался ему не даромъ, потому что народъ не ошибается въ своихъ приговорахъ и умѣетъ давать эпитеты. Есть люди, которые какъ-будто и ничего не сдѣлали для общей пользы, а между тѣмъ чувствуется какое-то безсознательное благоговѣніе къ ихъ личности, и не поворотится языкъ сказать, что они не великіе люди. Кто-то очень хорошо раздѣлилъ людей на хорошихъ, дурныхъ и великихъ. Къ хорошимъ людямъ мы чувствуемъ уваженіе, получаемъ при взглядѣ на ихъ дѣло нравственное наслажденіе, а при взглядѣ на личность великаго человѣка, часто получаемъ одно наслажденіе эстетическое. Доставляя это наслажденіе, великіе люди тѣмъ самымъ приносятъ пользу человечеству, возвышая духъ нашъ своими великими образами.

Прошлый годъ былъ чрезвычайно богатъ статьями по части современной исторіи. Къ нимъ слѣдуетъ отнести и превосходныя политическія обозрѣнія «Русскаго Вѣстника». Онѣ составляютъ наиболѣе читаемый отдѣлъ этого журнала, и во многихъ отношеніяхъ не уступаютъ *premier-Paris* лучшихъ французскихъ газетъ. Вообще въ «Русскомъ Вѣстникѣ» было помѣщено много прекрасныхъ статей о современной исторіи, принадлежащихъ по большей части гг. Вызинскому, Θεоктистову, Ржевскому и Капустину. Духъ этихъ статей достоинъ всеобщаго уваженія и сочувствія, потому что начала, которыми помянутые авторы руководятся при обсужденіи политическихъ вопросовъ, принадлежатъ блистательнѣйшимъ умамъ нашего времени, благороднымъ поборникамъ истиннаго порядка, разумной свободы и законности. Замѣчательнѣйшими въ этомъ родѣ были статьи г. Вызинскаго «Защитники парламентаризма во Франціи». Авторъ, по щеголеватости изложенія, осторожности въ приговорахъ и

чистотѣ языка, напоминаетъ своего учителя — покойнаго Кудрявцева.

Слѣдуетъ также упомянуть о двухъ интересныхъ статьяхъ о «Кавеньякѣ» и «Борьбѣ партій во Франціи при Людовикѣ XVIII и Карлѣ X» г. Чернышевскаго, напечатанныхъ въ «Современникѣ». Последняя представляетъ взглядъ на исторію Реставраціи. Факты, подобранные авторомъ, вѣрны и весьма искусно сгруппированы вокругъ основной мысли, но съ заключеніями, которыя изъ нихъ выходятъ, не всегда можно согласиться. Такъ, напримѣръ, г. Чернышевскій слишкомъ строгъ въ приговорахъ своихъ надъ партіей такъ-называемыхъ доктринѣровъ, объясняетъ большую часть ихъ поступковъ дурными побужденіями, а нерѣшительность ихъ предводителей во время іюльскихъ дней относитъ прямо къ трусости. Конечно, такія объясненія встрѣчаются у нѣкоторыхъ весьма талантливыхъ историковъ прошедшаго десятилѣтія, и кто не вѣрилъ имъ пока онѣ были новы? Но съ тѣхъ поръ много воды утекло, и наступило время воздать должное и вождямъ буржуазіи. Къ тому же упомянутые историки хотя и были честные люди, писавшіе и дѣйствовавшіе по убѣжденію, однако, какъ заклятые враги началъ, которымъ служили доктринѣры, дѣйствія сихъ послѣднихъ видѣли въ черномъ свѣтѣ.

Къ статьямъ по современной исторіи должно отнести и «Парижскія письма» г-жи Евгеніи Туръ, напечатанныя въ «Русскомъ Вѣстникѣ». Съ нѣкотораго времени г-жа Туръ мало печатаетъ повѣстей и романовъ, а обратилась къ новому для нея роду литературной дѣятельности: къ журнальнымъ рецензіямъ и статьямъ легкаго историческаго содержанія. Намъ кажется, что дарованіе г-жи Туръ не только ничего не теряетъ отъ перемѣны поприща дѣйствія, но даже во многихъ отношеніяхъ положительно выигрываетъ. Мысли, развиваемыя ею, выражаются гораздо яснѣе и удобнѣе укладываются въ формѣ разсужденія, нежели въ повѣсти и романѣ. Такъ, сентенціи и цитаты, которыя столь щедро влагала г-жа Туръ въ уста своихъ героевъ и даже героинь, изобиліе морали — весьма много отнимали у ея повѣстей и романовъ, а все это совершенно-умѣстно въ такихъ литературныхъ произведеніяхъ, какъ рецензія, историческая статья и письмо. Слогъ г-жи Туръ въ подобнаго рода статьяхъ гораздо плавнѣе, живѣе и изящнѣе, чѣмъ въ прежнихъ ея сочиненіяхъ. Рецензія на піесу Дюма, прекрасное изложеніе романа: «Госпожа Бовари» и біографическій очеркъ «Вилльямъ Чаннингъ» прочлисъ всѣми съ живымъ интересомъ. Но безспорно «Парижскія письма» рѣшительно лучшая статья г-жи Туръ. Изображеніе современнаго парижскаго общества чрезвычайно-живо и проникнуто мыслию. Кажется однакожь,

авторъ черезъ—чуръ строго къ Французамъ. Приговоры его, по духу своему, нѣсколько напоминаютъ письма фонъ-Визина о Франціи 1778 года. Фонъ-Визинъ не нашелъ въ тогдашней Франціи рѣшительно ничего достойнаго похвалы, и резюмировалъ слѣдующимъ образомъ свои наблюденія надъ націей: «изъ денегъ нѣтъ труда, котораго бы Французъ не поднялъ, и подлости, которую бы не сдѣлалъ».

Должно также замѣтить, что г-жа Туръ приписываетъ исключительно французскому обществу нѣсколько такихъ чертъ, которыя замѣчаются рѣшительно во всѣхъ націяхъ. Она говоритъ о невѣдѣніи, въ которомъ воспитываютъ французскихъ дѣвушекъ, и о сказкахъ, которыя имъ рассказываютъ въ дѣтствѣ о томъ какъ человѣкъ является на свѣтъ изъ капустнаго кочня. Но гдѣ же бываетъ иначе? По крайней мѣрѣ у насъ на Руси, и въ такихъ семействахъ, куда никакъ не могло проникнуть французское образованіе, дѣтямъ даются столько же невѣрныя фізіологическія свѣдѣнія. Замѣтимъ еще, что г-жа Туръ слишкомъ строго обвиняетъ Французовъ за одну черту ихъ нравовъ, которая даже извинительна. Говоря объ излишней строгости, съ которой во Франціи держатъ дѣвушекъ, она указываетъ на Англію, гдѣ дѣвушки пользуются такой свободой, что ходятъ однѣ по улицамъ и переписываются съ молодыми людьми. Многое, чтò возможно въ Англіи, невозможно во Франціи. Климатъ Парижа не похожъ на климатъ Лондона, а темпераментъ Француза на темпераментъ Англичанина. Потому, чтò безопасно флегматической Британкѣ, то губительно для сангвинической Француженки. Французская нація всегда отличалась и будетъ отличаться излишней способностью увлекаться, всегда была и будетъ падка на любовныя приключенія. По тому, если Француженки нашего времени слишкомъ легкомысленны и за ними нуженъ глазъ да глазъ, въ этомъ ужь никакъ не виноваты ни Людовикъ Наполеонъ съ Эспинасомъ, ни Дюма съ сыномъ . . .

Въ «Атенеѣ» было помѣщено письмо изъ—за границы г. Тургенева. Вѣроятно, не мы одни пожалѣли, что оно осталось единственнымъ.

Кончаемъ оговоркой. Кто замѣтитъ, что въ статьѣ нашей пересмотрѣны не всѣ замѣчательныя литературныя явленія 1858 года, пусть не забудетъ: во-первыхъ, что мы имѣли въ виду не обзрѣвать литературу года, а хотѣли болѣе всего показать точку отправленія нашихъ литературныхъ сужденій,—и во-вторыхъ, произведеній собственно-ученыхъ или принадлежащихъ къ такъ-называемымъ литературнымъ спеціально-стямъ, не были намѣрены разбирать.

ДВА ПЕРВЫЯ ДѢЙСТВІЯ

ТРАГЕДІИ

ПЕТРЪ ПЕРВЫЙ.

I.

Комната въ домѣ Кикина.

Кикинъ, посмотрѣвъ на стѣнные часы.

Въ исходѣ третій часъ. Пора собираться
Гостямъ моимъ. А я съ неожиданной вѣсти
Дрожу еще. *Подходя къ окну.*

Но вотъ подъѣхалъ кто-то...

Князь Вяземскій, посолъ мой вѣрный...

Князь Вяземскій входитъ.

Кикинъ.

Здравствуй!

Что? — съ пользой ли трудился? Всѣ ль пріѣдутъ
Названные?

Князь Вяземскій.

Радехоньки. Всѣ будутъ.

Кикинъ.

А я кое-кого изъ постороннихъ,
Изъ недовольныхъ пригласилъ гостей:
Сибирскаго, Лопухина Абрама,

Нарышкина... Сегодня вечеръ долженъ
Рѣшительнѣе быть, чѣмъ мы гадали.
Громовая надъ нами всходитъ туча.
Вѣдь, знаешь ли: царевичъ...

*Входитъ разстрига-протопопъ Іаковъ. Кикинъ встрѣчаетъ его,
подходя подѣ благословеніе.*

Кн. Вяземскій.

Что царевичъ?

Кикинъ.

Поиманъ.

Кн. Вяземскій.

Что ты?

О. Іаковъ.

Какъ такъ?

} *вмѣстѣ.*

Кикинъ.

Такъ. Въ Неаполѣ.

Румянцовъ и Толстой везутъ сюда ужъ
Его.

О. Іаковъ.

О Господи!

Кн. Вяземскій.

Какъ ты узналъ?

Кикинъ.

Гонецъ къ нему нашъ воротился, встрѣтятся
За Кіевомъ.

О. Іаковъ.

А видѣлся ль Григорьичъ

Съ царевичемъ?

Кикинъ.

Вотъ то-то и бѣда,

Что нѣтъ: царевичъ за семью замками,
Вы знаете Толстаго.

Кн. Вяземскій.

И Румянцовъ

Хорошъ.

О. Іаковъ.

Игемоны, Пилалы! Какъ онъ
Сѣтей діаволихъ не остерегся!

Кн. Вяземскій.

Онъ ротозѣй: развѣсилъ, вѣрно, губы,
А коршуны влетѣли.

Кикинъ.

Такъ ли, сякъ ли —

Объ этомъ толковать ужъ поздно.
Намъ должно думать о своемъ спасеньѣ:
Советники, друзья мы Алексѣя,
Сообщники всѣхъ дѣлъ и помысловъ,
Мы первые въ отвѣтъ и... на плахѣ.
Итакъ, предупреждать ударъ грозящій
Уговоримъ товарищей рѣшиться,
Начать давно замышленное дѣло.

О. Іаковъ.

Охъ! кто велитъ теперь идти имъ на ножъ,
Не изготовяся!

Кикинъ.

Въ томъ хитрость вся:

Ихъ истиной и ложью обморочить,
Разлакомить надеждой, клеветою,
Пугнуть другихъ, зашедшихъ не далеко
Въ нашъ кругъ, поджечь словесныя дрова,
Которыя давно трещать, курятся,
А не горять; нарвать съ ихъ языка
Побольше дерзкихъ словъ; узлами сими,
Что сами наготовятъ на себя,
Въ добавокъ къ прежнимъ всѣмъ надежнымъ петлямъ,
Сегодня жъ привязать судьбу ихъ къ нашей,
Подъ нашу власть подвести безъ прекословья...

Служитель, войдя.

Сибирскій князь къ воротамъ подъѣзжаетъ.

Кикинъ.

На встрѣчу я пойду къ нему. Смотрите,
Друзья! Умнѣй! предупредите нашихъ,
Какъ съѣдутся.

Выходитъ.

О. Іаковъ.

О велий грѣхъ! о горе!

Кн. Вяземскій.

Все къ лучшему; одинъ конецъ. Легко ли,

Лѣтъ восемь мы собираемся въ подвалахъ
 Украдкой по ночамъ, толкуемъ, споримъ,
 А нѣтъ впередъ ни шагу... я надѣюсь
 На вызовъ нынѣшній...

О. Іаковъ.

А я такъ нѣтъ.

Остаться, видно, намъ однимъ съ уликой
 Передъ царемъ.

Кн. Вяземскій.

Но надо жъ попытаться:

Въ рукахъ у насъ единственное средство...
 Авось!

Князь Сибирскій, входя съ Кикинымъ.

Какой проказникъ онъ! Калитку,
 Ворота отпираетъ, изъ тапканы
 Высаживаетъ... Ну, спасибо, милый!
 Благослови, честный отецъ Іаковъ!

Кикинъ.

Кого же и почесть намъ, какъ не ваше
 Сіятельство!

Кн. Сибирскій.

Нѣтъ! нынѣ вѣкъ другой.
 Все выходцы, да проходцы въ почетъ.
 Посмотришь — молоко у поросенка
 Вѣдь на губахъ совсѣмъ-то не просохло,
 Незнамо кто, незнамъ откуда взялся,
 А лѣзетъ въ гору, а толкаетъ старшихъ...

Кикинъ.

Помилуйте! святая Русь не клинномъ
 Сошлась. Конечно, царь нашъ потакаетъ
 Буянамъ, неучамъ, и лучше съ дрянью
 Обходится, чѣмъ съ старыми князьями;
 Но многіе живутъ обычаемъ предковъ,
 Разсчесть умѣютъ, кто чего достоинъ,
 Кто выходець, кто родовой бояринъ.

Кн. Сибирскій.

Ужъ и не вѣрится мнѣ что-то, братецъ:
 Всѣ по водѣ плывутъ. Не такъ ли, батька?
 Да что ты пасмуренъ? халтуры-то не стало.

Разстригъ тебя лжепастырь злочестивый.
 Какъ быть! И насъ въ кружокъ вѣдь подстригаютъ.
 Волосъ у всѣхъ на перечетъ осталось.

О. Іаковъ.

Нѣтъ. Я не объ своей главѣ стенаю:
 Я плачу горькими слезами Іереми
 О беззаконіяхъ, людскомъ развратѣ,
 О казни той, что буйный Манассія
 Сбираетъ на главу драгой отчизны.

Кн. Вяземскій, смотря въ окно.

Князь Долгорукій и Нарышкинъ ѣдутъ.

Киклнъ, выходя.

Прошу покорно, дорогіе гости!

Кн. Сибирскій, къ кн. Вяземскому.

Ну, что есть новенькаго, князь Никифоръ,
 У васъ? Петръ Алексѣичъ иль Михайлычъ —
 Не знаю какъ назвать — живетъ здорово ль?
 Не выдумалъ ли почуднѣй чего?

Князь Доморукій и Нарышкинъ входятъ съ Кикинымъ и раскланиваются. За ними Аванасьевъ, Дубровскій, съ которыми начинаетъ говорить тихо князь Вяземскій.

Кн. Сибирскій, увидѣвъ Доморукаго.

Ба, ба! Вотъ кто намъ все про все расскажетъ.

Онъ легокъ на ногу, вездѣ бываетъ.

Да что ты, братъ, какой кургузый; словно —

Оборачиваетъ его.

Комедіантъ заморскій... не подь лѣта! Смѣется.

Кн. Долгорукій.

Такой портной у насъ теперь завелся:

Кроитъ и шьетъ онъ по своей всѣмъ мѣркѣ,

Сколачиваетъ на одну колодку.

Такъ не взыщите!

О. Іаковъ.

Преставленье свѣта!

Брады, ее жь Иисусъ Христосъ уважилъ,

Одежды, что угодники носили,

Лишаетъ нечестивецъ насъ, антихристъ,

На образъ божій, въ буйствѣ, посягая.

Кн. Сибирскій.

Нѣтъ, что ни говори онъ, — я кафтана
Нѣмецкаго съ штанами не надѣну.
И на другихъ смотрѣть, такъ право срамно.
Я въ землю ужъ смотрю.

Нарышкинъ.

Въ своей деревнѣ

Вамъ хорошо такъ разсуждать, на волѣ.
Нѣтъ, попытайтесь здѣсь-ка, предъ глазами.
Лопухина, намени въ ассамблеѣ,
Какъ онъ за это оборвалъ, какъ зыкнулъ!
Стѣна вздрогнула. Тутъ кафтанъ забудешь,
Давай хоть саванъ — и его надѣнешь.

Лопухинъ входитъ, а за нимъ и прочіе гости.

Кн. Сибирскій.

Вотъ на поминѣ легокъ. Мы сейчасъ
Лишь о тебѣ, дружище, толковали.

Лопухинъ.

Благодарю. Чѣмъ заслужилъ такое
Вниманіе?

Кн. Долгорукій.

Дубинкой, что ходила
Въ субботу по твоей спинѣ.

Лопухинъ.

Охъ, помню.

Ударилъ ею разъ одинъ, а искры
Такъ и посыпались изъ глазъ обоихъ.

Кн. Вяземскій.

Да, мужичина дюжій, и рука
Тяжелая...

Кн. Сибирскій, усмѣхаясь.

Кого достать случиться.

Лопухинъ.

Четырнадцать онъ вершковъ. Пождите,
Достанетъ всѣхъ; готовить онъ указецъ,
Почище ужъ языковской горячки!

Кн. Сибирскій.

О чемъ?

Другіе.

О чемъ же?

Что еще такое?

О. Іаковъ.

Какія козні новыя Осія

На гибель православныхъ вымышляетъ?

Кикинь, который до сихъ поръ распоряжался
съ своимъ дворецкимъ.

Помилуйте, честные господа!

Да вы совсѣмъ порядокъ позабыли.

Намъ выпить слѣдуетъ теперь, а послѣ (*вздыхая*)

За дѣло примемся. Я самъ бесѣдъ

Кое-что сообщу...

Даетъ знакъ одному служителю, который приноситъ большой подносъ, уставленный чарами, къ своему барину; сей, взявъ благословеніе отъ о. Іакова, начинаетъ обносить съ князя Сибирскаго

Кикинь, къ кн. Сибирскому.

Пожалуйте! На двухъ ногахъ мы ходимъ!

Кн. Сибирскій.

За здравіе хозяина. Благодарствуй!

Дай Богъ тебѣ прожить еще сто лѣтъ,

Да двадцать, да хоть маленькихъ пятнадцать.

Откушавъ нѣсколько, ставитъ чару на подносъ.

Кикинь.

О всей прошу, сіятельнѣйшій князь!

Кн. Долгорукій.

Не обижайте, дядюшка, хозяина!

О. Іаковъ.

Не радуйте діавола, и злобы

На днѣ не оставляйте. О! довольно,

Довольно по грѣхамъ людскимъ на свѣтъ

Ея.

Кн. Сибирскій.

Не пьется. Отуманилъ этотъ

Не доброй вѣстью. Хоть сказалъ бы послѣ!

Кикинь.

Богъ милостивъ! не подавайтесь страху,

Все перемелется — мучица будетъ.

А вашему сіятельству хлѣбъ съ солью.

Обходитъ съ служителемъ нѣсколько разъ прочихъ юстей. Одни пьютъ, другіе отовариваются.

Нарышкинъ.

По третьей ужъ! ты опойтъ насъ хочешь!

Кикинъ.

Помилуйте. Безъ троицы и домъ

Не строится; а намъ высокія палаты

Придется громоздить.

Кн. Сибирскій.

Да поскорѣе

Скажите, что случилось?

Кикинъ, *кончивъ подчиванье и отославъ слу-
жителей.*

Теперь и садемъ,

Друзья, рядкомъ, и станемъ говорить

Ладкомъ.

Всѣ садятся въ кружокъ. Къ Лопухину.

Скажи же намъ, ну что ты слышалъ?

Моя же рѣчь останется впередъ.

Лопухинъ.

Вѣдь плохо, господа.

Кн. Сибирскій.

Да что такое?

Лопухинъ.

Вѣдь очень плохо.

Кн. Долгорукій.

Говори: мы ждемъ.

Лопухинъ.

Такъ плохо, хоть живые зарывайтесь

Въ сырую мать-землю. Во-первыхъ, царь

Приказъ особый о дворянскихъ службахъ

За тридцать лѣтъ послѣднихъ наряжаетъ:

Уликъ, слышь, и доносовъ тѣма скопилась.

Начальники по городамъ, надъ войскомъ,

Въ судахъ, дьяки, послы, всѣ позовутся

Къ отвѣту, — всѣ, и даже отставные.

Кикинъ.

Ай-ай, какая общая опала!

Къ кн. Вяземскому тихо.

Нечаянно, а очень намъ, братъ, кстати.

Кн. Львовъ.

Но какъ за прошлое судить насъ время?

Нельзя и оправдаться, вѣдь: иное

Затеряно, иное позабыто.

Я, напримѣръ...

Лопухинъ.

Нѣтъ нужды. Тѣмъ и лучше.

Насъ не судить хотятъ, а засудить.

Всѣмъ обвиняемымъ составленъ списокъ.

Кн. Львовъ.

Мое тамъ имя есть?

Нарышкинъ.

А не видалъ ли

Мово?

Лопухинъ.

Не позабыть никто, — и самъ.

Князь Яковъ Ѳедоровичъ Долгорукій.

Кикинъ.

Ну — ну! теперь кому же очищаться,

Коль чистый самъ попался.

Лопухинъ.

Царь затѣялъ

Затѣю эту, чтобъ подъ видомъ пенн

Боярскія имѣнья обобрать,

Казну пополнить, надѣлать любимцевъ...

Нарышкинъ.

Насъ по міру пустить, а ихъ въ три горла

Откармливать наслѣднымъ хлѣбомъ нашимъ.

Кн. Львовъ.

Подавятся! Нѣтъ, на своемъ дворѣ

Скорѣе я умру, чѣмъ Алексашку,

Будь онъ разримскій князь, хоть подпущу

Къ амбару.

Лопухинъ.

Но постойте, господа!

Я рассказалъ не все: еще есть мудренѣе

Загвоздочка. Дворянство царь подь корень
Сбирается подкапывать.

Кн. Долгорукій.

Какъ такъ?

Лопухинъ.

А вотъ какъ: сочиняетъ онъ указецъ,
Что всякій человекъ, будь онъ подъячій,
Мастеровой, кутейникъ, иль фабричный,
Холопъ, солдатъ, — за службу и познанье,
За выдумку полезную какую,
Дворянство можетъ получить себѣ
И дѣтямъ всѣмъ, что послѣ народятся.

Кн. Сибирскій.

Нѣтъ. Это ужъ пустое онъ затѣялъ.
Дворянство — нѣтъ — никто не можетъ сдѣлать,
Хоть будь семи пядей во лбу. Нѣтъ, нѣтъ!
Дворянство божье дѣло, не людское:
Оно извѣчное. Мы съ нимъ родимся,
Какъ съ головой, руками и ногами.
Я князь, и въ гробъ все тѣмъ же княземъ лягу;
Холопъ — служи до свѣтопреставленья.
Пусть моетъ чернаго онъ кобеля,
Не вымоетъ, хоть тресни, до бѣла!

Кн. Львовъ.

Какое жъ намъ останется отличие
За древній родъ тогда и службу предковъ?

Кикинъ.

Онъ службы предковъ въ грошъ давно не ставитъ.
Служи-ка самъ.

Кн. Сибирскій.

Да я на что жъ бояринъ?

Рабы на службу есть.

Кикинъ.

Онъ говоритъ:

Я царь вашъ, да служу.

Кн. Сибирскій.

Какой онъ царь! —

Батракъ. Такіе ли цари бывали

У насъ? Въ пять лѣтъ инаго не увидишь,

Ни дочего не тронется руками.
Вотъ настоящіе цари какіе!

Кн. Львовъ.

Такъ мой холопъ со мною сядетъ рядомъ?

Кикишъ.

Куда ни шло бы! Нѣтъ, не ровень случай:
На корабль, въ полку, иль въ прочей службѣ,
Любезный вашъ сынокъ, князь Ѳеодоръ Дмитричъ,
Какъ Богъ дастъ подростетъ лѣтъ черезъ восемь,
Къ холопу этому-то попадется
Въ команду. Онъ тогда и отсчитаетъ,
По мягкой спинкѣ княжеской, удары,
Что нынѣ получаетъ на конюшнѣ
У васъ, и съ лихвою за прошлы годы.

О. Іаковъ.

Но развѣ Хаму можетъ Іафетъ
Служить? Но развѣ божье слово втунѣ
Теперь?

Лопухинъ.

Все хорошо, отецъ Іаковъ,
Да царь нашъ не справляется въ псалтыри.

Кн. Вяземскій.

А еслибъ справиться когда и вздумалъ,
Такъ Ѳеофанъ такой псалтырь подсунетъ,
Въ которомъ разуму замысловатѣй
Онъ наберется.

Лопухинъ.

А чтобы дворяне съ чернью
Не сунулися въ запуски служить,
Четырнадцать чиновъ онъ назначаетъ.
Кому жъ охота изъ деревни, съ воли
Черезъ строй такой насквозь-то продираться;
Холопы, дрянъ-то вся тому и рада.
Имъ все равно — у насъ тереть ли лямку,
Иль съ нимъ.

О. Іаковъ.

Не дьяволъ ли, не сатана ли,
Такія козни надуваетъ въ уши!

Кикипъ.

Кто ни былъ бы, да только намъ не легче
Отъ этого.

Лопухинъ.

А чтобы всякій службой
Успѣшнѣй править могъ и выходить
За то въ чины, онъ будетъ заводить
Училища вездѣ, по селамъ...

О. Іаковъ.

Какъ!

И села ужъ онъ развращати хощетъ?

Лопухинъ.

Вездѣ, вездѣ позаведутся школы,
Гдѣ всякому художеству дѣтей
Начнутъ учить...

О. Іаковъ.

Зловредному, мірскому.

Лопухинъ.

Мы, разумѣется, туда не станемъ
Дѣтей своихъ давать на грѣхъ, на муку,
Подъ власть кутейникамъ, заморскимъ Нѣмцамъ.
Царь наберетъ сиротъ и солдатенковъ,
Подкидышей, Нѣмчатъ, дѣтей крестьянскихъ —
Они жъ такіе острые пострѣлы,
Понятные: все на лету хватаютъ.
Я лѣтася отдалъ грамотъ учиться
Къ попу свою Ванюшу съ Алексанькой,
Мальчишкою дворецкаго, — такъ Ваня
Чуть началъ лишь склады тройные, Санька жъ
Часы вотъ такъ и барабанитъ въ церкви.

Нарышкинъ.

Ихъ взять на то! на всякое лукавство!

Лопухинъ.

Такъ вотъ лѣтъ черезъ десять или двадцать,
Какъ выльзетъ дрянъ эта изъ навоза,
Какъ выучится, да пойдетъ служить,
Такъ вотъ увидите въ какую грязь
Ударимся лицомъ мы, и надъ нами
Какъ блинники начнутъ смѣяться сверху,
Во всякой почести и въ изобилѣ.

Кн. Сибирскій, всплеснувъ руками.

Дай Богъ хоть не дожить до этой муки !

Кикипъ.

А ваши косточки въ сырой могилѣ,
Дворянскія, княжія, — нѣтъ, нѣтъ, ваше
Сіятельство, онѣ вздрогнутъ, онѣ
Заноютъ тамъ.

Эварлаковъ.

Да что жъ мы всѣ зѣваемъ?

Вѣдь отъ часу не легче намъ.

Нарышкинъ.

Терпѣнья

Недостаетъ. Чѣмъ далѣе, тѣмъ хуже.

Кн. Сибирскій.

Да. Жолтенькое житьецо !

Кн. Долгорукій.

Съ Иваномъ

Васильевичемъ жить сносите было.

Лопухинъ.

Онъ не училъ крестьянъ, не жаловалъ
Въ чины рабовъ, не думалъ посягать
На древніе обычи нашихъ предковъ.

О. Іаковъ.

Не брилъ бородъ...

Кн. Вяземскій.

А развѣ съ головами.

Эварлаковъ.

Что жизнь? копейка. Дорого безчестье.
А Петръ? онъ бить-то бьетъ, да и безчестить.

Кн. Сибирскій.

Хорошъ и Алексѣй, Софія, Ѳедоръ.
Они воротятъ съ корнемъ вонъ былое,
Сажаютъ новое...

Кн. Вяземскій.

На голову

Себѣ и намъ.

Кн. Долгорукій.

Такъ лучше бъ ихъ вонъ съ корнемъ.

Эварлаковъ и Аѳанасьевъ.

За чѣмъ же дѣло стало! мы собирались
Давно.

Другіе.

Такъ что же?

Съ корнемъ, съ корнемъ вонъ
Лихое племя.

Кикинъ.

Полно, полно! что вы!

Василій Владимырьчъ! спокойтесь!

Абрамій Ѳеодорычъ!

*Всѣ вдругъ умолкаютъ и смотрятъ на него съ удивленіемъ. Между
тѣмъ Кн. Вяземскій къ Аѳанасьеву тихо.*

Какъ расходились!

Что, каково? Всѣ наши Исааки...

Кикинъ, продолжая.

Забыли вы, царевича, друзья,

Любимаго, надежду-Алексѣя

Петровича.

О. Іаковъ.

Благословенну отрасль

Отверженнаго Богомъ древа.

Кн. Сибирскій.

Такъ,

Не по Романовымъ пошелъ царевичъ...

Его бѣ...

Кн. Долгорукій.

Да, да. О! онъ нашелъ бы умныхъ

Людей, не какъ его отецъ.

Кикинъ.

Къ прискорбью

Я долженъ новымъ васъ сразить ударомъ.

Снесете ли: не подождать ли?

Кн. Долгорукій.

Нѣтъ.

За разъ ужъ оттерпѣться.

Всѣ.

Что такое?

Кикинъ.

Несчастье съ нимъ, а стало быть и съ нами

Случилось: замыслы его открыты,
Захваченъ онъ, и въ кандалахъ, подъ тайной
Везется, и сегодня-завтра будетъ,
И розыскъ уголовный здѣсь начнется.

Кн. Долгорукій.

Какъ! Розыскъ уголовный здѣсь начнется!

Кикинъ.

За Ромодановскимъ уже послали.

Судите и радите какъ хотите.

Молчаніе.

Нарышкинъ.

Подвоху нѣтъ ли?

Кикинъ.

Никакого! вѣрно.

Кн. Сибирскій.

Прощайте, господа! пріятный вечеръ!

Анастасьевъ.

Куда же такъ торопитесь вы, князь?

Кн. Сибирскій.

Мнѣ нездоровится... домой... не время
Здѣсь бражничать и вамъ, друзья; пускай
Подумаетъ съ подушкой всякій дома.

Кн. Вяземскій.

Коль думать, такъ ужъ думать всѣмъ здѣсь вмѣстѣ:
Умъ хорошо, а два гораздо лучше.

Кн. Сибирскій.

Все такъ. Да это не мое, вѣдь, дѣло,
А ваше. Я здѣсь сторона. Но, впрочемъ,
Я васъ люблю, желаю вамъ успѣха, —
И доносителемъ на васъ не буду.

Кикинъ.

Мы знаемъ вашу честь. И тѣ слова,
Что слышала честная здѣсь компанья,
Безъ прежнихъ тожъ извѣстныхъ всѣмъ желаній...

Кн. Сибирскій.

Какихъ же?

Кикинъ.

Напримѣръ, что вы у дяди,
На ужинѣ, въ Петровъ день изъявили,

Что въ царскую болѣзнь, въ запрошломъ лѣтѣ,
Со мною говорили...

Кн. Сибирскій.

Александръ

Петровичъ! я не прочь отъ прежнихъ мыслей,
И лишь по старости хотѣлъ спокойнѣй
Приготовиться на всякій случай.
А впрочемъ я, пожалуй, и останусь.

Кикинъ.

Останьтесь, князь! Вашъ опытъ на совѣтѣ
Полезенъ будетъ намъ.

Къ прочимъ.

Ну, господа,

Въ опасность люди искреннѣй бываютъ;
Вертѣтся же и некогда теперь.
Послушайте, что вамъ скажу. Мы здѣсь
Замѣшаны всѣ больше или меньше;
За всякимъ есть иль слово, или дѣло.
Что, напримѣръ, сейчасъ мы говорили?
Отъ правды, иль неправды, — все равно —
Не цѣль никто.

Въ расчетъ и то, вѣдь, надо
Принять, что — люди грѣшные — никто
Одинъ за всѣхъ погибнуть не захочетъ.

Кн. Вяземскій.

Смерть на людяхъ красна.

Кикинъ.

Мы всѣ желали,

Надѣялись одного. Такъ лучше
Всѣмъ за-одно теперь здѣсь согласиться
И ждать одной бѣды или одной удачи.
Не правда ль?

Аванасьевъ, Дубровскій и Вороновъ.

Правда, истина.

Ф. Іаковъ.

О еже

Добро что и красно — жить, братья, вкупѣ!

Кикинъ.

Увидѣвъ тучу прежде всѣхъ, одинъ,

Я могъ спастись, но не хотѣлъ оставить
Друзей, и пить одну рѣшилъ чашу.

Нарышкинъ.

Но, господа, я здѣсь никакъ не вижу
Опасности, намъ близкой или личной:
Надежды рушились на Алексѣя,
Неловко подъ грозу начать — и только.
Ну что же! Разойдемся, сядемъ дома
Отачивать пока хоть веретена.

Кн. Долгорукій.

Иль у моря останемся, да будемъ
Опять погоды ждать.

Кн. Вяземскій.

А до погоды,

Къ отвѣту позовутъ?

Нарышкинъ.

Съ чего жь! мы были

Друзьями тайными. О заговорѣ
Не знаетъ онъ, и здѣсь мы всѣ другъ въ другъ
Увѣрены.

Кикинъ, прерывая ея, въ помолосу.

Да, тридцать челоѣкъ

Насъ здѣсь, да столько жь по другимъ мѣстамъ.

Нарышкинъ, продолжая.

Именъ же нашихъ нѣтъ нигдѣ въ поминѣ...

Кн. Долгорукій.

Я ни къ кому объ этомъ не писалъ.

Кн. Вяземскій.

Другіе можетъ быть объ васъ писали!

Кн. Долгорукій.

Зачѣмъ же ты писалъ?

Кн. Вяземскій.

Не я, но, въ десять

Или больше лѣтъ, обмолвиться не трудно
Кому-нибудь изъ множества знакомыхъ.

Кикинъ.

Я не ручаюсь за себя, не помню.

О. Іаковъ.

Царевичъ самъ держалъ вамъ счетъ, я знаю.

Кн. Вяземскій.

Кому же лучше знать — отецъ духовный.

О. Іаковъ.

Онъ все записывалъ: слова, совѣты,
Свиданья, разговоры. У него
Бумага даже есть, кого во что
Пожаловать въ благое время, или
Разжаловать.

Кн. Долгорукій.

Вотъ чортъ просилъ награды.

Кикинъ.

Объ этомъ что и спорить. Намъ укрыться
Нельзя. Одно знакомство съ Алексѣемъ
Въ вину смертельную теперь причтется,
Хоть имени чьего и нѣтъ въ бумагахъ:
Добавится оно изъ-подъ застѣнка.
Не знаете царевича вы развѣ?
Онъ радъ сказать напраслину, какъ въ уши
Громовымъ голосомъ отецъ ударить,
Иль черной молніею засверкаетъ.

Кн. Вяземскій.

Что говорить! Въ застѣнкѣ поручиться
Нельзя ни за кого, ни за себя.
Князь Кесарь Ромодановскій не тетка.

Молчаніе.

О. Іаковъ.

Подай-ка братъ мальвазіи-то съ горя.

Кн. Львовъ.

Неужели нѣтъ средства вамъ спастися?

Кикинъ.

Да выдумай. Мы скажемъ всѣ спасибо.

Кн. Львовъ.

Бѣжать?

Аванасьевъ.

Куда! ужь ежели въ чужихъ
Краяхъ отъ ястребиныхъ глазъ царевичъ
Не скрылся, намъ ли дома, на ладони,
Укрыться: насъ не двое, иль не трое.

Кн. Вяземскій, указывая на Воронова.

Вотъ, напримѣръ, одинъ — да не иголка.

Аванасьевъ.

Нѣтъ, такъ скорѣй умножимъ подозрѣнъе.

Кн. Сибирскій.

Не лучше ли заранѣй повиниться,
И попросить прощенья вамъ, друзья?
Благіе иногда часы находятъ
На государя.

Вороновъ.

Поздно. Не повѣритъ
Чистосердечію.

Дубровскій.

Нѣтъ, нѣтъ! виниться —
Погибель намъ.

Кн. Сибирскій.

И запирается тожь.

Эварлаковъ, вскрикивая.

Да что за пропасть! кто васъ обморочилъ?
Лѣтъ десять всѣ мы замыслили дѣло,
Сюда собрались нынче для того же,
Сейчасъ хотѣли вырывать все съ корнемъ, —
А вдругъ — ну щель искать, какъ невредимымъ
Лишь выползти. Да развѣ вся надежда
На одного царевича была!
Мы безъ него собирались покончить,
Покончимъ и теперя, кто мѣшаетъ!
Поднимемъ, нагрянемъ, испугаемъ.

Кн. Вяземскій.

Вотъ онъ каковъ! проснулся.

Кикинъ.

Чтожь, друзья,
Онъ сущю скричалъ намъ правду!

Эварлаковъ.

Правду.
Вотъ то-то же! Вотъ кто васъ выручаетъ.

Кикинъ.

Мы въ самомъ дѣлѣ не путемъ сробѣли.
Какая нужда намъ до Алексѣя?

Намъ должно лишь, его бѣду узнавши,
Стараться выполнить скорѣй рѣшеніе.

Кн. Львовъ.

Но заговоръ—отъ не поспѣлъ нашъ, зеленъ.

Кикинъ.

Но заговоры всѣ, вѣдь, доспѣваютъ
На площади, подъ вольнымъ небомъ, не во тьмѣ.

Эварлаковъ.

Впередъ! пора за дѣло приниматься.

Лопухинъ.

Не все мы сдѣлали, чего хотѣли.

Кикинъ.

Не все, но многое. Друзей довольно
У насъ. Согласныхъ чувствъ не оберешься,
А злобы на царя еще и больше
Вездѣ. Вѣдь вотъ, вотъ порохъ самый крѣпкій,
Не тотъ, которымъ заряжаютъ пушки.
Послушайте хотя бы олонецкихъ
Крестьянъ, что здѣсь работаютъ подъ плетью,
Въ канавахъ, на мостахъ и по плотинамъ.
Послушайте крестьянъ по всей Россіи,
Мансуровымъ записанныхъ въ ревизію.
Послушайте, что говорятъ они
Хоть о казенной распродажѣ соли,
Иль нынѣшнихъ подушныхъ, иль рекрутскихъ
Наборахъ, иль заводахъ о поганныхъ,
Гдѣ въ адскомъ пламени они курятся.
Да сколько ихъ повсюду разбѣжалось!
Ну, а купцы! имъ развѣ лучше, легче?
Въ разоръ всѣ разорились, насильно
Переселенные сюда въ болото,
Изъ Вологды, Архангельска, Устюга.
А здѣшніе жители, что онѣ кнутами
Пригналъ, какъ бы воловъ со всей Россіи,
Что здѣсь безъ дѣла, въ далеки, не знаютъ
Чѣмъ жить, кормить дѣтей отъ доргоvizны,
И только лишь домъ себѣ ломаютъ,
Да строить всякій годъ по новымъ планамъ —
Мудрить ему здѣсь благо безопасно.

Кн. Долгорукій.

Что правда, правда. Многіе не любятъ
Царя. Одинъ за то, другой за это.

Кикинъ, продолжая.

Приказные управиться не могутъ
Съ его законами, не понимаютъ
Ни слова новаго.

Кн. Вяземскій.

Да, да. Намедни

Княгиню Меньшикову, вѣдь, назвали
Коллегіей, а вмѣсто точныхъ копій
Точеныхъ копьевъ изъ Твери прислали.

Кн. Долгорукій.

Шутникъ! Уймешься ль ты? до смѣху ль намъ?

О. Іаковъ.

За духовенство жъ я вамъ отвѣчаю.
Архіепископы всѣ ненавидятъ
Царя за учрежденіе синода.

Кн. Вяземскій, тихо Лопухину.

Имъ всѣмъ попасть хотѣлось въ патріархи...

О. Іаковъ, продолжая.

За униженіе духовной власти.
Единъ лишь Теофанъ, женихъ полночный,
Что на пирахъ пьетъ мертвую съ нимъ чашу,
Угодникъ, льстецъ, развратникъ, соблазнитель,
Что говоритъ языкомъ бусурманскимъ,
И книги черныя намъ переводить
И съеть плевела межъ православныхъ, —
Единъ лишь онъ царя честить и славить
Съ наемными клеветами своими.

Кн. Долгорукій.

Но дѣло главное въ полахъ, въ монахахъ!
Вотъ близокъ кто къ народу, вотъ кто можетъ
Полезенъ быть для насъ.

Анастасьевъ.

Попы, монахи

Давно ужъ на царя шипятъ и злятся.
Онъ въ Шведскую войну содралъ съ нихъ шкурку.
Они смекаютъ, что владѣть не долго
Имъ селами богатыми своими.

О. Іаковъ.

И не избѣгнетъ кары онъ; въ аду
 Истлѣетъ грѣшникъ. Всякая копейка
 Церковная падетъ горящей каплей
 На голову его въ послѣдній день.
 Все растолковано сіе народу.
 Онъ знаетъ, какъ постовъ не держать царь,
 Какъ ѣсть скоромное, гадъ запрещенныхъ,
 По середамъ и пятницамъ, какъ съ Брюсомъ
 Колдуетъ онъ на Сухаревой башнѣ,
 Какъ Зотовъ патріарха представляетъ
 Въ пирахъ его, а архьереевъ шуты,
 Какъ водку за крещенскую пьютъ воду,
 Какъ стеклянками, вмѣсто кадилъ, махають,
 Какъ палками у нихъ благословенья
 Предъ выходомъ изъ капищъ раздаются.

Лопухинъ.

Да, чернь его еретикомъ считаетъ.

Кн. Сибирскій.

Онъ еретикъ и есть. Я самъ такъ мыслю.

Нарышкинъ.

Лишь пикни слово, и они — всѣ наши.

Кикинъ.

Ну, господа, столбнякъ прошелъ вашъ. Точно,
 Овецъ столпилось тысячи на берегу:
 Онѣ толкаются и выжидаютъ,
 Чтобъ смѣлый ихъ козелъ повелъ чрезъ рѣку.
 Должны начать мы, — но еще вопросъ:
 Какъ начинать. Что думаешь ты, Дмитрій
 Петровичъ?

Эварлаковъ.

Чѣмъ, братъ, думаешь, тѣмъ хуже.

Качай, куда ни вынесетъ кривая;
 Качай по всѣмъ по тремъ.

Кн. Львовъ.

Я что? Вотъ что:

Сберемся вмѣстѣ мы большой ватагой,
 Привалимъ невзначай нѣ ему на островъ,
 Осадимъ царскую его лачугу...

Останавливается.

Кикипъ.

Ну, хорошо. А послѣ будетъ что?

Кн. Львовъ, заикаясь.

Попросимъ сына выпустить, а дѣло
Предать суду Господню и забвенью.

Кикипъ.

Ну, началъ ты за здравье, князь, а свелъ
За упокой! Съ веревками на шеѣ,
Неся съ собой и топоры, и плахи,
Стрѣльцы просить ходили государя,
А выпросили что? Ты захотѣлъ
У каменнаго у попа достать
Желѣзной просвиры.

Кн. Долгорукій.

Ужъ гдѣ просить!

А развѣ наступать на горло.

Кн. Львовъ.

Чѣмъ же?

Эварлаковъ.

Ногами. Мы на улицу десяткомъ
Пойдемъ, а тысячами къ нему нагрянемъ.
Чернь мало ли подбить чѣмъ можно!
Она любой нелѣпости повѣритъ,
Ей побуянить лишь бы, да подраться.
Народныя толпы всегда дорогой,
Какъ глыбы снѣговья, нарастаютъ.

Кн. Сибирскій.

Голубчики! немного вы живете
На свѣтѣ; прожили бѣ съ мое, узнали бѣ
Поболѣе. Вы помните ли бунты
Прошедшіе? Мальчишкой царь ихъ унялъ:
Взглянулъ, да крикнулъ, топнулъ, — вотъ и все тутъ.
А кто шелъ на него тогда? Царевна
Софія Алексѣевна; не глупѣе
Она, вѣдь, насъ была, — и подводила
Подкопы-то изъ-за большаго брата,
Съ стрѣльцами объ руку и объ другую
Съ раскольниками. Чтожъ взяла? скончалась
Въ монастырѣ монахиней печальной.
Мальчишка тотъ ужъ возмужалъ теперь,
Усилился, и, вмѣсто двухъ рученокъ,

Со всѣхъ сторонъ ручищами обросъ.
Онъ кулакомъ однимъ вамъ погрозится,
И вся толпа отъ васъ врозь побѣжитъ,
И всѣхъ васъ по рукамъ и по ногамъ
Вяжи.

Эварлаковъ.

Нѣтъ. Я живой ужъ не отдамся.

Кн. Сибирскій.

Барышъ тебѣ и намъ, братъ, незавидный;
А что о пыткахъ поразскажутъ! страсти.
Какъ руки изъ суставовъ выломаютъ,
Ремни вырѣзываютъ изъ спины,
Какъ за ногти засаживаютъ спицы,
Какъ каплями холодную льютъ воду
На темя бритое, какъ мучать голодомъ
И жаждою...

Эварлаковъ.

Брѣ! полно, перестаньте.

Вина!

Аванасьевъ.

Вы насъ пугаете.

Дубровскій.

Коль волка

Бояться, не ходить и въ лѣсъ.

Кн. Вяземскій.

Отвага

Медъ пьеть.

Кн. Сибирскій.

И кандалы, вѣдь, треть она же,
Голубчикъ.

Кикинъ.

Нѣтъ, любезный князь Никифоръ,
Отваги слишкомъ здѣсь. Я не согласенъ
Съ Димитріемъ Петровичемъ, съ Васильемъ
Владиміровичемъ. Нельзя. Князь правду
Указывая на Сибирскую.
Сказалъ.

Кн. Сибирскій.

Ну, вотъ, вотъ человѣкъ разумный,
Вотъ кто на путь насъ истинный наводитъ
Всегда.

Нарышкинъ.

Но ты сейчасъ, вѣдь, соглашался,
Что надо начинатьъ.

Кн. Долгорукій.

Ты самъ

Сказалъ, что намъ пора ужъ наступать на горло.

Лопухинъ.

Послушай, Кикинъ, ты сейчасъ судилъ
И вкось и впрямь, — и то не такъ и это:
А что самъ выдумалъ? скажи-ка! 'ну-ка!

Кн. Львовъ.

О Господи! да что же будетъ съ нами!

Лопухинъ.

Хоть провалился бы злодѣй сквозь землю.

О. Іаковъ.

Скончатися бъ ему безъ покаянья!

Многіе кричатъ, обращаясь къ Кикину, который поглядываетъ на всѣхъ съ улыбкой, какъ бы имѣя вѣрное средство, и тѣмъ возбуждаетъ ихъ нетерпѣніе.

Но надо же на что-нибудь рѣшиться.

Эварлаковъ.

Тьфу, чортъ возьми! чтожь дѣлать намъ, скажите?
Здѣсь насъ засудятъ, тамо запытаютъ;
Здѣсь полымя, а тутъ огонь кромѣшный.

Многіе.

Но надо же на что-нибудь рѣшиться!

Другіе.

Спасаться надо намъ во что бъ ни стало!

Анапасьевъ.

Спасенья, видно, нѣтъ, окромѣ смерти.

Многіе.

Такъ нечего терять намъ. Ну, тѣмъ лучше!
Рѣшимъ съ отчаянья...

Эварлаковъ.

На все готовъ я!

Всѣ, приступая къ Кикину.

Ну говори. Ты всѣхъ насъ взбаломутилъ.

Спасай, спасай насъ отъ царя, какъ хочешь.

Что дѣлать съ нимъ?

Кикинъ.

Что дѣлать съ нимъ!

Всѣ.

Да! да!

Что дѣлать съ нимъ?

Кикинъ.

Сказать?

Всѣ.

Скажи, скажи!

Кикинъ схватываетъ ближайшихъ заговорщиковъ за руки, выступаетъ съ ними стремительно на авансцену и произноситъ шопотомъ, но рѣшительно и внятно.

Зарѣзать.

Эварлаковъ.

Ножикъ!

Кикинъ.

Вотъ благословенный.

Нѣкоторые въ помолосу.

Что ты!

Какъ возможно?

Зарѣзать! какъ поднимется рука?

Кн. Сибирскій.

О, отче... не введи насъ въ искушеніе...

Избави отъ лукаваго! *Минутное молчаніе.*

Кикинъ.

Да, братцы!

Одно спасеніе для насъ осталось.

Онъ ищетъ нашей головы. Мы съедемъ

Его. Вы перебрали всѣ, вѣдь, средства,

И видѣли, что всѣ къ кровавой плахѣ,

На висѣлицу насъ онѣ ведутъ.

Одно лишь это и легко, и вѣрно;

Одно ведетъ насъ къ цѣли, къ чести, къ славѣ.

Всѣ примутъ нашу сторону. Вы сами

Сейчасъ въ своей бестѣѣ описали,

Какою злобой на царя всѣ пынутъ.

Всѣ званья не дождутся перемѣны,

А произвестъ ее нельзя иначе:

Вънецъ съ Петра безъ головы сорвать
Нельзя.

Такъ чтожь? Отмстимъ за оскорбленья,
Избавимъ нашихъ чадъ отъ поруганья,
Спасемъ отчизну отъ небесной кары,
И отпахнемъ чужое навожденье,
Да будетъ нынѣ, присно и вѣки
Вѣковъ Россія безъ Петра счастлива,
И всѣхъ ему подобныхъ нечестивцевъ.
Отцы, вѣдь, наши не глупѣй насъ были,
А вѣкъ свой изжили. Дай Богъ намъ также.
Послѣдній опытъ, что угодно Богу!
Иль старое, иль новое! Впередъ!
На нечестиваго царя!

Эварлаковъ, Кн. Вяземскій, Аонасьевъ,
Вороновъ, Дубровскій, *между тѣмъ, какъ*
прочіе въ примѣтной неръшимости.

Впередъ!

Исчезни онъ — и да цвѣтетъ Россія!

Лопухинъ къ Доморукуму.

Въ самъ дѣлъ что жъ намъ дѣлать?

Кн. Сибирскій, *вздыхая.*

Да, подь горку

Скатились.

Аонасьевъ къ нимъ.

Но всегда вы то жъ хотѣли!

Кн. Вяземскій.

Вѣдь слово лишь другое пояснѣе.

Эварлаковъ.

И дѣло то вѣрнѣе и короче!

О. Іаковъ.

Осаннѣ! благословенъ грядый во имя
Господнее, благословенъ! Осанна!
На нечестиваго Ахава, иже
Намъ растопляетъ адъ на этомъ свѣтѣ,
Во тьму кромѣшную всѣхъ угождаетъ,
И въ будущемъ съ потомками, при немъ же
Иконы чудотворныя не плачутъ,
Не точится изъ глазъ цѣлебнo муро,
Уходятъ глубже подь землю мощи,

Святители въ пустыни убѣгаютъ,
И въ чудесахъ не славится Господь.
Вы хотите исполнити судъ божій,
Благочестивы христіане! Съ Богомъ!

Обращаясь къ Лопухину, Долгорукому и прочимъ.
Споборетъ оны святой подъяти подвигъ!
Сама апостольская церковь съ вами.
Осаннѣ! Осаннѣ! благословенны чада!
На нечестиваго Ахава.

Кн. Долгорукій, *махнувъ рукой.*
Ну, дѣлать нечего.

Лопухинъ.

Итъ такъ и быть. Впередъ!

Всѣ *подхватываютъ.*

Впередъ!

На нечестиваго царя!
И память гнусная да истребится
Объ немъ!

Убить его и прахъ развѣять
Далеко по морю!

Ура! ура!

Кн. Долгорукій.
А Алексѣй на всѣ условья наши
Подпишетъ за себя и за потомковъ...

Кикинъ.
Подпишемся и мы во укрѣпленье...
Отецъ Іаковъ! Клятвенную запись!

О. Іаковъ садится писать.

Кикинъ.
Все рѣшено, и мы ужъ божьи люди,
А не свои.

Кн. Вяземскій и Эварлаковъ.
Подпишемся, давай!

Кн. Сибирскій.
Не поздно ли? Давно прошла полночь —
Успѣемъ завтра или послѣ завтра.

Кикинъ.
Торопитъ время насъ. Быть можетъ завтра
Въ темницу половина попадется.

Напишетъ духомъ онъ — четыре слова,
 А гдѣ рука, тамъ, вѣдь, и голова,
 Спокойнѣй для самихъ, чтобъ ни единой
 Не оставалось никому лазейки. *Къ о. Іакову.*
 Да ну, скорѣй! готово ли?

О. Іаковъ, вставая изъ-за стола.

Готово. Читаетъ:

Мы нижеподписавшіеся, внемля гласу православныя церкви, и не зря конца беззаконіямъ царя нашего Петра Алексіевича, иже хо- щеть предати насъ во власть римскаго папы, и всѣ наши древніе обычаи отмѣняетъ, и дворянство искореняетъ, и на собственность духовную посягаетъ, и крестьянъ учить, и выше иныхъ прочихъ ставить, — симъ другъ другу обязуемся, единодушно и единомыс- ленно, тайно и въ-явѣ, идти противу его, и всѣми стараться си- лами, не щадя живота своего, въ надеждѣ мученическаго вѣнца, драгое отечество отъ сего лютаго врага освободити, а кто сему измѣнитъ словомъ, дѣломъ или помышленіемъ, тотъ будь анаѣема проклятъ.

Кикинъ.

Аминь!

Кн. Вяземскій.

Давай мнѣ: подпишуся.

Кн. Долгорукій, подписываясь.

Ну —

Неужель и теперь онъ увернется!

Аванасьевъ.

Нѣтъ, нѣтъ. Теперь навѣрное попался!

Кикинъ, къ кн. Сибирскому.

Вы не разборчиво, князь, подписались.

Кн. Сибирскій.

Отъ старости сталъ слѣпъ, и рѣдко, братецъ,
 Пишу.

Кн. Львовъ.

Я грамотъ писать не знаю.

Кикинъ, къ Долгорукому.

Черкните, князь, хоть вы, за неумѣньемъ.

Къ прочимъ, принимая подписанную бумагу.

Еще два слова о послѣднихъ мѣрахъ.

Попутру завтра мы опять сберемся.

Къ Долгорукому.

Хотя у васъ, — и по два раза въ сутки,
Пока не сыщемъ случая убить
Его — иль въ спальнѣ, иль пожарѣ,
Иль гдѣ-нибудь. Коли кого захватятъ
Сегодня же изъ насъ, — молчи, крѣпись:
Мы поспѣшимъ на выручку, съ наградой
Почетной, первою.

Чтобъ спать ложиться
Не жутко намъ, мы разойдемся по два.

Кн. Сибирскій.

Зачѣмъ?

Кн. Долгорукій.

На что же такъ?

Кикинъ.

Смѣлѣй и крѣпче.

Князь Вяземскій пускай съ Сибирскимъ княземъ
Поѣдетъ. Эварлаковъ къ князю Львову,
А съ княземъ Долгорукимъ Аванасьевъ.
И вотъ распоряженья наши всѣ.
Теперь по посолку всѣмъ на прощанье.

Идетъ къ чарамъ и наливаетъ.

Кн. Вяземскій.

Давай не посолокъ — заздравный кубокъ.

Кн. Сибирскій.

Или поминочный.

*Кикинъ приноситъ подносъ и становится
посрединѣ.*

Берите чары

И чокнемся всѣ въ разъ, мои друзья!

Перецалуемся, перекаляемся

И обвѣчаемся.

Всѣ складываютъ руки, чокаются и целуются.

О. Іаковъ.

Кого Господь

Соединяетъ самъ, не разлучить

Во вѣкъ никто.

Кн. Вяземскій.

Исаія, ликуй!

Кикинъ, *когда все гости разобрали чары.*

Ну, здравствуйте, или прощайте. Разъ,
Два... три.

Пьютъ все вмѣстѣ.

Кикинъ *наливаетъ себѣ еще кубокъ и пьетъ,
раскланиваясь съ гостями.*

Благодарю гостей за ласку!

Да здравствуетъ святое братство наше!

Да расточатся наши все враги!

Все гости повторяютъ.

Да здравствуетъ святое братство наше!

Да расточатся наши все враги!

Прощаются съ хозяиномъ и расходятся.

Прощай! благодаримъ за угощенье!

Прощайте! не на чемъ, покойна ночь!

Кн. Сибирскій, *отходящій, вздыхая.*

Попалъ я на бестѣду!

Нарышкинъ.

Я какъ будто

Во снѣ.

Кн. Львовъ.

А завтра — завтра какъ проснемся.

Кн. Вяземскій.

Э! утро вечера, вѣдь, мудренѣе.

Кикинъ, *проводяся ихъ.*

Не бойтесь, господа, не выдадимъ

Мы васъ.

Выходитъ съ прочими гостями, кромѣ отца Іакова и кн. Вяземскаго, которые останавливаются у дверей.

Кн. Вяземскій.

Не правду ль я сказалъ? А Кикинъ

Каковъ! Ей-Богу, умереть съ нимъ любо.

О. Іаковъ.

А лучше бъ жить.

Кикинъ, *возвращаясь торопливо.*

Ступайте жъ! что вы стали?

Васъ ожидаютъся.

Смотрите, уши

Вострый! не пророните слова, взгляда,

За этими любезными друзьями.

О. Іаковъ.

О, постарайся, Александръ Петровичъ,
Чтобъ съ животами всѣмъ намъ не разстаться.

Кикипъ.

Надѣйтесь: сообщники готовы
И задушевные и заклые,
Съ богатствомъ, именемъ, родствомъ, связями,
Необходимые и по удачѣ.
Вѣдь вотъ въ чемъ главная была задача.
А разъ пырнуть, тутъ велика ли мудрость?

Изъ передней комнаты кричатъ:

Отецъ Іаковъ! Князь Никифоръ! чтожь вы?

Кикипъ, обнимая и провожая ихъ.

Прощайте же.

**О. Іаковъ и кн. Вяземскій кричатъ въ от-
вѣтъ.**

Идемъ, идемъ.

Прощай.

*Кикипъ, проводивъ ихъ до двери, возвра-
щается одинъ на авансцену и чи-
таетъ тихо подписанную бумагу.
Подумавъ, съ улыбкою:*

Тьфу, чортъ возьми! Ужь не пойдти ли мнѣ
Къ царю съ доносомъ?...

II.

Комната предъ кабинетомъ Петра. У дверей ходитъ часовая. Изъ другихъ дверей выходятъ: съ одной стороны Екатерина, съ другой князь Меньшиковъ.

Екатерина.

Что такъ спѣшишь ты, Александръ Данилыч!
Я изъ окна увидѣла тебя,
Нарочно вышла встрѣтить и спросить:
Да съ кѣмъ же ѣхалъ ты? Мнѣ показалось...

Кн. Меньшиковъ.

Съ Толстымъ.

Екатерина.

Неужли? что ты?

Кн. Меньшиковъ.

Онъ поймалъ

Царевича, привезъ.

Екатерина.

Царевичъ здѣсь?

Кн. Меньшиковъ.

И не одинъ: съ полчинымъ, да съ какимъ? —

Оказія чудеснѣйшая вышла

Для плана моего, какъ по заказу.

Екатерина.

Но расскажи.

Кн. Меньшиковъ.

Разсказывать все долго:

Царь закипитъ, а мы прибавимъ жару;

Онъ отрѣшитъ отъ царства Алексѣя,

И предоставитъ...

Екатерина улыбается.

Улыбнулись, ваше

Величество! Да, да! Онъ вашимъ дѣтямъ

Отдастъ наслѣдство все, и вамъ; а съ вами...

Екатерина.

Ахъ, полно, полно, Александръ Данилыч!

Чего желаешь ты: въ чести, въ богатствѣ...

Царь любить, жалуетъ тебя всѣхъ больше,

Ты первый человекъ по немъ.

Кн. Меньшиковъ.

По немъ!

А я хочу... со временемъ... ну что же!...

По немъ! по немъ что первый, что десятый,

Безъ череды равны. Велика почестъ!

Хочетъ идти.

Екатерина, удерживая.

А вспомнилъ ты своихъ враговъ? ну если...

Я вздумать не могу... тогда что будетъ?

Ты упадешь.— И ты, и ты лишь глубже
Копаетъ яму подъ собой.

Кн. Меншиковъ.

Къ чему жь

Договорились вы? Вотъ эту яму
Я и хочу застлатъ, что васъ пугаетъ.
Но не пугайтесь: всѣ враги попались;
Однакожь обличать я ихъ не стану,
Ни даже Алексѣевыхъ друзей.
Пусть лучше, между страхомъ и надеждой,
Что туча, пронесясь, ихъ не задѣнетъ,—
Прочь отойдутъ и мнѣ мѣшать не станутъ
Окончить лишь царевичево дѣло.
Я легче справлюся съ одними съ ними,
И ужь потомъ спокойно дожидаться...

Екатерина.

Но, нѣтъ, не вмѣшивайся въ это дѣло.
Подумай...

Кн. Меншиковъ.

Все обдумано.

Екатерина.

Смотри:

Не ошибись.

Кн. Меншиковъ.

А развѣ я ошибся прежде?...

Какъ нынче всталъ: сердитъ онъ, или веселъ?

Екатерина.

Онъ что-то пасмуренъ. Сложивши руки
Назадъ, по комнатѣ онъ молча ходитъ,
Лобъ потираетъ и за столъ садится.
Не шведскій ли курьеръ къ нему пріѣхалъ?

Кн. Меншиковъ.

Э нѣтъ. Объ академіи онъ пишетъ.
Вотъ, кстати жь, я обрадую его
Извѣстиемъ.

Отходитъ.

Екатерина *вслѣдъ ему.*

Никого пускать

Онъ не велѣлъ. И я въ замѣкъ смотрѣла.

Кн. Меньшиковъ, близь дверей.

Но я пройду. Отъ слова моего,
Отъ одного, онъ встрепетъ весь.

Екатерина, уходя къ себѣ въ другую дверь.

Какъ бьется сердце! Что-то будетъ! Страшно.

*Между тѣмъ кн. Меньшиковъ подходитъ къ кабинету государеву
и хочетъ войти.*

Часовой.

Нельзя войти.

Кн. Меньшиковъ.

Какъ смѣешь ты, бездѣльникъ!

Ты не узналъ: всмотрися.

Часовой.

Какъ не знать!

Но никого не велѣно пускать.

Кн. Меньшиковъ.

Пусти. Сейчасъ велю поставить въ палки
Тебя.

Часовой.

Сперва смѣните, ваша свѣтлость.

Но сдачу я другому передамъ.

Кн. Меньшиковъ.

Ты вздумалъ разговаривать, бездѣльникъ!

Вотъ я тебя! Пусти.

*Хочетъ войти силою и толкаетъ часоваго. Тотъ отталкиваетъ его
и уставляется штыкомъ.*

Часовой.

Прочь! заколю!

*Кн. Меньшиковъ кричитъ. Часовой не перемѣняетъ своего положенія;
отворяется дверь кабинета, и выходитъ Петръ.*

Петръ.

Что здѣсь за шумъ?

Кн. Меньшиковъ, задыхаясь отъ гнѣва.

Меня разбойникъ этотъ...

Убить хотѣлъ...

Петръ.

Какъ! что такое?

Часовой.

Ваше

Величество велѣли никого

Къ себѣ не допускать; его же свѣтлость
Врывался силой. Чтожъ мнѣ было дѣлать?
Я осадилъ его штыкомъ маленько.

Петръ, цѣлуя его въ лобъ.

И молодецъ! Спасибо! Поздравляю
Тебя капраломъ въ гренадерской ротѣ.

Кн. Меншиковъ.

Помилуй...онъ...да...слушаться...смѣяться...
Да я...нельзя жь...

Петръ.

Какъ быть, Данилычъ. Жалко
Мнѣ было бѣ самому, когдабъ ты здѣсь
Пропалъ ни за полушку. А, по правдѣ,
Онъ знаетъ службу лучше твоего.
Татишевъ, эй!

Денщикъ входитъ.

Вели-ка живописцу

Списать уже надъ этими дверями
Данилыча съ солдатомъ въ позитурѣ.

Смѣется, выходя на авансцену.

Экъ онъ тебя пугнулъ! Ты языка
Не сыщешь!— Ну постой, вотъ я потѣшу
Тебя, и радость расскажу свою.
Проектъ академическій я кончилъ,
Нашелъ и капиталы на постройку —
Изъ рижскаго таможеннаго сбора,
И жалованье есть иѣмецкимъ членамъ —
Изъ описныхъ имѣній на Украинѣ.
И мѣсто выбрано, гдѣ мы теперь же
Заложимъ главный корпусъ: у Василья
На острову. Вотъ и еще домъ новый
Прибудетъ въ Петербургъ для красы.
Я радъ, что наконецъ устроилъ это.
Лишь академін недоставало
У насъ; солдаты есть — богатыри,
Какъ напримѣръ вотъ этотъ,—да не хмурься жь!—
А флотъ! Съ такимъ ли славнымъ адмираломъ,
Какъ Меншиковъ, ему не разродиться,
Не наторѣть, не вырасти на славу!
Ахъ, если Англичанамъ бы на морѣ

Задать когда Полтавскую баталью!
 Данилычь, а? Или такую радость
 Оставимъ ужь впередъ потомкамъ нашимъ?...
 А фабрики! Смотри: сукно какое
 Изъ шерсти Стриковъ простой мнѣ выткалъ!
 О! это все пойдетъ у насъ успешно: —
 Увѣренъ я, тутъ нечего и думать.

Науку лишь на чистомъ русскомъ полѣ,
 Науку лишь осталось мнѣ засѣять.
 А нѣжное растеніе наука,
 И тяжело и мудрено за нею
 Ходить, смотрѣть — намъ будетъ съ непривычки;
 Чуть солнце опалить, иль чуть морозъ прохватить,
 Подмочить дождикъ, расколышетъ вѣтеръ,
 Поблѣкнетъ и завянетъ, и надолго
 Къ землѣ наклонится она.

За то

Какъ выдержать грозу и непогоду,
 Какъ простонѣть воздушныя измѣны
 И корни глубоко въ землѣ раскинетъ,
 Такъ до небесъ ужь послѣ безопасно
 Главой величественной вознесется.
 И вотъ тогда ея благодѣянья:
 Съ высокаго прекраснѣйшаго древа
 Начнутъ надъ царствомъ разсыпаться манной.
 Пружины государственныя ею,
 Невидимыя, видимыя связи, —
 Скрѣплятся, отвердѣютъ, и ничѣмъ
 Никто того ужь царства не своротитъ.
 Тамъ всякій понимаетъ свое дѣло
 И уважаетъ собственное мѣсто,
 И всю съ него великую машину
 Впередъ своею грудью подвигаетъ.
 Обязанность священна тамъ, и дорогъ
 Покой общественный, и смерть за славу,
 За честь и счастье родины мила!

О, какъ подъ сѣнью благодатной знамя
 Блаженствуетъ такое царство въ мірѣ!
 Все, все растолковалъ мнѣ это Лейбницъ,
 И сладко, обливаясь слезами,
 Онъ говорилъ, — и понималъ я все.

Какая слава вожделемъ, выше, —
 Быть просвѣтителемъ вѣковъ, народовъ,
 Виновникомъ ихъ счастія на небѣ
 И на землѣ!

Вздыхая.

Но долго, онъ сказалъ, —
 Вѣка должно расти такое сѣмя!

Погружается на минуту въ размышленіе, и потомъ стремительно, начавъ, въ сильномъ движеніи ходитъ взадъ и впередъ по комнатѣ.

Нѣтъ! русскаго не зналъ онъ человѣка;
 Нѣтъ, Лейбницъ, этого не зналъ ты чуда.
 Не по годамъ, а по часамъ у насъ
 Пойдетъ расти оно. Такъ чуетъ сердце!
 О, русская душа—земля другая,
 Благословенная. Ея слои
 Я знаю всѣ. Лишь кинь ей сѣмя, солнцемъ
 Лишь чуть пригрѣй, какъ разъ оно возникнетъ...

Останавливается съ восторгомъ.

Такъ, такъ! увѣренъ я, что если двадцать,
 Лишь двадцать лѣтъ прожить мнѣ Богъ назначитъ,
 Услышу я какъ русскимъ языкомъ
 Заговоритъ иль Златоустъ, иль Лейбницъ.
 И русскій умъ найдетъ такую тайну,
 Сокрытую во глубинѣ природы,
 Какой и не предвидятъ Европейцы.
 Ужъ вотъ потѣшилось бы мое сердце,
 Обнявъ избранника, и къ нимъ въ подарокъ
 Пославъ его добычу дорогую.
 Я умеръ бы спокоенъ за Россію:
 Съ ученьемъ страшнаго нѣтъ ничего.
 Ученье свѣтъ, а неученье тьма!...

Умолкаетъ въ удивленіи. Безмолвный Меньшиковъ смотритъ на него съ благоговѣніемъ. — Чрезъ минуту, пришедъ въ себя, Петръ обращается къ нему.

Послушай, какъ все это я устроилъ.
 Мы вызовемъ теперь отборныхъ Нѣмцевъ,
 Дадимъ имъ жалованье, хоть тройное, —
 Ужъ такъ и быть: убытчиться, вѣдь, разъ —
 Но съ тѣмъ, чтобъ, занимаяся наукой,

Они дѣтей въ ученѣе нашихъ взяли,
 И знанья всѣ открыли безъ утайки.
 Изъ ста или двухъ сотъ учениковъ,
 Какъ двадцати хотъ молодцамъ не выйдти,
 Которые у нихъ все переймутъ,
 И даже, Богъ поможетъ, перегонятъ,
 Какъ мы съ тобою перегнали Шведовъ: —
 Я знаю чѣмъ учиться ихъ заставить.
 Давно уже я къ Лейбницу объ этомъ
 Писалъ. Не понимаю, что такъ долго
 Отвѣта нѣтъ.

Кн. Меньшиковъ.

Отвѣтъ пришелъ.

Петръ.

Чтожь ты

Не отдаешь его?

Кн. Меньшиковъ.

Ты не далъ слова

Промолвить мнѣ. Притомъ ты не велишь

Перерывать твоихъ рѣчей, и я

Заслушался, признаться, позабылся.

А у меня еще важнѣе есть извѣстье...

Петръ.

О чемъ же?

Кн. Меньшиковъ.

О царевичѣ.

Петръ, изумленный, съ величайшимъ нетер-
 пливомъ подступаетъ стремительно
 къ Меньшикову и хватаетъ его за
 руку.

Что онъ?

Кн. Меньшиковъ.

Онъ здѣсь.

Петръ.

Пріѣхалъ?

Кн. Меньшиковъ.

Привезенъ.

Петръ.

Но кто же

Привезъ его?

Ки. Меньшиковъ.
Румянцовъ и Толстой.

Петръ.
Чтожь не являются они такъ долго?

Ки. Меньшиковъ.
Румянцовъ руку вывихнулъ. Толстой
Здѣсь дожидается тебя въ пріемной,
А я пошелъ предупредить заранѣй.
Сюда велишь его позвать?

Петръ.
Сюда!

Князь Меньшиковъ идетъ за Толстымъ.

Петръ, вслѣдъ ему.
И что же ты молчалъ? ты въ тужь минуту
Мнѣ долженъ былъ донести.

Ки. Меньшиковъ, съ дороги.
Я и хотѣлъ...

Петръ.
Да ну скорѣй!
Идетъ самъ, опереживаетъ ки. Меньшикова и кличетъ въ дверяхъ:
Толстой! Толстой!
Толстой входитъ.

Петръ.
Здорово!
Спасибо! Гдѣ ты отыскалъ его?

Толстой.
Въ Неаполѣ.

Петръ.
Какъ онъ туда попалъ?
Толстой.
Онъ къ цесарю отдался подъ защиту.

Петръ.
И цесарь принялъ?

Толстой.
И не только принялъ,
Но покровительствовать обѣщался.

Петръ.
Онъ принялъ! обѣщалъ! Да какъ онъ смѣетъ
Мѣшаться не въ свое, въ чужое дѣло?

Или учить ему меня досталось!
Ты бѣ сатисфакціи спросилъ! Однакожь,
Онъ выдалъ послѣ?

Толстой.

Нѣтъ, не выдавалъ.

Петръ.

Такъ ты увезъ его изъ-подъ защиты
У покровителя?

Толстой.

Нѣтъ, обѣщая

Прощеніе отъ имени твоего,
Я убѣдилъ со мною воротиться
Царевича назадъ.

Петръ.

Не надо бѣ было!

Но что въ Неаполѣ хотѣлъ онъ дѣлать?
Такъ далеко? И почему же выбралъ
Онъ цесаря, а не кого другаго?
И покровительство въ чемъ состояло?...
Нѣтъ, лучше расскажи ты все порядкомъ:
Съ тѣхъ поръ, какъ я отправилъ васъ изъ Спаа...

Толстой.

Сначала по нѣмецкимъ мы владѣніямъ
Черезполоснымъ ѣздили, искали
Слѣдовъ, разспрашивали, — но напрасно!
Потомъ уже пустился къ Французамъ:
Тамъ и своихъ хлопотъ не оберутся —
Не до него! По смерти короля
Все, все вверхъ дномъ. Наслѣдникъ малолѣтний!
Регентъ себѣ пируетъ да гуляетъ
На денежки казенныя, — и всѣ
По немъ: поютъ и пляшутъ, ну раздолье,
А дѣла-то не дѣлаетъ никто.
И Лудвиковъ домокъ сведенъ на нитку...

Петръ.

Вотъ каковы наслѣдники! не думай
Объ нихъ.

Толстой.

Оттуда къ цесарю мы въ Вѣну...

Петръ.

И чтожь у цесаря хотѣлъ онъ дѣлать?
Въ Неаполѣ? пить, ѣсть и спать,— и только?

Кн. Меньшиковъ.

Э, нѣтъ! Чай больше: дожидаться смерти
Твоей.

Петръ скрежещетъ зубами.

Какъ! смерти дожидаться! смерти!

Проходитъ нѣсколько разъ по комнатѣ; про себя.
Ну вотъ объ чемъ и думать я боялся!

Къ Толстому.

Онъ самъ тебѣ признался въ этомъ?

Толстой.

Нѣтъ,

Я везъ его съ почтеніемъ и лаской,
И избѣгалъ разспросовъ. Онъ, напротивъ,
И не подозрѣваетъ, чтобы знали
Мы что-нибудь хоть объ его затѣяхъ.
Я все тайкомъ вывѣдывалъ у дѣвки,
Что онъ съ собою изъ Россіи вывезъ:
Она достала мнѣ вотъ эти письма
Собственноручныя и черновыя.

Подаетъ свертокъ.

Петръ, принимая и разбирая бумаги.

А почему онъ зналъ, что я скорѣй
Его умру?

Толстой.

Какія-то видѣнья
Имѣли здѣсь монахи и писали:
Не долго-де ужъ твоему отцу
Помучить насъ. Умается онъ скоро;
Терпи пока, молчи: лѣтъ черезъ пять
Иль онъ умретъ, иль что-нибудь да будетъ.

Петръ.

Ну что же будетъ?

Кн. Меньшиковъ.

Бунтъ, не что другое.

Петръ, къ Толстому.

Такъ онъ къ бунтовщикамъ хотѣлъ прѣхать?

Толстой.

Онъ даже въ Мекленбургъ собирався съѣздить,
Коль въ нашей арміи, что тамъ шалила,
Прибавилось бы смуты.

Петръ.

Развѣ знаютъ
Объ этомъ случаѣ у нихъ?

Толстой.

Эге! —

Да тамъ шаги на перечеѣ наши.
Какъ-разъ узнаютъ все до подноготной,
Что сдѣлается здѣсь къ добру, иль къ худу.
Вѣдь, страхъ отъ насъ напалъ такой, какого
У нихъ отъ Турокъ сроду не бывало.
Тамъ только всѣ лишь и твердятъ, что надо
Россію сдерживать и не пускать
Впередъ,—не то для всѣхъ, вишь, плохо будетъ.
Чуть что бѣ не даровое здѣсь случилось,
Они бѣ пришли съ войною за него.

Петръ.

Пожалуйте! — Я встрѣчу васъ, незванныхъ
Гостей!—Они въ подметки къ брату Карлу
Всѣ не годятся. Видѣлъ я ихъ земли!
И имъ достанется, при мнѣ, Россію
Удерживать!—Да я ногою топну,
И войско вскочитъ изъ земли, что мѣста
Не сыщутъ отъ него во всей Европѣ
Они. Я тѣломъ на границѣ лягу:
Переползти ли имъ, червямъ! Не троньте
Меня, пока я самъ васъ не затронулъ!

Ходитъ по комнатѣ.

Но кто жъ его сообщники, друзья,
Которые чрезъ пять лѣтъ предрекаютъ
Ему, что... предрекаютъ перемены?

Толстой.

Царевичъ ихъ именъ не сказывалъ
Чухонкъ, и она лишь только знаетъ,
Что партію большую онъ имѣетъ
Между боярами, попами, чернью,
Которая тобою недовольна,

Зоветь его, надѣясь чрезъ него
Дожить опять до старины любезной,
Которая, усклившись теперь,
Смышляетъ скоро на своемъ поставить.

Петръ.

Они смышляютъ на своемъ поставить!
Но гдѣ жъ они? Но кто жъ они такіе?
Привести его ко мнѣ! — Ну что жъ вы стали?

Князь Меншиковъ посылаетъ Толстаго, который и выходитъ.

Я допрошу его, я допытаюсь...

Начинаетъ въ сильномъ волненіи ходить скорыми шагами по комнатѣ, задыхаясь отъ гнѣва. Показывается Екатерина съ младенцемъ на рукахъ и приближается къ нему съ подобострастіемъ.

Екатерина.

Что сдѣлалось съ тобой, Петръ Алексѣичъ? —
Ты посинѣлъ, ты весь дрожишь.

Петръ, не останавливаясь.

Что жъ не ведутъ его ко мнѣ такъ долго?

Екатерина.

Но успокойся.

Петръ.

Какъ я успокоюсь?

Ты знаешь ли: бунтъ на меня замышленъ,
И Алексѣй былъ съ ними за-одно.
Мнѣ успокоиться?

Екатерина.

Скажи, какой же

Замышленъ бунтъ? не можетъ быть. А вѣрно
Болтанье на попойкѣ, хвастовство.

Петръ.

Болтанье? хвастовство? Онъ въ Вѣну ѣздилъ!

Екатерина.

Такъ что жъ? гулять хотѣлося, шататься.

Петръ.

Ты врешь, не понимаешь ничего.
Гулять! шататься! Войско онъ собиралъ,
Бородачи его здѣсь дожидались,
Готовилися. Жизнь моя висѣла
На волоскѣ... *Отходитъ.*

Екатерина, къ Меншикову.

Не слухъ ли это ложный,
И гдѣ же имѣ? Всѣ силы у него
Въ рукахъ.

Кн. Меншиковъ.

Однако! Шведы, Турки вмѣстѣ,
Татары, казаки да старовѣры,
Не говоря о помощи цесарской.
Нѣтъ, это ужъ не шутка...

Петръ, ходя по комнатѣ во все продолженіе этой сцены, говоритъ отрывисто съ собою.

Духъ проклятый
Ведется... Какъ мнѣ вытянуть его?

Екатерина, продолжая говорить съ Меншиковымъ.

Но все вѣдь узнано: чего жъ бояться?

Кн. Меншиковъ.

Чего? Они живутъ, а вѣдь живые
Живое думаютъ, и что имъ нынѣ
Не удалось, то удастся завтра.

Екатерина.

Такъ содержать зачинщика построже.

Кн. Меншиковъ.

Онъ уходилъ ужъ изъ подъ строгой стражи.
Но гдѣ бы ни былъ онъ, а все надежда
Злодѣямъ государевымъ.

Петръ, вслушавшись, про себя.

Такъ. Надо

Отнять у нихъ надежду... навсегда.

Въ забывчивости останавливается передъ Меншиковымъ, и говоритъ ему, какъ будто съ собою.

Постричь въ монахи?

Кн. Меншиковъ отвѣчаетъ ему.

Да онъ радъ постричься.

Клобукъ, вѣдь, къ головѣ не прибиваютъ
Гвоздемъ,— ему давно ужъ говорили.
Сегодня Теофаномъ пострижется,
А завтра разстрижетъ пожалуй Іаковъ.

Петръ начинаетъ опять ходить; про себя.

Такъ что жъ мнѣ дѣлать съ нимъ? — Неужли? нѣтъ,

Иначе какъ-нибудь... нѣтъ, нѣтъ. — Что скажутъ?

Останавливается; къ Меньшикову.

Ну вотъ сестра... при мнѣ, вѣдь, не посмѣла.

Кн. Меньшиковъ.

А безъ тебя что сдѣлала бъ она?

А безъ тебя что сдѣлаетъ царевичъ?

Ну ежели, избави Боже, онъ

Переживетъ тебя, тогда что будетъ?

Екатерина.

Богъ милостивъ.

Петръ.

Богъ милостивъ! Однако,

Надѣясь на него, плошать не надо,

Ты слышала ль о Франціи по смерти

Лудовика? А здѣсь чтобъ хуже было?

Въ сильномъ движеніи проходитъ нѣсколько разъ по комнатѣ.

Потомъ, остановившись, съ жаромъ.

Нѣтъ, нѣтъ! не будетъ этого. Неужли

Съ пеленокъ я не зналъ себѣ покоя,

Всегда въ нуждѣ, и тѣснотѣ и страхѣ,

Подъ снѣгомъ, подъ дождемъ, въ пыли, въ грязи,

Въ болотахъ и сугробахъ по колѣно,

По цѣлымъ суткамъ безъ воды, безъ хлѣба, —

Неужли я на фабрикахъ, заводахъ,

По кузницамъ, по мельницамъ, плотинамъ

До поту, до крови капающей трудился, —

Неужли я въ чужихъ краяхъ мальчишкой

Скитался, и у всѣхъ тамъ, Христа ради,

Въ дорожную суму собиралъ уроки,

Или, какъ воръ, подглядывалъ сквозь щели, —

Неужли грудь свою передъ врагами

Я обнажалъ, и шелъ впередъ на пушки,

Неужели московскую я площадь

Всю улилъ человѣческою кровью

Лишь для своей пожизненной забавы?

Лишь для того, чтобъ завтра мое имя

По вѣтру пронеслося съ бѣлымъ шумомъ, —

А я въ неожиданную минуту смерти,

Пока душа не вылетитъ изъ тѣла,

Услышалъ бы, какъ надъ главою моею

Весь сводъ моихъ трудовъ тяжелыхъ рухнетъ?
 Нѣтъ! Богъ меня избавить отъ такого
 Конца! поможетъ Онъ въ моей мнѣ правдѣ,
 Какъ Онъ помогъ мнѣ укротить сто бунтовъ,
 И спасъ меня отъ тысячи убійць.
 Я справился съ стрѣльцами, съ казаками,
 Съ раскольниками, и съ сестрой Софіей.
 Ужежь теперь съ такимъ врагомъ ве справлюсь?
 Нѣтъ, нѣтъ! я справлюсь съ нимъ, клянуся Богомъ,
 Я справлюсь съ партіей его, остаткомъ
 Враговъ отечества, моихъ злодѣевъ.
 Я чувствую: кровь закипаетъ въ жилахъ,
 Грудь поднимается и тяжелѣетъ
 Рука, и напрягаются всѣ мышцы.
 Я наполняюсь силой, наполняюсь.
 Подайте же мнѣ партію его!
 Подайте мнѣ ее сюда. Скорѣе
 Я голову срублю однимъ ей махомъ,
 Я раздавлю, я задушю ее,
 Я разотру шипящую ехидну
 Въ своей рукѣ, и прахъ ея развѣю:
 Подайте жъ и его ко мнѣ, злодѣя,
 Последнюю надежду темной силы!
 Гдѣ онъ? гдѣ онъ? Ко мнѣ! скорѣй, живаго
 Я разорву на части.

*Въ эту минуту въ дверяхъ показывается царевичъ Алексѣй Петро-
 вичъ, въ сопровожденіи Толстаго и другаго гвардейскаго капитана.
 Петръ, увидѣвъ его, въ неистовствѣ бросается къ нему съ под-
 нятыми вверхъ руками, но, подбѣжавъ, вдругъ останавливается,
 и тихо отходитъ, смущенный.*

Онъ — мой сынъ...

Кричитъ Меншикову и Толстому.

Долой съ глазъ... уведите... поскорѣй!

Межъ тѣмъ Алексѣй, падалъ ему въ ноги.

Родитель мой! съ слезами припадаю
 Къ ногамъ твоимъ, въ сердечномъ сокрушеніи.
 Я знаю, недостоевъ, окаянный,
 Взирать я въ очи свѣтлыя твои,
 Не только гласъ твой милостивый слышать.
 Но для-ради величья твоего,

По благодсти твоей неизреченной,
 Прошу съ молитвою, — прости, помилуй! —

*Петръ, прошедъ въ молчаніи нѣсколько разъ
 по комнатѣ, послѣ внутренней при-
 мѣтной борьбы, подходитъ къ Алексию.*

Попробую... Послушай... Такъ и быть,
 Признайся мнѣ во всемъ чистосердечно.
 Коль истину объявишь безъ лукавства,
 То я прощу. Но если утаишь
 Кого-нибудь, иль что-нибудь, то знай,
 Что и пардонъ тебѣ въ пардонъ не будетъ.

Алексѣй.

Клянусь... открою все, какъ на духу,
 Лишь позабудь мою вину и дерзость!

Кн. Меншиковъ тихо Екатерина.

Не хорошо оборотилось дѣло!

Петръ.

На что просилъ цесарской ты защиты?
 Ты пристыдилъ меня предъ всей Европой—
 Я съ сыномъ ужъ роднымъ не могъ ужиться!
 Меня тираномъ назовутъ, злодѣемъ;
 За что жъ? за то, что я... нѣтъ, не могу
 Я спрашивать.— Дашилычъ, допроси...

Отходитъ и становится въ отдаленіи.

Кн. Меншиковъ тихо Екатерина.

Теперь поправимся. Я такъ спрошу,
 Что онъ во всемъ запрется...

Къ царевичу ласково.

Капитанъ

Толстой его величеству донесъ,
 Что доброй волею ты воротился,
 По первому отъ имени его призыву,
 Дорогою оказывалъ послушность,
 И къ жалобамъ причинъ не подавалъ;
 По всѣмъ развѣдываньямъ нашимъ также
 Уликъ и подозрѣній не нашлось...

Петръ къ Меншикову.

На что жъ ты такъ?.. Да, лучше, продолжай.

Кн. Меншиковъ.

Но царское величество его,

Для бѣльшаго себѣ успокоенія,
Лишь хочетъ знать, не было ли на мысли,
Иль у тебя, иль у твоихъ друзей
Чего противнаго его желаньямъ?

Петръ.

Скорѣе къ дѣлу!

Кн. Меншиковъ.

Въ-первыхъ онъ желаетъ

Знать, для чего ты къ цесарю потхалъ!

Какая мысль твоя была сначала?

Кн. Меншиковъ важнѣйшіе вопросы предлагаетъ скрадивая, а дѣлаетъ удареніе только на послѣдніе.

Алексѣй.

Мнѣ не хотѣлось ѣхать въ Копенгагенъ
На зовъ его, чтобъ тамъ войнѣ учиться,
Которой съ малыхъ лѣтъ еще боюся.
У цесаря я жить хотѣлъ въ покоѣ,
Ни объ какихъ дѣлахъ ужъ не заботясь,
Къ коимъ, по неспособности моей,
Изволишь знать ты самъ, князь Александръ
Данилычъ, я не чувствую охоты.

Кн. Меншиковъ.

А не просилъ ли ты у нихъ подмоги
Теперь или на будущее время?
Не жаловался ль на отца?

Алексѣй.

Нѣтъ, грѣшный,
Я зналъ всегда, какъ правъ онъ предо мною,
И только плоть меня одолѣвала.
Я говорилъ лишь всѣмъ, что заставляетъ
Отецъ меня работать черезъ силу,
А я, по слабости своєю здоровья,
Заботъ правительственныхъ никогда
Брать на себя не думаю. За что же
Я буду изнурять себя—де даромъ!

Кн. Меншиковъ.

Мы сколько ни искали, ни старались,
А не могли узнать твоего жилища,
А кто другой не зналъ ли здѣсь его?

Алексѣй.

Нѣтъ, я поѣхалъ подъ великой тайной.

Ки. Меньшиковъ.

И не писали ли о чемъ отсюда;

Иль напрямки, или обиняками?

Петръ внезапно.

И ты къ кому отсюда не писалъ ли?

Алексѣй, обробленный.

Писалъ... къ сенаторамъ и архъереямъ.

Петръ.

Объ чемъ?

Алексѣй.

Что я здоровъ и нахожуся

Подъ... стражею у сильнаго владыки.

Ки. Меньшиковъ.

Ты самъ писалъ, иль по чьему совѣту:

Цесарскаго министра напимъръ!

Алексѣй.

Графъ Шонебургъ...

Петръ.

Да имъ на что такое

Письмо приказывать?

Ки. Меньшиковъ.

Они быть можетъ

Претекстъ имѣть хотѣли на царя.

Ты не замѣтилъ ли чего такого?

Алексѣй.

Гдѣ жъ мнѣ въ такія хитрости проникнуть!

Ки. Меньшиковъ.

Итакъ доносъ, что царское его

Величество недавно получило

О томъ, что въ разныхъ городахъ злодѣи

Скрываются, которые желаютъ

Какимъ-нибудь манеромъ извести

Его, и посадить тебя на мѣсто

Вакантное, которые съ тобою

Въ коммуникаціи находились, ложенъ?

Алексѣй.

Я знать не знаю ничего, и вѣдать

Не вѣдаю.

Петръ, вышедъ изъ себя.

Ты лжешь, и вотъ улики.

Показываетъ ему письма, полученные отъ Толстаго.

Злодѣй! не хочешь ты ни въ чемъ признаться,

Ты обмануть надѣешься, ты злое

Все держишь на умѣ — и погубилъ

Себя. Толстой! возьми его...

Постой! вотъ мы сейчасъ узнаемъ правду,

Увидимъ, какъ наслѣдства не искалъ ты.

Дньщикъ! сыщите мнѣ медвѣжій ящикъ!

Алексѣй, падая въ ноги.

Какой наслѣдникъ я!

Указываетъ на брата-младенца.

Родитель мой!

Вотъ, вотъ наслѣдникъ твой достойный, истый.

Я отрекаюсь для него отъ царства.

Позволь мнѣ только жить, лишь только жить,

Въ монастырѣ, хоть въ Соловецкомъ,

Чтобы о здравіи твоёмъ и братнемъ,

И о грѣхахъ своихъ я могъ молиться!

Деньщикъ приноситъ медвѣжій ящикъ.

Петръ.

Вотъ помолюся я тебя! — Данилыч!

Ступай, возьми и привези признание.

Алексѣй, уводимый, съ воплемъ.

Я все теперь скажу. О, матушка

Екатерина Алексѣвна, сжался

Надъ сиротой.

Царь будущій, мой братецъ!..

О, заступись хоть ты...

Кн. Меньшиковъ и Толстой уводятъ его.

Петръ взлядываетъ на младенца и обращается къ нему.

Царь будущій!

Петруша! знаешь ли, что въ этотъ часъ

Рѣшается судьба твоя, судьба

Россіи всей, которая на долго

Подъ власть твою быть можетъ достается.

О, если бы тебѣ я съ симъ наслѣдствомъ

Могъ передать свою любовь, свой пламень!

Съ какою бѣ радостью я согласился,
 Хоть въ кабалу идти на цѣлый вѣкъ,
 Ко Шведамъ, Туркамъ, дьяволу... на муку!
 Пойдешь ли по слѣдамъ моимъ ты, другъ мой,
 Возлюбленный сынъ сердца моего,
 Сынъ Катеньки моей неопѣванной!
 Подвигнется ли при тебѣ Россія,
 Которая теперь лишь шевелиться
 Всѣмъ тѣломъ подъ моимъ дыханьемъ стала?
 Исполнишь ли мои ты мысли, планы?
 Исполни ихъ, мой другъ! — Любовь къ отчизнѣ,
 Чистѣйшая, и опытъ многолѣтній,
 И трудъ и размышленіе ночное,
 Внушили ихъ, — и ты, благословенный,
 Сойдешь въ исторію, а я на томъ ужъ свѣтѣ
 Возвеселюся духомъ о Россіи,
 И радости святой слезами смою
 То тѣлое, то жгучее пятно,
 Которое теперь, какъ ржа, садится
 На сердце онѣмѣлое мое.

Плачетъ. — Потомъ устремляетъ къ небу глаза, наполненные слезами, и, положивъ руку на сердце, говоритъ:

О, Господи! за всѣ мои труды,
 За дни и ночи безо сна, за голодъ,
 За жажду, потъ и кровь, — награду эту
 Даруй награду эту, Милосердый!

Бросается цѣловать младенца.

Екатерина, тронутая, ласкаетъ обоихъ.

О, онъ тебя утѣшитъ, будь увѣренъ;
 Ты въ немъ за все получишь награжденіе!
 Богъ справедливъ.

Взгляни, какъ онъ умильно
 Глазенками уставился въ тебя,
 Какъ слушаетъ! Онъ все, все понимаетъ:
 Петрушинька! ну, приласкай отца!
 Онъ грустенъ. Тяжело ему, прискорбно.
 Ну, обними его покрѣпче, крѣпче.
 Скажи: да, да! — Вотъ такъ. О, мой дружокъ!
 Ты вырастишь великъ, ты будешь слазенъ.
 Онъ самъ тебя всему научить. Ты

При немъ начнешь служить и помогать
 Ему, среди трудовъ, какъ онъ устанетъ.
 А послѣ онъ лишь радоваться будетъ,
 Любуясь тобою и Россіей,
 На старости, спокойно отдыхая.
 Какъ будешь почитать, любить его ты!
 Не такъ, какъ твой несчастный, старшій братъ.

При послѣднемъ словѣ Петръ вскрикиваетъ внезапно.
 А если онъ такой же! хуже?

Ходитъ быстрыми шагами по комнатѣ.

Нѣтъ,

Я не хочу. Нѣтъ! трудно, тяжело
 Мнѣ одному все это взять на душу
Къ Екатерину.

Поди! поди!

*Изумленная, Екатерина уходитъ; между тѣмъ князь Меншиковъ
 и Толстой являются съ бумагами.*

Кн. Меншиковъ.

Признался намъ царевичъ
 Въ измѣнѣ государственной, въ союзѣ
 Съ иноплеменикомъ на вредъ отчизнѣ,
 Въ злыхъ умыслахъ и тайныхъ заговорахъ,
 Въ отцеубійствѣ и цареубійствѣ.
 И вотъ признаніе его рукою.
 Итакъ, что дѣлать съ нимъ теперь прикажешь?

Петръ.

Предать суду.

Кн. Меншиковъ, удивленный.

Какому? какъ? суду?

Въ сторону.

О Господи! что вздумалъ онъ? возможно ль?

Петръ къ Толстому.

Пиши указъ, кому собраться завтра.

Кн. Меншиковъ.

Позволь сказать тебѣ два слова: сколько
 Головъ, вѣдь, столько и умовъ. Богъ знаетъ,
 Посудятъ какъ. А ты всѣхъ приучилъ
 По-своему судить.

Петръ.

Ну, не болтать!

Къ Толстому: диктуетъ.

Апраксинъ, Меньшиковъ, Головкинъ, Пушкинъ,
Князь Яковъ Долгорукій...

Кн. Меньшиковъ.

Долгорукій...

Князь Яковъ...

Петръ.

Ты оглохъ...

Кн. Меньшиковъ.

Разсердитъ онъ

Тебя.

Петръ.

Да замолчишь ли ты... смотри!

Репнинъ, другой Апраксинъ, Шереметевъ...

Но... всѣ сенаторы и архъереи,

Начальники двѣнадцати коллегій.

Кн. Меньшиковъ въ сторону.

Онъ самъ рѣшить не хочетъ? кто жъ рѣшить...

Къ Петру.

Да будетъ, что тебѣ угодно; только,

По долгу вѣрности, я повторяю:

Не быть добру намъ отъ суда такого..

Когда жъ и гдѣ собраніе?

Петръ зоветъ деньщика.

Татищевъ!

Прочти мнѣ въ книжкѣ записной, что дѣлать

Назначилъ завтра я.

Татищевъ читаетъ.

Крестить поутру

У Филькина матроса; осмотрѣть

Корабль, въ адмиралтействѣ, новый; послѣ

Въ сенатѣ о картофелѣ указъ

Отдать на разсужденіе; въ академьи

Морской — урокъ прослушать.

Петръ.

А что ночью

Я приказалъ тебѣ вписать?

Татищевъ.

Въ кабакъ

Заѣхать, возвращаясь домой —

Вино отвѣдать.

Петръ.

Отложить все это.

Къ Толстому.

Пиши: въ вечерни.

Къ Меншикову.

Изготовь бумаги,

Условье здѣсь мое и увѣщанье,

И заpiresательство его, улику,—

Все пропиши.

Духовный судъ особо.

Судъ для сообщниковъ черезъ недѣлю.

Ступай!

Кричитъ въ дверь къ Екатеринѣ.

Сбирай скорѣй объѣдать, Катя.

Къ Толстому.

А ты подай отъ Лейбница письмо.

Всѣ расходятся въ разные стороны.

1831.

П Р И М Ѣ Ч А Н І Я.

Содержаніе трагедіи заимствовано изъ «Розысканаго дѣла и суда надъ царевичемъ Алексѣемъ Петровичемъ», напечатаннаго при императорѣ Петрѣ I, въ 1718 году, и въ «Полномъ собраніи законовъ Россійской Имперіи», перепечатаннаго также въ «Московскомъ Вѣстникѣ» 1828 года, и сокращенно въ «Дѣяніяхъ Петра I», собранныхъ Голиковымъ.

Всѣ лица, дѣйствія, мысли и даже большая часть рѣчей и словъ взяты изъ подлинныхъ современныхъ документовъ.

Участіе въ заговорѣ дѣйствующихъ лицъ, выведенныхъ на сцену, засвидѣтельствовано ихъ приговорами и казнью, а именно:

Александръ Кикинъ и князь Никифоръ Вяземскій казнены 15 марта, «головы ихъ взоткнуты были на высокіе шесты... на сдѣланной для того стѣнѣ, на которой написаны были всѣ ихъ преступленія» (Голиковъ, т. VI, с. 43).

Аврамъ Лопухинъ, Иванъ Аванасьевъ, Федоръ Дубровский, Вороновъ и четыре служителя осуждены были на колесованіе; но имъ отсѣчены головы 9 декабря.

Князь Василій Владиміровичъ Долгорукій, царевичъ Сибирскій, князь Львовъ и Семенъ Нарышкинъ сосланы въ заточеніе.

Выписываемъ изъ слѣдственнаго дѣла нѣкоторые подлинныя мѣста, относящіеся къ симъ лицамъ, ихъ образу мыслей, намѣреніямъ и дѣламъ:

КЪ ПЕРВОМУ ДѢЙСТВІЮ.

И сего, 1718 г., февраля въ 3-й день, оный царевичъ, чрезъ помянутыхъ господъ: тайнаго совѣтника Толстаго и капитана Румянцова, привезенъ въ Москву, и приведенъ предъ царское величество въ столовую палату, который изустно предъ всѣмъ народомъ принесть въ томъ своемъ своевольномъ побѣгѣ повинную.

Къ тому жъ моему непотребному обученію великій помощникъ былъ мнѣ Александръ Кикинъ, когда при мнѣ случался.

О побѣгѣ моемъ съ тѣмъ же Кикинымъ бывали слова многаяжды.

Къ тому же *Кикинъ* сказывалъ, что-де есть подсмотрщики, съ отцова двора, кто къ тебѣ ѣздитъ. И я спрашивалъ, откуда ты вѣдаешь; и онъ мнѣ сказалъ, что-де мнѣ отъ его же двора сказывали, а кто именемъ, не сказалъ.

Сіе первое письмо дѣлалъ съ совѣта *Кикина* и *Никифора*. Письма, которыя отъ тебя, государя, получилъ по погребеніи жены моей и послѣ, объявлены, и чтены *Александру Кикину* и *Никифору Вяземскому*.

Никифоръ Вяземскій, прѣхавъ съ Москвы и въ Торунь, сказывалъ мнѣ, что слышалъ-де я отъ *Александра Сергѣева*, что государю больше пяти лѣтъ не жить.

О Петербургѣ говаривалъ со словъ *Сибирскаго царевича*.

О видѣніяхъ и о курантахъ, и объ отцѣ говаривалъ, со словъ *Сибирскаго царевича*.

Еще жъ мнѣ онъ сказалъ въ мартѣ мѣсяцъ 1716 года: въ апрѣлѣ-де мѣсяцъ, въ первомъ числѣ, будетъ премѣна, — и я сталъ спрашивать, что; и онъ сказалъ: или-де отецъ умеръ, или разорится Петербургъ; я-де во снѣ видѣлъ.

Прежде-де сего, какъ былъ у него, царевича, въ Петербургѣ духовникъ его протопопъ *Іаковъ Инатъевъ*, и онъ-де, царевичъ, въ то время у него исповѣдывался, и на той исповѣди сказывалъ ему *Іакову*: я-де желаю отцу своему смерти, и онъ-де мнѣ сказалъ: Богъ-де тебя проститъ, мы-де и всѣ желаемъ ему смерти.

Написалъ я два письма: къ отцу духовному *Іакову*, да къ *Кикину Ивану*, что по принужденію иду въ монастырь.

Князь Василій Владиміровичъ Доморукій. Давай-де отцу своему писемъ отрицательныхъ отъ наслѣдства сколько онъ хочетъ, о чемъ ясно въ первомъ его, царевича, повинномъ письмѣ написано. Къ тому жъ-де говорилъ онъ ему, что онъ умѣе отца своего, и что отецъ его хотя и умень, только умныхъ людей не знаетъ, а объ немъ-де говорилъ: ты-де умныхъ людей знать будешь лучше.

Кабы-де на государевъ жестокій нравъ да не цараца, намъ бы-де жить нельзя, я бы-де въ Штеттинъ первый измѣнилъ.

Семенъ Нарышкинъ говорилъ: напрасно-де ты ѣдешь, могъ-де бы ты побыть тамъ и долго; мы-де, вѣрные къ тебѣ, о томъ думали.

И то, и что *Эварлаковъ* о побѣгѣ его, царевичевъ, и какъ ему приговаривалъ *Кикинъ*, вѣдалъ, онъ, царевичъ, утаилъ.

Въ разговорахъ съ *Федоромъ Дубровскимъ* онъ молвилъ: многіе-де ваша братья бѣгствомъ спасались; я-де чаю, тебя сродники не оставятъ.

И *Иванъ* сказалъ, какъ я ему о побѣгѣ объявилъ: я-де твою тайну хранить готовъ; только-де намъ бѣда будетъ, какъ ты уѣдешь.

Только объявилъ *Ивану большому Аванасьеву*, что я намѣренъ отѣхать въ вышеписанныя мѣста.

Что съ *Иваномъ Аванасьевымъ*, то говаривалъ пьяный, чая быть бунту.

Иванъ Аванасьевъ мнѣ приговорилъ, чтобъ увести дѣвку мою обманомъ, какъ написано въ большомъ письмѣ, и чтобъ ей и людямъ, которые со мною, не сказывать о семъ, что намѣренъ бѣжать. Прилагаетъ при семъ, что изъ Москвы пишуть.

Онъ же царевичъ сказалъ, что-де *Иванъ Аванасьевъ* на него, царевича, сказалъ о черни, какъ о томъ объявлено въ подлинной выпискѣ, и онъ-де цар-

вичь надѣялся на чернь, слыша отъ многихъ, что его, царевича, въ народѣ любятъ, а именно, отъ *Сибирскаго царевича*, и отъ *Дубровскаго*, и отъ *Никифора Вяземскаго*, и отъ отца своего духовнаго, протопопа *Іакова*, который ему говаривалъ, что-де его въ народѣ любятъ, и пьютъ про его здоровье, говоря и называя его надеждою россійскою.

Онъ-де издавна прибиралъ всегда всѣхъ тѣхъ людей слова себѣ, которымъ нынѣшнія новыя дѣла государя, отца его, были противны, и ихъ хуливали, и къ старинѣ были склонны, и жили по старинному обыкновенію, и хотя съ ними во своемъ замыслѣ и согласіи не имѣлъ, и отъ нихъ никакого объявленія къ тому склоннаго не слыхалъ; однакожь оцъ къ нимъ по такимъ ихъ словамъ являлся склоненъ, и показывалъ себя, для склоненія ихъ къ себѣ, лицомъ, нарочно будто и онъ къ старинѣ склоненъ, и на такихъ людей потому имѣлъ и надежду.

Онъ же говаривалъ: я-де старыхъ всѣхъ переведу, а изберу-де себѣ новыхъ по своей волѣ.

А потомъ... говорилъ имъ, къ тому жь-де имѣлъ онъ надежду на тѣхъ людей, которые старину любятъ, а познавалъ-де ихъ отъ разговоровъ когда съ ними говаривалъ, и они-де старину хваляли, а о дѣлахъ отцовыхъ съ противностію разговаривали.

Тако жь хотя бъ и истинно хотѣлъ хранить, то возмогутъ тебя склонить и принудить большія бороды, которые ради тунеядства своего нынѣ не во авантажѣ обрѣтаются, къ которымъ ты и нынѣ склоненъ зѣло.

КО ВТОРОМУ ДѢЙСТВІЮ.

А потомъ оттуда жь отъ гвардіи капитана Румянцова, а послѣди изъ Спаа тайнаго совѣтника и отъ гвардіи капитана господина Толстаго, и его жь Румянцова, съ которыми къ нему и писалъ своеручно.

Онъ же-де, когда слыхалъ о какихъ видѣніяхъ, или читалъ въ курантахъ, что въ Петербургѣ тихо и спокойно, тогда говаривалъ, что то не даромъ: можетъ быть либо отецъ мой умереть, либо бунтъ будетъ.

И ежели бы до того дошло, и цесарь бы началъ то производить въ дѣло, какъ мнѣ общалъ, и вооруженною рукою доставить меня короны россійской; то бъ я тогда, не жалѣя ничего, достигалъ наслѣдства, а именно, ежели бы цесарь за то пожелалъ войскъ россійскихъ, въ помочь себѣ противъ какого бъ нибудь своего непріятеля, или бы пожелалъ великой суммы денегъ, то бъ я все по его волѣ учинилъ, также и министрамъ его, и генераламъ далъ бы великіе подарки.

А цесарь-де тебя не оставитъ, и будетъ-де случай, будетъ по смерти отца, и вооруженною рукою хочетъ тебѣ помогать на престолѣ.

Когда бъ по смерти отца моего, которой чаялъ я быть вскорѣ, отъ слышанія, что будто въ тяжкую болѣзнь его была эпилепсія, и того ради, говорили, что у кого она въ лѣтахъ случится, тѣ не долго живутъ, и того ради думалъ, что и велико года на два продолжится животь его.

А потомъ ей же сказывалъ уже-де бунтъ въ городахъ близко Москвы, и то изъ писемъ прямыхъ, а отъ кого, не сказалъ, и радовался тому, и говаривалъ: вотъ-де Богъ дѣлаетъ свое.

Ежели бы бунтовщики меня когда бъ-нибудь (хотя бъ и при живомъ тебѣ) позвали, то бъ я поѣхалъ.

И будто есть замѣшаніе въ арміи, которая обрѣтается въ Мекленбургской землѣ, а именно въ гвардіи, гдѣ большая часть шляхты, чтобъ государя убить,

а царицу съ сыномъ сослать, гдѣ нынѣ старая царица, а ее взять къ Москвѣ, и сына ея, который пропалъ безъ вѣсти, сыскавъ, посадить на престолъ, и прочее.

Вѣдь-де клобукъ не прибить къ головѣ гвоздемъ; можно-де его и снять.

Буде изволишь за мою непотребность меня наслѣдія лишить короны россійской, будь по волѣ вашей. О чемъ и я васъ, государя, всенижайше прошу, понеже вижу себя къ сему дѣлу неудобна и непотребна, понеже памяти весьма лишень (безъ чего ничего возможно дѣлать).

Ушелъ и отдался, яко измѣнникъ, подъ чужую протекцію, что неслыхано, не точю между нашихъ дѣтей: но ниже между нарочитыхъ подданныхъ. Чѣмъ какую обиду и досаду отцу своему и стыдъ отечеству своему учинилъ.

Объяви и очисти себя, какъ на сущей исповѣди; ежели же что укроешь, а потомъ явно будетъ, на меня не пѣнай; понеже вчера съ предъ всѣмъ народомъ объявлено, что за сіе пардонъ не въ пардонъ.

И царское величество объявилъ ему изустно, чтобъ онъ показалъ о побѣгѣ своемъ изъ Россіи истину, и кто въ томъ ему совѣтники, и прочее, что касается до обоихъ. И ежели объявить истину безъ всякаго лукавства и обману, и утайки, то его въ томъ прощаетъ. А ежели не объявить, или что, или кого утаить, то прощеніе не въ прощеніе.

А что онъ, въ отвѣтныхъ своихъ письмахъ обманывая отца, писалъ, будто онъ не желаетъ наслѣдства, яко бы для своей слабости.

Въ тяжкую мою болѣзнь въ Петербургъ, не было ль какихъ словъ, для забѣжанія къ тебѣ, ежели бъ я скончался.

А когда я намѣрялся бѣжать, взялъ ее обманомъ (дѣвку Евфросинію), сказавъ, чтобъ проводила до Риги, и оттуда взялъ съ собою, и сказалъ ей и людямъ, которые со мною были, что мнѣ велѣно ѣхать тайно въ Вѣну.

И отдалъ той дѣвкѣ, которая у меня жила (не сказавъ, что въ нихъ писано), запечатавъ, и молвилъ ей: когда я умру (понеже я былъ боленъ), отдай тѣ письма; они тебѣ денегъ дадутъ.

Также писалъ и къ цесарю съ жалобами на государя многожды.

Кто изъ свѣтскихъ вѣдалъ твое намѣреніе, и склонность къ противности, и какія слова бывали отъ тебя или отъ нихъ къ тебѣ.

Будучи въ побѣгѣ, ни отъ кого изъ Россіи, ни откуды писемъ или словеснаго приказу, прямо или постороннимъ образомъ, или чрезъ иныя руки, о здѣшнихъ дѣлахъ, и ни о чемъ не имѣлъ, кромѣ, что отъ графа Шонборна.

Письма писать, въ сенатъ и къ архіереямъ, принуждалъ меня секретарь графа Шонборна, Кель, когда меня привезъ въ Неаполь.

Богъ далъ мнѣ случай отлучиться, подъ охраненіе нѣкоторой высокой особы.

И потому видимо, что онъ не токмо намѣренъ былъ принести въ томъ чистое покаяніе и обратиться, но знатно, для такихъ же впредъ дѣлъ и намѣреній, вышеписанное укрывалъ.

О ПОЭЗИИ ПУШКИНА.

Едва ли есть писатель, который бы полнее и чище Пушкина представлялъ собою типъ поэта. Почти у всѣхъ великихъ поэтовъ, кромѣ дара поэзіи, есть еще другія права на славу; почти каждый изъ нихъ примѣшивалъ въ свою поэзію стихи изъ другихъ областей духовной дѣятельности и къ сану поэта присоединялъ какой-нибудь другой санъ, равно почетный или даже почетнѣйшій. Одинъ Пушкинъ является для своего народа не больше какъ простымъ пѣвцомъ. Эту особенность одни ставили ему въ недостатокъ, за что и порицали, — другіе извиняли ее обстоятельствами; замѣтили же ее всѣ. Бѣлинскій въ своихъ статьяхъ о Пушкинѣ, сопоставляя его съ другими великими поэтами и находя, что каждый изъ нихъ въ твореніяхъ своихъ служилъ не исключительно одной поэзіи, видитъ въ твореніяхъ Пушкина только одно чистое художество. Почти то же самое высказалъ и Гоголь. Представивъ ярко и опредѣленно характеристики всѣхъ поэтовъ, онъ отказывается начертать образъ Пушкина, и говоритъ, что въ поэзіи его невозможно уловить личность поэта.

Желая по возможности объяснить эту особенность Пушкина не духомъ его эпохи, а условіями самой его природы, мы, по примѣру упомянутыхъ писателей, сравнимъ предварительно нашего поэта съ нѣкоторыми изъ западныхъ его собратій.

I.

Давно всѣмъ извѣстна истина, что у каждаго поэта есть своя особенность, которою онъ отличается отъ всѣхъ другихъ поэтовъ: эту особенность въ нашей литературѣ принято называть

павосомъ (страстью). И дѣйствительно, особенность каждаго поэта обуславливается той страстью, или наклонностью, которая преобладала въ немъ надъ прочими наклонностями и была главнымъ источникомъ его поэзіи. Какъ бы ни были разнообразны произведенія поэта, какъ бы ни были противоположны ощущенія, въ нихъ выраженные, вы всегда можете открыть между ними внутреннюю связь, въ которой примиряются всѣ противорѣчія, — отыскать ихъ общій источникъ. Тогда вы увидите, что всѣ разнообразныя чувства, всѣ противорѣчащія мысли, выраженные въ произведеніяхъ поэта, суть не что иное, какъ развитіе, объясненіе одной любимой, задушевной мысли поэта. Вспомните любаго изъ поэтовъ, и передъ вами въ ту же минуту въ яркихъ чертахъ мелькнетъ его особенность. При мысли о поэзіи Байрона, представляется неукротимая ненависть ко всему обыкновенному, будничному въ жизни. Такъ какъ эта ненависть выражалась въ постоянномъ ропотѣ на все окружающее, то многіе думаютъ, что недовольство жизнью, которымъ звучитъ его поэзія, происходило отъ недовольства эпохой, въ которую онъ жилъ. Это мнѣніе, кажется, раздѣлялъ онъ и самъ, или по крайней мѣрѣ показывалъ видъ, что раздѣляетъ. Но стоитъ только вспомнить частную жизнь поэта, чтобъ убѣдиться, что недовольство жизнью было въ его природѣ, что въ какомъ бы блаженномъ краю и въ какія бы блаженные времена онъ ни родился, его поэзія звучала бы ропотомъ на жизнь и людей и душа его тосковала бы по прошедшимъ временамъ и стремилась бы къ грядущимъ. Что, какъ не страсть ко всему необыкновенному, стремленіе все дѣлать наперекоръ толпѣ и обычаямъ, — вызывало его на разныя уродливыя эксцентричности; изъ чего, какъ не изъ желанія казаться необыкновеннымъ, не походить на другихъ, надѣвалъ онъ разныя личины и старался выдавать себя за злодѣя? Что, какъ не боязнь сдѣлаться похожимъ на обыкновеннаго человѣка, заставило его пить уксусъ, когда онъ замѣтилъ, что начинаетъ толстѣть? Съ такими стремленіями, разумѣется, никогда не можетъ гармонировать дѣйствительность, — и вотъ гдѣ источникъ чувства недовольства, разлитаго въ его поэзіи. Вотъ отчего всѣ его дѣйствующія лица томятся вѣчной тоской по *челму-то*; вотъ отчего онъ всегда поставлены въ такія необыкновенныя, изысканныя, эксцентричныя положенія.

Печать совершенно-иной особенности лежитъ на произведеніяхъ другаго великаго поэта — представителя Германіи — Гёте. Поэзія его проникнута безмятежнымъ спокойствіемъ и довольствомъ жизнью. Источникъ этихъ чувствъ — твердая увѣренность въ силѣ своего разума, непоколебимая вѣра въ могущество человеческой мысли, глубокое знаніе и пониманіе всѣхъ явленій и законовъ нравственнаго и физическаго міра. Разумъ Гёте былъ

такъ проникателенъ, до-того просвѣтленъ наукой, что въ видимомъ мірѣ для него ничего не оставалось, или по крайней мѣрѣ не казалось, тайной. Наука разоблачила передъ нимъ законы творчества и ввела его въ сокровеннѣйшіе тайники души человѣческой; осмыслила для него всѣ міровыя событія, приблизила къ нему самыя отдаленныя времена и сблизила его съ чуждыми для всѣхъ народами; разоблачила передъ нимъ тайны природы, словомъ, не оставила ничего не объясненнымъ, не оставила въ душѣ поэта ничего, что бы могло располагать его къ сомнѣнію. Вотъ почему онъ глядѣлъ на все съ такимъ невозмутимымъ спокойствіемъ. И что могло его беспокоить, чѣмъ онъ могъ возмущаться? Онъ все разгадалъ, все постигъ, всему отыскалъ значеніе. Никакое явленіе не могло смутить или озадачить его. Оно или уже заранѣе было имъ предвидѣно, или онъ надѣялся разгадать его, полагаясь на силы разума и науки. Онъ во всемъ видѣлъ вѣчныя, неизмѣнныя, цѣлесообразныя законы природы. Есть поэты, которые больше Гёте привязаны къ природѣ, но никто такъ не благоговѣлъ передъ ея законами, какъ онъ. Онъ обожаетъ въ ней «всепримирающую и всеисцѣляющую» силу, во всемъ видитъ ея неодолимую власть и во всемъ покоряется ей безъ ропота. Оттого-то и въ частной жизни онъ ничѣмъ не возмущался и могъ ужиться со всякимъ обстоятельствомъ, въ спокойной увѣренности, что все случившееся должно было случиться! Міръ, со всѣмъ окружающимъ, царствовалъ въ душѣ его и отражался на его наружности.

Какъ предметомъ благоговѣнія Гёте были неизмѣнныя, непреложныя законы природы, такъ для Шиллера духъ человѣческій былъ предметомъ безконечнаго, напряженнаго восторга. Духъ человѣческій, вѣчно борящійся съ случайностями и вѣчно одолюющій ихъ, вѣчная любовь, не затмѣваемая никакими расчетами, не ослабѣвающая ни отъ какихъ неудачъ, чистая, безкорыстная дружба, всегда готовая на самопожертвованіе: вотъ мотивы, проходящіе черезъ всѣ его пѣсни. Какъ Гёте вѣрилъ въ разумность всего существующаго, такъ Шиллеръ вѣрилъ въ доблесть человѣческую, въ способность человѣка къ героизму и подвигамъ, въ возможность совершенной, идеальной чистоты душевной. Конечно онъ не могъ видѣть въ примѣрахъ всенедневной, будничной жизни доказательства своей теоріи, подобно Гёте, но и не могъ въ равной степени съ Байрономъ возмущаться прозой жизни, и впасть въ разочарованіе и скептицизмъ: отъ этого его спасала пламенная вѣра въ достоинство человѣка. Какъ бы ни было низко и возмутительно все окружающее его, онъ всегда вѣрилъ въ возможность праздничныхъ явленій жизни, вѣрилъ, что были, есть и всегда будутъ истинные представители человѣчества, представители его лице-

вой стороны, т. е. того, чѣмъ долженъ быть человѣкъ. Подтвержденіе своей вѣры онъ видѣлъ и въ исторіи, и въ лучшихъ людяхъ своего вѣка, и въ своей собственной личности. Такимъ образомъ два чувства боролись въ душѣ поэта: недовольство вседневной жизнью и вѣра въ идеалъ, но послѣднее у него всегда одерживаетъ верхъ. Оттого въ его поэзіи только два главныхъ оттѣнка: грусть и восторгъ (спокойное воззрѣніе на жизнь не было его удѣломъ). Но какимъ бы грустнымъ мотивомъ ни началась его пѣснь, грусть всегда разрѣшается торжественно-радостнымъ финаломъ. Нигдѣ такъ ясно не выразились душевное настроеніе Шиллера и его воззрѣніе на жизнь, какъ въ его первыхъ драмахъ. Въ нихъ изображается столкновение двухъ совершенно-различныхъ сторонъ жизни — высокой и низкой, — поэзіи и прозы. Каждая сторона имѣетъ своихъ представителей между дѣйствующими лицами. Представителями высокой стороны жизни являются герои драмы, люди необыкновенные, съ безукоризненно-чистыми стремленіями. Выраженіемъ противоположнаго начала являются представители толпы, люди, дѣйствующіе по внушенію мелкихъ эгоистическихъ разсчетовъ. Между ними открывается борьба, всегда кончающаяся внѣшнимъ торжествомъ злаго и внутреннимъ торжествомъ добраго начала. Фердинандъ и Луиза погибаютъ жертвой интригъ и низкихъ разсчетовъ толпы. Но это только внѣшняя побѣда зла, ибо они погибли оттого, что остались чисты, благородны — идеальны.

Итакъ мы видимъ, что поэтическія фізіономіи трехъ главныхъ европейскихъ лириковъ носятъ рѣзкую опредѣленность въ выраженіи. Каждый изъ нихъ въ произведеніяхъ своихъ опредѣлительно выразилъ направленіе, которому слѣдовалъ, идею, которой служилъ; каждый не только доставлялъ читателю одно художественное наслажденіе, но и разрѣшалъ передъ нимъ нравственные и другіе жизненные вопросы, и потому имѣлъ вліяніе на понятія своего вѣка. Нужно замѣтить, что поэты, о которыхъ мы говоримъ, служили чистому искусству и не употребляли свою лиру для какихъ-либо постороннихъ цѣлей. Что касается до стихотворцевъ, писавшихъ съ прямымъ намѣреніемъ исправлять нравы, преобразовать общество, распространять благія идеи или просто полезныя свѣдѣнія и проч., то направленія ихъ еще опредѣленнѣе и могутъ назваться просто системами.

Переходя отъ великихъ западныхъ поэтовъ къ великому поэту нашего отечества и окидывая взглядомъ его творенія, въ недоумѣніи спрашиваемъ себя: въ чемъ же состояло его направленіе? — Его муза не отличается рѣзко-опредѣленнымъ выраженіемъ лица; фізіономія ея не поражаетъ съ перваго разу

никакой особенностію — ни слишкомъ сильнымъ впечаткомъ мысли, ни страстностію, ни восторженностію, ни меланхоліей; одежда ея не бросается въ глаза ни особеннымъ богатствомъ, ни яркостію, ни изысканной простотою, и вообще никакимъ, да простятъ намъ выраженіе, *шикомъ*. Муза Пушкина посреди другихъ музъ является тѣмъ же, чѣмъ является простой свѣтскій человѣкъ въ обществѣ эксцентриковъ, чѣмъ явилась бы свѣтская Татьяна въ обществѣ *великихъ* женщинъ — обществѣ госпожъ Сталь, Роланъ, Дюдеванъ и проч. Между тѣмъ какъ бесѣда другихъ поражала бы великими идеями, сверкала юморомъ, потрясала восторгомъ или наводила ужасъ, ея рѣчь лилась бы тихо, не поражая ничѣмъ, лишь успокоивая душу собесѣдниковъ и наполняя ее неизъяснимо-сладкими впечатлѣніями.

«Все тихо, просто было въ ней:

Она казалась вѣрный снимокъ

Du comme il faut...»

Въ самомъ дѣлѣ въ поэзіи Пушкина почти невозможно уловить его направленіе. У всякаго лирическаго поэта есть *любимыя мысли* *), проглядывающія во всѣхъ его произведеніяхъ, есть своя *idée fixe*, свой конекъ. У Пушкина нѣтъ любимыхъ мыслей; въ произведеніяхъ его даже не выражается преобладающая страсть или наклонность поэта: вы не узнаете изъ нихъ его убѣжденій и не составите по нимъ опредѣленнаго понятія объ его характерѣ. Въ его поэзіи высказывается много мыслей, много взглядовъ на различные предметы, но изъ свода этихъ мыслей и взглядовъ не выведешь итога убѣжденіямъ поэта. Много также въ своихъ произведеніяхъ поэтъ говоритъ о самомъ себѣ, о страстяхъ, его волновавшихъ, о своихъ наклонностяхъ и привычкахъ; но всѣ эти свѣдѣнія такъ разнообразны, такъ отрывочны, что изъ нихъ узнаешь только, что поэту случалось часто и пламенно любить, что однѣ изъ его страстныхъ привязанностей изгладились въ его душѣ, другія остались въ ней на-вѣки, что изъ «годовыхъ временъ» онъ любилъ осень, что любилъ устрицы, «слегка обрызнутыя лимономъ», что сперва пилъ шампанское, а потомъ бордо. Но напрасно бы вы стали искать, какая главная страсть, направляющая всѣ другія страсти, жила въ душѣ его, что было цѣлью его жизни.

Эту особенность поэзіи Пушкина нѣкоторымъ приходило въ голову объяснять такъ—называемою объективностію поэта, отсутствіемъ въ немъ лиризма. Ошибка, проистекающая отъ односторонняго понятія, которое у насъ составилось объ лиризмѣ. При словѣ «лиризмъ», непременно представляютъ себѣ что-то необузданное — бурныя страсти, рѣзкія, громкія фразы и

*) Выраженіе Пушкина.

тому подобное, а при словѣ «лирикѣ» воображаютъ челоуѣка или восторженнаго до изступленія, или одержимаго такъ-называемымъ демоническимъ началомъ : буйнаго, дерзкаго и способнаго на все. Это понятіе составилось кажется потому, что лучшіе лирики по большей части дѣйствительно нисколько не отличались спокойствіемъ въ своихъ произведеніяхъ, а напротивъ выражали въ нихъ или напряженный восторгъ, или необузданно-буйныя страсти и безпокойныя мысли, или безпощадный скептицизмъ. Въ сравненіи съ этими рѣзко-выступающими въ поэзіи личностями, Пушкинъ можетъ показаться блѣденъ, безличенъ. Поэзія ихъ кипитъ страстями, восторгомъ: все въ ней ярко, выпукло; все задѣваетъ прямо за живое. У Пушкина нѣтъ ничего рѣзкаго, угловатаго; нѣтъ ничего потрясающаго нервы, раздражающаго мысль или воспаляющаго воображеніе. Напротивъ: все въ его поэзіи ровно, гладко и спокойно; все въ ней въ мѣру, во всемъ видна какая-то сдержанность. Но это нисколько не отнимаетъ у Пушкина права на названіе лирика. Если подъ лирикой всѣ разумѣютъ такъ-называемую *субъективность*, т. е. выраженіе личности поэта, отчего же въ поэзіи Пушкина не искать его отраженія. Пускай въ его поэзіи неуловима страсть, вдохновлявшая ее — мысль и цѣль, для которыхъ она воплощалась. Но уловлено ли все это въ самой его жизни, начертанъ ли его образъ какъ челоуѣка? Какая страсть преобладала въ немъ, какая мысль приводила въ движеніе его умъ, для чего онъ жилъ, къ чему стремился? А между тѣмъ страсти и мысли кипѣли въ немъ, и онъ все стремился и шелъ впередъ и впередъ. Но къ чему же онъ стремился? Что влекло его? Что было цѣлью его поэзіи. Прислушаемся къ его звукамъ. Можетъ быть мы узнаемъ, куда рвалась душа поэта и чѣмъ увлекаетъ она насъ за собой:

«Послѣдняя туча разсѣянной бури!
Одна ты несешься по ясной лазури,
Одна ты наводишь унылую тѣнь,
Одна ты печалишь ликующій день.

«Ты небо недавно кругомъ облежала,
И молнія грозно тебя обвивала;
И ты издавала таинственный громъ
И алчную землю поила дождемъ.

«Довольно, сокройся! Пора миновалась,
Земля оживилась и буря промчалась,
И вѣтеръ, лаская листочки деревьевъ,
Тебя съ успокоенныхъ гонить небесъ.»

Что такое эти сладкіе звуки? Что хочетъ ими сказать поэтъ? Не знаемъ что именно, но чувствуемъ, что онъ хочетъ что-то

высказать. Но послушаемъ его еще: не яснѣ ли будетъ намъ его намѣреніе:

«Зачѣмъ ты, грозный аквилонъ,
Тростникъ болотный долу клонишь?
Зачѣмъ на дальній небосклонъ
Ты облако столь гнѣвно гонишь?

«Недавно черныхъ тучъ грядой
Сводъ неба глухо облегался;
Недавно дубъ надъ высотой
Въ краѣ надменной величался.

«Но ты поднялся, ты взыгралъ,
Ты прошумѣлъ грозой и славой:
И бурно тучи разогналъ
И дубъ низвергнулъ величавый.»

Какая сила, какая гармонія! Какую радость, какую бодрость, готовность вдыхаютъ въ душу эти звуки. Но можно обратить къ самому поэту вопросъ, обращенный имъ къ аквилону. Куда стремится эта сила, зачѣмъ гремѣть эти звуки, куда направляють они душу? Неужели звуки звучать для того только, чтобъ звучать? Сколько жаркихъ поклонниковъ Пушкина задавали себѣ этотъ вопросъ и съ болью въ сердцѣ отвѣчали на него положительно. Въ самомъ дѣлѣ, если мы станемъ сравнивать произведенія нашего поэта съ произведеніями другихъ великихъ поэтовъ, онѣ намъ покажутся такъ отрывочны, неоконченны, безцѣльны. Вотъ что говорить объ этомъ одинъ современный критикъ:

«Онъ (Пушкинъ) могъ уловлять жизнь въ самыхъ различныхъ проявленіяхъ..., но образъ, возникшій въ его фантазіи, удовлетворялъ его своимъ мгновеннымъ появленіемъ: онъ не развивалъ схваченнаго момента. . .

«Не одно природное свойство дарованія Пушкина было виною указаннаго недостатка въ его произведеніяхъ: виною тому, конечно, было также и недостаточное развитіе умственныхъ и нравственныхъ интересовъ въ общественномъ сознаниі, котораго органомъ былъ Пушкинъ. Чтобы постигать многообразие жизни, надобно обладать обширною и богатою системою воззрѣній. Каждая сторона жизни требуетъ особаго воззрѣнія и особаго интереса. Что бы ни происходило въ насъ и вокругъ насъ, все пропадетъ даромъ для нашего разумѣнія, если въ насъ не окажется замѣчающихъ, наблюдающихъ, постигающихъ понятій. Весьма естественно, что у Пушкина такъ часто, или лучше сказать почти всегда, обрывалась нить развитія въ изображеніяхъ: обрывался интересъ, изсякало вдохновеніе, неоставало понятій, чтобъ слѣдить за дальнѣйшимъ ходомъ дѣла.

«Есть у Пушкина одно стихотвореніе, въ которомъ случайно, но очень вѣрно и очень живо, характеризуется замѣченная нами особенность его дарованія. Мы разумѣмъ превосходное стихотвореніе «Осень», написанное имъ въ 1830 году, въ самую зрѣлую эпоху его развитія. Обрисовавъ живыми чертами времена года и свою любимую осень, въ которую онъ чувствовалъ всегда съ особенною силою призывъ къ творчеству, поэтъ изображаетъ свое состояніе въ тѣ минуты, которыми мы обязаны его произведеніями.

«Душа стѣсняется лирическимъ волненіемъ,
Трепещетъ, и звучитъ, и ищетъ, какъ во снѣ,
Излиться наконецъ свободнымъ проявленіемъ —
И тутъ ко мнѣ идетъ незримый рой гостей,
Знакомцы давніе, плоды мечты моей.

«И мысли въ головѣ волнуются въ отвагѣ,
И рѣшмы легкія на встрѣчу имъ бѣгутъ,
И пальцы просятся къ перу, перо къ бумагѣ —
Минута, и стихи свободно потекутъ.
Такъ дремлетъ недвижимъ корабль въ недвижной влагѣ.
Но чу... матросы вдругъ кидаются, ползутъ, —
Вверхъ, внизъ — и паруса надулись, вѣтра полны:
Громада двинулась и разстѣкаетъ волны.

Плыветъ... Куда жъ намъ плыть?...

«На этомъ стихѣ прерывается стихотвореніе, и этотъ видъ неоконченности еще усиливаетъ знаменательность образа. Все готово къ отплытію, — но куда плыть? Кажется, даны были всѣ условія для обширнаго и могущественнаго творчества, но что-то задерживало его развитіе. Насталъ мигъ вдохновенія, все живо заговорило въ душѣ поэта; но едва успѣла мысль его двинуться впередъ, какъ мигъ прошелъ, передъ нею безвѣстный путь; ничто не манитъ далѣе — плыть некуда, и мысль остается на прежнемъ мѣстѣ, въ ожиданіи новаго мгновенія, и то же повторится, когда оно наступитъ. Блеснетъ мгновение, и изольется вдохновеннымъ словомъ; но оно исчезнетъ, не оставивъ поэту путеводной идеи для его воображенія.»

Мы согласны и несогласны съ этимъ мнѣніемъ. Наблюденіе вѣрно, но выводъ намъ кажется невѣренъ. Намъ кажется, что критикъ, анализирующій Пушкина съ чисто-художественной точки зрѣнія, съ точки зрѣнія искусства для искусства, здѣсь незамѣтно для самого себя своротилъ съ своего пути. Намъ кажется, что когда онъ произносилъ приведенныя нами слова, душу его неясно тревожила мысль, что нужна какая-нибудь польза для общества отъ поэзіи, что всякій поэтъ давалъ что-нибудь своимъ согражданамъ, а отъ поэзіи Пушкина его соотечественники ничего не получили, кромѣ

звукѣ. Освобождая музу Пушкина отъ служенія гражданственности, онъ въ то же время требуетъ отъ нея служенія мысли. Во всякомъ случаѣ мы благодарны критику, что онъ такъ ясно, опредѣленно и искренно поставилъ вопросъ о значеніи поэзіи Пушкина. Видно, что онъ съ глубоко-серьезными вопросами приступилъ къ изученію Пушкина, видно, что сильная, безотчетная любовь къ поэту предшествовала въ немъ сознательному его изученію. Ибо въ словахъ критика слышно, что ему больно примириться съ мыслью, что Пушкинъ поэтъ только звукѣ, образѣ и формѣ, что у него не было великихъ цѣлей какъ у другихъ поэтовъ. Да и кто изъ воспитавшихъ свое эстетическое чувство на поэзіи Пушкина (а кто на ней не воспитывался), для кого эта поэзія составляетъ часть прожитой имъ жизни и какъ бы вошла въ составъ его души, не задавалъ себѣ скорбный вопросъ: изъ какихъ же цѣлей писалъ любимый поэтъ, для чего звучалъ его симпатичный голосъ, къ чему призывалъ онъ? И задававшему себѣ такой вопросъ больно было сознаться, что поэтъ, который больше всѣхъ другихъ доставляетъ ему наслажденіе, выше всѣхъ другихъ настраиваетъ душу, является какимъ-то празднословнымъ говоруномъ между своими великими собратьями, возвѣщающими намъ великія истины, направляющими наши страсти и дѣйствія. Признаемся, что, читая приведенное нами мнѣніе критика, мы опять почувствовали то отчаяніе за Пушкина, которое чувствовали въ былые года, когда насъ волновали различные жизненные вопросы, и мы находили на нихъ отвѣты у всѣхъ поэтовъ, исключая Пушкина. Что касается до насъ въ настоящую минуту, мы не думаемъ, чтобы въ поэзіи Пушкина не было стремленія къ цѣли, но что было ея цѣлью — не знаемъ. И потому-то, что цѣль эта была такъ неопредѣленна, что ее нельзя указать, что о ней нельзя выразиться словами, что она только постигается, а не означается, — она и была вполне поэтической.

Да, цѣль для Пушкина не была такъ ясна, такъ опредѣленна, такъ удободостижима, какъ для другихъ поэтовъ: они знали гдѣ бросить якорь, и доплывали до пристани. Но его пристань была слишкомъ далеко. Неужели, еслибъ Пушкинъ, послѣ громкой строфы, гдѣ представлено, въ какомъ грозномъ величій душа его ополчалась вдохновеніемъ, могъ сказать куда онъ поплыветъ, — какую бы онъ пристань ни назначилъ, все было бы недостойно того стремленія, которое онъ чувствовалъ? Нѣтъ! задавъ вопросъ: куда, онъ заставляетъ читателя думать о безконечности, и уносить его туда,

«Гдѣ затихла стихійная брань,
Гдѣ Богомъ творенью поставлена грань.»

У каждаго народа есть характеристическія черты его духа, которыя, замѣчаемыя порознь въ обыкновенныхъ людяхъ, могутъ представиться дурными или смѣшными, но выражаясь въ поэтѣ, какъ представитель какой-нибудь стороны поэзіи, представляютъ собою нѣчто высоко-прекрасное и даже грандіозное. Такъ смѣшная эксцентричность Англичанина возведена въ гигантски-поэтическіе размѣры Байрономъ; филистерство Нѣмцевъ выразилось въ такъ-называемомъ олимпійскомъ спокойствіи Гёте; буршество нашло себѣ представителя въ вѣчно-юномъ Шиллерѣ; хаосъ италіянскаго католицизма, эта смѣсь христіанства съ язычествомъ, возведенъ въ перлъ созданія Дантомъ. — Какую же сторону русскаго народа выразилъ Пушкинъ?

Есть одна характеристическая черта русскаго народа, выразившаяся и въ его поэзіи, черта, на которую покуда можно смотрѣть или какъ на задатокъ его будущаго величія, или какъ на доказательство его безсилія произвести что-нибудь великое на пользу человѣчества. Въ душѣ русскаго человѣка и его поэзіи есть какая-то необыкновенная сила, стремительность, высокій, широкій полетъ, но куда, къ какому идеалу, неизвѣстно. У человѣка всякой другой націи идеалъ явственъ: онъ знаетъ чего хочетъ и достигаетъ чего хочетъ. Но не таковъ идеалъ русскаго человѣка, не таково его стремленіе. «Русь, куда же несешься ты? дай отвѣтъ. — Не даетъ отвѣта. Чуднымъ звономъ заливається колокольчикъ, гремитъ и становится вѣтромъ разорванный въ куски воздухъ... и мчится вся вдохновенная Богомъ.»

Ошибаются тѣ, которые думаютъ, что стремленіе русскаго человѣка есть стремленіе дикихъ, необузданныхъ, грубыхъ силъ. Нѣтъ, это стремленіе есть избытокъ силъ духовныхъ. Другіе народы скоро достигаютъ своихъ цѣлей, потому что эти цѣли достижимы. Можетъ быть вначалѣ ихъ идеалы были также высоки, какъ и у насъ, можетъ быть было что-нибудь подобное стремленію русскаго человѣка, но они филистерски помирились съ жизнью, сдѣлали ей уступку по полтинѣ за рубль, сдѣлали себѣ искусственный, рукотворный идеалъ, поклонились ему и стали служить ему. У насъ не то. Въ нашемъ народѣ еще живо, свѣжо и могуче стремленіе къ недостижимому. Онъ ничего не дѣлаетъ, ничего не хочетъ въ половину. Ужь если стремиться, такъ стремиться.... Стремиться не къ какой-нибудь земной, ограниченной цѣли, не къ воплощенію какой-нибудь системы, но туда, куда зоветъ неумолкающій внутренній голосъ, къ безконечности. Вотъ отчего намъ такъ часто приходится на умъ скорбный вопросъ: есть ли цѣль у русскаго человѣка въ его стремленіяхъ. Вотъ отчего тщетно спрашиваемъ мы себя, куда и зачѣмъ уносить насъ русская пѣсня, куда и зачѣмъ уносятъ

насъ звуки великаго нашего пѣвца. Тщетно спрашиваемъ мы и только слушаемъ, высоко настроенные духомъ, широко раскидываемся мыслию, изумляемся и, пораженные силой души русскаго человѣка, восклицаемъ словами пѣсни:

«Высота ли, высота поднебесная,
Глубота, глубота океанъ—море!
Широко раздолье по всей землѣ,
Глубоки омуты днѣпровскіе.»

Да, эти слова могутъ быть девизомъ поэзіи Пушкина; кто бы что ни говорилъ о скудости ея содержанія, но отличительные ея признаки: глубина, широта и сила. Что бы ни говорили о ея бесплодности, безцѣльности, но у нея есть цѣль. Цѣль эта — возвысить душу читателя до той высоты, которой достигаетъ душа поэта въ минуту вдохновенія. Конечно у ней, какъ и у нашей народной поэзіи, не было опредѣленныхъ, дидактическихъ цѣлей; она не говоритъ человѣку: живи именно такъ, мысли то, чувствуй это; но говоритъ ему: живи высокою жизнью, возвышайся чувствомъ и мыслию горѣ, будь всегда и вездѣ человѣкомъ! И какъ такая неопредѣленность, неясность цѣли, безостановочность стремленія идетъ къ поэзіи и поэту, этому загадочному для толпы существу, этому повсюду—бездомному въ мірѣ страннику и для всѣхъ милому гостю.

Да, загадочна личность Пушкина; отчетливо изобразить ее также трудно, какъ съ точностью опредѣлить идею его поэзіи. Г. Анненковъ говоритъ, что характеръ Пушкина состоялъ изъ смѣшенія противоположностей. Намъ кажется, что мы выразили почти то же, сказавъ, что Пушкинъ представилъ собой полнѣйшій и чистѣйшій типъ поэта. Было много истинныхъ поэтовъ, и притомъ великихъ, но ни одинъ не выразилъ всѣхъ сторонъ поэзіи, а въ самомъ себѣ не заключалъ всѣхъ свойствъ поэтической природы, подобно Пушкину. Благоговѣя передъ великими западными поэтами и сознавая, что многіе изъ нихъ справедливо должны быть поставлены несравненно—выше Пушкина по историческому своему значенію, по заслугамъ наукъ, философіи, вліянію на общество и по множеству другихъ причинъ, осмѣливаемся сказать, что никто изъ нихъ въ равной степени съ Пушкинымъ не имѣетъ права на скромный титулъ поэта. Недаромъ, при мысли о поэтѣ, воображенію непремѣнно является Пушкинъ, какъ при мысли о полководцѣ представляется Наполеонъ, а при мысли о дипломатѣ — Талейранъ.

Что же такое поэтъ, что такое чистѣйшій и полнѣйшій типъ поэта? Не беремся съ точностью опредѣлить эти понятія: представимъ лишь нѣсколько мыслей о томъ, что, по нашему мнѣнію, составляетъ природу поэта и насколько Пушкинъ подходитъ подъ нашу мѣрку.

Жоржъ Сандъ говоритъ, что всякая сильная натура вмѣщаетъ въ себѣ нѣсколько характеровъ. Пушкинъ вмѣщалъ въ себѣ ихъ множество, ибо представлялъ собой смѣшеніе всякихъ противоположностей. Эта сложность, полнота души, и составляетъ сущность поэта. Чѣмъ больше въ душѣ человѣка противоположныхъ стихій, тѣмъ болѣе равновѣсія въ чувствахъ: ибо всякая склонность, встрѣчая противодѣйствіе въ другой, ей противоположной, уже тѣмъ самымъ удерживается въ законныхъ границахъ, не развивается насчетъ другихъ склонностей и не овладѣваетъ всей душою человѣка. Такимъ образомъ соединеніе различныхъ душевныхъ противорѣчій, вмѣсто того, чтобъ произвести дисгармонію, какъ можетъ быть это предполагаютъ, производитъ гармонію всѣхъ чувствъ, правильность, нормальность души, ея полноту и богатство. Такъ въ Пушкинѣ уживались двѣ совершенно-противоположныя склонности: мечтательность и положительность. Положительность умѣряла его мечтательность, удерживая поэта на землѣ, въ средѣ дѣйствительности; мечтательность же не давала положительности перейти въ матеріализмъ и филистерство, столь охлаждающіе поэзію.

Природа Пушкина была такъ счастливо организована, что даже тѣ немногіе пороки, которые въ нее закрались, умѣрялись взаимною противоположностью: скупость расточительностью, расточительность скупостью, и такъ далѣе.

Такая сложность, или лучше сказать полнота, богатство природы Пушкина, и была, по нашему мнѣнію, причиной, отчего онъ поэтъ по преимуществу, и поэтъ больше всѣхъ другихъ поэтовъ. Такая необыкновенная душевная нормальность не только ненужна для другихъ сферъ дѣятельности, но даже вредна на нѣкоторыхъ поприщахъ, ибо въ слишкомъ-сложномъ характерѣ, при множествѣ высокихъ достоинствъ, заключается и множество слабостей; люди, подобные Пушкину, не могутъ быть великими государственными дѣятелями, ни учеными, ни философами, ни даже представлять собой образцы тихихъ семейныхъ добродѣтелей, столь необходимые для назиданія человѣчества. Для всякаго поприща, за исключеніемъ художества вообще и поэзіи въ особенности, нужно совершенное подчиненіе однѣхъ склонностей другимъ, сосредоточеніе способностей на чемъ-нибудь одномъ; безъ этого, дѣятельность теряетъ характеръ специальности, лишается энергіи и силы. Совсѣмъ противное нужно для поэта; сфера его совсѣмъ неспеціальная: эта сфера — вся жизнь; задача его — отраженіе жизни по возможности во всей ея полнотѣ.

«Реветь ли звѣрь въ лѣсу глухомъ,
Трубить ли рогъ, гремитъ ли громъ,

Поэтъ ли дѣла за холмомъ—
 На всякій звукъ
 Свой откликъ въ воздухѣ пустомъ
 Родишь ты вдругъ.

« Ты внимлешь грохоту громовъ.
 И гласу бури и валовъ,
 И крику сельскихъ пѣтуховъ —
 И шлешь отвѣтъ—
 Тебѣ жъ нѣтъ отзыва. Таковъ
 И ты, поэтъ! »

Итакъ, сфера поэта самая обширная. Какія же средства даютъ ему возможность выполнить свою задачу? При какихъ условіяхъ, при какой обстановкѣ развивается и укрѣпляется его дарованіе?

Такъ какъ сфера поэта самая обширная и требуетъ всесторонности, то всякая спеціальность суживаетъ его кругозоръ, приковывая его взглядъ къ какой-нибудь одной подробности. Такъ, напримѣръ, дѣятельность государственная, при всей своей обширности, отнимаетъ много полноты у поэтического созерцанія. Дѣло не въ томъ, что она отвлекаетъ поэта отъ занятій поэзіей (поэта могутъ отвлекать и другіе предметы), но она кладетъ печать на его поэзію. Поэтъ, который постоянно занятъ государственными вопросами (это бываетъ съ людьми, не занимающими ни государственныхъ, ни другихъ какихъ должностей), невольно смотритъ на все съ точки зрѣнія государственной пользы, и потому многое, какъ въ людяхъ, такъ и въ природѣ, не плѣняетъ и не вдохновляетъ его. Красы природы его не занимаютъ; *мечтаньямъ, грезамъ* труденъ доступъ къ душѣ его. Какже такому серьезному человѣку быть вполне поэтомъ! Ничто такъ не помѣшало развиваться поэтическому гению Ломоносова, какъ то, что онъ былъ въ душѣ государственный человѣкъ и ученый. Въ стихахъ своихъ онъ никогда не мечтаетъ—онъ только мыслить, какъ естествоиспытатель, и думаетъ, какъ государственный человѣкъ; онъ нигдѣ не высказываетъ нѣжныхъ чувствъ задумчивости, нигдѣ не является простымъ, партикулярнымъ человѣкомъ: онъ всегда или въ мантии профессора или въ тогѣ гражданина. Природа вдохновляетъ его только какъ естествоиспытателя, или какъ патріота. Описывая сѣверное сіяніе, онъ дѣлаетъ вопросы о причинахъ явленія; изображая восхожденіе солнца, переходитъ къ гипотезамъ, изъ чего состоитъ « прекрасное свѣтило ». Представляется ли его воображенію цѣпь горъ,—мысль о государствѣ, о Россіи, сейчасъ заслоняетъ въ его душѣ чувство красоты. Онъ не останавливается на красотѣ Уральскихъ горъ, что такъ естественно для поэта; его занимаетъ мысль о пользѣ, которую Россія, при

посредствѣ науки, извлечетъ изъ нихъ. Онъ говоритъ, обращаясь къ Елисаветѣ:

«И се Минерва ударяетъ
Въ верхи Рифейски копіемъ —
Сребро и золото истекаетъ
Во всемъ наслѣдіи твоемъ».

Въ другомъ мѣстѣ:

«Возри на горы превысоки,
Возри въ поля твои широки,
Гдѣ Волга, Днѣпръ, гдѣ Донъ течетъ:
Богатства, въ оныхъ потаенны,
Наукой будутъ откровенны,
Что благостью твоей цвѣтетъ.»

Мысль о государственной пользѣ заслоняетъ передъ Ломовымъ красоты природы.

Даже представленіе о женской красотѣ у Ломоносова неразрывно съ мыслью объ отечествѣ. Такъ въ «Разговорѣ съ Анакреонтомъ», приводя переводъ XXVIII оды Анакреона, гдѣ древній поэтъ проситъ живописца изобразить ему его любезную, Ломоносовъ, какъ бы желая показать противоположность своихъ симпатій съ симпатіями Анакреона, проситъ художника изобразить ему Россію.

«Анакреонтъ.

«Мастеръ, въ живописствѣ первый,
Первый въ Родской сторонѣ,
Мастеръ, наученъ Минервой,
Напиши любезну мнѣ.

«Надѣвай же платье ало,
И не тщи всю грудь закрыть,
Чтобъ ее увидѣвъ мало,
И о прочемъ разсудить.»

«Ломоносова отвѣтъ:

«О, мастеръ, въ живописствѣ первый,
Ты первый въ нашей сторонѣ,
Достойнъ быть рожденъ Минервой —
Изобрази Россію мнѣ.
Изобрази ей возрастъ зрѣлый
И видъ въ довольствіи веселый,
Отрады ясность по челу
И вознесенную главу.
Потщись представить члены здравы,
Какъ должны у богини быть,
По плечамъ волосы кудравы
Признакомъ бодрости завить.

Возвысь сосцы, млекою обильны,
И чтобъ созрѣвши красота
Являла мышцы руки сильны,
И полны живости уста,
Въ бесѣдѣ ясность общали...

Одѣнь, одѣнь ее въ порфиру.
Дай скипетръ, возложи вѣнецъ,
Какъ должно ей законы міру
И распрямъ подписать конецъ.»

Такимъ образомъ, пока Ломоносовъ говоритъ о женской красотѣ, слова его холодны, образъ, имъ представляемый, поражаетъ безвкусіемъ, стихъ почти лишенъ всякой гармоніи. Но поэтъ вдругъ оживаетъ, переходя къ тому, что занимаетъ его. Въ словахъ его слышно одушевленіе, въ стихѣ являются движеніе и гармонія; вмѣсто никогда не удававшася Ломоносову, вѣчно у него хромающаго, хорей, является его любимый, величавый четырехстопный ямбъ. Такъ былъ одностороненъ Ломоносовъ въ своей поэзіи. Конечно, ничего не можетъ быть выше и благороднѣе любви къ отечеству, но для поэта недовольно ея одной. Содержаніе поэзіи составляютъ не одни грандіозные предметы, какъ отечество, наука, геройскіе подвиги и проч. Чтобъ быть вполне поэтомъ, надо уметь сочувствовать всему: всѣмъ тихимъ прелестямъ жизни и природы, всѣмъ ихъ мелочамъ. Вотъ изображеніе всесторонняго поэта:

«. Ты любишь съ высоты
Скрываться въ тѣнь долины малой;
Ты любишь громъ небесъ, и также внемлешь ты
Жужжанью пчелъ надъ розой алой.

«Таковъ прямой поэтъ. Онъ сѣтуетъ душой
На пышныхъ играхъ Мельпомены,
И улыбается забавѣ площадной,
И вольности лубочной сцены.

«То Римъ его зоветъ, то гордый Иліонъ,
То скалы старца Оссіана,
И съ дѣтской легкостью межъ тѣмъ летаетъ онъ
Во слѣдъ Бовы и Еруслана.»

Этой-то способности увлекаться всѣмъ и не было у Ломоносова. Онъ былъ великій человѣкъ, но, можетъ, потому и не могъ быть великимъ поэтомъ. Справедливо говорить, что въ Державинѣ было больше поэзіи, ибо его лира звучала не только одними торжественными, величественными гимнами, но издавала и томные, и нѣжные звуки.

Подобно наклонности къ государственной дѣятельности, наклонность къ ученымъ изслѣдованіямъ и философіи также вредитъ поэтическому созерцанію. Взглядъ на предметъ ученаго

или философа слишкомъ пытливъ, сознателенъ и систематиченъ, лишенъ непосредственности, много препятствуетъ свѣжести и свободѣ впечатлѣнія. Какъ передъ государственнымъ мужемъ изящество и красота предмета заслоняются мыслию о его пользѣ или вредѣ отечеству, такъ вопросы: отчего, почему, по какимъ законамъ? отвлекаютъ ученаго отъ непосредственного созерцанія поэтического образа. Полное, отчетливое знаніе предмета, знаніе всѣхъ его сторонъ, его сущности, всѣхъ законовъ, по которымъ онъ существуетъ, еще болѣе отвлекаетъ человѣка отъ созерцанія образа. Если человѣкъ, такъ смотрящій на предметъ, философъ-идеалистъ, то плоть и кровь предмета въ глазахъ его улетучиваются въ идею его; всѣ его подробности, не подходящія подъ эту идею, откидываются, какъ нарушающія симметрію правильной, стройной философской системы, а поэзія, требуя образа, подробностей, не любитъ симметріи и прямыхъ линій. Если же на мѣстѣ философа, возводящаго все къ общимъ началамъ, будетъ аналитикъ, поэтическій образъ исчезнетъ для него за скелетомъ предмета; поэтическій образъ для него не существуетъ, какъ для театральнаго зрителя, посвященнаго во всѣ закулисныя тайны декоратора и машиниста, не существуетъ очарованія въ волшебномъ балетѣ. Какже быть поэтомъ-лирикомъ человѣку съ наклонностями философа или ученаго? Были люди, которые на это умудрялись. Они воспѣвали предметы и явленія, до мельчайшихъ подробностей изученные ими (какъ учеными и философами), съ наивностію дикарей, въ первый разъ ихъ увидѣвшихъ; они въ своихъ стихахъ поддѣлывались даже подъ необработанную, неправильную и нескладную рѣчь человѣка, ничего не знающаго и ничему не учившагося. Многіе повѣрили въ субъективность ихъ произведеній и смотрѣли на нихъ съ умиленіемъ, какъ на дѣтей природы, между тѣмъ какъ на нихъ слѣдуетъ смотрѣть только какъ на великихъ мастеровъ объективнаго искусства, или просто какъ на притворщиковъ въ поэзіи. Они напоминаютъ актѣра, съ наивнымъ удивленіемъ смотрящаго на другаго актѣра, играющаго въ піесѣ такъ-называемаго неизвѣстнаго или таинственнаго незнакомца, между тѣмъ какъ онъ очень хорошо знаетъ персонажъ, который его удивляетъ своимъ неожиданнымъ появленіемъ, и актѣра, который его изображаетъ.

Философское созерцаніе не ограничивается вліяніемъ на содержаніе поэтическихъ произведеній, на такъ-называемое изобрѣтеніе: оно условливаетъ и ихъ форму. У человѣка, занятаго разрѣшеніемъ философскихъ вопросовъ, построеніемъ формулъ, мышленіе принимаетъ систематическое, искусственное теченіе, и даже прямо зарождается въ стройной формѣ силлогизма; а такая форма нейдетъ къ поэтическимъ произведеніямъ,

отнимая у нихъ одно изъ главныхъ свойствъ поэзіи, прелесть безыскусственной рѣчи. Какими частными достоинствами ни блистало бы поэтическое произведеніе, но если въ немъ развивается какая-нибудь философская идея, если поэтъ хочетъ имъ что-нибудь доказать, оно уже лишено свѣжести, и представляетъ тяжести въ построении. Давно всѣми признано за истину, что рѣшеніе политическихъ и соціальныхъ вопросовъ не дѣло поэзіи, что они вредятъ поэтическимъ произведеніямъ. Это мнѣніе слѣдовало бы распространить на всякаго рода вопросы, даже на вопросы объ искусствѣ для искусства.

Философія можетъ еще вредить поэту, если она слишкомъ тонко анализируетъ и слишкомъ подробно разоблачаетъ передъ нимъ его самого — законы, по которымъ онъ создаетъ; это отнимаетъ у поэта свободу и смѣлость творчества. Когда онъ знаетъ всѣ тайные источники своего творчества, наблюдаетъ надъ своимъ вдохновеніемъ, подсматриваетъ въ своей душѣ процессъ поэтического зарожденія, то необходимо становится къ самому себѣ въ положеніе работника къ машинѣ, который знаетъ гдѣ нужно прибавить или убавить ходу, усилить огонь и проч. Мы знаемъ, самъ великій Шиллеръ сожалѣлъ о томъ, что слишкомъ глубоко узналъ теорію своего искусства, ибо это обстоятельство, по его собственному сознанію, лишило отваги и стѣснило его творчество.

Вообще слишкомъ большая ученость плохо уживается съ поэзіей. Трудно себя представить зоолога, который бы, смотря на бабочку, совершенно-наивно, безъ научныхъ соображеній, восхищался ея красотой; чтобы ботаникъ, смотря на цвѣтокъ, думалъ о красѣ растенія, а не объ его анатоміи, чтобы филологъ-грамматикъ, читая Горація, весь отдавался его поэтическимъ красотамъ, забывая слѣдить за особенностями грамматическихъ формъ, а историкъ, подробно разрабатывающій историческіе матеріалы, вполне-художественно наслаждался характерами лицъ, о которыхъ говорится въ разбираемыхъ имъ актахъ.

Насъ можетъ быть упрекнуть въ неуваженіи къ наукѣ и философіи, на томъ основаніи, что мы утверждаемъ, будто служеніе имъ мѣшаетъ служенію поэзіи. Но мы нисколько не думаемъ умалить значеніе и пользу этихъ сферъ человѣческой дѣятельности и поставить ихъ ниже поэзіи. Напротивъ, мы думаемъ, что наука и философія важнѣе для общества, чѣмъ искусства, и что потребность ихъ для развитія человѣчества насущнѣе потребности изящнаго. Мы только хотимъ отдѣлать поэзію ото всего, что съ ней смѣшиваютъ, что въ нее вмѣшивается и во что вмѣшивается она сама; хотимъ отвести ее въ ея скромныя, но законныя, наслѣдственныя и независи-

мая владѣнія, строго и точно обмежевать ихъ отъ владѣній сосѣдей, съ которыми у ней постоянныя столкновѣнія, обоюдныя похищенія и череполосица. При всей нашей любви къ поэзіи, мы такъ, смѣемъ сказать, безпристрастны, что, скрѣпя сердце, говоримъ: великій человѣкъ не можетъ быть великимъ поэтомъ. Дѣятельность великаго человѣка поглощаетъ дѣятельность поэта. Наполеонъ, по выраженію Альфреда де Виньи, каждый день въ самой жизни создавалъ живую Иліаду, и потому, для воплощенія возникавшихъ въ его воображеніи образовъ, не нуждался въ гармоническомъ стихѣ или изящныхъ періодахъ. Дѣло въ томъ, что въ практическихъ геніяхъ, то есть великихъ людяхъ, есть сосредоточеніе наклонностей, одно-сторонности, дающая силу воли, которая доставляетъ имъ возможность обращать въ дѣйствія всѣ ихъ мечты и чувства. Такимъ образомъ они изживаютъ всю поэзію души своей или большую часть ея въ самой жизни. Истинный же поэтъ, про котораго сказалъ Пушкинъ, что

«Не разумѣлъ онъ ничего,
И слабъ и робокъ былъ какъ дѣти:
Чужіе люди за него
Звѣрей и рыбъ ловили въ сѣти»,

вслѣдствіе страшнаго множества самыхъ разнообразныхъ, противоположныхъ, уничтожающихъ другъ друга стремленій, не можетъ ничего осуществить въ жизни, а только лепетъ въ душѣ и выражаетъ въ словѣ мечты свои. Итакъ дѣятельность государственная, научная, философская и вообще всякая наклонность въ спеціальности, мѣшаютъ всестороннему, свободному развитію поэтической природы. Изъ этого можно вывести прямое заключеніе, что поэтъ долженъ предаться исключительно поэтической дѣятельности, посвятить всего себя поэзіи. Но хотя это положеніе, повидимому, необходимо вытекаетъ изъ всего нами сказаннаго, — его принять можно только съ оговоркой.

Прежде всего мы должны сказать, что если поэтъ, зная, что политика, научная дѣятельность и философія вредятъ чистой поэзіи, будетъ умышленно отвращаться отъ нихъ, будетъ стараться имъ не сочувствовать, онъ будетъ только корчить такого свободного, непосредственнаго поэта, о которомъ мы говоримъ, а на самомъ дѣлѣ, разумѣется, имъ никогда не сдѣлается, ибо непосредственность его будетъ искусственная.

Потомъ мы должны замѣтить, что какъ бы поэтъ ни любилъ свое искусство, какъ бы ни трудился для него, оно не должно составлять его *исключительную привязанность*. Представьте себѣ поэта, который цѣлый день думаетъ о своихъ произведеніяхъ, который такъ отдался поэзіи, что отказался для нея отъ

всѣхъ радостей и заботъ міра. Такой человѣкъ почти теряетъ всякую живую связь съ непосредственной жизнью, а изъ какого другаго источника можетъ онъ достать живой матеріалъ для своей поэзіи; онъ творитъ какъ бы по воспоминаніямъ, и долженъ постоянно напрягать свое творчество, насилловать свой талантъ. Занятый постоянно одной мыслью, что бы создать и какъ бы создать, онъ становится въ напряженное, неестественное положеніе, какъ къ природѣ, жизни и людямъ, такъ и къ самому себѣ. Онъ ни на что не смотритъ безъ намѣренія, ни чѣмъ не любитъ безкорыстно; онъ никогда не забываетъ, что онъ художникъ, а все окружающее—матеріалъ для его созданій. Чѣмъ бы онъ ни любовался: природой, женщиной, ребенкомъ,—онъ не вполне предается этому чувству, но въ то же время наблюдаетъ его, и думаетъ какъ бы ловчѣе выразить свое впечатлѣніе. Онъ постоянно и напряженно подсматриваетъ, слѣдитъ и наблюдаетъ въ себѣ каждое душевное движеніе, стараясь подмѣтить въ немъ эффекты для своихъ произведеній. Въ этомъ отношеніи онъ уподобляется кокеткѣ, которая разсматриваетъ передъ зеркаломъ какое положеніе руки и головы, какая улыбка больше къ ней идутъ, съ тѣмъ, чтобы при случаѣ этимъ воспользоваться.

Вслѣдствіе такого отношенія поэта къ жизни и къ самому себѣ, произведенія его, при всей ихъ красотѣ, стройности и глубинѣ, лишены свѣжести, силы, аромата, такъ—сказать сочности, и являются тепличными растеніями. Въ произведеніяхъ Вордсворта было бы гораздо больше жизненности, еслибъ онъ самъ больше зналъ жизнь; въ поэзіи Шиллера — больше свѣжести, еслибъ онъ не творилъ насильно и не употреблялъ возбудительныхъ средствъ для воспаленія воображенія и поддержанія лирическаго восторга; поэзія Гёте много бы выиграла въ силѣ, еслибъ онъ почаще забывалъ въ себѣ художника, не наблюдалъ и анализировалъ собственныя чувства въ минуту наслажденія любовью и природой, и еслибъ въ тѣ минуты, когда, по выраженію Пушкина, «не думаетъ никто», онъ не погружался въ размышленіе о томъ, какъ ихъ выразить въ поэзіи и не выбивалъ мѣру гекзаметра на плечъ своей любезной.

Такимъ образомъ мы видимъ, что всякая исключительная привязанность, спеціальность, много мѣшаютъ поэту быть совершеннымъ, *истымъ* поэтомъ, а произведеніямъ его носить характеръ чисто—поэтическій, свободный ото всякихъ постороннихъ примѣсей; что этому мѣшаетъ даже и слишкомъ исключительная привязанность къ самой поэзіи, если она заслоняетъ передъ поэтомъ непосредственную жизнь — главный источникъ поэтическаго вдохновенія.

Да, главнымъ источникомъ поэзіи, главнымъ питаніемъ для

поэта должна быть непосредственная жизнь въ самомъ обширномъ ея значеніи: вдохновеніе только тогда *совершенно*—свѣже, когда черпается прямо изъ этого источника. Это достижимо только тогда, когда поэтъ любитъ непосредственную жизнь для жизни, любитъ не какъ натурщицу для своихъ произведеній, а какъ любовницу, безъ которой онъ не можетъ жить, относится къ жизни не какъ наблюдатель, а какъ живая часть ея.

Въ такихъ именно отношеніяхъ къ дѣйствительности и былъ Пушкинъ. Онъ любилъ жизнь для жизни, любилъ ее безкорыстно, относился къ ней просто, не мудрствуя. Онъ любилъ въ ней все, что вызываетъ любовь, сочувствовалъ всему, что вызываетъ сочувствіе; никакая исключительная привязанность, никакая специальность не владѣла имъ, отвлекая его отъ сочувствія ко всему остальному. Никакое особенное воззрѣніе не заставляло его смотрѣть на божій міръ подъ какимъ—нибудь особеннымъ угломъ зрѣнія, черезъ призму какой—нибудь системы. Оттого онъ свободно, полной грудью, вдыхалъ въ себя жизнь и созерцалъ ее во всей ея полнотѣ.

Всѣмъ извѣстно, какъ много читалъ Пушкинъ, какъ уважалъ науку. Но его чтеніе, его отношеніе къ наукѣ были совсѣмъ нныя, чѣмъ у людей, принадлежащихъ къ цеху писателей. Онъ читалъ съ простодушіемъ самаго обыкновеннаго человѣка, ищущаго въ чтеніи наслажденія и обогащенія ума фактическими свѣдѣніями. Въ наше время не только писатели, но даже диллетанты такъ не относятся къ книгамъ. Въ наше время желаютъ посредствомъ чтенія выработать себѣ систему воззрѣнія на жизнь, думаютъ узнать изъ книгъ *всю истину*, всю подноготную. Пушкинъ читалъ не съ наивной цѣлью узнать изъ мірскихъ книгъ великія тайны творенія, извлечь себѣ правило для жизни и построить философскую систему: онъ не вѣрилъ въ прочность философскихъ системъ, видя, какъ быстро онѣ вытѣсняются одна другою, и потому не находилъ пользы хвататься за такія ненадежныя опоры. Можетъ быть онъ отъ этого много потерялъ какъ мыслитель, зато много выигралъ какъ поэтъ. Умъ его не былъ настроенъ никакой философской системой, взглядъ не былъ снабженъ никакимъ искусственнымъ вспомогательнымъ снарядамъ, и онъ смотрѣлъ на все окружающее простыми глазами, безъ заднихъ мыслей, безъ заранее составленныхъ теорій, т. е. безо всякаго предубѣжденія. Потому онъ былъ такъ похожъ на античныхъ писателей: онъ смотрѣлъ на исторію съ простодушіемъ Плутарха, и созерцалъ жизнь съ терпимостью Горация. Всякая философская система, приводя въ глазахъ человѣка все окружающее его въ искусственный порядокъ, распредѣляя все по мѣстамъ и подъ цифрами, располагая все по одной идеѣ, ставитъ его въ положеніе какого—то всезнанія.

Ничто не можетъ поразить его, ничто не можетъ быть ново для его приготовленнаго взгляда. Что бы онъ ни увидѣлъ, онъ уже знаетъ въ какой ящикъ положить это. И если иному явленію онъ вдругъ и не можетъ найти мѣста, то, разумѣется, это недоумѣніе разрѣшается не поэтическимъ созерцаніемъ новости предмета, — удивленіемъ, восторгомъ, — но переходитъ сперва въ приискиванье ему уголка въ философской системѣ, а потомъ и увѣнчивается успѣхомъ приисканія. Не проникнутый никакой философской системой, Пушкинъ смотрѣлъ на жизнь просто, не ища въ явленіяхъ ея оправданія какихъ-нибудь идей: не видѣлъ въ ней выраженія своей системы. Тайны міра не были разоблачены передъ нимъ анализомъ, разъяснены математически строгими выкладками, но оставались для него глубокими поэтическими тайнами. Его познанія не уничтожили въ немъ способности свободно, безъ справокъ съ философіей, очароваться всякимъ прекраснымъ явленіемъ и возмущаться дурнымъ. Съ такою же простотой, какъ къ жизни, относился Пушкинъ и къ другому богатому источнику своей поэзіи — исторіи. Онъ не придерживался никакой исторической школы, никакой исторической теоріи, располагающей факты по идеѣ: этимъ онъ тоже много выигралъ какъ художникъ. Если художникъ заимствуетъ свой взглядъ на историческія событія изъ историческихъ книгъ, писанныхъ съ цѣлью доказать какую-нибудь философскую истину, произведенія его, заимствованныя изъ исторіи, будутъ явленіями эфемерными. Историческое сектерство суживаетъ взглядъ художника на всемірныя событія, заставляя его смотрѣть на нихъ съ одной какой-нибудь точки зрѣнія, дѣлаетъ его произведенія интересными съ одного какого-нибудь времени: падетъ школа, подъ вліяніемъ которой онъ родился, — онъ станутъ скучны и непонятны. Такая участь никогда не можетъ постигнуть «Бориса Годунова» и сцены изъ средневѣковой жизни, Пушкина. Взглядъ его не былъ суженъ никакой исторической доктриной: оттого онъ вѣченъ, сколько бы ни перепадало историческихъ школъ. Произведенія Тацита, Шекспира, Плутарха и Пушкина никогда не покажутся отсталыми въ идеяхъ, а напротивъ будутъ неисчерпаемымъ источникомъ для взглядовъ, системъ, и проч.

Также просты были отношенія Пушкина и къ самой близкой его сердцу наукѣ — наукѣ поэзіи. Онъ не былъ эстетикомъ, не изучалъ нѣмецкихъ теорій искусства, но это не только не помѣшало, даже способствовало ему быть великимъ знатокомъ поэзіи. Изученіе эстетикъ и исторій литературъ съ философскимъ методомъ много мѣшаетъ живости и свободѣ впечатлѣній.

Начитавшись систематическихъ теорій объ искусствѣ, мы весьма часто впадаемъ въ неискренность сужденій о про-

изведеніяхъ искусства; восхищаемся многимъ потому, что намъ доказано, что этимъ должно восхищаться, и на тѣхъ же основаніяхъ много порицаемъ. Въ этомъ невинномъ притворствѣ нельзя упрекнуть Пушкина. На каждого писателя смотрѣлъ онъ безъ предубѣжденія, не справляясь какой у него парнасскій чинъ т. е. *геній* ли онъ, *талантъ*, или *частный ченій*? и читая книгу, мало заботился о томъ, въ какой изъ этихъ чиновъ слѣдуетъ произвести автора. Оттого такъ прямо и такъ вѣрно указывалъ онъ на достоинства и недостатки всякаго литературнаго произведенія. Каждый удачный стихъ, какому бы плохому поэту онъ ни принадлежалъ и въ какомъ бы множествѣ дурныхъ стиховъ ни погрязъ, приводилъ Пушкина въ восторгъ, и онъ повторялъ его съ сіяющими отъ вдохновенія глазами. Онъ чувствовалъ отвращеніе къ отвлеченнымъ эстетическимъ раздѣленіямъ писателей на художниковъ и нехудожниковъ, и хотя никто лучше его не могъ распознать что художественно и что не художественно, онъ въ своихъ вкусахъ былъ эклектикъ, ибо ему нравилось все хорошее, къ какой бы школѣ и какому бы литературному роду оно ни принадлежало. Однажды, когда Гоголь рѣзко отозвался о Моліерѣ, разбирая его съ слишкомъ строгой, односторонней художественной точки зрѣнія, Пушкинъ разсердился и сказалъ, что въ великихъ писателяхъ нечего смотрѣть на форму и что куда бы они ни положили добро свое,—*бери, а не ломайся*. Хотя вѣрностью взгляда и безпристрастіемъ, при оцѣнкѣ поэтическихъ произведеній, онъ больше всего былъ обязанъ своему природному инстинкту, но развитіе этого инстинкта совершилось подъ вліяніемъ того литературнаго образованія, которое онъ получилъ. Не зная Пушкинъ почти съ дѣтства наизусть всѣхъ французскихъ классиковъ, онъ повѣрилъ бы модному мнѣнію, возникшему у насъ въ двадцатыхъ годахъ, что въ Расинѣ и Буало нечего искать кромѣ риторики, бездушныхъ и натянутыхъ фразъ, изъ которыхъ ничему не научишься. Впослѣдствіи, къ французскому вліянію въ Пушкинѣ присоединилось вліяніе англійскихъ критиковъ, которые, какъ извѣстно, не вдаются въ отвлеченныя эстетическія теоріи, и въ сужденіяхъ своихъ о писателѣ больше всего заботятся о томъ, чтобы показать что въ немъ дурно и что хорошо. Однимъ словомъ, Пушкинъ, не получивъ познаній въ эстетикѣ, получилъ превосходное эстетическое воспитаніе и изучилъ искусство практически—изъ образцовъ и критикъ, а не изъ отвлеченныхъ разсужденій. Оттого, когда онъ творилъ, то соображался съ идеаломъ, сложившимся въ немъ изъ достоинствъ и красотъ всѣхъ перечитанныхъ имъ поэтическихъ произведеній, а не съ отвлеченной теоріей.

Психологическая часть эстетики тоже была не знакома

Пушкину. Потому онъ не вдавался въ изслѣдованія тайны своего творчества, не анализировалъ его процесса, и не доискивался въ душѣ своей до источниковъ вдохновенія. Такимъ образомъ, не зная пружинъ, которыми возбуждается творчество, онъ не могъ возбуждать ихъ искусственнымъ способомъ. Что Пушкинъ творилъ непосредственно, что источникъ собственного вдохновенія былъ для него священной тайной, между прочимъ доказывается тѣмъ, что онъ хранилъ у себя перстень, съ которымъ, по его мнѣнію, было связано его дарованіе.

И такъ, не будучи теоретикомъ, Пушкинъ не могъ, подобно Шиллеру, жаловаться на утрату смѣлости и свободы въ своемъ творествѣ.

— Таковы были отношенія Пушкина къ наукѣ. Посмотримъ теперь какъ онъ относился къ политикѣ — къ государственнымъ вопросамъ.

— Политика, по мнѣнію многихъ, ахиллесовская пята нашего поэта. И дѣйствительно: Пушкинъ не былъ политикъ и не имѣлъ на то претензій. Это происходило не отъ недостатка ума и образованія; но вслѣдствіе своей, въ высшей степени поэтической, природы, онъ былъ поставленъ на такую высоту взгляда, съ которой всѣ политическія системы кажутся мелкими, ничтожными и пустыми. Подобно Гёте, онъ могъ сказать про себя: *я выше политики*. Да онъ и сказалъ почти то же въ слѣдующемъ стихотвореніи:

«Не дорого цѣню я громкія права,
Отъ коихъ не одна кружится голова.
Я не ропщу о томъ, что отказали боги
Мнѣ въ сладкой участи оспоривать налоги,
Или мѣшать..... другъ съ другомъ воевать;
И мало горя мнѣ — свободно ли печать
Морочить олуховъ, или чуткая цензура
Въ журнальныхъ замыслахъ стѣсняетъ балагура.
Все это, видите ль, слова, слова, слова!
Иныя, лучшія мнѣ дороги права;
Иная, лучшая потребна мнѣ свобода...
..... Никому
Отчета не давать; себѣ лишь самому
Служить и угождать
Не гнуть ни совѣсти, ни помысловъ, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здѣсь и тамъ,
Дивясь божественнымъ природы красотамъ,
И предъ созданьями искусствъ и вдохновенія
Безмолвно утопать въ восторгахъ умиленія —
Вотъ счастье! вотъ права!...»

«Какой эгоизмъ, какое равнодушіе къ общественному дѣлу и къ положенію ближняго, какая отсталость въ понятіяхъ!»

воскликнуть многіе, прочитавъ это признаніе. — Еслибъ не великій поэтъ, а какой-нибудь публицистъ, или ученый, или критикъ, или такъ просто кто-нибудь, въ родѣ пишущаго эти строки, высказалъ такія понятія, онъ справедливо долженъ бы былъ подвергнуться позорному общественному осмѣянію или презрѣнію. Но высказать такое признаніе, и такъ высказать, какъ оно высказано, могъ только одинъ Пушкинъ; онъ былъ одинъ изъ немногихъ избранныхъ, имѣющихъ на это право, или, лучше сказать, привилегію и монополію. Высшія поэтическія организаціи чуютъ инстинктомъ, что всякій порядокъ вещей только временно хорошъ, всякое общественное устройство условно, всякая политическая система преходяща: идеаль гражданственности, который онъ носятъ въ душѣ своей, слишкомъ высокъ и не можетъ совпасть ни съ какимъ состояніемъ общества и выразиться въ какой-нибудь политической теоріи. Для нихъ каждый порядокъ вещей неудовлетворителенъ, ибо онъ видятъ его недостатки, и каждый порядокъ сносенъ, ибо онъ видятъ его хорошія стороны. Эта высота положенія поэта и дѣлаетъ его какимъ-то исключительнымъ человѣкомъ въ обществѣ, человѣкомъ, не принадлежащимъ по понятіямъ своимъ ни къ какому времени, и въ то же время принадлежащимъ всѣмъ временамъ; не преклоняющимся умомъ своимъ ни передъ какими формами, и въ то же время снисходящимъ къ нимъ съ высоты своего величія, за невозможностью осуществленія формъ идеальныхъ. Вотъ причина, почему общество такъ часто упрекаетъ поэта въ отсталости и равнодушіи. И оно по-своему право. Передовые люди трудятся надъ созданіемъ теоріи общественнаго устройства, въ потѣ лица создаютъ, проповѣдуютъ ее съ полной, горячей вѣрой въ ея совершенство; общество съ такою же вѣрою хватается за нее, борется за ея осуществленіе, наконецъ осуществляетъ и торжествуетъ свою побѣду, а поэтъ смотритъ равнодушно на это торжество, да еще, пожалуй, и посмѣется ему, — какой стихъ найдетъ на него. Какъ быть! нельзя передѣлать странной, загадочной натуры поэта. Вокругъ него кипятъ матеріальныя совершенствованія; всѣ изумляются чудесамъ цивилизаціи; вѣкъ идетъ съ неимоверной быстротой впередъ; все ему рукоплещетъ, — а поэтъ тоскуетъ по первобытнымъ временамъ и восклицаетъ:

«Schöne Welt, wo bist du? Kehre wieder!»

Случилось событіе, поразившее всю Европу; всѣ о немъ говорятъ; лучшіе умы ждуть съ нетерпѣніемъ, что скажетъ о немъ великій поэтъ. Спрашиваютъ у него его мнѣнія. Онъ говоритъ, что это прекрасно и принесетъ пользу наукѣ. «Какъ, пользу наукѣ: вы о чемъ говорите, — о событіяхъ во Франціи?» — Какое мнѣ до нихъ дѣло: я говорю о новомъ ученомъ

обществѣ, которое у насъ открывается. — Цѣлая нація преклоняется передъ гениемъ человѣка, вышедшаго изъ низкаго званія и поручаетъ ему свою судьбу, а поэтъ выводитъ его въ самой злой каррикатурѣ на сцену, на позорище той же націи. Великій философъ создаетъ систему; всѣ въ восторгѣ передъ ней преклоняются, какъ передъ абсолютной истиной, а поэтъ выводитъ и его на всенародное осмѣяніе. Капризная, ничѣмъ недовольная натура! Не даромъ Платонъ въ свою утопическую республику велитъ не впускать поэта, а держать его на благородной дистанціи. Платонъ отчасти правъ. Поэты плохіе политики, какъ въ теоріи, такъ и въ практикѣ. Хотя Маколей и говоритъ, что Байронъ могъ бы съ пользой употребить свои политическія способности для устроенія возникавшей Греціи, но намъ кажется, что Геллада, бросившись въ объятія поэта, какъ лэди Байронъ, какъ и она вскорѣ бы оттолкнула его отъ себя.

Кромѣ недостижимой высоты и неосуществимости идеала поэтовъ, есть еще причина ихъ разлада съ обществомъ. Она заключается, такъ-сказать, въ самородности ихъ понятій. *Poëtae nascuntur*. . . Имъ дано отъ природы понимать много такого, до чего другіе доходятъ долгимъ путемъ размышленія. Потому имъ весьма странно видѣть, что истины, которыя имъ ясны съ малолѣтства, какъ дважды два четыре, выдаются за новостъ ихъ вѣкомъ, и принимаются публикой съ восторгомъ, какъ геніальныя открытія. Будьте увѣрены, господа политики и философы, что великаго поэта ничѣмъ не удивите, и ни на что не поддѣнете. Все, о чемъ вы кричите въ архимедовскомъ положеніи, все, о чемъ вы проповѣдуете съ такимъ жаромъ, ему не новостъ: все приходило ему въ голову, обо всемъ онъ надумался, но говорить только о томъ, о чемъ призванъ говорить: о Богѣ, красотѣ, сердцѣ человѣческомъ, о томъ, что неизмѣнно, вѣчно, что нужно для всѣхъ вѣковъ и народовъ.

И такъ, поэта нельзя подвести ни подъ какую категорію политическихъ людей: онъ въ одно и то же время въ высшей степени консерваторъ и въ высшей степени либераль; всѣмъ доволенъ и ничѣмъ не доволенъ. Тѣ, у которыхъ чувство довольства превышаетъ чувство недовольства, являются трагиками, эпиками и лириками, у кого обратно — комиками и сатириками. Пушкинъ принадлежитъ къ разряду первыхъ, въ противоположность Гоголю, Моліэру и Аристофану, которые могли только отрицательно выражать свои идеалы, и потому могли только создавать смѣшныя лица. Имъ прежде всего бросалась въ глаза дурная сторона предмета, Пушкину — хорошая. Способностью находить вездѣ хорошую сторону, сочувствовать

всякому порядку вещей, можно отчасти объяснить его умѣнье быть какъ дома при изображеніи всякаго быта и всякой эпохи.

Никакая философская система, никакая политическая доктрина не стояли между Пушкинымъ и предметами, которые онъ созерцалъ, не ставили его на условную точку зрѣнія, и онъ созерцалъ міръ божій какъ онъ есть.

Теперь скажемъ нѣсколько словъ о томъ, какъ поэтъ нашъ относился къ своему искусству.

Что онъ горячо любилъ поэзію, тому есть несомнѣнные доказательства. Какъ ни скупъ, ни стыдливъ былъ онъ на печатныя признанія въ своихъ душевныхъ привязанностяхъ, но иногда проговаривался о своей любви къ музѣ. Въ прологъ къ «Египетскимъ ночамъ» онъ говоритъ про Чарскаго: «онъ былъ поэтъ и *страсть его была неодолима.*» Описывая характеръ Евгенія Онѣгина, онъ говоритъ, что герой его не имѣлъ высокой страсти *для звуковъ жизни не щадить.* Посланіе къ Жуковскому заключается стихами:

*«Блаженъ, кто вѣдалъ сладострасть
Высокихъ мыслей и стиховъ.»*

Едва ли кто высказалъ большую любовь къ поэзіи. Едва ли кто усерднѣе Пушкина служилъ своему искусству, едва ли кто больше его трудился надъ выдѣлкой каждаго стиха. А между тѣмъ и эта страсть *какъ-то* дана была ему въ мѣру, не дѣлала изъ него затворника и отверженца общества, не клала на него печати цеха. Какъ онъ ни былъ привязанъ къ поэзіи, но еще болѣе любилъ людей и природу, — и безъ этого онъ не достигъ бы такой высоты въ поэзіи.

Есть что-то несовсѣмъ хорошее, не совсѣмъ христіанское, или по крайней мѣрѣ антипоэтическое, въ той исключительной привязанности къ своему искусству, которая отторгаетъ челоѣка отъ живаго прикосновенія съ дѣйствительностью. Вѣтъ какимъ-то эпикуреизмомъ отъ челоѣка, ни о чемъ, какъ о рюмоплетствѣ своемъ, не думающаго, хотя бъ онъ жилъ на чердакѣ и питался чернымъ хлѣбомъ. Такая привязанность всегда ведетъ къ эгоизму, и весьма часто къ забвенію самыхъ священныхъ обязанностей. Такія личности могутъ приносить огромную пользу наукѣ, искусству и обществу, но въ тоже время онѣ способны хладнокровно прогнать отъ себя лучшаго друга послѣ десятилѣтней разлуки, если приходъ его мѣшаетъ имъ дописать стихъ или прибрать рюму; въ состояніи не пойти за докторомъ для умирающей матери, если это отвлечетъ ихъ отъ трактата, составляемаго для общественного блага. Мы не хотимъ осуждать эти гигантскія личности. Дѣло ихъ можетъ быть такъ свято, такъ полезно для всего челоѣчества, что онѣ могутъ жертвовать и друзьями и родными, какъ ничтожными еди-

ницами. Руссо и поступалъ въ такомъ родѣ; по любви своей къ истинѣ, онъ не затруднился выставить на позорище потомства собственнаго своего родителя. Брутъ, изъ чувства справедливости, въ собственныхъ глазахъ мучилъ и казилъ собственнаго сына. Другой Брутъ, изъ любви къ отечеству, убилъ своего благодѣтеля, а по новѣйшимъ изслѣдованіямъ—отца. Сохрани насъ Богъ осуждать эти великія личности. Говоримъ это искренно.

Все это мы высказали для объясненія основной мысли нашей статьи, что вполне великимъ поэтомъ можетъ быть только простой человѣкъ, сохранившій вполне, во всей первоначальной, младенческой свѣжести, все чувства, присущія человѣку, какимъ и былъ нашъ Пушкинъ. Къ нему совершенно подходило прекрасное, но опошленное безтолковымъ повтореніемъ, латинское выраженіе: «я человѣкъ, и ничто человѣческое не чуждо мнѣ». — Вспомните жизнь Пушкина, и попробуйте отыскать что ему было чуждо. Про него-то должно именно сказать:

«На все отзывался онъ сердцемъ своимъ,

Что просить у сердца отвѣта.»

Въ какомъ обществѣ онъ не былъ, въ какой сферѣ не вращался? Онъ плылъ по житейскому морю, не выходя ни у какой пристани, нигдѣ не останавливаясь, вездѣ находилъ пищу для души и драгоцѣнныя сокровища для своей поэзіи. А между тѣмъ многіе ставили ему въ преступленіе такую жизнь, говорили, что она не достойна величія поэта и сана литератора; говорили, что онъ предавался бурнымъ страстямъ, и много потратилъ и силъ, и времени на легкомысленныя забавы, на знакомство съ пустыми людьми. Бурныя страсти, легкомысленныя забавы! Во-первыхъ эти страсти и забавы не унижали человѣческаго достоинства; во-вторыхъ, не живи онъ,

«Въ законъ себѣ вмѣняя

Страстей единый произволъ,

Съ толпою чувства раздѣляя,»

онъ никогда бы не былъ народнымъ поэтомъ, стихи его не вызвали бы сочувствія всякаго Русскаго. Еслибы онъ заперся въ тиши кабинета съ книгами, его поэзія правилась бы только немногимъ выспреннымъ умамъ, а не всякому, кто одаренъ чувствомъ прекраснаго и высокаго. Дурное общество, пустые люди?— Пушкинъ долженъ былъ искать общества по себѣ,—хорошаго общества.— Хорошее общество! Какое такое хорошее общество? Общество литераторовъ? Но, вѣдь, Пушкинъ бывалъ въ немъ, ибо бывалъ вездѣ, связанъ былъ съ нимъ, какъ со всѣми живыми слоями русскаго общества, и бывалъ въ немъ чаще, чѣмъ гдѣ-нибудь, и связанъ съ нимъ крѣпче, нежели съ чѣмъ-нибудь. Но исключительно въ немъ вращаться, онъ не могъ, какъ и во всякомъ другомъ обществѣ. Еслибъ онъ исклю-

чительно вращался въ кругу «избранныхъ», въ замкнутомъ кружкѣ ученыхъ и литераторовъ,—его живая поэтическая натура не вынесла бы этого комнатнаго, академическаго воздуха; онъ задохся бы въ душной и слишкомъ благовонной, искусственно-раздушенной атмосферѣ... ему нуженъ былъ и полевой воздухъ... Что такое избранный кружокъ литераторовъ? Тѣ же книги, только въ черновыхъ тетрадяхъ или въ корректурныхъ листахъ. Разговоръ и интересы такихъ замкнутыхъ кружковъ вертятся только около литературныхъ и ученыхъ предметовъ, а живой природѣ Пушкина, душа котораго была открыта для всего на свѣтѣ, нельзя было жить одними литературными и учеными интересами. Вотъ причина связей его съ обществомъ и дружбы съ людьми самыми простыми и обыкновенными. Удивляются, какъ Пушкинъ могъ любить и уважать такихъ не замѣчательныхъ людей какъ N., N. и N. Спрашиваютъ, что онъ въ нихъ нашелъ? Въ одномъ онъ нашелъ добрую, чувствительную душу, елейную кротость характера; въ другомъ—неистошимое, живое остроуміе и рѣдкій здравый умъ; въ третьемъ—какое-то рыцарство въ буйствѣ, возведенное въ поэзію, которую онъ узнавалъ и любилъ во всѣхъ видахъ. Отъ живой натуры истиннаго поэта нельзя требовать слишкомъ строгой разборчивости въ симпатіяхъ. Онъ не можетъ *выбирать* друзей, вымѣривать, отпускать на вѣсь чувство дружбы, соображаясь съ учеными аттестатами людей, со степенью ихъ литературнаго таланта, начитанности и проч. У него было другое мѣрило для людей,—собственный поэтическій инстинктъ: онъ благородно слѣдовалъ его влеченію и никогда не ошибался. Точно также, какъ онъ восхищался каждымъ удачнымъ стихомъ, кому бы онъ ни принадлежалъ, восхищался онъ и каждой благородной чертой чело­вѣка, не смотря на его другія черты.

Эта живость чувствъ, способность принимать впечатлѣнія, замѣчать вездѣ и всегда все прекрасное, увлекаться имъ и съ жаромъ предаваться увлеченію, было источникомъ богатаго содержанія поэзіи Пушкина. Между тѣмъ многіе ставятъ ему эти черты въ недостатокъ, приписывая ихъ дурному воспитанію, необразованію и неразвитости, которыя будто помѣшали нашему поэту стать наряду съ великими всемірными поэтами. — Кстати о необразованіи Пушкина, скажемъ здѣсь нѣсколько словъ объ одной чертѣ характера, которая приписывается его необразованію и отсталости отъ вѣка.

Всѣмъ извѣстенъ такъ—называемый аристократизмъ Пушкина, выраженный въ «Моей родословной», въ «Родословной моего героя» и во многихъ прозаическихъ статьяхъ. Въ прологѣ къ «Египетскимъ ночамъ» есть одна фраза, которую можно принять за признаніе, что аристократизмъ нашего поэта происходилъ отъ

желанія подражать лорду Байрону. Есть ли тутъ частица правды, не знаемъ: но можно сказать съ увѣренностью, что между аристократизмомъ Байрона и аристократизмомъ Пушкина не было ничего общаго. Аристократизмъ Байрона достоинъ во всѣхъ отношеніяхъ прямого порицанія, и едва можетъ быть чѣмъ-нибудь извиненъ: онъ дѣйствуетъ непріятно на душу поклонниковъ великаго британскаго барда, какъ чувство совершенно-противопозитическое. Онъ отзывается и средневѣковыми предразсудками, непростительными въ «пѣвцѣ свободы», и феодальной грубостью грабителей Британіи, пришедшихъ съ Вильгельмомъ Завоевателемъ и съ презрѣннымъ смотрѣвшихъ на прекрасное племя Англосаксовъ: это въ одно и то же время гордость дворянина передъ простолюдиномъ и чванство разбогачившаго буржуа передъ бѣднякомъ.

Непріятно вспомнить: Байронъ съ гордостью говоритъ о томъ, что онъ никогда не жилъ на чердакѣ, намекая на другихъ поэтовъ, друзей своихъ. Напротивъ того, аристократизмъ Пушкина не только не достоинъ никакого порицанія, но даже не нуждается въ извиненіи. Онъ никого не оскорблялъ имъ.

«Могучихъ предковъ правнукъ бѣдный,
Люблю ихъ видѣть имена
Въ двухъ-трехъ строкахъ Карамзина:
Отъ этой слабости безвредной,
Какъ ни старался, видѣть Богъ,
Отвыкнуть я никакъ не могъ.»

Въ немъ это чувство было благородно, вполне достойно уваженія, умирительно. Оно происходило отъ той свѣжести и полноты чувствъ, о которой мы говорили. Пушкину были священны семейныя чувства, и онъ былъ крѣпокъ въ нихъ. Любовь къ своему роду и своему сословію имѣла одинъ источникъ съ его высокимъ патріотизмомъ. Онъ меньше чѣмъ кто-нибудь былъ способенъ сдѣлаться ренегатомъ, отступникомъ, перебѣжчикомъ. Въ какомъ бы сословіи онъ ни родился, онъ нашелъ бы за что его уважать, отразилъ бы на себѣ всѣ хорошія его стороны, и не измѣнилъ бы ему своимъ словомъ: ибо презирать свое сословіе, значитъ *eo ipso* презирать людей, произведшихъ насъ на свѣтъ, а это онъ считалъ почему-то грѣхомъ. Родись онъ въ духовномъ званіи, онъ гордился бы своими предками и возвелъ бы свое сословіе въ поэтическую апофеозу.

Воспѣвая свое сословіе, Пушкинъ никогда не оскорблялъ другія; что касается до простаго народа, то едва ли кто изъ западныхъ демократовъ, льстецовъ черни, показалъ большее къ нему уваженіе, чѣмъ Пушкинъ. Онъ первый обратился къ его поэзіи. Онъ заключилъ свою трагедію словами: «народъ безмолствуетъ.» Кто давалъ такую величавую роль народу?

Въ доказательство отсталости понятій Пушкина приводятъ его сожалѣніе о паденіи древней русской аристократіи. Но это въ немъ происходило, между прочимъ, изъ любви ко всему старому; изъ сочувствія въ допетровской Руси, — и въ этомъ отношеніи онъ не отсталъ отъ своего времени, а скорѣе опередилъ его. Страсть Пушкина къ генеалогіи скорѣе обнаруживаетъ въ немъ антикварія, чѣмъ аристократа.

«... каюсь, *новый Ходаковский*,
Люблю отъ бабушки московской
Я толки слушать о роднѣ,
О голдобрюхой старинѣ.»

Если въ наше время съ такимъ рвеніемъ отыскиваютъ всѣ вещественные остатки древности, и обращаются съ ними съ такой любовью и нѣжностью, отчего же не было позволительно Пушкину относиться съ любовью и нѣжностью къ живымъ остаткамъ допетровской Руси, къ старымъ фамиліямъ, съ которыми онъ былъ связанъ священными узами крови? Отчего нельзя было ему воскликнуть:

«Мнѣ жаль, что тѣхъ родовъ боярскихъ
Блѣднѣетъ блескъ и никнетъ духъ;
Мнѣ жаль, что нѣтъ князей Пожарскихъ:
Что о другихъ пропалъ и слухъ?»

Вообще должно замѣтить, что какъ по этимъ стихамъ, такъ и по всѣмъ другимъ, написаннымъ на ту же тему, едва ли слѣдуетъ судить о политическихъ убѣжденіяхъ Пушкина. Это не доводы консерватора, а просто жалобы поэта. Въ одной изъ строфъ «Родословной моего героя» Пушкинъ говоритъ:

«Мнѣ жаль, что дома наши новы,
Что прибываемъ мы на нихъ
Не льва съ мечемъ, не щитъ гербовый,
А рядъ лишь вывѣсокъ цвѣтныхъ.»

Жалоба, совершенно-законная въ устахъ поэта! Кто не согласится, что въ старинномъ быту нашихъ баръ, при всѣхъ его дурныхъ сторонахъ, было много поэзіи. Поэтъ не могъ не пожалѣть объ упадкѣ и уничтоженіи тѣхъ великолѣпныхъ палатъ, гдѣ «циркуль зодчаго, палитра и рѣзецъ повиновались ученой прихоти хозяина и, вдохновенные, состязались въ волшебствѣ»: непріятно ему было видѣть ихъ испещренными цырюльными вывѣсками. Нельзя требовать отъ поэта, чтобъ такой контрастъ, при всѣхъ его благодѣтельныхъ послѣдствіяхъ для промышленности и цивилизаціи, приводилъ его въ восторгъ. Поэтъ можетъ придти въ восторгъ отъ развалившейся хижины и отъ мирнаго шалаша, точно также какъ отъ великолѣпнаго *palazzo*, и воспѣть ихъ; но едва ли вызовутъ его вдохновеніе овощная лавочка и кондитерскій магазинъ. И. С. Аксаковъ, въ своей

поэмъ «Бродяга» обращаясь къ шоссе и проселку, говоритъ о послѣднемъ какъ бы съ бѣльшимъ сочувствіемъ. Неужели же кто-нибудь упрекнетъ поэта въ отсталости понятій, во враждѣ къ матеріальнымъ улучшеніямъ народнаго быта и въ непониманіи пользы и удобства путей сообщенія?

Еще примѣръ. Положимъ, вырубилъ дремучій лѣсъ, наполненный дикими звѣрами; на мѣстѣ его настроили неисчислимое множество полезныхъ заведеній: кожевенныхъ заводовъ, скотныхъ дворовъ, бойни и проч. Поэтъ, проѣзжая мимо, вздохнетъ по темномъ лѣсѣ, который такъ часто вдохновлялъ его. Слѣдуетъ ли изъ этого, что онъ не образованъ, и что не знаетъ, что построенныя заведенія полезны, аволки, жившіе на ихъ мѣстѣ, кусаются... Нельзя требовать отъ поэта, чтобы онъ воспѣвалъ гутта-перчу, торфъ, каменный уголь и удобреніе для пашни... Выходя изъ вагона на дебаркадеръ желѣзной дороги, онъ поблагодаритъ цивилизацію за полезное изобрѣтеніе, давшее ему средство застать еще въ живыхъ больнаго друга, о болѣзни котораго ему было извѣщено телеграфомъ, но воспѣвать машину и телеграфъ не станетъ, а воспоетъ все-таки нашу тройку, подчасъ несущую по ухабамъ и расталкивающую пассажиру бока, нашихъ ямщиковъ, подчасъ пьяныхъ и грубыхъ, но милыхъ русскому сердцу своей удалью, прибаутками, пѣснями — словомъ, своей поэзіей...

Итакъ аристократизмъ Пушкина больше всего происходилъ отъ того, что въ поэтѣ сохранились въ первоначальной свѣжести и чистотѣ всѣ простыя, естественныя чувства. Такъ какъ подобная младенческая ясность понятій, или наивность, какъ ее называетъ Шиллеръ, рѣдко соединяется съ высокимъ умственнымъ развитіемъ, то, проявляясь въ Пушкинѣ, она для многихъ представляется противорѣчіемъ главнымъ убѣжденіямъ и стремленіямъ поэта, служа поводомъ къ невыгоднымъ для него заключеніямъ и предположеніямъ. Поражаясь высотой, на которой стоялъ поэтический геній Пушкина, многіе смущаются, видя, что въ немъ сохранились самыя простыя движенія души. Но нельзя ставить въ обязанность генію быть стойкомъ, чело-вѣкомъ суровымъ, непреклоннымъ. Можетъ быть для иныхъ сферъ такъ и надобно, но для поэта надобно совсѣмъ другое.

Не вникнувшіе въ характеръ Пушкина, подозрѣваютъ въ этомъ рыцарски-благородномъ характерѣ темныя стороны и только съ оговоркой признаютъ его честнымъ чело-вѣкомъ. Поводомъ къ тому слѣжать, вѣроятно, нѣкоторые случайныя стихотворенія. Но послушаемъ оправданіе самаго поэта.

«Нѣтъ, я не льстецъ, когда царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смѣло чувства выражаю,

Языкомъ сердца говорю,
Его я просто полюбилъ.

.

Текла въ изгнаннѣ жизнь моя,
Влачилъ я съ милыми разлуку,
Но онъ мнѣ царственную руку
Подаль—и съ вами снова я.

« Во мнѣ почтилъ онъ вдохновенъе,
Освободилъ онъ мысль мою,
И я ль, въ сердечномъ умиленъѣ,
Его хвалой не воспую?

« Я льстецъ? Нѣтъ, братья, льстецъ лукавъ:
Онъ горе на царя накличетъ,
Онъ изъ его державныхъ правъ
Одну лишь милость ограничитъ.
Онъ скажетъ: презирай народъ,
Гнети природы голосъ нѣжный!
Онъ скажетъ: просвѣщенъя плодъ—
Страстей и воли духъ мятежный!

.»

Во-первыхъ мы видимъ, что Пушкинъ сохранилъ способность *просто полюбить* т. е. душевно, привязаться къ чело-вѣку, не соблажаясь ни съ какими теоріями: этого ему запретить никто не можетъ. Нельзя также запретить поэту свободно выражать свои чувства: это его священное право. Во-вторыхъ мы здѣсь находимъ подтвержденіе нашихъ словъ, что Пушкину «ничто человѣческое не было чуждо», а въ томъ числѣ и чувство благодарности. Конечно чувство благодарности въ сравненіи съ гигантскими чувствами любви къ наукѣ, человѣчеству, и такъ далѣе, можетъ казаться чувствомъ мѣщанскимъ. Одинъ великій поэтъ, занявши у Гердера денегъ, разсердился на него по этому случаю, вслѣдствіе чего, разобравъ чувство благодарности психически, какъ философъ, нашель, что оно не стоить большаго уваженія. Конечно чело-вѣкъ можетъ разсудить такъ: я гений, я одаренъ самыми высшими чувствами, чувствами людей необыкновенныхъ, стало быть я освобожденъ отъ обыкновенныхъ мѣщанскихъ чувствъ; съ ними не удобно жить, да онъ и не эффектенъ въ стихахъ. Но Пушкинъ, вѣроятно, разсуждалъ иначе. Не имѣя силы философскаго анализа, онъ смотрѣлъ на чувство благодарности глазами простаго чело-вѣка, почиталъ это чувство священнымъ, и никакая политическая теорія не могла бы въ немъ искоренить его. Обнародованіе своей любви къ государю было со стороны Пушкина поступкомъ въ высшей степени благороднымъ и смѣлымъ: ибо при этомъ онъ рисковалъ прослыть льстецомъ. Вообще Пушкинъ

велъ себя съ публикой прямо, искренно и отважно. Онъ очень хорошо понималъ, что заискивать передъ читателями и поддѣлываться подъ мнѣніе большинства также низко, какъ льстить сильнымъ земли. Къ сожалѣнію, не всѣ такъ думаютъ. Весьма часто люди, стыдящіеся получить награду, не имѣющую никакой матеріальной цѣнности, отъ лица сильнаго, въ то же время всячески унижаются передъ публикой, и, желая дешевой извѣстности и хорошей распродажи своихъ сочиненій, потакаютъ образу мыслей толпы, и вмѣсто того, чтобы давать ей направленіе, поучать ее, сами слѣдуютъ ея направленію, у нея учатся. Впрочемъ, говоря это, мы почти перефразируемъ слова самого Пушкина. Вотъ онъ:

«*Patronage* (покровительство) до сей поры сохраняется въ обычаяхъ англійской литературы. Почтенный Креббъ, умершій недавно, поднесъ всѣ свои прекрасныя поэмы *to his grace the Duke of...* Въ своихъ смиренныхъ посвященіяхъ онъ почтительно упоминаетъ о милостяхъ и высокомъ покровительствѣ, коихъ онъ удостоился, и проч. Въ Россіи вы не встрѣтите ничего подобнаго. У насъ, какъ замѣтила M-me de Staël, словесностью занимались, большею частію, дворяне (*en Russie quelques gentilshommes se sont occupés de littérature*). Это дало особенную фizioномію нашей литературѣ; у насъ писатели не могутъ изыскивать милостей и покровительства у людей, которыхъ почитаютъ себѣ равными, и подносить свои сочиненія вельможѣ или богачу, въ надеждѣ получить съ него 500 рублей или перстень, украшенный драгоценными камнями. Чтожъ изъ этого слѣдуетъ? Что нынѣшніе писатели благороднѣе мыслятъ и чувствуютъ, нежели мыслили и чувствовали Ломоносовъ и Костровъ. *Позвольте въ томъ усомниться.*»

«Нынче писатель, краснѣющій при одной мысли посвятить книгу свою человѣку, который выше его двумя или тремя чинами, не стыдится публично *жать руку журналисту, ошельмованному въ обществѣ мнѣніи, но который можетъ повредить продажѣ книги, или хвалебнымъ объявленіемъ заманить покупателей.*»

«Къ тому же съ нѣкоторыхъ поръ литература стала у насъ ремесло выгодное, и публика въ состояніи дать болѣе денегъ, нежели ея сіятельство такой-то, или ея превосходительство такой-то; какъ бы то ни было, повторяю, что формы ничего не значать. Ломоносовъ и Креббъ достойны уваженія всѣхъ честныхъ людей, не смотря на ихъ смиренныя посвященія; а господа N. N. всё-таки презрительны, не смотря на то, что въ своихъ книжкахъ они проповѣдуютъ благородную гордость, и что они свои сочиненія посвящаютъ не доброму и умному вельможѣ, а какому-нибудь вралю и плуту, подобному имъ».

Такая простота чувствъ, человѣчность, протъглядываетъ и въ литературныхъ мнѣніяхъ Пушкина и характеризуетъ его какъ критика. При всей своей любви къ литературѣ, при всемъ своемъ уваженіи къ искусству какъ искусству, онъ не принадле-

жалъ къ числу тѣхъ суровыхъ и непреклонныхъ служителей Аполлона, тѣхъ критиковъ, которые готовы оскорбить и уничтожить писателя за какое-нибудь плохое произведеніе, не взирая на прежнія литературныя заслуги, преклонность лѣтъ и благородство намѣреній автора, — готовы лишить куса хлѣба бѣднаго труженика за несогласіе въ убѣжденіяхъ. Въ Пушкинѣ литераторъ не уничтожалъ человѣка; его страсть къ поэзіи, тонкій эстетическій вкусъ и строгость литературныхъ требованій не убивали его природной доброты и чувства жалости и состраданія. Основаніемъ его литературныхъ сужденій было не *strictum jus*, дѣйствующее по мертвой буквѣ закона, но гуманное *aequum jus*. Такъ, напримѣръ, разбирая неудачный переводъ «Потеряннаго Рая», исполненный Шатобріаномъ, Пушкинъ говоритъ:

«Переводъ «Потеряннаго Рая» есть торговая спекуляція. Первый изъ современныхъ французскихъ писателей, учитель всего пишущаго поколѣнія, бывшій нѣкогда первымъ министромъ, нѣсколько разъ посланникомъ, — Шатобріанъ, на старости лѣтъ перевелъ Мильтона для куска хлѣба. Каково бы ни было исполненіе труда, имъ предпринятаго, но самый сей трудъ и цѣль онаго дѣлаютъ честь знаменитому старцу. Шатобріанъ, который, поторговавшись немного съ самимъ собою, могъ бы спокойно пользоваться щедротами новаго правительства, властію, почестями и богатствомъ, предпочелъ имъ честную бѣдность, и, уклонившись отъ палаты перовъ, гдѣ могущественно раздавался краснорѣчивый его голосъ, приходитъ въ книжную лавку съ продажной рукописью, но съ неподкупной совѣстью. Послѣ этого что скажетъ критика? Станетъ ли она строгою оцѣнки смущать благороднаго труженика, и, подобно скупому покупщику, хулить его товаръ?»

II.

Мы высказали нашъ взглядъ на Пушкина какъ на человѣка; наше намѣреніе было выяснитъ себѣ, какъ относился онъ къ разнымъ сферамъ умственной дѣятельности и къ непосредственной жизни. Сводя наши мнѣнія къ общему итогу, повторяемъ: Пушкинъ не былъ прикованъ къ одной какой-нибудь сферѣ, которая ставила бы его въ исключительное, эксцентрическое положеніе передъ другими сферами, не былъ связанъ никакой страстью, которая бы обхватывала все его существо, вытѣсняя другія страсти; оттого жизнь его была широка и полна, а душа — открыта для всякихъ впечатлѣній. Чуждый всякихъ отвлеченныхъ теорій, онъ смотрѣлъ на жизнь просто — не подъ какимъ-нибудь условнымъ угломъ зрѣнія; оттого во взглядѣ его не было ничего условнаго, временнаго, принадлежащаго одной какой-нибудь теоріи или сектѣ, одной какой-нибудь эпохѣ и одному какому-нибудь... народу — сказали бы мы, еслибъ это

безпристрастіе, эта широта, этот космополитизмъ взгляда не были коренной чертой русскаго народа... Словомъ, жизнь Пушкина была вполне свободная, а возвращеніе его на жизнь — вѣчное, непреходящее.

Какъ же отразилась въ поэзіи Пушкина эта свобода жизни и мысли? Она отразилась въ ней полной свободой слова: Пушкинъ былъ именно то, что называется *свободнымъ поэтомъ*.

У насъ уже довольно сказано о томъ, что Пушкинъ не заимствовалъ возвращеній на жизнь ни изъ какихъ философскихъ сочиненій; вліяніе этого обстоятельства тоже извѣстно. Но намъ могутъ справедливо замѣтить, что философскія теоріи можно созидать и не читая философскихъ книгъ, и при этомъ спросить, пародируя слова Простаковой: «да первый-то философъ у кого учился?» — Дѣйствительно, теоріи жизни, даже и въ наше время, могутъ слагаться безъ помощи философскихъ трактатовъ. Но въ поэзіи Пушкина не замѣтно даже и того самодѣльнаго теоретическаго возвращенія на жизнь, какое встрѣчается у поэтовъ хотя не получившихъ никакого философскаго образованія, но тѣмъ не менѣе развивающихъ въ своихъ произведеніяхъ ими самими добытыя *quasi*-доктрины. Эта маленькая, доморощенная философія, или, какъ ее эти философы называютъ, «филозофія», не имѣющая ничего общаго съ настоящей философіей, то-есть германской,—полагая однако, подобно ей, печать однообразія на поэтическія произведенія, имѣетъ еще то свойство, что кладетъ нѣкоторый отбѣнокъ комизма на личность самого поэта. Не можетъ не казаться отчасти смѣшнымъ и самый даровитый поэтъ, если онъ, напримѣръ, поставилъ себѣ за правило смотрѣть на все въ розовомъ свѣтѣ. Пускай говорятъ, что очарованіе составляетъ пафосъ его поэзіи, — греческое слово не прикроетъ недостатокъ того, что выражаетъ латинское слово «реальность».

Произведенія поэта съ такимъ направленіемъ испещрены его любимыми мыслями, вѣчными повтореніями и модификаціями одного и того же: восторженными обращеніями къ человечеству и восклицаніями о великомъ значеніи жизни. Подобными повтореніями на одну и ту же тѣму, но только въ другомъ духѣ, отличаются и поэты совершенно-противоположнаго направленія, пафосъ которыхъ составляетъ такъ-называемое *разочарованіе* или *безочарованіе*. Одержимые безотраднымъ взглядомъ на жизнь, они однако знаютъ какъ эффектенъ подобный взглядъ въ поэзіи, и потому постоянно драпируются въ свою меланхолію, такъ что она переходитъ у нихъ въ рутину, дѣлается чѣмъ-то заученнымъ, какъ патетическія мѣста въ роли актѣра, которыя онъ уже въ сотый разъ произноситъ передъ зрителями, и горячится не столько по вдохновенію, сколько на

память. То же однообразіе замѣчается и въ произведеніяхъ поэтовъ, выработавшихъ себѣ «спокойное, ни чѣмъ не возмущимое» воззрѣніе на жизнь: они также аффектируютъ этимъ чувствомъ, повсюду выставляютъ его, и въ свою очередь бываютъ немного смѣшны. Подобныя направленія усваиваются очень легко и даже пріятно, по крайней мѣрѣ гораздо легче, нежели настоящія философскія системы. Поэту стоить только замѣтить въ себѣ какую-нибудь сильную эффектную наклонность, узаконить ее посредствомъ какого-нибудь силлогизма, — и направленіе готово. Здоровая душа Пушкина, не любившая ничего натянутого, ничего аффектированного, не способная ни къ экзальтаціи, ни къ скептицизму, и вообще ни къ чему не нормальному, не могла поддаться не только навсегда, но даже и надолго одному какому-нибудь чувству. Оттого всѣ чувства, имъ выражаемыя, даже тоска и отчаяніе, свѣтлы, какъ чувства нормальныя, чувства здороваго человѣка, ибо онѣ порождены не цѣлымъ воззрѣніемъ на жизнь, а случаемъ, обстоятельствомъ. Онѣ не давятъ читателя: онѣ видятъ изъ-за нихъ не мрачную эксцентрическую фигуру поэта, томимаго вѣчной тоской, но человѣка такого же, какъ онѣ самъ, огорченнаго неблагоприятными обстоятельствами, — и онѣ увѣренъ, что когда переменятся обстоятельства, пройдетъ горе, — лицо поэта снова просвѣтлѣетъ. Такъ дѣйствуютъ на читателя грусть и тоска Пушкина; такое же здоровое впечатлѣніе производятъ его радость и восторгъ, ибо и эти, сами по себѣ свѣтлыя, чувства, выраженные поэтами *съ направленіемъ*, дѣйствуютъ болѣзненно на душу: чувствуешь, что поэтъ находится въ постоянно-напряженномъ, а потому и не естественномъ восторгѣ. Восторгъ Пушкина — такое же естественное, временное порожденіе обстоятельствъ, какъ и всѣ другія его чувства. И тутъ читатель видитъ передъ собой не какую-нибудь исключительную натуру, живущую по какимъ-то высшимъ законамъ, не полубога, а своего-брата, обыкновеннаго человѣка, восторгающагося тѣмъ же, чѣмъ и онѣ можетъ восторгаться, и притомъ въ этой же мѣрѣ и въ продолженіи такого же пространства времени.

Поэзія Пушкина, не обнаруживая въ поэтѣ увлеченія однимъ какимъ-нибудь направленіемъ или раболѣннаго служенія какой-нибудь идеѣ, не обнаруживала и никакой страсти, исключительно владычествовавшей надъ его душой. Мы уже сказали выше, что въ сложной натурѣ Пушкина, полной всякими, самыми противоположными наклонностями, одна страсть умѣрялась другою, что и имѣло слѣдствіемъ душевную гармонію. Оттого, во-первыхъ, въ поэзіи Пушкина всякая страсть выражена въ мѣру, чѣмъ-то сдержана, не переходитъ въ необузданность, не пре-

ступаетъ границъ нравственнаго *comme il faut*. Муза его укрощала, перевоспитывала самые бурные порывы души человѣческой, — и все то, что въ поэзіи другихъ поэтовъ бушуетъ, какъ дикія стихіи природы, не порабощенные искусствомъ и не направленные разумною мыслию, — выступаетъ у Пушкина съ граціозной стыдливостью и съ румянцемъ въ лицѣ. Порывы его души не рвутся безумно впередъ, но, какъ бы прислушиваясь къ метру стиха, идутъ размѣреннымъ шагомъ, — какъ бы быстро ни стремились, никогда не теряютъ этого каданса.

Во-вторыхъ, въ страстяхъ, выраженныхъ Пушкинымъ, нѣтъ ничего исключительнаго, рѣзко-особеннаго, прихотливаго: это — чувства простаго, нормальнаго, здороваго человѣка. Оттого онѣ всѣмъ понятны.

Было еще обстоятельство, имѣвшее вліяніе на нравственность и чистоту поэзіи Пушкина: это — бурная жизнь и страсти, которымъ онъ, говорятъ, предавался съ такой силой. Мы нисколько не намѣрены оправдывать его проступковъ и увлеченій, — но должно сказать, что еслибъ Пушкинъ при сильной натурѣ не предавался своимъ страстямъ въ частной жизни, его поэзія не была бы такъ чиста, такъ спокойна, такъ нравственна. Всѣ дурныя страсти и наклонности, весь ненужный душевный избытокъ, все буйство духа извергалъ онъ изъ себя въ частной будничной жизни, въ тѣ минуты, покуда его не требовалъ Аполлонъ къ священной жертвѣ. Оттого въ тотъ мигъ, когда божественный глаголъ касался его слуха, въ воображеніи его не оставалось ничего нечистаго, недостойнаго поэзіи, страсти его не беспокоили, и онъ, разодравъ нечистыя одежды, облакался въ праздничныя и приступалъ къ творчеству, какъ къ священнодѣйствію — съ покаяніемъ и трепетомъ. Вотъ отчего въ поэзіи его больше чистоты, нравственности и трезвости, чѣмъ у людей самаго безукоризненнаго поведенія, которые никогда не брали въ руки картъ, а въ ротъ хмѣльнаго. И весьма естественно: они не были людьми совершенно безъ страстей, а уничтожить свои страсти безъ удовлетворенія, живя въ мірѣ, очень трудно, — занимаясь же эротическими и бакхическими стихотвореніями, совершенно не возможно. Такіе поэты какъ люди были чище Пушкина, но Пушкинъ чище ихъ какъ поэтъ. Ихъ произведенія разгорячаютъ воображеніе, раздуваютъ страсти въ читателѣ. Стихи Пушкина, какая бы сильная страсть въ нихъ ни изображалась, никогда не заражаютъ страстью читателя, не воспаляютъ воображенія, и въ этомъ отношеніи отчасти выражаютъ качества русской народной поэзіи. Отъ страстей, изжитыхъ Пушкинымъ въ жизни, оставалась въ его воображеніи и переходила въ поэзію самая лучшая сторона

ихъ: самыя высокіе, человѣческіе ихъ моменты... Вотъ, напри-
мѣръ, какъ онъ воспѣваетъ вино:

«Что смолкнулъ веселія гласъ?
Раздайтесь, вакхальны припѣвы!
Да здравствуютъ нѣжныя дѣвы,
И юныя жены, любившія насъ!
Полнѣе стаканъ наливайте!
На звонкое дно
Въ густое вино
Завѣтные кольца бросайте!
Подыめъ стаканы, содвинемъ ихъ разомъ!
Да здравствуютъ музы, да здравствуетъ разумъ!
Ты, солнце святое, гори!
Какъ эта лампада блѣднѣетъ
Предъ яснымъ восходомъ зари,
Такъ ложная мудрость мерцаетъ и тлѣетъ
Предъ солнцемъ безсмертнымъ ума.
Да здравствуетъ солнце, да скроется тьма!»

Сравните это стихотвореніе съ бакхическими пѣснями поэ-
товъ, проводшихъ жизнь несравненно-тише, нежели Пушкинъ.
Еще примѣръ въ другомъ родѣ:

«Въ Доридѣ нравятся и локоны златые,
И блѣдное лицо, и очи голубыя.
Вчера, друзей моихъ оставя пиръ ночной,
Въ ея объятіяхъ я нѣгу пилъ душой;
Восторги быстрые восторгами смѣнялись,
Желанья гасли вдругъ и снова разгорались;
Я таилъ: но среди невѣрной темноты
Другія милыя мнѣ видѣлись черты.
И весь я полонъ былъ таинственной печали,
И имя чуждое уста мои шептали.»

Сравните эту піэсу съ римскими элегіями Гёте, проводшаго
свою жизнь гораздо степеннѣе Пушкина. Вотъ нѣсколько сти-
ховъ изъ этихъ элегій:

. . . . «Befolg' ich den Rath, durchblättere die Werke
der Alten,
Mit geschäftiger Hand, täglich mit neuem Genuss.
Aber die Nächte hindurch hält Amor mich anders beschäftigt;
Werd' ich auch halb nur gelehrt, bin ich doch doppelt beglückt.
Und belehr' ich mich nicht, indem ich des lieblichen Busens
Formen spähe, die Hand leite die Hüften hinab?
Dann versteh' ich den Marmor erst recht; ich denk' und
vergleiche,
Sehe mit fühlendem Aug', fühle mit sehender Hand».

Согласитесь, что такія подробности, какъ бы онѣ поэтичны ни были, не совсѣмъ приличны. Да и вполне ли поэтичны онѣ? античный стиль и гекзаметръ не прикроютъ ихъ грубости, а учено-художественная цѣль поэта не извинитъ ся. Ничего подобнаго нѣтъ у Пушкина, который беретъ всѣ страсти съ ихъ духовной стороны, умѣя найти середину между платонизмомъ и чувственностью.

Но вотъ стихотвореніе поэта чувственной любви, умѣвшего всѣхъ чище и граціознѣе изображать ее:

«J'étais un faible enfant qu'elle était grande et belle,
Elle me souriait et m'appellait près d'elle.
Debout sur ses genoux, mon innocente main
Parcourait ses cheveux, son visage, son sein,
Et sa main quelquefois aimable et caressante,
Feignait de châtier mon enfance imprudente.
C'est devant ses amants, auprès d'elle confus,
Que la fière beauté me caressait le plus.
Que de fois (mais, hélas! que sent-on à cet âge?)
Les baisers de sa bouche ont pressé mon visage!
Et les bergers disaient, me voyant triomphant:
Oh! que de biens perdus! O trop heureux enfant!»

Прекрасный, обольстительный образъ! но нельзя не сознаться, что трудно предположить чистоту воображенія въ человѣкѣ, который не можетъ себѣ представить невиннаго ребенка на колѣнахъ у молодой дѣвушки, безъ того, чтобъ не найти въ этой картинѣ чего-нибудь сладострастнаго. Вотъ, для контраста, стихи Пушкина, въ которыхъ онъ дошелъ *по-своему* до самаго крайняго предѣла чувственной страсти:

«Клянусь, о мать наслажденій,
Тебѣ неслыханно служу:
На ложе страстныхъ искушеній
Простой наемницей схожу!
Внемли же, мощная Киприда,
И вы, подземные цари,
И боги грознаго Аида, —
Клянусь, до утренней зари
Моихъ властителей желанья
Я сладострастно утолю,
И всѣми тайнами лобзанья
И дивной нѣгой утомлю!
Но только утренней порфирой
Аврора вѣчная блеснетъ,
Клянусь, подъ смертною сѣкирой
Глава счастливцевъ упадетъ!

«И вотъ уже сокрылся день,
И блещетъ мѣсяцъ златорогій;
Александрійскіе чертоги

Покрыла сладостная тѣнь.
 Фонтаны бьютъ, горятъ лампы,
 Курится легкій ѳиміамъ,
 И сладострастные прохлады
 Земнымъ готовятся богамъ.
 Въ роскошномъ золотомъ покоѣ,
 Средь обольстительныхъ чудесъ,
 Подъ сѣнью пурпурныхъ завѣсъ
 Блится ложе золотое.»

Въ словахъ Клеопатры сладострастіе доходитъ до неистовства, но и тутъ поэтъ не преступаетъ законовъ приличія; и тутъ у него является сдержанность, такъ что подумаешь, что, создавая это стихотвореніе, Пушкинъ постоянно имѣлъ въ виду наставленіе Гамлета актеру: «и въ самой страсти соблюдай мѣру!» — Но поэтъ какъ бы стыдится и такого изображенія страсти. Когда Клеопатра говоритъ о тѣхъ наслажденіяхъ, которыя готовитъ своимъ любовникамъ, онъ точно пугается ея рѣчей, и влагаетъ ей въ уста клятву подземнымъ богамъ и слово о казни:

«Но только свѣтлою порфирой
 Заря румяная блеснетъ,
 Клянусь, подъ смертною сѣкирой
 Глава счастливцевъ отпадетъ!»

и читатель чувствуетъ вмѣстѣ съ поэтомъ, что ужасное должно искупиться ужаснымъ, что только мысль о казни и объ ужасахъ мрачнаго подземнаго царства могутъ изгладить впечатлѣніе всей картины. И какъ художественно кончается пѣса! занавѣсъ опускается въ ту именно минуту, когда должно совершиться то, чего уже не должны видѣть зрители.

Не одно чувство плотской любви, но и всѣ другія страсти имѣли такой отголосокъ въ поэзіи Пушкина. Извѣстно, какъ предавался онъ гнѣву, извѣстно, какъ однажды бѣжалъ съ бритвой за разсердившимъ его извозчикомъ; но и чувство гнѣва растрачивалъ онъ въ вспышкахъ; злоба никогда не залегала и не таилась въ глубинѣ души его; въ спокойномъ, нормальномъ расположеніи духа, онъ не могъ питать непріязненныхъ чувствъ, потому и не могъ ихъ анализировать, и почти не зналъ ихъ: ибо въ минуту страсти ихъ никто не наблюдаетъ. Это отразилось и въ его произведеніяхъ. Вся его поэзія дышетъ незлобностью. Если въ его голосѣ и слышатся иногда гнѣвные ноты, это чистый гнѣвъ, — карающій приговоръ судіи. Даже и въ полемикѣ (въ прозаическихъ статьяхъ) Пушкина, при всей ея рѣзкости, нѣтъ злобы. Вспомните статьи Теофилакта Косичкина. Какой веселостью вѣетъ отъ нихъ! Читая ихъ, чувствуешь, что поэтъ увлекался своимъ комическимъ талантомъ, что онъ *con amore* обдѣлывалъ и холилъ свои шутки;

слышишь, какъ онъ самъ смѣется этимъ шуткамъ, смѣется своимъ *«живымъ, ребячески-веселымъ»* смѣхомъ. Нельзя того же сказать про его эпиграммы. Во многихъ изъ нихъ слышется злоба, но это оттого, что онъ по большей части не предназначался для печати и относятся скорѣе къ частной жизни Пушкина, чѣмъ къ его литературной дѣятельности: это такія же мгновенныя вспышки гнѣва, какъ и похождение съ извозчикомъ. На эпиграммы Пушкина, не предназначенныя для печати, надо также смотрѣть, какъ на нѣкоторыя его слова и остроты, сказанныя въ дружескомъ близкомъ кружкѣ. Въ тѣсномъ кругу близкихъ людей онъ бывалъ рѣзокъ въ сужденіяхъ, увлекался, словомъ, являлся на распашку, но въ литературной и общественной дѣятельности онъ ничего подобнаго себѣ не позволялъ: былъ остороженъ и осмотрителенъ. Такъ въ одномъ письмѣ не совсѣмъ прилично отзывается о Шишковѣ. А между тѣмъ, какъ величественъ образъ того же Шишкова въ стихахъ того же Пушкина:

«Шишковъ уже наукъ правленье воспріалъ.
Сей старецъ дорогъ намъ: онъ блещетъ средь народа
Священной памятью двѣнадцатаго года;
Одинъ, среди вельможъ, онъ русскихъ музъ любилъ:
Ихъ, незамѣченныхъ, созвалъ, соединилъ;
Отъ хлада нашихъ лѣтъ сберегъ онъ лавръ единый
Осиротѣлаго вѣнца Екатерины!...»

Въ подтвержденіе нашего мнѣнія приведемъ слова г. Анненкова, какъ авторитетъ. Онъ говоритъ:

«Мысли свои о людяхъ Пушкинъ высказывалъ чрезвычайно-осторожно, цѣня всего болѣе лицевую сторону ихъ жизни. Надеждѣ, однакожъ, съ особами, которымъ хотѣлъ показать признаки всей своей довѣренности, онъ любилъ представлять образцы своего мѣткого опредѣленія характеровъ и наблюдательной способности. Отсюда и причина нѣкоторыхъ недоразумѣній, какъ въ отношеніи самого Гоголя, такъ и въ отношеніи другихъ его знакомыхъ. Люди, слышавшіе довѣрчивыя его сужденія, принимали ихъ за нѣчто противоположное съ тѣми, какія высказывалъ онъ передъ свѣтомъ, публично, когда собственно никакого противорѣчія между ними не существовало и онѣ не исключали другихъ.»

Итакъ, повторяемъ, эпиграммы Пушкина, въ которыхъ высказывалась злоба, должно отнести къ его частной жизни; въ поэзіи же своей онъ нигдѣ не выражаетъ этого чувства. Замѣчательно, что даже и въ драматическихъ и эпическихъ произведеніяхъ, гдѣ поэтъ говоритъ не отъ себя, а заставляетъ говорить другихъ, онъ соблюдаетъ ту же мѣру въ страсти, какъ

и въ лирическихъ стихотвореніяхъ. Его лица въ самыя сильныя минуты страсти никогда не ужасаютъ читателя, не заставляютъ содрагаться. У Шекспира Кориваль вырываетъ на сценѣ глазъ у Кента, растаптываетъ его ногой, и говоритъ:» вонъ, скверная слизь!» У Пушкина нѣтъ ничего и близкаго къ этому. Вотъ самая относительно — ужасная сцена у Пушкина. Въ «Скупомъ рыцарѣ» сынъ справедливо называетъ отца лжецомъ. Отецъ бросаетъ ему перчатку въ знакъ вызова. Сынъ поспѣшно ее поднимаетъ. Кажется, еще здѣсь не отъ чего ужасаться. Сынъ въ минуту бѣшенства сказалъ отцу дерзость, и поднявъ брошенную имъ перчатку. Онъ, разумѣется, это сдѣлалъ только изъ прони — не съ намѣреніемъ драться съ отцомъ, убить его. Это только чувство непочтенія. Но нашему поэту и это кажется ужаснымъ. Онъ заставляетъ герцога называть Альберта извергомъ, и заключаетъ сцену словами: «Ужасный вѣкъ! Ужасныя сердца!»

Можетъ быть, выраженія наши будутъ поводомъ къ ложному толкованію нашихъ мыслей. Можетъ быть подумаютъ, что мы хотимъ поставить Пушкина выше Шекспира. Спѣшимъ оговориться. Мы очень хорошо знаемъ, что Пушкинъ не былъ и не могъ быть такимъ объективнымъ поэтомъ, такимъ великимъ сердцеѣдцемъ, какъ Шекспиръ, и никогда не достигъ бы глубины и силы величайшаго изъ драматурговъ, но въ замѣнъ этихъ качествъ (если эти качества могутъ быть чѣмъ-нибудь замѣнимы), онъ обладалъ способностью, хотя и не могущей идти въ параллель съ тѣмъ, чѣмъ одаренъ былъ авторъ «Ричарда III», но тѣмъ не менѣе достойной глубокой симпатіи: способностью всегда брать предметы съ ихъ лучшей, поэтической стороны. Онъ не могъ представить дурнаго человѣка во всей отвратительной истинѣ. Изображая порочную страсть, Пушкинъ умѣлъ поставить читателей на извѣстное отъ нея разстояніе, такъ, чтобъ они не совершенно видѣли ея безобразіе и какъ-то умѣлъ показать самый порокъ съ поэтической точки зрѣнія. Это не значитъ, чтобъ онъ старался представить образъ порочнаго человѣка обольстительнымъ, достойнымъ подражанія, чѣмъ-нибудь въ родѣ Карла Мора, Байронова Каина и Печорина, лицъ, къ которымъ читатель чувствуетъ невольное уваженіе, и, признавая ихъ порочными, все-таки втайнѣ желаетъ быть похожимъ на нихъ. Къ скупому Пушкина не чувствуешь ни неуваженія, ни отвращенія; восхищаешься только грандіознымъ образомъ скупости, нисколько не думая, что въ этомъ порокѣ можетъ быть какая-нибудь хорошая сторона, но и не содрагаешься при видѣ его безобразія. Словомъ, это лицо на картинѣ, хотя и не отдѣляющееся совершенно отъ полотна и не заставляющее васъ забыть, что оно нарисовано, но тѣмъ не

менѣе лицо полное жизни. Впрочемъ, такое лицо, какъ скупой, является какъ исключеніе между образами, которые выбиралъ Пушкинъ, ибо уже въ самомъ выборѣ характеровъ отразилось прихотливое изящество его вкуса. Почти всѣ его лица или рѣшительно внушаютъ къ себѣ симпатію, или по крайней мѣрѣ не отталкиваютъ отъ себя своими пороками. Его разбойники, кромѣшникъ, председатель (въ «Пирѣ во время чумы») — лица которыя и сами по себѣ, т. е. помимо художественности изображенія, болѣе или менѣе не лишены поэзіи. Выборъ предметовъ, уже самихъ по себѣ прекрасныхъ, или по крайней мѣрѣ не лишенныхъ прекрасныхъ сторонъ, показываетъ, что Пушкинъ былъ поэтъ по преимуществу. Ибо писатель-поэтъ тѣмъ отличается отъ писателя-художника вообще, что у него красота изображенія предмета совпадаетъ съ красотой самаго предмета; другими словами: художникъ возводитъ *все* въ мірѣ существующее («въ перлъ созданія»), — поэтъ возводитъ въ перлъ созданія только то, что въ мірѣ существуетъ уже само по себѣ какъ перлъ. Предметами поэта мы всегда можемъ любоваться и въ дѣйствительности, хотя конечно не такъ полно, какъ при указаніяхъ этого ментора; отъ предметовъ же, избираемыхъ художникомъ, мы весьма часто отворачиваемся въ дѣйствительности, а въ художественномъ изображеніи ихъ любимъ только мастерствомъ художника — копіей, а не оригиналомъ. Мы нашли бы и въ дѣйствительности привлекательныя черты въ кромѣшникѣ и разбойникахъ, полюбовались бы, на примѣръ, ихъ удачью, храбростью и проч. Но чѣмъ бы могли мы любоваться въ городничемъ Гоголя? Конечно, въ дѣйствительности и городничій не лишенъ человѣческихъ чертъ, но ихъ не выставилъ художникъ, а въ чертахъ, которыя выставилъ, нѣтъ ничего привлекательнаго.

Въ этомъ отношеніи лица Шекспира можно раздѣлить на поэтическія и *только*-художественныя. Къ первымъ относятся, на примѣръ, Лиръ, Отелло, Ромео, Коріоланъ; ко вторымъ Фальстафъ, Ричардъ III. У Шиллера всѣ лица поэтическія, исключая его злодѣевъ, которые и не поэтичны, и не художественны, а просто неудачны. У Гёте почти всѣ лица поэтическія, какъ у Пушкина, и въ этомъ отношеніи они оба не выдерживаютъ сравненія съ всесторонностью британскаго психолога. Но, повторяемъ, Пушкинъ былъ только чистый поэтъ: не больше и не меньше.

Передъ отступленіемъ, нами сейчасъ сдѣланнымъ, мы говорили о свободѣ Пушкина какъ поэта. Въ этой свободѣ его не стѣсняло и самое служеніе искусству. Пушкинъ, какъ мы сказали выше, не смотря на непреодолимую страсть къ поэзіи, не смотря на неутомимые труды, не былъ поэтомъ—

труженикомъ, постоянно напрягающимъ воображеніе, постоянно желающимъ творить. Про него говорили, что онъ лѣнивъ, и это можетъ показаться правдой, если сравнить жизнь нашего поэта съ жизнью другихъ писателей, особенно ученыхъ. Онъ не размѣрялъ свой день, подобно Гёте, посвящая утро работѣ и вдохновенію, а вечеръ отдыху и пуншу, не употреблялъ никакихъ средствъ для искусственнаго возбужденія вдохновенія, подобно Шиллеру, который съ этой цѣлью держалъ у себя въ комнатѣ гнилыя яблоки, раздражавшія ему своимъ запахомъ нервы, а во время работы пилъ шампанское и кофе, и ставилъ ноги въ холодную воду. Пушкинъ работалъ когда ему хотѣлось и когда приходилось. У него не было склонности къ праздности и лѣни, но онъ любилъ *otium*. Онъ никогда не призывалъ вдохновеніе насильственно, не работалъ надъ добываніемъ мысли и чувства. Работа его состояла только въ выраженіи того, что уже давало ему вдохновеніе: онъ работалъ надъ воплощеніемъ образовъ, чувствъ и мыслей, возникавшихъ въ душѣ его.

Поэзію Пушкина называютъ поэзіей мгновенія. Она дѣйствительно такова. Онъ выражалъ, что внушила ему минута. Мысль, чувство, образъ отражались въ стихахъ Пушкина совершенно такими, какими блеснули въ душѣ его въ минуту вдохновенія. Онъ ничего не присоединялъ, не присочинялъ къ тому, что оно давало ему; не пополнялъ мысль и не усиливалъ чувства, внушенныя минутой, словомъ; онъ довольствовался *однимъ*, постигшимъ его вдохновеніемъ, и когда оно отлетало отъ него, не призывалъ другаго, новаго. Оттого такъ свѣжи кратки и безыскусственны его произведенія. Въ этомъ отношеніи Пушкинъ совершенно-противоположенъ Шиллеру, который, по справедливому замѣчанію новѣйшихъ нѣмецкихъ критиковъ, искусственно развиваетъ мысли и чувства, внушенныя ему вдохновеніемъ, — прибавляетъ и присочиняетъ къ нимъ. Поэзія Пушкина относится къ поэзии Шиллера, какъ музыка Россини къ музыкѣ такъ-называемыхъ ученыхъ композиторовъ. Музыка Россини отличается богатствомъ мотивовъ; онъ только создаетъ мотивы, но никогда не развиваетъ ихъ; напротивъ того, ученые музыканты, бѣдные мотивами, то-есть вдохновеніемъ, пробиваются по большей части ихъ развитіемъ, затѣйливостью акомпанимента и оркестровки. Ученые композиторы, создавъ мотивъ и выразивъ его въ первой музыкальной строкѣ, развиваютъ его во второй, въ третьей развиваютъ уже самое развитіе, и такъ далѣе. Россини, создавъ мотивъ и выразивъ его въ музыкальной строкѣ, создаетъ совершенно-новый мотивъ для другой строфы, для третьей опять новый, и такъ далѣе. Мотивовъ первой каватинны « Фигаро » стало бы на нѣсколько большихъ оперъ

для ученыхъ композиторовъ... Поэзія Пушкина, подобно музыкѣ Россини, есть поэзія мотива, мелодіи.

Такой процессъ творчества выражается не только въ лирическихъ стихотвореніяхъ Пушкина, но и во всѣхъ другихъ его произведеніяхъ, къ какому бы роду онѣ ни принадлежали. Особенно-ярко онѣ выдается въ произведеніяхъ драматической формы. Въ нихъ нѣтъ ничего чуждаго вдохновенію, ничего придуманнаго, словомъ, ничего такого, что называется сценическими условіями. Существуетъ мнѣніе, что Пушкинъ со временемъ сдѣлался бы драматическимъ писателемъ, въ родѣ Шекспира. Едва ли; можетъ быть, въ изображеніи страстей и въ психическомъ анализѣ онѣ и приблизился бы къ нему (хотя мы и въ этомъ сомнѣваемся), но написать что-нибудь для сцены не было согласно съ родомъ его творчества. Должно признаться, что во всякомъ драматическомъ произведеніи, принаровленномъ къ сценѣ, есть двѣ стихіи: творчество, прямой плодъ вдохновенія (мотивъ), и искусственность, плодъ холодныхъ расчетовъ, постороннихъ искусству (развитіе мотива). Мы очень хорошо знаемъ, что для выраженія всякой поэтической мысли нуженъ трудъ, зрѣлое, холодное размышленіе, что и Пушкинъ менѣе чѣмъ кто-нибудь обходился безъ нихъ. Но въ произведеніяхъ, назначенныхъ единственно для чтенія, а не для сцены, эта ремесленная работа служить только для того, чтобъ выразить въ совершенной чистотѣ внушенное вдохновеніемъ. Для сценическаго писателя, кромѣ этого труда, нуженъ другой трудъ. Еслибъ онѣ выразилъ только то, что составляетъ мотивъ задуманнаго произведенія—характеры, страсти, столкновенія, — работа его не годилась бы для сцены. И вотъ онѣ долженъ приниматься за другую работу—вставлять все это въ тѣсную рамку сценическихъ условій: надо раздѣлить свое вдохновеніе на дѣйствія и явленія, а вѣроятно въ душѣ поэта никогда не возникаетъ содержаніе пьесы уже въ такомъ искусственномъ видѣ. Безъ соблюденія этихъ внѣшнихъ условій, драма будетъ невыносимо-скучна на сценѣ, и потому никакой геній не можетъ ихъ избѣжать. — Все это мы говоримъ не въ укоръ и порицаніе сценическому искусству, правила котораго освящены вѣками, и, утвержденныя великими образцами, будутъ существовать вѣчно, — а для того только, чтобъ выяснитъ характеръ творчества Пушкина. Кстати замѣтимъ здѣсь, что эта искусственная, чисто-техническая сторона входитъ въ составъ не только драматическихъ произведеній, но и вообще во всѣ роды поэтическихъ произведеній, рассчитывающихъ на интересъ массы, — публики. Величайшій изъ романистовъ, Вальтеръ Скоттъ, почти во всѣхъ своихъ произведеніяхъ прибѣгаетъ, ради интриги, къ пружинамъ, не принадлежащимъ искусству.

Къ характерамъ художески-созданнымъ, въ столкновении которыхъ выражается идея романа и глубина которыхъ доступна только людямъ съ развитымъ эстетическимъ чувствомъ, онъ для интриги всегда присоединяетъ двухъ любовниковъ, очень блѣдно нарисованныхъ, но занимающихъ своими приключеніями большинство читателей.

Итакъ муза Пушкина не была провозвѣстницею великихъ идей, не поражала ни силой страсти, ни особеннымъ сердцеувѣдѣніемъ, ни особеннымъ блескомъ наряда. Чѣмъ же объяснить ея владычество надъ сердцами?—Симпатичностью ея голоса, граціей ея движений, вкусомъ ея наряда... Приводя еще разъ сравненіе, употребленное нами въ началѣ статьи, повторяемъ: муза Пушкина—это его Татьяна, женщина, ничѣмъ не поражающая на первый взглядъ, но съ перваго же взгляда внушающая къ себѣ безконечное, безотчетное уваженіе и глубокую симпатію... Ни словомъ, ни движеніемъ, ни взоромъ, она никогда не измѣнитъ тихой женской граціи, она съ ногъ до головы женщина хорошаго круга. Рѣчь ея умна, полна мысли, но никогда не касается отвлеченныхъ теорій, столь неловкихъ въ женскихъ устахъ, никогда не возвѣщаетъ великихъ истинъ, столь неумѣстныхъ на раутъ; она образована, но не пускается въ ученые разсужденія, не щеголяетъ своими познаніями, а высказываетъ ихъ настолько, насколько можетъ высказать женщина, не дѣлаясь *синимъ чулкомъ*; по глазамъ ея вы видите, что она одарена чувствомъ, способна къ глубокой страсти, но и о чувствахъ и страстяхъ она говоритъ съ достоинствомъ. Она не краснѣетъ отъ всякой легкой двусмысленности, и сама въ словахъ своихъ не прикидывается ребенкомъ; но никогда уста ея не произнесутъ ничего, не только близкаго къ цинизму, даже ничего вольнаго. Она задумывается, во взглядъ ея видна грусть; но она никогда не аффектируетъ меланхоліей, не останавливаетъ всеобщіе взоры своимъ вѣчно-грустнымъ лицомъ. Образъ мыслей ея свободенъ, современенъ; но она не эманципированная женщина, не кричитъ противъ преданій и общественныхъ обычаевъ, и умѣетъ отличить цѣни предразсудковъ отъ законовъ приличія. Вотъ при какихъ средствахъ муза Пушкина владычествовала надъ сердцами. Средства эти не блестящи и какъ-будто только отрицательныя. Но ни одна изъ такъ-называемыхъ необыкновенныхъ женщинъ — ни г-жа Дюдеванъ, ни Роланъ, ни сама Христина, королева шведская, не могли имѣть такого положенія въ обществѣ. Женщина, подобная имъ, можетъ удивлять общество чѣмъ-нибудь необыкновеннымъ; но въ такомъ удивленіи есть нѣчто обидное для самой удивляющей (она какъ-будто показываетъ себя!). Потому женщина съ съвернымъ тактомъ не любитъ играть никакой слишкомъ выдаю-

щейся роли въ обществѣ и ни за что не согласится прослыть необыкновенно-любезной, остроумной, ученой, словомъ, заслужить какое-нибудь прозвище.

Дѣло въ томъ, что въ поэзіи Пушкина есть и глубина мысли, и сила страсти, и знаніе сердца человѣческаго, но ничего не высказывается рѣзко, не напрашивается на вниманіе читателя. Оттого съ перваго взгляда можетъ показаться, что поэзія Пушкина холодна, бѣдна содержаніемъ и беретъ больше всего мастерствомъ стиха. Дѣйствительно, по стиху, Пушкинъ, кажется, не имѣетъ соперниковъ; но самыя достоинства этого стиха, простота размѣра, отсутствіе изысканности и яркости выраженій—и доказываютъ, что стихъ былъ для Пушкина не цѣлю, а орудіемъ. Въ поэзіи Пушкина такое же соотношеніе между формой и содержаніемъ какъ въ пѣніи Рубини; по крайней мѣрѣ, у насъ нѣтъ другаго средства, какъ черезъ это сравненіе, объяснить то дѣйствіе, которое производятъ на насъ стихи Пушкина. Какіе отзывы въ толпѣ слышимъ мы про Рубини? «Удивительное искусство! но нѣтъ чувства; онъ холоденъ, онъ рѣдко одушевляется.»—Но именно въ тѣ минуты, когда у Рубини не было того, что большинство называетъ «одушевленіемъ» (а это съ нимъ бывало почти всегда), онъ и былъ великъ, то есть былъ вѣренъ своему призванію. Онъ былъ совершенно-спокоенъ: на лицѣ его не являлось ни малѣйшаго признака страсти и одушевленія, голосъ его лился спокойно, мѣрно; онъ не заставлялъ его страстно дрожать, не придавалъ никакого выраженія, короче—въ пѣніи его не было ничего драматическаго. Казалось, что съ голосомъ своимъ онъ обращался какъ съ бездушнымъ инструментомъ, показывая слушателямъ только его механизмъ. Весьма часто случалось, что, исполняя арію самаго печальнаго содержанія, онъ улыбался, какъ-будто не понимая смысла ея словъ. Но не смотря на все это, сколько внутренняго чувства, внутренней страсти, сколько содержанія было въ его пѣніи! Голосъ его уже самъ по себѣ былъ весь чувство, весь страсть; самыя его рулады, казавшіяся толпѣ просто *кунштюками*, были полны содержанія.

Таково же дѣйствіе поэзіи Пушкина. Что въ этихъ стихахъ:

«Ночь свѣтла, въ небесномъ полѣ
Ходитъ Вesperъ золотой,
Старый дожъ плыветъ въ гондолѣ
Съ догарессой молодой.»

или:

«Лукъ звенить, стрѣла трепещетъ,
И, клубясь, издохъ Пивонъ, —
И твой ликъ побѣдой блещетъ,
Бельведерскій Аполлонъ!»

Какое здѣсь чувство, какая здѣсь мысль? Что въ этихъ звукахъ? Но отчего такъ сладко говорятъ они вашему сердцу, отчего они не выходятъ изъ вашей памяти, отчего вамъ хочется все повторять ихъ? Неужели васъ плѣняютъ только звуки? Есть стихи звучнѣе этихъ для уха, но не производящіе никакого дѣйствія на душу. Нѣтъ, не звуки плѣняютъ васъ. Васъ плѣняетъ самъ поэтъ. Вы чувствуете что онъ чувствовалъ, когда слагалъ эти строфы, думаете что онъ думалъ, и ваша душа настраивается также высоко, какъ душа поэта въ минуту вдохновенія; мысль ваша получаетъ силу его мысли, вамъ также сладко и отрадно, какъ самому поэту. Вы перечитываете стихотвореніе нѣсколько разъ сряду, чтобъ продлить свое наслажденіе. А что вы чувствуете въ эти минуты, это вы точно такъ же не сумѣете выразить, какъ и не сумѣете сказать, какая мысль, какое чувство заключаются въ стихотвореніи.

Но не одними звуками, не одной гармоніей стиха передавалъ Пушкинъ свои впечатлѣнія; не однимъ безотчетнымъ и невыразимымъ восторгомъ наполнялъ онъ душу читателя; не *одной прелестью живаго стиха онъ былъ полезенъ*. Нѣтъ, у него было и другое значеніе. Голосъ его, уже прекрасный самъ по себѣ, и пѣлъ только прекрасное. Отыскивать вездѣ прекрасное и указывать его толпѣ, было главнымъ призваніемъ нашего поэта. И онъ служилъ этому призванію безотчетно, не преднамѣренно — съ простодушіемъ генія.

И какъ зорокъ былъ его геній на все прекрасное. Повторяемъ: онъ не возводилъ *все* существующее въ перлъ созданья, но находилъ перлы во всемъ существующемъ. Есть много поэтовъ, умѣющихъ изображать прекрасное, но они слишкомъ далеко заимъ ходятъ, — кто въ древнюю Грецію, кто въ новую, кто въ древній Римъ, кто въ современный, кто въ Испанію, и даже еще дальше; но въ повседневной жизни, у себя подъ бокъ, его не видятъ. Такъ Шиллеръ и Гёте какъ-будто и не жили въ современномъ имъ обществѣ: источникомъ ихъ поэзіи былъ древній міръ и средніе вѣка. Байронъ находилъ въ современности только пищу для своихъ сарказмовъ. Если они и изображали красоты обыденной жизни, то въ ихъ изображеніи замѣтно не столько увлеченіе красотой предмета, полное къ нему сочувствіе, сколько снисхожденіе къ нему. Такова у Гёте картина мѣщанской жизни въ «Германъ и Доротея». Поэтъ не свой въ этомъ кругу: онъ выше его, и смотритъ на него съ высоты своего величія, какъ смотритъ взрослый человѣкъ на ребенка, или человѣкъ развитый на дикаря; чувства лицъ, имъ изображенныхъ, онъ постыдился бы назвать своими. Вообще поэты, изображая какъ свои чувства, такъ и чувства другихъ,

по большей части рядятъ и себя, и свои лица въ древнія тоги или средневѣковыя латы; имъ какъ бы не ловко чувствовать во фракъ или пальто. Источникъ этой односторонности — то отдаленіе отъ дѣйствительности, отъ непосредственной жизни, отъ интересовъ простыхъ людей, о которомъ мы говорили выше. Не безъ пользы для Пушкина было, что онъ жилъ «съ толпою чувства раздѣляя», ибо, идя рука-объ-руку съ нею, онъ переживалъ всѣ высокія человѣческія чувства, которыя она переживаетъ, и которыя, при всей его проникаемости, остались бы для него тайною въ тиши кабинета. Но идя объ-руку съ толпою, онъ все-таки былъ выше и чище ея, ибо жизнь его не ограничивалась этой сферой. Зато въ минуты, когда онъ жилъ заодно съ толпою, онъ искренно дѣлилъ съ ней ея впечатлѣнія. Оттого, когда убѣгалъ онъ по призыву Аполлона къ священной жертвѣ и въ тиши кабинета слагалъ свои пѣсни, толпа ихъ слушала съ такимъ восторгомъ: онъ ей пѣлъ о томъ, что она сама испытала. Онъ не училъ своихъ читателей, не указывалъ обществу новыхъ путей, не призывалъ къ исправленію, а воскрешалъ передъ ними тѣ высокіе, прекрасные моменты, которые они проживаютъ. Онъ не звалъ ихъ къ чему-нибудь прекрасному въ будущемъ, но указывалъ на прекрасное уже существующее. Призывать людей къ высокимъ неземнымъ стремленіямъ, къ геройскимъ подвигамъ, — было не его дѣло. На такіе вызовы откликаются только немногіе избранные, а онъ пѣлъ для всѣхъ, пѣлъ то, что для всякаго доступно, что всякаго можетъ возвысить и облагородить.

Да, Пушкинъ былъ призванъ, чтобъ показать своему народу все, что есть въ его жизни прекраснаго, возвышеннаго и поэтическаго, съ тѣмъ, чтобъ онъ цѣнилъ и природу и людей своей страны. Показывать дурное онъ не могъ, по глубоко-врожденному чувству изящества и незлобію своего духа. Гоголь вѣроятно имѣлъ въ виду Пушкина, изображая поэта:

«Счастливъ писатель, который мимо характеровъ скучныхъ, противныхъ, поражающихъ печальною своею дѣйствительностію, приближается къ характерамъ, являющимъ высокое достоинство челоѣка, — который изъ великаго омута ежедневно-вращающихся образовъ избралъ однѣ немногія исключенія, — который не измѣнялъ ни разу возвышеннаго строя своей лиры. Онъ окурилъ употѣлнымъ куревомъ людскія очи; онъ чудно польстилъ имъ, сокрывъ печальное въ жизни, показавъ имъ прекраснаго челоѣка!» — «Высокъ жребій такого поэта! Мы знаемъ, что намъ нуженъ поэтъ, «вызывающій наружу все, что ежеминутно передъ очами, и чего не зрятъ равнодушныя очи, — всю страшную, потрясающую тину мелочей, опу-

тавшихъ нашу жизнь, всю глубину холодныхъ, раздробленныхъ, повседневныхъ характеровъ, которыми кишитъ наша земная, подъ-часъ горькая и скучная дорога, и крѣпкою силою неумолимаго рѣзца, держающій выставить ихъ выпукло и ярко на всенародныя очи».

Такой поэтъ намъ нуженъ, чтобы постоянно указывать на наши недостатки, не позволять намъ задремать въ лѣнности самодовольствія, заставлять насъ безъ устали идти впередъ и впередъ путемъ совершенствованія; но намъ нуженъ и такой поэтъ, который бы въ минуту нашего утомленія отъ борьбы, въ минуту недовольства собой и другими, удержалъ насъ отъ отчаянія, чтобы его голосъ напомнилъ обо всемъ, что есть прекраснаго, въ насъ и вокругъ насъ, и чтобы, успокоенные, ободренные и освѣженные его звуками, мы воскликнули, полные любви къ жизни: нѣтъ, еще можно жить въ божьемъ мірѣ!

Таковъ нашъ взглядъ на общій характеръ поэзіи Пушкина. Мы будемъ строго его держаться при частной оцѣнкѣ произведеній поэта, которую надѣмся современемъ также представить на судъ читателей. Взглядъ этотъ чисто-художественный, потому и требовать отъ поэта мы будемъ только художественности: художественности въ замыслѣ, художественности въ исполненіи. Ничего другаго требовать мы отъ него не въ правѣ, ибо ничему другому онъ не могъ и не хотѣлъ служить. Намъ кажется, что нашъ взглядъ вѣренъ. Никто не требуетъ, чтобы живописецъ своей кистью поражалъ враговъ отечества, чтобы актеръ открылъ на сценѣ новую часть свѣта, чтобы зодчій созидалъ изъ камня философскія формулы, и чтобы музыка располагала къ коммерціи. Зачѣмъ же требовать подобныхъ цѣлей отъ поэта? Мы знаемъ, что нашъ взглядъ не современенъ, что теперь обществу не до искусства, что оно думаетъ о предметахъ, которые гораздо насущнѣе поэзіи, что литература занята вопросами, которые полезнѣе и святѣе вопросовъ о художествѣ. И слава Богу! Мы никому не хотимъ мѣшать, и, поставляя поэзію Пушкина въ образецъ чистаго творчества, не хотимъ этимъ укорить или уколотъ тѣхъ, кто обращаетъ русское слово на служеніе другимъ, полезнѣйшимъ цѣлямъ. Пусть они идутъ своею дорогою, но да позволено будетъ и намъ идти своею. Но какъ мы ни сочувствуемъ умственному движенію современнаго общества и литературы, не можемъ, однако, подавить въ себѣ горькаго чувства, не можемъ не оскорбляться, когда видимъ, что литература не ограничивается собственнымъ стремленіемъ къ благимъ цѣлямъ, а пятнаетъ тѣхъ дѣятелей нашей словесности, которые не шли по этому широкому пути, ограничиваясь скромной тропинкой чистаго искусства. И сколько горькихъ

словъ было брошено въ послѣднее время въ честныхъ тружениковъ, въ этихъ могучихъ творцовъ русскаго слова. Говорили даже, что вся русская поэзія до Гоголя была праздною забавой. Возможно ли равнодушно, безъ душевной боли слышать подобныя рѣчи. И тѣмъ болѣе слышать ихъ, что на все благородное, полезное, благое слышится откликъ въ русской литературѣ, слышится голоса въ защиту всякаго добраго дѣла, и такъ мало голосовъ за нашу родную поэзію, какъ-будто она что-то неблагородное и недоброе. Немногіе, оставшіеся у насъ, служители чистаго искусства являются какими-то непрощенными гостями. Критика или молчитъ о нихъ, или говоритъ общія фразы, или бросаетъ въ нихъ грязью и камнями. Положимъ, они непрощенные гости, но кому они мѣшаютъ? Они не задержатъ общаго движенія мысли. Вспомните, что всегда бываетъ

«Мало избранныхъ счастливыхъ, праздныхъ,
Пренебрегающихъ презрѣнной пользой,
Единого прекраснаго жрецовъ.»

А большинству нечего опасаться немногихъ.

Оставьте же въ покоѣ поэта. Онъ не отвлечетъ отъ серьезныхъ дѣлъ—тѣхъ, кто призваны къ серьезному дѣлу. Пусть слушаютъ его тѣ, кому нужны его пѣсни, а тѣ, которымъ онъ не нуженъ, пусть не мѣшаютъ ему пѣть, не смущаютъ, или по крайней мѣрѣ не оскорбляютъ его . . .

« если встрѣишь ты его
Съ раздумьемъ на челѣ суровомъ,
Пройди безъ шума близъ него,
Не нарушай холоднымъ словомъ
Его священныхъ, тихихъ сновъ.
Взгляни съ слезой благоговѣнья,
И молви: это сынъ боговъ
Питомецъ музъ и вдохновенья!»

Имѣйте же уваженіе къ поэту; не качайте, въ дѣтской рѣзвости, его треножника, и не предлагайте ему промѣнять лиру на метлу. Слова его вамъ кажутся ненужными побасѣнками, а отъ этихъ побасѣнокъ «стонутъ театры», эти побасенки пройдутъ чрезъ цѣлыя тысячелѣтія свѣжи и невредимы, воспитывая всѣ поколѣнія, а ваши теоріи разобьются о другія теоріи, и хорошо еще, если дребезги отъ нихъ попадутъ какъ рѣдкость въ какой-нибудь музей. Стихъ поэта представляется вамъ металломъ звенящимъ; но знаете ли вы въ какомъ горнилѣ онъ отлить? Слово поэта такъ легко, такъ гладко, такъ просто, что оно вамъ кажется порожденіемъ пустой, легкой души, никогда не думавшей ни о чемъ серьезномъ, не горѣвшей любовью къ родинѣ и человечеству. А между тѣмъ слово это есть плодъ долгихъ,

глубокихъ думъ, плодъ страданій и слезъ за человѣчество, плодъ « незримыхъ, но упорныхъ битвъ », — ибо истинное вдохновеніе нисходитъ только на высокія, избранныя души, горящія любовью къ ближнему, правдѣ и добру. Оно бываетъ наградою человѣку за эти высокія чувства. И потому, истинный поэтъ хотя бы никогда и не говорилъ объ этихъ чувствахъ, а пѣлъ бы только вино, красоту и природу, все-таки по его голосу вы узнаете, что звуки, имъ созданные, могутъ только исходить изъ благородной груди, гдѣ жили и любовь къ человѣчеству Руссо, и Леонидовъ патріотизмъ, и Декартова жажда истины. Разумѣется, этихъ чувствъ невыразилъ ни Шекспиръ въ своемъ « Отелло », ни Моцартъ въ своемъ « Донъ Жуанъ », но читая Шекспира и слушая Моцарта, вы чувствуете, что небесные звуки, ими созданные, могли вылиться только изъ души, въ которой жили эти чувства. Вспомните изображеніе поэта, сдѣланное поэтомъ:

«Въ борьбѣ съ враждебною судьбою,
Позналъ онъ мѣру вышнихъ силъ,
Сердечныхъ судорогъ цѣною
Онъ выраженіе ихъ купилъ.
И вотъ нетлѣнными лучами
Ликъ пѣснопѣвца окруженъ,
И чтимъ людскими племенами,
Подобно мученику, онъ!»

Но кто въ наше время повѣритъ этому! Признаемся, что когда мы высказывали наше мнѣніе о Пушкинѣ и возражали на нѣкоторыя мнѣнія, высказанныя о немъ, намъ приходили на память кое-какія оскорбительныя слова, брошенныя въ его священную тѣнь въ послѣднее время, и въ душѣ нашей шевелились горькіе сарказмы противъ его хулителей, — но мы удержались и не высказали ихъ, ибо вспомнили, о комъ мы пишемъ. Намъ представлялся величественно-спокойный образъ поэта, намъ слышался его миролюбивый голосъ, говорившій намъ, что онъ раздавался не для житейскаго волненія, не для битвъ, но для молитвы и сладостныхъ, успокоительныхъ звуковъ. Мы проникались духомъ этихъ словъ, и намъ дѣлалось совѣстно поднимать шумъ на дорогой могилѣ поэта.

Мы знаемъ заранѣе, въ чемъ будутъ обвинять нашу статью. Во-первыхъ, обвинять насъ въ неуваженіи къ наукѣ, въ кощунствѣ надъ философіей. Но мы сказали только, что истинный поэтъ не можетъ быть ни ученымъ, ни философомъ, что онъ не можетъ служить двумъ господамъ, а изъ этого отнюдь не должно заключать, будто мы ставимъ науку и философію ниже поэзіи, и думаемъ, что поэту не должно учиться. Есть сфера, отъ кото-

рой поэзія отстоитъ какъ земля отъ неба — это религія; но истинный поэтъ, служащій чистому искусству, не можетъ быть теологомъ, хотя можетъ быть глубоко и горячо-вѣрующимъ человекомъ, и превосходно знать всѣ догматы своей вѣры. Поэтъ долженъ быть близокъ къ наукѣ, долженъ многое черпать изъ этого источника, но онъ потеряетъ самостоятельность, если дастъ наукѣ овладѣть собой. И обратно: ученый не долженъ быть чуждъ поэзіи: она много поможетъ ему въ его изслѣдованіяхъ, — но если онъ въ свою науку примѣшаетъ слишкомъ большую дозу поэзіи, она потеряетъ строгій характеръ, чему мы и видимъ примѣръ въ англійскомъ историкѣ Карлелѣ.

Во-вторыхъ, насъ упрекнуть въ пристрастіи къ Пушкину и въ неуваженіи къ великимъ западнымъ поэтамъ. Можетъ быть, мы дѣйствительно неумѣренны въ похвалахъ нашихъ Пушкину, мало понимаемъ красоты другихъ писателей и недостойно оцѣняемъ ихъ. Чуждые самоувѣренности, мы никакъ не ручаемся за безошибочность нашихъ мнѣній, за-то смѣло можемъ сказать, что говоримъ ихъ совершенно-искренно и прямо отъ сердца. Мы уважаемъ авторитеты, ибо знаемъ, что они провозглашены не съ вѣтра, но не станемъ хвалить въ великихъ художникахъ то, что намъ въ нихъ не нравится, хотя бы то, что намъ не нравится, и было прославлено великими критиками. Разумѣется, насъ будетъ беспокоить наше несогласіе съ общепринятымъ мнѣніемъ: мы будемъ всячески вглядываться въ предметъ этого несогласія, будемъ изучать, будемъ стараться понять его; но никогда не станемъ притворно восхищаться никакимъ произведеніемъ, хоть бы оно принадлежало самому Рафаэлю или Шекспиру; не будемъ лгать и повторять заученныя фразы изъ боязни прослыть невѣждами. А сколько людей впадаетъ въ это, невинное въ частной жизни, но преступное передъ судомъ Аполлона, притворство. Сколь многіе будутъ горячо съ вами спорить какъ съ человекомъ, лишеннымъ эстетическаго чувства и всякаго образованія, если вы имъ укажете скучное мѣсто въ Шекспирѣ. Кто въ наше время осмѣлится называть Расина очень даровитымъ поэтомъ, или признаться, что уже въ зрѣломъ возрастѣ плакалъ надъ трагедіями Озерова и пѣснями Мерзлякова? Признайтесь въ этомъ, — и въ чемъ же, вы думаете, упрекнуть васъ? Въ слѣпомъ уваженіи къ старымъ авторитетамъ!

Въ-третьихъ, насъ уловятъ въ нѣкоторыхъ противорѣчіяхъ, происшедшихъ отъ неточности нашей въ эстетической терминологіи. Въ этомъ мы заранѣе признаемся, но укажемъ здѣсь на причину этихъ недостатковъ. Пушкинъ слишкомъ близокъ намъ, слишкомъ сильно владѣетъ душой нашей, — такъ что, признаемся,

трудно намъ было взглянуть на него холоднымъ, безпристрастнымъ взглядомъ. Оттого чувство любви преобладаетъ въ статьѣ нашей надъ анализомъ. Статья эта есть не столько изложение мыслей о Пушкинѣ, сколько выраженіе впечатлѣній при мысли о немъ. Потому снисходительные читатели (а въ такихъ читателяхъ мы сильно нуждаемся) благоволятъ въ нашей статьѣ обращать вниманіе на то, что мы хотѣли высказать, а не на то, какъ высказали.

Но замѣтить: «какъ осмѣливаться печатать личныя впечатлѣнія? Сужденіе о Пушкинѣ дѣло науки». — Печатаютъ же мемуары, гдѣ излагаютъ личные взгляды и мысли автора о политическихъ дѣятеляхъ; печатаются же путешествія, гдѣ высказываются личные впечатлѣнія путешественника, полученные отъ предметовъ, подлежащихъ суду науки, и многое изъ этихъ личныхъ впечатлѣній дѣлается достояніемъ науки, исторіи и политики. Можетъ быть и въ нашей статьѣ найдется одна, или двѣ дѣльных мысли, которыя приметъ въ соображеніе будущій серьезный критикъ Пушкина. Мы н этимъ будемъ довольны.

Feci quod potui, faciant meliora potentes.

Б. Алмазовъ.

ШЕСТЬ РУССКИХЪ ПЪСЕНЬ.

Изъ собранія П. И. Якушкина.

1.

У богатаго!

Въ мужика было богатаго
Да и три сына были хорошіе.
Вотъ и вышло на нихъ несчастье,
Да невольщина, некрутчина!
Да и старшова сына жаль отдать,
А середняго не хочется.
Что идти ль, не идти сыну меньшему.
Какъ и меньшій сынъ расплачется:
«Охъ и я ли вамъ не родный сынъ?!»
Какъ возговоритъ-то и батюшка:
«Ахъ и дѣти мои вы родныя,
«Ахъ идите-тко во зеленый садъ,
«Да вы сръжьте по жеребью,
«Ну вы бросьте-тко жеребій.»
Какъ досталось сыну старшему!
Старшій сынъ пригорюнился,
Молода жена его расплакалася,
Малы дѣти разрыдалися.
Какъ возговоритъ да и меньшій сынъ:
«Да не плачьте жъ вы, да и родные:
«Я иду за васъ охотою.»

2.

Не кукушечка, братцы, во сыромъ бору куковала,
 Не соловьюшко, братцы, въ зеленомъ саду громко, звонко свищетъ —
 Добрый молодецъ во неволюшкѣ слезно-горько плачетъ:
 Никогда жь въ менѣ раздоброва молодца тоски-горя не бывало,
 А вотъ нонѣшній день-то вотъ денечикъ тоска-горе обұяла,
 Что куютъ-то куютъ меня раздоброва молодца, куютъ во желѣзы,
 Что везутъ-везутъ меня разудалова, везутъ во солдаты,
 Что никто-то никто по мнѣ, добромъ молодцѣ, не тужить, не плачетъ,
 Что поплакала по мнѣ порыдала, ахъ, матушка родная,
 А еще по мнѣ по завадалому красная дѣвица. *)

Тетерье.

*

3.

Свѣтъ-Марьюшка по сѣнюшкамъ ходила,
 Ивановна по новенькимъ гуляла,
 Свово батюшку, свово роднова будила:
 Ты встань-ко, мой батюшка, пробудись,
 Въ окошечко, родимый мой, погляди,
 Что каковъ-каковъ Иванушка на конѣ,
 Что каковъ-каковъ Ивановичъ на ворономъ?! —
 Охъ, хорошъ, хорошъ, мое дитятко, что соколъ,
 Да, пригожъ, пригожъ, мое милое, чтó ясмень!
 Во лугахъ, во поляхъ цвѣты-то разцвѣли,
 У мово-то у милова кудерушки завились.

Дрозково. Малоарх. у.

Записано М. А. Стаховичемъ.

*

4.

Хорошо тому на свѣтъ жить,
 У кого нѣту заботушки.
 У меня ли у младешиньки
 Есть великая, не малая:
 Въ ретивомъ сердцѣ зазнобушка!
 Изсушилъ меня мой милый другъ,
 Изсушилъ сердце, повыкрушилъ,

*) Пропѣвъ мнѣ эту пѣсню, мужикъ съ-размаху хлопнулъ меня по плечу, съ словами: «Половина горя долой!»

Хуже травоньки кошенны,
 Что въ чистомъ полѣ сушенны.
 Я сама млада на грѣхъ пойду,
 Я сама дружка повысушу,
 Я не зельемъ, не кореньями,
 Я не вѣтромъ, да не вихоремъ:
 Я своей слезой горючею.

Сабурово. Малоарх. у.

*

5.

Что повыше было села Лыскова,
 А по ниже было Богомолова,
 Какъ на той было Волгѣ матушкѣ,
 Тамъ плыветъ, гребетъ легкая лодочка.
 Хорошо лодка изукрашена,
 Пушкамъ, ружьецамъ установлена.
 На носу стоитъ атаманъ съ ружьемъ,
 На кормѣ стоитъ асаулъ *) съ багромъ,
 По краямъ лодки добрые молодцы,
 Добрые молодцы, все разбойнички.
 Посерѣдъ лодки стоитъ бѣлъ шатеръ,
 Подъ шатромъ лежитъ золота казна,
 На казнѣ сидитъ красная дѣвица,
 Асаулова рѣдная сестрица,
 Атаманова полюбовница.
 Она плакала-заливалась:
 Не хорошъ-то, вишь, сонъ ей привидѣлся:
 Расплеталася коса русая,
 Выплеталася лента алая,
 Лента алая, ярославская,
 Распаялся мой золотъ перстень,
 Выкатался дорогой камень,
 Атаману быть застрѣлену,
 Асаулу быть пойману,
 Добрымъ молодцамъ быть повѣшеннымъ,
 А и мнѣ ли красной дѣвушкѣ
 Во тюрьмѣ сидѣть, во неволюшкѣ;
 А за то, про то красной дѣвушкѣ,

*) Sic.

Что пятнадцати лѣтъ на разбой пошла,
 Я шестнадцати лѣтъ души губила,
 Я зарѣзала парня бѣлокурова,
 Изъ бѣлой груди сердце вынула,
 На ножу сердце встропахнулося,
 А и я млада усмѣхнулася!

Солигальц. у.

Запис. на чугунокѣ.

*

6.

А и кто жь у насъ большой-набольшій,
 Большой-набольшій воеводою?
 Большой-набольшій Алексѣюшка
 Воеводою да Матѣевичь.
 Пріѣзжаетъ онъ въ свою вотчину,
 Въ свою вотчину да въ приданую.
 Онъ и судъ даетъ да по правдѣ все,
 Да по правдѣ все, по закону-то:
 Онъ и съ правова беретъ сто рублейъ,
 Съ виноватова беретъ тысячу,
 А съ докащика что и смѣты нѣтъ.

Елецк. у.

Запис. М. А. Стаховичемъ.

ИЗЪ ПУТЕВЫХЪ ЗАМѢТОКЪ.

Письмо къ С. А. Хрулеву.

....Передъ выѣздомъ моимъ изъ Ушаковъ приходитъ бѣдная крестьянка, съ ракомъ на вискѣ. Я соглашаю ее ъѣхать въ Петербургъ къ оператору Неймарту. Она отправляется, получаетъ отъ него записку въ клинику, гдѣ должна быть имъ же произведена операція, и ея не принимаютъ туда, по неимѣнію паспорта. Мнѣ кажется, что наростъ на вискѣ у крестьянки есть уже паспортъ для клиники. Будь она бѣгая, объяви это даже сама, все же надо сдѣлать операцію. Начальникомъ учебной медицинской части Дубовицкій, который слыветъ за человека съ яснымъ воззрѣніемъ. — Я уговорилъ отправиться къ нему его пріятеля Черника; но и этотъ не могъ однакожь ничего сдѣлать. Кстати узнали мы, что есть для простонародныхъ петербургскихъ больницъ еще правило, что помѣщичій крестьянинъ не принимается безъ особаго увольнительнаго вида отъ помѣщика. — Но что же дѣлать съ больной крестьянкой? Ее повезли за сто верстъ (хорошо, что по желѣзной дорогѣ) къ управляющему вотчиной Тучкова, но тамъ не оказалось гербовой бумаги. Черезъ два дня послали бумагу, и больная съ значительнымъ увеличеніемъ боли и слабости, была провезена опять сто верстъ и поступила въ клинику.

За день до отъѣзда за границу, я былъ въ Петербургѣ, и вся эта грустная возня съ больной происходила при мнѣ.

Въ числѣ провожавшихъ меня былъ нашъ парижскій священникъ Васильевъ. Онъ приглашалъ къ пожертвованіямъ на постройку въ Парижѣ русской церкви, говоря, что служить въ такомъ зданіи, гдѣ была конюшня. Это собственное выраженіе священника. Я полюбопытствовалъ узнать, чего будетъ стоить церковь. Священникъ отвѣчалъ, что церковь съ помѣщеніемъ для

причета будетъ стоить миллионъ франковъ. Я заявилъ готовность къ пожертвованію, когда сберется у него значительная сумма, прибавивъ, что теперь ни къ чему не ведетъ какое бы ни было съ моей стороны предложеніе. Не странно ли, что на парижскую церковь, которая представляетъ собою значеніе Россіи, собираютъ какъ бы на сельскую?

Наконецъ я уѣхалъ въ Ушаки, и 11-го іюня прямо отправился оттуда въ Кёнигсбергъ черезъ Ригу.

Путь лежалъ черезъ Царское Село. На половинѣ дороги къ нему были заготовлены лошади. Пока перепрягали лошадей, меня поразило то, что въ Саблинѣ правая сторона селенія обстроена хорошими домами, обитыми тесомъ и покрашенными; у воротъ видны здоровыя лица, женщины въ пестрыхъ платьяхъ, а крестьяне въ синихъ армякахъ; у нѣкоторыхъ домовъ садики и въ нихъ растетъ смородина, — а напротивъ покревившіяся избѣнки, крапива и безцвѣтныя лица. Стали узнавать причину, и открыли, что нарядная сторона принадлежитъ свободнымъ хлѣбопашцамъ, а бѣдную населяютъ государственныя имущества. Сразу видно что значить крестьянинъ собственникъ земли: онъ чувствуетъ, что онъ не вещь, не имущество, а человекъ.

За Саблинымъ послѣдовало большое селеніе Ижора, съ развалившеюся, посреди его, фабрикою. Что за фабрика?—Оказалось, что одинъ смысленный крестьянинъ завелъ лѣтъ десять тому назадъ фабрику зажигательныхъ спичекъ, на которой работали ижорскіе мальчики, но со введеніемъ рублеваго бандероля фабрика закрылась, крестьянинъ обнищалъ, а мальчики разбрелись собирать милостыню.... Не весело стало подвигаться къ Царскому Селу, не смотря на его бархатныя лужайки и чистыя дорожки.

Пріѣхали въ Красное Село. Оси горятъ, и надо мазать. Не оказалось подъема для экипажей. Принесли колъ и полѣно. Колъ сломился, а полѣно, служившее подставкой, всё вывертывалось. Иду къ смотрителю, чтобы упрекнуть его, почему на такой станціи, гдѣ пять трактовъ, и въблизи столицы, нѣтъ подъема для экипажей. Смотритель отвѣчаетъ: «нѣтъ положенія на это». Между тѣмъ цѣлая стѣна его комнаты увѣшана предписаніями почтоваго начальства... Русская сметка какъ-то приспособила подъемъ колесъ; мы подмазали, и пріѣхали въ Кипень. Тутъ оказались новыя лица изъ петербургскихъ знакомыхъ, приготовившія ужинъ, на которомъ были форели.

Въ Кипени уже начало эстонской природы. Являются быстробѣгущіе каскады, рѣчки, и въ нихъ эта форель, что-то новое, свое, чего раньше не было. Поѣли, выпили, и пустились въ

ночной путь. Проснулись на восходѣ солнца въ русскомъ городѣ Ямбургѣ.

Городъ начинается четырьмя огромными каменными домами екатерининскаго времени.

— Что это за дома?

— Присутственныя мѣста.

— Великъ ли городъ?

— Только одна эта улица.

Пошли по ней пѣшкомъ, и миновали домовъ десятокъ деревянныхъ.

— Тутъ кто живетъ?

— Присутствующіе чиновники.

— Да гдѣ же жители?

— Какіе здѣсь жители, никого нѣтъ; вонъ только подъ горой десятка два лачужекъ.

— Да для чего же присутствующіе: коли жизнь не могла образовать тутъ города, значить и не нужно его?

Все это объяснял мнѣ старичекъ—почмейстеръ, занимающій тутъ свою должность сорокъ лѣтъ. Я продолжалъ разспрашивать.

— Почему отъ Петербурга сюда нѣтъ шоссе? вѣдь здѣсь трактъ въ Дерптъ, Ригу и восточную Пруссію; проѣздъ большой, а между тѣмъ шоссе только теперь дѣлають, и то въ нѣкоторыхъ мѣстахъ.

— Здѣсь нѣтъ шоссе, а вотъ отъ Нарвы вездѣ прекраснѣйшее.

— Да вѣдь и здѣсь камня много: онъ лежитъ у самой дороги, только бери да клади. Отчего же за Нарвой есть шоссе, а тутъ нѣтъ?

— Тамъ порядки другіе.

— Какіе же тамъ порядки?

— Тамъ обыватели строятъ дороги, и сами ими завѣдываютъ: у нихъ все такъ попросту дѣлается, то—есть безъ бумажной проволоочки.

Вотъ мы въ Нарвѣ. Городъ раздѣленъ рѣкой Наровой. На той сторонѣ древняя ливонская крѣпость, древній городъ съ черепичными крышами, съ вѣковыми правами, безъ городничаго, безъ уѣздныхъ и земскихъ судовъ, съ однимъ выборнымъ бургомистромъ. Видъ *этого* города даже издали имѣетъ какую-то свою, особую, гордую, историческую фізіономію. На нашей сторонѣ хижины, лачужки, кабаки, откупная монополія, скверное вино и прокислое пиво, а жители, какъ состоящіе въ чертѣ Ямбургскаго уѣзда, все даники ямбургскихъ крохоборовъ.

Мы тотчасъ же поѣхали смотрѣть извѣстный Нарвскій

водопадъ. Представьте себѣ рѣку шире Волги въ Твери, летящую съ высоты между гранитными берегами и по гранитному дну, изъ коего высовываются гранитныя массы. Вода разбивается, дробится, обращаясь сначала въ струи, а потомъ, на другихъ упорахъ гранита, преобразуется уже въ водяную пыль снѣжнаго вида, и вся эта картина водоската тянется почти на версту. Съ береговъ обдаётъ васъ росой летящей воды. Среди этого кипучаго водоската природа образовала гранитный островъ, въ объемѣ десяти и двадцати. Вотъ мѣсто, подумалъ я, для механическаго заведенія. Сила падающей воды составляетъ сотни тысячъ рукъ. Эта сила могла бы ковать, плющить, сверлить, точить, словомъ, обращаться съ желѣзомъ, чугуномъ и мѣдью, какъ съ воскомъ, производя изъ металла машины, орудія, винтовики, пароходы и паровозы. А кстатѣ и море близко. Сила же такая, что можно въ недѣлю дѣлать по два экземпляра пароходовъ и паровозовъ. Жаль, что этотъ водопадъ у моря, у преддверія столицы пропадаетъ даромъ. Тутъ сдѣлано самое несчастное употребленіе этой силы,—на бумагопрядильни. Одна изъ нихъ принадлежитъ барону Ш.; другая строится полурусскою, полуиностранною компаніею. Я врагъ бумагопрядильнъ: онѣ убили нашъ ленъ; мы выписываемъ на 15 милл. въ годъ бумажнаго хлопка, и чрезъ это сѣятели льна не находятъ сбыта ему внутри Россіи, а обѣ бѣлорусскія губерніи и Псковская ходятъ оттого помѣру и ѣдятъ хлѣбъ съ древесной корой. Говорятъ, что льняная ткань будетъ дороже бумажной. Пусть такъ; но что за бѣда! Зато деньги за первоначальный матеріалъ останутся дома, а ткань льняная вдесятеро прочнѣе бумажнаго. Лѣтъ восемь тому назадъ государственныи совѣтъ предоставилъ тѣмъ, кто заведетъ льнопрядильни, привилегію: не платить 10-ть лѣтъ гильдейскихъ повинностей. Но на устройство посредственной льнопрядильни нужно, не считая оборотнаго капитала, 500 т. р. Кто можетъ эту сумму затратить, тотъ о цѣнѣ гильдій, стоящей 1000 р. с., разсуждать не станетъ, а захочетъ другихъ пособій, удобныхъ земель, водяной силы, и т. д.

Не любя бумагопрядильнъ и постоянно соболѣзнуя о голодныхъ Псковитянахъ и Бѣлоруссахъ, я не пошелъ осматривать нарвскія бумагопрядильни, тѣмъ болѣе, что видалъ эти фабрики. Но мы узнали, что есть вблизи дача Ш., и пошли ее отыскивать. Домъ въ швейцарскомъ родѣ, чудо вкуса и роскоши. На дачѣ этой владѣлецъ еще ни разу не жилъ, а жена его удостоила прожить однажды три недѣли. Когда я ходилъ по дому, мнѣ невольно пришло на память недавно прочитанное мною, что «по неимѣнію средствъ, Высшій Коммерческій пансіонъ закрыть, а домъ, имъ занимаемый, предоставляется продать на удовлетвореніе претензій Ш.»

Послѣ дачи Ш. осматривать было нечего, и мы поѣхали на почтовую станцію. Тутъ я нашелъ моего знакомаго, псковскаго купца К., пріѣхавшаго повидаться со мною. Онъ разсказалъ, что двѣсти верстъ отъ Пскова до Нарвы черезъ Гдовъ ѣхалъ четверо сутокъ, двигаясь день и ночь. Дороги никакой, а камни и песокъ, то-есть матеріалы для дороги, на самой дорогѣ; голодные, желающіе работы, крестьяне — тутъ же, въ каждой избѣ. За рѣкою Наровой, продолжалъ онъ, всюду шоссе и голодныхъ нѣтъ; все обѣяно и удобрено; хлѣбъ родится на славу. — Меня такъ и подмывало желаніе скорѣе видѣть все то, что есть по ту сторону города Нарвы, то-есть въ Эстляндіи.

Мы готовились обѣдать, какъ вдругъ на станціи поднялась тревога, все закопошилось, забѣгало, и смотритель въ минуту очутился въ мундирѣ. Что это такое? — Адмиралъ Л. пожаловалъ, проѣздомъ, въ имѣніе. — Адмиралъ, узнавъ, что я здѣсь, пожелалъ со мною познакомиться. Я пошелъ къ нему. Послѣ многихъ словъ о чувствахъ его пріязни ко мнѣ, за пріемъ черноморскихъ героевъ въ Москвѣ, старецъ спросилъ меня: бывалъ ли я въ Эстляндіи?

— Нѣтъ.

— Такъ вы увидите тамъ совершенство сельскаго хозяйства.

— Скажите, что привело къ этому совершенству?

Я сказалъ, что мнѣ издали, еще не видавъ Эстляндіи, кажется несомнѣннымъ то, что тамъ сельское хозяйство развилось отъ несуществованія крѣпостнаго права и чиновничества, которое страшно вливается въ жизнь народа и ведетъ его къ истощенію. Къ тому же тамъ нѣтъ откупа: вино курятъ свободно, значитъ есть барда, — скотъ сытъ и удобрения вдоволь. Вѣроятно при этихъ условіяхъ трудъ русскаго крестьянина еще больше бы сдѣлалъ, чѣмъ трудъ Чухонца.

Поѣхали. Миновали пустую крѣпость Ивана Грознаго, называемую Иванъ-Городъ, миновали и самую Нарву съ ея узкими, но чистыми улицами, безъ будокъ и будочниковъ, и поѣхали по полямъ, лѣсамъ и покосамъ. Боже мой, что открылось взору! Все вспахано, удобрено. Что за рожь! Что за овесъ и ячмень! Что за поля съ клеверомъ и картофелемъ! Въ какомъ порядкѣ лѣса! Дороги, въ родѣ шоссеиныхъ, всюду отъ деревни къ деревнѣ, отъ мызы къ мызѣ. Ъдемъ далѣе. Нищихъ нѣтъ, коровы отличныя, заѣзжіе постоянные дворы каменные, со стойлами и навѣсами; вездѣ хорошія водка и пиво, а пьяныхъ ни одного. Наконецъ станція Вайвара, первая отъ Нарвы.

Изъ Вайвары видно море, какъ на ладони; но нѣтъ ни вблизи ни вдаль не то что кораблика — суденышка, ни даже ло-

дочки, какъ—будто на берегахъ все вымерло, никому ничего не нужно... ни продать ни купить. Грустное чувство навела на меня эта станція. Стоишь на берегу моря лицомъ къ нему, и думаешь: за спиной развитое земледѣліе, до котораго доработался Эстляндецъ, — передъ глазами бездѣятельное море, потому что его не разрабатываетъ Петербургъ.

Нечего повторять, что мы видѣли далѣе на пути по Эстляндіи вездѣ изобиліе, вездѣ правильное и удобное приложеніе труда, вездѣ жизнь, проникнутую смысломъ. Казенныхъ смотрителей на станціяхъ нѣтъ. Комнаты чистыя; кровати, бѣлье, посуда, необходимыя вещи — все въ порядкѣ. Станціями дорожатъ: онѣ переходятъ изъ рода въ родъ, не то что сдаваемая однимъ лицомъ другому при безпрестанной ихъ перемѣнѣ и исправныя только по передаточнымъ вѣдомостямъ. Кучера не гонятъ лошадей: везутъ тихой рысью, но закладываютъ скоро; взда оттого спорая, а разбитыхъ лошадей нѣтъ: всѣ сбережены, сыты, и отнюдь не то, что по-нашему «почтовые клячи». На одной станціи хозяинъ, бывавшій въ Россіи, объяснялъ, что если они и не даютъ казнѣ питейнаго дохода съ откупа, такъ и не требуютъ отъ нея денегъ на содержаніе чиновниковъ, а дороги дѣлаютъ и содержатъ сами: каждому же стыдно—де худо сдѣлать противъ сосѣда; такъ ужъ заведено и въ обычай вошло содержать во всемъ порядокъ.

Подѣхали къ Чудскому озеру. Что это значить: русская деревня, и такая большая? Это старовѣры, бѣжавшіе изъ Россіи во время гоненій при Елисаветѣ. Живутъ они, говорятъ, бѣдно: несравненно—бѣднѣе прежняго...

• Чудское озеро опять навело на размышленія. Оно соединяется съ Псковскимъ; изъ него выходятъ рѣки: Великая, Эмбахъ, Нарова. Берега озера составляютъ протяженіе болѣе 1/т. верстъ; на нихъ болѣе полумилліона жителей, и сколько городовъ въ притокахъ рѣкъ: Нарва, Псковъ, Дерптъ. Почему нѣтъ пароходства для удобнѣйшаго сообщенія? Странно!

Желая познать край, необходимо заглянуть во внутренность затѣзжаго дома, или корчмы. Тѣмъ болѣе необходимо это Русскому, потому что у насъ корчмъ нѣтъ, и многіе изъ насъ почему-то кричатъ противъ вольной продажи вина, полагая, что отъ нея народъ сопьется. Правда, русскій мужикъ пьетъ неистово, когда дорвется до вина, но въ теченіи года—онъ выпиваетъ одну треть противъ Эстонца, который рѣдко и пьянъ бываетъ, ибо пьетъ большею частію ежедневно передъ обѣдомъ, а Русскій на свадьбѣ, праздникѣ, ярмаркѣ, крестинахъ и похоронахъ, и ужъ тутъ напивается безъ мѣры. Отчего это?—Есть поговорка: «Надо залить виномъ горе.» Попробуйте удалить

горе, показать свѣтъ гражданственности, и тогда быть можетъ не страшна будетъ вольная продажа: вино стануть употреблять какъ слѣдуетъ, а не съ отчаянія.

Пришли мы въ корчму и увидѣли объдающихъ проѣзжихъ и мызниковъ, но ни одного пьянаго; между тѣмъ вино и пиво тутъ дешевы.

Въ Дерптѣ пробыли мы нѣсколько болѣе, нежели на обыкновенной станціи. Городъ хорошъ, имѣетъ много садовъ, зданія всѣ каменные, полицейскихъ не видно; есть черезъ рѣку Эмбахъ старинный каменный мостъ, о чемъ рассказывалъ съ гордостью содержатель отеля «Петербургъ», и даже городской извозчикъ привезъ къ мосту, предлагая осмотрѣть его. По всему видно, что Дерптъ любитъ свой старинный мостъ, гораздо болѣе чѣмъ Москва, и заплакалъ бы, еслибъ вздумали сломать его.

При выѣздѣ нашемъ, подошелъ къ намъ старикъ съ копченой корюшкой. Мы купили у него изъ учтивости, но послѣ, на станціи, узнали, когда отвѣдали, что корюшка удивительная и заслуживаетъ быть включенною въ число гастрономическихъ рѣдкостей городка. Университетъ стоитъ въ тѣни деревь, на горѣ; зданіе простое и только что не безобразное. Мы сказали, что здѣсь яства вездѣ хороши, сравнительно съ русскими станціями, и особенно рекомендовали дерптскую корюшку. Еще рекомендуемъ кредели въ Вольмарѣ. Они дѣлаются изъ простой домашней пшеницы, съ умѣреннымъ количествомъ сахара и аниса. Чудесно, вкусно! Такъ и отзывается довольствомъ края и изящной сельской простотой.

Къ дополненію картины Эстляндіи скажемъ, что тамъ нѣтъ около шоссе никакихъ резервовъ попусту пропадающей земли. У самаго обрѣза шоссе растетъ хлѣбъ. Многолюдныхъ деревень нѣтъ. Всѣ живутъ хуторками въ центрѣ своихъ полей; у каждаго дома большія хозяйственные постройки, скотные дворы, конюшни, сарай, молотильни. У самихъ помѣщиковъ—землевладельцевъ нѣтъ большихъ усадебъ; они помѣщаются въ маленькихъ домикахъ; зато хозяйственные части возведены широко и прочно. Дармоѣдной дворни вовсе нѣтъ ни у кого.

Вскорѣ за Вольмаромъ началось прямолинейное новое шоссе вплоть до Риги. Шоссейный сборъ производится женщинами, содержащими почтовые станціи; значить, нѣтъ для этого особыхъ солдатъ, особыхъ книгъ и канцелярій съ нарочно—устроенными домами; а гдѣ нѣтъ лишняго расхода, тамъ нѣтъ и лишней тягости.

Приближаясь къ Ригѣ, мы стали замѣчать въ лѣсахъ дорожки, лавочки, бесѣдки. Это гулянья, устроенныя для городскихъ мастеровыхъ. Ближе къ городу поѣхали каштановой аллеей. Вдали видѣлись пирамидальныя тополи. Начался форштатъ,

называемый Петербургским и имѣющій видъ чистаго прямолинейнаго города съ садами. За нимъ крѣпость, валы, рвы, и самая Рига. Замѣчательны древнія кирпичи и особоустроенные девятиэтажные дома для склада товаровъ, въ кон, чрезъ растворенныя окна, все втаскивается на блокахъ, съ помощію привода особаго устройства. Новое зданіе биржи отлично по изяществу фасада и чистотѣ отдѣлки. Улицы тѣсныя, расположенныя по горамъ, но чистыя. Торговли много; всюду магазины; движеніе сильное; будокъ и будочниковъ не видно; на всякой площадкѣ каштаны. Все хорошо, но есть одно ужасное безобразіе: въ какой-то бесѣдкѣ стоитъ въ два роста человѣческихъ деревянная фигура, размазанная красками, съ кружкою въ рукахъ, на коей написано: «Христосъ проситъ въ пользу дѣтей». На горѣ, между четырехъ башень, помнящихъ вѣроятно времена отдаленныя, втиснулось новое, безцвѣтное, облизанное зданіе въ родѣ казармъ; это присутственныя мѣста, съ квартирою для генераль-губернатора. Въ противоположность этому безжизненному строенію очень пріятно поражаетъ зданіе ратуши, съ ея готическими окнами, пилястрами среднихъ вѣковъ; около него суетятся граждане съ веселыми лицами.

Мы стояли въ отелѣ «Петербургъ», гдѣ имѣли прекрасный столъ, съ ботвиньею изъ лососины, — ѣли извѣстныя рижскія рыбы: копченую лоховину и камбалу. Пошли гулять, и вышли за крѣпостныя ворота, противоположныя тѣмъ, въ которыя вѣхали. Здѣсь открылась широкая Западная Двина и кипящій жизнью мостъ чрезъ нее; по лѣвую сторону моста—тысячи барокъ съ хлѣбомъ, кожей, саломъ, льнянымъ сѣменемъ, пенькою, льномъ; по правую—иностранные корабли. Черезъ мостъ идетъ передача этихъ произведеній съ барокъ на корабли; перевѣска товаровъ и вѣянье зерна происходятъ на баркахъ. Какой тутъ разнообразный шумъ, какое движеніе! Съ кораблей вы слышите разные языки; съ барокъ—и русскій говоръ и русскую пѣсню, шумъ вѣялокъ, просѣвающихъ зерно, стукъ самокатовъ, перетаскивающихъ черезъ мостъ мѣшки, уханье матросовъ при подъемѣ мѣшковъ на бортъ кораблей. Здѣсь рѣка шире Невы, но, идя по мосту, вы не увидите воды: съ одной стороны нескончаемое рогоженное пространство—наши барки, а съ другой—лѣсъ мачтъ—корабли. Нѣсколько разъ прошелъ я по мосту, и, послѣ осмотра, погрузился въ думы. На этомъ мосту происходитъ окончательный результатъ торговаго государственнаго баланса. Корабли, принимающіе хлѣбъ, пришли по большей части изъ Петербурга пустыми; туда они привезли сахарный песокъ, кофей, вина, разныя гастрономическія диковинки и предметы моды, а здѣсь потовой трудъ русскаго крестьянина платитъ за все это

хлѣбомъ, саломъ и кожей. Бѣдные Смольяне, пригнавшіе барки, представляютъ поразительную разницу съ матросами иностранныхъ кораблей; послѣдніе одѣты тепло, накормлены сытно, напоены пивомъ, — первые безъ сапогъ, безъ теплой одежды, безъ мяса, а съ однимъ хлѣбомъ и водой изъ Двины. И не мудрено, что одни сыты, а другіе голодны: вѣдь, мы же отдаемъ все то, что производитъ земля, а сами оставляемъ своихъ мужиковъ, какъ вы прежде всѣхъ замѣтили, безъ свѣчей — съ лучиной, безъ сапоговъ — въ лаптяхъ, и съ хлѣбомъ, смѣшаннымъ съ древесною корой. Зато послѣ, въ газетахъ и отчетахъ, мы хвастаемъ статьями вывоза, не понимая, что вывозъ послѣдовалъ на счетъ собственнаго лишенія. Маленькія деньжонки, которыя получаетъ русскій крестьянинъ за сплавъ барокъ, тщательно увязываются въ тряпки; ихъ нельзя ни на что израсходовать: не хватитъ на оброкъ.

Поздно вечеромъ я пошелъ въ другой разъ на мостъ. Уже все утихло, и оставались одни сторожевые. Матросы на корабляхъ пили пиво, мужики на баркахъ дули въ кулакъ. На пныхъ пустыхъ баркахъ сидѣли мужички кучками и пѣли пѣсни, смотря на гордыя мачты кораблей, увозившихъ хлѣбъ, кожу и сало. Изъ одной кучки слышалась знакомая пѣсня: «Срубили пвушку подъ самый корешокъ!»

Черезъ двѣ станціи послѣ Риги, мы были въ Митавѣ. Тутъ на станціи русскій порядокъ, книги, смотритель и немѣнныя лошадей. Мы дали вчетверо и наняли вольныхъ.

Проспавъ станціи три и проснувшись, мы увидѣли опять другое: дороги худыя, хорошихъ обдѣланныхъ полей нѣтъ, хлѣба дурные, деревни въ развалинахъ, скотъ еле бродитъ, люди тощіе и какъ-будто всѣ хворые. А вотъ и станція въ видѣ лачуги, грязная, безъ посуды, безъ опрятной мебели. Это Ковенская губернія. Не странно ли: здѣсь природа несравненно лучше чѣмъ въ Эстляндіи. Тамъ камни и глина, здѣсь получерноземъ; тамъ плохіе приходные луга замѣнены травосѣяніемъ, а здѣсь хорошія природныя пастбища не оживлены скотомъ, за немѣнностью его. Какая сильная природа! Въ поляхъ растетъ макъ самъ собою, по канавамъ синякъ; въ лѣсахъ чего нѣтъ: и дубъ, и ясень, и лиственница, а человѣкъ вялъ и его жилища бѣдны. Религіозныя потрясенія и политическія превратности, черезъ которыя прошелъ здѣсь народъ, страшно отразились на плоти и въ крови его, на его походкѣ и въ его взорѣ: нѣтъ жизни ни въ чемъ, ничего онъ не дѣлаетъ съ любовію, ни о чемъ не радѣетъ, все ему постыло, и самая жизнь бремя, которое онъ влачитъ кое-какъ. Возвращаясь же къ Остзейскому краю, нельзя не воздать похвалы Нѣмцамъ за устройство его. Кто что ни говоритъ, есть неопровержимыя доказательства благоустройства:

нищихъ нѣтъ, грамотности вдоволь, скотъ хорошъ, поля обдѣланы, край удержанъ подѣ исключительными правами. Честь и хвала краю. Хвала за то, что Нѣмцы обратили эти права на обработку земли и на удержаніе у себя вольнаго винокурения, а не размѣняли его, подобно другимъ, на чины и звѣзды — за весьма немногими исключеніями.

...Наконецъ мы въ Таурогенѣ. Таможня наша вѣжлива; пачпорты наши прописали въ десять минутъ и принесли намъ въ почтовую гостинницу. Впрочемъ, о таможи нѣльзя судить по выѣзду, ибо тогда почти никакого осмотра не бываетъ; вѣрное опредѣленіе можно сдѣлать только тогда, какъ возвращаешься домой, и когда таможенные имѣютъ право все обшаривать *).— Въ часъ ночи на 17-е іюня по старому стилю, мы очутились на прусской землѣ. Говорять и пишутъ, что разставанье съ отечествомъ, въ особенности въ первый разъ, рождаетъ какое-то особенное внутреннее ощущеніе. Я ничего этого не испыталъ, а только ноги мои чувствовали (мы шли пѣшкомъ), что стоятъ на прекрасномъ гладкомъ шоссе, и глазъ любовался прекрасно-вырощенными деревьями, коими оно обсажено. Зная, что я ѣду не гулять, а за дѣломъ, мнѣ не казалась упрекомъ моя поѣздка.

...Едва мы добудились главнаго таможеннаго прусскаго чиновника. Онъ всталъ съ постели пьяный, и, увидя насъ всѣхъ въ своей комнатѣ, громко кричалъ: «*Marschiren sie!*» — Артельщикъ мой возражалъ ему: «За чѣмъ ты *besoffen?*».

Обмѣнъ *марширенг-зи* и *безоффенг* продолжался минутъ пять. Потомъ пришелъ помощникъ упившагося начальника таможни, извинился передъ нами въ послѣ-праздничномъ состояніи своего начальника, отперъ сейчасъ же шлагбаумъ, пропустилъ экипажи, взялъ пошлину за чай, который мы съ собою везли, допросилъ насъ по совѣсти, нѣтъ ли съ нами кожи; затѣмъ велѣлъ закладывать лошадей, и отправилъ насъ очень любовно.

Въ Пруссіи большое число людей промышляетъ выдѣлкою кожъ на разные манеры: для сапоговъ, сбруи, для лакированныхъ вещей и т. д. Правительство всякую привозную выдѣланную кожу обложило огромной пошлиной, чтобы охранить трудъ прусскихъ мастеровыхъ, и допускаетъ свободно къ привозу только сырая кожи. Понятно, почему повѣрили намъ на слово и не осматри-

*) Около Таурогена мы стали встрѣчать огромную тяжелую почту въ телегахъ, по шести лошадей въ каждой: везутъ десятки большихъ тюковъ. Эта почта забираетъ каждодневно лошадей по сорока. Въ тюкахъ все дорогіе товары изъ Парижа, Ліона, Брюсселя, все предметы моды, которые спѣшатъ доставить, пока они въ ходу. Навѣрное въ каждой телегѣ везется на такую сумму, что и пятью барками съ хлѣбомъ не заплатишь.

вали: мы ѣхали въ каретѣ и коляскѣ; это легко убѣждало, что мы не контрабандисты.

До границы Пруссіи насъ везли на одиннадцати лошадахъ: карету въ семь, коляску въ четыре лошади. Въ Пруссіи заложили въ карету четыре, въ коляску двѣ. Поѣхали павною рысью. Передъ станціей кучера трубили въ рога; новыхъ лошадей выводили заблаговременно; закладывали тотчасъ же. Лошади крупныя, сильныя и кормныя. Кучера въ лакированныхъ шляпахъ и фракахъ, съ шинелями въ запасѣ. На каждой станціи есть шталмейстеръ, т. е. смотритель за экипажами. Дороги и станціонные дома много лучше эстляндскихъ, поля — нѣтъ. Въ станціонныхъ домахъ есть отличная ветчина, пиво, масло, кофей. Фрейлины, завѣдывающія домами, и прислужницы ихъ опрятны, величавы; въ нихъ, равно какъ въ почтаряхъ, замѣтно пониманіе достоинства человѣка. У всякой станціи садикъ съ деревьями и цвѣтами; по всей дорогѣ тополи, липы, каштаны, тщательно соблюдаемые. Ѣдешь какъ-будто паркомъ; все обдѣлано, вспахано, засеяно, и всѣ лѣса вычищены. Полеводство здѣсь иное; поля, называемаго паромъ и пропадающаго у насъ даромъ, нѣтъ; оно засеяно огородными овощами: картофелемъ, бобами, горохомъ и горчицей. Землю пахутъ всегда только одними четырехконными плугами, выворачивая каждый разъ цѣлину; оттого здѣсь слой пропаханной земли не менѣе аршина. Боронуютъ тоже въ четыре лошади, возя бороны кольцеобразно, а послѣ, при посѣвѣ, опять боронуютъ—по нашему, прямолинейно. Внутри крестьянскихъ домовъ все чисто; посуды много всякой: каменной, стеклянной, оловянной, мѣдной, деревянной и глиняной. Все это уставлено въ кладовыхъ и шкапикахъ; во всякой избѣ есть зеркало, кровати, комоды и стулья; ѣдятъ вилками съ каменныхъ тарелокъ. Строеніе или изъ плиты, или изъ кирпича, коимъ забираютъ между деревянными столбами. Послѣдній способъ постройки самый дешевый и красивый. Платья на крестьянкахъ всѣ изъ льняной ткани: или набивныя, или вытканныя клѣтками изъ разноцвѣтныхъ нитокъ. Бумажной ткани нѣтъ нигдѣ ни на комъ. Какъ я обрадовался, что мое давнее предположеніе о замѣнѣ хлопка льномъ, высказанное и здѣсь, при описаніи Нарвы, подтвердилось обычаемъ цѣлой страны!... Всѣ лица свѣтлы, радостны: видно, что людей никто не запугиваетъ, и что они весело смотрятъ на божій міръ. Пятнадцать часовъ ѣхали мы благословенной стороною — отъ Таурогена до Кёнигсберга. Дорогою миновали Тильзитъ, расположенный на берегу Нѣмана.

Въ Кёнигсбергѣ мы переночевали, успѣли осмотрѣть этотъ многолюдный древній городъ, и на другой день въ одиннадцать часовъ утра отправились съ экстреннымъ поѣздомъ желѣзной дороги въ Берлинъ.

Прусская желѣзная дорога отъ Кёнигсберга до Берлина идетъ черезъ Штеттинъ и принадлежитъ частной компаніи. Никто никакихъ паспортовъ не спрашиваетъ.

Дорога идетъ не прямолинейно, а, также какъ и прусскія шоссе, смотря по требованію населенности.

Очевидно, что здѣсь современные открытія, какъ, напримеръ, желѣзныя дороги и телеграфы, отыскиваютъ народъ, а не наоборотъ. Кёнигсбергская желѣзная дорога есть истинное оживленіе для всей восточной Пруссіи. Не только такіе города, какъ Новгородъ, не обойдены, но даже и маленькія мѣстечки захвачены дорогою.

Ѣзда покойна: никакой тряски, ни малѣйшаго дребезжанія стеколъ, рельсы въ стоякахъ свинчены. Станціи чисты; вездѣ буфеты съ отличными буттербротами и славнымъ пивомъ, какое по дорогамъ въ Россіи вовсе неизвѣстно. Однакожъ нигдѣ и ни въ чемъ нѣтъ излишней роскоши. Самыя станціи — простенькіе, разнообразныя домики въ родѣ дачекъ, размѣщенные черезъ двѣ и менѣе мил. Вездѣ поѣздъ останавливается, принимаетъ и высаживаетъ. Ѣзда скорѣе нашей; излишней траты времени на станціи нѣтъ; дорога такъ покойна, что никакого утомленія не ощущаешь. Пустаго рѣзерва земли около желѣзной дороги вовсе нѣтъ. У самой канавы начинаются поля, а отъ рельсовъ до канавы растетъ картофель, сажаемый прислужниками дороги. Шесть сотъ шестнадцать верстъ ѣхали мы восемнадцать часовъ, въ томъ числѣ употребивъ два часа на перѣздъ въ экипажъ двухъ съ половиною мил.

Обѣдъ на желѣзной дорогѣ прекрасный. Времени двадцать пять минутъ. Лишь только приходилъ поѣздъ, на столѣ уже стояли противъ каждаго прибора на четырехъ тарелкахъ: бифтексъ, разварная рыба, котлеты и жареный цѣльный цыпленокъ. Бери что угодно, или все.

Пассажировъ изъ Кёнигсберга поѣхало немного, вагоновъ пять; но по пути число первыхъ безпрестанно прибавлялось, и на половинѣ дороги было уже вдвое болѣе. вмѣстѣ съ поѣздомъ ѣдетъ платформа, т. е. широкая доска, приѣлланная къ вагонамъ: гдѣ бы поѣздъ ни остановился, вездѣ можно выйти.

Проѣхавъ Штеттинъ ночью, мы пріѣхали въ шесть часовъ утра въ Берлинъ. Городъ уже кипѣлъ полною жизнью. Мы остановились на извѣстной своими тѣнистыми липами улицѣ, въ *hôtel de Rome*, гдѣ прожили пять дней.

Берлинъ красивъ; онъ лучше Петербурга, за исключеніемъ Невы; но, вѣдь, такой красавицы нигдѣ нѣтъ. Самое же поразительное въ Берлинѣ, что противъ дворца мельница на рѣкѣ Шпрее.

Берлинъ имѣетъ общественную прачешную. Бѣлье моютъ въ теплѣ; для каждой прачки стоило съ горячей и холодною водою, а сушка производится въ нѣсколько минутъ особымъ снарядомъ. По всему городу фонтаны; зелени и тѣни много. Въ музеи, галереи, дворецъ, — всюду пускаютъ всѣхъ и безо всякихъ билетовъ. Быть солдатамъ всего болѣе поражаетъ: въ его походкѣ, цвѣтѣ лица что-то привлекательное, человѣческое. Въ Пруссіи всякій, безъ различія состояній, долженъ отслужить въ солдатахъ два года. Всѣ солдаты молодые, потому что идутъ на службу лѣтъ двадцати, до женитьбы. Никто о нихъ не плачетъ въ семьяхъ, потому что они скоро вернутся, и сами они идутъ съ охотою. Два года военной службы даютъ человѣку развязность и ловкость; всѣ солдаты танцуютъ. Одежда ихъ такого же сукна, какъ у офицеровъ. Солдаты сидятъ на бульварахъ, гуляютъ въ саду Кроя (въ родѣ петербургскаго Излера), пьютъ пиво, курятъ сигарки. Любо смотрѣть. Содержаніемъ ихъ и обмундировкою никто не завѣдываетъ. Военное министерство отпускаетъ въ полкъ на то и на другое деньги, и солдаты выбираютъ полковыхъ артельщиковъ изъ среды себя, кон ихъ и содержать. Никто не можетъ говорить солдату: ты. Слово «ты» есть наказаніе: оно говорится тогда, когда солдатъ попалъ въ смирительное заведеніе за дурные поступки. Ни одинъ гражданинъ, бывшій подъ судомъ, не можетъ имѣть чести быть солдатомъ. Не понятно ли, отчего такъ ходитъ, такъ смотритъ прусскій солдатъ? — Производство въ офицеры дѣлается корпусомъ офицеровъ; исключеніе изъ службы также. Офицеры наблюдаютъ другъ за другомъ, не живетъ ли кто выше своихъ средствъ. Они имѣютъ свое судилище, и сами рѣшаютъ объ исключеніи изъ службы мотовъ. Ни одинъ офицеръ нигдѣ въ публичномъ мѣстѣ не можетъ заговорить съ подозрительною женщиною. За несоблюденіе сего, судилище исключаетъ его изъ службы. По этой причинѣ, на берлинскихъ гуляньяхъ вовсе не видно *лежкихъ* женщинъ. Развратъ въ городѣ не малый, но, по крайней мѣрѣ, онъ гнѣздится въ переулкахъ, въ домахъ, и нигдѣ не выходитъ наружу.

Что сказать о Шарлоттенбургѣ, Потсдамѣ, Санъ-Суси? Разумѣется, тамъ есть дворцы, памятники, сады, все изящно и богато. Но болѣе замѣчательное — слобода возлѣ самаго Берлина, называемая Мообитъ и принадлежащая купцу Борзиху, у котораго тутъ заводъ съ пятью тысячами работниковъ, и заводъ такого размѣра, что въ три дня выставляетъ локомотивъ. Подобнаго заведенія нѣтъ нигдѣ. Борзихъ былъ самъ мастеровымъ и разбогатѣлъ отъ своего ума и труда. На воротахъ его завода стоятъ имъ же отлитые бюсты его лучшихъ кузнецовъ во весь ростъ. Въ саду Борзиха чудеса: деревья всѣхъ родовъ, пруды,

согрѣваемые паромъ и на конхъ растутъ водяные тропическіе цвѣты, а около плаваютъ стаями золотыя рыбы большого размѣра. Провожатый рассказывалъ намъ, что король два раза въ годъ посѣщаетъ заводъ.

При выѣздѣ изъ Берлина въ Парижъ мы замѣтили, что эта желѣзная дорога построена еще проще и удобнѣе. Между подушками нѣтъ земляной засыпки, слѣдовательно нѣтъ и расхода на образованіе шоссейнаго промежутка между рельсами, а починка или перемѣна подушекъ идетъ гораздо скорѣе, когда онѣ всѣ открыты; къ тому же поврежденіе виднѣе, а гніенія меньше, когда дерево не обсыпано землею.

Рано утромъ мы пріѣхали въ Кёльнъ, проѣхавъ ночью два государства: Брауншвейгъ и Ганноверъ.

Въ Кёльнѣ мы любовались Рейномъ и знаменитымъ кёльнскимъ соборомъ. Хотя мы изъ Кёльна выѣхали днемъ, но всѣ вагоны внутри были освѣщены, потому что желѣзная дорога очень часто уходитъ въ подземельные туннели: иначе пришлось бы ѣхать въ потьмахъ. Отъ Кёльна до перваго бельгійскаго города Вербвэ, извѣстнаго фабрикаціею суконъ, дорога имѣетъ какой-то волшебный видъ: горы, города, рѣки, туннели, все это такъ мелькаетъ, что и самому себѣ отчета дать не успѣешь. Жаль, что поѣздъ неидетъ гораздо тише, дабы можно было разсмотрѣть видъ.

Съ первой станціи отъ Вербвэ мы сошли съ парижскаго поѣзда и пріѣхали въ Спаа по особой вѣтви желѣзной дороги, въ двухъ миляхъ разстоянія отъ парижской.

Спаа лежитъ среди множества горъ, между которыми текутъ каскадами прозрачныя рѣчки. Воздухъ удивительный, прогулокъ бездна всякихъ, и тѣнистыхъ и открытыхъ, и по горамъ и по полямъ, на ослахъ и на лошадяхъ. Отелей болѣе двадцати; столъ вездѣ отличный. Народъ веселится, гуляетъ; на всѣхъ лицахъ довольство, счастье; нищихъ нѣтъ и пьяныхъ также, не смотря на то, что вино и пиво продаются всюду.

Особенную народную промышленность Спаа составляютъ деревянные ящики, портфели, подносики съ нарисованными на нихъ ландшафтами и сценами изъ народной жизни. Правительство до-того развило здѣсь этотъ промыселъ разными благоразумными содѣйствіями, что теперь въ каждомъ почти домѣ рисуютъ, и издѣлія эти идутъ всюду, даже въ Англію.

ИНГКАПСКІЙ РИФЪ.

Изъ Саути.

День ясенъ; отрадная тишь надъ волной;
Суда и матросы вкушаютъ покой;
Живой вѣтерокъ въ парусахъ не играетъ,
И киль безъ движенья въ водѣ отдыхаетъ.

Свирѣпый Ингкапскій не пѣнится рифъ,
Его покрываетъ волною приливъ;
И тамъ, среди водъ безмятежнаго лона,
Не слышно теперь колокольнаго звона.

Былъ въ Абербротокъ почтенный аббатъ:
Въ томъ мѣстѣ, гдѣ скалъ возвышается рядъ,
Онъ колоколъ съ бочкой поставилъ пловучій,
Чтобъ въ бурю звонилъ онъ средь бездны кипучей.

И если приливъ тѣ утесы скрывалъ,
То звонъ колокольный пловцовъ извѣщалъ;
Тогда они знали, что рифъ недалеко,
И чтили игумена Абербротока.

Лучъ солнца въ величїи пышномъ своемъ
Сверкаетъ, и все веселится при немъ;
И птицы морскія, купаясь, ныряютъ,
И криками радость свою выражаютъ,

А колоколъ съ бочкой вдали между скалъ
Чуть видною черною точкой мелькалъ.
Разбойникъ, сэръ Ральфъ, сталъ на декъ высокомъ,
И смотреть на скалы внимательнымъ окомъ.

Дыханье весны его сердце живить,
И весель онъ духомъ, поеть и свистить,
И вдругъ улыбнулся при мысли потѣшной;
Но радость разбойника—умыселъ грѣшный.

И крикнулъ онъ буйной ватагѣ своей:
«Ребята! спустите мнѣ лодку скорѣй,
И къ рифу меня притяните канатомъ:
Я славную штуку сыграю съ аббатомъ.»

Вотъ спущена лодка, за весла — гребцы,
И къ страшному рифу плывутъ удалцы;
Сэръ Ральфъ приподнялся, повисъ надъ водою,
И колоколъ срѣзалъ могучей рукою.

Съ глухимъ клокотаньемъ на дно онъ упалъ;
И съ хохотомъ злобнымъ разбойникъ сказалъ:
«Теперь, кто впередъ не услышитъ набата, —
Не станетъ хвалить добродѣтель аббата.»

Сэръ Ральфъ возвратился къ своимъ удалцамъ;
Онъ долго скитался по разнымъ морямъ;
Съ богатой добычей, съ безчестнаго лова,
Веселый плыветъ онъ въ Шотландію снова.

На синія волны спустился туманъ,
Въ немъ солнце померкло, — и вдругъ ураганъ
Завылъ и весь день бушевалъ на просторѣ;
Но къ ночи онъ стихъ, — успокоилось море.

Сэръ Ральфъ озираетъ свой путь; но вдали
Покрыто все тьмой, и не видно земли.
«Вотъ только бы мѣсяцъ вошелъ поскорѣе,
Сказалъ онъ — тогда поплывемъ мы вѣрнѣе.»

«Не близко ли берегъ? спросилъ рулевой:
 Миѣ слышится волнѣ отдаленный прибой.»
 Нахмурился Ральфъ, и подумалъ невольно:
 Теперь пригодился бы звонъ колокольной.

Но звона не слышно, лишь бездна кипить,
 Фрегатъ по стремленью безъ вѣтра летить;
 И вдругъ затрещалъ онъ, и мачты упали,
 И рифы Ингкапа пираты узнали.

Чась кары злодѣю теперь настаетъ;
 Въ отчаяннѣ страшномъ себя онъ клянеть;
 Ударъ за ударомъ корму разбиваетъ, —
 Въ пучинѣ кипучей пиратъ утопаетъ.

И въ мигъ неизбѣжной гибели онъ
 Услышалъ изъ бездны таинственный звонъ,
 Какъ будто бы дьяволы, встрѣтивъ пирата,
 Ударили въ колоколъ вѣщій аббата!...

Ф. Миллеръ.

К О Н Ъ.

Басня. *

У ѣздока, наѣздника лихаго,
 Былъ конь, какого
 И въ табунахъ степныхъ нарѣдкость поискать...
 Какая стать!
 И ростъ, и красота, и сила!
 Такъ щедро всѣмъ его природа наградила...
 Какъ онъ прекрасенъ былъ съ наѣздникомъ въ бояхъ!
 Какъ смѣло въ пропасть шель и выносилъ въ горахъ!..

* Эта басня, какъ многимъ извѣстно, давно ходить по рукамъ, приписываемая Крылову. Читателямъ судить, принадлежитъ ли она славному баснописцу.

Но съ смертю ѣздока, достался конь другому
 Наѣзднику, да на-бѣду — плохому.

Тотъ приказалъ его въ конюшню свести,
 И тамъ, на привязи, давать и пить и ѣсть;

А за усердіе, за службу удалую,
 Въкъ не снимать съ него уздечку золотую...

Вотъ годы цѣлые безъ дѣла конь стоитъ;

Хозяинъ на него любитъ, глядитъ;

А сѣсть боится,

Чтобъ не свалиться.

И сталъ нашъ конь въ лѣтахъ,

Потухъ огонь въ его глазахъ,

И спалъ онъ съ тѣла.

И какъ вскормленному въ бояхъ не похудѣть безъ дѣла!

Коня всѣмъ жаль: и конюхи плохіе,

Да и наѣздники лихіе,

Между собою говорятъ:

«Ну кто бъ коню такому былъ не радъ,

Кабы другому онъ достался!»

Въ томъ и хозяинъ сознавался;

Да для него, вотъ, та бѣда,

Что конь въ возу не ходитъ никогда.

* *

И въ правду: есть кони, ужъ отъ природы

Такой породы:

Скорѣй его убьешь,

Чѣмъ запряжешь.

СВѢТСКІЯ ЯЗВЫ.

ПОВѢСТЬ.

Pour nous qui cherchons les idées neuves, nous trouvons qu'il y a plus de courage à faire ce que tout le monde a déjà fait qu'à inventer les choses les plus résolues.

Le vicomte de Launay.

I.

Х—ой губерніи Б—аго уѣзда, въ усадьбѣ графа Хвалынскаго, при селѣ Разградовкѣ, происходило движеніе, мудрено вообразимое.

Кто бы взглянулъ въ садъ сверху или издали, тотъ бы подумалъ, что здѣсь какой-нибудь неслыханный по мѣсту праздникъ и въ саду устроено гульбище. Такъ заключали, быть-можетъ не одинъ уже день, и чумаки, мимо тянувшіе съ своими скрипучими возами.

Иначе какъ было объяснить необычайное сходбище мужиковъ и бабъ въ ту пору, когда всѣмъ надо быть въ лугахъ на косовицѣ, то-есть по-великорусски на сѣнокосѣ?—Стояла первая половина іюня: травы поднялись уже высоко, а гдѣ и припеклись отъ жару.

Въ господскомъ домѣ и на дворѣ движеніе было не меньшее. И тамъ не мало мелькало бабъ и мужиковъ.

Дѣло заключалось въ слѣдующемъ.

Усадьба графа Хвалынского готовилась къ приему помѣщика, котораго ожидали въ самомъ непродолжительномъ времени.

Впрочемъ наличный людъ былъ занятъ покуда не самыми заботами о встрѣчѣ, а собственно приготовленіями. Домъ, дворъ, садъ, словомъ, вся усадьба давно не освящалась присутствіемъ владѣльца, оттого была запущена соразмѣрно, а можетъ-быть и не соразмѣрно времени. Въ домѣ накопилось пыли и наплодилось паутины столько, что и сказать мудрено; моль проточила обои стѣны и мебели; картинъ кое-гдѣ не пожалѣла и плѣсень; по двору десять лѣтъ сорилъ кто хотѣлъ: и человѣкъ, и звѣрь, и птица, оставляя, каждый, слѣды свои; въ саду дорожки заросли, клумбы и куртины заглохли. Будь это не въ безлѣсной сторонѣ, да не возлѣ жилья, мало кто бы рѣшилъ, что тутъ садъ.

Чтобы привести усадьбу въ положеніе, достойное яснаго взгляда господина, труда, значить, нужно было не мало, — не мало и рукъ. Оттого-то который ужъ день здѣсь чередовалась барщина, не глядя на рабочую, столько дорогую для крестьянина, пору.

Управляющій, естественно, ревновалъ о томъ, какъ бы не уронить себя во мнѣніи помѣщика и хлопоталъ изо всей силы, чтобы представить ему имѣніе во всевозможномъ блескѣ.

Своимъ лицомъ надзиралъ онъ за работами. Длинная, сухопарая фигура его, еще стянутая въ нѣсколько — узкій, сравнительно съ нынѣшнимъ покроемъ, но очень приличный сертучокъ, неутомимо являлась то въ саду, то въ домѣ, то на дворѣ: вездѣ, гдѣ только было дѣло. По временамъ трость, которую онъ не покидалъ, прикасалась къ чьей-нибудь спинѣ, къ чьему-нибудь плечу съ нетеатральной истинностію. Управляющій не щадилъ и крѣпкихъ словъ: онъ награждалъ ими работниковъ, а пуще того десятскихъ, которые были приставлены за ними какъ дядьки.

Все въ этомъ человѣкѣ: черты лица, походка, нарѣчіе, все обличало Поляка.

Непростительно было бы современному человѣку огульно клеймить ту или другую національность; неразумно — со стороны писателя заявлять дѣтскія антипатіи къ тому или другому племени; но когда-нибудь, въ отдѣльномъ разсужденіи, мы постараемся разработать вопросъ о страшномъ вредѣ, который приносятъ русскимъ имѣніямъ иностранцы-управляющіе и Поляки по-преимуществу (а также арендаторы и поссессоры), съ присоединеніемъ другаго, не менѣе важнаго: о жестокомъ, нерѣдко нечеловѣческомъ обращеніи иностранцевъ съ крестьянами и работниками. Всѣмъ ли извѣстно, что они-то одни, эти пришлецы, пѣна и накипь своихъ народностей, или уже сдѣлав-

шіея русскими Янками, укоряющіе насъ въ отсталости и деспотизмѣ, смотрятъ на рабочій классъ какъ плантаторы на негровъ? Мы имѣли тысячу случаевъ убѣдиться въ ихъ воззрѣніи и приходится въ ужасѣ отъ ихъ неистовствъ. Стобитъ, напримѣръ, послушать рассказы французскихъ инженеровъ о ихъ настоящихъ подвигахъ! Но всему этому, разумѣется, не мѣсто здѣсь. Покуда, не желая, чтобы кто-либо заподозрилъ насъ въ произвольности заключеній, мы покорнѣйше просимъ читателя: спросить любого солдата, кто въ службѣ обращается хуже: Полякъ или Русскій? Мы просимъ его во-вторыхъ: спросить любого ремесленника, ученика или мастера: у кого лучше жить—у хозяина-Русскаго или у хозяина-Нѣмца, у какого-нибудь *marchand-tailleur* или у Семена Кирпичева?... Узнаете, что голодъ и мытарство у *marchand-tailleur*'а, а крещеное житіе у бѣдняка Кирпичева!... Разумѣется, этотъ параграфъ долженъ весьма не понравиться опредѣленному кружку нашихъ идеологовъ, да еще тѣмъ почтеннымъ дамамъ, которыя воображаютъ, что гдѣ французскій языкъ, тамъ ужъ и рай. Знаемъ. Вольно же идеологамъ до-того углубляться въ свои утопіи, чтобы не видѣть происходящаго у нихъ подъ носомъ, или все видѣть наизнанку: считать пожаръ за фейерверкъ, а изъ драки у питейнаго дома строить возмущеніе!... О дамахъ мы на этой страницѣ лучше распространяться не будемъ...

Потъ градомъ лилъ съ не одной сотни усталыхъ, загорѣлыхъ лицъ. Это нисколько не трогало благороднаго шляхтича Свензецкаго. Невозмутимъ, какъ полководецъ на полѣ битвы, онъ былъ вездѣ: и въ саду, и въ домѣ, и на дворѣ, однимъ лишь занятый — необходимостію выйти побѣдителемъ изъ дѣла, хотя бы то стоило жизни людей.

—Ишь мошенники! говорилъ онъ, указывая одному изъ десятскихъ на группу рабочихъ: — не до кѣрня таскаютъ траву по этой дорожкѣ. А ты чего смотришь, бисовъ сынъ? Тѣмъ же часомъ, и тебя и ихъ тутъ растяну! Охъ, этотъ русскій народецъ!

Послѣдовалъ ударъ палкою по головѣ десятскаго. Десятскій молча подвинулся по указанному направленію.

И много еще ударовъ, много угрозъ и бранныхъ восклицаній отпустилъ панъ Свензецкій.

Наконецъ, въ одно чрезвычайно-жаркое утро, онъ осмотрѣлъ домъ во всѣхъ подробностяхъ; обошелъ дворъ и садъ. Улыбка самодовольствія, улыбка увѣренности, что исполнено намѣреніе, улыбка, изобрѣтенная польскою фizioномією и служащая иллюстраціей польской натуры, изобразилась на лицѣ господина управляющаго. Онъ остановился посреди двора, покрутилъ усь, нѣсколько накрепилъ фуражку, по покрою род-

ственную конфедераткѣ, и, обращаясь къ десятскимъ, показаль на толпу, наполнявшую дворъ, въ этотъ мигъ безъ дѣла, и частію стоявшую, частію сидѣвшую или лежавшую:

— Отпустить ихъ теперь, чортъ съ ними! сказалъ онъ.

Толпа лѣниво зашевелилась: иной ужъ и радъ былъ пролежать до ночи.

— Обрадовались! продолжалъ шлахтичъ. — Пятнадцать чело-вѣкъ оставить, да чтобы по пятнадцати каждое утро прих-одило: все что—нибудь подмести, выполоть, а то и полить.

Десятскіе стали распоряжаться.

— Еще слушайте! сказалъ Свензецкій. — О пріѣздѣ графа узнаемъ за день, можетъ за два. Тогда я дамъ повѣстку. Чтобы всѣ здѣсь были съ утра, хоть бы васъ чортъ за сто верстъ унесъ! А кто не будетъ, боленъ или по другой причинѣ, лучше мнѣ и не попадайся послѣ... самъ отыщу... Да чтобы понарядиѣ, по праздничному!...

Слушатели разошлись, даже и не почесывая въ затылкахъ, какъ не преминули бы простолюдины съвера. Диковинное дѣло! На лицѣ южнаго крестьянина, простойте вы передъ нимъ годъ, явись онъ передъ вами въ самыхъ разнообразныхъ положеніяхъ: въ радости, въ горѣ, въ избыткѣ, въ нуждѣ, хмѣльный, трезвый,—не прочтете вы ничего! Что можетъ довести человѣческое существо до этой апогеи безжизненности, до такой непостижимой апатіи, и заставить самого хладнокровнаго наблюдателя, наименѣе расположеннаго къ проницескимъ сближеніямъ, наименѣе предубѣжденнаго, невольно сравнить человѣка съ воломъ, повсюднымъ сотрудникомъ того человѣка, его дополненіемъ, неизмѣннымъ спутникомъ всей его жизни! Кто кого изъ нихъ принялъ за идеаль? Волъ человѣка, или человѣкъ вола?... Взгляните хорошенько:—движенія ихъ схожи, человѣкъ жуеъ какъ волъ!

Панъ Свензецкій, безъ сомнѣнія, не терялъ драгоцѣннаго времени на антропологическія замысловатости. Онъ отпра-вился въ свой флигель бросить послѣдній взглядъ на хозяйствен-ныя книги и на свой гардеробъ, имѣя въ предметъ удовлетво-рить довѣрителя и отлично—разграфленными страницами, и ще-гольствомъ своего костюма. Онъ не долженъ былъ забыть ни одной мелочи: иначе онъ опровергъ бы разомъ цѣлый отдѣлъ исторіи.

...Вотъ прискакалъ на перекладной передовой графа Хва-лынскаго, маленькій, сухенькій человѣчикъ въ гуттаперчевой фуражкѣ: нѣчто, не похожее на каммердинера, но и мало по-хожее на барина, впрочемъ чистенькое и презентабельное. Это былъ, какъ узнаемъ мы изъ его изустной рекомендаціи Свен-

зецкому, Иванъ Павлычъ Олтуховъ, провинціальный секретарь по рангу, а по своему соціальному положенію — подчиненный владѣльца Разградовки, исправлявшій въ потребныхъ случаяхъ, при графѣ, должность домашняго секретаря.

Пріѣхавшій объявилъ, что графъ будетъ завтра, вѣроятно около полудня, потому что предполагаетъ ночевать за пятьдесятъ верстъ, въ уѣздномъ городѣ.

При удостовѣреніи о столь уже неотдаленномъ прибытіи патрона, поджилки управляющаго мгновенно затряслись: былъ ли то отчаянный ударъ совѣсти по нервамъ, заржавѣвшимъ на подобіе старыхъ струнъ? была ли это просто непосредственная дань его храбрости?

Дрожащимъ, хотя и очень громкимъ голосомъ, Свензецкій велѣлъ позвать къ себѣ своего ординарца, очереднаго десятикаго, и приказалъ ему: отдавъ подо всѣхъ наличныхъ мужиковъ лошадей изъ господской конюшни и какія только гдѣ окажутся, разослать въ луга съ повѣсткою, чтобы завтра все населеніе Разградовки съ утра стояло у воротъ барскаго двора, разраженное въ-пухъ, какъ въ Свѣтлый праздникъ.

Распоряженія эти онъ сдѣлалъ, разумѣется, такъ, чтобы ихъ не слышалъ пріѣзжій, которому хозяиномъ была указана горница въ сторонѣ.

Затѣмъ Свензецкій озаботился о возможномъ угощеніи Олтухова и занялся его испытаніемъ, т. е. старался всячески разузнать отъ него о характерѣ графа и обо всѣхъ подробностяхъ, до графа и его семейства относившихся, какія могли интересовать управляющаго.

Лично Свензецкій не зналъ помѣщика Разградовки: имѣніе перешло въ настоящія руки нѣсколько лѣтъ тому назадъ; Свензецкій, управлявшій при прежнемъ помѣщикѣ, былъ оставленъ теперешнимъ, не выдавъ его и въ глаза, такъ какъ графъ жаловалъ въ Разградовку въ первый разъ.

Пріѣзжій, хоть и не разстегиваясь, на что онъ не былъ способенъ, и снаружи смахивая всего больше на чемоданъ или на сундучекъ съ секретнымъ замкомъ, — пріѣзжій, видно, сообщилъ, одними намеками, благопріятныя данныя для Свензецкаго. Свензецкій повеселѣлъ, и, все съ бѣльшимъ увлеченіемъ подчуя гостя, жаркими, если не совсѣмъ истинными красками расписывалъ ему мѣстныя удовольствія, а на время предполагаемаго пребыванія въ Разградовкѣ насулилъ ему жизнь, отъ которой не отказался бы ни одинъ невзыскательный эпикуреецъ.

Не такъ ли въ старину ожидали воеводъ на воеводство, не такъ ли готовились къ ихъ встрѣчѣ? Не то ли, и теперь, въ отдаленныхъ мѣстахъ, происходитъ при проѣздахъ важныхъ са-

новниковъ, генераль-губернаторовъ? Для иныхъ мало что выравниваютъ дороги, ради бы, кажется, выворотить наизнанку всю поверхность земли, скрыть цѣлыя селенія, чтобы обольстить зрачекъ, — устлатъ путь ѣдущаго цвѣтами, какъ бы путь триумфатора. А заказные восторги населенія, въ малолюдныхъ краяхъ согнаннаго Богъ въстать изъ какой дали; а подготовленные адреса?... Намъ приходится на память одинъ чрезвычайно — характеристическій случай. Для встрѣчи главнаго начальника края, въ одномъ изъ отдаленныхъ генераль-губернаторствъ, были между — прочимъ согнаны и инородцы. Вѣрно было всѣмъ, по данному знаку, кричать «ура!» — Вдругъ, надъ самымъ ухомъ героя событія, раздается «караулъ!» — неопытенная наивность Монгола, не знавшаго порусски, или самая злая истина, быть — можетъ сознательно вырвавшаяся у несчастнаго дикаря.... И пошла по немъ, простодушному органу гонимой богини, гулять нагайка!...

Управляющій села Разградовки кончилъ вечеръ въ отличнѣйшемъ настроеніи; не удержался: показалъ новому знакомцу домъ и главныя части господской экономіи; однакоже, когда остался одинъ, уже улегшись, невольно старался представить себѣ фигуру своего патрона, чтобы не слишкомъ быть поражену настоящимъ его появленіемъ, и произвелъ передъ мечтаемымъ фантомомъ мысленную репетицію завтрашнихъ курбетовъ. Курбеты, сегодня, тоже были мысленные, конечно; но колѣнки Свензецкаго, разумѣется, по неразрывной связи тѣла съ духомъ, нервовъ съ мыслию, не одинъ разъ сгибались подъ одѣяломъ.

Взошелъ надъ Разградовкой и самый день пріѣзда графа Хвалынского.

Рано поднялся панъ Свензецкій: онъ опередилъ солнце.

Свензецкій перебудилъ всю челядь, способную и неспособную къ кухонному мастерству, опредѣлилъ заниматься изготовленіемъ всѣхъ блюдъ, какихъ только зналъ названіе, отпустивъ предварительно пирамиды сахару, перцу, гвоздики, изюму и всевозможныхъ специй, которыя дѣлаютъ изъ польской поварни фармакопею, и, приказавъ при себѣ мести дворъ, уѣзжалъ на крыльцѣ, откуда видно было постепенное притеченіе Разградовцевъ и Разградовокъ.

Скоро стало тѣсно на дворѣ, и приходившіе уже оставались за рѣшеткою, омыкавшею дворъ.

Съ десяти часовъ управляющій одѣлся во фракъ и бѣлый жилетъ, Олтуховъ въ вицмундирный полukaфтанъ.

Около полудня послышался изъ довольно-далека звукъ нѣсколькихъ почтовыхъ колокольчиковъ, перезвѣкивавшихся. Свензецкаго точно молніей ударило черезъ слуховую перепонку

въ сердце. Его бросило въ жаръ, потъ проступилъ на лбу; машинально выдернулъ онъ изъ кармана носовой платокъ, надушенный о-де-колономъ, смахнулъ имъ пыль съ крыльца — пыли и не было вовсе, — потомъ отеръ лицо, снявъ шляпу, и вся его фигура принялась змѣеподобно изгибаться.

Иванъ Павлычъ смотрѣлъ на него, какъ и на окрестные предметы, съ своей чемаданей невозмутимостію. Только, услышавъ колокольцы, онъ взглянулъ на кончики сапоговъ и пригладилъ рукою бакенбарды, прилипшіе къ его щекамъ, какъ два жареныхъ пискаря къ сковородѣ.

Показались: двумѣстная карета, двумѣстная коляска, огромный тарантасъ, очень большая телѣга.

Подѣхало и остановилось одно за другимъ, — карета у самого крыльца.

Свензецкій уже стоялъ у дверцы, съ обнаженной лысиной.

Изъ кареты вышли двѣ женскія фигуры, на взглядъ одѣтыя почти безразлично: просто, съ дорожнымъ щегольствомъ, во всѣ тѣни сѣраго цвѣта. Отъ костюмовъ вѣяло толкомъ и вкусомъ; жаль, что у одной изъ дамъ, изъ-подъ маншетки нескромно выползъ тяжелый браслетъ: — ослиное ухо изъ-подъ лвиной кожи! — Обладательница браслета была супруга графа Хвалынскаго, ея спутница — Англичанка миссъ Брайнтъ, компаньонка графини.

Онѣ вошли.

Свензецкій отвѣсилъ почтительнѣйшій изъ поклоновъ, на который графиня едва кивнула вѣками.

Карета отѣхала. Подвинулась коляска. Съ достоинствомъ и сановитостію вышелъ графъ, и выскочилъ, съ юношескимъ нетерпѣніемъ, другой графъ, молодой, сынъ владѣльца Разгравки.

Самъ графъ былъ въ бархатномъ дорожномъ сертукѣ, при трехъ звѣздахъ на груди. Свензецкій на мгновеніе закрылъ глаза, ослѣпленный; затѣмъ, изогнувшись почти до праха, дрожа произнесъ:

— Вашему ясновельможному сіятельству имѣю счастье рекомендоваться: эконо́мъ шляхтичъ Свензецкій.

— А — а! произнесъ графъ, медленно осѣдлавъ носъ двойнымъ стеклышкомъ съ пружинкой.

Всякій знаетъ, что это а-а! въ устахъ графа была цѣлая поэма: въ одномъ звукѣ сливалось и скрывалось столько глубокихъ мыслей, столько разнородныхъ ощущеній, что исчисленіе ихъ могло бы легко наполнить цѣлую главу нашего разсказа; мы предоставляемъ читателю самому написать ее мысленно.

Свензецкій проникся трепетомъ и уваженіемъ.

Естественно, графъ не остановился, и пошелъ черезъ крыльцо своею дорогой.

Шляхтичъ отвѣсилъ новый, низайшій поклонъ сѣятельной спинѣ и обернулся къ тарантасу, откуда выбиралась поклажа и частію выѣзди, частію выѣзжали эконожка и горничныя. Онъ помогаль руками, дружески улыбался горничнымъ, а эконожку поднималъ платокъ, довольно-грязный и весь въ табакъ, который та уронила, можетъ-быть и не безъ намѣренія, а съ тѣмъ, чтобы сразу получить мѣру человѣка. Эконожка, изъ крѣпостныхъ, сдѣлала любезную гримасу и произнесла:

— Ахъ! что это вы изволите безпокоиться, милостивый государь!... не имѣю чести знать имени и отчества.

Краснорѣчивую и дипломатическую фразу она подчеркнула книксеномъ, самымъ многозначительнымъ.

Съ этой минуты, понятно, они были друзья по гробъ... Такъ, вѣроятно, почти электрически, поняли другъ друга нѣкоторыя историческія лица — хоть бы мадамъ Рекамьѣ и Шатобрианъ!...

Пріѣзжіе господа были уже во внутреннихъ покояхъ. Прислуга сновала по двору, или вступала во владѣніе предназначенныхъ ей угловъ, надо думать, внося въ нихъ первые атомы будущей атмосферы.

Свензецкій ни въ предостереженіяхъ, ни въ совѣтахъ, ни въ указаніяхъ, ни въ учтивостяхъ, ни въ любезностяхъ, не отказывалъ и самому неумытому изъ пріѣзжихъ поварятамъ, — и тотчасъ же, всѣмъ этимъ крѣпостнымъ фаланстеромъ, былъ онъ признанъ за отличную дойную корову, какъ была его Восточною Индіей — Разградовка. Солидарность и тутъ установилась мгновенно: массы преисполнены инстинкта. Гдѣ его не оказывается у нихъ, тамъ онъ притворяются, какъ тѣ отдѣльныя лица, которыя принято называть тонкими дипломатами.

Когда экипажи и слуги исчезли со сцены и остался одинъ «народъ», статисты, то-есть крестьяне и крестьянки, Свензецкій медленно, почти на цыпочкахъ вступилъ по крыльцу господскаго дома въ первую залу, гдѣ и приросъ, какъ внутренній часовой у входа. Въ слѣдующей залѣ, видно ему было, сидѣлъ, какъ птичка на вѣткѣ, на самомъ краешкѣ стула, Иванъ Павлычъ, свидѣтельствовавшій о томъ, что не умеръ, повременимъ прикосновеніемъ руки къ жаренымъ пискарямъ.

Голосовъ изнутри не слышалось; изрѣдка отдавались мягкіе шаги.

Но вотъ въ длинной анфиладѣ показалась щеголеватая и живая фигура молодаго графа. Олтуховъ, завидѣвъ приближеніе, вскочилъ, нисколько не смущаясь, какъ кукла отъ пружины. Свензецкій приготовилъ на лицѣ выраженіе, смѣшанное изъ

уваженія, угодливости и совершенной готовности на все, что бы ни приказали.

Молодой графъ шелъ, цѣдя сквозь зубы какую-то арію.

Когда онъ поравнялся съ Олтуховымъ, онъ на минуту остановился, и славнымъ, молодымъ, свѣжимъ и чистымъ голосомъ сказалъ:

— Сколько разъ я васъ умолялъ, Иванъ Павлычъ, избавить меня отъ необходимости кланяться вамъ сто разъ въ день. Когда это кончится? Право, спина, вѣдь, заболитъ. Еслибы я и самъ этого не чувствовалъ, пора мнѣ, наконецъ, повѣрить добрымъ людямъ: всѣ говорятъ, что она у меня плохо гнется. Несчастливая комплекція!...

Онъ шутя чуть-чуть ткнулъ пальцемъ въ бокъ Ивана Павлыча; Иванъ Павлычъ почти покусился на улыбочку, — молодой графъ прошелъ.

Свензецкій низко поклонился и взглянулъ на юношу какъ смотреть на картину необычайнаго достоинства энтузіастъ-знатокъ, наконецъ дорвавшійся взглянуть на клейнодъ. Глаза пана управляющаго были влажны.

— Ваше графское сіятельство, — забормоталъ-было онъ.

— Вы здѣшній управляющій, сказалъ своимъ добрымъ голосомъ графъ; — очень радъ познакомиться: я увѣренъ — мы съ вами ссориться не будемъ.

Слова и звукъ ихъ ласкали даже грубый слухъ. Свензецкій млѣлъ: съ какимъ восторгомъ поцѣловалъ бы онъ руку молодого графа!

Нужно ли доказывать, что восхищеніе шляхтича проистекало не изъ чувства изящнаго, какое, во всякомъ другомъ, способна была расшевелить одна наружность молодого Хвалынского, прекрасная и симпатическая, и весь этотъ складъ настоящаго джентльмена, въ хорошемъ, нисколько не проницскомъ, значеніи слова, — всѣ эти явные признаки — да простятъ намъ иллюминаты современныхъ, то-есть по нашему мнѣнію уже и устарѣвшихъ повѣтрій, паладины настоящей грязи и восторженные браковщики пробнаго золота! — всѣ эти явные признаки какъ бы истинной породливости, безукоризненнаго аристократизма натуры, опять-таки въ достойнѣйшемъ его выраженіи?... Но мы будемъ имѣть случай, конечно не разъ, возвратиться къ счастливому для разскащика соединенію прекрасныхъ свойствъ молодого графа Хвалынского.

Покуда, намъ надо напомнить, что разградовскаго управляющаго восторгала, разумѣется, не дѣйствительная цѣна сына его патрона, а увѣренность, сложившаяся изъ взгляда и нѣсколькихъ словъ молодого человѣка, что онъ добръ, мягокъ и не похожъ на опаснаго контролера.

— Вы, мнѣ кажется, напрасно трудитесь ожидать здѣсь, продолжалъ графъ начатое обращеніе къ Свензецкому:—батюшкѣ, сколько я знаю, нужно отдохнуть отъ дороги. Если же бы онъ вдругъ имѣлъ надобность, можно прислать къ вамъ.

Свензецкій кланялся менѣе туловищемъ, нежели глазами и мускулами лица, и менѣе сими послѣдними, нежели душою или душонкой.

— Что угодно вашему сіятельству? произнесъ онъ самымъ раболѣпнымъ образомъ.

— Благодарю васъ, мнѣ ровно ничего не угодно, отвѣчалъ графъ нѣсколько холодно, понявъ съ кѣмъ говорить.— Что тутъ дѣлаютъ всѣ эти крестьяне? спросилъ онъ, глядя въ окно.

— Встрѣтить имѣли желаніе графа, ваше сіятельство.

— Добрые люди, замѣтилъ, неувовимо-скептически взглянувъ на управляющаго, Хвалынский.— Что же ихъ держать однакожъ; я спрошу батюшку. Вѣрно, онъ ихъ отпустить. Не праздникъ, кажется, сегодня?

— Для всѣхъ долженъ быть праздникъ, подобострастно проговорилъ управляющій.

Юноша взглянулъ на Поляка съ кроткимъ, утонченнымъ презрѣніемъ, котораго не понялъ Свензецкій, читавшій иные оттѣнки на лицахъ по складамъ, какъ большая часть ему подобныхъ.

— Позвольте, однакожъ, обратился къ нему опять Хвалынский, заглянувшій въ прихожую — тутъ никого нѣтъ: не вошли еще въ колею, устали, — понятно! Скажите мнѣ, пожалуйста, гдѣ я найду кухню?

— Помилуйте, ваше сіятельство, засѣменилъ управляющій, — что прикажете? я заразъ сбѣгаю. — И онъ уже изобразилъ всѣмъ тѣломъ готовность бѣжать.

— Скажите мнѣ, гдѣ кухня, повторилъ Хвалынский, легонько схватившись за волосокъ уса.

— Здѣсь, ваше сіятельство, прямо; потомъ направо.

Хвалынский спустился съ крыльца; Свензецкій вился около него какъ охотничья собака вокругъ господина, который взялъ въ руки ружье и собрался на охоту. Шляпу управляющій держалъ въ рукахъ, не глядя на тридцатиградусный жаръ.

Графъ не зналъ что дѣлать. Будь ему шестнадцать лѣтъ, съ какимъ восторгомъ побилъ бы онъ Свензецкаго.

— Скажите пожалуйста, проговорилъ онъ наконецъ — неужели вы болѣе жалѣете шляпы, нежели вашей головы?

— Помилуйте, ваше сіятельство! только отвѣчалъ управляющій, понявъ намекъ и робко едва накрываясь. Онъ съѣжилъ голову, насколько позволяютъ ей мускулы, и пожелалъ, чтобы она не чувствовала своего украшенія.

Графъ приказалъ на кухнѣ что ему нужно было, и, вернувшись въ домъ, спросилъ отца, не отпустить ли крестьянъ.

— Пожалуй, сказалъ владѣлецъ Разградовки.

— И нужно было сгонять ихъ сюда, въ рабочую пору, замѣтилъ сынъ. — Управляющій: конечно, изъ желанія подслужиться....

— Это вездѣ такъ дѣлается, перебилъ отецъ; — и еслибы онъ не собралъ ихъ, относись это и не ко мнѣ, я бы сказалъ *que c'est un malappris*. Ты молодъ, и, съ вашими идеями, этого не поймешь. Убѣдись или вѣрь, что каждое положеніе требуетъ своего декорума, какъ, съ другой стороны, каждое заключаетъ свои непріятныя условія. Таковъ свѣтъ.

— Воля ваша, отвѣчалъ сынъ, слегка пожимая плечами, — вѣрить нѣтъ силы, а убѣдять меня, я всегда скажу спасибо.

— Уволь меня отъ словопреній, сказалъ отецъ, дѣлая гримасу, — хоть на эту минуту. Надо отдохнуть; да и тебѣ, я думаю, не мѣшало бы. Впрочемъ, дѣлай какъ знаешь. Я проглочу свой бульонъ, и полежу до обѣда. До свиданія.

Покуда пріѣзжіе господа предаются отдохновенію послѣ дороги, а прислуга, разумѣется, не садится, прежде нежели установится все въ домѣ къ совершенному удовольствію господъ, намъ необходимо развернуть формуляры семейства Хвалынскихъ. По авторскому праву, мы будемъ читать больше между строкъ...

Да. Крестьяне были отпущены, и побрели своимъ путемъ. Ни одному и въ голову не пришло спросить себя: зачѣмъ они были собраны сюда, была ли какая надобность заставить больше тысячи человѣкъ простоять на жару съ пустыми желудками около полусутокъ?...

II.

Графу Арсенію Николаичу Хвалынскому, владѣльцу Разградовки, шестьдесятъ лѣтъ.

Вездѣ принято за истину, что графъ еще молодецъ. Точно, онъ кажется моложе своихъ лѣтъ, бодръ и свѣжъ съ лица; только не нужно видѣть его утромъ, до его туалета, прежде нежели онъ вышелъ изъ рукъ камердиннера, воспитаника одного изъ извѣстнѣйшихъ волосяныхъ художниковъ Невскаго проспекта и профессора всевозможныхъ косметическихъ дѣлъ. Григорій, или Гриша, или Грегюаръ, или Грэгоръ (такъ называется камердинера миссъ Брайнтъ), могъ бы съ успѣхомъ исполнять должность парикмахера-куафѣра даже при театрѣ, а въ искусствѣ гримировать ближняго, расписывать человѣческое лицо, не

уступить бы любому племени татуирующихся дикарей, а Левассору далъ бы впередъ. Удивительно ли, что парикъ графа безукоризненъ, что тюлевый проборъ, сквозя, въ пяти шагахъ изображаетъ натуральный; что кожа лица, особенно при вечернемъ освѣщеніи, кажется чуть-чуть не юношескою?

Отъ наружнаго человѣка къ внутреннему.

Въ былое время графъ слылъ за элегантнаго кавалера, за счастливаго рыцаря и притомъ за примѣрнаго молодаго человѣка. Теперь его знаютъ за человѣка съ вѣсомъ, за гостепріимнаго хозяина, за одного изъ тѣхъ членовъ общества и свѣта, безъ которыхъ, пожалуй, пришлось бы плохо и обществу, и свѣту. Первое значилось, второе значитъ во всѣхъ приговорахъ свѣта.

Такова, вкратцѣ, исторія репутаціи графа Хвалынскаго, таковъ, иначе сказать, офиціальный его житейскій формуляръ.

Теперь будемте читать по палимпсесту.

Мнѣніе свѣта, всякій знаетъ, не есть общественное мнѣніе; оно еще менѣе народный голосъ. Оттого человѣку, не служащему чужимъ идоламъ, также дико заключать по свѣтскому мнѣнію, какъ смѣшно, на примѣръ, судить о человѣкѣ по его успѣхамъ на балѣ, рѣшать объ актерѣ, что онъ добръ или злъ, уменъ или глупъ, по роли, которую онъ играетъ. Свѣтъ, по стародавнему опредѣленію, истинному, какъ любая математическая аксіома, та же сцена. Но намъ этого опредѣленія мало. Свѣтъ, кромѣ того, есть отдѣльный малый міръ въ большемъ мірѣ даннаго общества; это таинственная, хотя отнюдь не замысловатая, ложа, съ своими мистеріями, гіероглифами, условными приемами и знаками. Ключъ къ уставу ложи найденъ давно, и совсѣмъ не некромантикомъ: предполагаемая тонкости сквозятъ, шивки грубы и неловки; въ цѣломъ методъ декоративной живописи и театральнаго обольщенія. Оттого, мнимыя тайны проникаютъ такъ легко за предѣлы круга, который иные добродушные члены ложи имѣютъ еще наивность считать волшебнымъ. Оттого-то нынче и ребенокъ, не принадлежащій къ малому міру, къ большому свѣту, знаетъ, чего стоить микрокосмъ. Онъ знаетъ, что все въ немъ, по взаимному соглашенію, котораго нѣтъ членамъ ложи надобности и высказывать другъ другу, условно, — что всѣ они видятъ другъ въ другъ только то, что хотятъ видѣть, что всѣ только то и думаютъ другъ о другѣ, что имъ нужно думать. И какъ бы, въ самомъ дѣлѣ, допустили они въ свои синагогіи Истину, которой, по доисторическому предопредѣленію, уставлено ходить нагою?... *Fi, quelle horreur!*... Было бы въ такомъ появленіи отчего подняться дыбомъ накладнымъ волосамъ исконныхъ ры-

царей приличія, окаменѣть кринолинамъ стыдливыхъ паломницъ модныхъ добродѣтелей!

Понятно изъ сказаннаго, какъ, по-нашему, должно разумѣть мнѣніе свѣта. «Ты мнѣ нуженъ, значить ты хорошъ; — ты мнѣ можешь пригодиться, дай-ка я поберегу тебя; ты можешь мнѣ повредить, ты видѣлъ какая на мнѣ грязная рубашка подъ наряднымъ верхнимъ платьемъ, — будь увѣренъ, я не скажу, что ты вчера подлил яду брату!» — вотъ сущность исповѣди свѣта... Утверждайте же, господа хронологи, что умеръ Макиавелли, утверждайте, безпристрастные историки, что умеръ его духъ! Мы, бѣдные фізіологи общества, скромные дѣятели едва-виднаго муравейника, преклоняясь передъ вашими познаніями и презирая гнѣвъ свѣтскаго ареопага, на которомъ, конечно, присуждено будетъ лишить насъ огня и воды, а можетъ-быть и колесовать, какъ нѣкогда святотатцевъ, — мы утверждаемъ, что никогда Макиавелли не благоденствовалъ такъ, какъ въ наше время въ опредѣленномъ кружкѣ, что никогда духъ безнравственнаго Италіянца не носился въ этомъ кружкѣ въ такомъ сіяніи какъ теперь, неисключая и время Людовика XV-го во Франціи...

Графъ Арсеній Николаичъ, съ перваго вступленія на жизненное поприще, сталъ дѣятельнымъ адептомъ философіи Макиавелли. Все было съ-руки ему, что вело къ цѣли. Съ природнымъ умомъ, достаточно-выгодной наружностію и нѣкоторымъ образованіемъ, онъ достигалъ едва ли не всего, къ чему стремился, благодаря гибкой спинѣ, хорошему состоянію и эластической морали. Шагъ ли по службѣ, удача ли у женщины: онъ всюду шелъ на всѣхъ парусахъ, и дѣло не останавливалось ни за фальшивыми сигналами, ни за волчьими ямами, ни за подкопами. Каждый объектъ стремленія графа, каждый предметъ его исканія былъ все равно что личный врагъ ему, и онъ шелъ на него какъ на врага, распоряжаясь и по пути какъ Гайнау въ Венгріи, а въ дни оны — Аттила. За это свѣтъ, прежде всего благоговѣющій передъ медвѣжьей силой, еще съ молодости уважалъ графа, боялся его и берегъ. Всякій зналъ, что Хвалынскаго можно купить; но знали и то, что подставить ему ножку, значить обречь себя неотразимой отмѣсткѣ.

Тридцати двухъ-трехъ лѣтъ графъ рѣшилъ, что время ему жениться: — женитьба въ извѣстныя лѣта становится необходимымъ дополненіемъ иныхъ соціальныхъ положеній. Надо принять: — нельзя, чтобы принимала танцовщица; надо подѣйствовать на лицо, имѣющее вѣсъ: — есть такія лица, съ которыми сговорить только женщина, а съ иными пуританами единственно законная супруга ищущаго. Графъ былъ чрезвычайно-честолюбивъ, то-есть, разумѣтся, не какъ Александръ Маке-

донскій или Робертъ Пиль, но честолюбивъ какъ масса православнаго русскаго дворянства: ему нужны были кресты, видимые знаки отличія, чиновный вѣсь, поклоны, возможность дать почувствовать ближнему свою силу.

Рѣшившись жениться, затрудняться ему, колебаться—незачѣмъ было: онъ зналъ свое общество лучше, нежели дѣльный сыщикъ знаетъ всѣхъ крупныхъ городскихъ мошенниковъ.

Да и выборъ его былъ, почти безусловно, сдѣланъ заблаговременно.

Въ одной съ нимъ атмосферѣ процвѣтала, или прозябала—пусть каждый выбираетъ слово—двадцати-двухлѣтняя княжна Зѣлинцева, по имени Марья Сергѣевна, единственная дочь достойныхъ родителей. Условія ея брачнаго положенія, приданое были опредѣлены издавна. Графу, черезъ его лазутчиковъ, было извѣстно до нитки и гвоздя что получить княжна при жизни родителей, что по ихъ смерти: движимаго и недвижимаго, живаго и мертваго. Онъ сказалъ бы вамъ напередъ, сколькихъ тысячъ рублей не досчитается противъ обѣщаннаго, какихъ угодій не окажется при имѣніи, насколько домъ будетъ хуже описи. Тѣмъ не менѣе, онъ признавалъ княжну Марью Сергѣевну партією, совершенно ему подходящею. Она принадлежала къ его кругу, родители имѣли вѣсь, свѣтское значеніе и хорошее состояніе, княжна была лавреатомъ модной дрессировки—ни за что не напишемъ: воспитанія—больше желать было нечего. Правда, молва приписывала княжнѣ романъ, тянувшійся и по время брачнаго порыва Хвалынскаго; графъ зналъ самого Малекъ-Аделя; но онъ зналъ также, что по всѣмъ свѣтскимъ консидераціямъ не видать Малекъ-Аделю своей Матильды иначе какъ на балѣ или въ салонѣ. Надъ чѣмъ могъ задуматься Арсеній Николаичъ?

Онъ сдѣлалъ предложеніе, которое было принято, и всѣ условія опредѣлены въ кабинетѣ стараго князя, прежде даже нежели почтенный отецъ семейства далъ себѣ трудъ позвонить, чтобы попросить къ себѣ дочь.

Бракосочетаніе графа Хвалынскаго и княжны Марьи Сергѣевны совершилось преблагополучно, естественно по строгому чину подобныхъ церемонійловъ въ извѣстномъ кругу. Для зрителей, наиболѣе расположенныхъ отыскивать пятна и на солнцѣ, не нашлось на сей разъ къ чему и придраться... Драпировщикъ, модный кондитеръ, барышникъ, который собиралъ подвѣнечный четверикъ, отмѣтили день брака графа Хвалынскаго *albo lapillo*. Нѣмецъ-капельмейстеръ, быть-можетъ растроганный до гиперболическаго паѳоса рейнвейномъ, какого ужъ конечно не пивалъ въ своемъ родимомъ Пратерѣ, клялся, что

такъ вѣнчался только князь Эстергази, по понятіямъ виртуоза магнать изъ магнатовъ обоихъ полушарій.

Женившись, графъ продолжалъ неуклонно идти своей стезей, разводя препятствія обѣими руками, толкая вправо и влево. Черезъ годъ родилась у него дочь, которая прожила всего нѣсколько мѣсяцевъ; черезъ годъ еще, сынъ, тотъ самый . . . но объ этомъ рожденіи рѣчь впереди.

Съ молодую привыкъ Арсеній Николаичъ жить широко и открыто. Покинуть эту систему въ брачномъ состояніи невозможно было. Да и служебныя цѣли—графъ получалъ въ двадцать разъ менѣе, нежели проживалъ, и не бралъ взятокъ, Боже оборони!—служебныя, скажемъ для фразы: честолюбивыя цѣли требовали большихъ издержекъ. Однажды, повѣривъ свой бюджетъ и не видя, въ чемъ бы обрѣзать себя, какъ бы устроить балансъ, графъ убѣдился, что доходовъ съ недвижимостей, къ которымъ, не забудемъ, сверхъ приданого бывшей княжны, пришло состояніе ея родителей, успѣвшихъ заснуть послѣднимъ сномъ,—оказывается для его прожитка недостаточно. Графъ съ нѣкотораго времени послѣ свадьбы зажилъ, можно сказать, на два дома. Держась того неподобнаго правила, что порядочному человѣку не имѣть же кучу дѣтей какъ какому-нибудь сапожнику, и питая нервическое отвращеніе къ дѣтскому крику, который всегда не во-время развлекаетъ дѣльца, Арсеній Николаичъ обзавелся метрессой, и эту метрессу, одну изъ извѣстнѣйшихъ французскихъ актрисъ, поставилъ на блистательную ногу. Мудрено было рѣшить, кто издерживаетъ больше: жена или любовница; на туалетъ и на собственную особу—вѣроятно, послѣдняя. Мы не будемъ винить Хвалынскаго въ этой слабости, или, точнѣе, считать его связь за слабость: Французенка, настоящій бѣсъ въ женскомъ платьѣ, приносила покровителю существенную пользу. У жины въ *petite-maison* графа Хвалынскаго, подъ предсѣдательствомъ амфитріона въ воланахъ и блондахъ, нерѣдко довершали побѣды надъ непреклонными распорядителями его честолюбивыхъ искательствъ; то, что подъ открытымъ пенатомъ, при яркомъ свѣтѣ дня, было вылазкой противъ непріятеля, здѣсь обращалось въ генеральное сраженіе:—маслина и лавръ благоденствуютъ, видно, не подъ одними метеорологическими условіями!

Итакъ, два дома, два полныя, широкія хозяйства съѣдали много денегъ, въ сущности для единственной цѣли—служебнаго успѣха. Подумаешь, чего можетъ стоить чинъ или крестикъ; во что обходится честолюбцу право стать неожиданно, на какомъ-нибудь церемоніалѣ, правѣе собрата,—наслажденіе узнать, что товарищъ, отъ зависти, долженъ былъ бросить себѣ кровь, или поставить пѣвки!

А тутъ еще, кромѣ двухъ хозяйствъ, сталъ подниматься на ноги сынъ: понадобились гувернеры, дорогіе учителя; еще немножко — и отроку предстояла необходимость въ особомъ экипажѣ, въ собственномъ штатѣ.

Что было дѣлать? долги?—казенныхъ на имѣніяхъ и такъ было довольно; частныхъ графъ боялся, находя, что они роняютъ инныя положенія.

Мы замѣтили, въ какой мѣрѣ графъ зналъ свѣтъ, то-есть свое общество. Не хуже, развѣ немногимъ, зналъ онъ и весь Петербургъ: сметливости, проницательности не занимать ему было.

И онъ остановился на средствѣ, къ которому, конечно, прибѣгалъ не первый изъ своей касты: — на игрѣ. Разумѣется, надо было играть и выигрывать, выигрывать и не слыть игрокомъ. И на это, при извѣстныхъ данныхъ, секретъ открыть давними примѣрами.

У графа съѣзжался, кто зачѣмъ и почему, такъ-называемый цвѣтъ петербургскаго общества, въ числѣ коего много людей богатыхъ и играющихъ. Домъ Хвалынскихъ всѣми считался за одинъ изъ первыхъ домовъ; мѣтръ-д'отель и поваръ графа Арсенія Николанча не только пользовались личнымъ уваженіемъ мѣстныхъ potentatovъ, но были, говорятъ, извѣстны и за пределами Русской земли: Шёвэ относился о нихъ съ уваженіемъ.

Какой же еще обстановки? Три раза въ годъ, можно прибавить, графъ давалъ балъ, на которомъ бывало тѣсно отъ однихъ дипломатовъ...

Оставалось, значить, найти инструментъ для игры, артиста, который бы умѣлъ вѣрнымъ и незамѣтнымъ образомъ вытягивать деньги и билеты изъ лучшихъ бумажниковъ.

За этимъ дѣло не стало. Современное общество представляетъ промышленниковъ всякаго рода, и надо воздать справедливость нашему микрокозму: въ немъ гораздо больше художниковъ школы виконта Гастона, нежели предполагаютъ близорукіе... Снилось ли вамъ когда-нибудь, очаровательныя царицы баловъ, расписанныя и накрахмаленныя богини нафабранныхъ Олимповъ, что часто, съ балетною граціею и театралною мечтательностію, въ полькѣ или вальсѣ, вы опирались на руку, только-что подготавливавшую гибель чьего-нибудь состоянія посредствомъ нѣжныхъ наколокъ или микроскопическихъ пятнышекъ на пятидесяти двухъ кусочкахъ разрисованной, гласированной и золотообрѣзной бумаги? Или вы, новѣйшая муза, замѣнившая тунику и цестъ кринолиномъ и гипюромъ, думали ли вы, что великолѣпный букетъ, поднесенный вамъ вашимъ поклонникомъ, кровная лошадь, на которой онъ, какъ бѣсъ передъ заутреней, изгибался передъ вами въ Лѣтнемъ саду, продукты его ручной фабрикаціи, — та же фальшивая монета?...

Многимъ ли и здоровымъ головамъ, не утратившимъ самодѣятельности мозга отъ вѣчнаго чада парфюмерій и каждаго имъ въ метафорическомъ смыслѣ, приходила мысль, что вотъ этотъ господинъ, такъ краснорѣчиво разсуждающій о болѣзняхъ вѣка, громящій лихоимство и неправду словомъ и перомъ, прямо отъ своей трибуны помчится обыгрывать пріятеля на какія-нибудь несчастныя сотни рублей?.. Увы! все это слишкомъ обыкновенно!..

Графъ Арсеній Николаичъ не затруднился найдти человѣка, какого ему нужно было. За первымъ отыскался другой, третій. И игра оказалась совершенно тѣмъ подспорьемъ, на которое рассчитывалъ графъ. Разумѣется, самъ онъ никогда въ ней не участвовалъ, продолжая только, какъ прежде, играть въ коммерческую по-дѣтской, то-есть по гривеннику фишку. Но лишь только Хвалынский былъ духомъ, то-есть тайно, противъ играющаго, выигрышъ графа былъ вѣрный.

Путемъ игры была пріобрѣтена имъ и Разградовка. Партнеру, ее выигравшему, на чье имя, конечно, была совершена покупка, графъ выплатилъ его долю и будто бы перекупилъ ее отъ него. Что сказалъ бы свѣтъ? Графъ слылъ за человѣка въ хорошемъ капиталѣ: что жъ ему мѣшало пріобрѣтать недвижимость?

Такъ, мало-по-малу, отъ подвига къ подвигу, отъ черныхъ волосъ къ крашенымъ, а отъ крашенныхъ къ чужимъ, графъ достигъ до шестидесяти лѣтъ. Ни разу до сихъ поръ не приходило ему на мысль—мы не скажемъ: опомниться, или покаяться: мы знаемъ, что эти понятія существуютъ скорѣе для потерянныхъ женщинъ, нежели для грязныхъ честолюбцевъ—ни разу до сихъ поръ не приходило ему на мысль, что его физическія силы не вѣчны и, кажется, довольно бы съ него безконечной возни, безперемежнаго мыканья. Графъ имѣлъ, какъ мы видѣли, три звѣзды, а числился во столькихъ министерствахъ и былъ членомъ столькихъ временныхъ и непремѣнныхъ комитетовъ, что сумма его вицполугафтановъ съ разными гербами и кафтановъ съ золотошвейными, на воротникахъ, эмблемами всевозможныхъ гражданскихъ доблестей, была бы богатымъ гардеробомъ для перваго благороднаго отца Французской Комедіи... еслибы на этихъ почтенныхъ подмосткахъ все-таки не разыгрывались по преимуществу три ветхія единства, требующія еще болѣе маскараднаго гардероба... Что же еще нужно было графу Хвалынскому?

Невообразимъ запой честолюбія, и во сто разъ хуже онъ всякаго другаго запоя: онъ также сопровождаетъ человѣка до могилы, какъ запой винный, несравненно болѣе всасываясь въ нравственный организмъ, нежели пьянство или развратъ становятся съ лѣтами болѣзненною потребностію физическаго.

Мелочное честолюбіе, разумѣется, тотъ же развратъ, но развратъ идеи, извращеніе всякаго нравственнаго принципа. И чѣмъ дальше, тѣмъ ужаснѣе. Чѣмъ больше подъ гору, тѣмъ скорѣе катится колесо: остановить его, и думать нечего!

У Хвалынскаго запой этотъ былъ давно. По его понятію не служить, а по нашему о немъ и его службѣ, не сидѣть въ извѣстные часы въ извѣстныхъ правительственныхъ учрежденіяхъ; не имѣть возможности то давнуть хорошенько, то подпереть; не получать бумагъ и не отвѣчать на бумаги; не проходить почти ежедневно цѣлымъ рядомъ комнатъ, гдѣ все при его появленіи, разумѣется, приподнималось; не рисовать себѣ въ перспективѣ еще звѣзду или иное вещественное награжденіе:— для него было все равно, что не жить. Всѣ неслужебные интересы, въ настоящія лѣта, были для него побочными; вѣрнѣе: всѣ они были и интересы лишь настолько, насколько содѣйствовали службѣ.

Но это безпромежуточное сосредоточеніе мысли на одномъ и томъ же предметѣ, влача за собою образъ жизни далеко не буколическій, вмѣстѣ съ самымъ—то образомъ жизни графа, нынѣшними безсонными ночами и минувшими невоздержностями, подтачивали здоровье и сильно уже подточили его. Шестидесять лунныхъ годовъ требовали разсчета въ нецеремонномъ, иногда совершенно—деспотическомъ обращеніи съ жизнію. Да еще надо было дивиться, какъ и въ такой мѣрѣ сохранился шестидесятилѣтній эпикуреецъ, даже и не толковый. Онъ, конечно, сохранился не такъ, какъ полагалъ свѣтъ, какъ казалось зрителямъ при лъстивомъ вечернемъ освѣщеніи, или при обманчивомъ полумракѣ, когда въ заговорѣ петербургскій день и искусство драпировщика; однакожъ, другой на мѣстѣ Хвалынскаго сохранился бы гораздо менѣе.

У графа была надежная оборона отъ физическихъ и нравственныхъ потрясеній, отъ всезадывающей силы времени: онъ имѣлъ отличный желудокъ и дурное сердце. Эти—то два, неоцѣненные въ его положеніи, дара, въ соединеніи со вспомогательными средствами, какія только можетъ доставить врачебная наука, до—нельзя изошренная и утонченная, и поддерживали организмъ Хвалынскаго. Лѣтомъ, сверхъ того, онъ непременно удалялся отъ Петербурга и старался обновиться то курсомъ водъ, то какими—нибудь купаньями, то просто деревенскимъ воздухомъ. До нынѣшняго года онъ проживалъ обыкновенно два—три мѣсяца за границей, а два раза ѣздилъ въ имѣніе, не далеко отъ Петербурга. На сей разъ докторъ съ намѣреніемъ прослалъ графа въ глушь.

— Всѣ эти воды и купанья, особенно заграничныя, говорилъ докторъ, — все это прекрасная вещь: бесспорно. Но бѣда въ

томъ, *qu'en s'abreuvant à ces fontaines de Jouvence*, никто не хочетъ совершенно забыть о другихъ источникахъ, изъ которыхъ черпать привыкъ. А это необходимо! Тутъ рулетка, курзаль, поваръ изъ Парижа, *und weiss der liebe Himmel was noch!*... Опять ваше петербургское имѣніе. Я знаю, что съ тѣхъ поръ, какъ нѣтъ рая въ Мессопотаміи, рай земной въ Болдинѣ графа Арсенія Николаича. Но оттого-то я и бѣжалъ оттуда, помните ли, третьяго года? Я — человѣкъ здоровый. Тотъ же городъ съ перемѣнной декорацией и безъ граниту... Нѣтъ, вы сдѣлайте вотъ что: вы поѣзжайте въ свои степи, *Sie haben ja Steppen, nicht wahr?* — вамъ только и нуженъ, что антифлогистическій режимъ деревенской жизни. Жарьтесь на солнцѣ, сажайте капусту, старайтесь довести цвѣтную до такого размѣра, какъ бываетъ она по ту сторону Босфора, купайтесь хоть въ грязной водѣ, не допускайте въ вашемъ *menu* трюфеля и сой, изгоните на время ростбифы и бифтексы... Знаете что? не хотите ли мнѣ оставить *Monsieur François?*

Графъ сдѣлалъ гримасу. Докторъ продолжалъ:

— Ну, ну, Богъ съ нимъ! Пусть прокатится къ берегамъ Понта Евксинскаго. Только нельзя ли, чтобъ онъ оставилъ здѣсь и половину своего инструмента и девять-десятыхъ своего искусства?... И для графини прогулка будетъ полезна: ея дискразіи тѣ же, что и ваши, — немножко послабѣе можетъ-быть. И ей нужно освѣжиться, *se retremper pour tout de bon*, отдохнуть отъ стеариноваго свѣта, отъ тлетворныхъ испареній, ото всѣхъ этихъ благъ нашей цивилизации, вслѣдствіе которой мы скоро будемъ жить только при газѣ, а днемъ, при солнечномъ свѣтѣ, спать, хотя нашъ климатъ мало напоминаетъ Персію, и даже Астрахань... Да не берите съ собой книгъ, газеты запретите высылать... вотъ вамъ моя инструкція. Спите, зѣвайте... и, когда вернетесь, посмотримъ, что скажетъ *Mademoiselle*...

Докторъ договорилъ вполголоса. Естественнo, отъ него не было тайнъ у Хвалынскаго во всемъ, что касалось его физической жизни.

Такимъ-то образомъ, вслѣдствіе докторскаго спича, оконченнаго сильною мыслію, по совѣту древнихъ риторовъ, отлично знавшихъ сердце человѣческое, — графъ Арсеній Николаичъ съ супругой, сыномъ и Англичанкой, очутился въ Разградовкѣ. Кстати было и взглянуть на имѣніе, котораго со дня пріобрѣтенія не видалъ.

...Необходимо теперь сказать хоть что-нибудь о графинѣ.

Мы были неумолимы къ графу. Будемъ же справедливы и къ его супругѣ.

Но во-первыхъ мнѣніе свѣта.

Графиня считалась неоцѣненной хозяйкой дома. За искусство *de tenir salon* ее повсемѣстно цитировали. Въ кляузныхъ свѣтскихъ случаяхъ приговоръ Марьи Сергѣевны рѣшалъ дѣло безапелляционно. Тайну туалета, утверждали знахарки, она постигла до-того, что первѣйшія модистки столицы являлись къ ней за совѣтами и на поклоненіе. Гдѣ графиня Хвалынская посадила бантъ, тамъ, ужъ навѣрное, предопредѣлено было самою природою сидѣть банту. Тонкіе цѣновники человѣческихъ способностей, свѣтскіе черепословы, позволяли себѣ предположеніе, что безъ Марьи Сергѣевны Арсенію Николаичу не бывать бы тѣмъ, чѣмъ его знали: такъ, видно, сателлитъ возвращалъ своему солнцу получаемый свѣтъ съ признательною лихвою... На балахъ своихъ графиня положительно уподоблялась феѣ: какъ сильфъ облетала она весь домъ и всѣхъ, и для каждого гостя было у нея внимательное слово, или по крайней мѣрѣ очаровательнѣйшая изъ улыбокъ. Правда, никто никогда не зналъ, что сказала графиня; никогда не приписывалось ей ни мѣткое слово, ни счастливое выраженіе; но не за то ли и превозносили ее въ особенности женщины, завистливыя несравненно болѣе мужчинъ, великодушно покровительствующія гладенькой посредственности и всегда готовыя, съ остервенѣніемъ фурій, топтать въ грязь ту изъ своихъ сестеръ, которая выше ихъ по небесному дарованію, которая выходитъ изъ-подъ уровня самой пошлой дюжинности, которая, однимъ словомъ, не похожа на всѣхъ, имѣя смѣлость быть не тѣмъ, чтó всѣ?... Наружность графини была тоже одною изъ тѣхъ наружностей, которыя ни въ какія лѣта не бросаются въ глаза, стало-быть ни подъ какимъ видомъ никому не опасны. До настоящаго времени она сохранилась ровно настолько, насколько должна была сохраняться лимфатическая натура, не имѣвшая въ жизни ни серьезныхъ интересовъ, ни особенныхъ волненій, ни опасныхъ болѣзней, и, разумѣется, не отказывавшая себѣ никогда въ содѣйствіи внѣшней гігіены, довольно-давно уже усовершенствованной до-нельзя. Потеряна тайна какой-то косметической росы, отъ которой юнѣла Никонъ дѣ Ланкло, какъ утраченъ рецептъ греческаго огня, отъ котораго неотразимо гибли цѣлыя армады; но если изобрѣтены бомбы, летящія за географическую милю, мы не хотимъ оскорблять человѣчество предположеніемъ, чтобы не существовало давно чего-нибудь взаимнѣ росы... Покуда, господа кавалеры, вставьте когда-нибудь въ ваши лорнеты сильно-увеличивающія стекла и займитесь на балѣ разсматриваніемъ женскихъ лицъ: ручаемся, что доглядитесь до интересныхъ явленій, — доищитесь и инфузорій!...

Графинѣ было пятьдесятъ лѣтъ, чего не казалось на балѣ, не

казалось и утромъ, потому что въ Петербургѣ: дома, утро ея для поспѣвателей начиналось въ два часа, а сценою были маленькая гостиная и кабинетъ, въ которыхъ глазной операторъ не задумываясь учредилъ бы офтальмическую палату, а въѣ дома, на улицѣ, кромѣ лѣта, всѣ тамъ зелены, крашено или не крашено лицо... ужъ это Богъ знаетъ почему. Оттого зеленый зеленому не кажется зеленымъ, или все та же притча, что воронъ ворону глазъ не клюетъ... За то, если завидять лицо менѣе зеленое, которое сейчасъ же кажется дерзко-бѣлымъ, какъ въ царствѣ слѣпыхъ, по французской пословицѣ, кривой непременно прослыветъ совершенно-зрячимъ, — какъ-разъ готовы сдѣлать изъ бѣлаго черное и Богъ знаетъ что выпустить противъ эпидермы, не поспѣвшей принять общій колоритъ.... Подышите-ка посреди подобныхъ замысловатостей, добрые провинціальные читатели, да попробуйте не задохнуться!...

Отдадимъ честь графинѣ: она не скрывала своихъ лѣтъ. Настолько было у ней ума, и въ особенности такта. Пустякъ, неправда ли, естественное дѣло? То-то, что нѣтъ, господа. Въ свѣтѣ всѣ скрываютъ лѣта, не только женщины, и въ томъ числѣ матроны, матери семействъ, — мужчины, а изъ нихъ весьма, казалось бы, умные. Иной и министръ уже, или глядитъ въ министры, и скажетъ вамъ, пожалуй, конфиденціально, сколько въ нынѣшнемъ году дали ему откупа, или такія-то оброчныя статьи, а лѣтъ его не узнаете отъ него и пыткой. Это, изволите видѣть, одна изъ глубокомысленнѣйшихъ тайнъ логики!

...Отъ оффиціального аттестата графини Хвалынской и ея наружности перейдемъ къ тѣмъ даннымъ ея жизни, которыя извѣстны намъ однимъ, да развѣ еще очень немногимъ.

Княжна Марья Зѣлинцева была съ дѣтства дрессирована по тѣмъ же руководствамъ и системамъ, по какимъ и въ наше прекрасное время препарируются существа женскаго пола для русской high-life: разница въ томъ, что теперь приемы еще рафинованнѣе и больше противъ прежняго запросу на разработку попугайчихъ способностей, а также на знаніе теоріи биржевой игры, кредита и вообще на намѣтанный финансовый взглядъ... Ложь, безстыдство, ужимки, гримасы, все это подъ другими названіями; циническій скептицизмъ и грубое суевѣріе, подъ общимъ видомъ благочестія; раболѣпство передъ модою, въѣшнимъ обычаемъ, закономъ свѣта; съ этимъ, разумѣется, тотальное отреченіе личности; сонливость ограниченного ума и вѣчная бдительность самой пошлой хитрости: таковы были съ моральной стороны безподобныя составныя начала княжны въ двадцать лѣтъ, какъ водится, перетолченные и простѣянные. На цѣлое персоны, нравственной и физической, ужъ конечно, было наведено лаку столько, сколько наводится на перекрашенную и

замазанную карету, назначенную для плутовской продажи. Процедура называлась, а при небольшихъ улучшеніяхъ называется и теперь, блистательнымъ воспитаніемъ.... Казалось бы, и самому слабому біенію жизни гдѣ было просочиться тутъ?

Между тѣмъ, у княжны былъ романъ, какъ мы мимоходомъ и слышали.

Безцвѣтность ли окружавшей ее сферы, которой сознаніе, впрочемъ, врядъ ли могло пробудиться въ ней и на минуту, или незаглушимая никакими человѣческими силами природная потребность заплатить хоть разъ въ жизни дань божественному происхожденію — это мы предполагаемъ съ нашей точки зрѣнія, — то ли другое, но княжна, какъ бы вдругъ преобразившись, сдѣлавшись живымъ существомъ, дѣйствительно отличила въ обществѣ одного молодого человѣка. При каждой новой встрѣчѣ все сильнѣе плѣнялъ онъ ея вниманіе, и воображеніе — мы боимся сказать: сердце — привязалось къ нему. Молодой человѣкъ былъ очень хорошъ собой, и, по истинѣ, сколько наружностію, столько по всѣмъ своимъ качествамъ, годился въ герои любого романа, даже и не свѣтскаго, то-есть не приторнаго, не скучнаго. Съ восторгомъ бросилась бы ему на шею не одна аристократическая миссъ, но по несчастію персонажъ былъ лишенъ самыхъ существенныхъ прелестей, узаконивающихъ или по крайнемѣрѣ оправдывающихъ въ свѣтѣ энергическіе порывы: громкаго имени и хорошаго состоянія. Юноша и въ свѣтѣ являлся не болѣе какъ въ качествѣ дальняго родственника одного значительнаго лица, покровительствуемый чуть-что не изъ состраданія. На этомъ основаніи и княжна Марья Сергѣевна не позволила себѣ строить на своей склонности воздушные замки. Привязанность ея, какова бы ни была она, во всякомъ случаѣ никогда бы не управилась со страхомъ передъ уставленнымъ порядкомъ. Всѣ природныя біенія давно были подавлены привилегированными корсетами, не стѣснительными для единственнаго обряда — поклоненія свѣтскому идолу.

Мы уже знаемъ, что предпочтеніе къ недостойному серьезныхъ брачныхъ видовъ, не помѣшало княжнѣ отдать руку и довѣрить будущность графу Хвалынскому. Такъ и слѣдовало по даннымъ ея прошлаго, по всѣмъ требованіямъ среды. Если когда въ одинокомъ снѣ и случалось ей вдругъ призвать отличный ею образъ, обольстительный во всѣхъ отношеніяхъ, она, тѣмъ не менѣе, покорилась законному властелину безъ горя, безъ печали объ утрачиваемомъ или отдаляемомъ идеалѣ. Гораздо болѣе: ни бѣдной дѣвичьей слезинкой не подарила она его, или свое чувство. Свѣтская дрессировка оставляетъ способность плакать о тряпкахъ, по поводу неудавшагося бала, надъ благо-разумнымъ отказомъ мужа въ исполненіи какихъ-нибудь черезъ-

чуръ нелѣпныхъ фантазій, вообще о вещахъ, раздражающихъ мелочное самолюбіе чисто-внѣшнимъ образомъ, какъ горчишникъ раздражаетъ кожу: отнюдь не выше.

Однакожь, выйдя замужъ, Марья Сергѣевна не переставала видаться съ бывшимъ избранникомъ ея вниманія. Насколько онъ былъ занятъ ею, до этого намъ нѣтъ никакого дѣла. Съ насъ достаточно, что въ нѣкоторый вечеръ, годъ съ небольшимъ послѣ свадьбы, она очутилась въ его объятіяхъ самымъ несомнѣннымъ образомъ, самымъ положительнымъ и матеріальнымъ.

Въ какихъ-то мемуарахъ временъ французскаго Регентства, этой спеціальной школы новѣйшаго эпикуреизма, намъ попало однажды такое опредѣленіе: «въ первый разъ женщина любитъ изъ любопытства, во второй отъ скуки, въ третій изъ признательности, а далѣе.... какъ случится.» Помнится, опредѣленіе приписывалось маркизъ дѣ Парабѣръ, извѣстной возлюбленной Филиппа Орлеанскаго. Мы знаемъ цѣну ума и даже нравственности маркизы сравнительно со всѣми другими героинями нечестивой галлерей знаменитыхъ прелестницъ XVII и XVIII вѣковъ, но, въ душевной простотѣ нашей, мнѣніе женщины, хотя доброй, умной и не лживой, не раздѣляемъ. Какъ въ Бога, солнце любви и ея источникъ, мы вѣримъ, во-первыхъ, что нормальный человѣкъ, мужчина или женщина — все равно, можетъ любить серьезно только разъ въ жизни, а во-вторыхъ, что ни любопытство, ни скука, ни признательность, ни одно изъ этихъ мало сказать прозаическихъ, тривиальныхъ побужденій не способно родить возвышеннѣйшаго и благороднѣйшаго изъ чувствъ; прибавимъ: мы и не знаемъ, что родить его. Любопытство, скука, признательность могутъ произвести любовь къ нумизматикѣ, къ щенку, къ плеванію въ потолокъ... все это мы считаемъ возможнымъ и готовы уважать; но... настоящую любовь!... Что родило любовь Джульетты къ Ромео и Ромео къ Джульеттѣ?...

Что же родило склонность княжны Зѣлинцевой къ интересному юношѣ? Что это была за склонность со стороны существа, въ-конецъ изломаннаго, до послѣдней фибры извращеннаго? А что еще важнѣе, почему отдалась ему графиня Хвалынская? Слѣпцы относительно многихъ апогеѣвъ эпикуреизма, мы этихъ вопросовъ не умѣемъ рѣшать, для того и прячемся за вѣскій авторитетъ исторической эмпиристки, предоставляя каждому взять отъ него, что найдетъ болѣе идущимъ къ дѣлу. Не такъ ли, скажите, поступаютъ въ затруднительныхъ случаяхъ ученые? А намъ, не ученымъ, почему же не воспользоваться поучительнымъ примѣромъ?

.... О связи графини, вопреки существующему повѣрью, графъ

узналъ прежде нежели кто-либо. Оттого, конечно, свѣтъ не провѣдалъ о ней ничего положительнаго.

Никакой драмы не произошло между супругами. Ни минуты не любивъ жены, не уважавъ ея даже самымъ мѣщанскимъ образомъ, безстыдный матеріалистъ въ идеальномъ совершенствѣ понятія, Арсеній Николаичъ и за себя не оскорбился. Артуръ былъ красавецъ собой, имѣлъ все, чтобы подѣйствовать и на воображеніе, и на чувственность: женщина, по мнѣнію эпикурейца, должна была отдаться. Графъ и не претендовалъ на жену, тѣмъ болѣе, что до сихъ поръ всѣ приличія были строго соблюдены.

Но все-таки представлялась необходимость въ небольшомъ объясненіи, по весьма уважительнымъ причинамъ. Хвалынскій резюмировался въ нѣсколькихъ словахъ.

Какъ нельзя спокойное усѣвшись возлѣ графини, въ ея будуарѣ, онъ съ самой любезной миной выразился такъ:

— Я очень радъ, что засталъ васъ, графиня. Мнѣ надо было сказать вамъ два слова. Прошу не претендовать. Въ супружествѣ встрѣчаются вопросы, которые лучше разъяснить однажды навсегда.... Я знаю вашъ капризъ....

Графиня еще мало бѣлилась: ей было едва ли двадцать пять лѣтъ.... Она поблѣднѣла, потомъ ее бросило въ жаръ.

— Бога ради, *ne nous rendons pas ridicules, ou je serais capable de me fâcher, je crois. Que diable, madame, me prendriez-vous pour un cadet de Gascogne? Ou voudriez-vous la reprise de Paul et Virginie par le couple Chwalinsky?*... Итакъ, выслушайте меня: я только объ этомъ и прошу.... Я знаю вашъ капризъ. Я все знаю. Мнѣ до этого нѣтъ никакого дѣла. *Vous êtes dans votre droit, je vous l'accorde.* Но вотъ исторія: пойдутъ дѣти, а этого я не хочу... *Passe pour celui là* — графъ взглянулъ по направленію исподней части графининой талии: — тутъ можетъ быть и мой грѣшокъ. Но окружить себя дѣтьми, по образу библейскаго патриарха или нѣмецкаго ремесленника, я не намѣренъ, и.... отъ своей заслуги. Это просто непристойно. Если вамъ угодно обречь будущихъ потомковъ воспитательному дому, я опять молчу: ваше дѣло. Однакожь, вотъ еще чего не теряйте изъ виду: старайтесь мѣнять чичисбеевъ — иначе на васъ, стало-быть и на меня, будутъ показывать пальцемъ, чего, какъ вы знаете, я не допущу. Я бы вамъ предложилъ совѣтъ одного очень умнаго, очень практическаго человѣка: взять десять любовниковъ разомъ.... Но это иногда подвергаетъ опасности здоровье, и, во-вторыхъ, мы живемъ, увы! не при Филиппѣ Орлеанскомъ! Наше время, имѣющее претензію, что заткнуло за поясъ прошедшее во всѣхъ отношеніяхъ, судить безпрестанно о мелочахъ съ такою

докторальною, въ сущности же глупою, строгостію, что мы по-неволѣ въ тискахъ. Чтѣ прикажете дѣлать! Не плыть же противъ теченія.... Последнее слово. Настоящаго вашего рыцаря надо теперь же удалить, и если нужно будетъ, я употреблю мои связи, чтобы начальство дало ему порученіе куда-нибудь. Если онъ временно стѣсненъ въ средствахъ, мы и это округлимъ.... будьте покойны: онъ не узнаетъ откуда и кто. *Oh! les procédés avant tout!* Довольно объ этомъ. Я надѣюсь, вы не забыли, мы сегодня въ театрѣ: первое представленіе «Бронзово-го Коня».

Графъ поклонился и вышелъ.

Графиня осталась ни жива ни мертва. Вечеромъ она сидѣла въ своей ложѣ, разодѣтая и разубранная.

Черезъ три дня не стало въ Петербургѣ ея любовника, и, вѣроятно ли? она не посвятила ему и полувздоха. Только мѣсто, которое онъ предпочтительно занималъ въ ихъ *tête-à-tête*, по временамъ напоминало о немъ.

Вскорѣ явился на свѣтъ плодъ ея связи: сынъ; мы не станемъ разбирать, кому принадлежалъ эмбрионъ, но лишь черты ребенка начали обозначаться, въ семействѣ Хвалынскихъ завелся живой, почти вылитый портретъ графинина Малекъ-Адея; глаза и цвѣтъ волосъ были, однакожъ, материнскіе, и это успокоило графа относительно свѣтскихъ толкованій.

И ни разу, послѣ объясненія, не намекнулъ онъ даже графинѣ о дѣлѣ, подавшемъ поводъ къ нему. Въ тотъ же день, чтобы, такъ сказать, закончить свою рѣчь и отрѣзать ее отъ дальнѣйшаго, имъ была поставлена точка и сдѣлано тире: графиня, одѣваясь въ театръ, нашла на своемъ туалетѣ драгоценный колльѣ, о которомъ за нѣсколько дней до того проговорила. Холодными, какъ бы не ей принадлежавшими, губами улыбнулась она, идя садиться съ мужемъ въ карету,... и нога мушины, развѣ близкаго родственника, или ея башмачника и мебельщика, не переступала болѣе за порогъ ея маленькой гостиной, равнони одинъ мужской образъ никогда болѣе не представлялъ той части ея воображенія, которая находится въ соотношеніи съ сердцемъ и съ чувственностію.... Если бы мы умѣли, хоть случая ради, поддержать на точкѣ зрѣнія недавно еще модныхъ французскихъ романистовъ, мы, съ добродушіемъ ихъ утилитарнаго оптимизма, посовѣтовали бы всѣмъ мужьямъ въ положеніи графа Хвалынскаго брать примѣръ съ него, чтобы застраховать свои супружескія права отъ физическихъ посягательствъ, но, недостойные послушники этого ученія, мы не имѣемъ притязанія изъ трагическихъ событій извлекать практическіе рецепты для другихъ....

Маленькое домашнее приключеніе—такъ титуловалась въ

лексиконъ графа уличенная невѣрность графини—завязало мертвымъ узломъ права мужа надъ законною рабыней—женою. Этимъ, говорилъ себѣ Хвалынский, онъ такъ—сказать закрѣпилъ актъ покупки графини, какъ бы мусульманинъ на одномъ изъ базаровъ Востока. Отнынѣ онъ могъ водить ее на ниточкѣ, безопаснѣе и смѣлѣе нежели Нижегородецъ водить на плохой цѣпи слѣпago медвѣдя, у котораго обрублены ногти, опилены зубы, а цѣпь прикрѣплена къ губѣ. Въ дѣйствительности и нитки не нужно было. Съ минуты объясненія—должно не забыть, что графъ и сыну обрадовался со всѣми пріемами, довлѣющими подобному происшествію въ его положеніи, и держалъ ребенка какъ своего, — графиня, для наблюдателя, не останавливающагося на внѣшности, окончательно уничтожила свою личность: сдѣлалась автоматомъ мужа. Вся жизнь ея, какъ и каждый отдѣльный день, явилась воспроизведеніемъ его мысли, совершенно также какъ дѣйствія хореографа суть воспроизведеніе мысли балетнаго либреттиста. Графъ въ душѣ не могъ нахвалиться женой: она служила его цѣлямъ, какъ ни одна ученая собака не служить фокуснику; она не только понимала знаки хозяина, она угадывала его планы. И онъ дѣйствительно не обошелся бы безъ нея. Собственное же существованіе ея, насколько у ней уцѣлѣло собственности, отлично наполнялось внѣшними событіями свѣтской суеты, такъ что за ней до сихъ поръ не завелось ни малѣйшаго предпочтенія, не то чтобы пристрастія къ чему-нибудь, хоть мнимому или невинному. Это объясняется, разумѣется, природною безстрастностію, добытой неразрывнымъ странствіемъ объ-руку съ волей, поглощавшей все. Впрочемъ, въ томъ, что касалось лично ея, ея издержекъ, ея времяпрепровожденія внѣ нужныхъ случаевъ, графиня пользовалась неограниченной свободой, и ни малѣйшей повѣрки ея дѣйствій не существовало. Не было, значить, никакихъ видимыхъ примѣтъ зависимости.

И свѣтъ находилъ несчастную образцовою хозяйкою дома, а иногда обращался къ ней какъ къ оракулу...

Такъ, безъ малаго двадцать пять лѣтъ пронеслось надъ четою Хвалынскихъ — никто не видалъ и облачка. Малекъ—Аделя и слѣдъ простылъ, а слуха о немъ не было съ тѣхъ поръ, какъ онъ выѣхалъ изъ Петербурга: можетъ—быть, онъ умеръ. Графиня этого вопроса не задавала себѣ ни разу.

Въ званіи компаньонки уже около десяти лѣтъ состояла при Марѣ Сергѣевнѣ Англичанка миссъ Брайнтъ. Пуританка во всемъ, что относилось до ея личной нравственности, въ остальномъ она была эхомъ дома и семьи, которая, нужно замѣтить, въ отсутствіи постороннихъ сыпала и звуки не щедро. Хвалынскіе, со включеніемъ сына, теперь двадцати-пятилѣтняго,

сходились мало наединѣ, или сходились на мгновеніе. Миссъ Брайнтъ была почти ровесница Марѣ Сергѣевнѣ, но казалась старше: это принадлежало къ ея роли, къ ея обязанности. И заслуги тутъ искать нечего: тѣлесно и нравственно сложенная какъ морской сухарь, она, казалось, и родилась не молодою, предназначаемая природою на долгое употребленіе разными лицами и одаренная, поэтому, всѣми качествами хорошей англійской вещи: прочностію, укладливостію, удобностію и какъ бы намѣренною безжизненностію формы. Молодиться искусственно, подобно Русскимъ и Француженкамъ, не входило въ ея міросозерцаніе. Миссъ Брайнтъ никогда не была больна, ни одного дня не вставала минутой позже девяти часовъ, ни разу не пропустила воскресной службы въ своей церкви, разумѣется, когда жила въ Петербургѣ, имѣла въ голосѣ всего двѣ ноты и не переваривала только щей, гречневой каши, ржаного хлѣба и квасу. Желаніе или мнѣніе—рѣдко кто слышалъ отъ нея. Она сопровождала графиню, куда графинѣ угодно было, или ѣздила по ея порученію; сидѣла въ маленькой гостиной, обыкновенно на одномъ и томъ же мѣстѣ, изрѣдка за работой, больше за книгой, въ ожиданіи, когда нужно будетъ встать за чѣмъ—нибудь: чтобы идти обѣдать, разливать чай, спать или ѣхать; во время торжественныхъ обѣдовъ и пріемовъ помогала прислугѣ взглядами и жестами. За чайнымъ столомъ миссъ Брайнтъ была незамѣнима: она, не сморгнувъ бровью, напоила бы всю макарьевскую ярмарку, а сандвичи дѣлала такъ, какъ врядъ ли подають ихъ у самой королевы Викторіи. Глубокій знатокъ въ дѣлѣ комфорта, графъ цѣнилъ миссъ Брайнтъ не менѣе, нежели своего повара—Француза. Графиня привыкла къ ней какъ къ воздуху и свѣту, и, когда, поднявъ глаза, не встрѣчала ея на протяженіи своего горизонта, тотчасъ звонила и приказывала просить миссъ Брайнтъ. Удивительно, какъ миссъ Брайнтъ не попала на всемірную лондонскую выставку въ числѣ новоизобрѣтенной домашней утвари!

Дорываться до чего—нибудь въ ея прошломъ, искать признаковъ нерастительной жизненности подъ этой патентованной оболочкой, — не повело бы ни къ чему, да и не нужно намъ.

III.

У такого—то очага, вблизи трехъ восковыхъ препаратовъ, въ убійственной атмосферѣ скуки, холодности, систематической лжи и притворства,—выросла и разцвѣла прекрасная, благородная, симпатическая фигура молодого Хвалынского.

Природѣ не учиться чудесамъ; не привыкать и человѣку къ ея старой замашкѣ вдругъ сбить съ толку предвѣдѣнія и выводы, построенные на строгихъ логическихъ посылкахъ.

Но здѣсь не было и чуда, а основывать, въ этомъ случаѣ, ожиданіе отъ сына на характеръ и взглядахъ родителей, на мнѣніи о нихъ, могли бы единственно тѣ умственно-слѣпые аристархи, которые считаютъ за величайшій комплиментъ молодому человѣку, когда скажутъ ему въ двадцать пять лѣтъ:— «Ну, любезный другъ Иванъ Петровичъ, не нарадуюсь: куда ни поверни, вылитый Петръ Ивановичъ, вылитый отецъ!»—Аристархъ воображаетъ, что подарилъ Ивана Петровича золотой гривной; а спросите—ка Ивана Петровича?... Да впервыхъ Иванъ Петровичъ, можетъ, хочетъ прежде всего быть Иваномъ Петровичемъ?... Вбейте же это въ голову Аристарху: потрудитесь.

Наружностію графъ Николай Арсеньичъ наслѣдовалъ все отъ бывшаго любовника матери, кромѣ цвѣта волосъ и глазъ, а эти двѣ принадлежности были лучшія въ лицѣ графини. Складъ, движенія, нѣкоторыя ухватки, отчасти голосъ — напоминали Малекъ-Аделя, который, не взирая на пренебреженіе къ нему свѣта по причинамъ, отъ насъ не закрытымъ, представлялъ почти идеальное соединеніе всѣхъ чертъ, свидѣтельствующихъ, лучше всякой метрики, о чистотѣ породы и крови. А мы вѣримъ въ породу и въ кровь, — да простятъ намъ суровые демагоги, выбивающіеся изъ силъ, чтобы попасть въ статскіе совѣтники и льстящіеся на знакомство съ генеральшами и вчерашними графами! Мы вѣримъ и въ невидимыя, вѣрнѣе: неосязаемыя достоинства породы и крови: въ рыцарскую доблесть, въ аристократическую либеральность, въ неистощимое великодушіе, въ неисчерпаемую щедрость, въ непреклонность неизмѣнную, въ несокрушимую до послѣдняго вздоха преданность убѣжденію, каково бы ни было оно, въ рыцарское благоговѣніе передъ женщиной... И какъ же не будемъ мы вѣрить всѣмъ этимъ внутреннимъ примѣтамъ породы и крови въ человѣкѣ, когда вѣримъ нематеріальнымъ достоинствамъ породы и крови у животныхъ, у лошади, на примѣръ?... Будемте послѣдовательны, господа; будемте консеквентны по крайней мѣрѣ какъ покойный «Маякъ», по выраженію Бѣлинскаго!

При образѣ жизни Хвалынскихъ, ихъ воззрѣніяхъ и занятіяхъ, естественно, что заботы родителей о сынѣ были чисто-виѣщія. Платить деньги нянькамъ, гувернанкамъ, гувернерамъ, учителямъ, портнымъ и сапожникамъ: въ этомъ заключалась обязанность графа Арсенія Николаича, и, надо сказать, онъ былъ неутомимымъ казначеемъ. Графинѣ оставалось дарить конфеты, игрушки, альбомы, да иногда преподать вскользь урокъ условной граціи, свѣтской округленности. Порядокъ

вещей, съ виду преступный, и спасъ счастливую натуру съ самыхъ первыхъ шаговъ ея. За деньги случается достать хорошаго педагога, попадаются на томъ же условіи добросовѣстные и дѣльные учителя: судьба съ этой стороны баловала молодого Хвалынскаго — онъ имѣлъ больше хорошихъ наставниковъ, нежели дурныхъ. Восемнадцати лѣтъ, какъ будто и не существовало для него родительскаго вліянія, онъ смотрѣлъ на жизнь честно, если и смутно еще, былъ не прочь отъ труда, чуждъ великій смыслъ науки, бѣгалъ за художественнымъ впечатлѣніемъ, благоговѣлъ предъ поэтическимъ образомъ, вѣрилъ, какъ въ Бога, благодатнымъ идеаламъ добра, правды, красоты. Это былъ сосудъ непорочный, свѣтлый, прозрачный, въ который грѣшно стало бы жизни вливать что-либо, кромѣ нектара.

Самъ Арсеній Николаичъ, при всей своей безконечной безнравственности, не находилъ силы не любоваться безподобнымъ юношей, а гордиться имъ, какъ бы своимъ дѣломъ, не пропускалъ случая при постороннихъ. Марья Сергѣевна была счастлива глядя на изящныя формы сына; быть-можетъ имъ-то когда-нибудь далекій, или уже и умершій, наперсникъ могъ считать себя одолженнымъ мимолетнымъ воспоминаніемъ. Робкая отъ природы, высушенная опытомъ, фантазія графини строила, однако, въ будущемъ планы относительно блистательнаго мѣста, какое сынъ займетъ въ модномъ свѣтѣ, и какъ, своими вѣнками, разумѣется не академическими, утѣшить ея старость. Миссъ Брайнтъ смотрѣла на молодого Хвалынскаго какъ на образцовый экземпляръ будущаго джентльмена: она кланялась ему, съ третьяго свиданія, всегда будто Алкивиаду. Арсеній Николаичъ, съ своей прозорливостію, подглядѣлъ, конечно, въ Николаѣ зародыши наклонностей, не отвѣчавшихъ его требованіямъ: восторженность, нѣкоторую страстность и несомнѣнную способность къ увлеченію; но мудрецъ предоставлялъ себѣ развести понемногу эти непримѣнимыя, по его мнѣнію, данныя своими началами, да и вѣрилъ отъ души — насколько у него ея было, — что сама жизнь, своею холодною волною, озаботится залить бесполезное пламя, что считалъ со стороны жизни общимъ закономъ и величайшимъ благодѣяніемъ, — забывъ когда и продалъ себя ей, когда и заключилъ безусловный договоръ, подписанный кровью.

Тутъ, значить, предстояло начаться ядовитому вмѣшательству отчихъ доктринъ. Но.....сынъ поступилъ въ университетъ.

Избранная натура не только достаточно раскрылась къ воспріятію благодѣтельнаго свѣта науки, подобно цвѣтку, въ опредѣленной частъ раскрывающемуся навстрѣчу небесной ростъ, но, по закону притяженія однородныхъ, столь замѣтному и въ нрав-

ственномъ мірѣ, она умѣла и между сверстниковъ отыскать достойнѣйшихъ, наиболѣе ей сочувственныхъ. Конечно, оказались въ выборѣ и такія личности, на которыя не могутъ безъ ужаса взирать родители въ родѣ Хвалынскихъ, о которыхъ благовопитанныя дамы, иногда и несовѣтъмъ глупыя, отзываются какъ о каторжникахъ: бѣдняки безъ перчатокъ, отпѣтые невѣжды въ танцахъ и иныхъ свѣтскихъ ухищреніяхъ, даже презрѣнные поклонники нѣмецкой философіи, безпутные любители копѣчныхъ сигаръ и пива. Сказать по горькой правдѣ, къ этой не живописной снаружи категоріи принадлежали почти всѣ тѣ, къ кому потянуло нашего новобранца. Фигуры, съ виду и по рожденію одного съ нимъ пошиба, не имѣли, за ничтожными исключеніями, ничего общаго съ нимъ, ничего для него привлекательнаго: отъ нихъ пахло ему восковыми херувимчиками, передъ которыми, какъ сенситива, ёжился онъ съ ранняго дѣтства, и тогда уже предпочитая стоять передъ бѣлой, для ребенка казалось бы совершенно мертвой, статуей. И какъ завитые, лоснящіеся волосы нарядныхъ товарищей напоминали ему бумажные листья дорогихъ вербъ, составлявшихъ, когда ему въ дѣтствѣ дарили ихъ, предметъ нескончаемыхъ состязаній между горничными!...

Любимцы молодого Хвалынского были не нарядны и не щеголеваты, но все горячія или дѣльные головы, съ высоты своей бѣдности взиравшія вдаль сквозь призму первыхъ наитій знанія. Вѣра въ будущее освѣщала имъ путь невидимымъ огненнымъ столбомъ. Сердца ихъ бились подъ ладъ сердцу Николая Арсеньича. Связь между ними заключилась мгновенно, какъ всегда бываетъ въ юности. Взаимно поддерживая ихъ, она-то, вмѣстѣ съ самой наукой, оградила Хвалынского отъ заразы, ожидавшей его дома и въ свѣтѣ. Что бы ни говорилъ безпутный отецъ, что бы ни лепетала кукла-мать, что бы ни трезвонили салонные ораторы и бальныя корифейки, все заглушало университетское вліяніе: рѣчь, книги, люди, подобно тому какъ октава какого-нибудь *basso profondo* покрываетъ цѣлый оркестръ...

И вотъ неоцѣненное преимущество мужчины передъ женщиной, юноши передъ дѣвушкой! Последней куда дѣваться отъ зловредныхъ впечатлѣній? гдѣ и въ комъ найти оплотъ отъ пошлости исповѣдуемой, проповѣдуемой и разыгрываемой передъ нею съ утра до вечера? Она въ церковь не можетъ выйти безъ конвоя гувернанокъ и лакеевъ; она записки не получить, которая не прошла бы черезъ руки кровнаго или наемнаго цензора; о книгахъ и говорить смѣшно. Пусть войдетъ къ ней въ комнату подруга: если ихъ оставить однихъ, будьте благонадежны, за какой-нибудь перегородкой подслушиваетъ

гувернанка, и не понимаетъ гувернанка порусски, не смѣй и пикнуть порусски! Съ тѣмъ же вмѣстѣ, до дня обрученія, перевались дѣвственницѣ, процвѣтающей въ родительскомъ домѣ, за тридцать лѣтъ, ее ни за какія блага въ мірѣ не оставлять въ гостинной наединѣ съ мущиной моложе семидесяти лѣтъ и не-двоюроднымъ братомъ: — лучшая оцѣнка самими воспитателями правилъ, ими внушаемыхъ, и ихъ прочности, да ужъ кстати достойный аттестатъ мужчинамъ, допускаемымъ въ общество, то-есть въ такъ-называемый свѣтъ.

Какъ это назвать, милостивые государи? — Мы обращаемся къ партеру. — Неужели эти дикости не выведутся никогда, — не истребятъ ихъ наводненія, пожары, войны, катаклизмы?

Мудрено ли, что у безпутной матери дочь безпутная?

Но, по противоположной причинѣ, по относительной свободѣ, которою пользуется мущина съ юныхъ лѣтъ, по большей, сравнительно, непосредственности, съ которой ему предоставлено разрабатывать смолоду свою личность, соприкасаться съ дѣйствительной жизнью, избирать себѣ атмосферу и вліянія, мы не дивимся, что у отца-мошенника сынъ честный человѣкъ, у закоренѣлаго невѣжды и старовѣра — сынъ современно-образованъ, какъ изъ законченной мастерской шорника свѣтъ мудрости полилъ во всѣ грядущіе вѣка!

Оттого-то, сказали мы, надъ молодымъ Хвалынскимъ природа еще не показала чуда, да и незачѣмъ было.

Но — кстати ужъ — будемъ помнить, что ежели общество дало намъ, мужчинамъ, какія-либо льготы, такъ мы обязаны употребить ихъ къ нашей и общественной пользѣ. Врядъ ли кто въ правѣ оставаться Митрофанушкой, хотя бы и имѣлъ родителями Простаковыхъ. Отговорку мы примемъ отъ весьма немногихъ. Преданіе, конечно, прекрасная вещь; но есть преданія, которыя нужно разрывать поскорѣе...

Итакъ, графъ Николай Хвалынскій шелъ прямою дорогой.

Товарищи любили его до безумія. Онъ дѣлилъ съ ними и убѣжденія, и деньги, и время, свободное отъ занятій. Отецъ и мать нерѣдко искали его, чтобы тащить на вечеръ или на балъ, а онъ сидѣлъ гдѣ-нибудь съ друзьями за живой бесѣдой, за мечтами о торжествѣ добра и истины. Обыкновенно, на слѣдующій день, графъ Арсеній Николаичъ дѣлалъ сыну благоразумное внушеніе; сынъ какъ-нибудь извинялся, и лишь только случайно появлялся въ обществѣ, онъ до-того плѣнялъ вниманіе, что Арсеній Николаичъ, казалось, и не находилъ нужды насиловать его наклонности, видя, что онъ вездѣ и всегда на своемъ мѣстѣ. Графиню отчасти огорчало замѣтное предпочтеніе Николая Арсеньича къ сосредоточенному роду жизни; но похвалы, которыя и свѣтъ расточалъ молодому человѣку, обезоружи-

вали ее. Сверхъ того, матеріально, не въ чѣмъ было упрекнуть Николая. Онъ не дѣлалъ долговъ, не имѣлъ никакихъ непріятныхъ столкновеній: по крайней мѣрѣ ничего подобнаго не доходило до родителей. Арсеній Николаичъ и Марья Сергѣевна всегда сами должны были предлагать ему денегъ, заботиться объ освѣщеніи его костюма, экипажа. Графъ Арсеній, въ которомъ было по шепоткѣ отъ Лозѣна, Родѣна и Мазарина, думалъ иногда: «роскошная натура, нечего сказать! если дать ему волю, *avec deux coups de peigne on en ferait une rosière*. Но это мы передѣлаемъ. А жизнь-то на что? Не увернется.»

Однакожъ, Николай и курсъ университетскій кончилъ, а все оставался *розвѣрой*, въ смыслѣ, который придавалъ слову отецъ. Въ родителей своихъ молодой человѣкъ не вдумывался, и зналъ ихъ поверхностно. Онъ считалъ ихъ людьми нѣсколько-отсталыми, затѣданными червемъ свѣтскаго честолюбія и оттого довольно-пустыми. Винить ихъ онъ не признавалъ за собою права. Кругъ ихъ былъ на одинъ образецъ. Всѣ лица, мужскія и женскія, какія встрѣчалъ онъ дома и въ свѣтѣ, какъ бы вышли изъ общей мастерской. Разсужденія, гласныя, походили на перестрѣлку репликами на сценѣ. Всѣ эти люди обмѣнивались понятіями, которыя какъ бы покупали готовыми, вмѣстѣ съ шляпами и перчатками.

По окончаніи курса, графъ Николай былъ записанъ на службу, и, не выдавъ отъ службы еще ничего, кромѣ лица и кабинета своего министра, потѣхалъ съ отцомъ за границу. Послѣ двухмѣсячной модной скуки на водахъ, надо было возвращаться. Юноша умолилъ отца позволить ему взглянуть на свѣтъ. Арсеній Николаичъ согласился: заграничное странствіе, по его понятіямъ, должно было наложить послѣдній лоскъ на дебютанта, и, кромѣ того, личное знакомство съ нѣкоторыми блистательными особенностями европейскихъ столицъ, конечно Парижа и Лондона, — сразу выгодно *позировать* его въ свѣтскомъ мнѣніи. — Не такъ разумѣлъ дѣло молодой Хвалынскій.

Арсеній Николаичъ не поспешилъ на кредитивы, разрѣшилъ даже жечь деньги, — чего сынъ не послушался. Онъ тотчасъ же выписалъ изъ Петербурга своего университетскаго Пилада, Тесьмина. Тесьминъ былъ человѣкъ безо всякихъ средствъ, и тѣмъ болѣе гордый, по возвышенной любви къ независимости. Ни отъ кого не принималъ бы онъ, не то что подарка, услуги на неопредѣленное время. Но Хвалынскому онъ отказать не могъ: таковы были ихъ отношенія, таковъ былъ Хвалынскій, таковъ былъ его вызовъ! Отказъ бѣдняка нанесъ бы кровное оскорбленіе богачу.

Друзья обнялись съ восторгомъ, будто душевно согласив-

шись, что пришли къ цѣли всѣхъ своихъ воздыханій. О золотая пора, время благородной, несокрушимой вѣры въ жизнь!

Только переночевавъ на мѣстѣ встрѣчи, молодые люди пустились по свѣту, ѣздя и бродя съ безтолковымъ инстинктомъ, который вели не расчеты, не программы, не газетные зазывы, не стереотипированныя достопримѣчательности, а фанатическая любовь къ безусловному и идеальному, въ какой бы области дѣйствительной жизни оно ни проявилось, — жажда чувствовать и видѣть безъ подготовленной цѣли.

Такъ длилось нѣсколько мѣсяцевъ. Графъ Арсеній Николанчъ сталъ звать сына въ Петербургъ. Тотъ поневолѣ долженъ былъ выдумать, что упалъ съ лошади, повихнулъ ногу, впрочемъ неопасно, и вынужденъ, по приговору доктора, полежать, а потомъ остерегаться успелнаго движенія.

— *Est-ce que la petite fille se dégourdirait?* сказалъ графъ, дочитавъ письмо и передавая его графинѣ. — Я бы желалъ, чтобы онъ тамъ поцарапался, прибавилъ онъ, — или обмѣнялся выстрѣлами.

Графиня взглянула нѣсколько-вопросительно.

— Чему вы удивляетесь? замѣтилъ графъ. — Дуэль въ двадцать три года, *ça fait très - bien* въ свѣтскомъ формулярѣ. Я не знаю даже что лучше: это, или камеръ-юнкерство?

— Я бы предпочла послѣднее, рискнула графиня.

— Это придетъ само собою: положитесь на меня. Но дуэли я не могу ему устроить, особенно здѣсь...

Наконецъ, Николай Арсеньичъ вернулся, къ сокрушенію достойныхъ родителей, въ изорванномъ пальто, и съ однимъ дорожнымъ мѣшкомъ на рукѣ. Онъ объявилъ, что *ses hardes* остались въ таможенѣ, потому что эти *hardes* книги, эстампы, рисунки.

Войдя и заставъ своихъ въ сборѣ за завтракомъ, онъ бросился на шею къ отцу.

— Соскучился, наконецъ, по васъ, сказалъ онъ прямо отъ сердца, и перешелъ къ Марьѣ Сергѣевнѣ.

Отецъ тихонько покачалъ головой, Марья Сергѣевна не знала что подумать о костюмѣ сына: можетъ-быть ей представилось, что его ограбили на пароходѣ; но она знала, что на пароходахъ если и грабятъ, такъ только за кушанье и напитки! Миссъ Брайнтъ, при видѣ своего Алкивиада, въ первый разъ въ жизни отрѣзала хлѣба толстымъ ломтемъ, замарала себѣ палецъ масломъ и даже чуть-чуть не порѣзалась. Она рѣшилась предположить, что ея любимцемъ овладѣла какая-нибудь пагубная страсть: вѣроятно запой.

— Что вы все смотрите? спросилъ, смѣясь, пріѣзжій, замѣтивъ впечатлѣніе, произведенное его туалетомъ. — Мистръ

Шармеръ, или его преемникъ, я надѣюсь не умеръ: я не хотѣлъ обкрадывать почтеннаго ремесленника; да и германскіе портные, это надо сказать по совѣсти, далеко не стоятъ германскихъ философовъ. Прошу прежде всего не думать, чтобъ я кого-нибудь забылъ. Всѣмъ будутъ сувениры моего бродяжничества: вамъ, графиня, альбомъ, который я собралъ въ Италіи; вамъ, графъ, камей трехцвѣтный, которому вы не скоро подберете пару; вамъ, миссъ Брайнтъ, библія въ такомъ переплетѣ, какіе только дѣлаетъ на Реджентъ-Стритъ переплетчикъ принца Альберта. Если вы не довольны, или не будете довольны, когда увидите всѣ эти прелести, вамъ остается прогнать меня назадъ въ Тироль, откуда я возвращаюсь, — не считая желѣзныхъ дорогъ и пароходовъ, которые, право, лучше было бы не выдумывать. На нихъ я стараюсь спать.

Миссъ Брайнтъ присѣла за библію, какъ присѣдала королевѣ Елисаветѣ Рашель въ должности Маріи Стюартъ; Марья Сергѣевна оказалась тронута аттенціей сына, Арсеній Николаичъ задумался.

Появленіе Николая Арсеньича чуть-что не въ классическомъ костюмѣ блуднаго сына, — такимъ казалось пальто петербургскому сановнику! — грузъ этой дряни, наполовину, конечно, бесполезной, какъ всѣ мечты; несвѣтская развязность сыновняго разговора, эти приемы не то италіянскаго художника, не то нѣмецкаго бурша: цѣлое очень приходилось не посердцу благоразумному родителю. Не съ тѣми видами далъ онъ сыну свободу погулять по Европѣ. «Пора, сказалъ онъ себѣ рѣшительно, взяться за него хорошенько; а то останется вѣчнымъ недорослемъ».

Какъ многія вещи, и литературные типы графъ Арсеній Николаичъ понималъ по-своему.

Мы знаемъ, и видимъ каждый день, безподобные обрашки этой слѣпоты. Есть дамы, вѣряція въ добродѣтель мадамъ дѣ Жанлисъ; есть люди, для которыхъ Тамаринъ идеаль совершенства; иные клянутся, что Каратыгинъ былъ величайшій драматическій артистъ, а «Материнское Благословеніе», пошлѣйшая изъ мелодрамъ, трогательно; иные и не подозреваютъ что Гримины, Звонскіе, Лидины Марлинскаго — деньщики, переодѣтые въ барскіе мундиры; другіе не находятъ ничего выше кадансированнаго паэоса французскаго классицизма...

Вы скажете на это, что есть темпераменты, на которые ревенъ дѣйствуетъ только эметически, вопреки общему явленію, — другіе, въ которыхъ рыба производитъ сыпь.

Это совершенно — справедливо, а мы прибавимъ: мы знаемъ одного господина, который боится изюма, и бѣжить, когда ему

показываютъ изюмину; мы знаемъ одну даму, съ которой при видѣ земляники дѣлается непритворная истерика.

Почему же какому-нибудь тайному совѣтнику не назвать недорослемъ того, кто не пропитанъ лакейскимъ честолюбіемъ, ни же лакейскимъ благоговѣніемъ передъ статутами свѣтскаго уложенія?

...Николай Арсеньичъ еще жилъ мыслию въ минувшихъ эпизодахъ своего путешествія, когда отецъ объявилъ ему, что пора, наконецъ, приняться за службу. Кому служить? зачѣмъ служить? Замѣьте цинизмъ старика: онъ даже не потрудился, хотя бы для фразы, сказать что-нибудь объ общественномъ благѣ, объ обязанности гражданина къ отечеству. Это хоть бы ударило по дѣвственнымъ струнамъ.

— Батюшка, отвѣчалъ, самымъ почтительнымъ образомъ, сынъ: — я конечно, виноватъ передъ вами, и передъ обществомъ, и передъ самимъ собою, что до сихъ поръ не опредѣлилъ рода дѣятельности, на который способенъ. Но, прошу васъ, не судите меня слишкомъ строго. Призваніе мое, чувствую, еще не установилось. Еслибы Богъ далъ мнѣ сильное дарованіе, еслибы я былъ рожденъ скульпторомъ, актѣромъ...

— Та-та-та! — перебилъ графъ Арсеній Николаичъ, тихонько смѣясь, какъ Мефистофель, — этого бы еще недостовало! Однажды навсегда, оставь звонкія слова для вашихъ студентскихъ митинговъ: тамъ, можетъ-быть, паюсъ твой оцѣнится. Я въ твои лѣта стыдился бы употреблять ихъ и съ своей братіей; стыдился бы и помнить весь вашъ книжный сумбуръ. Ты одно не забудь: имѣй я въ двадцать три года десятый классъ съ правами перваго разряда, я бы былъ теперь не тайный совѣтникъ!

Что жъ бы онъ былъ, однакожъ? — Дѣйствительный тайный? Такъ что же?

— Князь Дмитрій Евграфычъ, продолжалъ графъ, — съ одного года на службѣ, только изъ лица: не нынче — завтра въ Андреевской...

— Это меня не манитъ, простодушно отвѣчалъ молодой человекъ. — Неужели?.. нѣтъ, батюшка, это не можетъ быть: вы не думаете, что еслибы я сталъ служить, такъ изъ того, чтобы на меня вѣшали чины, кресты, ленты...

— Ты... прощѣ, нежели я предполагалъ, возразилъ отецъ, — или моложе. Покуда разсуждать съ тобой еще рано. Да и когда мнѣ? Слушай же. Завтра явись кому слѣдуетъ, спроси о приказаніи, и служи. Не смѣю и думать, чтобы ты хотѣлъ со мной ссориться.

Николай Арсеньичъ исполнилъ предписаніе родителя. Ему дали, разумѣется, переписывать какое-то «отношеніе». Это ему

показалось убійственно—скучнымъ. Догадливый сослуживецъ объяснилъ новичку, что пріятную обязанность, на него налагаемую и имѣющую на немъ лежать, вѣроятно, нѣсколько лѣтъ, онъ воленъ *de facto* передать кому—либо изъ недостаточныхъ чиновниковъ, посредствомъ нѣкотораго вознагражденія. Хвалынский воспользоваться совѣтомъ, и со втораго дня пересталъ служить, то—есть ѣздить въ мѣсто служенія. Отецъ смекнулъ дѣломъ, но, черезъ нѣкоторое время справившись у начальника молодаго человѣка, конечно, болѣе для формы, и увѣренный, что получить комплиментъ, былъ вынужденъ страшно сконфузиться. Таковъ вышелъ отвѣтъ начальника.

— А я хотѣлъ спросить у вашего сіятельства, въ Петербургѣ ли вашъ сынъ? сказалъ начальникъ, обиженнымъ тономъ. — Не смѣю же я, вы согласитесь, ваше сіятельство, справляться о графѣ Хвалынскомъ у экзекутора. Жена, намедни, зная, что графъ поступилъ къ намъ, пристаеъ: «представь». Я не зналъ, куда дѣваться: вы меня извините, ваше сіятельство...

Оказывалось, что Николай Арсеньичъ не только не ѣздилъ въ мѣсто служенія, но и не зналъ, какъ отпираются двери у ближайшаго начальника, а его супруги не видалъ въ глаза.

Дѣло становилось серьезно.

Графъ прочелъ сыну экстраординарную нотацію и самъ его повезъ къ обиженному директору:

Младшій по чину и значенію, лакей низшей пробы, директоръ не смѣлъ ожидать такого вниманія со стороны Арсенія Николаича. Онъ обомлѣлъ отъ восторга. Графъ дипломатически округлилъ оплошность сына, Николай Арсеньичъ очаровалъ директоршу, коломенскую львицу, — и служба была оставлена въ покоѣ. Начальникъ сталъ аттестовывать способности и радѣніе молодаго Хвалынскаго лучше, нежели свои. Николай Арсеньичъ не показывался въ департаментъ, зато три раза заходилъ въ ложу начальницы, и однажды, въ минуту особенно—комическаго настроенія, сказалъ ей, настоящей горничной третьяго разряда, что она напоминаетъ императрицу Евгенію, урожденную Теба, Монтихо, и прочее.

Приходило въ голову Арсенію Николаичу пристроить Николая Арсеньича къ которому—либо посольству; но онъ скоро одумался: надлежало предварительно порядкомъ опозитивировать молодаго человѣка, оболванить его надежнымъ образомъ. Иначе, можно было рисковать, что онъ и въ глаза не увидитъ посланника и будетъ только съ утра до ночи слоняться по музеямъ, зароетъ въ книги, примется возиться съ красками, сведетъ дружбу съ какимъ—нибудь нищимъ музыкантомъ. Ко всему этому, въ послѣднее время въ особенности, обнаружались несомнѣнныя наклонности.

Покуда Николай Арсеньичъ потихоньку продолжалъ поживать по-своему, дѣля день, мѣсяцъ и всѣ мѣсяцы года между занятій и людей, ему милыхъ, и только крохи досуговъ дая обществу и свѣту, Арсеній Николаичъ путался въ соображеніяхъ, какъ бы повѣрше вывести его на жизненную или — что для него все равно было — на служебную дорогу во всеоружіи его собственныхъ взглядовъ и убѣжденій. Случались и попытки объясненій, но въ абсолютной логикѣ сынъ всегда оказывался сильнѣе: условная же, святотатственно называемая практическою философіею, не прошибала. А вдобавокъ всегда ослабляло энергію графа Арсенія Николаича противъ сына, мгновенно парализировало его возбужденность противъ непрактичности молодаго человека — это невообразимое обольщеніе, которое тотъ умѣлъ вносить съ собою всюду, куда бы ни вступилъ, и которое, видимо для всѣхъ, разливалъ вкругъ себя, будто сіяніе. Это обольщеніе, таинственный даръ и свѣтъ истинно-рѣдкой натуры, было до того сильно, что каждый разъ обезоруживало грязнѣйшаго изъ утилитаріевъ.

Марья Сергѣвна заглядывалась на сына и на балъ, и въ гостиной. Она была влюблена въ него, какъ только могла влюбиться.

Однажды, возвращаясь съ Арсеніемъ Николаичемъ съ бала, разстроганная до-нельзя успѣхами Николая Арсеньича, которые тѣмъ болѣе были замѣтны, что самъ онъ не придавалъ имъ ужъ рѣшительно никакого значенія и даже видимо тяготился ими, насколько допускало приличіе, — Марья Сергѣвна проговорила:

— Вѣдь, право, графъ, тутъ нѣтъ никого лучше Николая?

— Не изъ комплимента, но я готовъ подписать это кровью, — отвѣчалъ графъ.

— И дѣла ему нѣтъ до того, что всѣ на него не наглядятся.

— Вы то скажите: что бы могъ, на его мѣстѣ, сдѣлать чело-вѣкъ съ этими данными?

— А онъ?

— Онъ? хотите пари, что вамъ угодно противъ одной сигарки: пріѣдетъ домой, разорветъ перчатки и сидеть, не снимая фрака, за какого-нибудь Шлегеля, или примется мазать. Я его ловилъ не разъ. Пусть бы: его дѣло — спать, или зачитываться глупыхъ книгъ по ночамъ. А вотъ что горько. Я слышалъ: его звали на горы, и кто же? баронесса Штральборнъ. Общала: отговориться не умѣетъ, да и неприлично, я согласенъ. Навѣрное забудетъ. Я предлагаю еще пари!

Надо было послушать, какъ Николай Арсеньичъ пѣлъ, едва взявъ нѣсколько уроковъ пѣнія. Акварели его были бы замѣтны въ любой коллекціи непервоклассныхъ художниковъ.

Когда графъ Арсеній Николаичъ собрался въ Разградовку, онъ находился на вершинѣ своихъ колебаній относительно сына. Но, давъ себѣ слово не спускать глазъ съ него, онъ рѣшилъ взять его съ собой. Николай Арсеньичъ покорился безпрекословно: онъ не зналъ изъ Россіи ничего, кромѣ Петербурга и петербургскаго имѣнія графа, и былъ очень доволенъ протрястись съ перспективой подышать хоть бы х—ими степями.

.... Покуда мы утомляли читателя необходимымъ, по нашему мнѣнію, отступленіемъ отъ нити начатаго разсказа, мы дали достаточно отдохнуть всѣмъ лицамъ, пріѣхавшимъ въ Разградовку. Пора взглянуть на нихъ въ настоящемъ.

Просимъ только подарить намъ всѣ подробности водворенія Хвалынскихъ съ домочадцами въ ихъ временномъ жилищѣ: исторію о томъ, какъ миссъ Брайнтъ усердно хлопотала, чтобы свить себѣ комфортабельное гнѣздо, описаніе неподвижнаго лежанія графини для приданія кожѣ нормальнаго цвѣта, — какой былъ этотъ цвѣтъ, кто зналъ? — инвентарій туалетныхъ шкапулокъ старика-графа и чемодановъ сына, и между всѣмъ этимъ перебранки прислуги; наконецъ, устные и туловищныя эволюціи пролаза Свензецкаго. Все это было бы не лишено нѣкотораго интереса; но мы и безъ того боимся, что прогнѣвили будущихъ зоиловъ накопившимися грѣхами авторской рефлексіи....

IV.

Стоять первые дни іюля. Солнце подходитъ къ зениту. Парубокъ успѣлъ задремать въ степи, совершивъ полдневный трудъ и отобѣдавъ.

Жара невыносимая. Вдали тянется дымчатая, сѣровая завѣсь. На неопредѣленномъ пространствѣ ни шороха, ни звука: не пролетитъ птица, не прострепечетъ стрекоза или жукъ; вѣтеръ Богъ вѣсть гдѣ. Куда попрятался и чумацкій обозъ, безъ котораго почти невообразима панорама жилой, то-есть придорожной степи? Атомы воздуха висятъ неподвижно. Сама природа не дышетъ, будто и ей, въ эту пору дня, нужно спать не хуже парубка, или притаиться на подобіе вѣчноскрипучаго воза.

Тяжелое впечатлѣніе, наводящее страшное уныніе на непри-
вычнаго!

Какъ ни хороши картины степи подъ кистью самого Гоголя, и онъ не написалъ бы ихъ, еслибъ не былъ сыномъ степи, еслибы съ югомъ не были связаны золотыя воспоминанія его цвѣтѣнія! А заказнымъ восторгамъ перелетныхъ птицъ — не

вѣрьте. Надо сказать что-нибудь о новинкѣ: — ну и пошли вышивать арабски!

Сѣверная окраина Чернаго моря, на значительное протяженіе вдоль и поперекъ, есть, конечно, одна изъ самыхъ печальныхъ, изъ самыхъ голыхъ плоскостей земнаго шара. Старое ложе Понта, чрезвычайно сдвинувшаго свой предѣлъ сравнительно съ первозданнымъ, до сихъ поръ не производитъ и кустика, если не посадить его рука человѣка. Трудно, мы скажемъ невозможно, вообразить грусть, которая одолеваетъ васъ среди необозримыхъ, однообразныхъ равнинъ, оствѣвшихъ въ томъ видѣ, какъ выточило мѣстную почву мелководье, только лизнувшее побережье мягкой волною. Лишь, какъ оазисы, являются садики, цѣпляющіеся къ нѣмецкимъ колоніямъ, — или рощицы, большею частію молодыя еще, искусственно и съ неизбѣжною, но тѣмъ не менѣе убійственною, симметріею разводимыя колонистами же, да изрѣдка старинныя сады при усадьбахъ прежнихъ богачей. Новый помѣщикъ, если не получилъ сада при имѣніи, на садъ тратить не будетъ: садъ не пшеница, его не повезешь въ Одессу.

При разградовской усадьбѣ — огромный садъ, истинная роскошь по округѣ — плодъ давно-забытой заботливости можетъ-быть дѣда бывшаго владѣльца Разградовки, того, отъ котораго она перешла къ Хвалынскому черезъ его игорнаго агента. Аллеи, едва проницаемыя свѣтомъ, срослись сводомъ; мѣстами устроены гроты, облѣпленные кустовыми растеніями; вообще тѣни много. Почти параллельно дому, составляя съ этой стороны естественную границу сада, ползетъ Ингулецъ, издали кажущійся вовсе-неподвижнымъ. Еслибы не эта счастливая случайность, о которой и не вѣдалъ нынѣшній помѣщикъ до прибытія въ Разградовку, куда бы дѣвались наши Петербургцы въ часы тропической духоты? Сидѣть бы имъ все лѣто въ домѣ до захожденія солнца, съ закрытыми ставнями: — такъ кейфуютъ х — іе любители комфорта.

... Половина двѣнадцатаго.

Передъ однимъ изъ гротовъ, подъ защитой густой купы, сидитъ графиня Марья Сергѣевна, одѣтая, конечно, по лѣтнему и какъ бы въ Петергофѣ или на Каменномъ острову. Она даже въ шляпѣ и въ криолинѣ. Въ рукахъ у нея вѣеръ съ притязаніемъ на японское происхожденіе и которымъ она, по временамъ, старается произвести противъ лица освѣжающую струю. Въ самомъ гротѣ, у входа, миссъ Брайнтъ, вся въ сѣрой нанкѣ, выдаваемой модистками за китайскую, въ сущности же вѣрнѣе русской, нежели англійской. Миссъ Брайнтъ застегнута до подбородка, въ шляпѣ, и читаетъ.

— Здѣсь сносно, говоритъ графиня, на французскомъ языкѣ.

— Да, отвѣчаетъ миссъ Брайнтъ.

Молчаніе. Графиня обмахивается. Миссъ Брайнтъ читаетъ.

— А купальня? спрашиваетъ графиня.

— Завтра, отвѣчаетъ миссъ Брайнтъ.

Молчаніе. Графиня обмахивается. Миссъ Брайнтъ читаетъ.

— По крайней мѣрѣ, будемъ купаться, говоритъ графиня.

— Нельзя, отвѣчаетъ миссъ Брайнтъ.

— Какъ нельзя?

— Эта рѣка для куръ.

— Почему же для куръ?

— Управляющій говорилъ эконоmkѣ, что самое глубокое мѣсто два фута.

Подходитъ графъ Арсеній Николаичъ. Графъ весь желтый и тоже въ нанкѣ.

— Слышите, графъ, говоритъ ему на встрѣчу графиня — и вы, кажется, рассчитывали на купальню?

— Можетъ быть; а что?

— Купальня будетъ, но рѣки негдѣ взять.

— А это? спрашиваетъ графъ, оборачиваясь и показывая тростью на просвѣтъ, сквозь который блеститъ гладкая чешуйка Ингульца.

— Аршинъ въ самомъ глубокомъ мѣстѣ, отвѣчаетъ графиня.

— Сдѣлаютъ что можно. Управляющій очень находчивъ. Я прикажу. Вы и за то скажите спасибо, графиня, что мы нашли. Хоть бы садъ. Поминалъ я нашего злодѣя-эскулапа!

— Дикая сторона, замѣчаетъ графиня.

— Я и понятія о ней не имѣлъ. Саратовскія степи совсѣмъ не то, а въ эту сторону я не бывалъ до сихъ поръ дальше Харькова. Еслибы не даль—полторы тысячи слишкомъ: шутите!—я бы хоть сейчасъ назадъ.

— Я бы не дала себѣ времени и улечься, отвѣчаетъ графиня, — признаюсь. А вы, миссъ Брайнтъ?

— Можно жить вездѣ! замѣчаетъ миссъ Брайнтъ, не сводя глазъ съ книги, но всегда слыша изъ разговора по крайней мѣрѣ то, что относится до нея.

Трилогія потянулась лѣниво.

Нѣсколько минутъ спустя, подошелъ камердинеръ графа, съ едва-замѣтной улыбкой...

— Подпоручикъ Палама и губернской секретарь Малама, доложилъ онъ, стараясь придать лицу какъ можно болѣе серьезное выраженіе.

— *C'est curieux!* замѣтила графиня.

— Что такое? спросилъ графъ, при звукѣ чиновъ невольно взглянувъ на свою пасторальную неофициальность.

— Желаютъ представиться вашему сіятельству, отвѣчалъ камердинеръ.

— Спросить у Свензецкаго. Имъ что—нибудь нужно.

— Это ваши феодалы, замѣтилъ подошедшій Николай Арсеньичъ, — я слышалъ объясненіе Свензецкаго съ Григоріемъ: у нихъ хутора на нашей межѣ, и они нанимаютъ у васъ землю.

— Что же имъ надо? повторилъ владѣлецъ Разградовки?

— Или я очень ошибаюсь, возразилъ сынъ, или они будутъ очень счастливы, если вы дадите имъ взглянуть на себя. Я бы предложилъ вамъ замѣнить васъ, но, вы понимаете, это будетъ не то. *Ils voudraient le suzerain.*

— Разумѣется, прилично поздравить васъ съ пріѣздомъ, рискнула миссъ Брайнтъ.

Петербургскій сановникъ никогда не оставался безчувственъ къ лести, если бы и плоско проявилась она, подобно тому, какъ старая кокетка, потерявшая и зубы и волосы, всегда рада комплиментамъ, какъ будто не очевидно, что надъ ней смѣются.

— Я очень радъ, сказалъ графъ Арсеній Николаичъ, давно лишенный наслажденія видѣть курбеты передъ собою, — но не могу же я принять такъ. Это и для себя неловко. Григорій, ты дашь мнѣ дорожный сертучокъ: вотъ сюда, въ эту аллею.

Григорій отправился за сертучкомъ, съ котораго никогда не снимались дорожные знаки отличія.

— Они будутъ обѣдать здѣсь? спросила графиня.

— *Quelle idée!* отвѣчалъ графъ.

— А посмотрѣть на нихъ я не прочь, продолжала графиня — однѣ фамилій общаются.

— Можетъ—быть Татары, серьезно замѣтила миссъ Брайнтъ. — Въ Крыму, вѣдь, есть Татары, а мы далеко ли отъ Крыма.

Арсеній Николаичъ надѣлъ сертучокъ и приказалъ просить господъ Паламу и Маламу.

Завидѣвъ ихъ приближеніе издали, графъ совершенно влѣзъ въ свой сертучокъ, графиня стала кусать губы, даже Николай Арсеньичъ — и тотъ на минуту отвернулся, чтобы приготовить себѣ мину, которая была бы не оскорбительна для бѣдныхъ людей. Одна миссъ Брайнтъ, положивъ книгу, съ британской флегмой и жаждой любознательности, устремила на приближавшихся внимательный взглядъ, въ которомъ черезъ нѣсколько секундъ можно было прочесть мысль: «какіе странные Татары! На картинахъ и во всѣхъ описаніяхъ Татары не такіе бываютъ. Впрочемъ, Россія такъ велика: въ ней столько разнообразнаго!»

Палама и Малама подвигались съ самыми почтительными и комическими поклонами, которые повторяли черезъ каждые два шага.

Съ привычками свѣтскаго зрѣнія и при незнаніи Россіи, конечно, не возможно было смотрѣть на нихъ равнодушно. Это были фигуры съ бала въ «Горе отъ ума», или изъ «Ревизора».

Одинъ изъ нихъ былъ одѣтъ въ отставной мундиръ тридцатыхъ годовъ, при огромной трехугольной шляпѣ съ крошечнымъ чернымъ перомъ, — другой во фракъ, современный мундиру. Ни покррой костюмовъ, ни матеріалъ, безъ сомнѣнія, не мѣнялись со дня ихъ выхода изъ рукъ портныхъ. Самыя фizioноміи Паламы и Маламы, красныя и точно опрысканныя водой, заключали въ себѣ много вызывавшаго на смѣхъ. Но, взглянувъ на нихъ, жалко становилось: и жара ихъ допекла, и млѣли они передъ звѣзднымъ сіяніемъ, не обычнымъ.

Графъ Арсеній Николаичъ обошелся съ ними, если и не дерзко по формамъ, хотя даже не попросилъ ихъ сѣсть, зато со всѣмъ душевнымъ пренебреженіемъ, на какое было способно его чиновное величіе. Миссъ Брайнтъ не поняла и третьей доли разговора, иначе можетъ-быть осталась бы недовольна графомъ; графиня все пряталась за вѣеръ, и только содрогнулась, когда одинъ изъ двухъ оказалъ носовой платокъ, полинялый, клѣтчатый и бумажный. Добрая и утонченно — аристократическая натура молодого Хвалынскаго возмутилась за бѣдняковъ: онъ понималъ, что не такъ бы принялъ ихъ на мѣстѣ отца, и, какъ человѣкъ, въ которомъ чутье порядочности было врожденное, онъ зналъ, что никогда бы не могъ уронить себя должнымъ и совершенно-учтивымъ обхожденіемъ съ ними, — и не возвысилъ бы себя, конечно, но поступилъ бы такъ, какъ слѣдовало, какъ поступили бы — не изумитесь скачку — Сублизъ, Девнширъ!

Но неужгодно ли нашей мнимой, чиновно-надутой аристократіи прочесть курсъ о настоящемъ аристократизмѣ?

Боже мой! неужели истинное просвѣщеніе не выкурить этого лакеизма, повсемѣстно процвѣтающаго у насъ подъ краденою фирмою порядочности и непонимаемаго аристократизма?

Вы сами знаете, достойный читатель, какъ бы принялъ графъ Арсеній Николаичъ милліонера-откупщика, можетъ-быть бывшаго земскаго его отца, — и видѣли теперь, какъ обошелся онъ съ Паламой и Маламой.

Гдѣ же это слыхано, если не у насъ? Съ кого они берутъ примѣры, коли ужъ собственный инстинктъ, коли кровь не говорить имъ, до чего они пошлы и нелѣпы, до чего они смѣшны въ глазахъ каждаго мыслящаго человѣка? Развѣ есть въ этой методѣ что-нибудь общее съ началами высшаго англійскаго дворянства, — или съ щепетильностію почти-вымершей аристократіи блистательной эпохи Франціи? Ни въ нынѣшней Англій, ни въ прежней Франціи не допустятъ и не допустили бы въ высшій кругъ человѣка, не принадлежащаго къ нему

к овсѣмъ правамъ, — и вотъ, конечно, тайна, отчего англійское аристократическое общество прочно держится до сихъ поръ, а французское держалось такъ долго и еще встанетъ, лишь только встанетъ Франція. Это знаетъ въ настоящее время каждый гимназистъ. Но кто же не знаетъ и того, какъ первый лордъ трехъ соединенныхъ королевствъ приметъ всякаго, кто бы ни попалъ къ нему, по какому бы ни было случаю, какъ любой изъ Бурбоновъ обойдется съ послѣднимъ изъ своихъ фермеровъ!

Увы, послѣднее — мертвая буква для насъ! И добро бы одни выслужившіеся демагоги, *les parvenus*!... Чувство же, которое движетъ человѣкомъ, дающимъ знать свое значеніе, богатство, мощь другому человѣку, низшему по рангу, бѣдному, безсильному, плохо-одѣтому, какъ прикажете назвать если не лакеизмомъ? Развѣ не такъ поступаетъ лакей богатаго столичнаго дома относительно деревенскаго слуги, облеченнаго въ затрапезину или домашнее сукно? Не подобнымъ ли образомъ относится архіерейскій служка къ бѣдному сельскому звонарю?

Но нашъ слабый голосъ, разумѣется, раздастся въ пустынь. Развѣ, вмѣсто эха, отвѣтитъ изъ разныхъ угловъ Россіи, злобный смѣхъ корифеевъ системы, намъ ненавистной и нами гонимой.

— Воля ваша, я отдамъ имъ визитъ, сказалъ Николай Арсеньичъ, когда Арсеній Николаичъ «отпустилъ» Паламу и Маламу.

Графиня приняла это за шутку.

— Какъ цѣль для прогулки, какъ сюжетъ для твоихъ безконечныхъ картоновъ, замѣтилъ Арсеній Николаичъ.

— Разумѣйте предлогъ, какой угодно, отвѣчалъ сынъ.

— Неужели ты въ самомъ дѣлѣ поѣдешь, Николай? спросила, не вѣря, Марья Сергѣвна.

— Непремѣнно, матушка. Почему же это вамъ такъ будетъ непріятно?

— Я не вижу, отчего это васъ заботитъ, графиня, перебилъ Арсеній Николаичъ: — мы не въ Петербургъ, а при его жаждѣ къ впечатлѣніямъ — это одна изъ модныхъ болѣзней нынѣшней молодежи, — почему ему не узнать чѣмъ тамъ пахнетъ: въ будуарѣ мадамъ Маламы или мадмуазель Паламы?

— Графъ! воскликнула графиня, морщась и поднеся къ лицу надушенный платокъ.

— Право, должно быть прелюбопытно, смѣясь сказалъ графъ, очень довольный своимъ остроуміемъ. — Тоже, вѣдь, дворяне! продолжалъ онъ, послѣ нѣкотораго молчанія.

— Что же имъ прикажете дѣлать, если они родились дворянами? вступился Николай Арсеньичъ.

— А ужь этого я рѣшительно не знаю, отвѣчалъ отецъ — и меня, признаюсь, вопросъ не интересуетъ.

— По-моему, напротивъ, онъ очень интересенъ.

— Что жь, займись, пофилософствуй: тебѣ, кажется, не учиться. И удиви публику диссертацией: нынче такую ли гиль печатаютъ... Надѣюсь, однакоже, говоря серьезно, что отъ моего слова не станется.

— Успокойтесь, отвѣчалъ молодой человѣкъ, въ первый разъ какъ бы получая цѣну отцова сердца и обращикъ его міросозерцанія, — я имѣю слишкомъ мало практическихъ свѣдѣній, и путаться въ серьезный вопросъ, не зная на дѣлѣ нашего общества, не рѣшусь.

— Стало быть, дѣло только за этими свѣдѣніями? спросилъ Арсеній Николаичъ, — а то на насъ эдакъ пожалуй, въ одно прекрасное утро, и въ самомъ дѣлѣ бы свалились какія-нибудь печатныя размышленія на весь міръ?

— Отчего же, еслибы Богъ по сердцу положилъ.

— Счастье же мое, что нѣтъ этихъ свѣдѣній, замѣтилъ Арсеній Николаичъ — я не могу себя не поздравить.

— Николай, неужели бы ты въ самомъ дѣлѣ рѣшился на это? спросила, почти испуганная, Марья Сергѣевна. — Ты шутишь?

— Вы, я думаю, шутите, матушка?

— Полно пожалуйте; ну къ лицу ли тебѣ? Стишки какіе-нибудь, это я еще допускаю.

Разговоръ происходилъ на французскомъ языкѣ. Миссъ Брайнтъ опять положила книгу.

— Я думаю, каждый имѣетъ право высказывать свои мысли, рѣшилась она вымолвить.

— Мы на материкѣ, миссъ Брайнтъ, замѣтилъ Арсеній Николаичъ, въ то время какъ Николай Арсеньичъ бросилъ Англичанкѣ признательный и сочувственный взглядъ. — У насъ другіе законы равновѣсія, знаете ли вы это? Есть конси-дерации для извѣстныхъ положеній, есть предѣлы, заставы, черезъ которыя желать перескочить также безумно, какъ собраться верхомъ перенестись черезъ Неву.

— Вамъ лучше знать ваше отечество, графъ, смиренно возразила миссъ Брайнтъ, постоянно нѣмѣвшая передъ утвердительнымъ тономъ графа, какъ бы передъ совершившимся событіемъ: — но, вы меня извините, графъ, у васъ: я разумѣю, въ вашей странѣ, есть вещи непонятныя.

— Я бы могъ то же сказать вамъ объ Англіи, отвѣчалъ графъ, — но... мы лучше пойдемъ завтракать. Посмотрите: приближеніе метръ-д'отеля не возбуждаетъ въ васъ никакихъ идей?

Миссъ Брайнтъ положила книгу, и, по неизмѣнной привычкѣ, отряхнувъ платье, послѣдовала за хозяевами, которые вмѣстѣ встали и пошли къ дому.

На другой же день Николай Арсеньичъ вспомнилъ объ общаніи быть у хуторянъ. Онъ разузналъ отъ Свензецкаго, что оба они, почти рядомъ, живутъ не болѣе какъ въ четырехъ или пяти верстахъ отъ Разградовки, и лишь только жаръ сталъ немного опадать, онъ приказалъ себѣ запречь одноколку управляющаго, которую тотъ называлъ кабріолетомъ, и отправился.

Велико было изумленіе Паламы и Маламы, но еще больше — смущеніе ихъ при видѣ вельможнаго паныча. Послѣднее чувство панычъ умѣлъ разогнать и въ томъ и въ другомъ поочередно. Онъ обладалъ стособностію очаровать каждаго и сразу поставить человѣка на одну доску съ собою самымъ естественнымъ, самымъ утонченнымъ образомъ.

У подпоручика Паламы оказалась хорошенькая дочка. Красота — мы дерзнемъ повторить допотопную истину — вездѣ и всегда пріятное явленіе, вездѣ и всегда званый гость. Но въ положеніи молодаго Хвалынскаго, при условіяхъ, среди которыхъ онъ былъ брошенъ въ настоящее время, мудрено вообразить, до чего отрадное впечатлѣніе произвело на него свѣженькое личико степной розы. Надо взглянуть поближе, т. е. только не проѣздомъ, на эту полосу, Богомъ сожженную, какъ выразился поэтъ о другой странѣ, чтобы оцѣнить находку, какъ оцѣнилъ ее Николай Арсеньичъ. Надо подышать и воздухомъ пустыни, и вкусить отъ удовольствія видѣть передъ собою нѣсколько времени исключительно апатію и безобразіе въ различныхъ формахъ, лица мужскія и женскія ни на что не похожія: — тогда не будетъ мѣста удивленію, что незначительная фигура хуторянки бросилась въ глаза избалованному горожанину. Не забудемъ и того, какъ артистически одаренъ былъ молодой графъ: явленіе, соединяющее въ себѣ примѣты живой красоты, врядъ ли ускользнуло бы отъ него гдѣ-нибудь.

При входѣ знатнаго барина, дикарка сперва убѣжала и скрылась, но, вызванная отцомъ и необходимостію подчивать почетнаго гостя, а можетъ-быть немножко и любопытствомъ, которое мы и осуждать не въ правѣ, она возвратилась смущенная, слегка исправивъ безпорядокъ домашняго наряда.

Гость глядѣлъ на нее какъ на хорошенькую картинку, не лишенную извѣстной оригинальности. И въ самомъ дѣлѣ оригинальности было не искать ей: каждый затруднился бы, къ какой опредѣленной категоріи отнести дѣвушку. Это была не уѣздная барышня, не крестьянка, еще меньше купчиха. Можетъ-быть, вы скорѣе всего назвали бы ее шляхтянкой, а между

шляхтяночками попадаетъ столько же интересныхъ и милыхъ лицъ, сколько неинтересныхъ и немилыхъ между шляхтичами. Однакожъ Палама былъ не Полякъ, а Новороссiянинъ, ровно настолько обрусѣвшій на службѣ, чтобы и на дочери лежала печать не одного мѣстнаго характера. Существенное относительно красавицы въ томъ, что граціозная натура ея какъ-то удачно слила въ себѣ особенности и положеній довольно-несхожихъ и разныхъ мѣстъ нашего отечества. Какъ это произошло, мы тѣмъ заниматься не будемъ. Главное, что Хвалынскій, посидѣвъ у Паламы около часу, благословляя свою мысль навѣстить хуторныхъ владѣльцевъ, и поѣхалъ домой, получивъ позволеніе возвратиться къ Паламѣ. Между прочимъ представился и предлогъ. Увидѣвъ на стѣнѣ гитару, Хвалынскій спросилъ, кто играетъ на гитарѣ. Домохозяинъ объяснилъ, что онъ вынесъ любовь къ инструменту изъ своей полковой службы, и прибавилъ, что играетъ и дочь, причемъ съ гордостію отозвался о ея мастерствѣ пѣть нѣкоторыя пѣсни.

Молодому человѣку нужно ли было больше? Онъ объявилъ, что ему давно хотѣлось выучиться здѣшнимъ напѣвамъ и что онъ непременно воспользуется настоящимъ случаемъ.

Отцу, по возвращеніи отъ Паламы, Николай Арсеньичъ разсказалъ о счастливой встрѣчѣ со всѣмъ увлеченіемъ и лѣтъ своихъ, и натуры.

— *Plus heureux que sage!* замѣтилъ, съ обычной ироніей, Арсеній Николаичъ. — Когда-нибудь ты можешь показать мнѣ эту пастушку, если мое присутствіе не броситъ тѣни на твое счастье, прибавилъ старый графъ тономъ самоувѣреннаго ловласа.

— Отчего же? какъ нельзя простодушиѣе отвѣчалъ сынъ. — Да кто вамъ не велитъ, хоть мимо ѣдучи, напримѣръ осматривая поля, зайти?

— Для этого нужно бы было, прежде всего, чтобы я собрался произвести эту инспекцію. А до сей поры, признаюсь, все какъ-то не достааетъ рѣшимости. И то сказать: поля мои — не департаментъ. Хлѣба, оттого, что я проѣду мимо, не вытянутся, какъ чиновная мелюзга.

— Несомнѣнная истина! невольно улынувшись, замѣтилъ Николай Арсеньичъ.

— Неправда ли? возразилъ Арсеній Николаичъ, любя, чтобы оцѣнили его каламбуръ. — Свенецкій же, или я очень ошибаюсь, дѣлаетъ дѣло не дурно. Книги его — заглядѣнье. Олтуховъ нашелъ, что и ведены онъ совершенно исправно; копѣйки, гарицы ... все математически вѣрно. Съ чего же я буду мѣшаться въ установленный порядокъ, гдѣ есть порядокъ?

Черезъ нѣсколько дней, графъ Арсеній Николаичъ, войдя, въ отсутствіе сына, въ его кабинетъ, нашелъ надъ разбросанными

карандашами, кистями, красками и бумагами, несовѣтъ оконченную акварель, изображавшую дѣвушку въ извѣстной хохлаткой сорокѣ, схваченной въ талин юбкой. Голову вѣчала вѣтка какой-то ползучей зелени; въ рукахъ дѣвушка держала гитару.

Арсеній Николаичъ невольно постоялъ передъ картинкой.

«Если это мадмуазель Палама, и не польстилъ ей Николай Арсеньичъ, сказать нечего: ему везетъ», подумалъ графъ.

Между тѣмъ Николай Арсеньичъ, не въ мѣру противъ существующихъ обыкновеній, только что не поселился у Паламы, гдѣ и разыгрывалась безцѣннѣйшая изъ идиллій. Наталка — это было уменьшительное имя красавицы — учила молодаго графа своимъ пѣснямъ, онъ училъ ее своимъ, а потомъ принялся рисовать ея портретъ то въ одномъ видѣ, то въ другомъ. Въ свиданіяхъ ихъ не было ничего двусмысленнаго: отецъ входилъ, когда находилъ нужнымъ, и ни разу не оскорбилась бы самая строгая мораль, разумѣется, кромѣ свѣтской, которая не допускаетъ *tête-à-tête* а между лицами разныхъ половъ, или сейчасъ строить сальное предположеніе. Конечно, едва ли бы кто на мѣстѣ Николая Арсеньича остался безчувственъ къ степной Галатеѣ въ томъ смыслѣ, въ какомъ былъ безчувственъ онъ. Искключительная чистота его натуры оградила обоихъ отъ послѣдствій, какія, вѣроятно, повлекло бы за собою, во всякомъ другомъ случаѣ, сближеніе двухъ организмовъ, молодыхъ, свѣжихъ, пылкихъ. Съ его стороны работало единственно чувство художника и наблюдателя; со стороны дѣвушки еще не было любви: быть-можетъ ее покуда глушила вѣчно-присущая мысль о ненаполнимомъ разстояніи между ними, заставлявшая Наталку, особенно въ первые дни, смотрѣть на графа почти какъ на существо иного міра; такъ или иначе, но отношенія ихъ были въ полномъ смыслѣ идиллическія.

Не то, разумѣется, думалъ графъ Арсеній Николаичъ, считавшій непреложными слѣдующія два положенія: что юноша въ цвѣтъ силъ и здоровья не будетъ сидѣть съ хорошенькой женщиной по цѣлымъ днямъ изъ того, чтобы глядѣть на нее, да слушать глупыя пѣсни или писать ея портретъ, — и что дѣвушка при печальной обстановкѣ дочери Паламы навѣрное и сама не дастъ графу Хвалынскому, красивому, пменитому и богатому, долго вздыхать о ней попустому. Разградовскій помѣщикъ судилъ частію по себѣ, частію по своимъ жизненнымъ столкновеніямъ, частію по былымъ подвигамъ аристократіи, менѣе нашей нежели французской, о коихъ свидѣтельства разбросаны въ печатныхъ воспоминаніяхъ столькихъ, извѣстныхъ и неизвѣстныхъ, лицъ. Въ убѣжденіи относительно сыновней связи особенно утверждало стараго сластолюбца то,

что сынъ, когда онъ опять попросилъ его показать ему дочь Паламы, замѣтнымъ образомъ отклонилъ разговоръ. «Они воркуютъ вдвоемъ, рѣшилъ Арсеній Николаичъ: третій, разумѣется, лишній».

Увидѣвъ акварель въ кабинетѣ сына, онъ обратился къ нему безъ предисловій:

— Я, вѣроятно, видѣлъ портретъ твоей инфанты?

— На моемъ столѣ? спросилъ тотъ, покраснѣвъ.

— На твоёмъ столѣ. И ты не польстилъ ей немножко?

— О! ужъ этого-то нѣтъ! съ увлеченіемъ возразилъ юноша.

— Такъ тебя рѣшительно можно поздравить.

— И если бы вы знали, сколько жизни, сколько натуральной, непосредственной поэзіи!

— Съ тобою можетъ ли случиться иначе?

— Вы думаете, я шучу?

— Нисколько. Но я тебѣ хотѣлъ сказать: всѣ эти вещи такъ обыкновенны не только въ твои лѣта, во всякія...

— Какія вещи? спросилъ самымъ естественнымъ голосомъ Николай Арсеньичъ, успѣвшій оправиться отъ минутнаго смущенія.

— О! да въ тебѣ открываются и дипломатическія способности! Во всякомъ другомъ случаѣ, иди рѣчь о порядочной женщинѣ, я похвалилъ бы твою скромность: мужчина обязанъ ею извѣстнымъ положеніямъ.

— Батюшка! сказалъ Николай Арсеньичъ почти жалобно. — И понимаю васъ, и боюсь понять. За что, объясните мнѣ, непременно предполагать вездѣ дурное? Будто ужъ мужчина и женщина не могутъ сойтись, видаться хоть всякій день, безъ задней мысли? Но относительно меня еще нѣтъ такой бѣды; за что же вы хотите попусту бросить тѣнь на бѣдную дѣвушку, у которой все богатство — красота и чистота моральная?

Графъ Арсеній Николаичъ буквально вынулъ глаза на молодаго человѣка. Съ послѣднимъ его словомъ, онъ чисто-сердечно и громко расхохотался.

— Еслибъ я не зналъ себѣ цѣны, Николай, сказалъ онъ — или будь я глупый, скучный моралистъ, я бы, въ первомъ случаѣ, обидѣлся твоему упрямству дурачить меня; во второмъ, сталъ бы тебѣ читать нотации. Ты и не осторожень, и не великодушень, сознайся. Что я глупѣе тебя, это, если и придетъ тебѣ въ голову, ты показывать не долженъ, чтобы не попасть въ просякъ: а такъ какъ я, кажется, не похожъ на отца-ворчуна, на родителя-пугалу, стыдно скрываться отъ меня. Ну кого ты увѣришь, что вы тамъ, подъ соломенной крышей добродѣтельнаго селянина, разыгрываете сцены изъ мадамъ Дезульеръ?

У Николая Арсеньича просто ныла душа, и мудрено сказать за кого больше: за бѣдную Наталку, или за графа.

Послѣдній продолжалъ:

— Съ тобою вѣчно воротишься къ риторикѣ. Я, право, не съ тѣмъ завелъ рѣчь о твоей Форнаринѣ, чтобы экзаменовать тебя. Будь это въ Петербургѣ, я бы и не хватился; никто бы и не зналъ, куда ты относишь избытокъ твоей чувствительности. Дѣло вотъ въ чемъ. Графиня замѣтила твои безпрестанныя отсутствія, и, разумѣется, догадалась: куда, въ самомъ дѣлѣ, пропадать тебѣ по цѣлымъ днямъ? Понимается, ты не ребенокъ, и я далъ всей этой исторіи должный оборотъ. Но все-таки неловко. Надо стараться порѣже пѣть съ очаровательницей. Прошу еще разъ вѣрить, что я проповѣдую не для себя, а единственно во имя приличія, во имя этихъ дамъ.

— Я ни ногой больше къ Паламѣ, рѣшительно сказалъ Николай Арсеньичъ.

— Умиосердись! воскликнулъ Арсеній Николаичъ. — Кто тебѣ говоритъ о ребяческихъ крайностяхъ? Тебѣ чего же хочется: чтобы, покинутая тобою, красавица, съ распущенными волосами и раздражающими воплями, легче серны пробѣжавъ пять верстъ разстоянія, очутилась, въ одинъ прекрасный вечеръ, у нашего порога? Чтожь тогда мнѣ останется дѣлать — отцу, человѣку серьезному и, какъ ты знаешь, врагу всякихъ сценъ? Меня выведутъ изъ терпѣнія, заставятъ разсердиться. И потомъ — ну положимъ не дошло бы до этого драматическаго пароксизма — самый разрывъ, внезапная измѣна привычкамъ, которая за тобою всѣ уже знаютъ, сами по себѣ поднимутъ болтовню, сдѣлаются событіемъ. Что за мѣщанство! Ты слишкомъ легко забываешь свое положеніе, положеніе семейства.

Николай Арсеньичъ сидѣлъ съ потупленной головой.

— Я надѣюсь, что ты не пренебрежешь добрымъ совѣтомъ, прибавилъ отецъ, вставая. — Мое почтеніе мадамъ, де Палама, и желаю тебѣ самыхъ сладкихъ дуэтовъ.

Николай Арсеньичъ продолжалъ свои посѣщенія, но, странное дѣло! не съ прежнею беззаботностію, не съ тѣмъ прозрачнымъ чувствомъ чисто-артистическаго наслажденія, какъ до послѣдняго разговора съ отцомъ, проходило для него время и съ Наталкой, и дома. Задумчивость его стала очень замѣтна. Нѣтъ сомнѣнія, ни одной изъ своихъ идей Арсеній Николаичъ не успѣлъ привить къ молодому человѣку, но своими-то идеями не навелъ ли онъ дѣвственное сердце на другія ощущенія, и именно на такія, которыхъ, естественно, наиболѣе опасался за сына практической мудрецъ? Подобное предположеніе чрезвычайно-вѣроятно.

Мы любимъ иногда сравненія и сближенія. Въ настоящую минуту подвергается подъ перо довольно-замысловатый анекдотъ, гдѣ-то нами слышанный, и котораго, быть-можетъ, не зналъ графъ Арсеній Николаичъ. Вотъ онъ.

Прислуга одной брызгливой слѣпой старушки присудила избавиться отъ госпожи самымъ рѣшительнымъ образомъ: отравить ее. По чьему-то совѣту былъ, съ этою цѣлью, сваренъ бульонъ изъ змѣи. Старушка кушала, похваливая, а накушавшись, прозрѣла. Вообразите удивленіе заговорщиковъ.

Нѣчто не совсѣмъ не похожее случилось надъ Николаемъ Арсеньичемъ.

Графъ Арсеній Николаичъ, привыкши толковать всѣ явленія духовной природы, какъ и общественной жизни, по-своему, и хватившись, что подлил масла на огонь, продолжалъ предполагать его, конечно, не съ того алтаря, который способенъ былъ воздвигнуть Николай Арсеньичъ. Но, чистый или нечистый, его нужно было потушить. Только что началъ сооружаться планъ по этому поводу, разградовскій помѣщикъ былъ на нѣсколько дней отвлеченъ почти-неожиданнымъ прїѣздомъ начальника X-ой губерніи.

Съ особеннымъ удовольствіемъ остановились бы мы на всѣхъ подробностяхъ пребыванія губернатора во владѣніяхъ и домѣ графа Хвалынскаго, начиная со встрѣчи двухъ сановниковъ, милительно-разсчитанной преждевременно по шагамъ, и кончая ихъ разлукою, при которой были также соблюдены всѣ параграфы новѣйшаго этикета; но въ этомъ мы не вольны. Поучительныя, безъ сомнѣнія, сцены обязали бы насъ къ отступленію, черезъ-чуръ продолжительному, и безъ пользы для идеи, связующей или, по нашему мнѣнію, имѣющей связать общей нитью отдѣльныя части нашего разсказа.

Однакожь, намъ не миновать познакомиться съ почетнымъ гостемъ Разградовки, но, къ сожалѣнію, мы увидимъ его только урывкомъ.

Наканунъ уже опредѣленнаго отъѣзда, начальникъ губерніи, съ графомъ Арсеніемъ Николаичемъ, графиней и миссъ Брайнтъ, сидѣлъ на парадномъ крыльцѣ. Это было въ такой часъ, когда солнце свѣтило съ другой стороны дома. Николай Арсеньичъ отсутствовалъ. Нужно ли говорить, гдѣ онъ былъ?

Читатель подразумѣваетъ, что если разговоръ между гостемъ и хозяиномъ и велся о предметахъ весьма положительныхъ, такъ неизмѣнно съ той возвышенной точки, на которой стояли ораторы... въ собственномъ мнѣніи и по чиноначалію. Когда рѣчь заходила на французскомъ языкѣ, миссъ Брайнтъ откладывала книгу и преисполнялась благоговѣнія: она воображала, что незримо присутствуетъ въ палатѣ лордовъ, до-того

широки и благородны были мысли и чувства собесѣдниковъ. Если же справедливо, согласно одному старинному руководству къ теоріи изящнаго, что краснорѣчіе можетъ быть и въ молчаніи, въ такомъ случаѣ и Марья Сергѣевна была краснорѣчива: она молча отмахивалась своимъ любимымъ вѣеромъ, неразлучнымъ спутникомъ ея непрерывнаго деревенскаго кейфа.

Въ одно изъ самыхъ патетическихъ мгновеній подъѣхала къ крыльцу коляска Хвалынскихъ. Прежде нежели успѣли понять въ чемъ дѣло, изъ коляски вышелъ Николай Арсеньичъ, въ коляскѣ же увидѣли неясную человѣческую форму, распростертую и покрытую ветхой шинелью. Изъ-подъ шинели выглядывала бокомъ голова, повязанная мокрымъ полотенцемъ.

Сидѣвшіе на крыльцѣ, переглянулись вопросительно.

— Миссъ Брайнтъ, сказалъ Николай Арсеньичъ, не отходя отъ коляски — я попрошу васъ позвать людей.

Миссъ Брайнтъ вскочила, какъ быть-можетъ ни разу до сихъ поръ у Хвалынскихъ, и бросилась въ домъ, съ громкимъ крикомъ:

— Грегоръ!

Невообразимую поспѣшность ея движенія вполне оправдывали разстроенная физіономія молодаго графа и необъяснимость неожиданной сцены.

Выбѣжалъ Григорій, и очень кстати еще нѣсколько человѣкъ.

— Возьмите поосторожнѣе, сказалъ имъ Николай Арсеньичъ, показывая на коляску — и отнесите ко мнѣ.

Затѣмъ, поддерживая перевязанную голову, онъ обратился къ отцу:

— Несчастный Палама! хорошо, что я тутъ случился. Одинъ изъ его воловъ разевирѣпѣлъ и смялъ его подъ себя, у самага двора. Мы сейчасъ бросимъ ему кровь. Я послалъ въ Осокоровку: при имѣніи князя докторъ. Оставить его дома, не было никакой возможности. Дочь безъ головы. Некому кровь бросить, некому присмотрѣть даже. Какъ счастливо, что были со мною лошади!

Николай Арсеньичъ и миссъ Брайнтъ скрылись въ домъ вмѣстѣ съ группой, вносившей больнаго.

Арсеній Николаичъ сдѣлалъ сильную гримасу. Графиня, куда проносили несчастнаго, не отнимала платка отъ лица.

— Что за сердце! воскликнулъ губернаторъ, обращаясь къ графу — мы съ вами, графъ, въ наши лѣта, пожалуй бы такъ не распорядились.

Графъ молчалъ. Казалось, онъ даже счелъ замѣчаніе губернатора за иронію.

— А если онъ умретъ здѣсь? дрожащимъ голосомъ спросила графиня, какъ будто еще не переведа духу.

— Богъ милостивъ, отвѣчалъ губернаторъ. — Но если бы это случилось, я васъ успокою. Завтра утромъ, проѣзжая черезъ Б—ъ, гдѣ меня долженъ ждать исправникъ, я прикажу, чтобы, по первому же извѣстію отъ васъ—вы ужь потрудитесь, графъ, тотчасъ послать нарочнаго въ городъ — чтобы, по пріѣздѣ нарочнаго, онъ скакалъ сюда сломя голову и, минуя формальности, развязалъ васъ прежде всего съ покойникомъ.

— Я не знаю, какъ благодарить ваше превосходительство! сказалъ съ чувствомъ графъ.—А Николаю такъ надо стать передъ вами на колѣни.

— Полноте, ваше сіятельство! съ любезной улыбочкой отвѣчалъ губернаторъ—будто это одолженіе.

— О! вѣрьте, что я умѣю цѣнить, перебилъ графъ, хватая руку губернатора—и никогда не забуду.

— Каково, однако, спать подъ одной крышей съ мертвымъ! съ ужасомъ замѣтила графиня. — Одна эта мысль можетъ съ ума свести.

— Вашъ домъ, кажется, такъ великъ, основательно возразилъ губернаторъ.

— Но все-таки....

— Когда это случится, это будетъ такъ далеко отъ васъ; прикажите, чтобы вамъ не докладывали. Я боюсь холеры: когда у насъ была холера, я объявилъ, чтобы мнѣ не смѣли и заикаться о ней.

Услужливый, любезный и краснорѣчивый начальникъ губерніи, напутствуемый пожеланіями хозяевъ, уѣхалъ на другое утро, въ то самое время, какъ вѣзжалъ на дворъ врачъ, за которымъ Николай Арсеньичъ послалъ для Паламы.

Не улеглась еще по селу пыль отъ губернаторскаго поѣзда, Арсеній Николаичъ, сидѣвшій съ графиней и миссъ Брайнтъ въ гостиной, гдѣ только что губернаторъ напился чаю и слегка позавтракалъ на дорогу, приказалъ позвать Николая Арсеньича.

Николай Арсеньичъ медлилъ.

Это окончательно прогнѣвило графа, который и въ мелочахъ былъ деспотъ въ семействѣ.

Однакоже, минутъ черезъ десять, явился молодой Хвалынской.

— Вы посылали за мной, батюшка, а мнѣ хотѣлось выслушать мнѣніе доктора, сказалъ онъ—и получить его наставленія. По разстоянію, онъ не можетъ бывать часто. Слава Богу! по крайней мѣрѣ большой опасности нѣтъ, а объ жизни и говорить нечего... Что вамъ угодно?

— Мнѣ угодно во-первыхъ, чтобы ты не такъ своевольно распоряжался въ моемъ домѣ, холодно и серьезно отвѣчалъ Арсеній Николаичъ.—Что подумалъ губернаторъ, этотъ почтенный человѣкъ, о твоёмъ вчерашнемъ появленіи?

— Какъ? спросилъ Николай Арсеньичъ, ища въ глазахъ матери и компаньонки ихъ мнѣнїя.

Марья Сергѣевна распустила вѣеръ, за который еще не успѣла приняться. Миссъ Брайнтъ передъ этимъ собиралась открыть книгу, но отложила намѣреніе.

— Наконецъ, неужели ты въ двадцать пять лѣтъ не знаешь, что если этой дряннѣ вздумается или вздумалось бы умереть здѣсь, намъ бы пришлось угощать временное отдѣленіе. Хорошо такъ, что случился губернаторъ и застраховалъ насъ отъ интереснаго визита. На что это все похоже? погляди: мать не сомкнула глазъ ночью.

— Какія вы добрыя, матушка! воскликнулъ молодой человекъ, приписывая безсонницу графини участію къ положенію больного; и онъ взялъ руку матери.

Графиня опустила глаза и смиренно приняла незаслуженный комплиментъ.

— Да и гдѣ все это видано? притащить въ порядочный домъ какого-то нищаго... Будьте филантропы, но не нарушайте приличія. Дайте ему денегъ, пошлите ему своего камердинера; очень хочется, сами сидите, наконецъ, — другихъ-то не беспокойте.

Такъ говорилъ графъ Арсеній Николаичъ. Миссъ Брайнтъ начинала приходить въ недоумѣніе. Куда убѣжали ея вчерашнія парламентскія видѣнія!

Николай Арсеньичъ повѣсилъ голову, какъ въ тотъ день, когда отецъ завелъ съ нимъ рѣчь по поводу портрета Наталки.

Арсеній Николаичъ продолжалъ.

— Понятно, откуда вѣтеръ дуетъ, что растапливаетъ человекую колюбіе. Но какъ же забывать домашнія консидераціи, уваженіе, которымъ обязанъ матери, по крайней мѣрѣ, какъ женщиной? Я предоставляю себѣ все это привести въ должный порядокъ, и въ скоромъ времени, будь покоенъ. Но, во-первыхъ, прошу мнѣ сейчасъ же выкурить своего питомца. Дать, пожалуй, тарантасъ: мой домъ не лазаретъ.

— Невозможно, рѣшительно сказалъ Николай Арсеньичъ: — докторъ предписалъ два-три дня безусловнаго спокойствія. Тогда...

— Тебѣ нужно, чтобы я велѣлъ его выбросить, перебилъ графъ, кипя негодованіемъ.

Онъ ни разу въ жизни не встрѣчалъ подобнаго противорѣчія, особенно въ своемъ домѣ.

— Такъ ужъ вмѣстѣ со мною, сказалъ сынъ, блѣдный какъ полотно, и вышелъ.

— О-о! только произнесла миссъ Брайнтъ, не найдя въ своемъ «инглишизмѣ» болѣе энергической ономапопеи.

— Ахъ! сентиментально простонала графиня, зная изъ опыта, что передъ волею Арсенія Николаича все въ домѣ должно склониться, или пострадать.

Возгласъ Англичанки одинъ укололъ графа. Но онъ же и осадилъ его немножко. Онъ хорошо зналъ себя: оттого бывали минуты, когда боялся и стѣнь.

Смущенный и въ волненіи, графъ почти выбѣжалъ.

Графиня встала и пошла въ садъ; миссъ Брайнтъ послѣдовала за нею какъ тѣнь. Онѣ заняли свои насиженные мѣста и принялись за дѣло: Марья Сергѣевна за вѣтеръ, компаньонка за книгу. Последняя, однакожь, по временамъ закрывала книгу: не надъ предметомъ чтенія задумывалась она; нѣтъ. Но нѣсколько разъ вставалъ передъ нею необъяснимый для нея порывъ хозяина дома, одна изъ тѣхъ странностей страннаго народа, какихъ до сихъ поръ не случилось ей видѣть.

Николай Арсенычъ, во избѣжаніе новыхъ сценъ со стороны отца, котораго отнынѣ, увы! долженъ былъ признать способнымъ на самыя невѣроятныя выходки, рѣшилъ, вмѣстѣ съ докторомъ, еще не уѣхавшимъ, перенести бѣднаго больного домой на кровати, какъ онъ лежалъ. При избыткѣ въ рукахъ, это не трудно было, и исполнилось со всѣми предосторожностями, какихъ требовало положеніе.

Самъ онъ сопровождалъ Паламу, остался сидѣть надъ нимъ, взявъ съ доктора слово, чтобы онъ пріѣхалъ послѣ-завтра и давъ ему свое, что не отойдетъ отъ больного до его возвращенія, — а одному изъ слугъ, переносившихъ Паламу, приказалъ сказать дома, чтобы его не ждали ни къ обѣду, ни къ вечернему чаю.

Графъ выслушалъ докладъ съ наморщенной бровью.

— Изволите видѣть, отнесся онъ къ графинѣ, идя къ столу. — А все-таки изъ двухъ золъ лучшее: я не взялъ бы его вчерашняго появленія и за сто его визитовъ въ *châlet* господина Паламы! Любовь и признательность! да онъ теперь сидитъ, я чай, увѣнчанный розами? прибавилъ онъ вполголоса, не желая, чтобы слышала миссъ Брайнтъ. — Графиня, продолжалъ онъ опять громко — мнѣ хотѣлось, уже или завтра, переговорить съ вами: у меня есть планъ относительно этого головорѣза. Чтѣ будешь дѣлать! Если самъ не хочетъ думать о себѣ, наше дѣло заботиться о его счастьи. Не такъ ли, миссъ Брайнтъ?

Обращенію этому онъ придалъ удареніе добродушнѣйшаго изъ людей.

Миссъ Брайнтъ отвѣчала дипломатически:

— О, это конечно! —

— Что такое отецъ? философически возразилъ графъ. — Вьючное животное глупостей сына; неправда ли?

Графиня улыбнулась. Миссъ Брайнтъ осталась холодна: остро-внянку не прошибало континентальное остроуміе.

— Я не отвѣчала вамъ, графъ, сказала графиня — виновата. Я всегда къ вашимъ услугамъ, когда вамъ угодно.

— Такъ хоть ужъ, отвѣчалъ графъ, кланаясь.

И въ тотъ же вечеръ они сошлись. Графиня предупредила миссъ Брайнтъ, чтобы она оставила ее наединѣ съ мужемъ.

— Вы видите, графиня, началъ графъ, придавъ лицу выраженіе самое знаменательное — чтѣ такое Николай. Если не вѣзаться за него хорошенько, не принять мѣры серьезной, рѣшительной, Богъ знаетъ чѣмъ онъ кончитъ. Дайте ему волю, онъ на мою, на вашу могилу явится *en bras de chemise*, съ руками, запачканными краской, и, пожалуй, въ трогательномъ сопутствіи отпрысковъ дома Паламы.

Графиня слегка поблѣднѣла подъ пудрой, чего, разумѣется, не замѣтилъ бы и самъ чортъ.

— Чего я не пробовалъ? Чего мы не пробовали? вы сами знаете. Заграничное путешествіе только сбило его: можно ли было это предвидѣть? Такою ли возвращается изъ Европы наша блистательная молодежь? Такимъ ли возвратился я въ дни оны? Служба!... Если бы не я, онъ бы до сихъ поръ не зналъ, гдѣ живетъ директоръ департамента, и какъ зовутъ его жену. Ну-съ. Теперь здѣшнія... событія... Этотъ вертеризмъ по поводу какой-то неумытой хохлушки, дочери бѣдныхъ, по благородныхъ родителей... Чѣмъ все можетъ разыгратъ? Вы такъ умны и понимаете жизнь: не сталъ бы я и замѣчать его визиты прекрасной степнячкѣ и такъ бы неизмѣнно называлъ ее, даю вамъ слово, потому что, между нами, если судить по портрету, она очень, очень недурна, — не сталъ бы я и замѣчать эти визиты, пусть они и частеньки, если бы дѣло дѣлалось какъ всегда, какъ вездѣ. Въ самомъ дѣлѣ, куда броситься молодой крови? Здѣсь ни свѣта, ни кулисы. Но отъ его отношеній разить нѣмецкимъ буршемъ: вѣрьте мнѣ, Гришка мой, и тотъ больше сохранилъ бы, такъ-сказать, свое достоинство, свой *quant à soi*; я уже не говорю объ Олтуховѣ. Гдѣ же, умило-сердитесь, во всемъ этомъ баринъ, джентльменъ? Или я со-всѣмъ слѣпъ?

Графиня отвѣтила самой краснорѣчивой улыбкой: сомнѣніе въ возможности послѣдняго предположенія, ею безмолвно выра-женное, стоило всѣхъ клятвъ, до какой степени она вѣрила въ непогрѣшимость проницательности супруга.

Онъ отлично понималъ, и продолжалъ:

— То-то же... Надо конецъ, и будетъ конецъ. Одно сред-ство: я хочу женить Николая...

Графъ остановился, и взглянулъ на графиню.

— Вы знаете, графъ, я всегда вашего мнѣнія, сказала она.

Графъ слегка наклонилъ голову.

— Что вы думаете о племянницѣ баронессы Штральборнъ, о маленькой Нелли Куломзиной? спросилъ онъ.

— Я думаю, отвѣчала графиня — что это премилый ребенокъ...

— Я чрезвычайно-счастливъ, что вы и въ этомъ согласны со мной, самымъ любезнымъ тономъ сказалъ графъ, расточительный, въ отношеніяхъ съ женою, на ту мелкую монету ничего незначащихъ комплиментовъ, которая составляетъ основное богатство свѣтскаго разговора, въ чемъ близорукіе и невѣжды видятъ свое сходство съ французскимъ обществомъ добраго стараго времени, отъ котораго, занявъ его мораль, они забыли прихватить несомнѣнный умъ и несомнѣнное образованіе. — А знаете ли вы, продолжалъ графъ — что у этого ребенка тридцать тысячъ дохода?

— Вы какъ-то говорили, что она имѣетъ состояніе.

— Вы знаете, кромѣ того, что Куломзина, по матери, двоюродная племянница Дунбіусъ-Кундіусу: наши пріятельскія отношенія вамъ пзвѣстны. А онъ не нынче — завтра по крайней мѣрѣ членъ государственнаго совѣта. Можетъ-быть въ ту минуту, когда мы здѣсь съ вами бьемъ палець о палець, приказъ уже печатается? Что я говорю? можетъ-быть мокрый листокъ уже и летитъ ко мнѣ по сю сторону Днѣпра.

— Надо быть упрямой, какъ послѣднему животному, чтобы не улыбнуться вашей идее, графъ, и заболѣть желтухой — я не нахожу другаго выраженія, — чтобы не преклониться передъ вашимъ выборомъ.

— Я зналъ, что вы его одобрите. На баронессу, кажется, можно надѣяться. Въ Кундіусъ я совершенно увѣренъ. Да и чего имъ еще, между нами? Конечно, мы не можемъ дать Николаю, при жизни, п половины того, что онъ возьметъ за женой; но, вы согласитесь, стоить же чего-нибудь гербъ Хвалынскихъ.

— Можно ли спорить съ вами, графъ?

— Хвалынскіе и Куломзины! Да будь не нынѣшнее время, живи мой покойный отецъ, не дунъ и на насъ система Наполеона Перваго, какъ бы вы еще это связали?

— Конечно.

— И такъ рѣшено. Я завтра же буду писать къ Кундіусу, а вы пишите къ баронессѣ. Она теперь должна быть съ племянницей въ Баденъ, откуда онъ пройдетъ на мѣсяцъ въ Парижъ. Давайте ей комиссій и вверните, что Николай бредитъ восхитительною Нелли.

— Непремѣнно, графъ, непремѣнно.

— Позвольте, графиня. Ему до Петербурга ни слова, ни намека. Я предвижу его филиппики: признаюсь вамъ, здѣсь онъ особенно скучны. Я смотрю на васъ и на себя какъ на больныхъ. *Nous faisons une cure d'expiation* за всѣ наши грѣхи противъ популярной гигиѣны. И тутъ еще слушать утопій! Слуга покорный. А онъ, нашъ рыцарь, пусть покуда донашиваетъ студентскіе башмаки въ этой глуши. Пусть себѣ оставитъ лишній пылъ у своей здѣшней богини, хе-хе-хе!

— А не дурна она? спросила графиня, платя законную дань женской натурѣ.

— И очень даже, я вамъ скажу, пусть и польстила ей кисть художника, которою водило нѣжное сердце вашего сына. Признаюсь, графиня, еслибы я былъ способенъ на злость, я по поводу одной этой нѣжности могъ бы позволить себя оглядку на прошедшее.

Графиня опустила глаза. Графъ взялъ ея руку.

— Полноте, сказалъ онъ — вы видите: похоже ли мое расположеніе на мелодраматическое? Молодость, дѣтство, дымъ, суета! Пройдетъ. Уйдетъ, забудетъ. Женится, — по неволѣ станетъ человѣкомъ. Новыя обязанности, другіе взгляды: все перемелется, мука будетъ.

Графъ поцѣловалъ руку графини, и они, раскланявшись почти какъ въ менуэтъ, разошлись, чрезвычайно-довольные другъ другомъ.

V.

Южное лѣто перешло, куда за половину, — за третью четверть.

Степь обнажилась вовсе. Отава сливалась цвѣтомъ съ пашнею. Сжатые же и вспаханные полосы лежали блѣдно-блѣдно-сѣрыя. Солнце столько разъ такъ горячо пригладило необозримыя ложбины! Жаръ сталъ какъ будто терпимѣе. Степь вымерла пуще; мимо идущее оживало. Чаше скрипѣлъ обозъ по дорогѣ къ Одессѣ; иной шелъ къ Перекопу, чтобы оборотить съ солью.

Разградовскій садъ, кромѣ вершинъ высокихъ деревьевъ, былъ весь выкрашенъ пылью, а верхушки пестрѣли желтыми листьями. Кусты и цвѣты походили больше на искусственные, будто забытые хозяиномъ и отданные на сѣдѣніе всѣмъ тѣмъ былинкамъ, которыя роняетъ за собою вѣчно, гдѣ и невидимо, несущаяся жизнь. Ингулецъ только что не пересохъ.

Панъ Свензецкій по ночамъ графилъ новыя книги, которыя вскорѣ собирался представить графу Арсенію Николаичу. Днемъ, въ минуты, свободныя отъ хозяйственныхъ заботъ, онъ учащалъ визиты къ экономкѣ, упаваясь съ нею чаями и кофеями. Не забывалъ онъ и объ удовольствіяхъ Олтухова. Иванъ Павлычъ, казалось, былъ тронутъ гостепріимствомъ управляющаго, немножко раздался даже въ ширину, приглаживалъ свои пискарикки съ едва-замѣтной улыбочкой и иногда изподтишка облизывался. Мы не въ правѣ объяснять это. Но мы знаемъ, что не смотря на прензбытокъ сладостныхъ ощущеній, которыми чивый экономъ окружалъ неприхотливаго и небалованнаго петербургскаго чиновника, въ семъ послѣднемъ начинали вскакивать, подобно клавишамъ въ дудящей шарманкѣ, нѣкоторыя воспоминанія о столицѣ: мѣсто возлѣ машины у Палкина, глазки одной актрисы въ циркѣ, которая особенно плѣняла Олтухова въ водевилѣ съ переодѣваніемъ, и такъ далѣе.

Гриша, или Григорій, или Грэгоръ, лѣнивѣе похаживалъ къ отцу-дьякону, обремененному семью дочерьми, съ коими всегда завитый Фигаро свелъ-было самое пріятное знакомство. Можеть-быть разсказалъ онъ имъ о Петербургѣ уже все, что зналъ и даже чего не зналъ, да и онѣ успѣли высыпать ему всѣ запасы изъ тѣхъ таинственныхъ вмѣстилищъ, откуда нѣжный полъ почерпаетъ свое вліяніе на полъ суровый. Или и то еще: петербургская наперсница его, страстная Юлія, модистка по ремеслу, Испанка по чувствамъ, на-дняхъ прислала горячее, какъ утюгъ, письмо, въ коемъ изливала всю горечь скорби по поводу столь продолжительной разлуки съ сердечнымъ другомъ. И потягивало Григорія на берега Невы, туда, гдѣ нипочемъ освѣщеніе газомъ, торцевая мостовая, балинки у своей братіи, лакеевъ сановныхъ господъ, — туда, наконецъ, гдѣ бранивала его Юлія.

Мосѣ Франсуа и сначала не сошелся съ Разградовкой. Бабъ и дѣвокъ деревенскихъ онъ видѣть не могъ; Свензецкій не поправился Французу своей низкопоклонной услужливостію; на Олтухова онъ и въ Петербургѣ смотрѣлъ съ жалостію, преимущественно потому, что, будучи нѣкогда въ своемъ отечествѣ солдатомъ, не любилъ штатскихъ, *les pékins*, какъ онъ ихъ называлъ. Затѣялъ онъ разъ поудить рыбы въ Ингульцѣ, и черезъ два часа неподвижнаго сидѣнья на солнцѣ, возвратившаго его воспоминаніемъ къ ощущеніямъ африканскимъ, вытащилъ лягушку, да добро бы зеленую! Французъ рѣшилъ не ходить по лягушки. И, окончивъ свое ежедневное дѣло, которое въ деревнѣ заключалось отпускомъ обѣда, онъ не зналъ, куда приклонить голову: уныло покуривалъ свой *капоруль*, въ сотый

разъ брался за оторванный волюмъ одного изъ романовъ Пиго-Лёбрёня, и немножко отводилъ душу тогда лишь, когда почта приносила графу французскую газету, которую Григорій, по минованіи надобности въ домъ, ссужалъ повару. Мосё Франсуа чистосердечно вздыхалъ о Петербургѣ.

Экономка, женщина безстрастная и солидная по лѣтамъ, проживала себѣ равнодушно въ Разградовкѣ, какъ и въ Петербургѣ. Ей были бы почаше чай и кофен, а матеріалы этого наслажденія неутомимо подносили Свензецкій; остальное ее мало привлекало. По ней хоть и зиму прожить въ степи, лишь бы достали ей ея лисій салопъ, и, разумѣется, бережно привезли въ Разградовку. Любила она, правда, посплетничать, но такъ какъ она предавалась этому занятію не отъ злаго умысла, а въ качествѣ чистаго художника, служа искусству для искусства, то ей все равно было на кого сплетничать: на петербургскихъ баръ, или на сонныхъ хохловъ...

Прочая пріѣзжая челядь, облежавъ и обживъ свои деревенскіе углы, мало думала о томъ, что черезъ нѣкоторое время придется съ-изнова облеживать и обживать углы петербургскаго дома. Одинъ изъ выѣздныхъ лакеевъ приглядѣлъ—было въ трактирѣ, то-есть въ шинкѣ, смазливую шляхтяночку и охотно бы предложилъ ей руку, какъ давно отдалъ ей сердце и всѣ свои фуляровые платки, но боялся барина: баринъ не жаловалъ женатой прислуги въ домъ, говоря, что у женатыхъ только одно на умѣ, какъ бы, набивъ карманъ остатками барскаго обѣда, тащиться къ бабѣ да къ сусликамъ: такъ остроумно называлъ графъ Арсеній Николаичъ дѣтей вообще, преслѣдуя ихъ вездѣ систематически, будто въ самомъ дѣлѣ его назначеніемъ было гнать невинность во всѣхъ ея видахъ.

Въ массѣ все петербургское лакейство пользовалось расположеніемъ управляющаго и могло даже злоупотреблять водку, которую шинкаръ доставлялъ для барской экономіи по умѣншенной цѣнѣ и въ неувеличенной крѣпости. Но и водка разградовская уже потеряла прелесть новинки, какъ пріѣлись до тошноты ничего не стоившіе бахчевые арбузы и дыни, на которые съ первыхъ дней было накинута столичная гости.

Довольнѣ другихъ своимъ пребываніемъ въ Х—ой губерніи былъ нѣкоторый поваренокъ, по имени Маркушка, исполнявшій, кромѣ разнообразныхъ обязанностей на кухнѣ, должность камердинера и грума при мосё Франсуа. Вѣчно замасленный отрокъ, одаренный отъ природы раннимъ талантомъ искательства и пронырливости, съ помощію его умѣлъ въ разное время вытянуть у Свензецкаго до трехъ рублей серебромъ, и сумму эту хранилъ, какъ зеницу ока, въ вонючей тряпкѣ. Она была определена на свои-козыри, горку, пристѣнокъ и бабки, и пова-

ренокъ, въ оружіи своего богатства, видѣлъ севъ отсюда побѣдителемъ всѣхъ своихъ петербургскихъ пріятелей во всѣ козырные и безкозырные игры. Естественно, что у Маркушки горѣли зубы на сѣверную Пальмиру.

Что касается до миссъ Брайнтъ, она и не вспомнила бы ни разу о городѣ Петра: воспоминаніе принадлежало къ числу силъ, ею наименѣе въ ходъ пускаемыхъ, а обживалась она скорѣхонько всюду, какъ бынося съ собою и климатъ, ей нужный, и потребныя условія удобства, лишь бы устроить ей все въ своей комнатѣ по-своему. Но приключилось съ миссъ Брайнтъ предосадное событіе: сломалась одна изъ застѣжекъ той самой библии, которую привезъ изъ Лондона Николай Арсеньичъ. Трижды справлялась она обстоятельнымъ образомъ у Свензцака, какія бы могли найдтись мѣстные средства къ починкѣ золотой застѣжки, и трижды получила убійственный отвѣтъ, что художника, на то способнаго, не имѣется, по крайней мѣрѣ, на сто верстъ окружности. Миссъ Брайнтъ трижды еще подивилась странности обширнаго государства и трижды сказала себѣ, что пріятно было бы теперь увидѣться съ мистрами Никльсъ и Плинке и ввѣрить имъ участь поврежденной застѣжки. Но отъ Б—го уѣзда до Англійскаго магазина не то, что отъ Морской!

Графиня Марья Сергѣевна, закрываясь японскимъ вѣеромъ, частенько зѣвала какъ нельзя чистосердечнѣе. Въ самомъ дѣлѣ, ей и выѣхать некуда было: сосѣдей ни души, или такіе, какъ Палама и Малама. Ни порядочнаго города по близости, ни полка, ни какого-нибудь магазина, хоть бы въ степи, вмѣсто шинка. Конечно, имѣлся при ней значительный запасъ картоновъ, или технически: картонокъ, отъ которыхъ недавно только перестали болѣть лѣвый високъ у экономки и всѣ головы у горничныхъ, сидѣвшихъ, подъ картонами, въ тарантахъ; но не грустно ли было украшать себя чудесами, что содержали они, когда не представлялось ни судей, ни судейшъ, способныхъ оцѣнить искусство модистокъ и вкусъ графини? домашніе, разумѣется, не входили въ счетъ. Своихъ домашнихъ несчастныя женщины, въ подобныхъ случаяхъ, осуждены считать за неразумную мебель. Пріѣздъ губернатора пролилъ—было нѣкоторую отраду въ душу Марьи Сергѣевны, но губернаторъ прожилъ въ Разградовкѣ такъ мало: всего трое сутокъ. Разумѣется, графиня, какъ мастерица своего дѣла, не потеряла времени: показала гостю на себѣ десять платьевъ, столько же куафюръ и три шляпы (большее количество шляпъ не возможно было захватить изъ Петербурга, или надлежало оставить одну горничную). И какъ же была награждена она! Начальникъ губерніи, передъ самымъ отъѣздомъ своимъ, до послѣдней перепонки пораженный совершенно-воздушнымъ нарядомъ графини, которая, безъ сомнѣнія, поверхъ

необъятнѣйшаго кринолина, была облита какимъ—то прозрачнѣйшимъ паутиновиднымъ газомъ, на коемъ, будто сквозь морской туманъ, или въ снѣ послѣ опіума, рисовались всѣ арабески мавританской Испаніи и всѣ цвѣты садовъ Армиды и Аладина, — начальникъ губерніи, приложившись къ кончикамъ пальчиковъ графини, съ благороднымъ вздохомъ произнесъ:

— Я до сихъ поръ былъ врагъ женитьбы по системѣ; но какъ взглянешь на васъ, графиня, по неволѣ поймешь, что назначеніе чело­вѣка быть женатымъ, что одно счастье въ жизни—женитьба! Или мы.....ископаемыя!

Надо было видѣть сладостное умиленіе, которымъ озарилось глубокомысленное лицо губернатора, вдругъ смѣнивъ молнію негодованія, блеснувшую на немъ при страшной гипотезѣ, коею было закруглено обращеніе къ графинѣ.

Но уѣхалъ же губернаторъ, и кому оставалось сочувствовать покроямъ и вкусу, арабескамъ и цвѣтамъ, гипюрамъ и шитью?

Марья Сергѣевнѣ сильно, сильно хотѣлось въ Петербургъ.

Николай Арсеньичъ если когда и помышлялъ объ отъѣздѣ изъ Разградовки, такъ не иначе какъ съ ужасомъ. Это вѣрно какъ дважды два четыре. Живмя жилъ онъ у Паламы, благо Арсеній Николаичъ и не поминалъ никогда объ этомъ предметѣ. Вообще отецъ сдѣлался особенно любезенъ съ сыномъ. Молодой чело­вѣкъ, съ своей доброй натурой, старался ужъ и забыть мгновенную вспышку графа, готовый считать ее припадкомъ старческой мизантропіи, капризомъ разыгравшейся жолчи.

Старикъ Палама почти-совершенно оправился при помощи доктора и подъ бдительнымъ наблюденіемъ Николая Арсеньича. Съ Наталкой идиллія тянулась все въ той же безусловной чистотѣ, только взаимныя чувства молодыхъ людей достигли, кажется, вершины: существованіе одного было дополненіемъ существованія другаго; они какъ бы обмѣнялись, не говоря о томъ другъ другу ни слова, нѣкоторыми долями своихъ я.

... На этомъ мѣстѣ, предвидимъ, улыбнутся недовѣрчиво и тѣ изъ нашихъ читателей, которые будутъ благосклонны къ молодому Хвалынскому, раздѣлять нѣкоторые его взгляды и нѣкоторыя изъ нашихъ идей. Напрасно. Въ нынѣшнемъ поколѣніи русскаго дворянства, уже стоящемъ на ногахъ, и въ томъ, которое поднимается, есть много задатковъ къ чистотѣ нравственной. Пусть только не приписываетъ себѣ сознательную и активную заслугу поколѣніе, сходящее со сцены, вынынячившее настоящее. Не изъ прописей, не изъ мертвыхъ сен­тенцій гувернеровъ, не изъ глупѣйшихъ сказокъ, сочинявшихся быть-можетъ для будущихъ маріонетокъ, не изъ всего этого сумбура нравоучительныхъ командъ, напоминающихъ отношеніи профессора цирка къ неосѣдланной ученой лошади

и глотаемыхъ дѣтьми и отроками съ тѣмъ ощущеніемъ, какъ глотається ремень, — почерпнули мы, или почерпались когда-либо, начала морали. Напротивъ. Намъ, то-есть нашему поколѣнію, только могли огадить нравственность всѣ эти безспорно балаганныя, однакожь злая пародіи на нее, изъ коихъ складывалось наше «воспитаніе», какъ касстѣтъ изъ кусочковъ дерева или бумаги. И ужь, конечно, по милости каррикатуръ, опротивѣвшихъ намъ съ дѣтства, мы, такъ сказать, вылупились изъ яйца скорѣе съ отвращеніемъ отъ морали, нежели съ уваженіемъ къ ней. Но божественный инстинктъ навелъ насъ на живительные источники: размышленіе и чтеніе тѣхъ свободныхъ мыслителей, которыхъ такъ боялся чадолюбивые родители. И что же всего болѣе пробудило потребность быть нравственнымъ, заглушенную дотолѣ, — что ее вызвало? Печальный примѣръ предшествующаго поколѣнія, отталкивающія проявленія его міросозерцанія. Такъ благодарность ему, угасающему: оно, если и пассивно, обязало насъ, принявъ на себя, хотя и незнаемо для него, относительно насъ роль пьяныхъ илотовъ относительно юношества Лакедемона!

... Какъ Николай Арсеньичъ, такъ и Наталка дорого бы дали, бѣдные, чтобы неопредѣленно отдалить разлуку. Да въ головкѣ хуторянки и складывалась ли хоть разъ мысль о разставаніи? Было ли мѣсто какой-нибудь мысли среди тѣхъ ощущений, которыми жизнь была полна по край?

... Аларикъ налетной дружины, патріархъ чуждаго степи клана, графъ Арсеній Николаичъ, естественно, не имѣлъ надобности вникать въ духовные процессы, какіе совершались въ разныхъ лицахъ, отъ него зависѣвшихъ: на то онъ и стоялъ вождемъ дружины, патріархомъ: — почтенные прототипы нынѣшнихъ начальниковъ были ли же деспоты, — пусть не вѣдали они табели о рангахъ, печатныхъ уставовъ и всего современнаго аромата власти?... Но нашелъ на графа стихъ — онъ приказалъ всѣмъ и каждому собираться во-свояси, объявивъ, что выѣдетъ въ такой-то день. И опять все зашевелилось въ разградовскомъ домѣ, какъ въ лагерь кочующаго племени, когда оно поднимается съ дневки.

Правду сказать, и графъ страдалъ потяготой на Петербургъ. Давно бы поспѣшилъ онъ удовлетворить ее, давно бы сидѣлъ онъ въ будуарѣ своей метрессы и на своемъ курульномъ креслѣ, но предостереженія доктора, и отчасти собственное чутье, что нужно дать полезительный, хотя и нескріятный, отдыхъ обносившимся членамъ и нервамъ, удерживали счастіелюбца-эгоиста, которому страшно хотѣлось жить. Оттого-то до сихъ поръ и переваривалъ онъ, скрѣпя желудокъ, пустынную эклогу, приправляя сухую матерію соображеніями о будущихъ проискахъ,

шагахъ, домогательствахъ и успѣхахъ. Наконецъ не въ мочь пришлось, да и условія его служебнаго положенія требовали возвращенія къ столичному пенату.

Всѣ принялись собираться, укладывать разнообразный скарбъ и складывать шатеръ.

Наканунѣ дня, назначеннаго для подъема Хвалынскихъ, по-скакалъ, опять передовымъ, Иванъ Павлычъ Олтуховъ. Чемоданъ его былъ застегнутъ въ нѣсколько минутъ. Онъ надѣлъ свое дорожное пальто, мгновенно застегнулъ его, и приложившись тоекратно къ лицу Свензецкаго, крѣпко пожалъ ему руку, причемъ они обмѣнялись общаніемъ писать другъ къ другу. Сверхъ того, Олтуховъ получилъ отъ управляющаго государственннй кредитный билетъ на покупки, между коими главную роль играли о-де-колонъ и фиксатуаръ. Объ этихъ статьяхъ была особенная просьба, чтобы прислать непременно французскіе, чего бы ни стоили. Петербургецъ отозвался, что имѣетъ такого знакома, который все отпустить въ настоящемъ видѣ, прикоснувшись къ своимъ пискарикамъ, тщательно натянулъ на голову гуттаперчевую фуражку, вскочилъ въ почтовый фургонъ и, легонько потрясываясь по гладкому степному шляху, исчезъ въ облакъ пыли.

Графъ Арсеній Николаичъ кстати вспомнилъ, что ему нужно же, наконецъ, осмотрѣть свои владѣнія, и объѣхалъ ихъ съ Свензецкимъ кругомъ по одной линіи и въ одномъ направленіи. Какіе выводы сдѣлать изъ этого осмотра, онъ рѣшительно недоумѣвалъ: все было гладко, сѣро или блѣловато; нигдѣ не торчало ни кустика; не встрѣтилось ни перелога, на которомъ бы хоть колыхнулась коляска. Графъ приказалъ, во время объѣзда, подвести себя къ хуторамъ Паламы и Маламы, вызвалъ обоихъ къ коляскѣ — первый уже кое-какъ бродилъ, — и милостиво объявилъ имъ, что совершенно-доволенъ ими какъ арендаторами, въ знакъ чего приказалъ Свензецкому давать имъ земли сколько захотятъ они, разумѣется, на тѣхъ же условіяхъ, на какихъ занимали они ее теперь. Паламу поддерживала дочь — Наталка. Графу вѣроятно ее-то и хотѣлось видѣть. Красавица была въ томъ самомъ нарядѣ, какъ изобразилъ ее Николай Арсеньичъ знакомой намъ акварелью; дикій плющъ вился вокругъ волосъ, не забытый. Арсеній Николаичъ съ удовольствіемъ взглядывался въ блѣдную дѣвушку и не упустилъ изъ виду, что она блѣдна, грустна и очевидно разстроена.

— А дочка-то, вѣдь, красавица, покровительственнымъ тономъ замѣтилъ онъ въ заключеніе Паламъ.

Бѣднякъ слегка улыбнулся.

— На твоемъ мѣстѣ, моя прелесть, обратился графъ къ ней самой—я бы разорилъ молодаго графа на петербургскіе гостиницы:

«не просиживай даромъ мѣста, не порти мою гитару!» Ку-сочикъ!

И графъ протянулъ руку, чтобы любезно ущипнуть Наталку за щеку, но она отсторонилась; Арсеній Николаичъ, посредствомъ кончика указательнаго пальца, послалъ ей поцѣлуй по воздуху, — коляска тронулась.

Счастіе, думаемъ мы, что не случилось на хуторѣ Николая Арсеньича: будь онъ, напримѣръ, хоть спрятанъ гдѣ-нибудь въ хатѣ, нѣсколько скверныхъ минутъ не миновать бы, пожалуй, почтенному родителю.

Николай Арсеньичъ въ это время плакалъ на своей постелѣ и не шелъ къ Паламѣ, чтобы не показать Наталкѣ своихъ слезъ. Ужъ конечно не пошлый стыдъ удерживалъ благороднаго юношу, не зараженнаго до сей поры ни одной изъ тривіальностей своей среды, — а боязнь разстроить въ-конецъ любимое существо.

На утро — черезъ часъ былъ назначенъ выѣздъ изъ Разгрядовки, — онъ на первой лошади, попавшейся ему въ конюшнѣ, поскакалъ къ хутору.

Они даже и не поцѣловались, какъ не цѣловались и до тѣхъ поръ, но схватились только за руки, которыя у обоихъ были ледяныя: кровь стояла у сердца, рыданья въ груди; слезы до-того скопились, что и прорваться невозможно стало. Долго смотрѣли они другъ на друга молча. Хвалынский снялъ у Наталки серебряное колечко, а ей подаль въ обмѣнъ попавшуюся подъ руку запонку рубашки, выбѣжалъ, въ то время, какъ старикъ-Палама, считая себя, быть-можетъ и не даромъ, обязаннымъ ему жизнію, бросился цѣловать у него руки, — вскочилъ на лошадь и понесся домой.

Почтовые лошади уже были запряжены. Мосьё Франсуа, въ своемъ кабріолетѣ, за каретой, успѣлъ уже закурить свой *brûlegueule*; графиня ставила ногу на подножку, миссъ Брайнтъ уже подобрала юбку, чтобы слѣдовать за графиней; графъ Арсеній Николаичъ, въ дорожномъ сертучкѣ со звѣздами, стоялъ на крыльцѣ подбоченясь, черезъ лорнетъ и подобно бдительному капитану корабля надзираая за послѣднимъ дѣйствіемъ, предшествующимъ отчалу.

— *Arrivez donc, beau Dunois!* весело крикнулъ онъ сыну.

Марья Сергѣвна на секундѣ остановилась между землей и каретой, мелькомъ оглянулась на Николая, вздохнула и полѣзла въ карету. Во внутренности миссъ Брайнтъ тоже образовалось что-то въ родѣ вздоха.

Утверждаютъ, будто у женщинъ, какъ бы заморожены, высушены или вообще гадки онѣ ни были, всегда остается подъ одной изъ затаенныхъ складокъ души одна струнка, имѣющая способность дрогнуть отъ состраданія чужому горю, въ особенности когда

онѣ знаютъ или догадываются, что виновница горя — женщина же, что пружина — любовь. Правда ли это? . . .

...Потѣздъ потянулся тѣмъ же порядкомъ, какъ прибылъ въ Разградовку.

Свензецкій, опять-таки во фракѣ, какъ при встрѣчѣ, отвѣсилъ графу, графинѣ, Николаю Арсеньичу, даже и вслѣдъ, по сотнѣ низменнѣйшихъ поклоновъ; потомъ спохватился, догналъ бѣгомъ коляску, и, вскочивъ, какъ бѣлка, на подножку задняго кабриолета, облобызался еще съ Григоріемъ и сунулъ ему въ руку депозитку.

Затѣмъ онъ соскочилъ и смотрѣлъ по направленію потѣзда. Изъ тележки, которая ѣхала послѣдняя, Маркушка, лежа почти вверхъ-ногами, прощально махалъ благодѣтелю блинообразнымъ картузомъ, другою рукою поднося себѣ отломокъ арбуза, а локтемъ ея прижимая къ груди ладонку, въ которую зашилъ зловонную тряпку съ своимъ капиталомъ.

Арсеній Николаичъ, взглянувъ въ лицо сына, сидѣвшаго возлѣ него, не удержался, замурлыкалъ извѣстный романсъ «*Partant pour la Syrie*». Бѣднаго юношу вело какъ бересту на огнѣ. Надо отдать справедливость старому графу: онъ не понималъ положенія сына и никогда не бывалъ въ подобномъ положеніи. Какъ камень, онъ могъ треснуть, но не расплавиться.

VI.

Миновавъ, въ обратной послѣдовательности, опредѣленное количество мостовъ, перевозовъ, станцій, уѣздныхъ городишекъ и губернскихъ городовъ, словомъ, всѣхъ интересныхъ мѣстъ, какими всегда такъ обильно путешествіе по Россіи; въ Москвѣ, какъ должно, пересѣвъ въ вагоны, наши путешественники очутились въ Петербургѣ въ то очаровательное время, когда водой и сухопутьемъ тянутся съ дачъ обыденныя орудія лѣтняго неудобства: стулья, столы, матрасы, кровати, ширмы, тазы и другіе инструменты европейскаго комфорта, которые едва ли не одинъ Гогартъ пріобрѣлъ себѣ право показывать публикѣ на переднемъ планѣ своихъ произведеній.

Надъ Петроградомъ скопился уже будущій туманъ, тотъ, что такъ отлично окрашиваетъ лица въ сѣро-зеленый цвѣтъ, награждаетъ катаррами и геморроемъ, сушитъ человѣка, а самый снѣгъ, только онъ прикоснулся къ странной почвѣ, дѣлаетъ бурмъ, какъ бы окисляя его.

Пріѣзжіе не безъ удовольствія вдохнули въ себя родимую атмосферу — смѣсъ сырости, каменноугольнаго дыма и вони дегтемъ отъ несмѣтнаго количества поводящихъ движителей вся-

каго рода. Такъ, говорятъ, или почти такъ пахнетъ въ Лондонѣ, колыбели сплина.

Одинъ Николай Арсеньичъ былъ грустенъ. Петербургскій воздухъ ошибъ его свинцовымъ, могильнымъ холодомъ. Все кругомъ казалось сѣро, не смотря на видимыя вблизи пестроту и разноцвѣтность. Однихъ сѣрыхъ пальто сновало по городу столько, что какъ будто другихъ и не было. Разумѣется, онъ перенесся мыслію въ сѣрую степь, которая для него была окрашена въ иной цвѣтъ, ласкающій зрѣніе. И невольно пришла ему на память знаменитая строфа:

«Городъ пышный, городъ бѣдный;
Духъ неволи, стройный видъ;
Сводъ небесъ зелено-блѣдный:
Скуда, холодъ и гранитъ!....»

— A la bonne heure! сказалъ графъ Арсеній Николаичъ, выйдя изъ кареты у своего подъѣзда и потирая себѣ руки; онъ тихонько сталъ подниматься по лѣстницѣ, самодовольно озирая растенія, которыми была уставлена она. Графъ понюхалъ цвѣтокъ померанцеваго дерева, и обратился къ графинѣ: — Въ другой разъ не поймають: слуга покорный!

Миссъ Брайнтъ уже видѣла передъ собою милыя лица господъ Никльсъ и Плинке и мысленно улыбалась имъ. Она побѣжала на Невскій проспектъ съ своей библіей, едва давъ себѣ время преобразиться по столичному.

Супруги пошли каждый на свою половину отлеживаться, наипаче для освѣженія цвѣта лица; Николай Арсеньичъ почти опрометью бросился къ своему другу—Тесьмину. Молодому человѣку нуженъ былъ воздухъ, не уличный, а тотъ, который рождается изъ сочувственной встрѣчи, какъ искра отъ кремня и стали.

Тесьминъ, скажемъ мимоходомъ, по возвращеніи изъ—за границы съ Хвалынскимъ, жилъ, какъ и прежде, постоянно въ Петербургѣ, гдѣ продолжалъ учиться, въ ожиданіи будущихъ благъ отъ судьбы и общества, существуя понемножку частными уроками.

— Я не спрашиваю, боленъ ли ты, мое серденько, сказалъ Тесьминъ, взглянувъ на Хвалынскаго. — Я, вѣдь, тебя знаю: садись и рассказывай, а я буду слушать.

Но Николай Арсеньичъ и самъ не зналъ что рассказывать, а пуще того, какъ рассказывать.

Пріятель, со взглядомъ уже нѣсколько наметаннымъ, при искреннемъ сочувствіи своемъ къ графу, догадался, что подъ смущеніемъ его, подъ его разстроенной фizioноміей кроется какая—нибудь несчастная привязанность.

Кто-то изъ философовъ сказалъ, что умъ человѣка въ сердцѣ. Мы не раздѣляемъ этого мнѣнія безусловно. Или слова

философа незаслуженный комплиментъ человечеству, или надо понимать ихъ такъ: каково сердце, таковъ и умъ. Но отъ себя мы вотъ еще что скажемъ: у кого умъ въ сердцѣ, тотъ легко читаетъ въ чужой душѣ, особенно же сочувственной.

Тесьмину не нужно было ломать себѣ голову, чтобы напасть на причину неестественнаго состоянія друга. Только, разумѣется, куда, вещь осталась безъ послѣдняго опредѣленія, безъ собственнаго имени, какъ на нѣмой картѣ географическая точка, еще не названная на экзаменѣ ученикомъ. Тесьминъ основательно предполагалъ, что и за окончательнымъ опредѣленіемъ, за полною исповѣдью дѣло не станетъ, но требовать ея насильно значило бы сознательно расшевеливать горе, — и онъ разстался съ Хвалынскимъ еще не зная подробностей его внутреннихъ потрясеній.

По пріѣздѣ изъ деревни, Хвалынскимъ, а равно и домочадцамъ, не большихъ трудовъ стоило войти въ обычную колею. Нѣсколько часовъ, много сутки, и всѣ они какъ-будто и не выѣзжали изъ Петербурга: свое мѣсто.

Графъ облеталъ кого нужно было, графиня тоже, — и принялись съ обѣихъ сторонъ за домашнія дѣла. Не говоря о заботахъ всеневныхъ, на первомъ планѣ теперь у обоихъ былъ предположенный, съ точки зрѣнія графа рѣшенный, бракъ Николая Арсеньича.

Отвѣтъ пріятеля, Дунбіусъ-Кундіуса, къ которому Арсеній Николаичъ писалъ изъ деревни, — полученный теперь изустно, оказался тѣмъ, чѣмъ и ожидалъ графъ. Кундіусъ изъявилъ не только согласіе на соединеніе отрасли рода Хвалынскихъ съ своей племянницей, отраслю рода Куломзиныхъ, но и обѣщаль содѣйствовать своею властію. Не лишнее замѣтить, что Кундіусъ былъ опекуномъ надъ племянницей: предначертанное супружество могло улыбаться ему не съ одной стороны. Дружба дружбой, карманъ карманомъ.

Отъ баронессы Штральборнъ графиня получила письмо также скоро. Баронесса благодарила Марью Сергѣвну за доставленную возможность быть ей угодной исполненіемъ ея комиссій, говорила вскользь о водахъ, а въ откликъ на то, будто Николай Арсеньичъ бредитъ восхитительною Нелли, такъ и сыпала самыми многообъщательными афоризмами о юношескихъ увлеченіяхъ. Она возвращалась мысленно къ своей молодости, причемъ становилась чуть-чуть не краснорѣчива. «Знаете ли, графиня, заключала она эту статью — когда посмотришь на балѣ на молодую парочку: кажется, дать бы имъ волю, они бы тутъ же другъ другу повисли на шею. Это пришло мнѣ однажды въ голову, глядя на вашего сына и мою Нелли, въ пред-

послѣдній разъ у М***ыхъ. Что жъ? можетъ-быть сонъ и въ-руку. Поживемъ—увидимъ ».

Чего было желать больше?

Графъ Арсеній Николаичъ остался доволенъ письмомъ баронессы не менѣе нежели свиданіемъ съ Кундіусомъ. На его взглядъ, вопросъ сталъ уже не вопросомъ.

Избравъ одну изъ рѣдкихъ въ городѣ минутъ, когда семья сошлась, не было и миссъ Брайнтъ, въ это время благоговѣйно слушавшей проповѣдь, графъ Арсеній Николаичъ обратился къ сыну:

— А ты и не знаешь, что мы съ графиней составили заговоръ противъ тебя?

Николай Арсеньичъ молчалъ. Онъ вообразилъ, что рѣчь о какомъ-нибудь вечерѣ, куда собрались насильно затащить его.

— Ты почти женихъ, продолжалъ Арсеній Николаичъ.

— Любопытно, возразилъ молодой Хвалынскій, рѣшительно не понимая, къ чему клонится мистификація.

— Ты знаешь Куломзину, Нелли? спросилъ Арсеній Николаичъ.

— Безподобную Нелли? подхватила графиня.

— Маленькая такая: она мнѣ всегда напоминаетъ козявку на булавкѣ и подъ стекломъ, отвѣчалъ Николай Арсеньичъ.

— Ты о той ли говоришь? спросилъ Арсеній Николаичъ, нѣсколько сбитый рѣзкимъ очеркомъ, какъ однимъ изъ тѣхъ неотразимыхъ аргументовъ, на которые сынъ былъ такой мастеръ въ разговорахъ о предметахъ отвлеченныхъ.

— Вы, вѣдь, сказали: Куломзина?

— Она, конечно, небольшого роста, замѣтила графиня, съ намѣреніемъ поскорѣе найти примирительную середину.

— Надѣюсь, отвѣчалъ Николай Арсеньичъ.

— Но личико изъ кипсека, продолжала графиня, зная, что супругъ плохъ по части описательнаго слога.

— Надо знать изъ какого, замѣтилъ молодой Хвалынскій — и кипсеки есть разные, а подавно лица въ кипсекахъ.

— Оставимте фразы, перебилъ Арсеній Николаичъ — это всегда отвлекаетъ отъ сущности дѣла. У Куломзиной, извѣстно ли тебѣ, отъ тридцати до сорока, можетъ-быть до пятидесяти тысячъ дохода; серебромъ, разумѣется.

— Радуюсь отъ души... за нее и за ея модистокъ и поставщиковъ, сказалъ, съ ироническимъ поклономъ, Николай Арсеньичъ.

— Ты сегодня что-то очень не въ духѣ, замѣтила графиня: — раздраешь ближняго немилосердо.

— Напрасно вы такъ поняли, матушка. Между нами, отчего мнѣ не выразить чистосердечно моего мнѣнія? Впрочемъ, если

я не сказалъ ничего особеннаго въ похвалу особѣ, такъ нѣтъ въ моихъ словахъ и суда надъ ней: виновата ли она, что она похожа на козявку, а не на Милосскую Венеру, на примѣръ; виновата ли она, что у нея пятьдесятъ или не знаю сколько тысячъ дохода?

Арсеній Николаичъ билъ пальцами по столу будто по барабану. Онъ прибѣгнувъ къ другому маневру.

— Она влюблена въ тебя безъ памяти, сказалъ онъ.

— Неужели?

— Баронесса еще третьяго дня... то-есть я третьяго дня получила письмо отъ баронессы, изъ Бадена: она говоритъ, что только ты у нея и на умѣ, подхватила Марья Сергѣвна.

— Бѣдная! сказалъ отъ души сынъ.

— Отчего же бѣдная? Отъ тебя зависить отвѣчать этому пламени, возражала Марья Сергѣвна, которой Арсеній Николаичъ сдѣлалъ знакъ, чтобы она говорила.

— Да, если бы можно было разогрѣть себя, по крайней мѣрѣ, какъ кусокъ жаркаго, сказалъ Николай Арсеньичъ.

Въ эту тинуту его вызвалъ лакей. Онъ извинился, и вышелъ.

Графиня въ недоумѣніи взглянула на мужа.

— Это ничего не значитъ, выразилъ, успокоительно, графъ.

— Вы, вѣдь, не знаете: они нынче всѣ съ осаночкой. Извините: это говорится, по настоящему, о лошадяхъ. Но я не нахожу другаго слова для современной молодежи, если не выходить изъ круга приличныхъ выраженій.

— Я не совсѣмъ понимаю, графъ.

— Ничего такъ не боятся они, въ своемъ самоувѣренномъ, ребяческомъ суетудіи, какъ посягательства, т. е. того, что они называютъ посягательствомъ, — на ихъ право, на ихъ личность, на ихъ свободу. Слова, слова и слова.

Графъ Арсеній Николаичъ — читатель, вѣроятно, согласится — видѣлъ вещи довольно-ясно, когда хотѣлъ. Но продолжалъ онъ, ударившись опять въ свои системы:

— Все тѣ же карточные домики: мы видимъ каждый день. Дуньте только! Иногда не бесполезно не называть вещей по имени. Вы думаете, мы съ Николаемъ не сладимъ? Положитесь на меня. Убѣжденія? заключилъ графъ пронически: — туръ вальса, послѣдній вздоръ — и мы клянемъ наши убѣжденія, или не помнимъ ихъ. Вотъ нынѣшняя молодежь. Да ихъ Аристиды-то: они Аристиды на кафедрѣ, въ журналахъ; а посмотрите на Аристида въ практической жизни, когда женѣ нуженъ салонъ, а ему хочется повышенія въ чинъ! Хе-хе-хе!

Бесѣда, не кончившаяся ничѣмъ по причинѣ отсутствія Николая Арсеньича, возобновилась въ другой разъ подъ тѣми же условіями нижеслѣдующимъ образомъ:

— Баронессу ждуть на-дняхъ, началъ Арсеній Николаичъ; —она тотчасъ же будетъ къ намъ, разумѣется; а потомъ, я надѣюсь, ты побѣдешь къ ней и будешь любезенъ съ Нелли.

— Тебѣ это такъ не трудно, вкрадчиво прибавила мать.

— Съѣздить? отчего же? отвѣчалъ сынъ.

— И ѣздить, добавилъ старый графъ.

— Мнѣ ужасно становится смѣшно, батюшка, улыбаясь, сказалъ Николай Арсеньичъ.

— Что тутъ смѣшнаго! возразилъ Арсеній Николаичъ. — Воля твоя, тебя не поймешь. Тебѣ предлагаютъ, *пassez-moi le mot*, вѣшаютъ на шею дѣвушку молоденькую, прекрасно воспитанную, съ хорошими связями, съ хорошимъ, можно сказать: съ отличнымъ состояніемъ, а ты ломаешься...

— Все, что вы сказали о качествахъ, достоинствахъ и прилагательныхъ лица, вѣроятно, справедливо, но...

— Позвольте, позвольте, перебилъ графъ. — Я доскажу за тебя: но она мнѣ не нравится, потому что она не писаная красавица, не... ну я не знаю, кто по-твоему идеалъ красоты? У тебя, вѣдь, все идеалы. А вотъ мой отвѣтъ, отвѣтъ благоразумія. Еслибы Куломзина была и уродъ, а ужъ уродомъ ты ее никакъ не назовешь: букашкой, это твое дѣло; еслибъ она была ряба, кривобока...

— Фи! воскликнула графиня.

— Виновать, перебилъ графиню Арсеній Николаичъ — дайте мнѣ сказать. Еслибъ она была всѣми признанный уродъ, и тогда, при условіяхъ ея положенія, прилагательныхъ, какъ ты ихъ называешь, а по мнѣнію дѣльныхъ людей: существительныхъ, — ни одинъ человѣкъ въ цѣломъ Петербургѣ этого не скажетъ. Дѣвушка, какъ невѣста, какъ предметъ сонсканія людей, которые смотрятъ вдаль, имѣетъ всегда ту красоту, которую дала ей не природа, а которую дало ей соединеніе обстоятельствъ, ее окружающихъ: свѣтское положеніе, состояніе, словомъ все, что цѣнится въ обществѣ, все, что нужно въ обществѣ и обществу. Съ другими цѣлями женятся въ водевиляхъ, да и то, будь увѣренъ, для удовольствія райка. Только съ вашими головами, съ позволенія сказать, вывернутыми наизнанку, можно до сихъ поръ не знать, что мы должны жить для общества, — для общества же, стало быть, и жениться.

Взглядъ графини доказывалъ, что она, прости ей Богъ, совершенно раздѣляетъ мнѣніе супруга.

— Этого, разумѣется, продолжалъ Арсеній Николаичъ — не написано ни у Шлегеля, ни у того, какъ бишь его, что все объяснялъ прелести злосчастнаго Лаокоона со чады. Но всѣ эти господа, у которыхъ можетъ-быть слѣдуетъ учиться писать студентскія сочиненія, еще никого не научили жить.

обороны Богъ! Всѣ они болѣе или менѣе, сколько помнится мнѣ, состояли, напримѣръ, въ супружествѣ съ кухарками, а умерли... на соломѣ, или подъ соломенной крышей. Не пойдетъ же теперь кто-нибудь выбирать себѣ невѣсту въ какомъ-нибудь пансіонѣ для оберъ-офицерскихъ дѣтей, гдѣ, ужь Господь вѣдаетъ почему, вѣчно пятьдесятъ процентовъ красавицъ...

Николай Арсенъичъ задумался.

— Простите меня, батюшка, сказалъ онъ — отчего вамъ вдругъ припала такая страсть женить меня?

— Во-первыхъ, не вдругъ: въ этомъ ты жестоко ошибаешься. Во-вторыхъ: пора тебѣ, наконецъ, что-нибудь дѣлать, пора и изъ тебя сдѣлать что-нибудь.

— Извините меня, ради Бога: я, кажется, не изъ Хрѣновскаго дома.

Графиня, голубушка, не поняла. Она сочла слова сына за какую-нибудь ученую ссылку.

— Фразы, любезнѣйшій, фразы! сказалъ Арсеній Николаичъ, улыбаясь.

— Женившись, я тягла не понесу, продолжалъ молодой графъ веселымъ тономъ. — Ну, очень я вамъ въ тягость, надоѣлъ, — отправьте меня за границу, отправьте куда угодно, въ глушь...

— Въ Разградовку, напримѣръ? перебилъ Арсеній Николаичъ, съ намѣреніемъ уколоть сына.

Николай Арсенъичъ опустил глаза и измѣнился въ лицѣ.

— Хоть въ Сибирь, отвѣчалъ онъ нетвердымъ голосомъ.

Онъ всталъ.

— Мы возвратимся къ этому предмету, сказалъ Арсеній Николаичъ, на мгновеніе останавливая его за руку — и я не теряю надежды убѣдить тебя. Я увѣренъ напередъ, что мои доводы будутъ сильнѣе твоихъ аргументовъ.

Что-то зловѣщее слышалось въ холодныхъ, какъ бы ножомъ отрѣзанныхъ, словахъ; но ни Марья Сергѣевна, ни Николай Арсенъичъ не придали тону особеннаго смысла, а не даромъ говорятъ, что тонъ дѣлаетъ музыку.

У дверей своихъ молодой графъ столкнулся съ Тесьминымъ. Какъ нельзя болѣе кстати былъ приходъ пріятеля.

Молодой человѣкъ разсказалъ ему двоекратный разговоръ съ почтенными родителями и перелилъ въ друга все, что поднялось въ душѣ по этому поводу.

— Мнѣ кажется, беспокоиться не изъ чего, сказалъ Тесьминъ, выслушавъ Хвалынскаго съ вниманіемъ. — Не свяжутъ же тебя какъ барана, обреченнаго на жаркое.

— Скучно, томительно...

— Вѣрю. Побьются, будутъ просить, совѣтовать. Увидятъ, что тебѣ совсѣмъ не по сердцу, и отстанутъ.

— Ты не знаешь, до-чего можетъ надоѣсть подобная исторія.

— И что за страсть! отвѣчалъ Тесьминъ, подумавъ. — Дикое дѣло! Точно они люди другой планеты.

— Другаго времени, перебилъ Хвалынский.

— Мало, любезный другъ, мало въ этомъ случаѣ: не вѣрится, чтобъ въ ихъ время не чувствовали, не думали. На дунѣ — вотъ это другое дѣло.

— Вѣроятно, сказалъ улыбнувшись Хвалынский.

— И то еще: укуситъ тебя собака; тебѣ говорятъ: бѣшеная; обидитъ тебя, сломаетъ тебя человѣкъ, говорятъ: онъ старъ, онъ судитъ по-своему, иногда *ultima ratio*: сумасшедшій. Прекрасно. Но бѣшеную собаку всякій въ правѣ убить, кому бы она ни принадлежала; полиція обязана даже заботиться о томъ, чтобы поскорѣе извести ее. А человѣкъ-то эдакій, который изъ ума выжилъ или съ ума сошелъ — иногда общественное мнѣніе, не говоря уже о строгихъ судьяхъ, и признаетъ это — а онъ себѣ не то что благополучно разгуливаетъ по Невскому проспекту — Богъ съ нимъ: пусть бы небо коптиль, благо земля имъ не тяготится... но у него зачастую жена, дѣти, имѣніе, разные подчиненные, — и все это онъ ломаетъ какъ медвѣдь, потому что, изволите видѣть, онъ смотритъ на міръ и жизнь глазами, которые ужъ мутно видятъ, думаетъ мозгомъ, который наполовину высохъ, чувствуетъ нервами, которые при- тупились. Оттого-то я не сдаюся на твое объясненіе.

— Какъ же быть, однакожъ?

— Вопросъ мудреный. Впрочемъ, тебѣ извѣстно, есть на это законы нѣкоторые въ Индіи, конечно черезъ-чуръ драконовскіе; были въ Греціи, тоже несовсѣмъ деликатные: все это не примѣнимо. Существуетъ теперь нѣчто во Франціи для служащихъ казнѣ... Ну да вѣдь намъ не диссертацию писать съ тобой...

— Хороши бы мы были, еслибы вздумали писать на эту тему: конечно, не видать бы ей никогда типографскаго станка, а намъ бы, пожалуй, подъ старость не гулять по Невскому проспекту, не коптить бы петербургское небо и не распоряжаться бы даже личной своей единицей въ какой-нибудь новѣйшей *убліяткѣ*.

— И ты становишься практиченъ, моя дѣвственница? замѣтилъ Тесьминъ, улыбаясь.

Николай Арсеньичъ слегка покраснѣлъ.

— *C'est la chandelle au diable*, сказалъ онъ, вздыхая, будто кающійся грѣшникъ.

— Полно, полно, отвѣчалъ успокоительно и твердо Тесьминъ. — Немножко практичности не мѣшаетъ; до извѣстной степени, она необходима. Не будемъ ходить по крышкамъ, влѣзать на колокольни. Эти крайности ни къ чему. Достаточно размѣшить десять человѣкъ дѣльныхъ — и пропала какая угодно истина, погибла любая пропаганда. И въ пропасть бросаться незначѣмъ. Новаго Курція я первый счелъ бы за одержимаго бѣлой горячкой.

Водворилось молчаніе. Его прервалъ Тесьминъ же.

— Вотъ это грустно, что извѣстная котерія какъ бы покровительствуетъ деспотизмъ, о которомъ я говорю, во имя патріархализма. Правда, по моему мнѣнію, не сбить *монголамъ* на свою сторону людей, на которыхъ общество въ правѣ рассчитывать, — какъ они ни растягивайся, какъ ни обольщай себя фантомами успѣха. Фантомы имъ только и показываютъ себя.

— Позволь, позволь, перебилъ Хвалынскій — а даровитый писатель, который, косвеннымъ образомъ, сдѣлался пѣвцомъ этого деспотизма между купцовъ.

— По-моему, у него это должно пройти: онъ слишкомъ чутокъ во всемъ прочемъ. Но, покуда, что прикажешь дѣлать? Несчастное вліяніе кружка, о которомъ столько горькаго и истиннаго сказалъ авторъ «Щигровскаго Гамлета». Временное ослѣпленіе! Я зналъ одного господина: нормальный человѣкъ во всемъ, онъ покупалъ красную матерію, думая, что беретъ зеленую.

— Ну, это не пройдетъ, смѣясь, замѣтилъ Хвалынскій.

— Какъ я тебѣ отвѣчу? Очень серьезный медикъ утверждалъ при мнѣ, что должно пройти.

— Будто бы?

— Увѣряю тебя.

— Еслибы такъ проходили всѣ моральныя дискразіи, которыя у насъ такъ скоро обращаются въ хроническія!

— Мало ли что! Да вотъ кстати. Не объяснишь ли ты мнѣ эту хроническую дискразію, какъ ты назвалъ, эту продолжительную странность? Мы имѣли даровитыхъ писателей изъ высшаго круга; они не пренебрегали сатирой и подчасъ метко смѣялись надъ смѣшными сторонами именно своего общества. Отчего ни одинъ изъ нихъ, начнемъ хоть съ фонъ-Визина, не коснулся, какъ слѣдуетъ, семейнаго деспотизма, который, всего-то болѣе, и гнѣздится въ такъ — называемомъ высшемъ обществѣ? Не могли, конечно, ихъ удерживать консидераціи à la Фамусовъ. Чтò жъ это такое? Отчего не хотѣли они раскрыть намъ тайны своего общества? Не поднимется ли, наконецъ, теперь вѣщій голосъ? Я, напримѣръ, все жду чего-нибудь сильнаго отъ Тургенева. По моему, съ его данными, онъ обязанъ встряхнуть высшее общество. Кому какъ не ему? ... Не время ли для настоя-

щей сатиры, въ родѣ той, какой въ дни оны трепетали изнѣженные Аѳины, безпутный Римъ? Дать бы отдохнуть лабазникамъ, да нищимъ чиновникамъ. Знаешь, отчего я говорю такъ положительно? Моя профессія — учителя по урокамъ — представляетъ мнѣ удивительные и безпрестанные случаи наблюденія, кромѣ свѣдѣній со стороны.

Молодые люди говорили еще долго. Но мы вынуждены оставить ихъ и обратиться къ инымъ событіямъ.

VII.

Баронесса Штральборнъ вернулась изъ-за границы, а съ нею и племянница, Нелли Куломзина. Сказали ли мы, что Нелли была сирота, т. е. не имѣла ни отца, ни матери, и жила вмѣстѣ съ теткой, которая, относительно ея, можно выразиться, играла во всемъ роль матери.

Какъ знали Хвалынскіе, одинъ изъ первыхъ выѣздовъ баронессы былъ къ нимъ. Она пріѣхала одна, извиняясь за племянницу подъ какимъ-то пустѣйшимъ предлогомъ, который укутывала въ длиннѣйшую фразу, точно нужно было закутать стеклянную драгоценность для отсылки на Шпицбергенъ.

Баронесса Штральборнъ слыла въ свѣтѣ за одну изъ умнѣйшихъ женщинъ древней и новой исторіи. Ее болѣе уважали, нежели любили, болѣе боялись, нежели уважали, болѣе ненавидѣли, нежели боялись. Мы можемъ сказать отъ себя: она была чрезвычайно-хитра и дѣйствительно умна тѣмъ умомъ, какимъ былъ умъ графъ Арсеній Николаичъ Хвалынский.

По смерти мужа, блистательнаго гвардейскаго офицера и столько же безтолковаго человѣка, оставшись почти съ одними долгами, баронесса сначала поселилась въ домъ сестры своей, Куломзиной, а когда умерла и сестра и мужъ ея, откупщикъ, незначившійся въ бархатной книгѣ, она наслѣдовала, по желанію покойныхъ, всю власть надъ племянницей, и вмѣстѣ съ Кундіусомъ приняла опеку надъ ней. По закону, опека теперь уже называлась попечительствомъ, но на дѣлѣ родная тетка и двоюродный дядя, ближайшій родственникъ Нелли со стороны матери, — отцовское колѣно воздѣлывало торговлю лаптями и баранками въ какомъ-то Будномъ Городищѣ — не переставали быть настоящими опекунами, т. е. опекали племянницу такъ, какъ это дѣлаютъ весьма-обыкновенно почтенныя личности, предполагаемая государствомъ въ замѣнъ отца и матери.

Живя въ ладахъ съ своимъ законнымъ сотрудникомъ, Кундіусомъ, баронесса дѣлала что хотѣла и изъ племянницы, и изъ ея

доходовъ, разумѣется, за исключеніемъ тѣхъ процентовъ, которые опекуны признавалъ за благо отсчитывать себѣ.

Все это, мы увѣрены, происходило самымъ тонкимъ образомъ, но все это зналъ свѣтъ, который, какъ обыкновенно, видѣлъ въ Куломзинѣ, откупщикѣ, миллионера; разстройство же дѣлъ покойнаго барона Штральборна не было тайною ни отъ кого: баронъ въ свое время путался и разорялся гласно и откровенно.

Ненавидѣли баронессу разныя лица по разнымъ причинамъ: небогатыя барыни, на примѣръ, за непринадлежавшую ей возможность жить открыто и роскошно; искатели выгодныхъ партій—за то, что она не хотѣла выдавать племянницу замужъ и вездѣ стерегла ее какъ церберъ. Боялись баронессы оттого, что она нерѣдко имѣла мѣдный лобъ и высказывала, когда находила для себя нужнымъ, самыя горькія истины самымъ нецеремоннымъ образомъ. Уважали ее тѣ, которымъ, по ея свѣтскимъ отношеніямъ, ей удавалось быть полезною, безъ сомнѣнія, въ чаяніи должнаго возмездія со стороны одолженныхъ. А, наконецъ, нѣкоторые по-свѣтски и любили ее. Въ чисто-свѣтскихъ отношеній, въ интереса, для людей, дѣйствительно-независимыхъ и ничего не ищущихъ, баронесса даже была «добрый малый». Оказывать пустую услугу человѣку, совершенно-независимому, накормить занимательнаго собесѣдника отличнымъ обѣдомъ, дать немного денегъ кому-нибудь изъ бывшихъ товарищей мужа, къ которымъ баронесса и не скрывала своей слабости: все это было у нея нипочемъ. Но какъ она это дѣлала? Какъ другая женщина въ ея лѣта и положеніи стала бы, на примѣръ, возиться съ москками или кошками, покупать ихъ, окормливать до болѣзни, мучить изъ-за нихъ цѣлый домъ. Лицамъ, которыя она знала хорошо и которыя ее хорошо знали, она не иначе, смѣясь, и объясняла свои относительно-недурные порывы, какъ манією. Естественно, нужно было, для подобной смѣлости, и много умѣнія поставить себя въ обществѣ, и много хитрости, чтобы вести дѣла сообразно своимъ цѣлямъ.

Графа Арсенія Николаича и его жену баронесса понимала прекрасно. И графъ, конечно, зналъ ее наизусть. Нельзя сказать того же о Марьѣ Сергѣевнѣ: съ ея природной простотой, гдѣ ей было раскусить баронессу? Марья Сергѣевна считала ее, конечно, за женщину очень умную, но и вѣрила ея расположенію къ себѣ и своему семейству, разумѣется, настолько, насколько этой вѣры нужно свѣту. Съ этой-то точки зрѣнія графиня и не сомнѣвалась въ готовности баронессы содѣйствовать плану о бракѣ сына; единственно съ этой.

Не такъ, понятная вещь, смотрѣлъ графъ, не находившій нужнымъ высказывать женѣ послѣднее слово о людяхъ и вещахъ: онъ ограничивался сообщеніемъ ей къ исполненію программы

дѣйствій, собственно отъ нея потребныхъ. Арсеній Николаичъ зналъ напередъ, что съ опекуней-попечительницей предстоитъ сдѣлка — пусть и не съ соблюденіемъ торговаго обряда, безъ битья по рукамъ, безъ передачи изъ полы въ полу. Потому-то и былъ онъ увѣренъ въ успѣхъ.

Что касается до баронессы, укоръ ей отъ искателей выгодныхъ супружествъ, что не желаетъ она выдать замужъ племянницу, былъ совершенно-основателенъ. Съ перваго дня, какъ приняла она въ свое распоряженіе бѣдную Нелли и ея состояніе, она рѣшила, что ни та, ни другое не достанутся никому безъ ея согласія. И кто бы коротко зналъ Нелли, того не удивила бы самонадѣянность тетки. Та была въ полномъ смыслѣ кукла, до-того привыкшая ходить на помочахъ, что впала бы въ отчаяніе, еслибы пришлось ей дѣйствовать самостоятельно, — до-того безжизненная и безцвѣтная, что мы чрезвычайно затрудняемся описаніемъ этого характера.

Мысль, что хорошо бы выдать племянницу за молодаго Хвалынского, соединявшаго въ себѣ, по свѣтскимъ понятіямъ, всѣ качества блистательнаго жениха, быть-можетъ не разъ ласкала воображеніе баронессы Штральборнъ. Но показывать это, ей не возможно было. Иногда чудилось ей даже, что въ Хвалынскихъ чувство аристократизма слишкомъ сильно и не допустить идеи, соотвѣтственной ея идеѣ. Сына же—Николая Арсеньича, она съ своимъ тактомъ, давно оцѣнила: невѣроятнымъ, поэтому, считала баронесса, чтобы онъ, человекъ съ правильно-развитымъ вкусомъ и свободнымъ взглядомъ, не искаженнымъ свѣтскою выправкой, остановилъ свое предпочтеніе на Нелли, достоинства и смыслъ которой баронесса не скрывала отъ себя.

Но лишь только Марья Сергѣвна, письмомъ изъ Разградовки, пустила стрѣлу въ Баденъ, дѣло баронессы было поймать ее на лету. Тонкая женщина не сомнѣвалась, что проэктъ взялся отъ домашняго самодержавца, а это-то и преисполнило ее надежды на успѣхъ. Ломать Николая Арсеньича должно было предстоять отцу; за Нелли ручалась себѣ баронесса; въ Кундіусъ знала помощника, впередъ закупленнаго.

По полученіи въ Баденѣ письма графинина, баронесса сочла лишнимъ дѣлиться его содержаніемъ съ племянницей; новскользь разъ-другой въ продолженіе путешествія упомянула съ воодушевленіемъ о молодомъ Хвалынскомъ. Нелли, какъ и слѣдовало ожидать, тотчасъ скрѣпила всѣ слова тетки, не думая и не заботясь о томъ, къ чему онѣ клонятся.

Пріѣхавъ теперь къ Хвалынскимъ, баронесса обмѣнялась съ графиней установленными плоскостями—она никогда не забывала, съ кѣмъ находится въ соприкосновеніи, — сказала нѣсколько словъ о послѣднихъ измѣненіяхъ въ покрое нарукав-

ничковъ, коихъ новѣйшіе образцы заявила на себѣ, упомянула, что кринолинъ начинаютъ вытѣснять клѣтки, а клѣтки, по предсказанію мадмуазель Александринъ, одной изъ парижскихъ, слѣдовательно и всемірныхъ, пиіей, будутъ низвержены бочками, корзинками и фижмами, уже заказываемыми гдѣ-то въ Америкѣ по новой методѣ, — за тѣмъ спросила о старомъ и молодомъ графѣ.

— Арсеній Николаичъ, разумѣется, на службѣ, отвѣчала Марья Сергѣевна, — а Николай не дома ли?

Графиня позвонила. Черезъ нѣсколько минутъ явился Николай Арсеньичъ. Увидѣвъ издали баронессу, онъ не могъ удержаться отъ улыбки, съ которой и подошелъ къ ней.

— Какъ я рада, что нахожу васъ въ хорошемъ расположеніи духа, мой прекрасный мечтатель! сказала баронесса, протягивая ему руку, къ которой Николай Арсеньичъ какъ будто приложился, чтобы дать себѣ средство немножко укротить неловкій порывъ.

— Я читалъ такой вздоръ, отвѣчалъ онъ на удачу, — что долженъ былъ, не обуздавъ еще невольнаго смѣха, показаться вамъ чрезвычайно-страннымъ, когда вошелъ сюда.

— Станнымъ? отчего это? Вы знаете, что я предпочитаю смѣхъ и улыбку всѣмъ минёрнымъ гримасамъ человеческого лица, и до сихъ поръ, не смотря на мои, надѣюсь, зрѣлыя лѣта, готова всегда на открытый бой съ тѣми умниками, которые хотятъ увѣрить, что мы рождены для того, чтобы страдать и скучать. Развѣ потому, предполагаете вы, показались вы мнѣ странны сегодня, что не привыкла я видѣть васъ улыбающимся? Вы не расточительны на улыбки, это истина, какъ Петербургъ на солнечные лучи. Но вотъ что значитъ хватиться за умъ и приняться читать глупости, какъ вы сейчасъ сказали. Давно бы вамъ пора. Однакожь, знаете, графъ, вы похудѣли.

— Жаръ этой степи... дорога, сказала графиня.

Четыре пустыхъ слова, а изъ нихъ въ особенности самое пустое — степь, мгновенно подернули лицо Николая Арсеньича тѣнью задумчивости. Графиня поняла, и сама не рада была своей оплошности. Но важнѣе всего, что не только не укрылась задумчивость молодаго человѣка отъ баронессы Штральборнъ, а была тотчасъ опредѣлена ею и причина.

«Тутъ какая-нибудь романическая пассія, рѣшила она про себя; онъ смотритъ Ленскимъ; а почтеннымъ родителямъ нужно, конечно, отвлечь сына, и для этого они вбили себѣ въ голову женить его. О, стало быть на нашей улицѣ праздникъ! Пойдите же, мой милый Арсеній Николаичъ: поговоримъ мы съ вами. Ты, моя Нелли, графиня Хвалынская: это вѣрно. Но и ты, без-

цѣнная баронесса, распоряжайся теперь какъ твоей душенькѣ угодно».

Таковъ былъ мысленный монологъ баронессы на тѣму, которую представила ей внезапная задумчивость графа Николая Арсенича.

Мы сказали выше, что вѣримъ въ инстинктъ сочувствія. Есть и другой инстинктъ у нѣкоторыхъ людей : инстинктъ хищнаго звѣря, издалека чующаго кровь. Этимъ инстинктомъ обладали разные историческіе злодѣи, изъ коихъ иные доднесь числятся, въ учебникахъ и общественномъ мнѣніи, великими людьми; имъ же одарены бываютъ женщины, — изъ свѣтскихъ тѣхъ, которыхъ можно назвать бой-бабами, землепроходками, *les maitresses-femmes*. Баронесса была однимъ изъ блистательныхъ экземпляровъ прелестной категоріи.

— Воспоминанія! сказала баронесса самымъ увлекательнымъ тономъ. — О пастушокъ ! А я думала , вы воротились къ намъ исправленные и съ золотымъ обрѣзомъ , какъ подобаетъ вамъ. Я надѣялась, вы привезли изъ деревни, будь это, наконецъ, какъ слѣдствіе идиллической скуки, жажду петербургскихъ увеселеній. Погодите впрочемъ, не уйдти вамъ отъ меня. Мы намѣрены съ Нелли танцовать и веселиться до-упаду: надо наверстать заграницную діету. Тамъ поневолѣ ведешь мѣщанскую жизнь. А для начала, графъ, вы обѣдаете у меня послѣзавтра , не правда ли? О графинѣ и Арсеніѣ Николаичѣ я не спрашиваю : не лѣнь будетъ, пріѣдутъ — они всегда званые гости у меня. Отъ васъ же, помните, не приму никакой отговорки. Будете?

Николай Арсеничъ поклонился. Графиня, когда баронесса произнесла ея имя передъ тѣмъ, пожала ей руку и улыбнулась равносильно обѣщанію быть на обѣдѣ.

— Смотрите же, сказала графу баронесса, вставая — если обманете, на первомъ же балѣ, при всѣхъ, спрошу у васъ ваши послѣдніе стихи... въ честь деревенской поповны, прибавила она вполголоса.

Николай Арсеничъ чистосердечно вспыхнулъ, къ совершенному удовольствію баронессы.

Она обратилась къ графинѣ, провожавшей ее:

— Комиссіи ваши явятся къ вамъ завтра. Сегодня все выложутъ. Желаю отъ души, чтобы я угодила.

— О, я увѣрена! отвѣчала графиня.

Николай Арсеничъ далъ себѣ слово не ѣхать къ баронессѣ.

Графиня, на утро, еще лежа въ постели, получала нѣсколько ящичковъ съ парижскими покупками: клѣтками, которые вытѣсняють кринолинъ, нарукавничками, наколками и матеріями. Послѣдняя вещица, едва видная пуговка, и та была аттестована парижскимъ клеймомъ. Къ посылкѣ баронесса приложила

записочку, въ которой объясняла объ одной изъ матерій, что такой и въ Парижѣ еще нѣтъ въ продажѣ, но что ей посчастливилось достать два первые куска, только что сдѣланные на образецъ. Краска удовольствія выступила на лицѣ графини, въ эту минуту еще не выкрашенномъ.

— Что за женщина! воскликнула она невольно. — Благодарить, благодарить и сказать, что сегодня же буду сама, обратилась она къ горничной, которая отправилась передать отвѣтъ баронессину посланному.

Можно вообразить какой гимнъ баронессѣ пропѣла графиня передъ Арсеніемъ Николанчемъ. Графъ только потеръ себѣ руки и общался обѣдать у баронессы, а за Николая Арсеньича поручился.

Что было дѣлать Николаю Арсеньичу? Потѣхалъ и онъ.

И чѣмъ же утѣшалъ онъ себя въ измѣнѣ слову, себѣ данному, въ исполненіи вещи, столько ему непріятной: посѣщеніи несносной, антипатической баронессы Штральборнъ?

«Сами увидятъ, до-чего не лежитъ у меня сердце къ этой высушенной Нелли и какъ мало между нами общаго. Чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше». Это думалъ онъ про себя.

Бѣдный! Онъ не предполагалъ, въ чистотѣ своей сердечной, до какой степени въ его быту, въ кагалѣ, имѣющемъ претензію на аристократизмъ, да, что грѣха таить, и у настоящей аристократин, всѣмъ — людьми, мыслями, чувствами, движеніями — управляетъ свое *raison d'état*, это гнусное слово, изобрѣтенное гнуснѣйшею изъ наукъ — дипломатикой, систематически узаконивающею все то, что клеймитъ или отвергаетъ самая снисходительная мораль отдѣльнаго лица. Проданъ ключъ къ секретной азбукѣ: — *raison d'état*; братъ сдалъ съ рукъ на руки брата: — *raison d'état*; совершена измѣна данному слову: — *raison d'état*; заложенъ до смерти въ каменный мѣшокъ человекъ, громко называющій вещи по имени: — *raison d'état*; повѣшенъ безъ суда и по ошибкѣ прохожій, показавшійся пьяному шпиону подозрительнымъ, или можетъ-быть только отказавшійся откупиться, по неимѣнію денегъ: — *raison d'état*! Такъ въ дипломатикѣ и въ международномъ правѣ. — Въ свѣтскомъ лексиконѣ еще не обиходно громкое слово, но дѣло происходитъ по тому же методу. Напримѣръ. Сынъ мой рожденъ талантливымъ художникомъ: онъ будетъ служить по почтовому вѣдомству, потому что начальникъ мнѣ кумъ, и общается черезъ каждые два года давать сыну чинъ или крестъ. — Мнѣ нуженъ N. N.; его ничѣмъ не купишь, развѣ отдать мою дочь за его племянника: — дочь моя будетъ за племянникомъ N. N. — Я былъ въ связи съ такой-то дамой, и съ горяча, съ дуру, когда-то выдалъ ей на себя заемныя обязательства. «Деньги, гово-

рить она, или чтобы сынъ вашъ женился на моей дочери! никакой середины.» Дочь этой дамы можетъ—быть немножко и моя дочь; но что же станешь дѣлать съ капризной женщиной: не въ воду броситься, не лишиться значительной части комфорта, къ которому я привыкъ: — сынъ мой женится на ея дочери!... И такъ далѣе, и такъ далѣе... до безконечности.

Какъ, до сихъ поръ, въ наше прекрасное время усовершенствованій, изобрѣтеній и улучшеній, не имѣется въ учебныхъ заведеніяхъ, готовящихъ молодыхъ людей къ привилегированной жизни, кафедръ особенной логики и особенной нравственной философіи, независимыхъ отъ той логики и отъ той философіи, которыя нужны для обыкновенныхъ смертныхъ, *pour le commun des martyres*? Такіе курсы имѣли бы понятную, прямую цѣль. А то вдругъ эстетика для будущаго шталмейстера, или логика для чиновника особыхъ порученій!.. Гдѣ же тутъ логика?

Все это, не правда ли, очень старо и многимъ извѣстно до пошлости. Знаемъ. Но мы не утомимся повторять старыя и истершіяся истины до нашего послѣдняго издыханія, или до тѣхъ поръ, пока не нужно уже будетъ напоминать о нихъ. Но до такого золотого времени кому изъ насъ дожить?

...Безподобенъ былъ Николай Арсеньичъ своей граціозной неловкостью между баронессой Штральборнъ, ея племянницей, Кундіусомъ, достойными родителями и еще двумя лицами того же пошиба, также обѣдавшими въ тотъ день у баронессы. Коллекція носила характеръ до-того отличный отъ него, разумѣется не по наружности, что онъ былъ въ этой средѣ какъ житель лунный между подлунными. Но яркіе дары благодатной натуры молодого человѣка и тутъ не теряли своей обольстительной силы. Баронесса и Кундіусъ по временамъ переглядывались, истинно изумленные оригинальною свѣжестію, драгоценною непочатостію, которыя въ большомъ свѣтѣ рѣже, нежели лица съ разноцвѣтными глазами!

Безцѣнна была, только въ своемъ родѣ, и Нелли; но не пора ли прописать намъ ее не сокращенно, а какъ въ паспортѣ: Наталья Андревна.

Бываютъ на свѣтѣ куклы, а въ свѣтѣ почти и нѣтъ никого, кромѣ куколъ, но такихъ куколъ, какъ Наталья Андревна Куломзина, случалось не часто видать и тѣмъ, кто видалъ многое. Иной оригиналъ могъ видѣть верхушку Давалагири и дно Везувія, другой взлеталъ на воздухъ съ шаромъ и опускался въ морскую глубь въ подводномъ колоколѣ; но каждый истый Британецъ, присмотрѣвшись къ Нелли, непременно спросилъ бы серьезно: «гдѣ эти вещи дѣлаютъ?» и навѣрное не пожалѣлъ бы ничего, чтобы подарить себѣ рѣдкую игрушку. Отъ нея даже

пахло лайкой—аромать, знакомый дамамъ, не забывшимъ своего дѣтства, и кавалерамъ, имѣвшимъ счастье обладать въ дѣтствѣ сестрами.

Все, что танцевальной учитель, модистки, гувернанки одна другой глупѣе, безцвѣтнѣйшее чтеніе, мертвое общество и нравоученія людей, каковы были родители, а въ особенности тетка юной особы,—могли выкомкать изъ щедушной натуры: все это было исполнено надъ Нелли какъ невозможно успѣшнѣе. Казалось, она ѣстъ потому, что ее выучили въ извѣстные часы ѣсть,—спитъ по той же причинѣ. Такъ—называемое воспитаніе, дрессировка активная, прекратилось уже болѣе года. Послѣдній лоскъ—лакъ, которымъ окончательно полируется мебель, когда она перенесена къ покупщику и заняла въ домѣ опредѣленное мѣсто,—наложилъ на нее одинъ изъ извѣстнѣйшихъ балетмейстеровъ: онъ преподавалъ ей уроки, какъ съ граціей молиться и вскакивать на стулъ, что, при экстренныхъ случаяхъ, можетъ приключиться и въ *high-life* Тотъ—другой наивный провинціалъ сейчасъ осудитъ насъ за гиперболу. Свидѣтельствуемъ подписомъ, который будетъ напечатанъ подъ настоящимъ разсказомъ, что собственными глазами видѣли одинъ изъ подобныхъ уроковъ, и только скромность, быть—можетъ неумѣстная, не позволяетъ намъ назвать почтеннаго профессора и почтенный домъ.

При всемъ этомъ, говоря свѣтскимъ идиотизмомъ, мудрено было найти въ Нелли за что бы придаться и человѣку взыскательному, особенно, покуда не вздумалось бы ему заняться ею въ одинъ присѣсть продолжительно и раздѣльно отъ ея тетушки. Послѣднее отмѣнно знала баронесса, и твердо помнила она необходимость какъ можно болѣе состоять при племянницѣ; въ качествѣ ея дополненія и иллюстраціи. Прекрасно. Предположимъ, что здѣсь иначе и быть не могло. Но, скажите, къ слову, отчего этой системой поддерживать, подсказывать и дополнять, безъ разбора одержимы всѣ почти свѣтскія матери и лица, исправляющія ихъ должность? Какъ не понять, что манія класть слова въ ротъ дочери или племянницѣ, пріучать дѣвушку глядѣть себѣ въ глаза и, можно сказать, читать въ нихъ, подобно тому, какъ лѣнивый школьникъ считываетъ отвѣтъ учителю съ незаконной бумажки,—какъ не понять, что эта манія ослабляетъ самостоятельность характера, самостоятельность мысли и взгляда, а въ личностяхъ, бѣдно одаренныхъ, убиваетъ окончательно и послѣдніе—то признаки живучести? — Или, въ самомъ дѣлѣ, задача великосвѣтской педагогики: выварить чловѣка какъ мясо, назначенное для бульона,—сдѣлать изъ него тряпку, годную развѣ на выдѣлку картона?

Нелли Куломзина мертво, конечно, но почти безукоризненно, объяснялась на трехъ иностранныхъ языкахъ. Что она читала или чему училась, кромѣ языковъ, о томъ вѣдала одна баронесса, ибо говорить о прочитанномъ, вспомнить какой бы ни было, хотя и самый незатѣйливый, фактъ науки—это не входило въ обычай молодой особы: на чтеніе ее выучили смотрѣть какъ на одно изъ обыденныхъ средствъ убивать время, какъ, напримеръ, на рукодѣлье; о наукахъ она вѣрила, что имъ учать ради того, что въ опредѣленные годы нужно пройти географію, потомъ исторію, потомъ катихизисъ, потомъ выучить наизусть монологъ изъ «Федры», басню Крылова, элегію Вордсворта или Грея. По заключеніи уроковъ, каждая область знанія оледѣнѣла для нея единственно въ видѣ имени того автора, къ составленю было учебное руководство: исторія—Смарагдовъ, географія—Арсеньевъ, законъ божій—Филаретъ. Чѣмъ же эти познанія выше премудрости одной восьмидесятилѣтней старушки, которая утверждала, что есть «три исторіи: *сеобщая*, русская и французская»?

Не забудемъ чрезвычайно-важной статьи: Наталья Андревна слыла хорошей музыкантшей и хорошей пѣвицей. Дѣйствительно, пальцы были у нея достаточно выломаны, голосъ довольно выработанъ по лѣтамъ; она бѣгло читала нелегкую музыку и могла, не готовясь, пропѣть почти все, что не выходило изъ ея діапазона; но играла и пѣла она какъ органъ. Кто немножко понимаетъ, хоть сколько-нибудь любитъ музыку, тотъ предпочелъ бы послушать иного трактирнаго бандуриста, или владимірскаго ямщика. Сколько въ обществѣ такихъ хорошихъ музыкантшъ и пѣвицъ, которыя бы отлично рубили капусту и ткали серпанку! Ихъ узнать не трудно: онѣ постоянно страдаютъ болѣзнію соединяться въ купы и услаждать міръ своими звуками въ пользу бѣдныхъ.

Баронесса, сама плохая музыкантша, не была, однакожь, ослѣплена на счетъ таланта племянницы. Но она не подозрѣвала всей даровитости Николая Арсеньича, его нѣжнаго, артистическаго чутья. Онъ, съ своей стороны, никогда не слыхалъ игры Натальи Андревны, хотя слыхивалъ о ней не разъ. И надумилъ же опекуншу недобрый геній усадить молодыхъ людей за инструментъ. Николай Арсеньичъ, безъ натянутой скромности, предупредилъ, что не боекъ какъ исполнитель, и просилъ позволенія играть секунду. Они сѣли и . . . съ первыхъ аккордовъ бѣдный юноша радъ былъ бѣжать. Не долго выдержалъ онъ съ своей впечатлительной натурой. Принявъ вину на себя, совершенно уничтожившись передъ бѣглостію Нелли, онъ всталъ, объявивъ, что ему и стыдно, и невозможно играть съ нею. Баронесса чуть ли не приняла это за чистую монету: она даже рѣшилась по-

своему утѣшить молодаго человѣка въ понесенномъ пораженіи. Николай Арсеньичъ былъ дѣйствительно пораженъ, убитъ одною мыслию, что его думаютъ навсегда связать съ автоматомъ, съ ходячей проницей на всѣ его мечты, взгляды, ожиданія отъ жизни.

А Нелли, несравненная Нелли между тѣмъ отшелкивала піэсу за піэсою, будто заведенная, — не имѣя даже и на столько музыкальнаго такта, чтобы сгладить рѣзкости переходовъ между разнородными сюжетами и тѣмами. Такъ, это былъ хорошій органъ: валь вертѣлся за валомъ въ томъ дикомъ безпорядкѣ, какъ требуютъ въ трактирахъ посѣтителіи одинъ за другимъ. Вальсъ погоняла симфонія, симфонію — полька, польку — оперная увертюра, увертюру — варіаціи на китайскую серенаду. Съ послѣднею нотою странной мелодіи, съ послѣднимъ ударомъ по клавишамъ, исполнительница вскочила, будто щелкнулъ валь, отработавшій свое дѣло и, по уставленному обряду, обмахнувшись платкомъ, съ скромною улыбкою приняла похвалы присутствовавшихъ.

Для Николая Арсеньича женщина была вся тутъ.

— Ай-да Нелли! сказалъ съ театральнымъ добродушіемъ Кундусъ: — не родись барыней, нажила бы деньги не хуже Дженни Линдъ. Не такъ ли, графъ? обратился онъ къ Николаю Арсеньичу.

Николай Арсеньичъ сдѣлалъ головою и лицомъ жестъ, котораго не понялъ никто изъ великихъ практиковъ жизни: всѣ безмолвно объяснили его себѣ удивленіемъ.

— Фильдовская игра, замѣтила графиня — этой игры нынче и не слышать совсѣмъ. *Quel jeu périllé!*

— Вы балуете мою Нелли, сказала баронесса, пожимая руку графини!

— Полноте, отвѣчала Марья Сергѣвна — вы сами знаете, баронесса, что Наталья Андревна не нуждается въ похвалахъ.

Общество разтѣхалось совершенно-довольное обѣдомъ и другъ другомъ. Арсеній Николаичъ уѣхалъ раньше. Николай Арсеньичъ сѣлъ въ карету съ матерью.

— Если вы принимаете участіе въ баронессѣ и ея племянницѣ, сказалъ онъ — вы бы посовѣтывали этой несчастной не играть при людяхъ.

— Отчего? съ непритворнымъ удивленіемъ спросила графиня.

— Вы спрашиваете? Вы играете рѣдко, но развѣ вы такъ играете?

— Какая моя игра теперь? произнесла, опуская глаза, графиня, пошлѣйшимъ образомъ кокетничая... съ сыномъ.

Дѣло въ томъ, что она, ужь Богъ знаетъ какъ это вышло, была не совсѣмъ дурная музыкантша, хотя, дѣйствительно, давно не занималась музыкой и была къ ней несомнѣнно-равнодушна.

— Мнѣ опять смѣшно, продолжалъ сынъ — съ чего это вы, то-есть вы и батюшка, вздумали, что я долженъ жениться на Натальѣ Андревнѣ!

— Отчего все смѣшно? сказала графиня, всегда чрезвычайно-несостоятельная по части положительныхъ доводовъ.

— Что между нами общаго?

— Какъ, что общаго?

— Ну да, что общаго?

— Воля твоя, Николай, я тебя не понимаю.

Она не лгала: она точно не понимала.

Но каково было сыну, начинавшему, мало-по-малу, раскусывать мать, не хуже того, какъ въ деревнѣ пришлось ему взглянуть на Арсенія Николаича въ наивномъ порывѣ, которымъ графъ такъ рѣзко выдалъ себя.

Ужасно должно быть подобное положеніе! Человѣку легче проснуться въ одно прекрасное утро и удостовѣриться, что онъ обязанъ своимъ происхожденіемъ четѣ дикарей. Не правда ли?

Николай Арсеньичъ, по обыкновенію, отыскалъ Тесьмина, и, со всѣми великодушными оговорками сыновняго уваженія, передалъ ему ощущеніе обѣда у баронессы и разговора съ матерью.

— По-моему, сказалъ Тесьминъ — тебѣ остается одно. Ъзди куда почаще къ баронессѣ, прими видъ, что узнаешь нареченную суженую, пожалуй, въ самомъ дѣлѣ узнавай ее, лови слабыя и непріятныя стороны, выставляй ихъ отцу и матери, чтобы и имъ показалось смѣшно; а повременя, скажи на-отрѣзъ свое мнѣніе: не могу, да и все тутъ. Можетъ-быть понемногу глаза откроютъ. Больше чѣмъ выдумашь?

Хорошо и этотъ, дитя природы, зналъ большой свѣтъ! Рассчитывать съ Хвалынскими на убѣжденія, на чувства, на здравый смыслъ?! Все это слова академическаго лексикона, безусловнаго языка, понятія для человѣчества; но свѣтъ-то что имѣетъ общаго съ академическимъ лексикономъ, съ логикой, съ человѣчествомъ?

Между тѣмъ, у Арсенія Николаича начались съ Кундіусомъ, а черезъ него, и съ баронессой Штральборнъ, дипломатическіе переговоры по поводу будущаго соединенія Николая Арсеньича съ Натальей Андревной, какъ дѣло рѣшеннаго — переговоры *ad rem*. Кундіусъ «подразумѣвалъ» единственно одно: что опеку и попечительство будетъ принимать Арсеній Николаичъ; баронесса, черезъ опекуна, выговаривала, самымъ де-

ликатнымъ образомъ, право жить съ племянницей послѣ ея свадьбы и получать ежегодно, по своей смерти, опредѣленную стипендію, весьма значительную, въ видѣ благодарности за все пожертвованія, которыми ознаменована была ея жизнь съ той минуты, какъ стала она мотать законное достояніе Нелли.

О томъ, какія средства дастъ сыну графъ, Кундіусъ, истый рыцарь, и не заикался. Велѣдствіе этого великодушія, этой утонченной обходительности графъ ногъ подъ собой не слышалъ, а въ Кундіусѣ души не чаялъ. Кундіусъ же по прежнему находился въ наилучшемъ положеніи по службѣ: въ послѣднее время одинъ изъ сильнѣйшихъ министровъ не приступалъ безъ него къ своему утреннему кофею и — можно ли повѣрить? — два раза ѣздилъ съ нимъ на Минеральныя Воды, въ сертукѣ, шутилъ какъ съ совершенно-равнымъ и выпилъ двѣ бутылки шампанскаго, какъ студентъ..

Изъ этихъ данныхъ, Арсеній Николаичъ предоставлялъ себѣ безъ особенныхъ затрудненій извлечь для своей карьеры самый выгодный *сoup d'état*. Нужно ли говорить, что онъ не заикался о подробностяхъ состоянія, оставленнаго Куломзиннымъ?

Николай Арсеньичъ, по требованію родителя, долженъ былъ безпрестанно видѣться съ Нелли, то у баронессы, то дома, то еще гдѣ-нибудь. Его заставляли быть ея кавалеромъ вездѣ, гдѣ только можно было. Въ свѣтѣ уже показывали на нихъ какъ на жениха и невѣсту, причемъ, конечно, завистливые искатели и искательницы выгодныхъ партій, съ восходящими своими, нещадно острили языки насчетъ обѣихъ сторонъ: Нелли считалась рѣдкою невѣстою, молодой графъ — женихомъ, блистательнымъ во всѣхъ отношеніяхъ.

— Жалко, жалко бѣднаго Хвалынскаго! восклицала мать чetyрехъ дочерей. — Стоитъ ли его эта дѣвчонка?

— Я не знаю, можно ли поздравить и Наталью Андревну, перебилъ сорокапятилѣтній холостякъ, камеръ-юнкеръ въ парикѣ и слегка-нарумяненный, сватавшійся въ своей жизни семнадцать разъ.

— Что же вы такое находите въ Хвалынскомъ? вступилась дѣвица, пятый годъ праздновавшая свою двадцать-девятую весну и которая съ удовольствіемъ бы повисла на шею любому смертному, не исключая и нарумяненнаго камеръ-юнкера, еслибъ онъ взялся содержать не ее одну, но и карету съ парой лошадей.

— Долженъ быть безпорядливый человекъ, замѣтилъ, за камеръ-юнкера, гвардейскій офицеръ, любясь своимъ красными отворотами, а въ душѣ приглашая присутствующихъ любоваться его прической и усами: волосы, хотя натуральные, до совершенства представляли парикъ, усы казались нарисованы на лицѣ, будто на копѣечной маскѣ.

— Онъ еще такъ молодъ, великодушно разсудила дама, упрямившая на Смоленское кладбище двухъ мужей и одного зятя. — Вѣрьте мнѣ, если не жена, баронесса все можетъ изъ него сдѣлать.

— А по-нашему, каковъ въ колыбелькѣ, таковъ и въ могилку, сказалъ господинъ отчаянно-рябой, но, не смотря на это и на очень зрѣлый возрастъ, пытавшійся завлечь баронессу Штральборнъ въ надеждѣ получить племянницу.

— Мнѣ такъ кажется, что невѣста во всякомъ случаѣ въ выигрышѣ: Куломзиной взять съ мужемъ одинъ гербъ—и то невѣроятная находка. — Это были слова барыни, которая незадолго передъ тѣмъ, послѣ героическихъ насилій, выдала дочь за какого-то налетнаго иностранца, называвшаго себя полковникомъ панскихъ войскъ и графомъ, а оказавшагося американскимъ Евреемъ и музыкальнымъ учителемъ.

— Разумѣется, если женѣ есть къ чему прилѣпиться гербъ, или изъ чего его сдѣлать, замѣтилъ, съ несомнѣннымъ скрытымъ вздохомъ промотавшійся баричъ, котораго сваха окрутила въ Москвѣ на купчихѣ, увѣривъ его, что богата, — и имъ ужъ брошенной.

— Графъ не ищетъ состоянія, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія, наивно перебила смазливенькая рожица, оглашенная въ семьѣ безприданницею и по приказанію своей матушки до сихъ поръ, при каждой встрѣчѣ съ Николаемъ Арсеньичемъ, дѣлавшая ему глазки, а Марью Сергѣевну ловившая возможность цѣловать въ плечо, въ знакъ почти-родственного уваженія.

— Чего же онъ ищетъ, позвольте спросить? вступился молодой человекъ, дѣлавшій формальное предложеніе Натальѣ Андревнѣ черезъ баронессу и получившій самый формальный и безнадѣжный отказъ.

— Министръ эта баронесса! Талейранъ въ юбкѣ! воскликнула дама, посвящая три четверти своего земнаго существованія на выклянчиваніе мужу и сыновьямъ награды и предпочтеній по службѣ.

— Вы то скажите: какъ теперь Кундіусъ отлично ретируется отъ дѣлъ, какъ ему теперь не трудно будетъ сдавать опеку и попечительство: опеку—то вѣдь давно бы надо кончить. — Этому оратору было на дняхъ сказано подъ-рукою, и то изъ уваженія къ родству жены, чтобы онъ отказался отъ опеки надъ малолѣтними богачами, которымъ готовилъ грустный сюрпризъ въ будущемъ.

Въ ту минуту, какъ, на нѣкоторомъ танцевальномъ вечерѣ, происходили эти милыя рѣчи, вошли баронесса Штральборнъ и ея племянница. Дамы дружески привѣтствовали обѣихъ, кавалеры почтительно раскланялись; офицеръ и камеръ-юнкеръ поспѣшили ангажировать Наталью Андревну: оба имѣли въ виду

попасть въ шафера, но только камеръ-юнкеръ держалъ въ предметъ какъ бы навести баронессу на мысль, что не должно, во всякомъ случаѣ, затѣвать свадьбу на придворную погу: парадный мундиръ камеръ-юнкера сильно поблекъ уже, пріобрѣтенный имъ не изъ первыхъ рукъ.

Разумѣется, и прочія лица приведенной бесѣды ни за что не простили бы баронессѣ, если бы она не позвала ихъ на свадьбу племянницы, и рассчитывали быть на свадьбѣ на-вѣрняка. Разумѣется, разговоромъ, нами приведеннымъ, не ограничивались толки и комментаріи о Нелли, Николаѣ Арсеньичѣ, Хвалынскихъ, баронессѣ и Кундіусѣ.

Не надо думать, будто свѣту дѣло до всего. Напротивъ, много вещей, до которыхъ ему нѣтъ ни малѣйшаго дѣла. У васъ добрая и хорошая жена, вѣрная любовница, восхитительныя дѣти: — никто объ этомъ и языкомъ не пошевелить. Умъ, талантъ, рѣдкая энергія, рыцарская честность — эти вещи если и замѣтятъ, такъ или не будутъ вовсе говорить о нихъ, или человѣкъ, наиболѣе обойденный отъ природы тѣмъ или другимъ свойствомъ, отзовется однажды навсегда о чужомъ преимуществѣ съ сарказмомъ, — и только. Но вотъ чѣмъ интересуется свѣтъ: всѣмъ, что покупается на деньги, и всѣмъ, что даетъ деньги. Вы и не богаты, но завелась у васъ хорошенькая пара лошадей; довольно: будетъ и вамъ, и вашимъ лошадямъ ото всѣхъ тѣхъ, у кого нѣтъ такихъ лошадей. У васъ игралъ вчера извѣстный артистъ, признанный и модой: — сегодня васъ рвутъ на клочки друзья и знакомые — въ вашей рояли бродовдовскаго одна дощечка, поваръ вашъ учился на станціи, ваша почтенная кухня — историческая интриганка. И такъ далѣе въ томъ жеродѣ... Позвольте. Кажется есть вещи, не покупаемыя на деньги и денегъ не дающія, которымъ свѣтъ завидуетъ? Это только кажется. Вникните хорошенько: о чемъ бы ни говорилъ свѣтъ, что бы его ни волновало, — все то можно такъ или иначе купить, или все то хоть вдали сулить барышъ. Откройте новую планету — въ большомъ свѣтѣ могутъ не узнать ни объ открытіи, ни о вашемъ имени: выдумайте фиксатюаръ или ваксу, и пусть по чему-нибудь ваше изобрѣтеніе пойдетъ: — не дадутъ покоя косточкамъ вашихъ предковъ.

И нѣтъ ничего продажи въ свѣта. Антонъ Антонычъ, если вѣрить ему, бралъ единственно борзыми щенками. Сказать между нами, господа, оно можетъ-быть и неправда. Но мы любимъ и уважаемъ дѣвственную стыдливость Гоголева героя. Свѣтъ — даже не Сквозникъ-Дмухановскій, зато, съ другой стороны, свѣтъ выше городничаго: свѣтъ имѣетъ *le courage de ses opinions*. Свѣтъ беретъ всѣмъ и при всѣхъ: улыбками, поклонами, курбетами, обѣдами, самыми вопіющими подлостями,

богатыми невѣстами, богатыми женихами, богатыми презентами, — всѣмъ, что достается изъ-за денегъ или общается деньги.

На базарѣ только о томъ и толкуютъ, что имѣеть сбытъ на базарѣ. Но можно иногда попасть на базаръ, не торгуя ничѣмъ, не покупая и не продавая. Можно быть въ свѣтѣ, на этомъ безконечномъ рынкѣ корысти, аукціонѣ тщеславія, и не дѣйствовать, оставаясь единственно зрителемъ. Тогда человекъ имѣеть полную свободу, совершенную возможность безпристрастно наблюдать за всѣми продѣлками суеты, какъ, напримеръ, превосходно наблюдали за парижскою буржуазіею тѣ лица, которыя принадлежали къ ней по рожденію, не примыкая къ ея знамени.

Ужъ кстати о парижской буржуазіи. Нашъ свѣтъ дагерротипъ съ нея, и самый вѣрный. Но опять надо отдать ему справедливость: онъ послѣдовательнѣе ея. На знамени буржуазіи было написано: «равенство!» и она топтала въ грязь все, что могло бы послужить къ торжеству ея лозунга; свѣтъ идетъ за буржуазіей, стопа въ стопу, но не закрывается и знаменемъ: онъ вѣритъ въ свою непогрѣшимость, и въ этомъ его единственная сила, его опасная сторона для людей безъ убѣжденія.

Но мы нѣсколько отвлеклись нашими размышленіями...

На сказанный вечеръ пріѣхалъ и Николай Арсеньичъ. Съ нимъ, также какъ съ баронессой и ея племянницей, любезно обошлись всѣ присутствовавшіе, отнюдь не исключая лицъ, рассуждавшихъ о немъ проницательно. Это, кажется, называется умѣніемъ жить, *savoir vivre*.

Что касается до молодаго графа, онъ почти не могъ подойти къ Нелли безъ содраганія: до-того дошло уже. Повидимому, дѣвушка была предупреждена теткою о заговорѣ ея съ Хвалынскими; такъ казалось Николаю Арсеньичу, такъ оно и было. Мудрено вообразить, а правда: ни малѣйшаго смущенія не вызвало въ Нелли открытіе тайны—вотъ до-чего она была безстрастна отъ природы и выломана тетюшкой. Мысль быть графиней Хвалынской и женою человека, который очевидно имѣлъ многія преимущества передъ другими, даже и для близорукихъ, конечно, льстила ей; но сердце Натальи Андревны и физически ни разу ни стукнуло сильнѣе своей нормы въ тѣ минуты, когда она представляла себя уже связанною навсегда съ молодымъ графомъ. Сонъ ея оставался спокоенъ попрежнему; повседневность ея не измѣнилась ни въ чемъ; маленькія дѣла свои отправляла она совершенно-невозмутимо; никогда и нигдѣ даже не ждала Николая Арсеньича. Зато, если ужъ сходились они, она любила видѣть его какъ можно больше возлѣ себя; но и къ этому чувству двигали: свѣтское самолюбіе, которымъ она было

насквозь пропитана, и может-быть немножко дѣйствительное удовольствіе имѣть блистательнаго кавалера. Разговоры между ними происходило мало. Какъ ни принуждалъ себя Николай Арсеньичъ, сколько ни бился, чтобы заставить ее говорить—баронесса съ намѣреніемъ оставляла ихъ однихъ, чтобы тѣмъ рѣше огласить свои предположенія—какъ ни бился Николай Арсеньичъ, Наталья Андревна или отмалчивалась, или роняла коротенькія и самыя сухія фразы. Увѣренная во всемогущество тетки, Нелли даже не считала нужнымъ завлекать графа. Она не имѣла и того великодушія, чтобы притвориться занятою имъ, какъ дѣлаютъ изъ приличія даже особы самодержавной крови. Конечно, въ самомъ дѣлѣ заинтересовать человека, подобнаго Хвалынскому, далеко не хватило бы ей. Но этого она-то сознавать не могла.

Въ этотъ вечеръ, завладѣвъ графомъ тотчасъ по его пріѣздѣ, она особенно умѣла выказать всѣ свои неинтересныя дарованія. Слова, повторенія однихъ и тѣхъ же понятій, узкихъ или нина что не похожихъ, выскакавали изъ нея точно часовая репетиція отъ подавленной пружинки.

Бѣдный юноша испытывалъ истинное мученіе. Къ довершенію его, нѣкоторые свѣтскіе знакомые, въ томъ числѣ изъ первыхъ тѣ, которые только что за-глаза острились надъ нимъ, позволили себѣ, въ видѣ намековъ, поздравлять Николая Арсеньича съ предстоящимъ счастіемъ. Эта злая пронія уколола его въ самое сердце. Онъ рѣшилъ, не откладывая, объявить отцу, чтобы онъ избавилъ его отъ продолженія пытки, приходившейся не подъ-силу.

Съ такимъ намѣреніемъ вошелъ онъ, на слѣдующее утро, въ отцовъ кабинетъ. Замѣтивъ по первому взгляду, что Арсеній Николаичъ въ духѣ, онъ понадѣялся кончить съ нимъ въ немногихъ словахъ.

— А я шелъ къ тебѣ, сказалъ графъ, прежде нежели Николай Арсеньичъ успѣлъ отворить ротъ.—Мнѣ надо поговорить съ тобой. Притвори дверь, и садись.

Николай Арсеньичъ исполнилъ то и другое. Арсеній Николаичъ откашлянулъ, и произнесъ:

— Слушай. Съ моей стороны, то-есть съ моей и съ ихъ, дѣло въ шляпѣ. Тебѣ остается немного: нынче, завтра, на дняхъ, притвориться совершенно-влюбленнымъ и сдѣлать Нелли нѣсколько приличныхъ намековъ, полупризнаній, — за чѣмъ и послѣдуетъ формальное предложеніе черезъ меня и графиню. Понялъ?

— Ничего не понимаю.

— И Боже мой, не класть же мнѣ тебѣ слова въ ротъ; не сочинять мнѣ твой монологъ. Читалъ же ты—не вѣрю, извини на этотъ разъ за откровенность, не вѣрю я, чтобы ты читалъ

однихъ философовъ да эстетиковъ — читаль же ты, какъ это происходитъ въ романахъ. Возьми первую фразу, какую подвернешь память, пересыпь ее сообразно условіямъ мѣста и времени да что я, ужъ будто бы ты такъ невиненъ?

— Я пришелъ сказать вамъ, что я намѣренъ отстать отъ баронессы: вдругъ прекратить знакомство неловко, я понимаю; да и гдѣ мое право на то, такъ какъ вы знакомы. Но вы не повѣрите, до-чего противны мнѣ и баронесса, и ея племянница, послѣдняя въ особенности.

— Ха-ха-ха! Опять-таки буду великодушнѣе тебя. Всякій другой на моемъ мѣстѣ сталъ бы тебя приводить въ свою вѣру. Во мнѣ больше терпимости. Богъ съ тобой. Не хочу и знать твоего мнѣнія объ этихъ дамахъ. Пусть остается при тебѣ.

— Чего же вамъ надо отъ меня?

— Ты безподобенъ, ей-Богу. Чего мнѣ надо? Надо же соблюсти приличіе; надо же тебѣ разразиться два-три раза какимъ-нибудь невиннымъ мадригаломъ ... Вѣдь это только купцы такъ дѣлаютъ: покажутъ другъ другу двѣ рожи, которыя, обыкновенно, любезно отворачиваются одна отъ другой во время смотрѣнокъ: на другой день предложеніе отъ родителей родителямъ, — въ баню, и въ церковь. Очень удобно и, сказать между нами, очень умно; но каждое положеніе требуетъ своего декорума, каждое несетъ свою обузу.

— То и хотѣлъ я сказать вамъ, что все это надо бросить.

— Какъ: бросить?

— Ну да, бросить. Я готовъ, если васъ это успокоитъ, подписать кровью, что Куломзина перлъ петербургскихъ или и всемірныхъ невѣстъ, что баронесса...

— Опять не то, перебилъ Арсеній Николаичъ: — не будемъ удаляться отъ сюжета. Тебѣ надо жениться на Натальѣ Андреевнѣ Куломзиной: вотъ въ чемъ вопросъ.

— Надо, когда нельзя?

— Нельзя? Ты, надѣюсь, не женатъ? [спросилъ иронически Арсеній Николаичъ.

— Я ея видѣть не могу, сказалъ, съ отчаяніемъ въ голосъ, Николай Арсенъичъ. — Не могу, просто не могу. Что за неволя!

Арсеній Николаичъ пожалъ плечами и покачалъ головой.

— Ты всегда самъ виноватъ, что вынудишь считаться съ тобой, вытащишь клещами изъ человѣка вещи, которыя тебѣ же непріятны ... « Не могу, не могу »! только, вѣдь, я отъ тебя и слышалъ до сихъ поръ. Когда же будетъ на моей улицѣ праздникъ?

— Неужели тогда, когда на моей будетъ горе?

— Полно, полно, пожалуйста. Со стороны, не зная о чемъ рѣчь, можно подумать, что я уговариваю тебя ѣхать на устье Амура.

— Я охотно поѣду.

— Кто же тебя пуститъ? Видишь, съ тобой всегда куда по-падешь! Не затѣй, ради Бога, теперь доказывать мнѣ что-нибудь объ Амурѣ. Но, къ слову, отдай мнѣ разъ въ жизни справедливость: въ чемъ я мѣшалъ тебѣ; мѣшался ли я въ твои дѣла, въ твои фантазіи? Хоть бы твои степные амурь? Подлилъ ли я и каплю дегтю въ медъ? Не считая дороги, я далъ тебѣ на печаль шесть недѣль. Чего еще! больше траура можно ли требовать? Романтики по твоей милости въ долгу у меня, и если они мнѣ когда-нибудь не воздвигнутъ памятникъ, такъ единственно потому развѣ, что человѣчество вообще и вездѣ неблагодарно Пора же, наконецъ, снять трауръ и обратиться къ живому....

— Вы все шутите, съ грустною рѣшимостію произнесъ Николай Арсеньичъ — а я говорю вамъ очень серьезно, что я не могу жениться на Куломзиной, не хочу жениться на ней, и не женюсь.

Графъ Арсеній Николаичъ молча покачалъ головой и взглянулъ на сына съ самой тонкой и самой злобной улыбкой, сквозь которую свѣтилась спокойная увѣренность въ собственной силѣ.

Онъ отыскалъ свои перчатки, систематически надѣлъ ихъ, надѣлъ шляпу, взглянулъ въ зеркало, тщательно до послѣдней мелочи привелъ въ должное положеніе всѣ свои регалии на шеѣ и на груди, всталъ, и сказалъ холодно и рѣшительно:

— Предоставляю тебя твоимъ размышленіямъ. Повторяю. Я не имѣю претензій управлять твоими воззрѣніями и вербовать тебя подъ свои системы. Но не забудь мое послѣднее слово: будь разъ-другой у баронессы, возьми два-три аккорда, скрѣпя сердце и сжавши зубы, если ты такъ чувствителенъ къ диссонансу, — разыграю я. До свиданія.

Арсеній Николаичъ вышелъ. Николай Арсеньичъ сидѣлъ какъ пригвожденный къ мѣсту. Мудрено опредѣлить что больше сбивало его съ толку: перспектива ли продолженія всей этой возни съ непріятными лицами, или необъяснимый для него, нечеловѣческій цинизмъ отца въ дѣлѣ, которое онъ считалъ однимъ изъ капитальныхъ вопросовъ жизни.

Подумавъ, онъ отправился къ графинѣ, чтобы открыть свои мысли ей, предполагая найти въ ней сочувствіе къ себѣ и отпоръ отцу.

— Батюшка, сказалъ онъ — продолжаетъ, съ непостижимымъ для меня упорствомъ, настаивать на этой несчастной идѣ.

чтобъ я женился на Куломзиной. Я пришелъ сказать вамъ, что этого никогда не будетъ, что этого быть не можетъ, и надѣюсь, что вы поддержите меня.

Графиня испугалась рѣшительному тону сына. Мысль же не только противодѣйствовать, — противорѣчить Арсенію Николаичу была всегда такъ далека отъ нея, что едва сынъ показалъ ей ее, у ней, будто отъ небывалаго видѣнія, которое бы вдругъ встало изъ земли, голосъ сперся въ гортани. Нѣсколько минутъ она не находила силы слѣпить слово; наконецъ, довольно безсвязно, произнесла:

— Ты, кажется, разстроенъ сегодня, Николай?

— По неволѣ.

— Ты бы разсѣлся.

— Матушка, простите: ребенокъ я что ли, котораго высѣкли, и которому потомъ дарятъ конфету?

— Что же я тебѣ скажу?

— Мнѣ?... Не говорите ничего. Мнѣ кажется, и говорить нечего. Скажите отцу, что я не женюсь на Натальѣ Андревнѣ, потому что она мнѣ не нравится.

Графиня посмотрѣла на него съ выраженіемъ, котораго не могъ понять сынъ. Глаза ея громко говорили: «чтобъ я это сказала Арсенію Николаичу! ты, стало быть, съ ума сошелъ?»

— Ты говорилъ графу? спросила она, опять помолчавъ.

— Говорилъ.

— А онъ что?

— Онъ все свое.

— Что же я еще буду говорить?

— Но ваше мнѣніе...

— Мое мнѣніе? Послушай, Николай, я тебя не неволю жениться на Нелли: женись, не женись, какъ тебѣ угодно...

Графиня пріостановилась, спохватившись, что ея слова, хоть и отрицательно, оппозиція супругу.

— Но... что вы хотѣли сказать? спросилъ Николай Арсеньичъ.

— Я не вижу, почему бы тебѣ не жениться, если такъ хочется графу.

— Вы шутите?

— Ничуть.

— Матушка, вы ли это? женщина? Положимъ, отецъ, какъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, остроумно напоминаетъ, мужчина. Онъ, прибавлю я, въ такихъ лѣтахъ, когда чувство тупѣетъ; онъ далеко отошелъ, по разнымъ причинамъ, отъ моей точки зрѣнія. Несчастіе для него, конечно...

— Позволь, будемъ говорить дѣло. Чего Нелли недостаетъ?

— Ничего, рѣшительно ничего: я согласенъ съ вами. Она фениксъ, у ней всего на три человѣческихъ счастья... Одного недостаетъ для меня: она мнѣ не нравится.

— Ты хочешь сказать, что ты не влюбленъ въ нее?

— Во-первыхъ. Но и этимъ не все сказано: не лежитъ у меня сердце къ ней.

— Только-то? воскликнула Марья Сергѣвна съ идеальнѣйшею наивностію, прелесть которой невозможно передать на бумагѣ.

— А ты не знаешь, что самые счастливые браки — браки по благоуразумію?

— Не скрою, насмѣшливо возразилъ сынъ — слыхалъ я это, и читывалъ даже.

— И это совершенно-справедливо. Взаимное уваженіе прочнѣ любви, которая свойственна молодости, первой порѣ...

Графиня становилась почти краснорѣчива. Она въ эту минуту собрала въ головѣ всѣ извѣстныя ей аподегмы о предметѣ, и предлагала ихъ квинтессенцію сыну.

— Если и по вашему, матушка, перебилъ онъ — все-таки ничего выйти не можетъ. Я не имѣю ни малѣйшаго уваженія къ Натальѣ Андревнѣ.

— Однакожь...

Марья Сергѣвна опять была разомъ сбита съ позиціи.

— Ни малѣйшаго, — повторяю.

— Чтожь ты можешь сказать противъ нея? Она даже не кокетка, сколько я знаю.

— Правда, правда. Но я охотно простилъ бы ей невинное и приличное кокетство.

— Такъ что же?

— Я вынужденъ выразиться сильно, чтобы заставить понять себя. Она, извините, кусокъ дерева.

— Не вижу этого, какъ тебѣ угодно.

Пріѣздъ особы, короткой по отношеніямъ, о которой оттого и не было доложено, — прервалъ діалогъ матери и сына.

Онъ въ тотъ же день поѣхалъ къ баронессѣ Штральборнъ, воображая, что какимъ-нибудь образомъ наведетъ ее на мысль о его положительной антипатіи къ соединенію съ ея племянницей.

Всходя на лѣстницу къ баронессѣ, онъ подумалъ: «еслибъ была мистификація со стороны родителей, они бы не продлили ея столько времени. Нѣтъ, не мистификація! Но чего же имъ нужно отъ меня? Что за ражъ женить человѣка насильно?»

Предположеніе, что его женитьба нужна графу Арсенію Николаичу для личныхъ видовъ, не могло сложиться въ честной душѣ Николая Арсеньича. Каково бы ни было теперь его мнѣніе объ отцѣ, какихъ обращиковъ своего характера и міросозерцанія

ни показалъ семейный деспотъ, вольно и невольно, — мысль, что онъ цѣною [цѣлой] жизни несчастія для сына способенъ купить хоть свое собственное счастье, была одна изъ тѣхъ вещей, которая юноша считалъ человѣчески-невозможными.

Лицо Николая Арсеньича, естественно, носило, явные признаки внутренней тревоги и недоумѣнія.

Баронесса замѣтила это съ перваго взгляда. Да и то нужно сказать: не предполагая антипатію молодаго графа къ Нелли въ ея дѣйствительной степени, она, однако, знала уже, что онъ не нашелъ въ Натальѣ Андревнѣ ничего привлекательнаго, какъ и предчувствовала. Но ей какая была забота? Нелли представляла для нея, капля въ каплю, то же, что Николай Арсеньичъ для Арсенія Николаича: орудіе себялюбивыхъ цѣлей, данное природой или случаемъ.... Спрашиваетъ ли волкъ, какъ понравится ягненку, что волкъ его скушаетъ?...

Для настоящаго посѣщенія Хвалынской нарочно выбралъ часъ когда почти-навѣрное не рисковалъ встрѣтить кого-либо въ домѣ, поставленномъ на свѣтскую ногу. Только пробило семь.

— Вы нынче точно съ похоронъ, сказала баронесса, не давъ ему и сѣсть.

Николай Арсеньичъ не безъ удовольствія замѣтилъ, что Нелли нѣтъ здѣсь.

— Тоска! отвѣчалъ онъ самымъ рѣшительнымъ образомъ.

— Вотъ это настоящій другъ, подхватила баронесса: — въ тоскѣ не пойдешь къ равнодушнымъ, ни къ тѣмъ, къ кому самъ равнодушенъ.

Она пожала руку графу. Онъ былъ ошеломленъ.

— Петербургъ до-того мнѣ постылъ, началъ онъ уже съ нѣкоторой робостію....

— Охъ, эти романическія головы! перебила она съ участіемъ опытной сестры къ младшему брату. — Вамъ бы все поля, да горы, да ручейки: оно не дурно, но не всегда же. Теперь, на примѣръ; развѣ на югъ....

Графъ вздохнулъ.

— Не на нашемъ, однакожъ, сколько я знаю, продолжала баронесса, — кромѣ Южнаго берега.

— Свѣтъ, съ его трескомъ и суетой...

— Скучно, глупо, хотѣли вы сказать? А куда дѣнетесь безъ свѣта?

— О, будто ужъ вѣкъ его нѣтъ мѣста, будто безъ него нѣтъ спасенія?

— Гдѣ же, однако? что? За что вы приметесь, что вы будете дѣлать?

— На это слишкомъ легко отвѣчать, баронесса.

— Отвѣчайте.

— Да я ничего не буду дѣлать, а буду дѣлать что хочу.

— Гдѣ это, позвольте спросить? Въ Берлинѣ, гдѣ вы чужіе, въ Парижѣ, въ Лондонѣ; да и то: поживите теперь въ Парижѣ годъ, вы членъ общества, *vous appartenez à la société*. Я вамъ больше скажу. Неужели вы думаете прожить внѣ свѣта, внѣ общества, еслибы вы удалились въ деревню. Пустое. Я очень хорошо знаю жизнь нашихъ провинцій. То же самое. Только бѣднѣе и грязнѣе. Плошка вмѣсто извѣстныхъ стаканчиковъ и фонарей, амбре вмѣсто эсбука, лакен до сихъ поръ въ треугольныхъ шляпахъ съ кисточками, пуддингъ съ огнемъ за торжественномъ обѣдомъ, покрой платьевъ съ того свѣта, разстроенныя фортепіаны, офицеры съ ужасными цѣпочками и въ кафтанѣхъ цвѣта мѣдной яри, штатскіе тоже въ цѣпочкахъ и въ розовыхъ жилетахъ. Таковы тѣни картины. Этого искать недалеко. Добѣжайте до Москвы. Поразсказалъ мнѣ покойный баронъ объ одной своей московской зимѣ. По воскресеньямъ, послѣ обѣдни, неизмѣнный пирогъ съ капустой и кофей со сливками и съ сухарями.

— Что же тутъ особенно дурнаго — въ пирогѣ съ капустой? замѣтить, съ печальной улыбкой, Николай Арсеньичъ.

— Я не говорю. Предоставляю вамъ экологу съ капустой и пастушекъ подъ гвоздичной помадой. Я бы можетъ-быть сама ее очень любила и поѣхала бы по Россіи, хоть до Киргизской степи, искать ее. Но въ томъ-то и горе, что это не экологъ. Патріархализмъ сальной свѣчки, котораго букетъ такъ льститъ вашему обонянію, потому что вы близко къ нему не подходили, патріархализмъ этотъ чисто-внѣшній. Претензій въ тысячу кратъ больше, чѣмъ у насъ, холодныхъ эгоистовъ... и какъ еще насъ называютъ, людей петербургскихъ? А сплетни *d'antichambre*, а грязь въ домѣ, а холодныя тарелки и теплое шампанское! Вѣрьте, что издали все хорошо.

На этихъ словахъ вошла Нелли.

Баронесса обратилась къ ней.

— Графъ сегодня ужасно сердитъ на Петербургъ, сказала она.

— Что съ вами случилось? спросила Наталья Андревна.

— Припадокъ несовѣмъ умѣстной откровенности, отвѣчалъ Хвалынский.

— Какъ это лестно слышать! возразила Нелли, схвативъ одну изъ тѣхъ стереотипныхъ фразъ, которая годны на всякое употребленіе въ различныхъ случаяхъ.

— Я не досказала моей мысли, продолжала баронесса; — вы имѣли бы право дать мнѣ вашъ давнишній отвѣтъ, еслибы вы были одною изъ тѣхъ исключительныхъ натуръ, которая могутъ довольствоваться самими собою, еслибы вы были отпѣтый мизан-

тропъ, или великій поэтъ, великій художникъ. Тогда вамъ никого не нужно; никто вамъ не указъ. Тогда вы дѣлаете что хотите, не стѣсняясь никѣмъ и ничѣмъ. Найдутся даже люди, которые будутъ находить милыми всѣ ваши экстравагантности: для иныхъ геніи имѣютъ то общаго съ сумасшедшими, что могутъ являться въ общество нечесанные, лазить по крышамъ, положить ноги на диванъ, на столъ даже. Сознаюсь, я не совѣмъ этой школы.

— Будто бы есть такіе люди? спросила Наталья Андревна.

Баронесса нехотя улыбнулась простодушному ужасу, съ которымъ посмотрѣла на нее племянница.

— Это такъ говорится, Нелли, успокоила она ее.

— Стало быть, мнѣ вдвойнѣ приходится жалѣть, что я не родился художникомъ, поэтомъ! грустно сказалъ Николай Арсеньичъ.

— Чтобы класть ноги на столъ? съ изумленіемъ въ голосъ спросила Нелли.

Баронесса улыбнулась опять.

— Чтобы быть независимымъ отъ гнусныхъ и несносныхъ цѣпей! горько и холодно отвѣчалъ графъ.

— Точно ты не знаешь графа, поспѣшила вступить баронесса. — Онъ не такъ дикъ, какъ кажется. У всякаго бываютъ минуты мизантропіи. Лучъ солнца, прогулка по Невскому — и все забыто.

Николай Арсеньичъ съ сожалѣніемъ и досадою взглянулъ на баронессу, понявъ, что ему не дождаться отъ нея ничего добраго.

Они ходили въ это время.

Раздался изъ передней звонокъ, возвѣщавшій о пріѣздѣ не короткаго гостя.

Николай Арсеньичъ находчиво взглянулъ на свой костюмъ, почти домашній.

— Хотите, я не велю принимать? любезно спросила баронесса, понявъ недоумѣніе графа.

— Мнѣ, все равно, нельзя будетъ оставаться въ этомъ видѣ на весь вечеръ, еще находчивѣе отвѣчалъ Николай Арсеньичъ.

— Да, мы сегодня дома, сказала баронесса, — стало быть, не прощаемся.

Благословляя неизвѣстнаго посѣтителя, Хвалынскій удалился. Выходя отъ баронессы, онъ, по обыкновенію, чувствовалъ себя облегченнымъ въ отсутствіи ея и Нелли. Но съ другой стороны онъ выносилъ изъ этого дома окончательную увѣренность, что не найдетъ себѣ ни въ комъ опоры. Въ самомъ дѣлѣ, было ли какое-нибудь вѣроятіе, чтобы подобная женщина склонилась на убѣжденія, противныя ея планамъ? Разсчитывать на ея великодушіе, надѣяться ее тронуть — казалось безумнымъ. Что же

оставалось дѣлать? Сказать Нелли въ глаза, что онъ ея не любить? Но, вѣдь, во-первыхъ, онъ никогда не говорилъ ей, что любить ее, не намекалъ даже; во-вторыхъ, никто еще не дѣлалъ ей предложенія, стало быть, можетъ еще оно и не осуществиться; въ-третьихъ, наконецъ, и Нелли не любитъ его: это онъ ясно видѣлъ. А если не любитъ она его, но вбили ей въ голову, что она будетъ его женой, на нее тоже располагаться нечего. Любящая женщина жертвуетъ собою, женщина самолюбивая и равнодушная хочетъ жертвъ себѣ. Это очень понималъ юноша, сколь ни ничтожна была его личная опытность.

Такъ размышляя про себя, пріѣхалъ онъ къ Тесьмину, которому передалъ и событія дня, и свои послѣдніе соображенія. Тесьминъ совершенно согласился съ Хвалынскимъ, и общимъ рѣшеніемъ осталось прежнее: стоять передъ родителями на одномъ, что, дескать, не могу жениться, и не женюсь.

— Не свяжутъ же! заключили они въ голосъ.

VIII.

Прошло около недѣли.

Николай Арсеньичъ нѣсколько разъ видѣлся съ баронессой и съ Нелли, но не предпринималъ ничего въ смыслѣ родительскихъ наставленій. Несомнѣннымъ, болѣе прежняго, оставалось для него, что объясняться съ баронессой откровенно, не поведетъ ни къ чему; а Марья Сергѣевна, съ которой онъ опять было заговаривалъ, на-отрѣзъ отказалась противодѣйствовать Арсенію Николаичу, завѣривъ только сына, что она лично предоставляет ему дѣлать что ему угодно, и что ежели мужъ сдастся на его просьбы: отложить попеченіе женить его, она охотно поддержитъ его въ намѣреніи, благопріятномъ Николаю Арсеньичу.

Это было очень немного, то-есть ровно ничего.

Въ одно ноябрьское утро, Николай Арсеньичъ едва кончилъ свой туалетъ, его позвали къ Арсенію Николаичу.

Арсеній Николаичъ былъ серьезенъ, и хотя выраженіе лица не показывало гнѣва, но недоброе обѣщало оно.... Замѣчали ли вы, какъ иногда передъ бурей, и нѣтъ на небѣ ея примѣтъ, цѣлая природа будто громко говоритъ, что вотъ-вотъ разразится буря?...

Тяжелымъ предчувствіемъ сжалось бѣдное сердце Николая Арсеньича; онъ приготовился выдержать сильную грозу нелѣпѣйшихъ убѣжденій, быть-можетъ нѣсколько вспышекъ, думалъ онъ, но рѣшеніе его было непреклонно: не соглашаться на женитьбу, и, еслибъ до-того дошло, объявить отцу, что онъ ничего отъ него не хочетъ, готовъ оставить его домъ, жить безъ его помощи, снискивать себѣ пропитаніе, идти куда глаза гля-

дать, а связать себя съ существомъ, ему ненавистнымъ, не намѣренъ.

Арсеній Николаичъ, съ видимымъ притворствомъ, на мгновѣніе придавъ своей физіономіи ласковое выраженіе, и тономъ, который обличалъ смыслъ, совершенно-противоположный словамъ, спросилъ:

— Я надѣюсь, блистательное предисловіе сдѣлано, и мнѣ остается ѣхать къ баронессѣ и просить у нея для тебя руки Натальи Андревны, которую ты безъ памяти любишь?

— Мнѣ очень непріятно, отвѣчалъ Николай Арсеньичъ — но я обязанъ разочаровать васъ: я не сдѣлалъ ни Натальѣ Андревнѣ, ни баронессѣ ни малѣйшаго намека въ извѣстномъ смыслѣ.

— Въ недѣлю?

— Я просилъ и матушку сказать вамъ, что это выше моихъ силъ . . .

— Посредничества! замѣтилъ графъ, презрительно приподнявъ губу и брови. — Такъ надо сдѣлать это непременно сегодня.

— Невозможно. Увольте меня, ради Бога, однажды навсегда отъ этой исторіи.

Графъ Арсеній Николаичъ усялся въ кресло съ такимъ видомъ, какъ человѣкъ, который избираетъ прочное положеніе не безъ особеннаго намѣренія; одна поза его говорила: «бороться, такъ бороться; посмотримъ же, кто-то собьетъ меня отсюда». — Чтобы придать себѣ еще болѣе контенанса, онъ вынулъ изъ кармана лорнетъ и принялся потихоньку протирать стекла.

— Неужели ты думаешь, началъ онъ, роняя слова какъ растопленный свинецъ — неужели ты думаешь, что я, въ мои лѣта, съ моимъ характеромъ, затѣялъ бы столько разъ и столько времени настаивать на вещи . . . попустому, *pour des prunes*?

— Я увѣренъ, что вы, съ вашей точки зрѣнія, считаете дѣло... полезнымъ для меня; но увѣренъ также, что, когда я вамъ объяснилъ, до какой степени оно для меня невозможно, вы отступитесь отъ вашей идеи.

— Я-я?! протяжно произнесъ Арсеній Николаичъ, надѣвъ лорнетъ и изумленно глядя сыну въ бѣлки.

— Вы не можете хотѣть моего несчастья? По-моему, жениться на женщинѣ, которую не любишь, которая не нравится, — мало вамъ этого: которая противна — есть едва ли не величайшее несчастье въ жизни!

— Сто разъ говорилъ я, что мнѣ нѣтъ дѣла до твоихъ теорій. Излагай ихъ хоть передъ вселенной: я не противлюсь. Замѣчу, однакожь, что твои вдохновенныя слова все-таки слова. Жениться — не камень на шею повѣсить, у насъ, по крайней мѣрѣ, — и я, съ моей стороны, готовъ прозакладывать что

угодно: осмотришься и удовлетворишься, что я правъ. Но покуда придетъ часть, раньше или позже — твоя натура изъ тѣхъ, которыя охотно заживаются въ мірѣ фантазій, — ты долженъ жениться, и жениться на Натальѣ Андревнѣ Куломзиной. Смѣшно сказать: сто человѣкъ на твоемъ мѣстѣ, ничѣмъ не хуже тебя, сочли бы себя счастливыми, а Николаю Арсеньичу надо кланяться, просить его, оглаживать какъ ребенка, которому собираются дать ревеню.

— Воля ваша, но это невозможно. Требуйте отъ меня что вы хотите. Въ тягость я вамъ — простите: иногда выразишься неловко, — скажите полслова, намекиньте: меня завтра не будетъ въ домѣ. Горько, но по-моему все легче.

— Ха-ха-ха! сатанински улыбнулся Арсеній Николаичъ. — Я тебѣ говорю, что ты долженъ жениться на Нелли, и женишься.

Онъ подчеркнулъ фразу, медленно произнесенную, троекратнымъ ударомъ носка о коверъ.

— Не женюсь. Что вамъ еще! Нужно для этого стать на колѣни? раздражающимъ голосомъ сказалъ Николай Арсеньичъ.

— Чтобы разжалобить меня? Не беспокойся. Я не хочу вводить тебя въ напрасныя *демарши*. А ты мнѣ скажи твое послѣднее слово: хочешь ты сегодня же ѣхать къ баронессѣ, исполнить что я говорилъ, и затѣмъ жениться на Нелли, — или не хочешь?

— Не хочу, потому что не могу.

— Это твое послѣднее слово?

— Рѣшительно.

— И невозвратно?

— Невозвратно.

Арсеній Николаичъ откашлянулъ и старался припрости къ своей позиціи.

— Слушай же, сказалъ онъ—одного ты у меня не отнимешь, какъ ни гнѣвайся: что я истощилъ всѣ доводы и, вопреки моимъ правиламъ, не скупился на слова. Клянусь, я во всю жизнь не потратилъ нисъкъмъ столько пустыхъ рѣчей, сколько съ тобой. Не стану объяснять тебѣ подробно, почему я хочу, чтобы ты женился на Куломзиной: на это считаю за собою право. Но вотъ еще уступка. Я не сказалъ тебѣ о твоемъ будущемъ положеніи. У ней не меньше тридцати тысячъ дохода; я говорю: не меньше, замѣть. Тебѣ я дамъ десять ежегодно. Ты воленъ какъ птица: служи не служи, поѣзжай за границу, живи въ чужихъ краяхъ—ты полный господинъ. Да. Безъ сомнѣнія, ты и самъ бы далъ что-нибудь баронессѣ, у которой, какъ тебѣ можетъ-быть неизвѣстно, ничего нѣтъ своего: пять тысячъ въ

годъ, я полагаю, не Богъ знаетъ что. Положеніе твое все-таки остается не дурно. Какъ ты находишь?

— Вся эта перспектива, по-вашему блистательная, ни на волосъ не измѣняетъ моего убѣжденія, твердо произнесъ Николай Арсеньичъ, съ кроткимъ презрѣніемъ приподнявъ плечи.

— И только?

— Только.

— Помни же, ты самъ этого хотѣлъ ... Какъ ты думаешь, какъ вы думаете, графъ Николай Арсеньичъ, чей вы сынъ? сказалъ Арсеній Николаичъ, ударяя по каждому слову будто молотомъ.

— Что? задышающимъ голосомъ спросилъ молодой человекъ, поблѣднѣвъ.

— Чей вы сынъ? повторилъ инквизиторъ, съ тѣмъ же удареніемъ и невозмутимой флегмой, снявъ лорнетъ и играя имъ.

— Повторите, ради Бога! едва слышно произнесъ Николай Арсеньичъ, потирая себѣ лобъ.

— Вы воображаете, конечно, вы сынъ графа Арсенія Николаича Хвалынскаго?

— Ну?

— Взгляните въ зеркало. Повернитесь. Смотрите внимательно. Глаза и волосы—вашей матушки, отдаю ей справедливость. А затѣмъ, найдите мнѣ хоть одну семейную черту.

Николай Арсеньичъ, зеленый, растерянный, повернулся къ зеркалу, на которое взглянулъ машинально, какъ бы повинуюсь неодолимому толчку. Онъ едва разсмотрѣлъ и зеркало, тѣмъ менѣе свои черты, и, опустивъ голову, схватился за нее руками. Въ ушахъ звенѣли тысячи колоколовъ; ему показалось, что черепъ его сейчасъ развалится.

Наступило съ обѣихъ сторонъ молчаніе. Арсеній Николаичъ легонько стиснулъ зубы и щелкалъ пальцемъ по жилету, сбивая отсутствующія пылинки.

Николай Арсеньичъ поднялъ голову, въ которую въ эту минуту вступила кровь, всталъ и, покрывъ своего мучителя презрительнымъ взглядомъ, все еще неспокойнымъ голосомъ произнесъ:

— Чего же вамъ отъ меня угодно, графъ? Скажите, кто мой отецъ, и я увѣренъ, кто бы онъ ни былъ, онъ меня выкупить изъ вашихъ рукъ.

— Онъ умеръ, хладнокровно отвѣчалъ Арсеній Николаичъ. — Если вы мнѣ не вѣрите, я назову вамъ его: вы можете тогда спросить у ... у ... вашей матушки, правда ли это, а послѣ справиться по спискамъ министерства, гдѣ онъ состоялъ.

Николай Арсеньичъ опять задумался.

— Что жь я могу теперь? Возьмите меня въ кабалу, отдайте въ кабалу, назначьте срокъ, условіе, чтобы я могъ отблагодарить васъ за воспитаніе, за всѣ ваши попеченія, пожертвованія. Я буду у васъ управляющимъ, лакеемъ...

— Перестаньте ребячиться, я для васъ говорю на этотъ разъ. Женитесь на Куломзиной, всѣ пункты съ моей стороны остаются въ силѣ, — и мы не только квиты, но, если вамъ будетъ пріятнѣе, я сознаюсь передъ вами, что вы меня обязываете.

— Все, что вы хотите, только не это, спокойно сказалъ Николай Арсеньичъ.

— А мнѣ, кромѣ этого, ничего не нужно, и, кромѣ этого, я ничего не приму отъ васъ.

— Невозможно!

— Будто бы? спросилъ, опять съ улыбочкой, Арсеній Николанчъ.

— Поймите же, ради Создателя, сказалъ Николай Арсеньичъ такимъ тономъ, который, казалось, одинъ долженъ бы былъ убѣдить камень — поймите, что могутъ быть для человѣка вещи, условія, которыя тяжелѣ всего на свѣтѣ, сто разъ невыносимѣе нужды, болѣзни, голода, — можетъ-быть ужаснѣе позора! Вы говорите: «женись; ты будешь ходить въ золотѣ, топтать персидскій коверъ, курить гаванскія сигары, сидѣть или лежать на бархатѣ, кататься на рыскахъ, разѣзжать по Европѣ, — чего тебѣ еще»?.. Чего?... Развѣ что-нибудь имѣетъ силу искупить несчастіе, которое носишь съ собою всюду, какъ рану, какъ боль, — надъ которымъ надо сидѣть, съ которымъ надо нянчиться, отъ котораго ничто не оторветъ, развѣ смерть? Я вотъ какъ это понимаю. Да и можно ли понимать, можно ли чувствовать иначе? Я увѣренъ, каторжнику легче: онъ отработалъ опредѣленные часы, и спитъ. Иной еще знаетъ, что есть срокъ его испытанію. Безспорно, есть каторга на всю жизнь. Но, вѣдь, она предполагаетъ преступленіе, и какое еще: законъ назначаетъ подобную казнь въ самыхъ страшныхъ случаяхъ, когда человѣкъ, можно сказать, показалъ себя не человѣкомъ. Что же можно сдѣлать такого, что я такое сдѣлалъ, чтобы связать меня неразрывно съ женщиной, съ существомъ, въ которомъ, — прочь оговорки! — по-моему, нѣтъ даже ничего женскаго, мало человѣческаго; кукла, лайковая игрушка для ребенка, который еще и не сознаетъ, что у него въ рукѣ! Дерево, да еще, присмотрѣться хорошенько, скверное дерево!..

— Безподобно! сказалъ графъ Арсеній Николанчъ, опять посадивъ на носъ лорнетъ и глядя на Николая Арсеньича, будто изъ театральнаго кресла. — Очень хорошо, продолжайте: я имѣю еще одиннадцать минутъ впереди, прибавилъ онъ, обернувшись къ часамъ.

— Я кончилъ , печально отвѣчалъ Николай Арсеньичъ — прощайте, графъ. Благодарю за ваши попеченія обо мнѣ, за ваши траты. Вы говорите, что, кромѣ цѣны, вами назначенной и которой я не въ силахъ заплатить никогда, вы ничего отъ меня не хотите. Трудно, ужасно тяжело быть обязаннымъ и не имѣть въ виду средства разсчитаться. Буду ломать себѣ голову, покуда не выдумаю чего-нибудь, и просить у Бога, чтобы Онъ послалъ мнѣ случай на что-нибудь пригодиться вамъ. Авось смилуется... Мое почтеніе.

Онъ поклонился очень серьезно и собрался идти.

— Позвольте, сказалъ Арсеній Николаичъ — два слова: послѣднія . Что вы сейчасъ сказали, безспорно дѣлаетъ вамъ честь. Но вы меня знаете: я немножко скептикъ. По-моему: «не суди журавля въ небѣ...» Наученный горькимъ опытомъ, я люблю обезпечить себя отъ разочарованія — какъ вы бы, вѣроятно, выразились: я, самъ по себѣ, никогда, ничѣмъ и никѣмъ очарованъ не былъ. По моей опытности, зная васъ, я... почти предвидѣлъ то, что вы позволите мнѣ, съ моей точки, все-таки называть неблагодарностію. Я зналъ, что съ вашимъ образомъ мыслей вы способны скорѣе бѣжать изъ дому, нежели помириться на исполненіи моего желанія. Но я все-таки хочу по-пробовать, нельзя ли какъ-нибудь намъ сладить дѣло. Если я попрошу вашу матушку поговорить съ вами и именемъ вашего отца попросить васъ...

Все это, особенно самую послѣднюю фразу, Арсеній Николаичъ проговорилъ такъ, какъ врядъ ли бы сдумѣлъ Мефистофель. Николай Арсеньичъ закрылъ лицо руками.

— Господи! воскликнулъ онъ, дрожа, какъ въ ужаснѣйшей лихорадкѣ — и вы были бы способны говорить съ матушкой о...

— Да, вѣдь, дѣло между нами обоими не тайна, перебилъ Арсеній Николаичъ добродушнѣйшимъ образомъ.

Молодой человѣкъ только что не упалъ на кресло. Отъ лица онъ занесъ одну изъ рукъ за рубашку, и до крови схватился за грудь. Ему низачто не хотѣлось зарыдать передъ Арсеніемъ Николаичемъ.

— Даете вы мнѣ три дня сроку? Черезъ три дня я приду сказать вамъ: да, или нѣтъ.

— Быть по-вашему: отвѣчалъ со вздохомъ Арсеній Николаичъ — жду еще три дня.

Онъ всталъ. Николай Арсеньичъ пришелъ къ себѣ, схватилъ шляпу, пальто и опрометью побѣжалъ къ Тесьмину. Ъхать онъ былъ не въ состояніи.

Тесьмина не случилось дома. Хвалынскій добился, что ему отперли квартиру пріятеля, и остался ждать его. Хотя окна выходили на дворъ и такимъ образомъ, что нельзя было видѣть

изъ нихъ возвращенія хозяина квартиры, но молодой человѣкъ, въ своемъ волненіи, забывъ знакомыя подробности, безпрестанно отъ дивана, на который повалился при входѣ, бросался къ окну.

Долго не возвращался Тесьминъ. Прошло часовъ пять времени и уже стемнѣло, когда онъ окликнулъ Хвалынскаго, не позаботившагося и объ огнѣ.

— Ты? только сказалъ Тесьминъ.

— Я, отвѣчалъ Хвалынскій.

— Что еще? спросилъ съ участіемъ хозяинъ, по одной буквѣ почувствовавъ, что пріятель взволнованъ необычайно.

Покуда Тесьминъ искалъ спичекъ и зажигалъ свѣчу, Хвалынскій всталъ съ дивана и притворилъ наружную дверь квартиры.

Свѣча была зажжена. Тесьминъ взглянулъ на лицо Хвалынскаго.

— Говори же, ради Бога! сказалъ онъ, самъ не свой отъ впечатлѣнія, которое произвела на него фizioномія Николая Арсеньича.

— Я долженъ жениться, сказалъ отрывисто Хвалынскій. — Последняго слова, покуда по крайней мѣрѣ, сказать я тебѣ не въ состояніи. Прости, другъ. Но есть, по-моему, можетъ-быть одинъ выходъ, единственный: чтобъ баронесса Штральборнъ умѣла отказать на предложеніе со стороны нашей, которое оффиціально еще не сдѣлано. Пойми: отъ моихъ нечего ожидать помощи. Объясниться начистую съ куклой, выйдетъ скандалъ и не поведетъ ни къ чему. Еслибъ она была способна чувствовать, еслибъ она меня любила, а я былъ въ томъ отношеніи къ ней, какъ теперь, — натурально, она бы принесла себя въ жертву, захоти я; но объ этомъ и рѣчи нѣтъ.

Откуда бралась вдругъ такая психическая прозорливость въ человѣкѣ, не знавшемъ жизни и людей на опытъ? — Отъ несчастья и горя... Счастливы тоть, кто не испыталъ, какъ внезапно зрѣешь отъ нихъ!

— Ты отправишься къ баронессѣ, говорилъ все-таки Хвалынскій. — Она тебя приметъ: догадается, что отъ меня, или дѣло обо мнѣ.... Ты... ты ужъ знаешь что сказать. Сущность: я не люблю ея племянницы; можетъ ли она быть счастлива со мною? Пожалуй, скажи, что я люблю другую, прибавилъ Николай Арсеньичъ, опуская глаза: онъ, конечно, давно рассказалъ Тесьмину свой деревенскій романъ и сохранялъ до сихъ поръ къ его героинѣ какую-то, несовсѣмъ опредѣлимую, привязанность. — Скажи, что ты пришелъ отъ себя, что я бы самъ не рѣшился на это.... оберни, какъ знаешь.... Не захочетъ же она отдать племянницу, зная, что человѣкъ ея не любитъ, занять

другою.... Впрочемъ?... На всякій случай.... надо тебѣ сказать, я рѣшительно теряюсь: видно есть у нѣкоторыхъ людей, у извѣстныхъ натуръ способность чувствовать все наизнанку.... На всякій случай, поэтому, возьми съ нея напередъ слово, что, согласится она или нѣтъ на твои убѣжденія, но разговора вашего не выдастъ. Слово она сдержитъ: я увѣренъ.

— Я готовъ, сказалъ Тесьминъ. — Когда же?

— Надо ее застать одну, разумѣется: теперь она обѣдаетъ, или только что отобѣдала. Мы отправимся въ исходъ седьмого, то-есть я доведу тебя до ея подъѣзда.

Но въ этотъ вечеръ Тесьминъ не могъ видѣть баронессу. И въ семь часовъ она была не одна, а тамъ, по обыкновенію, вѣроятно собралась бы выѣхать, или стали бы наѣзжать къ ней.

Онъ поѣхалъ на другое утро, въ двѣнадцатомъ часу, и, узнавъ, что у баронессы никого нѣтъ, велѣлъ доложить о себѣ.

Приказали просить.

Тесьминъ никогда не видалъ въ глаза баронессы Штральборнъ, — она его никогда не видала. Но онъ, понимается, много слышалъ о ней отъ Николая Арсеньича; она изъ того же источника знала, что Тесьминъ лучший другъ молодаго Хвалынского.

Зачѣмъ могъ пріѣхать Тесьминъ, — баронесса рѣшительно недоумѣвала. Физиономія ея, какъ ни умѣла она скрывать внутреннія ощущенія, выразила на встрѣчу входившему вопросительный знакъ.

Тесьминъ довольно-неловко поклонился. Оцѣнивъ сразу его неразвязность въ свѣтскомъ отношеніи, хозяйка сочла долгомъ облегчить ему приступъ, и, покуда онъ складывалъ привѣтственную фразу, сказала:

— Мы съ вами знакомые незнакомцы, мосѣ Тесьминъ: не знаю чтѣ вы знаете обо мнѣ, а я такъ знаю, что вы другъ графа Николая Арсеньича, а друзья моихъ друзей мои друзья. Прошу садиться и сказать мнѣ чтѣ доставляетъ мнѣ честь видѣть васъ у себя, или — простите смѣлое предположеніе — не могу ли я быть такъ счастлива, чтобы пригодиться вамъ на что-нибудь: люди людьми живутъ.

— Весьма вамъ обязанъ, отвѣчалъ Тесьминъ, кланаясь — но дѣло не обо мнѣ.

— Садитесь, еще разъ сказала баронесса.

Тесьминъ оглянулъ комнату, и сѣлъ.

— Мы будемъ одни, замѣтила баронесса, понявъ его взглядъ.

— Вы знаете мои отношенія къ Николаю Арсеньичу, началъ онъ: — значить, незачѣмъ объяснять вамъ участіе, которое я въ немъ принимаю. Такъ какъ я знаю васъ черезъ него, и

знаю васъ хорошо, то васъ не должно удивить, что я рѣшился придти къ вамъ прямо и говорить съ вами откровенно, хотя я не имѣю чести быть вамъ извѣстенъ лично.

Баронессѣ понравился оборотъ, но недоумѣніе ея возросло.

— Я вижу, сказала она—что Николай Арсеньичъ щедро аттестоваль меня вамъ...

— Буду говорить безъ предисловія, перебилъ Тесьминъ—но попрошу напередъ, чтобы разговоръ нашъ, во всякомъ случаѣ, остался между нами: я не желалъ бы, чтобы о немъ зналъ и Николай Арсеньичъ.

— Вы меня интригуете: но если вы непременно хотите, даю вамъ слово хранить нашу бесѣду какъ государственную тайну. Я бы сказала: забыть, но...

— Баронесса, опять перебилъ Тесьминъ, не обращая вниманія на начатую любезность — родители Николая Арсеньича желаютъ, чтобы онъ женился на вашей племянницѣ. Я не знаю, да и не мое дѣло, желаете ли того вы; но такъ какъ, по несчастію, Николай Арсеньичъ не можетъ осилить воли отца и матери, то еслибы послѣдовало съ ихъ стороны предложеніе, вы должны знать, что это будетъ совершенно противъ желанія Николая Арсеньича, чего онъ, конечно, не рѣшится сказать вамъ въ глаза. Но вы согласитесь, безъ сомнѣнія, что когда человѣкъ не хочетъ жениться на комъ бы то ни было, нечего ожидать отъ него добраго другой сторонѣ. При этомъ, напрасно доказывать, я полагаю, что можно уважать семейство и не желать вступить въ него, можно уважать дѣвушку... находить удовольствіе въ ея обществѣ и не прочить ее себѣ въ жены.

— Все это совершенно-справедливо; но я рѣшительно не понимаю, чего вы отъ меня хотите, отвѣчала баронесса, не находясь, покуда, на чемъ остановиться, то-есть недоумѣвая: знаетъ ли Николай Арсеньичъ и Тесьминъ, что между нею и Арсеніемъ Николаичемъ дѣло рѣшено и подписано, или нѣтъ, и съ согласія ли Николая Арсеньича явился ходатаемъ за него Тесьминъ,—или онъ пришелъ точно по собственному побужденію.

— Кажется, я выразился довольно-ясно. Я пришелъ просить васъ, во имя счастья моего истиннаго пріятеля и, если позволите прибавить, во имя счастья молодой особы, которой вы замѣняете мать, не давать вашего согласія — вы найдете предлогъ — на ихъ соединеніе.

— Но я не получала предложенія, даю вамъ слово, возразила баронесса, начиная вилать.

— Это я знаю; но дайте мнѣ слово, что если получите, отклоните.

— Позвольте, однакожь, сказала баронесса, съ минуту подумавъ — мнѣ бы не хотѣлось хитрить съ вами. Вы ставите меня въ презатруднительное положеніе.

— Простите, ради важности дѣла.

— Не то, мосѣ Тесьминъ. Съ одной стороны, предложенія не было и можетъ не быть.

— Тогда и говорить нечего; и еслибы все кончилось предположеніями, я бы пришелъ просить у васъ извиненія, что обезпокоилъ пустыми разговорами...

— И доставили мнѣ удовольствіе познакомиться съ вами? перебила, съ любезной укоризной, баронесса.

Тесьминъ поклонился холодно. Заочная антипатія, которую питалъ онъ къ этой дамѣ по словамъ Николая Арсеньича, начинала переходить въ личную, болѣе чувствительную. Кромѣ того, въ такъ-называемой свѣтской любезности, этой не цѣльной, а холостой пальбѣ, есть что-то всегда отталкивающее человѣка, не заразившагося условной атмосферой, какъ отталкиваетъ почему-то именно самая отличная, наиболѣе-натуральная восковая кукла.

— Позвольте обратиться къ дѣлу, сказалъ Тесьминъ. — Нѣтъ предложенія, такъ нѣтъ. Но если будетъ, вотъ о чемъ я пришелъ просить.

— Тогда ужъ я рѣшительно не знаю что дѣлать, то-есть ничего не могу сказать напередъ. Прежде всего, предполагая намѣренія Хвалынскихъ, не много ли вы берете на себя, что такъ увѣрены въ мнѣніи вашего друга. Высказалъ онъ вамъ его?

— Высказалъ или нѣтъ: все равно. Не будь я увѣренъ въ томъ, что имѣлъ честь сказать вамъ, съ какой стати рѣшился бы я говорить съ вами? Какой мой интересъ, чтобы дѣло состоялось или нѣтъ, кромѣ моего чувства къ Николаю Арсеньичу? Племянницы вашей я не имѣю чести знать; никто изъ людей, мнѣ знакомыхъ, ея не ищетъ. Изъ чего же мнѣ хлопотать?

— Все это такъ; но какъ вы хотите, чтобы я отвѣчала вамъ положительно. Во-первыхъ, дѣло болѣе всего, во всякомъ случаѣ, зависитъ отъ Нелли. А если предположить, что молодой графъ ей нравится, могу ли я запретить ей любить его?

— Съ этой стороны мы обезпечены: ваша племянница не имѣетъ никакого чувства къ графу.

— О! это слишкомъ сильно! возразила баронесса, недовольная простодушною откровенностію собесѣдника. — Напрасно, мосѣ Тесьминъ, вы беретесь отвѣчать за человѣка, не зная его, не выдавъ даже, — и въ особенности за свѣтскую дѣвушку.

— Быть-можетъ, вы сочтете это и за дерзость, баронесса. Очень не пріятно; но что дѣлать! Я не дипломатъ. Я кстати далъ вамъ доказательство моей короткости съ Николаемъ Арсень-

чемъ. И, доложу вамъ, вы напрасно прогнѣвались. Не знаю, какъ по-вашему, а по-нашему не нужно мужинѣ признанія отъ женщины, чтобы узнать, любить ли она его.

— Вы не знаете свѣта, мосѣ Тесьминъ, простите мнѣ.

— Напрасно изволите оговариваться. Я дѣйствительно его не знаю, или знаю очень мало. Но вотъ въ чемъ никто меня не разувѣритъ: какъ ни скрывайся дѣвушка, какъ вы ее ни выучите скрытничать, тотъ, кто пробудитъ въ ней настоящее чувство, долженъ подемотрѣть его.

— Все-таки не въ свѣтской дѣвушкѣ.

— Свѣтъ хорошо воспитываетъ, упорно ломаетъ: знаю. Но много бѣнія не заглушишь корсетомъ. Это даже не стальная броня . . . Впрочемъ, мы сошлись не для того, чтобы взаимно объяснять наши системы. Будьте такъ добры, баронесса: скажите мнѣ, на чемъ вамъ угодно кончить.

Баронессѣ начиналъ не нравиться рѣшительный тонъ Тесьмина, который, естественно, говорилъ смѣлѣе по мѣрѣ того, какъ обсиѣлся съ свѣтскою женщиной.

— Я опять-таки повторю: не знаю что сказать вамъ.

— Чтобы убѣдить васъ еще болѣе, сказалъ Тесьминъ — я ко всему прибавлю: сердце Николая Арсеньича не свободно. Вы поймете изъ этого что ждетъ вашу племянницу, если . . .

— Зачѣмъ вы мнѣ говорите такія вещи? перебила баронесса полупрезрительно, полусутливо. — Во-первыхъ, это тайны, которыя должны оставаться между сверстниками. Съ другой стороны, видно, склонность вашего друга одна изъ тѣхъ, которыя не допускаютъ послѣдствій: иначе, онъ успѣшилъ бы, конечно, предложить свою руку той, кому отдалъ сердце, или мысли.

Послѣдній аргументъ нѣсколько сбиль Тесьмина. Онъ отвѣтилъ, но не вдругъ:

— Дѣла нѣтъ, какого рода эта склонность, къ какой категоріи отнесетъ ее общественный судъ; но она существуетъ: стало-быть, существуетъ и опасность для вашей племянницы.

— И вы говорите, что вы не дипломатъ? сказала, съ змѣиной улыбкой, баронесса. — Но я не намѣрена ловить васъ на пустякахъ. А вотъ что я вамъ скажу. Вы не знаете свѣта, вы съ этимъ согласились; не знаете вы, стало-быть, и того, что мнѣ, напимѣръ — я хочу сказать: матери или теткѣ дѣвушки, за которую сватается молодой человекъ, — нѣтъ и не можетъ быть дѣла до какой-нибудь его тайной склонности, романической пассіи къ гризеткѣ, къ актрисѣ, къ кому бы ни было въ этомъ родѣ. Отъ этого мы, свѣтскія женщины, никогда не обезпечены; не стоить и разбирать почему, если никто до сихъ поръ не разобралъ: загадка сфинкса; еще мудренѣе. Я сама была замужемъ, мосѣ

Тесьминъ, и что сказала, знаю изъ опыта. Другая свѣтская женщина не стала бы такъ говорить съ вами.

— Я знаю, что вы не принадлежите къ дюжиннымъ, очень просто отвѣчалъ онъ.

— Благодарю, благодарю и васъ, и Николая Арсеньича . . . Скажите, вы . . . служите? спросила баронесса, желая дать разговоръ другое направленіе.

— Нѣтъ-съ, не служу, сухо произнесъ Тесьминъ. — Итакъ, баронесса, вамъ неужто помочь горю? вамъ неужто оградить отъ несчастія—человѣка, который, кажется, ни въ чемъ не согрѣшилъ противъ васъ, который, истинно, не принадлежитъ себѣ, и не будетъ въ состояніи самъ отыгаться, если . . .

— Если. Вы все забываете это «если», перебила баронесса. Послушайте, право, я сказала вамъ больше, нежели бы слѣдовало. Доказательство, что я умѣю понять цѣну дружбы. Но я еще прибавлю . . . Давайте дѣлать предположенія. Мнѣ, то-есть Нелли, дѣлаютъ предложеніе отъ имени Николая Арсеньича. Я передаю Нелли: она говоритъ, что согласна . . . Вы знаете вашего друга. Скажите безпристрастно: мудро ли, что дѣвушкѣ онъ нравится, что дѣвушкѣ лстить выйти за графа?— Итакъ, Нелли говоритъ, что согласна. Что мнѣ прикажете сказать? Отговаривать ее?

— О, если вы захотите, если вы убѣдитесь, вы сумѣете отклонить предложеніе, не говоря даже о немъ вашей племянницѣ!

— Согласитесь, я терпѣлива. Значитъ, вы прикажете мнѣ ссориться съ Хвалынскими, если я покажу видъ, что не могу повѣрить племяннику ихъ сыну,—или сказать, что я имѣю другіе планы для Нелли? Всѣ знаютъ, что никакихъ плановъ нѣтъ, и ликто въ обществѣ не повѣритъ, чтобъ можно было отказать Николаю Арсеньичу. Вамъ должно лстить это: чего недостаетъ вашему другу?

— Счастія, воли, глубоко вздохнувъ, сказалъ Тесьминъ.

— Пусть же онъ мнѣ самъ скажетъ это. Или вы говорите за него? Хотите, наконецъ, я, въ случаѣ предложенія, скажу что вы мнѣ передали отъ его имени?

Она отлично знала, что послѣднюю уступкою не рискуетъ ровно ничего. Если была для нея тайной исторія рожденія Николая Арсеньича и, слѣдовательно, не могла она предполагать, чтобы и этимъ обстоятельствомъ, въ крайности, имѣлъ средство воспользоваться Арсеній Николаичъ, тѣмъ не менѣе она была увѣрена, что, такъ положительно заключивши съ ней и Кундіусомъ сдѣлку, графъ найдетъ способы заставить сына — мы будемъ продолжать называть Николая Арсеньича сыномъ Арсенія

Николаича — заставить сына исполнить свое желаніе. Чего же болѣе нужно было баронессѣ Штральборнъ!

— Нѣтъ, это невозможно! съ грустію отвѣчалъ Тесьминъ. — Все, что я говорилъ, я говорилъ отъ себя, хотя, повторяю, съ святою вѣрой въ истину моего убѣжденія, моихъ словъ, и въ чистоту моихъ намѣреній. Но еще разъ, баронесса: неужели не удержала бы васъ отъ согласія серьезная сторонняя страсть человѣка, который бы вздумалъ искать въ вашей племянницѣ, не любя ея?

— Полноте преувеличивать, мосѣ Тесьминъ: я вдвое старше васъ, и могу вамъ дать этотъ совѣтъ. Полноте хмуриться, господа моралисты. Знаю, начинаетъ и въ свѣтъ проникать, дѣйствительно отъ васъ, очень умныхъ, но не свѣтскихъ, идея произвести реакцію въ томъ, что вы называете свѣтскою деморализаціею. Юноши, ослѣпленные, и всего болѣе своими теоріями, увѣряютъ себя, и надѣются увѣрить другихъ, что свѣтъ самъ вызываетъ эту реакцію. Все это очень мило, какъ мечты Жанъ-Жака; но все это и останется мечтами. Людей не передѣлаешь.

— Васъ страшно слушать! съ искреннимъ ужасомъ сказалъ Тесьминъ, — и еслибы побольше такихъ ораторовъ, съ вашимъ несомнѣннымъ даромъ слова, сколько убѣжденій бы поколебалось!

— И лезть, и упрекъ! замѣтила баронесса. — Но сколько я чувствительна къ комплименту, столько же не въ претензіи за вторую половину фразы: поживѣте, — посмотримъ, такъ ли будете пѣть со временемъ?

— Прошу извинить меня, баронесса, сказалъ Тесьминъ, вставая — и не гнѣваться за выходку, чувствую, необычайную въ вашихъ понятіяхъ.

— Вамъ хочется въ заключеніе непременно уколоть меня? Это, право, не великодушно послѣ нашего разговора.

— Боже меня оборони. Но я имѣю ваше слово, что и Николай Арсеньичъ не узнаетъ о моей . . . попыткѣ?

— Я дала его, отвѣчала баронесса, и не могла удержаться, можетъ-быть, чтобы удостовѣрить Тесьмина въ добротѣ своего сердца и способности оказать участіе, прибавила: — отчего вы не служите, мосѣ Тесьминъ?

Онъ съ кроткой улыбкой пожалъ плечами, и отвѣчалъ:

— Предположите: потому, что въ моей службѣ никто не имѣетъ надобности.

— Я и забыла: вы еще въ возрастѣ оппозиціи.

Тесьминъ поклонился и пошелъ-было.

— Надѣюсь, мы видимся не въ послѣдній разъ, крикнула ему, вслѣдъ уже, баронесса.

Тесьминъ машинально обернулся на голосъ, но отвѣчать счелъ лишнимъ, и поплелся, унылый и задумчивый.

«*O la bonne farce! Ces délicieux ingénus!*» прошипѣла себѣ подъ-нось баронесса Штральборнъ, улынувшись, какъ, вѣроятно, улыбается одна змѣя другой змѣѣ, мигая ей на неотъемлемую добычу. Баронесса, развеселившись воспоминаніемъ своего діалога и фигуры собесѣдника, пошла къ Нелли, которой, разумѣется, и не подумала повѣрять только-что происшедшее.

Не трудно вообразить, съ какимъ нетерпѣніемъ Николай Арсеньичъ, едва сомкнувшій глаза въ продолженіе сутокъ, ожидалъ Тесьмина.

— Кажется, все пропало, сказалъ сей послѣдній, войдя. — Отъ этой вѣдьмы ничего не дождешься. Хороша и моя доля. Ты не повѣришь, какъ меня льстило, что я пригожусь тебѣ.

Хвалынскій бросился къ нему на шею.

— И вотъ тебѣ! съ чѣмъ подѣхалъ, съ тѣмъ и отѣхалъ.

Онъ разсказалъ разговоръ съ баронессой, отъ слова до слова.

— И какъ, вѣдь, это все гладко! примолвилъ онъ въ заключеніе. — Волосинки не подпустишь. Дай-ка ты ей слабенъкаго мальчика; она въ одинъ присѣсть изъ ангела сдѣлаетъ негодяя. Амосовская печка. Высушить тебѣ что угодно въ мигъ, вывѣтрить мораль, вытянетъ жизненность какъ-разъ. Теперь я спрошу: Хвалынскій, много у васъ такихъ женщинъ?

Николай Арсеньичъ только махнулъ рукою.

— Считаю проѣзжающихъ, сказалъ онъ съ невыразимою печалью.

— Что же ты думаешь предпринять, однакожь? спросилъ Тесьминъ, мысленно перебирая всѣ шансы дѣла, призывая и смерть всѣхъ участвующихъ, вѣрнѣе: дѣйствующихъ персонажей зачатой драмы, въ число которыхъ не включалъ одного Хвалынскаго, какъ лицо чисто-страдательное.

Николай Арсеньичъ молчалъ.

— Подумаю еще до завтрашняго утра, наконецъ сказалъ онъ — и, конечно, ты первый узнаешь о моемъ рѣшеніи.

Никакого выхода не представилось въ продолженіе сутокъ, никакой спасительной идеи не родилось, да и не могло родиться въ головѣ Николая Арсеньича. Оставалось: жениться, или подвергнуть мать трагическимъ напоминаніямъ. Несомнѣнно было, что Арсеній Николаичъ не отступитъ передъ исполненіемъ угрозы.

Одну минуту юноша думалъ застрѣлиться. Но ему представилось, что графъ, со зла, рано или поздно, способенъ выместить его смерть на Марьѣ Сергѣевнѣ. Единственно эта мысль и удержала его, ибо онъ свято вѣрилъ, что съ того мгновенія,

какъ будетъ соединенъ съ существомъ, ему ненавистнымъ, все для него въ жизни кончено, и навѣки схоронены надежды, мечты...

Вдругъ встань передъ нимъ, будто въ-явь, образъ бѣдной Наталки, милый, граціозный. Ему казалось, онъ видитъ ее передъ собою во всѣхъ тѣхъ подробностяхъ, которыя онъ такъ любилъ въ ней и на ней, и съ которыми столько разъ изображалъ ее. Вотъ бѣлая хохлацкая сорочка, темнорусая коса, плющевый вѣнокъ, гитара... Вотъ ея странный взглядъ, ужасно-глубокій, какъ-будто вѣчно недоговаривающій всего, что онъ бы хотѣлъ сказать...

И плакать хотѣлось ему... но слезы не выступали, давя гдѣ-то внутри.

Насильно, тогда, вообразилъ онъ себѣ Куломзину. Щедрая фигурка Нелли произвела въ немъ дрожь. Природа, долженъ онъ былъ сказать себѣ, производя ее, безпрестанно скупилась, или слѣпила ее изъ какихъ-то остатковъ и обрѣзковъ, какъ замысловатыя швеи иногда дѣлаютъ одѣяла, неизвѣстно почему особенно любимыя станціонными зрителями... Волоса какого-то тускло-чернаго цвѣта, высушенное лицо, глаза безъ жизни и безъ выраженія... Боже! какъ все это было нищенски-бѣдно, отчаянно-печально рядомъ съ роскошными фантазіями, съ очаровательными идеалами двадцатипятилѣтняго воображенія; какъ все это было мертво возлѣ образа степнаго цвѣтка! А нравственное-то лицо... онъ не находилъ сравненій!

...Былъ первый часъ пополудни слѣдующаго, послѣ объясненія Тесьмина съ баронессою, дня.

Николай Арсеньичъ рѣшилъ вотъ что: отправиться къ баронессѣ, и еслибы она, вопреки данному слову, завела рѣчь о ходатайствѣ Тесьмина, прицѣпиться и попробовать разжалобить ее, какими бы ни пришлось доводами.

Надо сознаться, онъ выѣхалъ изъ дому не безъ надежды, и виновата въ томъ, всего болѣе, была Наталка... Милый образъ, сердечное воспоминаніе — какую душевную темь не способны освѣтить они хоть на мгновенье!...

Баронесса приняла Николая Арсеньича какъ-будто и въ глаза не видала Тесьмина. Точно не замѣтила она странности выраженія на лицѣ Хвалынскаго, и встрѣтила его самымъ милымъ упрекомъ, что онъ позабылъ ихъ, т. е. ее и племянницу. Наталья Андревна привѣтствовала его своею недодѣланной улыбкой. Онъ зналъ недалость дѣвушки, но со стороны баронессы каждое слово, каждый жестъ отдавались въ его душѣ злобной насмѣшкой, пропитанные ехидной увѣренностію въ торжествѣ ея, баронессы Штральборнъ, и его безсилія.

Баронесса такъ и сыпала всякій вздоръ, такъ и увивалась вокругъ Николая Арсеньича, напоминая ему маневръ ястреба, описывающаго въ воздухѣ круги надъ птичкой, которую опредѣлил себѣ въ жертву. Боже, какъ онъ ненавидѣлъ ее!

Наталя Андревна безстрастно улыбалась звонкой болтовнѣ покровительницы-тетки, изрѣдка вставляла стереотипное словечко, блистательно выдавая на каждомъ шагу, всякимъ движеніемъ, свою пустоту и черствость. До-чего она была противна Николаю Арсеньичу!

Кровь стучала въ вискахъ. Онъ на мгновеніе закрылъ глаза и, такъ-сказать на лету, вызвалъ въ послѣдній разъ передъ соображеніемъ всѣ подробности своего положенія.

Дѣлать было нечего. Все было кончено. Исхода не представлялось ни малѣйшаго.

Онъ стиснулъ зубы, и съ героическимъ, съ дикимъ отчаяніемъ принялся любезничать съ Натальей Андревной.

Переходъ былъ такъ рѣзокъ, что баронесса на минуту прикусила губу, чтобы не засмѣяться громко. Нелли не поняла ни Хвалынскаго, ни впечатлѣнія, которое произвелъ онъ на тетку.

Николай Арсеньичъ, дѣйствуя какъ въ бреду, усьлся за фортепіано, потомъ игралъ вмѣстѣ съ Натальей Андревной и началъ даже нѣсколько полупризнаній въ любви.

Пріѣзжали посторонніе, въ числѣ коихъ и лица не короткія: Хвалынскій не только не сдерживалъ себя при нихъ, напротивъ — всячески старался показать фамиллярность своихъ отношеній въ домѣ, и въ особенности съ молодой особой.

Нелли не противилась. Баронесса торжествовала.

Николай Арсеньичъ выѣхалъ отъ баронессы въ четвертомъ часу, отказавшись обѣдать потому единственно, что далъ, будто, слово Арсенію Николаичу непременно обѣдать дома сегодня.

Онъ отправился къ Тесьмину. Тесьмина не было. Тогда онъ приказалъ вести себя домой. Онъ зашелъ сначала къ себѣ и, на первомъ клочкѣ бумаги, который подвернулся подъ руку, написалъ:

«Женюсь. Погоди презирать меня. Если ты отвернешься, куда я дѣнусь?»

— Тесьмину, сказалъ онъ слугѣ.

Узнавъ, что Арсеній Николаичъ дома и одинъ въ своемъ кабинетѣ, онъ прошелъ къ нему.

Арсеній Николаичъ встрѣтилъ его взглядомъ, въ которомъ видно было, что онъ въ нерѣшимости, чего ожидать.

Николай Арсеньичъ не далъ ему сложить и полужвукъ.

— Я согласенъ, сказалъ онъ — дѣлайте изъ меня чтò хотите.

Старый графъ просіялъ и поспѣшно протянулъ руку, къ которой, не безъ содроганія, прикоснулся юноша.

— Въ такомъ случаѣ, сказалъ первый—прошу прежде всего забыть намереніишнюю перемолвочку. Я могъ погорячиться, я погорячился, я готовъ сознаться ... Но съ нынѣшняго дня, надѣюсь, все забыто.

Онъ непременно хотѣлъ поцѣловаться съ Николаемъ Арсеньичемъ. Этотъ не зналъ что отвѣчать, и не отвѣчалъ.

— И мы можемъ съ графиней ѣхать къ баронессѣ съ предложеніемъ? спросилъ Арсеній Николаичъ.

— Хотя сію минуту, отвѣчалъ Николай Арсеньичъ— я надавалъ такихъ задатковъ, что будетъ на нѣсколько предложеній. Оставалось упасть на колѣни при всѣхъ.

— Такъ мы выпьемъ сейчасъ шампанскаго? Меня съ утра ужъ позывало. Говорите же, что желудокъ не барометръ!

— Я бы не выпилъ, если позволите, отвѣчалъ Николай Арсеньичъ—мнѣ что-то не по себѣ.

— Какъ знаешь: оставимъ до другаго раза.

Арсеній Николаичъ насильно опять схватилъ руку молодого человѣка и произнесъ:

— Кто старое помянетъ . . .

Затѣмъ онъ съ веселымъ лицомъ почти побѣжалъ черезъ всѣ комнаты на половину супруги.

Николай Арсеньичъ пошелъ къ себѣ, бросился на диванъ и горько зарыдалъ....

Какъ онъ любилъ Наталку въ это время!

IX.

Незачѣмъ перебирать всѣ детали формальностей, послѣдовавшихъ за предложеніемъ Хвалынскихъ, которое, конечно, было принято баронессою Штральборнъ и ея племянницей.

Нечего много говорить и о приготовленіяхъ къ свадьбѣ, которая была назначена послѣ Новаго года. Имъ занимались, разумѣется, Арсеній Николаичъ и Марья Сергѣвна. Николай Арсеньичъ, не вступаясь своею личностію ни во что, дѣйствовалъ по чужому манію: двигался, ходилъ, ѣздилъ, возилъ подарки, которые покупали ему. Все время онъ былъ похожъ на луна-тика; но кто имѣлъ надобность углубляться въ его психическое состояніе?

Въ свѣтъ, хотя, по его чуткости, и ожидали этого брака прежде, теперь больше чѣмъ когда-нибудь завидовали обѣимъ сторонамъ, имѣвшимъ соединиться, и злословили на счетъ обѣихъ до-того, что слѣдуетъ дивиться, какъ иной ораторъ или иная

ораторша не откусили себѣ хоть кусочикъ языка въ припадкѣ саркастическаго паѳоса.

Въ домѣ Хвалынскихъ, между челядью, отъ которой уже и не скрыто было гласно-рѣшенное, толки и пересуды шли своимъ порядкомъ.

Чего только не говорила сплетница эконожка! Мосѣ Франсуа готовился, въ предстоящіе дни свадебныхъ пиршествъ, превзойти самого себя, и клялся инсигніями своего искусства, что заткнетъ за поясъ не только повара государственнаго канцлера, но и всѣ минувшія свѣтила кухонной лѣтописи. Григорій, когда разсказалъ Юліѣ о томъ, что вотъ, молъ, женится молодой графъ на такой-то барышнѣ, получилъ въ отвѣтъ такую укоризну: «небось вы, подлецъ, не подумаете объ законѣ! Вамъ бы все балясничать, по вѣтренности». — Выѣздной лакей, оставившій въ разградовскомъ трактирѣ сердце и фуляровые платки, невольно перенесся воспоминаніемъ къ смазливой виновницѣ утратъ, имъ понесенныхъ.... Вообще изъ знакомой намъ лакейской компаніи одинъ Маркушка принялъ извѣстіе о бракѣ Николая Арсеньича и слушалъ розсказни на эту тѣму съ безстрастіемъ истиннаго мудреца. Пусть мосѣ Франсуа и грозился окунуть, въ день свадьбы, сальнаго поваренка въ прорубь, — поваренокъ, презирая угрозы, предавался по прежнему единственно своимъ игорнымъ комбинаціямъ, и съ нехладѣющимъ азартомъ воздвигалъ сраженія то въ пристѣнокъ, то въ свои-kozyри.

Олтуховъ, вскорѣ по объявленіи молодаго Хвалынскаго женихомъ имѣвшій отправить Свензецкому новый транспортъ французскаго о-де-колона, при сей вѣрной оказіи счелъ не лишнимъ извѣстить эконома о важнѣйшемъ въ семействѣ и домѣ графа событіи, и, въ видѣ своего мнѣнія, присоединилъ дружескій совѣтъ, что пристойно было бы пану управляющему отнестись къ патрону съ поздравительнымъ адрессомъ. Да простится намъ здѣсь маленькій комеражъ: въ письмѣ Ивана Павлыча находился, между прочимъ, сдобный намекъ на нѣкоторую Гапку, коей онъ, въ краснорѣчивыхъ выраженіяхъ, воздавалъ полную справедливость.

Миссъ Брайнтъ, конечно, не обнаруживала ничего по поводу затѣяннаго соединенія. Но, зная, то-есть нѣсколько разъ видѣвъ невѣсту молодаго графа и говоривъ съ ней, она про себя не одинъ разъ пожала плечами—можно жать плечами, не трогая съ мѣста плечъ! — дивиться странности обширнаго государства миссъ Брайнтъ стала рѣже.

За нѣсколько дней до свадьбы графъ Арсеній Николаичъ, и самъ весь въ чаду, позвалъ къ себѣ Николая Арсеньича и предложилъ ему къ подпису какія-то бумаги. Это были акты по опеку и попечительству надъ Натальей Андревной, присланные

отъ Кундіуса, въ это время отлучившагося изъ Петербурга. Ни Арсеній Николаичъ, ни Николай Арсеньичъ не вздумали повѣрять отчеты: отъ втораго нельзя было ожидать повѣрки ни въ какомъ случаѣ; первый же съ одной стороны мечталъ себя достаточно-убѣжденнымъ, по крайней мѣрѣ приблизительно, въ объемѣ состоянія сыновней невѣсты, — съ другой, разумѣется, былъ готовъ и на поблажку Кундіусу, въ коемъ нуждался для своихъ честолюбивыхъ замысловъ. Кромѣ этихъ причинъ, необходимо замѣтить, что Арсеній Николаичъ находился теперь дѣйствительно какъ въ чадѣ. И виною тому не должно предполагать занятіе приготовленіями къ свадьбѣ, которыя шли своимъ чередомъ.

Мы знаемъ, что старый графъ Хвалынскій занимался устройствомъ у себя большой и серьезной игры. Играли, дѣйствовали открыто за него другіе, какъ было заведено имъ сначала. Случилось, какъ нерѣдко случается въ подобныхъ оборотахъ, что двое изъ его агентовъ, забравшись къ нему въ довѣріе, продали его на весьма значительную сумму, — и изъ этой суммы, ими проигранной въ его домѣ, онъ долженъ былъ по необходимости заплатить свою долю. По какому-то особенному счастью графъ до сихъ поръ не попадался въ передѣлы этого рода. Но на сей разъ его славно наказали, и, разумѣется, надо было покориться безропотно. Нужная сумма была такъ велика, однакожь, что графъ не нашелъ подъ-рукою возможности отдать ее вдругъ. Это его сильно озадачило. Тяжело было платить значительныя деньги, но едва ли не тяжелѣе не имѣть средства отдать ихъ сейчасъ. Занимать у встрѣчнаго и поперечнаго, у оглашенныхъ ростовщиковъ, графъ не могъ, изъ боязни уронить не одинъ денежный кредитъ свой. — Вотъ отчего Арсеній Николаичъ находился въ положеніи, отнюдь не нормальномъ.

Тѣмъ не менѣе честолюбивыя струны не бездѣйствовали въ немъ. Какихъ только происковъ не предпринялъ онъ, чтобы къ свадьбѣ доставить Николаю Арсеньичу камеръ-юнкерство. Получивъ, наконецъ, обѣщаніе, что желаніе его будетъ исполнено, онъ даже, тайкомъ отъ жениха, заказалъ ему парадный мундиръ.

Оставалось до свадьбы два дня. Домъ Натальи Андревны, домъ, въ которомъ она жила съ теткой, и который принадлежалъ ей, былъ весь отдѣланъ за-ново для молодыхъ; рысаки и кареты нетерпѣливо ожидали чести нести будущую графиню во всѣ концы столицы. Къ особенному удовольствію баронессы, въ обезпеченіе грядущаго благополучія племянницы, успѣли отъ кого-то сманить такого кучера, который былъ болѣе похожъ на самый уродливый старозавѣтный самоваръ, нежели всѣ самовары, пущенные на божій свѣтъ отъ временъ государыни Елиса-

веты. Кучеръ, и сидя на козлахъ, закрывалъ отъ себя ноги грудью, и не видалъ своихъ ногъ двадцать три года. Онъ не смѣлъ сморкаться на своемъ тронѣ изъ страха, чтобы не рассыпалась карета. Одинъ изъ господъ, у кого онъ служилъ прежде, долженъ былъ, хотя и со слезами, разстаться съ нимъ поневолѣ: самоваръ чихнулъ, — особа, сидѣвшая въ каретѣ, такъ привскочила на рессорной подушкѣ, что до крови прикусила кончикъ языка. А особа была заморская наперсница изъ Французенокъ; въ языкѣ своемъ она непрерывно нуждалась, можно сказать: жила имъ, и потому приняла событіе трагически.

Со стороны Хвалынскихъ приготовленія происходили съ неменьшей заботливостію, съ неменьшей изысканностію.

Объ обмѣнѣ подарковъ, о числѣ, величинѣ и цѣнности букетовъ, которыми Николай Арсеньичъ, по распоряженію Марьи Сергѣевны, снабжалъ Наталью Андревну и некоторые послѣдней, какъ истинно-благовоспитанной дѣвицѣ, разумѣется, и смотрѣть было незачѣмъ, — заговаривать страшно. Молодецъ, приносившій ихъ каждодневно изъ оранжереи, заработалъ больше трехгодоваго жалованья одними наводками. Портретъ суженой, вслѣдствіе остроумной выдумки баронессы Штральборнъ, Николай Арсеньичъ получилъ даже въ нарукавныхъ запонкахъ. Правда, если въ натурѣ Нелли походила на козявку, — на пуговицахъ она всего болѣе напоминала черную точку величиною съ горошину; но все-таки изобрѣтеніе сильно тронуло графиню Хвалынскую.

Наканунѣ дня, назначеннаго для вѣнчальнаго обряда, Николай Арсеньичъ былъ пожалованъ въ камеръ-юнкеры и, войдя послѣ обѣда въ свою спальню, нашелъ развѣшенный тамъ парадный мундиръ. Хотя онъ не зналъ ничего ни о проискахъ Арсенія Николаича, ни о его желаніи достигнуть назначенія къ свадьбѣ, такъ какъ графъ готовилъ молодому человѣку сюрпризъ, — видъ мундира не произвелъ на него, естественно, ни малѣйшаго впечатлѣнія.

Такъ, кромѣ затрудненія по поводу немаловажной суммы, необходимой для окончанія непріятнаго расчета по игрѣ, касавшагося исключительно Арсенія Николаича, все до сихъ поръ подвигалось къ обоюдному удовольствію двухъ семействъ. Одно еще бросало нѣкоторую тѣнь на это удовольствіе: что не могъ присутствовать на свадьбѣ Кундіусъ, которому, естественно, доставалось быть посаженнымъ отцомъ Нелли.

Счастливый наперсникъ одного изъ сильнѣйшихъ министровъ по Минеральнымъ Водамъ уѣхалъ изъ Петербурга уже съ мѣсяцъ, тотчасъ же послѣ сговора и обрученія племянницы.

Говорятъ, каждый человѣкъ, отдѣльно-взятый, есть блистательнѣйшее соединеніе самыхъ разительныхъ противоположностей, добра и зла, истины и лжи, искренности и притворства, евангельской добродѣтели и гнуснѣйшаго порока. Мы признаемъ эту апопегму подъ нѣкоторыми условіями: думаемъ, что много на свѣтѣ людей, вмѣщающихъ, каждый, рѣзкія противоположности. Мы знаемъ, напримѣръ, владѣльца не одной тысячи душъ, нѣкогда имѣвшаго, между прочимъ, претензію прослыть социалистомъ, и печатно просившаго о недовѣріи сыну, изъ того, что мальчикъ сдѣлалъ тысячу рублей долгу. Мы знаемъ дамъ, которыя не задавятъ мухи, но бьютъ своихъ горничныхъ и очень мало ихъ кормятъ. Былъ на свѣтѣ не одинъ, конечно, упоминаемый Пушкинымъ,

«Гвоздинъ, хозяинъ превосходный,
Владѣтель нищихъ мужиковъ.»

Мало ли какія встрѣчаются несоотвѣтственности въ отдѣльныхъ личностяхъ! Можно, скажемъ еще для примѣра, подавать нищимъ не иначе какъ мягкій хлѣбъ и давить своимъ скряжничествомъ все, что только зависитъ отъ васъ. Но достаточно на этотъ разъ глядѣть по сторонамъ.

Видно также можно пить шампанское съ сильными міра и не умѣть ладить съ своими крестьянами. Сіе послѣднее узнаемъ мы по милости Кундіуса. Онъ долженъ былъ внезапно ѣхать изъ Петербурга, потому что въ его имѣніи случились безпорядки до-того серьезные, что потребовалось туда непремѣнное и немедленное присутствіе помѣщика. Теперь Кундіусъ увѣдомлялъ, что дѣла его въ деревнѣ не кончены, что онъ ни подъ какимъ видомъ не можетъ ихъ оставить, и просилъ, чтобы его къ свадьбѣ не ждали.

Свадьба и не была отложена, но въ программѣ ея произошли два измѣненія. Вмѣсто Кундіуса былъ приглашенъ въ посаженные отцы родственникъ еще болѣе дальній, хотя также весьма почтенный по сану, — да еще, подъ предлогомъ болѣзни, отказался быть однимъ изъ шаферовъ Натальи Андревны известнѣйшій намъ камеръ-юнкеръ въ парикѣ и нѣсколько румянившійся. Объявлено было, по случаю помянутаго пожалованія Николая Арсеньича, что свадебный обрядъ исполнится на придворную ногу, а владѣлецъ парика владѣлъ, какъ мы знаемъ, весьма тусклымъ мундиромъ. Впрочемъ, пробѣлъ былъ пополненъ безъ затрудненія съ помощію офицера, старавшагося какъ можно болѣе уподобить собственные волосы накладнымъ. Онъ представилъ, въ замѣнъ камеръ-юнкера, ловчайшаго штабъ-офицера,

славившагося по городу своею способностію отправлять обязанности шафера и дѣйствительно исполнявшаго многотрудную должность съ несравненнымъ искусствомъ.

Николай Арсеньичъ, когда пришла минута ѣхать въ церковь, далъ убрать себя и одѣтъ въ шитый кафтанъ съ тѣмъ чувствомъ, какое, безъ сомнѣнія, испытывалъ бы волъ, котораго, въ земляхъ католическихъ, украшаютъ для карнавальнаго торжества, предшествующаго его убіенію, еслибы несчастный *boeuf-gras* имѣлъ сознаніе о томъ, что его ожидаетъ несмотря на позолоченные рога... Церковь, освѣщеніе ея, лица, экипажи, блескъ, суета: все проходило мимо Николая Арсеньича какъ — будто между нимъ и не имъ протянули дымку, черный флёръ. Мгновеніями, онъ едва чувствовалъ, что живъ, и воображалъ себя подъ вліяніемъ кошмара, галлюцинаціи разстроеннаго мозга... Ему, между прочимъ, почудилось, что изъ одного угла, нѣсколько подернутаго тѣнью, на него, съ кроткой укоризной и отчаяніемъ во взорѣ, смотритъ дорогой, отдаленный образъ... Холодный потъ проступилъ на лбу, дрожь пробѣжала по членамъ.

Обрядъ вѣнчанія совершился съ великолѣпіемъ, а послѣдовавшія пиршества остались не на одинъ день предметомъ свѣтскихъ разговоровъ. Какъ ни завидовали молодой четѣ добрые люди, всѣ однакожь были вынуждены отдать справедливость и аристократической толщинѣ кучера-самовара, и искусству мосьё Франсуа, и ловкости шафера штабъ-офицера, и убранству дома, куда переселился Николай Арсеньичъ, — и роскоши разнообразныхъ затѣй, съ обѣихъ сторонъ сопутствовавшихъ брачныя событія. Все это было ясно и видимо.

Баронесса Штральборнъ не иззякала занимательными и остроумными рѣчами. Марья Сергѣевна являлась въ такихъ нарядахъ, что, глядя на нее, нельзя было не ощутить хоть частицу того блаженства, которое должны были производить въ ней эти кринсины, эти волны блондъ, эти оранжереи искусственныхъ цвѣтовъ, въ которые она себя облекала. Ея удовольствіе становилось заразительнымъ. Самъ Арсеній Николаичъ, отдаливъ поневолѣ тревогу о нужной ему суммѣ денегъ, сверкая своими звѣздами, нѣжилъ въ этой атмосферѣ стеариноваго свѣта, парфюмерій, испареній человѣческихъ и испареній гастрономическихъ. Инструменты одного изъ извѣстнѣйшихъ оркестровъ столицы такъ и ночевали то въ домѣ стариковъ Хвалынскихъ, то въ домѣ Натальи Андревны. Дирижёръ чуть-чуть не заболѣлъ, *cornet à piston* потерялъ анбушюръ.

Миссъ Брайнтъ, безъ сомнѣнія, впервые отъ рожденія, трижды обнажила передъ свѣтомъ верхнюю часть своего бюста,

что, однакожь, не произвело ни малѣйшаго соблазна, — а въ одинъ изъ торжественныхъ вечеровъ, который мы не поколеблемся назвать ея бенефисомъ и апогеемъ ея жизненнаго поприща, въ волосахъ пуританки даже заблудился василёкъ. Разумѣется, это было не даромъ: въ тотъ достопамятный вечеръ она напояла чаемъ около полутораста персонъ, а сколько надѣлала сандвичей, кто вычислить?

Олтуховъ, хотя и не участвовавшій, конечно, въ самыхъ пиршествахъ иначе нежели душою и мыслию, нѣсколько времени не думалъ надѣвать другаго галстуха, кромѣ бѣлаго, и ходилъ по закулиснымъ частямъ дома Хвалынскихъ завитый какъ баранъ. Актриса, одиннадцать разъ передѣвавшаяся въ любимомъ водевилѣ Ивана Павлыча, и мѣсто возлѣ машины у Палкина отошли въ несуществующую даль. — Камердинеръ Григорій просто обливалъ себя барскими духами, благо Арсенію Николанчу не до того было, чтобы слѣдить за ихъ убылью. Юліѣ онъ перетаскалъ столько отборныхъ лакомствъ, что та начала ихъ вымѣнивать, а укорять коварнаго друга въ вѣтренности и забыла уже. У экономки, отъ болтовни и пересудовъ о мельчайшихъ подробностяхъ свадьбы, заболѣли зубы... Маркушкѣ не везло подъ эту стать: бѣдный проигрался въ пухъ, а щелчки и затрещины отъ москѣ Франсуа такъ и сыпались. Угрозы окунуть своего грума и разсылнаго въ прорубь, Французъ, однакожь, не привелъ въ исполненіе, наиболѣе потому, что, къ одному изъ ужиновъ, бывшихъ у Арсенія Николанча, повару удалось соорудить монументальнѣйшую изъ подливокъ къ какому-то блюду, состоявшую изъ тридцати трехъ ингредиентовъ. Подливка произвела такое впечатлѣніе и надѣлала столько шума, что соперникъ москѣ Франсуа, и даже изподтишка врагъ его, поваръ государственнаго канцлера, пріѣхалъ на другой же день въ своемъ кабріолетѣ съ дипломатическимъ визитомъ. Гость хотѣлъ—было обнять собрата съ Іудинымъ лобзаньемъ, но Франсуа, человекъ не глупый и нѣсколько повѣса, какъ всѣ солдаты африканскихъ войскъ, гдѣ онъ нѣкогда служилъ, коротко отнесся къ художнику-дипломату: «*Fichtre!*!» — сказалъ онъ, и даже показалъ языкъ.

Но часъ идетъ за часомъ, не глядя ни нагосподъ и поваровъ, ни на блескъ и грязь, ни на кринолины и сандвичи, ни на нарумяненныхъ графинь и небѣленныхъ Англичанокъ, ни на толстыхъ кучеровъ и завитыхъ барашкомъ чиновничковъ, ни на несчастныхъ юпошей и честолубивыхъ тузовъ... «Тыштесь, плачьте, — радуйтесь, рвите на себѣ волосы, — цѣлуйтесь, рѣжьтесь: все и всё вы вѣтеръ перелетный, облако мимобѣгущее, былинки въ вѣчности. Я пройду надъ всѣмъ!» — думаетъ про себя время. — Не странно ли, какъ скажешь сразу, что вели-

чайшій благодѣтель челоувѣчества есть и величайшій изъ всѣхъ деспотовъ, бывшихъ, настоящихъ и будущихъ? Изъ всѣхъ стариковъ одинъ Сатурнъ, еслибы произнести при немъ слово « оппозиція », залился бы добродушнѣйшимъ смѣхомъ, — и былъ бы правъ.

... Мало-по-малу и у стариковъ Хвалынскихъ, и у молодыхъ жизнь вошла въ обыкновенную колею.

Николай Арсеньичъ, не имѣвшій никакой возможности нравственно передохнуть, двигался, жилъ механически. Новая графиня не оказывала ни малѣйшихъ измѣненій противъ прежняго. Марья Сергѣевна немножко отдыхала отъ усиленной возни и суеты. Арсеній Николаичъ долженъ былъ поневолѣ опять напрячь свою энергію. Съ большимъ трудомъ покончилъ онъ извѣстное игорное дѣло. Пришлось обратиться къ средствамъ самымъ тяжкимъ, къ займу очень невыгодному, да и то порядкомъ набѣгавшись предварительно и накланявшись. Это сильно подѣйствовало на самолюбіе графа, нанеся ударъ его утѣренности въ своемъ кредитѣ. — Онъ принялся разсматривать дѣла по опеку надъ Нелли. Что же оказалось на повѣрку? Что, по милости опекуновъ, Наталья Андревна имѣетъ едва ли половину тѣхъ тридцати тысячъ дохода, о коихъ, не думая обманывать себя, такъ утвердительно говорилъ Арсеній Николаичъ. Впрочемъ, и состояніе, оставленное отцомъ, было отнюдь не того размѣра, какъ полагала о покойномъ Кудомзинѣ молва: старая пѣсня о богатствѣ откупщиковъ, всегда умѣющихъ отлично показать издали полушку за червонецъ!... Такъ или иначе, отъ-часу не легче приходилось Арсенію Николаичу. Онъ до-того былъ пораженъ открытіемъ насчетъ дѣйствительныхъ средствъ невѣстки, что занемогъ. Понятно, не любовь къ Николаю Арсеньичу страдала въ немъ, а опять-таки самолюбіе: ошибиться въ подобной мѣрѣ не случалось ему ни разу въ жизни.

Вообще въ домѣ Арсенія Николаича какъ-то притихло. Успокоилась и челядь, успокоилась даже болѣе обыкновеннаго.

Нѣсколько знакомый намъ докторъ, что отправилъ Хвалынскихъ на лѣто въ Разградовку, былъ недоволенъ своимъ пациентомъ. Докторъ не называлъ болѣзни, да и не похожа была она ни на одну изъ тѣхъ, которыя сейчасъ называетъ и не-врачъ; но будто нехотя давалъ онъ лекарства и, противно привычкѣ своей, шутилъ чрезвычайно-принужденно. Видно, онъ угадывалъ пораженіе организма не мѣстное, не временное. Больше всего требовалъ онъ для больного спокойствія умственного и душевнаго: запретилъ серьезныя занятія, просилъ позабыть на время о службѣ, предписалъ читать самыя вздорныя вещи и

позволилъ иногда лишь прокатиться въ особенно-хорошую погоду.

Графъ опустился и ослабѣлъ вдругъ. Одно только и поддерживало его духъ: надежда на полученіе черезъ Кундіуса благъ служебныхъ, отрады его честолюбивому позыву.

Кундіусъ что-то не ѣхалъ и не писалъ.

Между тѣмъ слухъ о займѣ, совершенномъ Арсеніемъ Николаичемъ, разошедшійся по городу, соединясь съ его болѣзнію, произвелъ самые неблагоприятные толки въ обществѣ; да, наконецъ, фizioномія Николая Арсеньича, постоянная задумчивость и странная разсѣянность молодого графа, словомъ, очевидная ненормальность его душевнаго состоянія, тоже черезъ чуръ лѣзли свѣту въ глаза. Связали все вмѣстѣ и рѣшили, что дѣла Арсенія Николаича были въ дурномъ положеніи до свадьбы сына, что онъ для поправки женилъ сына, но, какъ оказывалось теперь, жестоко опростоволосился. Отсутствие изъ Петербурга Кундіуса, разумѣется, не было оставлено безъ вниманія. Вспомнили, что опекуна не видали и на свадьбѣ, и стали толкователи самихъ себя укорять въ поздней догадливости.

Сущность общественнаго заключенія выражалась такъ: Хвалыньскіе въ отчаянномъ положеніи — стѣитъ взглянуть на отца и сына!

Иэто мнѣніе, если не касаться причинъ, предполагавшихся догадчиками, не совсѣмъ не походило на правду. Но не всегда же общественному мнѣнію ошибаться.

Извѣстное дѣло: стѣитъ колоссу пошатнуться, прохожій зѣвака будетъ рассказывать, что колоссъ упалъ; стѣитъ человѣку, по чему-либо пользовавшемуся въ свѣтѣ кредитомъ, вѣсомъ или значеніемъ, обнаружить признаки нѣкоторой шаткости своего положенія, всѣ ради прокричать, что карьера его кончена, — и чѣмъ кто больше завидуетъ вѣсу и значенію, тѣмъ тотъ охотнѣе брыкнетъ падающаго, если можно и въ глаза. Басня объ умирающемъ львѣ есть одинъ изъ тѣхъ апологовъ, которые разыгрываются человѣчествомъ ежедневно.

Господинъ, если не забыли читатели, во время пересудовъ, на вечерѣ, о Нелли и Николаѣ Арсеньичѣ, проявившій въ немногихъ словахъ свою зависть къ Кундіусу по поводу предстоявшей сему послѣднему, черезъ ожидавшійся тогда бракъ, выгодной сдачи опеки и попечительства, — тотъ самый господинъ, которому приказано было отказаться отъ опеки, лежавшей на немъ, — пріѣхалъ какъ-то къ Арсенію Николаичу, разумѣется, съ увѣреніями въ самомъ искреннемъ участіи къ больному. Тончайшимъ образомъ завелъ онъ рѣчь о томъ, какіе нынче есть на свѣтѣ люди, какъ умѣютъ нѣкоторые люди употреблять во зло чужую неопытность и довѣрчивость, и отъ этого преди-

словія перешель онъ къ Кундіусу. Разбирая Кундіуса по косточкамъ, но такъ, что трудно было и придраться, онъ высказалъ графу все, что теперь думалъ свѣтъ, конечно, съ благороднѣйшимъ соболизнованіемъ объ Арсеніѣ Николаичѣ и Николаѣ Арсеньичѣ и съ прозрачнѣйшими намеками, что онъ, докащикъ, ужь разумѣется, старается вездѣ разубѣдить общество въ отчаянности положенія семейства, а еще болѣе въ томъ, будто почтенный и всѣмъ извѣстный своимъ безкорыстіемъ сановникъ польстился на состояніе невѣстки.

Свѣтскіе люди отлично понимаютъ другъ друга, и безъ малѣйшаго затрудненія переводятъ на свой языкъ обиходныя слова, которыя въ прямомъ смыслѣ не значатъ того, что въ свѣтскомъ употребленіи подъ ними кроется: для непосвященнаго въ эту дипломатію нуженъ бы толмачъ... Что такое для насъ съ вами черточки на бумажной лентѣ, которыя печатаетъ телеграфическій станокъ? А топографъ читаетъ по нимъ.

Арсенія Николаича ужасно поразилъ гость.

Графъ провелъ, послѣ него, такую ночь, что докторъ рѣшился, если на другой день не увидитъ облегченія, требовать консилиума.

Отъ графини, естественно, скрывали всю важность положенія больного. Самъ же онъ и теперь не договаривалъ ей своего послѣдняго слова. Поэтому, Марья Сергѣвна беспокоилась болѣе наружно. Докторъ, на всѣ вопросы ея, отзывался, что у графа желудочная лихорадка, соединенная съ разстройствомъ нервовъ, и самымъ натуральнымъ образомъ приписывалъ болѣзнь событіямъ сыновней свадьбы: усиленной суетѣ, невольному безпокойству, злоупотребленію горячительныхъ въ пищѣ и питіяхъ, наконецъ отчасти и простудѣ.

Николай Арсеньичъ, пріѣзжавшій каждодневно, находился лично въ такомъ душевномъ настроеніи, что положеніе, несовсѣмъ рѣзкое для обыкновеннаго глаза, не могло казаться ему особенно-опаснымъ. Да и то надо сказать: дѣйствительной нѣжности къ Арсенію Николаичу онъ не ощущалъ.

Невѣстка и ея тетюшка, разумѣется, каждый день присылали узнавать о здоровьѣ; первая иногда сама забѣгала къ больному; но то и другое происходило единственно для исполненія одного изъ установленныхъ обрядовъ родственнаго этикета.

Однакожъ Арсеній Николаичъ пересталъ уже и выходить изъ своей половины, и вообще сталъ мраченъ. Но, послѣ ночи, которой такъ боялся докторъ, ему не сдѣлалось хуже.

Пріѣхалъ какъ-то Николай Арсеньичъ. Принесли письмо съ почты. Осмотрѣвъ съ напряженіемъ пакетъ, графъ оживился.

— Отъ Кундіуса, сказалъ онъ — прочти пожалуйста: нѣтъ ли чего новенькаго. Самому мнѣ трудно.

— Громко? спросилъ Николай Арсеньичъ.

— Громко.

Николай Арсеньичъ прочелъ:

«Пора намъ, кажется, почтенный графъ Арсеній Николаичъ, отправить на чердакъ нашъ воинственный посохъ. Видно, время наше миновало. Что касается до меня, я не знаю, какъ поздравить себя, что даже и племянницу устроилъ. Полно хлопотать, полно мыкаться и по своимъ, и по чужимъ дѣламъ. Вамъ, по моему мнѣнію, тоже отдохнуть надо: вы тоже набѣгались, и дѣло своей жизни свершили.

«Вчера получилъ я изъ Петербурга письмо отъ С***. Графъ... (слѣдовала фамилія министра, съ которымъ Кундіусъ ѣздилъ къ Излеру) оставляетъ свой постъ. Можетъ-быть, въ эту минуту, уже и есть въ приказахъ. Не дожидаясь учтиваго внушенія, я вмѣстѣ съ симъ посылаю мою отставку. Полно. Мы нынче не годимся. Каковы-то будутъ лучшіе, посмотримъ. Но Богъ съ ними! Съ меня достаточно, и того, что я поработалъ, и того, что заработалъ: вамъ отчего я не скажу откровенно?

«Не знаю что замышляете вы на весну и какую премію готовите себѣ за понесенные труды иза окончательное устроеніе Николая Арсеньича. Я такъ намѣренъ, не выѣзжая изъ деревни до открытія пароходства, по первому же рейсу пуститься къ западу и югу, просить у природы странъ, болѣе благопріятствуемыхъ, нежели наша геморроидальная Пальмира, — того, чего теперь не дадутъ мнѣ люди: здоровья и душевнаго спокойствія. Бросьте-ка и вы всю эту базарную суету: полетимте грѣться на италіянскомъ солнцѣ, вдыхать разцвѣтъ померанцевыхъ рощъ и слушать классическій плескъ классической волны. Тамъ оживемъ мы, вдали отъ атмосферы канцелярій, стеарина и трюфеля. Неужели перспектива не улыбается вамъ? Итакъ, считаю дни до отъѣзда. Буду съ нетерпѣніемъ ждать вашего отвѣта.

«Нелли писала, что вы вздумали прихворнуть. Надѣюсь, что это пустяки: безъ сомнѣнія, ея рукою водили чувство къ вамъ и женскій глазомѣръ.

«Цѣлую ручку любезной Марьи Сергѣевны, а нареченнаго племянника, если такъ назвать себя издали позволить Николай Арсеньичъ, — обнимаю сердечно.»

Чтобы прочесть письмо, Николай Арсеньичъ подошелъ къ окну, такъ какъ шторы были спущены и дѣло происходило въ февралѣ, часу въ пятомъ. Прочитавъ, онъ возвратился къ дивану, на которомъ лежалъ Арсеній Николаичъ: графъ, казалось, не дышалъ; одинъ глазъ былъ закрытъ, другой, хоть и открытый, скопился. Вотъ какую премію онъ себѣ приготовилъ!...

Николай Арсеньичъ испугался, но, не заходя, однакоже, къ графинѣ, приказалъ скакать за домашнимъ докторомъ, а между тѣмъ схватить ближайшаго, перваго, котораго бы можно было сыскать, который попадется подъ-руку.

Самъ же онъ, пополамъ съ Григоріемъ, не выдумалъ ничего лучшаго, какъ намочить Арсенію Николаичу голову уксусомъ и дать ему понюхать крѣпкаго спирта. Дыханіе показалось. У Николая Арсеньича отлегло.

Случайный эскулапъ явился скоро. Онъ откинулъ стору и внимательно осмотрѣлъ больнаго; понюхалъ и отвѣдалъ нѣкоторыя изъ наличныхъ лекарствъ.

Замѣтно было, что онъ принадлежитъ не къ числу церемонныхъ и модныхъ докторовъ.

— Что такое? спросилъ Николай Арсеньичъ. — Говорите пожалуйста: не бойтесь испугать.

— Чего жъ бояться? отвѣчалъ докторъ: — Часомъ ли раньше узнать, часомъ ли позже, не все ли равно? По-моему, жолчно-легочный пострѣлъ. Да и всѣ эти средства — онъ показалъ на стеклянки — противужолчныя и успокоительныя.

— Очень опасно? спросилъ Николай Арсеньичъ.

Врачъ пожалъ плечами.

— Пусть это скажетъ вамъ вашъ докторъ, отвѣчалъ онъ, а самъ принялся приводить Арсенія Николаича въ чувство и вообще распорядиться по мѣрѣ того, какъ находилъ нужнымъ.

Графъ пришелъ въ себя, но едва владѣлъ языкомъ сначала.

Пріѣхалъ домашній докторъ.

Марья Сергѣевна, со всевозможными оговорками, намекнули, что графъ не хорошъ. Она окружила себя спиртами и духами, въ видѣ батареи самыхъ затѣйливыхъ стеклянныхъ игрушекъ, и не приказала принимать никого, кромѣ немногихъ, особенно короткихъ лицъ, которыя поименовала. Неизвѣстно для чего, затѣмъ, она закинула волоса съ висковъ и намочила себѣ обнаженные мѣста и всю переднюю часть головы туалетнымъ уксусомъ. Но естественно, что графиня переоблачилась въ прекрасное домашнее неглиже, нѣсколько мелодраматическое, однакожъ, совершенно сообразное, по ея понятіямъ, съ обстоятельствами и *scenarium*: домомъ опасно-больнаго.

Николай Арсеньичъ остался ночевать подъ родимымъ кровомъ.

Съѣхался консилиумъ.

Нѣсколько медицинскихъ славъ, болѣе или менѣе признанныхъ, болѣе или менѣе любезныхъ, болѣе или менѣе равнодушныхъ, болѣе или менѣе торопившихся, — перешутили и переглядѣли графа Арсенія Николаича, посидѣли нѣсколько минутъ, поговорили по-латыни, какъ говаривали по-русски

свѣтскія современницы Онѣгина, омыли себѣ руки... мокрымъ полотенцомъ, положили, каждая, въ бумажникъ по сѣренькому кредитному билетцу, — и разѣхались, быть-можетъ, участвовать въ подобныхъ же представленіяхъ.

Жолчный, легочный, кровавой или сывороточный—врядъ ли кому-нибудь, не исключая пациента, было бы легче, еслибы жрецы Эскулапа въ первый разъ въ жизни и помирились на опредѣленіи—только всѣ признали, что произошелъ пострѣлъ.

Черезъ день повторился конспліумъ, и, должно отдать полную справедливость свѣтиламъ науки, повторился жестъ въ жестъ съ первымъ. Даже полотенце передавалось изъ рукъ въ руки совершенно какъ въ первый разъ. Языку Цицерона и Тита Ливія были нанесены тѣ же оскорбленія, но это не развязало языка графу Хвалынскому.

Все-таки твердо стояли, что былъ пострѣлъ.

Еще черезъ день долженъ былъ опять повториться конспліумъ, но произошла перемѣна, не предвидѣнная въ программѣ кухонныхъ латинистовъ: до ихъ сѣзда повторился пострѣлъ; съѣхавшіеся уже не имѣли надобности истязать латынь, и узнавъ еще отъ швейцара, что графъ приказалъ кланяться и долго жить, объявили по-русски и чрезвычайно-дружно, что этого и ожидать слѣдовало.

Домашній докторъ перешелъ на половину графини, которую ея батарея не спасла отъ слезъ, обмороковъ и истерики. Лишь только немножко облегчило ее, она приказала перевести себя къ невѣсткѣ. Чувство чувствомъ, приличіе приличіемъ, — извѣстно, что ея комплекція не допускала возможности дышать подъ общимъ кровомъ съ покойникомъ, хотя бы этотъ кровъ былъ не меньше крыши московскаго экзерциръ-гауза. Супругъ же отнынѣ не могъ своею властію удержать графиню въ предѣлахъ потребнаго декораума.

Николай Арсеньичъ, конечно, не плакалъ. Физически, онъ чувствовалъ себя очень слабымъ, но нравственно онъ вдругъ воспрянулъ.

Неволя вынуждала его заняться эпилогомъ суетной жизненной драмы Арсенія Николаича. Кому было повѣрить тягостныя и пошлыя распоряженія о похоронахъ? А, къ сожалѣнію, послѣдніе проводы гнуснаго раба бессмысленнаго свѣтскаго устава должны были достойно, великолѣпно увѣнчать его земное, театрално-эффектное странствіе.

Боже правый! Что можетъ лучше опредѣлить цѣну свѣта: издержки свадьбы подѣ-часъ равняются всему будущему состоянію — безумно-глупо! А похороны спѣсивца, пусть отецъ не оставляетъ сыну ничего, кромѣ долговъ, сынъ хоть занимай еще, съ перспективой заплатить урочнымъ затворничествомъ

въ долговой тюрьмѣ, будутъ по крайней мѣрѣ стоять того, во что обошлась свадьба покойнаго, нерѣдко больше, такъ какъ къ концу жизни человѣкъ обыкновенно повысился въ чинѣ, въ вѣсѣ и... въ зависти или ненависти къ нему свѣта! Философы, моралисты, филологи, кругосвѣтные путешественники! соединитесь и вырвите изъ какого-нибудь первобытнаго языка, быть-можетъ не выдохшагося на какомъ-нибудь дикомъ островѣ, то наивно-энергическое слово, которымъ бы однажды навсегда положить пробное клеймо на нелѣпый и такъ часто подлый актъ посмертнаго тщеславія!

Мысли Николая Арсеньича были недалеко отъ этихъ мыслей. Но, разумѣется, не могло ему теперь придти въ голову вооружиться, воевать съ свѣтомъ.

По совершеніи всѣхъ извѣстныхъ обрядовъ, Арсенія Николаича частію снесли, частію свезли въ Невскую Лавру. Весь церемоніаль былъ непозволительно — великолѣпенъ. Кorteжъ слѣдовалъ огромный и траурно-блистательный. Гербы, траурная карета, значки, духовенство, пѣвчіе: все было въ такихъ размѣрахъ, какъ еслибы хоронили человѣка, принадлежащаго не семейству — народу. Это не могло помѣшать, однакоже, добрымъ людямъ критиковать за похороннымъ обѣдомъ искусство москѣ Франсуа. Одинъ петербургскій аристархъ, извѣстный блюститель всяческой нечистоты и неправды (одинъ изъ литературныхъ сбировъ), пропищалъ въ своемъ листкѣ офиціальный плачъ по покойникѣ, котораго и въ глаза не зналъ: перепечаталъ, по обыкновенію, служебный формуляръ графа Хвалынскаго, а затѣмъ сказалъ, что отечество потеряло одинъ изъ своихъ столбовъ, искусство и науки — мецената, вдовы и сироты — отца. Два лавочника на Васильевскомъ острову съ благоговѣніемъ читали вычисленіе регалій; канцеляристъ, насладившись статейкой подъ звуки польки, которую сыграла ему любимая машина въ трактирѣ у Калинкина моста, придя домой, сказалъ своимъ дѣтямъ умильное поученіе о преходимости всего земнаго!...

Графиня Марья Сергѣевна въ продолженіе трехъ дней присутствовала только при одной панихидѣ, за гробомъ ѣхала, не долго постояла въ церкви, и на минуту вошла въ фамильный склепъ Хвалынскихъ: отсюда ее вынесли въ обморокъ и отвезли въ домъ невѣстки.

Лица Нелли и баронессы Штральборнъ, конечно, носили вывѣски, сообразныя съ сатэнделеномъ и плерезами.

По возвращеніи изъ монастыря домой, Николаю Арсеньичу доложили, что его желаетъ видѣть гробовщикъ.

Онъ приказалъ ввести его.

— Что вамъ угодно? спросилъ графъ.

— Пришелъ покорнѣйше просить ваше сіятельство, чтобы пожаловали мнѣ аттестатецъ и соблаговолили пропечатать въ газетахъ. Такіе случаи у насъ не часто бываютъ. Кажется, безъ похвальбы сказать, все было въ лучшемъ вкусѣ, къ совершенному удовольствію....

Хвалынский взглянулъ на него какъ на сумасшедшаго...

— Будьте милостивы, ваше сіятельство! сказалъ гробовщикъ, кланаясь и будто бы нечаянно выправляя медаль изъ-за жилета.

— Подите, отвѣчалъ Николай Арсеньичъ, едва сдерживаясь— или я не посмотрю на вашу медаль и отправлю васъ въ полицію.

Гробовщикъ удалился, сконфуженный.

Мы, съ своей стороны, въ огражденіе себя отъ обвиненія въ неправдоподобности сего послѣдняго вымысла, считаемъ себя обязанными прибавить: своими ушами слышали мы подобную просьбу извѣстнаго, вѣрнѣе: моднаго гробовщика послѣ пышныхъ похоронъ.

Х.

Не прошло и трехъ мѣсяцевъ отъ свадьбы Николая Арсеньича, — исполнился сороковой день Арсенію Николаичу.

Изъ Лавры Хвалынский завезъ жену домой, а самъ проѣхалъ къ Тесьмину.

Въ квартирѣ друга, вдали отъ дома, семьи, суеты, — той атмосферы, въ которой его за-живо похоронили, онъ невольно подошелъ къ зеркалу и внимательно посмотрѣлъ на себя. Печальною улыбкою разрѣшилось наблюденіе.

— Хорошъ? спросилъ онъ, обращаясь къ Тесьмину.

Тесьминъ не зналъ что отвѣчать.

Николая Арсеньича просто-на-просто нельзя было узнать сравнительно съ тѣмъ, что былъ онъ по возвращеніи изъ Разгравовки. Невидавшій его прежде сказалъ бы, что это человѣкъ по крайней мѣрѣ тридцати пяти лѣтъ, или страшно жившій въ первой молодости, или долго болѣвшій. Онъ исхудалъ; волосы, хотя и бѣлокурые, посѣдѣли ключьями на вискахъ и темени. За густотою, этого вдругъ не видно было; но когда онъ показалъ сѣдины Тесьмину, тотъ всплеснулъ руками.

— Боже! воскликнулъ онъ.

— Что дѣлать! сказалъ Николай Арсеньичъ — видно определенной чаши не обойдти!.. Но у меня теперь нѣтъ лишняго досуга: даже и философствовать съ тобою не время. Я къ тебѣ за дѣломъ. Мнѣ нуженъ ты весь: не только твой совѣтъ, твоя помощь, — твоя голова, все твое время.

— Я твой, просто отвѣчалъ Тесьминъ.

— Я зналъ это напередъ, сказалъ Хвалынскій, протягивая руку пріятелю. — Намъ будетъ, надѣюсь, хлопотъ не мало.

Тесьминъ подвинулся, чтобы не проронить ни слова.

Хвалынскій продолжалъ:

— Я разсмотрѣлъ всѣ дѣла, оставленныя графомъ Арсеніемъ Николаичемъ — онъ употребилъ это выраженіе безъ малѣйшей аффектаціи: — оказывается, что онѣ болѣе сложны, нежели, вѣроятно, предполагаетъ кто-нибудь.

— Вотъ ужъ чего нельзя было никакъ ожидать, по моимъ понятіямъ о графѣ.

— Слушай. На первую минуту я не знаю что и дѣлать. Состояніе жены, до котораго я прикасаться не въ правѣ, заключается приблизительно въ двѣнадцать тысячачъ дохода: изъ нихъ пять должна получать ежегодно баронесса. Имѣнія отцовскія и материнскія въ залогъ и до-того просрочены платежи въ Совѣтъ, что только вліяніе покойника, безъ сомнѣнія, спасало ихъ отъ аукціона. Оба петербургскіе дома заложены въ частныя руки вскорѣ послѣ моей свадьбы, и на такихъ условіяхъ, что придетъ срокъ, не заплати только, однѣ неустойки заѣдятъ. Кромѣ всего — Николай Арсеньичъ было-призадумался, но продолжалъ — кромѣ всего... какъ же я тебѣ-то не скажу?... есть у одной дамы заемное письмо въ сорокъ тысячъ, не считая процентовъ за семь лѣтъ.

— Въ сорокъ тысячъ? воскликнулъ Тесьминъ, а про себя прибавилъ: «система Людовика XV: на мой вѣкъ хватить, а послѣ меня гори все огнемъ; желательно бы знать кстати, кто прозвалъ почтеннаго короля Возлюбленнымъ? развѣ его возлюбленныя».

— Я не говорю о счетахъ разныхъ поставщиковъ, еще не уплаченныхъ, которые вмѣстѣ составляютъ сумму до пятнадцати тысячъ. Вотъ тебѣ очеркъ положенія, въ которомъ я нахожусь въ эту минуту. По соображеніи отношенія активнаго съ пассивнымъ, то-есть если одно продать, другое заплатить и третье выкупить, словомъ, еслибы привести теперь состояніе мое и матери въ дѣйствительную цифру, мы бы получили приблизительно доходъ въ шесть-семь тысячъ рублей. Будь я вольный казакъ, будь возможность сговорить съ матушкой, я бы все сразу привелъ къ положительному, оставилъ бы ей двѣ трети дохода и считалъ бы себя счастливѣйшимъ изъ смертныхъ. Но съ нею толковать, повѣришь ли, что съ десятилѣтнимъ ребенкомъ: и грустно за нее, и досадно; и не знаешь какимъ образомъ убѣдить ее, что, подъ опасеніемъ потерять все, она должна чрезвычайно сжаться противъ прежняго. Намеки — выстрѣлы на воздухъ. Баронесса еще чище. Съ ней пора мнѣ пере-

стать церемониться. Не отказывая въ ассигнованной ей лично суммѣ, я пытался вразумить ее, что мы не можемъ съ женою жить, какъ онѣ жили досвадьбы: смѣется. Предлагалъ ей взглянуть на дѣла опеки: до сихъ поръ слышать не хочетъ, и, шутя будто бы, внушаетъ женѣ, что я намѣренъ копить, что яскряга. На женѣ что я взыщу? Покаяться тебѣ, мой другъ: она и до сей минуты почти дышетъ дыханіемъ баронессы. А тетушка менѣ всего учила племянницу математикѣ. Ты видишь — не говорю, какъ мое положеніе пріятно, — какъ запутанно оно и сложно. Одному мнѣ не сладить. Надо обсудить все вмѣстѣ, пересмотрѣть дѣла, счета, отчеты, взглянуть на имѣнія.... потолковать и потолковать. Жду тебя завтра съ ранняго утра. Только погоди приходить въ отчаяніе. Мнѣ нужна и твоя энергія: моей личной на меня не хватитъ. Моя жизненная задача, какъ ты видишь, только что начинается.

И получивъ обѣщаніе, что Тесьминъ будетъ утромъ, Николай Арсеньичъ уѣхалъ домой.

А сѣверная Пальмира бѣжала и скакала черезъ слякоть, ухабы и мокрый снѣгъ-не-снѣгъ, песокъ-не-песокъ, взглянуть на необычайное событіе какъ вскрылась Нева!...

С. Колошинъ.

ЦЕЗАРЬ.

Блаженъ, кто первый храмъ воздвигнулъ
Юпитеру, отцу міровъ;
Счастливъ, кто Цезаря постигнулъ
Съ его младенческихъ годовъ;
Кто въ немъ узналъ любимца брани
Въ тѣ дни, когда лишь оргій шумъ,
Пиры и блескъ привозныхъ тканей
Его плѣняли праздный умъ;
Когда въ толпѣ народа шумной
Онъ жилъ не блескомъ дѣлъ благихъ,
Не рѣчью стройной и разумной
Среди сенаторовъ сѣдыхъ,
Но въ наслажденья и забавы
Поникнувъ пылкою душой.
Въ тѣ дни достигъ иной онъ славы
Страстей опасною стезей...
Блѣднѣли старые ревнивцы
Пылали взоры юныхъ жонъ,
Когда безпечно въ колесницѣ
По стогнамъ Рима мчался онъ,

Красуясь черными кудрями,
 Ланить лилейной бѣлизной
 И драгоценными перстнями,
 И азіятскими конями,
 И тоги хитрой новизной.
 Блаженъ, кто, окомъ прозорливымъ,
 Пронзивъ грядущаго покровъ,
 Провидѣлъ въ юношѣ лѣнивомъ
 Гиганта славы и трудовъ;
 Кто, рѣчью вкрадчивой и нѣжной
 Упреки горькіе прикрывъ,
 Смиралъ въ немъ страсти жаръ мятежный
 И гнѣва быстрого порывъ,
 И смѣло съ ценсоромъ суровымъ
 Вступалъ за друга въ долгій споръ,
 Предъ нимъ смягчая хитрымъ словомъ
 Молвы жестокій приговоръ.

За дружбу къ Цезарю въ грядущемъ
 Его высокій жребій ждетъ,
 Когда владыкой всемогущимъ
 Смиритель Галліи придетъ,
 И міра гордая столица
 На встрѣчу двинется къ нему,
 И съ крикомъ радости стѣснится
 Народъ къ любимцу своему.
 Тогда тебѣ, наперстникъ честный,
 Мигъ дивной радости придетъ,
 Тебя въ толпѣ народа тѣсной
 Взоръ быстрый Цезаря найдетъ.
 И ликъ героя олимпійскій
 Блеснетъ улыбкою свѣтло,
 И предъ тобой преклонитъ низко
 Онъ непреклонное чело.
 Промчится шопотъ изумленья
 Въ толпѣ: умолкнетъ черни кликъ,
 И на тебя въ благоговеньѣ
 Народъ оглянется въ тотъ мигъ.
 Когда въ сенатъ за данью славы
 Предстанетъ къ судьямъ онъ своимъ,

И сонмъ старѣйшинъ величавый
 Невольно встанетъ передъ нимъ,
 Хваламъ внимая равнодушно,
 Отыщетъ взоромъ онъ тебя,
 Съ улыбкой нѣжной и радушной
 Укажетъ мѣсто близъ себя.
 И въ день, какъ трижды діадиму
 Отвергнетъ гнѣвно предъ толпой,
 Съ гремящей площади по Риму
 Пойдетъ онъ объ-руку съ тобой;
 Своимъ любимцемъ неизмѣннымъ
 Тебя народъ провозгласитъ,
 И друга Цезаря священнымъ,
 Великимъ именемъ почититъ.

Стократъ блаженъ!..

Но горе, горе

Тому, кто поздно разгадалъ
 Любимца звѣздъ, земли, и моря,
 И на челѣ и въ свѣтломъ взорѣ
 Его судьбы не прочиталъ,
 Кто въ дни, когда на шумный форумъ
 Впервые Цезарь выходилъ,
 Его встрѣчалъ лукавымъ взоромъ
 И съ злобнымъ смѣхомъ говорилъ:
 «Дорогу, граждане, дорогу!
 «Идетъ великій гражданинъ,
 «Кто такъ обуетъ стройно ногу,
 «Кто такъ накинеть ловко тогу, —
 «Клянусь богами, онъ одинъ!
 «Какой плясунъ иль гладіаторъ
 «Съ такою поступью рожденъ,
 «Какъ этотъ вѣтранный диктаторъ
 «Заимодавцевъ и матронъ?
 «Такими доблестями украшенъ
 «Онъ какъ герой повсюду чтимъ,
 «Какъ Марій, онъ сенату страшенъ,
 «Какъ Гракхи, чернію любимъ.
 «Но онъ не страшенъ, о, квириты!
 «Ужель сей щеголь молодой,

«Съ душою легкой сибарита,
 «И раздушенный и завитый,
 «Опасенъ Риму и — герой?
 «Ему ли мыслию небрежной
 «Обдумать замысль роковой,
 «И сокрушить рукою нѣжной
 «Колоссъ свободы вѣковой!»

Умолкни, гражданинъ суровый
 Уже не чуешь ты душой,
 Что, облеченный въ образъ новый,
 Блистаетъ геній предъ тобою?
 Уже, подавленный трудами,
 Твой не постигъ тяжелый умъ,
 Что, скрытый буйными страстями,
 И подъ поддѣльными кудрями,
 Гнѣздится сонмъ великихъ думъ;
 И, что подъ шумъ веселій дикихъ
 Безумной оргіи, порой,
 Быстрѣ замысловъ великихъ
 Въ душѣ великой зрѣетъ рой.
 Откинь же къ Цезарю презрѣнье:
 Его страстей мятежный пылъ,
 Безумство буйныхъ наслажденій —
 Залогъ могучихъ, грозныхъ силъ.
 Придутъ года, другія страсти
 Въ тревожномъ сердцѣ закипятъ,
 И жажда славы, жажда власти
 Безпечный умъ расшевелятъ.
 Смотри: ужъ взоръ его открытый
 Порой сталъ мраченъ и угрюмъ;
 Чело и блѣдныя ланиты
 Уже морщинами изрыты:
 То слѣдъ тревожныхъ, тайныхъ думъ.
 Уже бѣжитъ онъ шумной встрѣчи
 Разгульныхъ сверстниковъ своихъ,
 Его обдуманная рѣчи
 Плѣняютъ риторовъ съдыхъ.
 И старцы важные сената
 Уже въ молчаніи внемлютъ имъ;

Уже когорты Митридата
 Въ смятенѣхъ дрогнули предъ нимъ.
 Утихъ въ немъ пылъ страстей мятежный,
 И умъ созрѣлъ среди трудовъ:
 Уже сталъ орломъ орленокъ иѣжный
 И на добычу точить клевъ.
 Пойми жъ его, неосторожный!
 Душой предъ гениемъ склонись!
 Скорѣй, скорѣй, пока возможно,
 Иди къ нему, и примиришь.

Но не страшися! Въ наказанье
 За дерзкій смыслъ твоихъ рѣчей
 Не жди ни вѣчнаго изгнанья,
 Ни лютой казни, ни цѣпей.
 Нѣтъ! адскій ядъ вражды и мщенья
 Въ душахъ великихъ не кипитъ;
 Лишь казнью ласки и прощенья,
 Иль равнодушнаго презрѣнья,
 Герой — враговъ своихъ казнить.

Но знай, цѣнитель близорукій,
 Тебѣ грозитъ иной позоръ,
 Тебѣ грозятъ иныя муки
 За твой суровый приговоръ.

Какъ смѣлый духъ твой содрогнется,
 Когда, осмѣянный тобой,
 Надъ міромъ Цезарь вознесется
 Побѣдоносною главой,
 И далеко въ побѣдной длани
 Орлы родные пронесетъ,
 И широко раздвинетъ грани
 И римскихъ странъ, и римскихъ водъ!
 И слава дѣлъ его промчится
 Во всѣ земныя племена,
 И славой сына възгордится
 Квиритовъ гордая страна;
 И слугъ послушныхъ миллионы

Къ ея стопамъ повергнетъ онъ,
 И двинетъ Рима легіоны
 Чрезъ заповѣдный Рубиконъ;
 И покорится все безъ стона
 Предъ нимъ; падетъ Помпея мечъ,
 И обезсилитъ мощь закона,
 И онѣмѣетъ Циперона
 Всепокоряющая рѣчь.
 И вдругъ съ побѣдными орлами,
 Триумфа блескомъ окруженъ,
 Несомый бурными конями,
 Какъ Зевсъ съ утихшими громами,
 Въ градскихъ вратахъ предстанетъ онъ;
 И длинной, свѣтлой вереницей
 За нимъ трофеи понесутъ,
 И за гремящей колесницей
 Царей въ оковахъ повлекутъ;
 И Римъ, ликующій сердцами,
 Сольется весь въ единый кликъ:
 Великъ Юпитеръ межъ богами,
 Великъ нашъ Цесарь межъ вождями,
 Недосягаемо-великъ!
 И чрезъ ревущій, бурный форумъ,
 По яркимъ тканямъ и цвѣтамъ,
 Онъ потечетъ съ спокойнымъ взоромъ
 Къ Капитолійскимъ высотамъ.

Тогда, въ мигъ радости народной,
 Лишь ты одинъ всему чужой,
 Какъ на чужбинѣ рабъ безродный,
 Склонишь главу въ тоскѣ безплодной,
 Смущенный, блѣдный и нѣмой.
 И вспомнишь ты свой смѣхъ лукавый
 Надъ тѣмъ, кому вручилъ народъ
 Судьбы всемірныя державы —
 И взоръ твой Цезаревой славы
 Въ тотъ мигъ угасный не снесетъ.
 Подернетъ очи мглой холодной,
 Твой духъ займется отъ стыда,
 И ты отъ площади народной

Бѣжишь, не зная самъ куда.
И, кроясь отъ людскаго ока,
Въ уныньѣ горькомъ и тоскѣ,
Въ пустынной улицѣ далекой
Ты притаишься одиноко
Въ забытомъ, темномъ уголкѣ.
Но славы Цезаревой звуки
Къ тебѣ повсюду долетятъ,
Терзая слухъ — и въ ярой мукѣ,
Какъ женщина, ломая руки,
Краснѣя, будешь имъ внимать.

Тогда поймешь, стыдомъ старая,
Весь горькій смыслъ минуты той,
Когда, словамъ его внимая,
Качалъ съ сомнѣньемъ головой.

Б. Алмазовъ.

Н. ЩЕДРИНЪ И НОВѢЙШАЯ САТИРИЧЕСКАЯ ЛИТТЕРАТУРА.

Литература наша, какъ и общественная жизнь, очевидно, вступаетъ въ новый періодъ, обещающій обильные и благотворные результаты. Гласность, предвѣстница разумнаго самосознанія, сдѣлалась живою потребностью общества. Общественное мнѣніе стало по временамъ громко выражать свои симпатіи и антипатіи къ тѣмъ или другимъ явленіямъ общественной жизни и общается, сдѣлавшись болѣе единодушнымъ, слившись, такъ-сказать, въ исключительномъ и безкорыстномъ стремленіи къ общей пользѣ, полезную помощь власти въ ея борьбѣ съ застарѣлыми общественными недостатками, въ ея мудрыхъ и благихъ преобразованіяхъ. Наука также выступила на широкую арену общественной жизни, и къ голосу ея равно внимательно прислушиваются и государственные мужи при обсужденіи важныхъ мѣръ народнаго хозяйства, и частные люди въ мелкихъ промышленныхъ предпріятіяхъ. Новый благотворный духъ вѣетъ повсюду, слышится во всѣхъ рѣчахъ, оживляетъ надеждою всѣ начинанія.

Изящная литература наша, конечно, не могла также не подчиниться общему направленію. Изъ исключительнаго міра эстетическихъ или общенравственныхъ и психологическихъ интересовъ, она также ревностно устремилась, въ лицѣ новыхъ своихъ дѣятелей, на широкое поле практической жизни и громко предъявляетъ права свои на роль одного изъ главныхъ и прямыхъ орудіи цивилизаціи. Цѣлая фаланга молодыхъ, или, по крайней мѣрѣ, неизвѣстныхъ доселѣ писателей, вступила въ литературу подъ новымъ знаменемъ. Въ появленіи ихъ публика увидѣла давно желанное ею осуществленіе начала гласности, и

привѣтствовала это начало громкимъ одобреніемъ. Такова главная причина столь быстрого и блестящаго успѣха новой школы писателей-сатириковъ, во главѣ которыхъ, по многимъ причинамъ, долженъ быть поставленъ Н. Щедринъ. Далѣе мы увидимъ, на сколько виноваты въ этомъ сочувствіи художественныя достоинства новой школы.

Заслуги Н. Щедрина въ русской литературѣ и жизни весьма важны. Кромѣ заслугъ, общихъ со всею школою, онъ имѣетъ еще и всѣ общія достоинства основателя школы: много знанія и горячей, искренней, изъ жизни вынесенной любви къ своему дѣлу; многосторонность содержанія, живое и ревностное исканіе истины, изобрѣтеніе или, по крайней мѣрѣ, усвоеніе формы, приличной именно избранному имъ роду дѣятельности, обиліе матеріаловъ для знакомства съ различными сторонами отечественнаго быта, наконецъ извѣстное мастерство въ своемъ дѣлѣ и заботливость объ изящномъ исполненіи этого дѣла.

Разсмотримъ нѣсколько внимательнѣе каждую изъ этихъ сторонъ.

Повсюду, какой бы стороны жизни ни касался Щедринъ въ своихъ очеркахъ, вы видите и чувствуете, что вопросъ, котораго онъ касается, наболѣлъ въ его душѣ, что явленія, которыхъ смыслъ или типъ онъ хочетъ передать читателю, знакомы ему прямо изъ жизни; мало того, что онъ боролся или былъ связанъ съ ними лицомъ къ лицу, знаетъ ихъ практически, со всѣхъ сторонъ, и оттого относится къ нимъ не однимъ только умомъ, но и сердцемъ. Отсюда проистекаютъ два слѣдствія: во-первыхъ та горячая, всѣмъ сообщающаяся энергія въ ненависти къ злу, которая добывается только изъ дѣйствительнаго столкновенія съ зломъ; во-вторыхъ та мягкость человѣческихъ отношеній писателя къ изображаемымъ имъ личностямъ, которая заставляетъ насъ узнавать человѣческія черты въ самыхъ отвратительныхъ типахъ. Возьмемъ для примѣра хоть одно изъ самыхъ мрачныхъ лицъ Щедрина, именно городничаго Фейера (изъ втораго разсказа подъячаго). Ужъ самъ неприхотливый въ нравственныхъ требованіяхъ разскащикъ называетъ его звѣремъ. А между тѣмъ и у этого звѣря была хоть одна человѣческая сторона, которая смягчаетъ и, главное, дорисовываетъ вамъ его образъ. Это его отношенія къ Каролинхенъ, о которой пусть разскажетъ самъ подъячій: «Женатъ онъ не былъ, а жила съ нимъ дѣвица не дѣвица, а просто мадамъ. Звали ее Каролиной, и ужъ, я вамъ доложу, этакой красоты я и не привидывалъ. Не то чтобъ полная была или краснощекая, какъ наши барыни, а тонкая, да бѣленькая вся, словно будто прозрачная. Глаза у ней были голубые, да такіе мягкіе, да ласковые, что, кажется, звѣрь лютый — и тотъ бы не выдержалъ

— укротился. И подлинно, грѣхъ сказать, чтобы онъ ея не любилъ, а больше такъ все объ ней одной и въ мысляхъ держалъ. Извѣстно, могла бы она и попридерживать его при случаѣ, да ужь очень смирна была; ну, и онъ тоже осторожность имѣлъ, во всѣ эти дразги ея не вмѣшивалъ. Пріѣдетъ, бывало, домой весь измученный, и пойдетъ къ ней. И сдѣлается такой, сударь, ласковый, да нѣжный: — «Каролинхенъ, да Каролинхенъ», и все это ей ручки цѣлуетъ и головку гладить. Или возьметъ гитару и начнетъ нѣмецкія пѣсни, — оба и плачутъ-сидятъ. Выходить, у всякаго человѣка такой есть пунктъ, что съ своей дороги его сбиваетъ.»

Неправда ли, что послѣ этого разсказа вы уже перестаете смотрѣть на Фейера какъ на отвлеченнаго злодѣя, и невольно, хоть на минуту, сочувственно задумаетесь и надъ его положеніемъ? А одной такой минуты достаточно, чтобы получить художественное наслажденіе и проникнуть въ жизнь гораздо глубже, нежели дѣлаютъ это обыкновенные, поверхностные сатирики. Совсѣмъ другая манера отношеній къ предмету высказалась авторомъ въ другомъ очеркѣ «Озорники», который вмѣстѣ съ тѣмъ и лишенъ всякаго поэтическаго достоинства. Между тѣмъ какъ въ Фейерѣ вы видите человѣка, въ извѣстномъ отношеніи вреднаго, гадкаго, но все-таки человѣка, въ «Озорникѣ» вы смотрите въ лицо холодному, отвлеченному злу, въ которомъ тщетно стараетесь отличить человѣческія черты.

Впрочемъ Щедринъ, какъ вообще не объективный писатель, въ большей части случаевъ самъ выступаетъ передъ нами съ своими личными сочувствіями, задушевыми, сердечными движеніями, и это придаетъ особенный интересъ его очеркамъ, скрывая отъ читателя недостатокъ въ нихъ объективности. Читатель странствуетъ вмѣстѣ съ нимъ по житейскому морю, дѣлитъ съ нимъ и дорожныя впечатлѣнія, и хандру его, улыбается вмѣстѣ съ нимъ благодушнымъ народнымъ типамъ, негодуетъ вмѣстѣ на различныя безобразныя явленія, и въ силу этого живаго сочувствія охотно поддается его вліянію и не столько соглашается съ нимъ силою его доводовъ, сколько симпатизируетъ его личному взгляду.

Этой основной и отличительной черты въ характерѣ таланта Щедрина, мы мало встрѣчаемъ въ другихъ новѣйшихъ сатирикахъ, его подражателяхъ. Возьмемъ для примѣра «Старые годы» Печерскаго, одно изъ прославленныхъ и наиболѣе сильныхъ сатирическихъ произведеній. Какимъ-то безжалостнымъ, мертвымъ холодомъ вѣетъ отъ всего этого разсказа о прошломъ, которое авторъ отрицаетъ все цѣликомъ, не сохраняя въ немъ ничего человѣческаго. Какъ бы умышленно подбираетъ онъ одну за другою отвратительныя черты уже отжившей старины, и какъ

будто находить наслажденіе мучить ими своихъ читателей. Есть что-то непріятное и отталкивающее въ этомъ циническомъ бичеваніи зла, уже отжившаго и безвреднаго, въ этой сатирѣ на прошлое, для котораго уже настало время историческаго отношенія. Мы не можемъ не вѣрить автору въ справедливости собранныхъ имъ фактовъ, но мы не узнаемъ въ этихъ фактахъ человѣческихъ чертъ, и потому справедливо можемъ сомнѣваться въ вѣрности общаго тона картины.

Напротивъ, мы вѣримъ и сочувствуемъ Щедрину, когда послѣ множества грустныхъ и безотрадныхъ картинъ, которыми онъ рисуетъ нашу провинціальную жизнь, онъ вдругъ восклицаетъ: «да, я люблю тебя, далекій, никѣмъ не тронутый край!» и еще болѣе сочувствуемъ и вѣримъ его обличеніямъ, ибо очень хорошо чувствуемъ разницу между холоднымъ, безучастнымъ отрицаніемъ, полнымъ односторонности, и между негодованіемъ, истекающимъ изъ любви.

Второю отличительною чертою Щедрина поставили мы живое, ревностное исканіе истины. Изображая различныя стороны общественныхъ золъ нашихъ, Щедринъ не удовлетворяется тѣмъ только, чтобы указать это зло, и представить его въ возможно ярко и искусно освѣщенной картинѣ, или похвастаться только тѣмъ, что онъ его презираетъ. Повсюду онъ старается указать, или, по крайней мѣрѣ, хотъ намекнуть, на причины этого зла, ближайшія и отдаленныя. Читатель именно застаетъ его надъ этой работой, и вмѣстѣ съ нимъ изыскиваетъ способы къ искорененію зла. Вотъ вторая причина постоянного сочувствія между читателемъ и авторомъ. Большою частью это исканіе, это стремленіе къ разрѣшенію общихъ вопросовъ выражается у него, какъ бы невольно, намеками; но и въ этомъ видѣ будитъ мысль читателя. Въ иныхъ же случаяхъ Щедринъ прямо пытается обобщить явленія, отыскать имъ общую причину и, слѣдовательно, уже, нѣкоторымъ образомъ, заставить плодотворно работать мысль читателя.

Такъ, напримѣръ, въ «Разсказахъ подъячаго» и потомъ въ слѣдующемъ отдѣлѣ «Неумѣлые» противоположность между какимъ-то удалствомъ зла, смѣшаннымъ съ веселостію и какою-то полнотою жизни въ старомъ поколѣніи и между цѣловкостію, робостію, застѣнчивостію добрыхъ стремленій въ новомъ поколѣніи, — выступаетъ съ поразительною ясностію, и невольно наводитъ на многія серьезные размышленія. Также точно въ разсказахъ о раскольникахъ одна, какъ бы невольно вырвавшаяся у Щедрина, замѣтка, вдругъ освѣщаетъ для васъ новымъ свѣтомъ дѣло, на которое и читатель и Щедринъ имѣли, по видимому, уже твердый, установившійся взглядъ.

Раскрывая въ грустномъ признаніи всѣ темныя стороны, всѣ злоупотребленія въ скитской жизни раскольниковъ, «Старецъ», или, что все то же, Щедринъ вдругъ проговаривается такимъ замѣчаніемъ: «Какъ вы хотите разсудите, ваше благородіе, а какая—нибудь причина тому есть, что между «мірскими» такихъ стариковъ не бываетъ», и невольно заставляетъ васъ задуматься и перевѣрить дѣло, которое вы готовы уже были сдать въ архивъ.

А сколько мыслей уже пробуждаютъ въ васъ хоть бы слѣдующія слова мѣщанина Голенкова, которыми онъ отвѣчаетъ на вопросъ автора, откуда происходитъ у насъ то зло, которое Щедринъ выставляетъ на видъ въ очеркахъ «Неумѣлые»:

«... Первое дѣло, много вы объ себѣ думаете, а объ другихъ — хоть бы объ насъ грѣшныхъ—и совсѣмъ ничего не думаете: такъ—малъ, мелюзга все это, скоты необрѣзанные. Второе дѣло, совсѣмъ не съ того конца начинаете. Ты, коли хочешь служить вѣрой, такъ по верхамъ—то не лазяй, а держись больше около земли, около земства—то. Если видишь, что плохо — ну, и поправь, наведи его на дорогу. А то пріѣдетъ это весь какъ пушка заряженный, да и стрѣляетъ въ насъ своею честностью, да благонамѣренностью. Ты благодѣтельствуй намъ — слова нѣтъ! — да въ мѣру, сударь, въ мѣру, а не то вѣдь намъ и тошно, пожалуй, будетъ... Ты вотъ поотпусти маленько, дайдохнуть—то! Можетъ, она и пошла бы машина!»

Наконецъ по временамъ Щедринъ подаетъ свой отзывъ и въ вопросахъ науки, поднятыхъ и серьезно обсуждаемыхъ въ нашей литературѣ. Такъ, по поводу спора о централизациі, онъ влагаетъ въ уста своему «озорнику» слѣдующія слова:

«Многіе возстаютъ на принципъ чистой, творческой администраціи за то, что она стремится проникнуть всѣ жизненныя силы государства. Но спрашиваю я васъ, что же тутъ худаго, какой отъ этого кому вредъ, и можетъ ли наконецъ быть иначе, чтобы принципъ, всеобщій и энергическій не поработилъ себѣ явленій случайныхъ и преходящихъ? Возставать противъ этого, не значитъ ли вопіять противъ исторіи, отказываться отъ своего настоящаго? Оглянитесь кругомъ себя—все, что вы ни видите, все это плоды администраціи: областныя учрежденія — плодъ администраціи, община — плодъ администраціи, торговля — плодъ администраціи, фабричная промышленность — плодъ администраціи. Какъ соединишь, знаете, все это въ одинъ фокусъ, такъ оно дѣлается виднѣе. Vous allez me dire que c'est désolant, а я вамъ доложу, что совсѣмъ напротивъ. Все это идетъ, и идетъ довольно—стройно; стало—быть, все имѣетъ свою raison d'être. Если бы мы самобытно развивались, Богъ знаетъ, какъ бы оно пошло; можетъ—быть направо, а можетъ—быть и налѣво.» Или тамъ же по поводу вопроса о народномъ образо-

ваніи и грамотности. Нѣтъ, конечно, надобности объяснять, что въ вопросѣ о централизаціи самъ авторъ относится иронически къ словамъ озорника.

Въ такой отрывочной, нѣсколько не рѣшительной формѣ выражаетъ по большей части Щедринъ результаты своихъ размышленій о различныхъ общественныхъ вопросахъ и наблюденій надъ различными явленіями нашей жизни; но иногда, какъ мы уже сказали выше, онъ прямо и положительно высказываетъ эти результаты, и слѣд. принимаетъ на себя рѣшеніе общихъ вопросовъ.

Такъ, въ приведенномъ уже выше рассказѣ «старецъ», рассказчикъ, или, что то же, Щедринъ говоритъ слѣдующее:

«На этотъ счетъ, доложу я вамъ, трехъ сортовъ есть люди. Одни плотно, сердцемъ это дѣло понимаютъ, и эти люди хорошіе, примѣрно, вотъ какъ родитель мой. Правы они или неправы, это статья особенная, да покрайности они вѣрують. И вы, баринъ, не подумайте, что они изъ-за сугубой аллилуйи или изъ-за перстовъ такъ убиваются. Нѣтъ, совсѣмъ дѣло другое; тутъ, сударь, вотъ антихристъ примѣшался, тутъ старина родная, земство, и мало ли еще чего? Извѣстно, князя Мышенкаго ученики. Этихъ людей немного, а нонѣ, пожалуй, и совсѣмъ нѣтъ. Эти на все готовы: и смерть принять, и поруганіе претерпѣть, все это даже за радость себѣ почитаютъ. А вотъ другой есть сортъ, такъ эти именно разбойники и святотатцы. Это больше все люди богатые или хитрые; заводятъ смуты не для чего другаго, какъ изъ того, чтобы прибыльтокъ получить, или еще для того, чтобъ честь ему была. Хуже, злѣе этихъ людей на свѣтѣ нѣтъ: готовъ полсвѣта зарѣзать, чтобъ прихоть свою исполнить. Самъ онъ не только въ старую, а, просто сказать, ни въ какую вѣру не вѣруетъ; знали бы ему только, что молъ вотъ онъ каковъ: слово скажетъ, такъ часть Россіи этого слова слушаетъ. Ну, и подлинно слушаютъ, потому что народъ не разсуждаетъ; ему только скажи, что такъ, молъ, при царѣ Горохѣ было, или тамъ что какой-ни-на-есть папа Дармосъ былъ, котораго тѣло было ввержено въ рѣку Тивирь, и отъ этого въ рѣкѣ той вся рыба повымерла, онъ и вѣритъ. Это третій сортъ».

Еще прямѣе выразилась эта попытка въ рассказѣ «Что такое коммерція», и, какъ ни натянуть и ни слабъ въ художественномъ отношеніи этотъ рассказъ, все-таки нельзя не благодарить Щедрина за попытку разрѣшенія или по крайней мѣрѣ обобщенія весьма интереснаго вопроса въ нашей общественной жизни. Нельзя не сознаться, впрочемъ, что вообще Щедринъ болѣе раздражаетъ, нежели удовлетворяетъ этими вопросами

умъ читателя, и это принадлежитъ къ основнымъ чертамъ его манеры.

Но есть еще одинъ вопросъ, нигдѣ не затронутый Щедринымъ прямо, можетъ-быть не рѣшенный положительно и имъ самимъ, а между тѣмъ ясно проходящій для читателя чрезъ всѣ его сочиненія, очевидно вопросъ конечный и самый широкій. — Пусть припомнитъ читатель общую картину въ «Богомольцахъ, странникахъ и проѣзжихъ» и пусть сообразить двѣ половины этой картины, чтобы понять, куда устремлены сочувствія и надежды автора и противъ чего направлена вся сатира въ его книгѣ. Та же мысль, которая выразилась до извѣстной степени въ этой картинѣ, отразилась и во всѣхъ «Губернскихъ очерковъ». И здѣсь, какъ и вездѣ, авторъ говоритъ болѣе своимъ личнымъ сочувствіемъ или несочувствіемъ, но, зато, симпатіи и антипатіи его высказываются постоянно и рѣшительно, ясно дѣлять всю книгу на двѣ фаланги лицъ, стоящихъ стѣной другъ противъ друга. Съ одной стороны, съ «озорниками» во главѣ выступаютъ: почтенный старецъ князь Чебылкинъ, Порфирій Петровичъ, Алексѣй Дмитріевичъ, Фейеръ, докторъ Иванъ Петровичъ, волостной писарь, Горехвастовъ, обманутый подпоручикъ, и проч. и проч.; съ другой—богомольцы и странники, старецъ, (отецъ), Аринушка, добрая Палагея Ивановна, бойкая Мавра Кузьмовна; въ сторонѣ и какъ будто поодаль стоятъ зрители Корепановъ, съ своею праздною, проницательною улыбкою, и Лузгинъ.

Основной мотивъ, который мы указали, не новый въ нашей литературѣ; но честь и слава Щедрину, что онъ твердо провелъ его черезъ такое множество лицъ, въ которыхъ немудрено спутаться безъ живаго сочувствія къ дѣлу.

Между прочими чертами, отличающими дѣятельность Щедрина, мы назвали многосторонность его въ выборѣ задачъ, широкій объемъ въ предметахъ наблюденія.... Нѣкоторые изъ послѣдователей Щедрина съузили до послѣднихъ предѣловъ предметъ и цѣль своей сатиры. Большая часть изъ нихъ рѣшительно ограничилась злоупотребленіями чиновничьяго быта. Другіе думали только о томъ, чтобы какъ можно ярче нарисовать картину зла. И тѣхъ и другихъ очевидно руководилъ лишь временный запросъ публики на этого рода обличенія. Мы сами слышали упреки, дѣланные Щедрину въ томъ, что онъ иногда оставляетъ такъ знакомый ему и такъ прекрасно имъ изображаемый бытъ чиновниковъ для какихъ-то «талантливыхъ натуръ», «Аринушекъ», «богомольцевъ» и т. п. Это совершенно не его родъ, говорили многіе. Говоря откровенно, мы остались бы весьма не высокаго мнѣнія о Щедринѣ, еслибы онъ ограничился одними злоупотребленіями чиновниковъ. Человѣкъ, ко-

торый изъ долгой, повидимому, жизни въ провинціи, изъ многообразнаго столкновенія своего со всѣми классами общества, вынесъ бы лишь одну ненависть къ злу, и притомъ исключительно: именно взяточничеству, долженъ бы быть человѣкомъ чрезвычайно—узкимъ по уму и сердцу. Такихъ людей—полуиностранцевъ—множество можно найти и въ столицѣ. Для такой узкой ненависти къ злу нѣтъ надобности выѣзжать никуда и сталкиваться съ жизнью. Мы очень рады напротивъ за Щедрина: воображеніе и умъ его поразились не одними взяточниками, но и другими типами, порождаемыми провинціальною жизнью. Еще болѣе рады мы за Щедрина, что мрачные образы, имъ преимущественно выводимые, не заслонили для него совершенно свѣта божьяго, что изъ-за нихъ просвѣчиваютъ ему, хоть изрѣдка, свѣтлыя лица въ родѣ Пелагеи Ивановны, что, наконецъ, за всѣмъ этимъ виднѣется у него широкій просторъ любимой имъ родины, слышится сочувствіе ко многимъ сторонамъ ея жизни...

Въ связи съ указанной сейчасъ широтою задачъ Щедрина находится и другое достоинство его сочиненій, именно обиліе свѣдѣній и представленій объ отечественномъ бытѣ, доставленныхъ имъ русскому читающему обществу. Сатирическая литература вообще, уже по самому роду задачи своей, представляетъ въ этомъ отношеніи обильный матеріалъ; но между тѣмъ какъ узость и исключительная практичность этихъ задачъ у нѣкоторыхъ писателей заставляетъ ихъ обращаться въ тѣсномъ, какъ—будто заколдованномъ кругу чиновничьяго быта, и другія сферы жизни отражаются въ ихъ сочиненіяхъ лишь по мѣрѣ соприкосновенія ихъ съ чиновниками, — Щедринъ поставляетъ себѣ и прямою задачею многостороннее изображеніе быта. Не будучи сатирикомъ исключительно, онъ рисуетъ, по возможности, всѣ стороны, которыми подѣйствовала на него испытанная жизнь, сочувствуя однимъ, негодуя надругія, не забывая даже упомянуть и о тѣхъ сладкихъ минутахъ, которыми обязанъ онъ русской природѣ. Припоминая различные очерки Щедрина, мы удивимся, какое количество провинціальныхъ, слѣдовательно русскихъ впечатлѣній прожили мы вмѣстѣ съ нимъ и благодаря ему, —какая масса провинціальныхъ отношеній сдѣлалась намъ доступною и понятною.

Все это, конечно, не представляетъ безусловной вѣрности, какъ личныя впечатлѣнія одного туриста, вынесенныя имъ изъ путешествія въ новую страну. Оно требуетъ повѣрки, другихъ показаній, но все-таки для многихъ уже способствовало къ знакомству съ новыми для нихъ сторонами отечественнаго быта и расширила ихъ умственный кругозоръ. По новизнѣ раскрытыхъ сторонъ жизни, въ этомъ отношеніи особенно-замѣчательны

разказы «Старецъ» и «Матушка Мавра Кузьмовна.» Можно безъ преувеличенія сказать, что быть, въ нихъ раскрытый, отношеніе къ нимъ мѣстныхъ властей, нынѣшнее состояніе раскольниковъ—были для многихъ совершенною новостью. Немѣшаетъ между прочимъ замѣтить, что послѣдній разказъ принадлежитъ къ самымъ лучшимъ въ сочиненіяхъ Щедрина и совокупляетъ въ себѣ всѣ исчисленные нами достоинства автора.

Но и другія, уже болѣе всѣмъ знакомыя, стороны нашего быта выяснились для насъ гораздо болѣе изъ сочиненій Щедрина. Производство слѣдствій въ нашихъ провинціяхъ, отношенія при этомъ чиновниковъ къ подсудимымъ, различныя стороны провинціальной общественной жизни, начиная отъ должностнаго пріема у губернатора до характернаго перевоза въ половодье: все это мы какъ-будто видѣли и пережили сами. Все это, пожалуй, мелочи съ извѣстной точки зрѣнія; но знакомство, родство, такъ-сказать, со всѣми мелочами русской жизни и заставляетъ насъ любить отечество не за его достоинства, но просто, каково оно есть. Мы благодарны Щедрину, что такое знакомство входило именно въ планъ его.

Изобрѣтеніе или по крайней мѣрѣ усвоеніе извѣстной формы для избранной дѣятельности назвали мы также особенностію Щедрина, какъ основателя извѣстнаго литературнаго направленія. Форма легкихъ разказовъ, не принимающая никакихъ уже установленныхъ въ поэзіи формъ, и оставляющая автору совершенную свободу и отъ своего лица и отъ лица выдуманнаго разказчика высказывать все, что только онъ знаетъ объ избранномъ предметѣ, — вотъ форма, которую принялъ Щедринъ въ своихъ очеркахъ. Собственно говоря, она не изобрѣтена имъ: уже гораздо прежде Даль, потомъ Тургеневъ и др. употребляли ее для такихъ предметовъ, которые не требовали болѣе строгой, художественной формы. Щедринъ только усвоилъ ее и какъ бы узаконилъ для извѣстнаго рода сатирической литературы. Собственно говоря, это не форма, это только совершенная свобода выражать свои мысли и наблюденія въ какомъ угодно видѣ и объемѣ. Но и въ этомъ Щедринъ оставляетъ за собою своихъ подражателей. У него встѣчаются и разказы отъ своего лица, и особенные, фантастически-лирическіе разказы въ родѣ «Аринушки», и сцены, и картины природы или публичной жизни, и монологи и т. п., и наконецъ попытки перейти къ строгой драматической формѣ. Однимъ словомъ душа Щедрина откликнулась различнымъ образомъ на явленія жизни, а не извлекала изъ нихъ лишь однообразные матеріалы. Послѣдователи его усвоили себѣ лишь немногія изъ этихъ формъ, и часто даже къ избранной уже ими формѣ относятся съ крайней небрежностью въ художественномъ отношеніи. Видно, что они

чрезвычайно торопятся перейти къ главному своему предмету, то—есть доложить публикѣ, что вотъ, молъ, такія-то и такія-то есть у насъ злоупотребленія. Не говоримъ уже о забытыхъ публикою писателяхъ новой школы, изъ которыхъ иные успѣваютъ лишь вкратцѣ объявить публикѣ, что они пріѣхали въ уѣздный городъ, остановились въ трактирѣ, и затѣмъ непосредственно заставляютъ половаго или кого попало рассказывать о плутняхъ городничаго и т. д. Писатели, отличенные публикою, напр. Печерскій, позволяютъ себѣ также небрежности въ этомъ отношеніи. Въ «Медвѣжьемъ углѣ», напримѣръ, онъ не потрудился даже, заставляя подрядчика рассказывать о плутняхъ инженеровъ, нѣсколько облегчить для читателя психологическій переходъ отъ перваго своего знакомства съ нимъ къ откровенному разсказу послѣдняго, такъ что подрядчикъ невольно представляется читателю какою-то заведенною машиною, которую стоитъ только тронуть, чтобы изъ него посыпались рассказы о различныхъ чиновничьихъ продѣлкахъ, — и это явно относится къ небрежности, такъ какъ Печерскій доказалъ въ другихъ случаяхъ свое умѣнье въ этомъ отношеніи.

Опять таки и въ отношеніи формы мы должны отдать преимущество передъ другими Щедрину. Онъ очевидно заботится о художественной отдѣлкѣ своихъ разсказовъ, какъ о языкѣ своихъ дѣйствующихъ лицъ, о слоgѣ, о круглотѣ переходовъ и т. п., однимъ словомъ, онъ явно хочетъ дѣлать свое дѣло съ нѣкоторымъ изяществомъ. Привычка, отличающая порядочнаго человѣка.

Мы не считаемъ необходимымъ говорить еще разъ объ общественномъ значеніи очерковъ Щедрина и вообще новѣйшей сатирической школы. Это значеніе ихъ и польза уже оцѣнены публикою по заслугамъ. Общественное мнѣніе съ своей стороны давно уже выразило свое глубокое сочувствіе къ тѣмъ благороднымъ и передовымъ дѣятелямъ мысли, которые первые угадали духъ новаго порядка вещей и взяли на себя смѣлость быть его выразителями, наперекоръ установившейся, робкой рутинѣ. Заслуга въ этомъ дѣлѣ равно принадлежитъ какъ Щедрину и прочимъ сатирикамъ, такъ и всѣмъ способствовавшимъ гласности ихъ сочиненій.

Мы старались по возможности показать хотя въ главныхъ чертахъ истинное значеніе новой литературной школы, сдѣлавшей себѣ исключительной задачею обличеніе общественныхъ злоупотребленій. Признавая за Щедринымъ всѣ заслуги основателя новой школы и первенства въ дѣлѣ обличенія, мы въ то же время остановились на немъ съ особеннымъ вниманіемъ и старались показать всѣ стороны его дѣятельности, дающія ему право на благодарность и сочувствіе публики.

Этимъ по настоящему должна бы и ограничиться задача нашей статьи. Но нѣкоторыя особыя обстоятельства заставляютъ насъ коснуться того же дѣла съ другой стороны. Не разъ случалось намъ встрѣчать людей, которые, законно радуясь общественному прогрессу, сдѣлавшему возможнымъ у насъ появленіе Щедрина и другихъ сатириковъ, хотятъ непременно видѣть въ этихъ послѣднихъ и прогрессъ самой поэзіи. Писатели, прежніе и современные, начинаютъ цѣниться ими исключительно по мѣркѣ новаго направленія, какъ-будто задачи поэзіи и общественные вопросы нашли себѣ настоящее выраженіе лишь въ новой школѣ. Противъ такого-то взгляда хотимъ мы сказать нѣсколько словъ.

Въ государствахъ, болѣе цивилизованныхъ и болѣе привыкшихъ къ различнымъ выраженіямъ умственной и общественной дѣятельности, всякое литературное явленіе уже имѣетъ заранѣе опредѣленное ему мѣсто и всеміи признанное значеніе. Смѣшеніе понятій между различными родами и различною степенью важности литературныхъ явленій не можетъ имѣть тамъ мѣста. Никому, напр., въ Англіи не придетъ въ голову по поводу превосходныхъ разсказовъ Маколея, сравнивать его съ Шекспиромъ и тѣмъ менѣе унижать достоинство и значеніе хроникъ послѣдняго. Также точно, какой-нибудь романъ Диккенса, написанный съ извѣстною задачею, можетъ быть прочитанъ тамъ съ восторгомъ всеміи; но слава Вальтеръ-Скотта, не писавшаго романовъ съ задачами такого рода, не страдаетъ отъ того нисколько. Дѣло въ томъ, что критика тамъ давно уже стоитъ на прочныхъ основаніяхъ, что всѣ роды писателей оцѣнены ею по ихъ дѣйствительнымъ заслугамъ. Поэтому, радушно привѣтствуя всякаго новаго вкладчика въ свое литературное богатство, — всякое новое направленіе, она всему умѣетъ дать свое мѣсто, не тревожа прежнихъ уважаемыхъ ею дѣятелей и не отрывая листьевъ отъ ихъ лавровыхъ вѣнковъ, для украшенія новыхъ пришельцевъ.

Не такъ у насъ, при малой опытности нашей въ различныхъ явленіяхъ публичности и при шаткости и скудости общихъ началъ, выработанныхъ критикою.

Большинство публики обыкновенно или возстаетъ на новое, незнакомое ей направленіе, или, признавъ его законность и пользу, не умѣетъ примирить его съ другими и становится къ нимъ во враждебныя или по крайней мѣрѣ равнодушныя отношенія. И это относится не къ такимъ только писателямъ, которые служили лишь выраженіемъ извѣстной эпохи, извѣстнаго преходящаго движенія, но къ истиннымъ, вѣковѣчнымъ художникамъ. Критика, часто по недостатку взгляда, возвышающагося надъ общемою массою, а часто изъ боязни ослабить чѣмъ-либо

новое, благотворное въ своемъ родѣ направленіе, нисколько не противодѣйствуетъ мнѣнію большинства и даже неодобрительно встрѣчаетъ всякое противодѣйствіе.

Всѣ, конечно, помнятъ, какъ, понявъ наконецъ Гоголя, публика наша охладѣла къ тому направленію, представителемъ котораго былъ Пушкинъ. На нашихъ глазахъ совершается явленіе подобнаго же рода, хотя въ несравненно-меньшихъ размѣрахъ. Обрадовавшись новому движенію, начавшемуся въ нашей литературѣ, — именно преслѣдованію взяточничества и другихъ общественныхъ золъ нашихъ, большинство публики какъ будто охладѣло къ своимъ еще недавно любимымъ дѣятелямъ, а услужливая критика успѣла уже принести въ жертву новой школѣ и Пушкина и Гоголя.

Все это было бы только забавно, когда бы не прикрывалось въ то же время нѣкоторымъ видомъ теоріи, давно уже стремящейся отнять у поэзіи всякое самостоятельное значеніе и сдѣлать ее однимъ изъ орудій цивилизаціи, въ самомъ практическомъ и матеріальномъ смыслѣ слова. По этой теоріи, которая прежде носила у насъ названіе исторической критики, а теперь въ болѣе сложномъ видѣ щеголяетъ пока безъ имени, изящная литература или поэзія смѣшивается съ литературою вообще; таланту, какъ художественному, такъ и критическому, не дается никакого значенія (или, по крайней мѣрѣ, тотъ и другой смѣшиваются съ ремесленною ловкостью); каждый писатель цѣнится лишь по столько, по сколько онъ опередилъ своихъ предшественниковъ въ разрѣшеніи какихъ бы то ни было общественныхъ вопросовъ. Гоголь поэтому долженъ уступить Щедрина, ибо послѣдній не такъ инстинктивно смотритъ, напр., на взяточничество, какъ первый. Люди мыслящіе, къ сожалѣнію, оставляютъ безъ вниманія развитіе подобной теоріи, а большинство публики, и безъ того уже наклонное къ пристрастію ко всякой новизнѣ, оправдываетъ свой грубый эстетическій вкусъ мнимымъ прогрессомъ въ искусствѣ и поэтахъ.

Вотъ причины, которыя по преимуществу заставляютъ насъ коснуться художественной стороны произведеній новой сатирической школы, а въ особенности лучшаго представителя ея — Щедрина. Безъ этого обстоятельства мы, можетъ-быть, и не нашли бы необходимымъ прилагать къ нимъ строгія эстетическія требованія, ради важной пользы и значенія ихъ въ другихъ отношеніяхъ.

Дѣятельность Щедрина не художественная, въ строгомъ смыслѣ слова, именно по задачѣ своей, хотя мы и не отрицаемъ въ немъ способностей художественныхъ. Его нисколько не занимаютъ самые характеры, имъ выводимые, ихъ развитіе, ихъ

естественное столкновение между собою и проистекающія отсюда драматическія коллизіи. Онъ никогда не переноситъ весь совершенно въ жизнь, какъ это дѣлаютъ истинные художники, но, читая его, вы постоянно чувствуете, что находитесь въ сферѣ мысли. Лица его не живутъ сами по себѣ: онъ вызываетъ ихъ лишь къ вопросу и направляетъ всю пылкость своей мысли къ тому, чтобы добиться отъ нихъ какъ можно больше показаній, имъ же самимъ подсказанныхъ, иногда даже мало обращая вниманія на то, сообразны ли эти показанія съ характеромъ и общественнымъ положеніемъ выводимаго лица. Отсюда и самая форма личныхъ признаній и разсказовъ, употребляемая имъ по преимуществу, и часто совсѣмъ не выдерживающая художественной критики. За примѣрами ходить не далеко. Разсказываетъ Мавра Кузьмовна (въ разсказѣ того же имени), сама бывшая настоятельницею раскольничьяго скита и теперь еще ревностная его поборница, про прежнее житіе—бытїе губернскому чиновнику; разсказываетъ, положимъ, съ откровенностью; но можно ли заставить ее сказать, напримѣръ, слѣдующее: «пища (унасъ) бывало завсегда въ хорошемъ видѣ, труда не много — развѣ на постели поваляться; такъ за зиму—то нѣны матери такъ отъѣдятся, что смотрѣть зазорно». Также точно Горехвастовъ (въ разсказѣ того же названія) не имѣлъ никакой надобности разсказывать автору, что онъ не только оставилъ увезенную имъ дѣвушку, но и *взялъ съ нея деньги*, развѣ только затѣмъ, чтобы обрисоваться читателю со всѣхъ своихъ черныхъ сторонъ. Конечно, слишкомъ грубыхъ и рѣзкихъ ошибокъ въ этомъ родѣ Щедринъ, какъ человѣкъ умный, не могъ допустить; но зато мелкія, въ родѣ приведенныхъ, поражаютъ на каждомъ шагѣ, ибо вообще память и другія разсудочныя способности не могутъ замѣнить не стѣсненной никакими практическими задачами творческой фантазіи, замышляющей характеры въ ихъ индивидуальной цѣлости.

Слабость и безсиліе творческой производительности есть вообще удѣлъ того практическаго направленія литературы, которую ввелъ у насъ Щедринъ, а за нимъ довела до крайности новая сатирическая школа. Писателямъ съ такою тревожною дѣятельностью, исключительнымъ служителямъ временныхъ соціальныхъ вопросовъ, некогда глубоко вникнуть въ жизнь, чтобы вынести оттуда широкое поэтическое міросозерцаніе. Вопросы, съ которыми они приступаютъ къ дѣйствительности, не принадлежатъ имъ самимъ — это вопросы современные, подсказываемые имъ со всѣхъ сторонъ, часто полуразрѣшенные; стоитъ только тронуть ихъ въ какой угодно формѣ — и сочувствіе публики уже пріобрѣтено. Не такъ легко достается это сочувствіе истиннымъ художникамъ, которыхъ заслугами

такъ удобно пользуются писатели, служащіе современнымъ требованіямъ публики. Уловить типическія черты жизни, разнообразно и на первый взглядъ безсмысленно волнуемой передъ нашими глазами, понять смыслъ ихъ, и твердо установить свои нравственныя къ нимъ отношенія, выработать наконецъ строгую художественную форму для выраженія своихъ идей — вотъ высокое дѣло литераторовъ-художниковъ, если взять его даже исключительно съ точки зрѣнія соціального значенія. Все дается имъ не даромъ: и трудный процессъ самостоятельнаго разумѣнія жизни, и борьба съ нравственными и умственными предразсудками окружающаго ихъ общества, и, наконецъ, выдѣлка строгой художественной формы. Но зато они поистинѣ ведутъ народное сознаніе, и взгляды, ими самостоятельно выработанные, типы, ими созданные, — дѣлаются общими взглядами, общими типами.

Есть, конечно, различныя степени значенія писателей въ этомъ отношеніи, различная степень продолжительности ихъ вліянія на массы, различная степень ихъ самобытности, наконецъ; нѣкоторая ступень въ этой лѣстницѣ принадлежитъ, безъ сомнѣнія, и тому современному сатирическому направленію, которое взяло на себя задачу проведенія въ массу публики нѣкоторыхъ насущныхъ соціальныхъ вопросовъ, но ужь конечно эта ступень далеко не изъ высшихъ. Этимъ замѣчаніемъ мы не унижаемъ ихъ достоинства, а только указываемъ настоящее мѣсто произведеній новой школы въ нашемъ обществѣ литературномъ богатствѣ. Великій историкъ можетъ снизойти до памфлета; памфлетъ этотъ въ данную минуту можетъ даже быть нужнѣе историческаго сочиненія; а принадлежа даровитому перу, можетъ остаться навсегда въ исторіи литературы; но разница между этими двумя формами дѣятельности останется все-таки неизмѣнною.

Самостоятельность, оригинальность, есть одно изъ первыхъ условій истинно-поэтической дѣятельности. Новая школа не проявила ни въ чемъ этой самостоятельности. Мы уже сказали выше, что идеи ея суть ходящія, ясно и давно высказываемыя во всемъ обществѣ. Также точно не самостоятельны они и по формѣ. Самые выпуклые представители ея и въ лучшихъ своихъ произведеніяхъ заимствовали прямо и типы, и даже художественныя приемы у писателей болѣе ихъ самостоятельныхъ.

Щедринъ, какъ только удаляется отъ особенно-хорошо знакомаго ему быта чиновниковъ и пробуетъ перейти къ типамъ изъ другихъ сферъ жизни, къ типамъ болѣе широкимъ, или какъ начинаетъ особенно заботиться о художественной отдѣлкѣ своего разсказа, — непременно и въ типахъ и въ

приемахъ встрѣчается съ писателями ему предшествовавшими. Его «Карепановъ» и «Лузгинъ» кому же не напоминаютъ извѣстныхъ тургеневскихъ лицъ? Въ лучшемъ своемъ разсказѣ «Матушка Мавра Кузьмовна» онъ копируетъ совершенно пріемъ, употребленный г. Писемскимъ въ «Старой барынѣ». Хозяйка постоялаго двора въ разсказѣ Писемскаго и депутатъ Половниковъ — развѣ не одна и та же пружина, употребленная обоими авторами для извѣстныхъ цѣлей? Печерскій въ своемъ разсказѣ «Старые годы» очевидно группировалъ собранные имъ анекдоты около образа, смѣшаннаго изъ двухъ типовъ: старика Багрова и Куролесова, изъ «Семейной хроники», нѣсколько измѣнивъ ихъ сообразно анекдотамъ, находившимся въ его распоряженіи, и собственному своему взгляду на дѣло.

Но не говоря уже о томъ, что изъ такого смѣшенія у Печерскаго не вышло цѣльнаго, живаго лица, онъ не умѣлъ даже и воспользоваться какъ слѣдуетъ стоявшими передъ нимъ образцами. И у Аксакова представлены также старые годы, и представлены конечно не въ привлекательномъ видѣ; но какая поразительная разниа въ пріемъ истинно-художественномъ и въ приемахъ новой школы! Не говоримъ уже о старикѣ Багровѣ, котораго сама личность привлекательна во многихъ отношеніяхъ; но посмотрите, какъ мастерски округлено и очеловѣчено впечатлѣніе, производимое на васъ лицомъ Куролесова. Его таинственная, вѣроятно, страшная смерть, эта глубокая и истинная скорбь жены его, — какой полный, гармоническій аккордъ составляетъ все это вмѣстѣ взятое, какъ многосторонне и истинно переданъ здѣсь весь духъ эпохи! Таково истинно-человѣческое и слѣдовательно поэтическое отношеніе къ усопшимъ.

Самая форма разсказа «Старые годы», то-есть мысль заставить говорить о прежнемъ времени человѣка, относящагося къ нему съ уваженіемъ и какъ бы невольно высказывающаго все его безобразіе, заимствована очевидно изъ «Старой барыни» г. Писемскаго, гдѣ употребленъ такой же пріемъ. Но и здѣсь опять у подражателя новая художественная ошибка. Въ «Старой барынѣ» разсказчикъ — живое и притомъ драматическое лицо, судьбою котораго какъ бы оканчивается расчетъ со старымъ временемъ. Разсказчикъ въ «Старыхъ годахъ» есть просто рутинный пріемъ, употребленный для того, чтобы сообщить публикѣ въ нѣкоторой связи собранные анекдоты.

Говоря о художественномъ значеніи новой школы, нельзя умолчать о комедіи Щедрина «Смерть Пазухина», какъ о произведеніи крупномъ и имѣющемъ притязаніе на строгую художественную форму. Въ комедіи этой достаточно данныхъ, обличающихъ въ авторѣ не празднаго наблюдателя жизни. Основа ея, то-есть смерть богатаго купца и стол-

кновение грубыхъ и алчныхъ интересовъ надъ его могилой, — выбраны очень удачно. Авторъ довольно-зорко подсмотрѣлъ истинный комизмъ въ страшномъ отношеніи трехъ поколѣній, изъ которыхъ отецъ и внукъ принадлежатъ къ мірскимъ, а сынъ находится въ расколѣ; но комическое этихъ отношеній не схвачено и не передано Щедринымъ съ достаточною ясностью. Наконецъ развязка комедіи сильна и смѣла, — поражаетъ нѣсколькими вѣрными психологическими чертами. Но этимъ и ограничиваются всѣ достоинства комедіи. Затѣмъ уже все въ ней заключается въ ѣдкихъ фразахъ или намекахъ, влагаемыхъ безразлично въ уста дѣйствующихъ лицъ. Отношенія этихъ дѣйствующихъ лицъ между собою почти нельзя понять. Комизмъ по большей части грубъ, или отзывается цинизмомъ. О характерахъ нѣтъ и помину. — Такъ рѣзко обличаетъ свою художественную несостоятельность новое направленіе, даже въ лучшемъ своемъ представителѣ, лишь только оно рискнетъ вполне облечься въ чуждую ему форму.

Этимъ замѣчаніями мы заключимъ нашу статью. Одна изъ первыхъ задачъ критики при появленіи новаго рода дѣятеля въ литературѣ или новаго направленія, есть — объяснить это новое явленіе, назвать его по имени, указать его истинное значеніе, границы и отношенія къ другимъ, ближайшимъ къ нему, явленіямъ. Такую именно задачу предложили мы себѣ при разборѣ сочиненій Щедрина и новой сатирической школы. Разрѣшивъ, по крайнему нашему разумѣнію, поставленный себѣ вопросъ, мы можемъ уже съ нѣкоторою достовѣрностью предсказать дальнѣйшія судьбы новаго направленія. Движеніе, съ особенною силою возбужденное въ нашемъ обществѣ Щедринымъ и другими, конечно, не прекратится. Но мы можемъ надѣяться, что въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи оно приметъ болѣе приличную ему форму и не произведетъ уже того смѣшенія понятій, которое возбудило на первый разъ. Новость дѣла, полухудожественная форма, данная новыми писателями обличеніямъ, для большей ихъ популярности умышленное молчаніе критики, опасавшейся своими замѣчаніями противъ нехудожественности новаго направленія повредить самому дѣлу, имъ начатому, — все это могло ввести на первый разъ въ заблужденіе нашу публику, и, упиваясь новымъ, давно ожидаемымъ ею воздухомъ гласности, она могла думать, что наслажденія ея суть наслажденія эстетическія. Но всякое смѣшеніе понятій есть заблужденіе, а всякое заблужденіе вредно. Примемъ же новое начало, вступающее въ нашу жизнь, за то, что оно есть, но, не смущаясь формами, какія оно можетъ еще принимать смотря по обстоятельствамъ, не будемъ украшать его, какъ дѣти, чужими нарядами.

БЛАГОЧЕСТИВОМУ МЕЦЕНАТУ.

О, мудрый другъ! отъ странъ полночи,
Съ побережья царственной Невы,
Ты кротко обращаешь очи
На наши темныя главы.
Ты кубокъ роскоши лѣнливой
Испилъ до дна: но ты жъ подъ часъ
Рѣчами ласки не брюзгливой
На подвигъ поощряешь насъ.
Мудрецъ, съ улыбкой благосклонной,
За чашей хвалишь круговой
Нашъ строгій постъ, нашъ трудъ бессонный, —
Плебейской вѣры быть простой.
Прими жъ привѣтъ отъ черни темной
Тобою взысканныхъ людей,
И приношенъя дани скромной
Ихъ благодарственныхъ рѣчей.
Прими мольбу! Твоей лазури,
Твоихъ безоблачныхъ высотъ,
Да не смущаютъ крылья бури
И мракъ житейскихъ непогодъ.
Да мысль желѣзною рукою
Твоей главы не тяготить,
И вѣчно да цвѣтеть весною
Румяный пухъ твоихъ ланитъ.

А. Хомяковъ.

КЪ ПОРТРЕТУ MISS J... L...

Въ чертахъ одной, на диво свѣту,
 Поэтъ всѣ прелести вмѣстилъ;
 А Богъ — повѣрите ль? — Джульэту
 Живую міру подарилъ.

Но скоро ль встрѣтитъ ей Ромео?
 Иль не дожидаться ей во-вѣкъ,
 Чтобы, какъ въ сказкѣ, передъ нею
 Предсталъ любимый человѣкъ?

Иль, съ дѣтства суетнымъ разсчетомъ
 Другими въ жертву отдана,
 Обману, горю и заботамъ
 Вся жизнь ея обречена?

Ужасно думать: можетъ-статься,
 Тотъ грустный мигъ ужъ не далекъ,
 Когда ей нехотя отдаться
 Судилъ слѣпой и глупый рокъ!

И вотъ, по мраморнымъ ступенямъ,
 Ее ведетъ въ свой домъ нахаль...
 Надутъ и гордъ, къ ея колѣнямъ,
 Какъ... Петипа, онъ вдругъ припалъ!

Нѣтъ, сохранить тебя Всевышній
 Отъ этой плоской суеты:
 Онъ пощадитъ разцвѣтъ твой пышный,
 Онъ пощадитъ твои мечты!

Лишь не считай ты жизнь игрою,
 Любовь на мелочь не мѣняй,
 И вѣрь, дитя, безъ бурь, безъ бою
 И на землѣ не дастся рай.

С. Колошинъ.

20 апр. 1858.

Большая Дмитровка.

ДВѢ ЗАПИСКИ ТАТИЩЕВА, ОТНОСЯЩІЯСЯ КЪ ЦАРСТВОВАНІЮ ИМПЕРАТРИЦЫ АННЫ.*

1.

Произвольное и согласное разсужденіе и мнѣніе собравшагося
шляхетства русскаго о правленіи государственномъ.

Верховный тайный совѣтъ, при объявленіи о кончинѣ императора Петра Второго, купно объявилъ о избраніи на престолъ царевны Анны Іоанновны, герцогини Курляндской; и хотя они тогда собранный генералитетъ спрашивали, согласны ли оному избранію, однакожь они въ томъ уже надлежащій порядокъ избранія преступили; ибо сіе не есть наслѣдства порядочнаго объявленіе, но избраніе, и такое, какого отъ начала государства въ Руси не бывало. А хотя избранія три были, яко царя Бориса Годунова, Василя Шуйскаго и Михаила Романова: но всѣ оныя никакихъ наслѣдниковъ къ тому не имѣли. Избранія же и оныя первыя два порочны, что избирали не порядкомъ: въ первомъ было принужденіе, во второмъ коварство. А по закону естественному избраніе должно быть согласіемъ всѣхъ подданныхъ, нѣкоторыхъ персонально, другихъ чрезъ повѣренныхъ, какъ такой порядокъ во многихъ государствахъ утвержденъ, а не четыремъ или пяти человѣкамъ, какъ то нынѣ весьма непорядочно учинено. А хотя въ Римской или Нѣмецкой имперіи уза-

* Помѣщеніемъ этого любопытнаго историческаго матеріала, сборникъ одолженъ обязательности М. П. Погодина. — Правописаніе подлинника исправлено для удобства читателей.

конено седмерымъ, а нынѣ девятерымъ курфирстамъ императора избирать, но мы такого закона не имѣемъ и чужому послѣдовать не должны. А притомъ же наипаче то должны разумѣть, что чрезъ оное тѣ курфирсты такъ усилились, что цесарь уже никакой власти не имѣетъ, а они стали сами повелителями; и какъ они часто въ несогласіе приходятъ, такъ оная имперія отъ-часу умалается, а сосѣди оной усиливаясь, часть по части во всѣ стороны отрываютъ; слѣдственно, и мы не лучшаго ожидать имѣемъ. Токмо сіе избраніе оставляется въ молчаніи для того, что весь народъ персоною ея величества доволенъ и никто не споритъ. Токмо сіе должно протестовать для предка и сочинить на такой нечаянный случай законъ, что оттого безпорядка не воспослѣдовало, тоже какъ коварнымъ избраніемъ Василя Шуйскаго все государство въ смятеніе и крайнее разореніе приведено было.

Второе, весьма сего тяжчайшее: что они дерзнули собою единовластительство отставить, а ввести аристократію, объявляя намъ ея величества письмо и пункты, яко бы она сама по своей волѣ учинила, и принуждаютъ насъ, подъ образомъ слышанія, оное подписками утвердить, яко бы мы той ихъ явной продерзости согласовали; и какъ они то принужденіе закрывая, объявляютъ: если кто противъ онаго имѣетъ что представить, чтобы о томъ имъ объявили. А понеже, какъ выше показано, что они надъ пристойнымъ и законъ самовольно власть себѣ похитили, выключая достоинство и преимущество всего шляхетства и другихъ сановъ, что намъ должно и необходимо нужно съ прилежностію разсмотрѣть, и по тому представить что къ пользѣ государства надлежитъ, и оное свое право защищать по крайней возможности, не давая тому закоснѣть, а паче опасаться, что они, если видя насъ въ оплошности, на большій безпорядокъ не дерзнули.

Въ разсужденіи томъ слѣдующія суть главнѣйшія обстоятельства:

1) По кончинѣ государя безнаслѣдственнаго, имѣетъ ли кто надъ народомъ власть повелѣвать?

2) Кто въ такомъ случаѣ можетъ каковъ законъ или обычай застарѣлый перемѣнить, и новый учинить?

3) Ежели нужно намъ самовластное древнее правительство перемѣнить, то прежде разсудить, какое по состоянію народа и положенію за лучшее?

4) Кому и какимъ порядкомъ оное учрежденіе сочинить?

РАЗСУЖДЕНІЕ.

На 1-ое. Понеже мы избранному или наслѣдствомъ престолъ пріявшему государю, ему токмо единому присягаемъ въ вѣр-

ности и послушаніи обязываемся, и ему власть законоизданія уступаемъ по его смерть, которая какъ его отъ власти, такъ подданныхъ отъ присяги освобождаетъ; и хотя онъ при себѣ для помощи своей даетъ другимъ власть во управленіе, и при немъ оныя той чести, власти и преимущества правильно достойны, однакожь оное все кончиною его кончится и власть оныхъ пресѣкается, а остаются равны вообще народы въ ихъ прежнемъ станѣ, и никто ни надъ какимъ ни малѣйшей власти не имѣетъ, доколѣ послѣдовавшій государь оныхъ паки утвердить, или, отрѣша, иныхъ опредѣлить; но между тѣмъ, чтобы нужная расправа и правленіе не пресѣклось, общенародіе уступаетъ имъ токмо ту власть, какову и по прежнимъ законамъ, каковъ прежде имѣли, а болѣе безъ точнаго опредѣленія отъ народа никакъ требовать не могутъ.

На 2-е. Сіе изъ вышесказаннаго ясно, что власть законодательства уступается токмо самому государю, и нѣтъ приклада у насъ, чтобъ государь при себѣ кому оную власть уступилъ, развѣ наслѣдника престола и соуправителя объявить, какъ то въ Римской имперіи было. Законы же хотя разнымъ повѣреннымъ сочинять позволяетъ, но безъ утвержденія его ни одинъ не дѣйствителенъ, для того всѣ законы отъ его имени происходятъ. Когда же государя нѣтъ, то и его позволенія, ни утвержденія быть, яко же и отъ его имени издать не можно; слѣдственно, никакой законъ или порядокъ перемѣнить никто не можетъ, развѣ общенародное созволеніе.

На 3-е. Къ премѣненію правительства никакой нужды, ни пользы нѣтъ, развѣ великій вредъ; но чтобъ сіе яснѣе было, рассмотримъ всѣ правильныя, а потомъ смѣшанныя правительства: 1) монархію или единодержавіе, 2) аристократію или избранныхъ правительство, 3) демократію или общественное правленіе. Изъ сихъ разныхъ правительствъ каждая область избираетъ, разсмотря положеніе мѣста, пространство владѣнія и состояніе людей, а не каждое всюду годно, или каждой власти можетъ быть полезно. Напримѣръ: въ единственныхъ градѣхъ, или весьма тѣсныхъ областяхъ, гдѣ всѣмъ хозяевамъ домовъ вскорѣ собраться можно, въ такомъ демократія съ пользою употребиться можетъ, а въ великой области уже весьма неудобна. Въ областяхъ, хотя изъ нѣсколькихъ градовъ состоящихъ, но отъ нападений непріятельскихъ безопасныхъ, какъ-то на островахъ и проч., можетъ аристократическое быть полезно, а особливо если народъ ученіемъ просвѣщенъ и законы хранить безъ принужденія прилежитъ, — тамъ такъ остраго смотрѣнія и жестокаго страха не требуется.

Великія и пространныя государства для многихъ сосѣдей завидующихъ, оныя некоторымъ изъ объявленныхъ правиться

не могутъ; особливо гдѣ народъ недовольно ученіемъ просвѣщенъ, и за страхъ, а не изъ благонаравія, или познанія пользы и вреда, законъ хранятъ; въ таковыхъ не иначе, какъ самоили единовластіе нужно. Но какъ состоянія областей много разнятся, такъ и правительства оныя избираются смѣшанныя изъ двухъ, или всѣхъ трехъ по части; примѣръ сему имѣемъ: Голландія, Швейцарія, Генуя и проч. изрядно правятся демократією и называются республики. Венеція почти едина правится аристократією. Испанія, Франція, Россія, издревле Турецкое, Персидское, Индійское, Китайское, яко великія государства, не могутъ иначе правиться, какъ самовластіемъ. За тѣмъ смѣшанныя: Нѣмецкая имперія и Польша правятся монархією съ аристократією. Англія и Швеція изъ всѣхъ трехъ состоятъ, яко въ Англіи нижній парламентъ или камера, въ Швеціи сеймъ—представляютъ общенародіе; верхній парламентъ, а въ Швеціи сенатъ—аристократію.

Да еще и сіе случаями бываетъ недостаточно, яко Римъ, прежде императоровъ, правился аристократією и демократією, а въ случаѣ тяжкой войны избиралъ диктатора и давалъ ему полное единовластительство. Равно Голландія въ трудномъ состояніи избирала статгалтера съ полною властію, и въ Англіи нѣкогда на время королю въ чемъ-либо даютъ полную власть. Изъ сего видимъ, что издревле-утвержденныя республики въ случаяхъ опасныхъ и трудныхъ монархію вводятъ, хотя и на время, знатно довольно видя, что монархическое правленіе полезнѣе.

Нынѣ можно разсмотрѣть, которое изъ сихъ трехъ правительствъ, по состоянію нашего государства, есть полезнѣйшее.

Во-первыхъ демократія никакъ употребиться не можетъ, ибо пространство великое государства тому препятствуетъ. Аристократія насъ довольно вредомъ приключеннымъ научила: для сего нужно исторически преждебывшее вспомнать.

Мы хотя собственной до Рюрика исторіи не имѣемъ, однако намъ греческіе, римскіе и сѣверные древніе писатели довольно тотъ недостатокъ награждаютъ, именуя предковъ нашихъ Скиѳами, и сказуютъ, что имѣли самовластныхъ государей. Отъ Рюрика по нашимъ собственнымъ исторіямъ видимъ: до Мстислава Великаго было совершенное единовластительство, и не болѣе какъ чрезъ двѣсти пятьдесятъ лѣтъ государство наше всюду распространилось, ибо по Дунай, Бугъ, Вислу, Нѣманъ и проч. границы свои распростирало; науками народъ довольно просвѣщенъ былъ; торгами въ Греціи, на сѣверъ и до Каспійскаго моря довольно богатилося; содержаніемъ достаточныхъ войскъ всѣмъ сосѣдямъ были страшны, и союза русскаго при-

лежно искали, какъ о Грекахъ, Венграхъ, Полякахъ и короляхъ нѣмецкихъ исторія свидѣтельствуетъ, къ не малой государства пользѣ и чести; браками съ великими государями обязывались, яко съ восточными и западными императоры, съ королями Франціи, Венгріи, Норвегіи, Швеции, Польши, — что наши и ихъ исторіи утверждаютъ.

Какъ скоро великіе князи дѣтей своихъ равно стали дѣлать, и оныя удѣльные, не повиная великимъ князямъ, ввели аристократію, а потомъ несогласіями другъ друга разоряли, и сдѣлались великіе князи безсильны, тогда Татары, нашедъ, всѣмъ обладали; Литовцы бывшую подъ властію многую часть отъ государства отторгнули. И такъ пребывало государство въ рабствѣ татарскомъ болѣе двухъ сотъ лѣтъ.

Іоаннъ Великій осмѣлился ту аристократію истребить. Многія княженія присовокупя, паки монархію возставилъ, и, усилився, не токмо власть татарскую низвергнулъ, но многія земли у нихъ и Литвы, ово самъ, ово сынъ его, возвратилъ. И такъ государство прежнюю свою честь и безопасность приобрѣло, что продолжалось до смерти Годунова.

По низверженіи Лжедмитрія, коварное избраніе Шуйскаго и зависть въ томъ Голицына и другихъ привели на новое безпутство: взять на государя записъ, которою всю власть, у государя отнявъ, себѣ похитили, подобно какъ и нынѣ; но что изъ того послѣдовало? Крайнее государства разореніе. Поляки и Шведы многіе древніе русскіе предѣлы отторгнули и овладѣли.

Царя Миханла Феодоровича хотя избраніе было порядочно всенародное, да съ такою же записью, чрезъ что онъ не могъ ничего учинить, но радъ былъ покою.

Царь Алексій Михайловичъ, получа случай самому въ Польшѣ войскомъ управлять, и чрезъ то силою паки часть самовластиа возвратя, многіе предѣлы отъ Польши возвратилъ; и еслибы ему властолюбивый Никонъ патріархъ не воспрепятствовалъ, то бѣ конечно болѣе пользы государство его самовластіемъ приобрѣло.

Петръ Великій все оное усугубилъ, и большую нежели его предки себѣ и государству самовластіемъ честь, славу и пользы принесъ, какъ то весь свѣтъ можетъ засвидѣтельствовать; и посему довольно всякъ благоразсудный видѣть можетъ, колико самовластное правительство у насъ всѣхъ прочихъ полезнѣе, а прочія опасны. Не видѣли ль мы, какъ при самовластномъ, но молодомъ и отъ правленія внутренняго удалившемся, монархѣ, велику власть имѣющіе Мазепа дѣйствительно, а Гагаринъ намѣреніемъ подданства отложиться дерзнули? Ежели же кто то разсуждаетъ, что единовластное правительство весьма тяжело и 1-ое, единому человѣку великую власть надъ всѣмъ народомъ дать

не безопасно; ибо какъ бы мудръ, справедливъ, кротокъ и прилеженъ ни былъ, безпогрѣшенъ же и во всемъ достаточенъ быть не можетъ; коль паче когда страстямъ своимъ дать волю, то нужно наглымъ, неправымъ насиліямъ и губленіямъ не повинныхъ происходить. 2-ое. Когда онъ изберетъ во временщики кого, то оный равно самовластенъ и еще изъ зависти болѣе другихъ губить, особливо если подлородный или иноземецъ, то наипаче знатныхъ и заслужившихъ государству ненавидить, гонить и губить, а себѣ ненасытно имѣнія собираетъ. 3-е. Вымышленная свирѣпымъ царемъ Іоанномъ Васильевичемъ тайная канцелярія въ стыдъ и поношеніе предъ благоразсудными народами, а государству разореніе; ибо за едино неосторожно-сказанное слово пытаются, казнять, и дѣтей невинныхъ имѣнія лишаютъ.

Сіи точныя ихъ слова я напомнимъ, симъ возражаю:

На 1-ое. Хотя человѣкъ, конечно, всякій не безпогрѣшенъ, однако государи имѣютъ совѣтниковъ, избирая изъ людей благоразсудныхъ, искусныхъ и прилежныхъ; и какъ онъ, яко господинъ въ своемъ домѣ, желаетъ оный наилучшимъ порядкомъ править, такъ онъ не имѣетъ причины къ разоренію отчины умъ свой употреблять; но паче желаетъ для своихъ дѣтей въ добромъ порядкѣ содержать и приумножить. Если же такой неслысенный случится, что ни самъ пользы не разумѣетъ, ни совѣта мудрыхъ не принимаетъ и вредъ производитъ, то можно принять за божіе наказаніе; но что для того чрезвычайнаго приключенія порядокъ прежній перемѣнить оное не благоразсудно, и кто можетъ утверждать, если видимъ коего шляхтича, безумно домъ свой разоряющаго, для того всему шляхетству волю въ правленіи отнять, на холопей оное положить, вѣдая, что никто сего не утвердитъ. А понеже правительство государства должно по степенямъ всюду равно быть, то по состоянію власти шляхетской въ ихъ домахъ должна и государственная нѣколько согласовать, какъ то достаточно другими областями доказать можно.

На 2-ое. Что фаворитовъ или временщиковъ принадлежитъ, то правда, что отъ оныхъ иногда государство много бѣдъ терпитъ; да сіе болѣе въ республикахъ случалось, какъ о древней греческой и римской исторіи читаемъ, какъ, усилився, нѣкоторые вельможи междоусобіемъ великія разоренія нанесли; и сего намъ наипаче опасаться должно, чего въ монархіи едва въ примѣръ сыскать можемъ ли. Я не хочу далеко искать, но всѣмъ намъ довольно знаемо, какъ неистовые временщики погубили совѣтъ: царя Іоанна Васильевича—Скуратовъ и Басмановъ, царя Θεодора Алексіевича—Милославскій; нашихъ временъ Меншиковъ, Толстой и другіе. Противно тому благоразумные и вѣр-

ные: царя Іоанна Мстиславскій, Романовъ, Шуйскій, царя Алексѣя—Борисъ Морозовъ и Стрешневъ; царя Ѳеодора Алексѣевича Богданъ Хитрой и Языковъ; царевны Софіи князь Василій Голицынъ,—великую честь и благодареніе вѣчно заслужили, хотя нѣкоторые по ненависти другихъ въ несчастіи жизнь окончили.

На 3-е. Тайная канцелярія хотя весьма давно и суще ежели не при Августѣ, то при Тибериѣ, наслѣдникъ его, для безопасности монарха, вымышлена, и она, если токмо человѣку благочестному поручится, ни мало не вредна; а зlostные и нечестивые, не долго тѣмъ наслаждаясь, сами исчезаютъ, какъ всѣхъ, такъ такихъ по исторіи прежнихъ и при насъ бывшихъ видимъ. Все сіе прешедшее оставя, должно разсмотрѣть настоящее.

О государынѣ императрицѣ, хотя мы ея мудростію, благо-правіемъ и порядочнымъ правительствомъ въ Курляндіи довольно увѣрены, однакожъ, какъ есть персона женская, къ такъ многимъ трудамъ неудобна; паче жъ ей знанія законовъ не достаетъ; для того на время, доколѣ намъ Всевышній мужескую персону на престолъ даруетъ, потребно нѣчто для помощи ея величеству вновь учредить; но какимъ порядкомъ, то, довольно третьяго дня разсуждая, въ великомъ собраніи положили слѣдующее:

1) Быть при ея величествѣ въ вышнемъ правленіи, сенатъ, двадцати одной персонѣ, въ которомъ нынѣшній верховный совѣтъ останется.

2) Чтобъ оный дѣлами внутренней экономіи отягченъ не былъ, другое правительство учредить во стѣ персонахъ, которымъ, по третямъ года, третьей части въ правленіи оставаться, а двѣ части могутъ въ домахъ своихъ управлять; но въ каждой трети въ концѣ, то—есть въ декабрѣ, апрѣлѣ, августѣ, или въ началѣ: въ январѣ, маѣ и сентябрѣ, для разсмотрѣнія важныхъ дѣлъ ежегодно собираться; или когда чрезвычайное что случится, яко война, кончина государя, или другое такъ великое дѣло, то по повѣсткѣ всѣмъ съѣзжаться, и не болѣе мѣсяца общее собраніе продолжать.

3) Ежели случится упалое мѣсто въ вышнемъ собраніи, сенатѣ, коллегіи, президента и вице-президента, въ губерніи губернатора или вице-губернатора, въ войскѣ главнаго командира, — то избирать балотированіемъ онымъ двумъ правительствамъ президентовъ отъ коллегій; а командира въ войско, вмѣсто президентовъ, военнымъ генераламъ всѣмъ, сколько ихъ обще съ оными правительства. Балотированіе же такимъ порядкомъ отправлять: герольдмейстеръ долженъ прочесть роспись

всѣхъ достойныхъ въ кандидаты по рангамъ; потомъ каждый избиратель повиненъ написать на бумажкѣ одно имя, кого кто за достойнаго мнитъ, и положить въ скрынѣ приготовленную. Оныя бумажки разобравъ при всѣхъ, написать на росписъ, котораго имя сколько голосовъ получило, и которымъ больше голосовъ дано, изъ оныхъ трехъ балотировать, и кому болѣе баловъ въ достойную положить, того представить ея величеству, а если балы не угодны, то довольно по голосамъ тѣхъ трехъ, которымъ болѣе голосовъ дано, представить ея величеству, кого изъ нихъ опредѣлить. Чрезъ сей способъ можно во всѣхъ правленіяхъ людей достойныхъ имѣть, не смотря на высокородство, въ которыхъ много негодныхъ въ чины производить.

4) Законоизданіе хотя состоитъ единственно во власти монаршеской, какъ о томъ выше показано, однакожь, разсудя намѣреніе государя, ни въ чемъ иномъ, какъ польза общей и справедливости состоитъ, такъ оное точно наблюдать должно; и какъ ея величеству не угодно самой сочинять, но нужно кому-либо сочиненіе онаго повѣрить, въ которомъ опасность не малая, чтобъ кто по прихоти чего непристойнаго и правости не согласнаго, или паче вреднаго, не внесъ; какъ то Петръ Великій, хотя и мудрый государь былъ, но въ своихъ законахъ многое усмотрѣлъ что перемѣнить нужно, для котораго велѣлъ всѣ оныя, собравъ, разсмотрѣть и вновь сочинить; того ради лучше оное прежде изданія разсматривать, нежели издавъ перемѣнять, что съ честью монарха не согласуетъ; оное же сочиненіе никакъ не возможно одному повѣрить, хотя бъ онъ искусенъ и въ намѣреніи ни коея собственныя страсти не имѣлъ, по природѣ легко погрѣшить можетъ; того ради какъ скоро ея величества повелѣніе будетъ какой законъ сочинить, оный послать во всѣ коллегіи, чтобъ довольно разсмотрѣли, и чрезъ семь дней сочиня каждая общее, или кто собственное свое, въ собраніи вышнему правительству объявили, и по довольномъ разсужденіи сочиня, ея величеству къ утвержденію представили.

5) Весьма безпорядочно бываетъ когда въ одномъ правленіи отецъ съ сыномъ, или два брата, и дядя съ племянникомъ, тестъ съ зятемъ присутствуютъ, которое равно какъ бы оному два голоса присвоены были; для того въ вышнемъ правительствѣ не быть двумъ одной фамиліи; а въ нижнемъ и въ коллегіяхъ токмо ближнимъ сродникамъ, какъ выше показано, не присутствовать.

6) Въ тайной канцеляріи хотя присутствовать опредѣленному отъ ея величества, а къ тому опредѣлять отъ сената помѣсячно двухъ человекъ, чтобъ смотрѣли на справедливость; а паче чтобъ при взятіи до пожитковъ нимало не касались, и для того брать всегда отъ полиціи по одному знатному человѣку.

7) Для произвожденія шляхетства въ войскѣ и гражданствѣ искать лучшаго способа нежели нынѣ: 1. Устроить во всѣхъ градѣхъ потребныя училища, опредѣля на то доходы и дома. 2. Меньше восемнадцати лѣтъ въ службу, а болѣе двадцати лѣтъ въ войскѣ служить не принуждать. 3. Въ матросы и ремесла не писать. 4. Чтобъ подлинное шляхетство извѣстно было, того ради всему во всемъ государствѣ сдѣлать роспись, не включая тѣхъ, которые изъ солдатъ, гусаръ, однодворцевъ и подъячихъ, хотя бъ и многія деревни имѣли, развѣ на шляхетство, или на жалованныя деревни грамоты жалованныя имѣютъ; однакожь и тѣхъ всѣхъ, хотя бъ изъ какого чина ни были, а деревни уже имѣютъ, написать въ особую книгу.

8) Духовенство въ ихъ доходахъ разсмотрѣть, чтобъ деревенскіе могли дѣтей своихъ въ училищахъ содержать и сами не пахали бъ; а у которыхъ есть избытки, оныя на полезныя Богу и государству дѣла употребить.

9) Купечество koliko можно отъ постоевъ уволить и отъ утѣсненія избавить, а подать способъ къ размноженію мануфактуръ и торговъ.

10) Пункты о наслѣдствѣ отставить, а сочинить о томъ достаточный законъ на основаніи Уложенія.

Сіе предоставляя верховному совѣту, требовать, чтобы опредѣлили, выбравъ всѣмъ шляхетствомъ къ разсмотрѣнію сего людей достойныхъ, не меньше ста человекъ.

И чтобъ сіе не опущая времени начать, о томъ прилежно просить, чтобъ конечно того жъ дня или на завтра, чрезъ герольдмейстера шляхетству о собраніи объявить, и покой для того назначить.

Сии пункты по два раза въ немалыхъ собраніяхъ шляхетства читаны, и дополняя въ домѣ Василія Новосильцева, февраля 4-го числа 1730 года подписали:

Семень Салтыковъ. Графъ Михаилъ Головкинъ. Василій Новосильцевъ. Василій Татищевъ. Грековъ Максимъ. Иванъ Кропотовъ. Семень Сукинъ. Михаилъ Сухотинъ. Алексѣй Таракановъ. Алексѣй Макаровъ. Вельяминовъ Степанъ. Алексѣй Башмаковъ. Иванъ Плещеевъ. Петръ Вельяминовъ. Алексѣй Зыбинъ. Князь Алексѣй Шаховской. Степанъ Лопухинъ. Князь Василій Вяземскій. Кн. Иванъ Барятинскій. Иванъ Бибииковъ. Матвѣй Олсуфьевъ. Андреянъ Елагинъ. Семень Алабердѣевъ. Сергѣй Секіотовъ. Степанъ Грековъ. Родіонъ Кошелевъ. Дмитрій Шепелевъ. Князь Алексѣй Черкасскій. Графъ Андрей Апраксинъ. Графъ Платонъ Мусинъ-Пушкинъ. Князь Никита Трубецкой. Графъ Иванъ Головкинъ. Андрей Ушаковъ. Григорій Чернышевъ. Алексѣй Дашковъ. Петръ Измайловъ.

Да подь копіями: лейбъ—гвардіи оберъ—офицеровъ 51; военной коллегіи штабъ и оберъ—офицеровъ 158; кавалергардовъ 48. Всего 288.

Мнѣніе верховнаго тайнаго совѣта состояло въ томъ, что имъ надлежитъ все учрежденіе учинить, не требуя ни чьего совѣта, которое подписали: графъ Ѳеодоръ Апраксинъ. Князь Михайлъ Голицынъ. Князь Василій Влад. Долгорукій. Графъ Гаврила Головкинъ. Князь Дмитрій Голицынъ. Князь Василій Лук. Долгорукій. Князь Алексѣй Долгорукій. Князь Иванъ Трубецкой. Князь Михайлъ Долгорукій. Михайлъ Матюшкинъ. Иванъ Мамоновъ. Графъ Иванъ Мусинъ—Пушкинъ. Баронъ Петръ Шафировъ. Князь Сергѣй Долгорукій. Князь Иван. Григ. Долгорукій. Князь Михайлъ Голицынъ. Князь Алексѣй Дмит. Голицынъ. Левъ Измаиловъ. Александръ Бутурлинъ. Василій Степановъ. Ѳеодоръ Наумовъ. Михайлъ Бестужевъ. Алексѣй Плещеевъ. Дмитрій Еропкинъ.

Гвардіи штабъ и оберъ—офицеровъ 37; кавалергардовъ 14; да придворныхъ и военныхъ незнатныхъ 21. Всего 97.

Какъ шляхетское мнѣніе верховный тайный совѣтъ уничтожилъ, и какъ свое мнѣніе перемѣнить не хотѣли, того ради шляхетства знатнѣйшіе февраля 23—го числа, собрався въ домъ генераль—поручика князя Ивана Бярятинскаго, согласились, чтобы самодержавство государынѣ принявъ, оную ея подписку уничтожила; а верховный тайный совѣтъ отставя, повелѣла быть сенату, какъ было при Петрѣ Великомъ. Съ тѣмъ Василій Татищевъ поѣхалъ къ князю Алексѣю Михайловичу Черкасскому, гдѣ, довольно со многими разсуждая, челобитную князь Антіохъ Кантемиръ бѣлую написалъ, и оную привезли въ домъ паки Бярятинскаго, и оную въ первомъ часу по полуночи подписавъ 74 человека, поѣхали всѣ въ домъ князя Алексѣя Михайловича Черкаскаго, гдѣ онаго согласія многіе изъ генералитета, лейбъ—гвардіи офицеры ожидали. Тутъ подписали 93, да чрезъ посланныхъ въ полки гвардіи графа Ѳедора Матвѣева, князя Антіоха Кантемира, подписали офицеровъ 58, а кавалергардовъ, которые были у гроба, 37.

Къ государынѣ съ тою вѣдомостію, что согласились, въ вечеру послали Прасковью Юрьевну Салтыкову. Какъ разсвѣло, въ восьмомъ часу пополудни, по отпѣтіи молебна, всѣ поѣхали во дворецъ, и, прибывъ, послали князя Черкаскаго просить государыню, чтобы къ себѣ допустила; и хотя князь Василій Лукичъ Долгорукій просилъ ее прилежно, чтобы она ихъ не допускала, обѣщая, что верховный тайный совѣтъ ей самовластіе возвратитъ; но она, того не послушавъ, велѣла двери отворить. Челобитную подалъ генераль—фельдмаршалъ князь Трубецкой, а читалъ оную Василій Татищевъ. По прочтеніи, подписала сама:

Учинить по сему, и отдала князю Черкасскому. Тогда повелѣла ту запись изъ верховнаго совѣта и опредѣленіе принести, которыя предъ лицомъ ея величества Семень Салтыковъ изодралъ и бросилъ февраля 24-го числа 1730 года.

2.

Напоминаніе на присланное росписаніе высокихъ и нижнихъ государственныхъ и земскихъ правительствъ.

Какъ я оное прилежно разсматривалъ, то я не могъ не дивиться тому, что оное хотя большею частию мудрости политической и наукъ географіи принадлежить, токмо всѣ оныхъ правила нахожу презрѣны, а чрезъ то необходимо нужно было приключиться недостаткамъ и погрѣшностямъ.

Непристойно бы и весьма продерзко было, если бы я хотѣлъ себя умнѣе тѣхъ почитать, отъ которыхъ повелѣніе о томъ было, то-есть: сенатъ правительствующій, вѣдая довольно, что и при первомъ росписаніи губерній, провинцій и городовъ, въ сенатѣ были люди достаточные и мудрые; вина же та приключилась отъ слѣдующихъ причинъ: 1) Описанія достаточнаго и ландкартъ исправныхъ не было. 2) Сами во всѣхъ предѣлахъ не бывали, а знающихъ обстоятельно разспросить времени не имѣли; ибо всѣ имѣли особливия правленія и многими дѣлами были отягчены. 3) Какъ большею частию изъ сенаторовъ и сильныхъ людей въ губернаторы были назначены,—такъ по властолюбію или любоимѣнію, не смотря ни на порядокъ, ни на пользу, города и провинцій въ свою власть захватывали, кто которые хотѣлъ, что мнѣ доказуетъ князь Меншиковъ: Ярославль для богатаго купечества, Тверь для его свойственниковъ, въ посадѣ бывшихъ, приписалъ къ С. Петербургу; Гагаринъ—Вятку и Пермь къ Сибири, и проч. 4) Оное поручено было болѣе секретарямъ, которые хотя вышеобъявленныхъ наукъ не слыхали, но къ собранію богатствъ весьма хитрые; оные довольно при семъ росписаніи свою пользу хранили, и послѣ города, по щедрымъ просьбамъ, изъ одной провинціи въ другую переписывали.

Колико знаніе мудрости политической и географіи, не токмо къ сему, но и къ другимъ разсужденіямъ, во всѣхъ правительствахъ пользуется, о томъ вамъ *, какъ мудрому и достаточно-свѣдущему, пространно толковать было бы излишнее для того, что вы сами болѣе, нежели мое малое въ томъ знаніе вамъ служить можетъ, извѣстны; однакожь, какъ Соломонъ учить: «Даждь премудрому причину, и премудрѣе будетъ; скажи мудрому, и той

* Кому предназначалась записка — неизвестно.

пріять умножать». Въ томъ разумѣніи я не за противное мню о содержаніи оныхъ напомнать.

Политическая мудрость во-первыхъ представляетъ о началѣ и пользѣ сообществъ человѣческихъ; яко 1, супружеское — отъ сотворенія мужа и жены; 2, родительское порожденія дѣтей; 3, господственное или домовное во употребленіи слугъ, изъ котораго совокупленіемъ нѣсколькихъ домовъ учинилось гражданское, а изъ нѣсколькихъ гражданскихъ — области или государства.

Второе. О начальствѣ и подданствѣ, ихъ преимуществахъ и должностяхъ, яко въ домовныхъ: мужеская, отеческая, господская; въ гражданствѣ общая или демократія, избранныхъ или аристократія, единовластная или монархія почитаются за правильныя; тоже о смѣшанныхъ изъ сихъ трехъ разными порядки, взирая на состояніе народа, величество области и положеніе земель весьма разныхъ состояній правительства произведены.

Третье. О порядкахъ и законахъ къ пріобрѣтенію пользы и отвращенію зла во всѣхъ обстоятельствахъ.

О сихъ всѣхъ здѣсь обстоятельно представлять было бы пространно, но довольно, мню, изъ самыхъ положеній польза знанія оныхъ показуется; но токмо о послѣднемъ, то-есть о пользѣ упомяну.

1) О вѣрѣ, яко всѣмъ извѣстномъ, толковать пространно нѣтъ нужды; ибо всякая область пріятное содержитъ и хранить, и она почитается за главную. А для пользы государствъ благоразсуднѣйшія правительства терпятъ всѣ законы. У насъ главная христіанская восточнаго исповѣданія. Притомъ папешское, лютерское, калвинское и армянское терпятся; также магометанство и идолопоклонники разные всѣ имѣютъ свободу по ихъ вѣрѣ Богу служить и храмы молитвенные въ показанныхъ имъ мѣстахъ устроить; токмо единъ законъ еврейскій у насъ отъ 124 года, сеймомъ князей, изверженъ и жестоко запрещенъ.

Какъ оныхъ къ правовѣрію христіанскому принуждать за не полезно и паче вредно признано, такъ всѣмъ иновѣрцамъ народно учить и отъ православія отвращать жестоко запрещено; равно безбожное и атеистовъ ученіе и разсужденія никакая власть и правительство, яко весьма вреднаго, терпѣть не можетъ.

2) Наученіе отъ младенчества разуму есть главная государству польза. Весьма нужно высокому правительству о томъ прилежать, понеже чрезъ обученіе разуму и премудрости, а съ оными всякъ себѣ и отечеству или всему сообществу пользы пріобрѣтаетъ, а вреду отвращаетъ, и о всемъ правильно разсуждать способность возымѣетъ: для того всѣ европейскія области,

какъ монархіи, такъ и республики, ревностно прилежать и великихъ на то иждивеній полагать не жалѣютъ.

Въ Русіи науки не токмо читать и писать, но языковъ, греческаго отъ самаго пріятія вѣры Христовой, а потомъ и латынскій языкъ введены, и многія училища устроены были; по нашествіемъ Татаръ какъ власть государей умалилася, а духовныхъ возрасла, тогда симъ для пріобрѣтенія большихъ доходовъ и власти полезнѣе явилось народъ въ темнотѣ невѣдѣнія и суевѣрія содержать; для того все ученіе въ училищахъ и въ церквахъ пресѣкли и оставили; потомъ, хотя нѣкоторые государи о томъ прилежаніе изъявили, наипаче многихъ царь Иванъ Васильевичъ, но весьма мало успѣли, даже вѣчныя славы достойныя памяти его императорское величество Петръ Великій, яко государь премудрый, оное возобновилъ, и начало математическихъ наукъ и языковъ европейскихъ училища основалъ; всюду по епархіямъ училища устроилъ, и на оное туне гиблемыя великіе доходы монастырей употребить повелѣлъ; чѣмъ не токмо своихъ предковъ, но многихъ иностранныхъ государей превзошелъ: свое любомудріе и любовь къ отечеству всемірно изъявилъ.

Съ какою горестію сердца то вспомнемъ и съ коликою досадою видѣть принуждены были, что, по кончинѣ его величества, злыми и отечеству невѣрными, или невѣжествомъ тѣхъ, на кого то положено было, такъ все упущено, что едва слѣды того остались; ея императорское величество хотя, ревностію отеческою возбуждаема, великими щедротами основанныя академіи, училища снабждать изволилъ, чрезъ что въ совершенное цвѣтущее состояніе придти могли, и можетъ приведется.

3) Судъ не меньше всѣхъ прочихъ обстоятельствъ почтается, и суще, какъ по закону божію, такъ по правиламъ мудрости, есть главная должность и преимущество высокихъ властей; войска хотя опасность внѣшнюю отвращаютъ, обиды нападшихъ непріятелей отмщаютъ, нѣкогда честь, славу и богатства умножаютъ, но во-первыхъ судейство тишину внутреннюю сохраняютъ и страхомъ наказанія всѣхъ въ тишинѣ и любви содержать, а вражды и междоусобія пресѣкаютъ, безъ котораго если вражды умножатся, междоусобіе родится, и весь народъ легко въ смятеніе придти можетъ: тогда ни великія богатства, ни сила войскъ крайнему всего общества разоренію воспрепятствовать не могутъ. Сіе самъ Спаситель Христосъ утвердилъ примѣромъ: *Аще царство на ся раздѣлится, стояти не можетъ.* Великія и преславныя церкви учитель Златоустъ, толкуя сіи слова въ поученіи IV-мъ на Іудей, примѣромъ изъяснилъ: *Аще во градъ, непріателемъ осажденномъ, возстанутъ ропотъ и распри, то воевода, оставя вѣншию не-*

пріятеля, прежде прилежитъ внутрь успокоить и усмирить, и потомъ [старается вѣншему противиться и побѣдить. Въ большее доказательство не хочу я приводить великое несчастіе и разоренія отъ несогласій, бывшихъ во время Шуйскаго въ отечествѣ нашемъ.

О должности государей въ судействѣ св. пророкъ и яко искусный царь Давидъ сказуетъ: *Честъ царева судѣ любитъ. И паки проситъ Господа: Боже, судѣ Твой цареви даждь и правду твою сыну цареви.* Соломонъ не просилъ богатства, ни побѣды на враги, но мудрости въ судѣ, тако: *Даждь ми мудрость разсудити люди твоя по правости.* И Богъ, видя его искреннюю любовь къ подданнымъ, даровалъ ему неисчерпаемое богатство, преславныя побѣды на враги и славу вѣчную съ мудростію правосудія. Сіе же утверждаютъ всѣ титулы древнихъ государей, яко *царь, rex, βασιλεύς,* и проч. Всѣ на тѣхъ языкахъ не иное значать, какъ судія или оборонитель.

А понеже никакая власть гражданская не имѣетъ удобства всѣ распри судить, а наипаче въ пространныхъ областяхъ не можетъ всюду оная распространиться, развѣ посредствомъ, т. е. черезъ опредѣляемыхъ судей, слѣдственно нужно во всѣхъ предѣлахъ имѣть достойныхъ того чина людей. Достоинство же оное состоитъ не въ чести породной, или заслугами пріобрѣтенномъ чинѣ; но въ природномъ умѣ, благонравіи и чрезъ науку пріобрѣтенной мудрости, дабы чрезъ глупость и злонравіе оныхъ честь царская не нарушалася и въ судахъ невинные обидѣ не терпѣли. И хотя у насъ въ наученіи, какъ выше сказано, великъ недостатокъ, то хотя бы смотря на природный умъ и благонравіе въ судьи выбирали. Кто не можетъ ужасаться или съ горестію удивляться, когда видитъ, изъ войска за пьянство, воровство, или иное непотребство и за лѣность изгнаннаго, судіею немалаго предѣла? Кто долженъ въ такихъ непотребствахъ отвѣтъ предъ Богомъ дать, кромѣ опредѣляющихъ неосмотрительно?

Недовольно еще того, ибо если человѣкъ достойный опредѣлится, но нужно имѣть законъ во всей области единъ, хотя законы суть разные, но здѣсь единъ только гражданскій произвольный; сей состоитъ въ трехъ частяхъ: 1) порядокъ суда, 2) правосудіе, 3) окончаніе или рѣшеніе.

Мы имѣемъ за основаніе уложеніе печатное, въ которомъ порядокъ смѣшанъ съ правосудіемъ, и кромѣ многихъ противорѣчій, неясностей и другихъ пороковъ, не колько излишняго по тогдашнему состоянію, а болѣе недостатка находится. Е. и. в. Петръ Великій сочинилъ форму или порядокъ суда довольно изрядну, которая послѣ поправливана и дополнивана. Но какъ его величеству другую онаго часть, т. е. о порядкѣ

вотчинной коллегіи, время не допустило, такъ и по немъ, — хотя сіе между нужнѣйшими дѣлами почитать должно — никто уже не помыслилъ, и оставлено въ самомъ безпорядкѣ, и великій чрезъ то государству вредъ приключается, чѣмъ толковать оставляю; но при толкованіи древнихъ нашихъ законовъ достаточно показали.

Законы какъ въ томъ уложеніи людьми, ни малаго просвѣщенія ума науками не имѣющими, сочинено, такъ послѣдовавшими различными, ово въ дополненія, ово въ исправленіе онаго изданными, въ наибольшее смятеніе судей, а судящихся къ коварствамъ и ябедамъ привело. Что е. и. в. съ великимъ сожалѣніемъ видя, повелѣлъ всѣ тѣ дополнительные указы собрать и вновь порядочное уложеніе сочинить и самъ по-часту о томъ сенату изволилъ напоминать. Но какъ оное тѣмъ, которые обыкли съ большею ихъ пользою въ мутной водѣ рыбу ловить, было непріятно, и не имѣя инаго способа оному воспрепятствовать, избрали къ тому людей болѣе безсовѣстныхъ ябедниковъ, которые ово за распложеніемъ надъ потребностью, ово за спорами время туне проводжали; и какъ ни одинаго не токмо въ законѣхъ, но ни въ граматикѣ ученаго опредѣлено не было, такъ ихъ сочиненія противорѣчій и темностей, паче же противностей закону божію, избѣгать не могли, для котораго оное близъ тридцати лѣтъ безъ всякаго плода и надежды тянется, хотя бы оное искуснымъ въ годъ, а конечно не болѣе двухъ, сочинить возможно.

4) О мудрости экономіи, яко части политической, писать было бы пространно; но кратко заключу, она состоитъ въ приобрѣтеніи и храненіи всѣхъ пользъ государственныхъ, яко: 1) во умноженіи народа; 2) въ довольствіи всѣхъ подданныхъ; 3) побужденіе и способы къ трудолюбію, ремесламъ, промысламъ, торгамъ и земскимъ работамъ; 4) во умноженіи всякихъ плодовъ отъ животныхъ и рощеній; 5) въ наученіи страху божію и благонравію; 6) въ умѣренномъ употребленіи имѣнія, и проч. Чрезъ сіи способы всякъ собственно и все государство обогащается, усиливается и славу приобрѣтаетъ.

5) О управителяхъ выше я упомянулъ, что высочайшей власти или правительству, пространства ради областей, неудобно всюду все надзирать, опредѣлять и учреждать, но нужно по предѣламъ имѣть повѣренныхъ управителей, и такъ, что всегда меньшіе большему, а главное только высшему правительству подчинено было. Мы имѣемъ въ земскомъ пространствѣ разныхъ званій: 1) генералъ-губернаторы, 2) губернаторы, 3) вице-губернаторы, 4) провинціальныя воеводы, 5) приписные воеводы, 6) въ пригородахъ комиссары или судьи; въ крѣпостяхъ губер-

наторы, оберъ-коменданты и коменданты, а индѣ вице-коменданты. Сіи хотя подѣ властію военной коллегіи состоятъ, но въ нѣкоторыхъ имѣють судъ и расправу земскую.

Сіе не довольно, что чины званіями разнствуютъ, но нужно разнствовать въ преимуществѣ и должности: въ преимуществѣ первое — честь: чтобы оная всякому по достоинству его чина дана была, которое намъ законъ божій и правила благонравія опредѣляютъ, старѣйшихъ почитать и младшій отъ старшаго благословляется. — Но старость, по Соломону, не въ числѣ лѣтъ счисляется. Ежели кто на чести оскорбленъ бываетъ, то конечно или въ вѣрности, или въ прилежности ослабѣваетъ; а изъ того иногда великій вредъ происходитъ. У насъ сей порядокъ непреложно наблюдаютъ, напр., въ нѣкоторыхъ конторахъ и канцеляріяхъ главный полковникъ или бригадиры указы посылають генералу или губернатору, правящему цѣлое царство; да еще съ неучтивыми угрозами и досадительными включенія. — Нужно по чину повѣренность и власть; а ежели сіе отыметъ, то не иначе какъ вѣрность и ревность ко изобрѣтенію пользы отъемлетъ. Слѣдственно чрезъ такіа оскорбленія вредъ государству наносится, или по малой мѣрѣ умноженіе пользы и доходовъ оставляется. А сіе оттого, что у насъ преимуществъ и должностей всѣхъ, такъ какъ воинскихъ, не описано; а хотя изданы губернаторскій и воеводскій наказъ, и паки въ уставѣ военномъ о преимуществѣ и должностяхъ губернатора и коменданта описано, — только все во многомъ не ясно и не достаточно. Сія разность чиновъ временная, но другая есть пребывающая и наслѣдственная, яко шляхетство, гражданство и подлость; а нѣгдѣ четвертое счисляютъ — духовенство. У насъ въ уложеніи неколико шляхетство отъ прочихъ отмѣнено, токмо безъ основанія, не достаточно и не ясно. Для того у насъ всякъ, кто только похочетъ, честь шляхетскую похищаетъ. О пресѣченіи сего великаго безпорядка и оскорбленія, — тѣмъ преимущество государя — видится забыто.

Хотя я выше показалъ, что высшимъ правителямъ нужно честь и преимущество съ повѣренностію и властію, которое необходимо нужно; однакожъ по правиламъ мудрости должно въ томъ высшему правительству хранить умѣренность и осторожность, помня примѣры многихъ и своего государства, что нѣкоторые въ отдаленіи получа надменную власть, великій вредъ или совершенное паденіе государствъ причинили, что у насъ безъ всякаго оскорбленія учинить и въ безопасности всегда быть удобно.

Сіе что до мудрости политической въ семъ обстоятельствѣ принадлежитъ; что же до географіи принадлежитъ, оное слѣдующе изъясню.

Географія или землеописаніе есть такая полезная наука, что оную необходимо нужно всему шляхетству знать; ибо въ какой бы онъ услугѣ отечеству, или чести и достоинствѣ ни былъ, всюду ему въ разсужденіяхъ многій свѣтъ открываетъ; а потому, что качество оной касается, мудро опредѣленіе учинить и съ пользою въ совершенство привести можетъ.

Оную хотя раздѣляютъ на двѣ части, яко собственно географія и гидрографія, или водоописаніе, — и сія болѣе мореплавателямъ свойственна, однакожь невозможно въ одномъ описаніи не коснуться другаго, какъ то всякому разсудить легко можно.

Царь Іоаннъ Грозный, какъ государь былъ мудрый, преизрядное намъ описаніе всего государства, въ книгѣ, именованной *Большой Чертежъ*, оставилъ. Токмо сожалительно, что она при немъ неколико не dokonчена, а по немъ повреждена небреженіемъ и неколико утрачена, что бы нынѣ дополнить и погрѣшности исправить весьма не трудно. И какъ въ ней болѣе рѣки, озера, а при нихъ и селенія описываны, такъ она и болѣе имени гидрографіи, нежели географіи достойна; но къ лучшему сочиненію и разумѣнію ландкартъ много пользуется.

Собственно географія представляетъ описаніе кой-либо области или предѣла. Въ немъ первое — имя, какого языка и что значить. Также границы отъ сѣвера, востока, юга и запада; положеніе, поля, горы, рѣки, озера, болота, и проч.

Оное состоитъ въ четырехъ качествахъ: 1) астрономическое, 2) физическое, 3) политическое, 4) историческое.

Въ астрономическомъ описаніи показуются долготы и широты, градусы и минуты всего шара земнаго, и подъ которымъ градусомъ которое мѣсто лежитъ. По долготѣ знаніе никому столько какъ мореплавателямъ и сочинителямъ ландкартъ нужно, а по широтѣ всѣмъ правительствамъ необходимо знать потребно; ибо, зная положеніе широты градусовъ, можетъ знать, какъ долго зима въ томъ мѣстѣ и должайшій день бываютъ, и потому въ далеколежащій предѣлъ не опредѣлить природному состоянію противнаго или весьма неудобнаго. Для сего довольно если имѣемъ правильныя ландкарты, которыя, надѣюся, академія скорѣ издастъ.

Въ физическомъ описаніи представляется о природѣ того предѣла въ воздухѣ, водѣ и землѣ. О теплотѣ же, отъ огня или отъ солнца происходящей, выше въ астрономическомъ знаніи упомянуто. Въ описаніи воздуха разсматривается, какіе пользы и вреды и какимъ порядкомъ отъ оныхъ приключаются, по которому обилія и недостатки того предѣла познаются. А по достаткамъ дани государственныя располагаются; слѣдственно, высокое правительство, зная подлинно состояніе всякаго предѣла,

благоразумно опредѣлять можетъ; а не зная онаго, тяжело погрѣшаютъ и туне убытокъ наносятъ. Въ примѣръ я вспомню, что въ Сибирь и Астрахань во всѣ города присланы указы о нерубленіи дуба, не вѣдая того, что во всей Сибири дуба не знаютъ, а въ Астрахани никакого лѣса почти нѣтъ. Слѣдственно бумага, трудъ и провозъ туне приключень.

Въ политическомъ описаніи хотя токмо два главные обстоятельства представляются, яко народъ и селенія, но оное разное въ себѣ заключаютъ. Яко о народѣ, или обывателяхъ, какую они вѣру имѣютъ, ихъ нравы и обычаи, имѣютъ ли собственные свои гражданскіе законы, привилегіи, или вольности, должности, преимущества или увольненіе въ чемъ—нибудь предъ другими,—оныя письменныя или застарѣлыя; какое свѣтское или духовное начальство; какіе промыслы или обилія къ ихъ довольству имѣютъ, и въ чемъ преизяществуютъ.

Жилища по званіямъ разнятся; обстоятельства и отъ жизни должны познаваться существу онаго, яко у насъ:

Градъ разумѣется имѣющій земскій присудъ, или уѣздъ; и управитель онаго опредѣляется отъ высочайшей власти съ надлежащею ему властію и преимуществомъ.

Прописной градъ хотя то же имѣетъ, но подчиненъ провинціи. Управитель опредѣляется отъ губерніи, и подъ судомъ оной состоитъ.

Крѣпость иногда по присуду и градомъ разумѣется, но различна тѣмъ, что имѣетъ регулярный гарнизонъ, артиллерію, и губернатора или коменданта отъ военной коллегіи.

Острогъ есть крѣпость малая при границѣ для безопасности обывателей, не имѣющій регулярнаго войска, но обывателями содержится. Сіе имя отъ того произошло, что древле укрѣпляли только острогомъ или полисадомъ, нынѣ именуютъ редуты и фельдшанцы, но сіи строятся регулярно земляные.

Слобода, отъ свободности, въ которой живутъ купечество, и состоитъ подъ собственною ратушею и градскимъ магистратомъ.

Волость или область, село, имѣющее присудъ въ нѣколикихъ деревняхъ,—и оныя весьма разны; государственныя имѣютъ комиссаровъ отъ губерніи; дворцовыя прикащиковъ или управителей отъ дворца; земскія, раздѣленныя многими владѣльцамъ, не имѣютъ особаго правителя, властно какъ станы.

Торжища именуются мѣста, гдѣ бываетъ годовой торгъ пріѣзжими изъ разныхъ мѣстъ купцами въ назначенное время и продолжается не меньше седмицы; оныя бываютъ при монастыряхъ, яко Макарьевская и Свинская; другія при селахъ, яко Ранибургъ и Ирбитъ; а нѣкоторыя на пустомъ мѣстѣ, какъ Ба-трацкая на Острову.

Не меньше знатныя жилища монастыри и пустыни, яко же нѣкоторые погосты, что все въ обстоятельной географіи должно быть описано; но сіи къ росписанію не принадлежать, и я пространно различилъ для того, что невѣдущіе разности часто мѣшаютъ.

Въ историческомъ суть четыре обстоятельства: 1) имя, 2) время и причина, 3) приключеніе, 4) знаки.

О имени не токмо настоящемъ, какого языка и что значить, напримѣръ: Киви, или испорчено Кіевъ, сарматское, значить камень и гору; Шуя, сарматское, столица или престольный; Казань, татарское, котель; Сибирь, испорчено Сибарь, татарское, той первый; Москва, сарматское, крутящаяся или изверченная рѣка. Но притомъ нужно знать древнее, и когда или кѣмъ перемѣнено.

Время, когда, кѣмъ, кой предѣлъ, и какимъ порядкомъ подъ власть приведенъ, или знатное жилище, и для какой причины построено.

Приключенія счастливыя и несчастливя.

Знаки суть: гербы градовъ, предѣловъ и областей, когда оный въ употребленіе принять или премѣненъ; а притомъ титулъ, какой оной владѣтели употребляли.

Для всякихъ, наипаче жъ для военныхъ разсужденій нужно въ описаніяхъ всѣхъ предѣлъ показать не токмо горы, озера, болота и лѣса, но всѣ тѣсныя проходы и отъ природы крѣпкія мѣста, чего въ ландкартахъ показать не можно, дабы генераль заблаговременно зналъ, гдѣ ему свои войска безопасно поставить, и въ которомъ мѣстѣ смѣло нападеніе учинить; которое за великую мудрость воеводамъ почитается, что иногда и малымъ войскомъ, способомъ полезнаго положенія, великое побѣждаютъ; а не вѣдая онаго, легко можетъ въ несчастіе впасть и войска потерять; равно какъ мореплавателю нужно прежде знать, гдѣ мель или камень подъ водою, а не тогда разсуждать, какъ на оный корабль посадить.

Сіе, мню, довольно и для незнающаго всѣхъ потребностей, въ чемъ оное росписаніе погрѣшно и поправленія требуетъ. Но ежели темно явится, то я на оное обстоятельныя напому: 1) Погрѣшность есть, что оставя древнія предѣловъ имена, и такія, которыя въ титулъ государя упоминаемы, новыя отъ градовъ дали и тѣмъ исторію потемнили; а иностраннымъ, по злости или невѣжеству, порицать причину дали. Напр. первыя излагаемыя области въ титулъ: Великая, Малая и Бѣлая Русь, Болгарія и проч. конечно русскіе не всѣ, а Югорскій, Кондинскій, Удорскій, Обдорскій, Карталинскій — едва кто знаетъ, гдѣ оныя сыскать. Да отъ городовъ именовать неприлично; ибо для какой-либо причины если управленіе въ другій градъ перене-

сетя, то нужно имя предѣлу премѣнить. Въ примѣръ сему: сначала названа была Азовская губернія, а какъ Азовъ Туркамъ отдали, то оную назвали Воронежскою. И такъ невѣдующему надобно думать, что вся Азовская губернія Туркамъ отдана, — что и съ нѣкоторыми провинціями учинилось. Другое весьма неприлично и вредно, что къ нѣкоторымъ губернскимъ канцеляріямъ много городовъ и пригородовъ положено, гдѣ безъ того дѣлъ отъ провинцій много входитъ, и за недостаткомъ къ разсмотрѣнію времени, люди волокитою разоряются, и дѣла государственныя въ отправленіи медлятся. 2) Нѣкоторыя провинціи надмѣрно велики, а наипаче въ отдаленныхъ мѣстахъ: одному великая власть мудрости политической противна, какъ выше показано; и ежели бы гдѣ городовъ не доставало, то для пользы государства нужно прибавить, снабдя токмо привилегіей. Да хотя бы на то нѣкое изживеніе требовалось, то жалѣть не надобно, ибо скорѣ оное умноженіемъ сборовъ наградится, чему въ примѣръ Оренбургская губернія. О Сибирской и Астраханской я нѣчто въ росписаніи, по моему мнѣнію, представилъ, а прочее и большее къ разсужденію оставилъ.

Сіе хотя знаю, что въ надлежащій порядокъ безъ искусныхъ географовъ, а описаніе безъ достаточныхъ отъ предѣлъ извѣстій, сочинить не можно, я сугубо искусясь, что воеводы или губернаторы на посланные отъ его императорскаго величества при указѣхъ включенные пункты весьма недостаточно и смяшно отвѣтствовали, что и мнѣ въ 1737 и 1738 годахъ приключилось и принудило другой и третій разъ изъясненія и дополненія требовать, что меня понудило вновь пространтѣйшія требованія сочинить, которыя за отлученіемъ моимъ отъ той коммисіи остались у меня безъ произведенія. Но притомъ какъ бы они вняты сочинены ни были, всегда отъ недостатка знанія исправныхъ вѣдомостей получить не надежно. Но нужно кто бы достаточно знающій оныя разсматривалъ и о неисправностяхъ или недостаткахъ вновь сочинить допросы могъ, по которому совершенную географію и лексиконъ гражданскій, зачатый мною, въ совершенство къ пользѣ, чести и славы государя и государства привести скорѣ не трудно.

Я хотя алфавитическую роспись на все оное росписаніе сочинилъ, но если пропущенное въ ней дополнится, или что премѣнится, не будетъ достаточно, однакожь оному легче помочь, что прибавленные въ порядокъ внести, а премѣненнымъ нныя числа положить, нежели всю вновь съ великимъ трудомъ сочинять.

ОРЛЕАНСКАЯ ДѢВА.

Подражаніе Шиллеру.

Den lauten Markt mag Momus unterhalten:
Ein edler Sinn liebt edlere Gestalten.

Развѣнчанъ вновь твой образъ благородный,
Поверженъ въ прахъ, поруганъ и попранъ!
Суровъ и скоръ насмѣшки судъ холодный:
Чудесное ей призракъ и обманъ.
Она ли глубь души твоей измѣритъ?
Разсудокъ злой постигнетъ ли тебя?
Небесному открыто онъ не вѣритъ,
Прекрасному смѣется про себя.
Ему ль, рожденному во прахъ пресмыкаться
И ощупью ползти сомнѣнія тропой,
Широкой мыслию отъ міра оторваться,
И къ небу возлетѣть небесною мечтой?

Но не крушись! Заоблачнаго края
И горнихъ сновъ есть память на землѣ.
Еще горитъ, какъ вѣчный отблескъ рая,
Поэзія; какъ молнія святая,
Она блещитъ блуждающимъ во мглѣ.

Какъ ты, чужда преступнаго сомнѣнья,
 Младенчески довѣрчива, какъ ты,
 Она пойметъ души твоей стремленья,
 Она почититъ души твоей мечты, —
 И призоветъ къ нетлѣнному зеркалу
 Твоихъ судей, и судъ свой изречетъ,
 Съ главы твоей народную опалу
 Торжественно предъ міромъ совлечетъ.
 И памятникъ святой тебѣ созидетъ
 И въ міръ поэтъ восторженный придетъ,
 И образъ твой стихомъ горящимъ выжжетъ
 Въ сердцахъ людей, — и правда оживетъ.

Насмѣшки судъ отраденъ черни грубой:
 Онъ за нее душамъ высокимъ мститъ;
 Смѣяться зло душамъ холоднымъ любо
 Надъ тѣмъ, чего ихъ разумъ не вмѣститъ.
 И все, что надъ толпой поставлено высоко,
 Что дышетъ подвигомъ, что мыслию паритъ, —
 Величье генія, сіяніе пророка —
 Тупую чернь смущаетъ и страшитъ.
 Всему, что высшее избранье воспріяло,
 Міръ воздвигалъ гоненье искони,
 Но небо искони на землю посылало
 Поборниковъ прекраснаго: ихъ мало —
 Но вышнихъ силъ избранники они.

Пусть скоморохъ своею шуткой грязной
 На шумной площади плѣняетъ и смѣшитъ
 Сердца зѣвакъ, и чернь толпою праздною
 Вокругъ него тѣснится и шумитъ;
 Но въ тихій храмъ, предъ жертвоприношенье,
 На строгій зовъ суроваго жреца
 Стеклись немногіе, но свято ихъ стремленье, —
 И тихо теплятся огнемъ благоговѣнья
 Немногія, но лучшія сердца.

Б. Алмазовъ.

ГРОЗА.

Блится день роскошный и веселый,
Но туча за горой угрюмая взошла,
И грозно двинулась громадою тяжелой,
И черной мглой все небо облегла,

И тѣнь и мракъ на землю опустились.
Замолкнулъ лѣсъ, недвижно лоно водъ,
И вѣтеръ стихъ, и птицы притаились,
И вся земля благоговѣнно ждетъ.

И вдругъ съ небесъ рванулся вихрь могучій,
Завылъ, и съ яростью пронесся чрезъ поля,
Взвилася пыль, крутятся столбомъ летучимъ,
Разстѣкла молнія серпомъ горящимъ тучи, —
И грянулъ громъ, — и дрогнула земля.

Прекрасенъ ты, могучій громъ небесный!
Греми и потрясай сердца людей и доль:
Въ юдоли сей унылой, душной, тѣсной,
Ты намъ привѣтъ изъ родины безвѣстной,
Страны таинственной таинственный глаголь.

Безмолвны небеса, — и суетно и шумно
 Земля заботами обычными кипитъ,
 И страсти пылкія волнуются безумно
 Князь міра властвуетъ и страхъ Господень спитъ.

Но грянулъ громъ, и суетныя рѣчи
 Затихли, замеръ смѣхъ мгновенно на устахъ,
 И предъ иконами затеплилися свѣчи —
 Молитва теплится въ очнувшихся сердцахъ.

Греми же, праведный, могучій громъ небесный,
 И землю грѣшную громи и потрясай,
 И насъ торжественно, какъ благовѣстъ воскресный,
 Отъ нѣги и трудовъ къ молитвѣ призывай.

Пусть голосъ твой могучій прерываетъ
 Унылый ходъ всedневныхъ дѣлъ и думъ,
 И дѣтской робостью намъ сердце размягчаетъ,
 И хоть на мигъ смущаетъ смѣлый умъ.

Для нашихъ думъ, для силы мысли мощной,
 Сокрытыхъ тайнъ въ подлунномъ мірѣ нѣтъ:
 Измѣрилъ все разсудокъ мѣрой точной,
 На все, на все заранѣ и заочно
 Готовы въ насъ рѣшеніе и отвѣтъ.

Чредой знакомою предъ нами жизнь мелькаетъ,
 Повсюду будничныи, однообразныи видъ;
 Ничто нашъ взоръ внезапнымъ не пугаетъ,
 Ничто нашъ умъ загадкой не дивитъ.

И, средь заботъ, расчетовъ и пороковъ,
 Безцвѣтно наша жизнь влачится безъ чудесъ,
 Безъ слова грознаго разгнѣванныхъ пророковъ,
 Безъ грозныхъ знаменій разгнѣванныхъ небесъ.

Но въ мигъ, когда земля дрожитъ и стонетъ,
 И твердь небесная сверкаетъ и горитъ,

И въ лавѣ огненной окрестность грозно тонетъ,
И съ ревомъ вихрь за тучей тучу гонитъ,
И на землѣ все стихнетъ и молчитъ, —

И въ злой тоскѣ, какъ предъ кончиной міра,
Томясь, какъ грѣшница, природа мрачно ждетъ,
Когда палящій огонь съ небеснаго зенита
По гласу трубному, какъ мстящая сѣкира,
На землю съ грохотомъ и трескомъ упадетъ, —

Какъ въ страшный мигъ святаго откровенья,
Тогда намъ слышится знакомый сердцу гласъ,
Давно въ шуму житейского волненья
Неслышный намъ, звучащій вѣчно въ насъ.

Когда жъ гроза надъ нами пронесется,
И солнце выглянетъ, и птички запоютъ,
И, обновленная, природа улыбнется,
И травы ароматъ роскошно разольютъ,

И съ свѣжимъ воздухомъ отрадою спокойной
Въ открытое окно пахнетъ на нашу грудь, —
Бодрымъ и радостнымъ съ душою обновленной
Глядимъ мы вдаль на трудный жизни путь;

Еще въ жару святаго впечатлѣнья,
Душа небесными глаголами полна;
Яснѣе свое небесное рожденье
И сознаетъ, и чувствуетъ она;

Не тѣсно ей въ земномъ жилищѣ тѣсномъ,
Привольнѣе жить подъ кровомъ, ей роднымъ;
И жарче вѣруемъ мы чудесамъ небеснымъ,
Живѣе вѣрится и подвигамъ земнымъ;

Въ одеждѣ праздничной тогда все блещетъ въ мірѣ,
Спадаетъ съ думъ заботъ тяжелый гнетъ,
И наша мысль торжественнѣе и шире
Возноситъ къ небесамъ свой царственный полетъ;

Роскошнѣй сновъ безгрѣшныя видѣнья
 Лелѣютъ чистыхъ дѣвъ и отроковъ сердца,
 И величавѣе нисходитъ вдохновенье
 На душу тихую пѣвца.

Б. Алмазовъ.

ИЗЪ ШИЛЛЕРА.

Красотой ты возгордилась,
 Своимъ личикомъ — стыдись!
 Завтра прелесть вся исчезнетъ,
 Завтра роза отцвѣтетъ!
 О, какъ буду издѣваться
 Надъ тобою я тогда!
 Издѣваться! — нѣтъ, не правда,
 Плакать буду горько я,
 Плакать, Лина, за тебя.

А. П.

ПОЕДИНЩИКИ.

Разсказъ. *

Былъ я у Ивана Никитича Чакрыгина...

Иванъ Никитичъ — уральскій казакъ, восьмидесятилѣтній старикъ, житель К.....скаго форпоста.

Я засталъ его за обѣдомъ. На столъ передъ старикомъ, кромѣ бѣлаго хлѣба и солонки, стояла сковорода съ двумя жареными лещами, каждый величиною съ добрую печную заслонку, да деревянное блюдо съ вареной судачьей *варкой* (головой). Не зная употребленія вилокъ, Иванъ Никитичъ попросту всей пятерней отламывалъ, поочередно, то хлѣба, то лещевины, и кушалъ съ замѣтнымъ наслажденіемъ.

По другой конецъ стола сидѣла женщина среднихъ лѣтъ, сноха Ивана Никитича; но она не обѣдала, а, какъ хозяйка дома, угощала свекра, который относительно «стола» держалъ себя особнякомъ ото всей своей семьи, сколько по стариковской прихоти, столько и потому, что, проводя большую часть времени на Уралѣ, съ сѣтми и удочками, онъ бывалъ дома рѣдко, урывками: Иванъ Никитичъ — рыбакъ въ полномъ и обширномъ смыслѣ слова. Былъ онъ, въ свое время и *гулебщикъ* (охотникъ) записной, но время то давно отошло: слабость зрѣнія и глухота сдѣлали Ивана Никитича неспособнымъ къ охотѣ.

Наружность Ивана Никитича такова: ростъ средній, борода небольшая «комолкомъ», весь сѣденькій, немного слѣповать, немного глуховать, немного сутуловать.

Одежда Ивана Никитича... но она такъ проста, обыкновенна, что, право, говорить о ней не стоить.

* Изъ ряда статей, приготовляемыхъ къ печати подъ заглавіемъ: «Уральцы. Историческіе эпизоды, пѣсни, преданія и легенды уральскихъ казаковъ.»

Характеръ Ивана Никитича.... но онъ, думаю, самъ собой выяснится изъ дальнѣйшаго разсказа. Здѣсь же, на первый разъ, нужнымъ считаю сказать, что Иванъ Никитичъ самаго высокаго о себѣ мнѣнія.

— Хлѣбъ—соль, дѣдушка! сказалъ я, остановясь передъ дверью кухни и заглядывая туда какъ въ нору: дверь была низенькая.

— Дѣдушка въ водѣ, на самомъ на днѣ! отвѣчалъ старикъ довольно—грубо и сурово.

«О! старикъ не очень-то податливъ, подумалъ я: однако попробую».

Съ такимъ намѣреніемъ я переступилъ порогъ кухни.

Между тѣмъ сноха старика быстро подскочила къ нему и довольно—громко, подъ самое ухо, сказала.

— Что ты, батюшка! съ тобой чиновникъ говорить.

На Уралѣ казаки, особенно казачки, рѣдко офицеровъ называютъ офицерами, а всегда почти величаютъ чиновниками. И довольно—основательно, потому что отношеніе офицеровъ къ казакамъ—чисто чиновническое: и городничіе, и частные пристава, и комиссары, и судьи, и секретари, словомъ—весь людъ, изъ котораго составленъ механизмъ бюрократіи, офицеры.

— Ну что за бѣда, что чиновникъ!... сказалъ старикъ, стараясь принять беззаботный и равнодушный видъ, а между тѣмъ по торопливымъ, почти—судорожнымъ движеніямъ, съ которыми онъ принялся шипать лещей, ясно было видно, что онъ сконфузился отъ своего непочтительнаго отвѣта. Впрочемъ, сказать правду, Иванъ Никитичъ не столько сконфузился, сколько обробѣлъ, какъ онъ самъ мнѣ послѣ объяснилъ. И нельзя было Ивану Никитичу не обробѣть: если не по собственному опыту, такъ по опыту другихъ, себѣ подобныхъ, онъ достоверно зналъ, что господа чиновники, изъ уваженія къ старческимъ сѣдинамъ, частенько пробуютъ ихъ руками...

Слабость зрѣнія помѣшала Ивану Никитичу съ перваго раза рассмотреть, кто сдѣлалъ ему привѣтствіе, а чтобы могла посѣтить его убогую келью чиновная особа, — ему и въ голову не приходило; потому—то онъ и принялъ меня за кого—либо изъ своихъ сосѣдей; потому—то и не поцеремонился указать, гдѣ живетъ дѣдушка.

Я понималъ, что имѣю дѣло съ казакомъ стараго завѣта, съ казакомъ, принадлежащимъ къ разряду такихъ казаковъ—стариковъ, которые, вслѣдствіе стариковскаго каприза, не любятъ чтобы ихъ называли дѣдушкой тѣ, кому они по рожденію не приходится дѣдами. *Дѣдушкой* они считаютъ водянаго бѣса. Фантазія, капризъ! Исключая родныхъ внучатъ, Иванъ Никитичъ никому не позволялъ называть себя дѣдушкой, а если

кто называлъ его такъ, того онъ безъ церемоніи отсылалъ на дно рѣки, какъ и меня послалъ, — а подь-часъ и поглубже...

Я подошелъ къ столу, и, наклоняясь почти къ самому лицу старика, сказалъ:

— Хлѣбъ-соль, Иванъ Никитичъ!

Я зналъ какъ его зовутъ.

— Милости... просимъ, пробомоталъ старикъ отрывисто, нехотя, не поднимая головы.

Я сѣлъ на стулъ, который подала мнѣ хозяйка.

Нѣсколько минутъ длилось молчаніе. Я не зналъ, и потому придумывалъ, съ какой бы стороны подступить къ старику. Наконецъ надумался, и спросилъ:

— Нѣтъ-ли судачка, Иванъ Никитичъ? Продай.

— Нѣтъ! былъ короткій отвѣтъ.

Между тѣмъ я навѣрное зналъ, что утромъ того дня Иванъ Никитичъ привезъ съ Урала много рыбы, въ томъ числѣ и судаковъ. Я далъ понять объ этомъ старику.

— Кто тебѣ сказалъ? спросилъ онъ.

— Сосѣдка твоя.

— Вретъ она!..

— Зачѣмъ ей врать! Она видѣла, какъ ты воротился съ рыболовства.

— Ни чорта она не видала!... Всего только трехъ бершиковъ привезъ, да и тѣхъ сегодня сварили и семьей поѣли.

Я взглянулъ на блюдо, стоявшее передъ старикомъ, и улыбнулся. Улыбнулась, въ сторону однакожь, и сноха. На блюдѣ, какъ и выше замѣчено, лежала судачья голова, но такой огромной величины, что, взглянувъ на нее, сейчасъ можно было составить понятіе, каковы должны быть бершики Ивана Никитича. Бершъ — рыба маленькая, изъ породы судаковъ, отъ одного до полутора фунта вѣсомъ. Но судачья голова, которую кушалъ старикъ, ясно говорила, что бершикъ, отъ котораго она отдѣлена, по малой мѣрѣ долженъ вѣсить полпуда, если еще не больше.

«Ну, Иванъ Никитичъ, подумалъ я, если такіе твои бершики, не могъ ты ихъ скушать въ одинъ день».

Я рѣшилъ дѣйствовать на старика посредствомъ бершиковъ, но за всѣмъ тѣмъ отказъ его произвелъ на меня сильное впечатлѣніе.

«Какъ, думаю, на Уралѣ, въ К... скомъ форпостѣ, въ самыя Петровки, отказать въ судака или не продать судака за деньги, когда судаковъ ловятъ играючи дѣти, и когда судаки рѣшительно никакой цѣны не имѣютъ: да это просто ни на что не похоже! это просто чепуха! это не мыслимо!...»

Не знающій, т. е. мало опытный, не искусившійся надъ стариками-казаками, могъ подумать, что Иванъ Никитичъ скряга:

такъ дать — жалѣть, а продать стыдится. Еслибъ это была правда, я и говорить бы объ этомъ не сталъ. Но въ отказѣ старика скрывалось инаго рода чувство. Отказывая мнѣ въ судакѣ, онъ хотѣлъ дать мнѣ понять, чтобы я убирался ко всѣмъ чертямъ... Что сіе означаетъ?

Сіе означаетъ слѣдующее:

Иванъ Никитичъ Чакрыгинъ, какъ казакъ стараго закала, не очень жалуетъ чиновниковъ, и не потому, замѣтите, чтобы когда-нибудь самъ потерпѣлъ отъ чиновниковъ, — отъ этого, пока, Богъ его хранилъ — а потому, что, по его понятіямъ, чиновникъ въ казацкой, по крайней мѣрѣ въ уральской казацкой, общинѣ, не иное что (не въ обиду будь сказано чиновникамъ), какъ летучая мышь, которая отъ звѣрей отстала, а къ птицамъ не пристала.»

Насколько тутъ правды, насколько тутъ увлеченія — разсуждать теперь не приходится: предметъ слишкомъ широкъ; онъ требуетъ особаго разсужденія, и я представляю его въ своемъ мѣстѣ, а здѣсь, на первый случай, скажу одно, что положеніе казацкихъ офицеровъ въ уральскомъ войскѣ дѣйстви-тельно фальшиво, но въ томъ они нисколько не виноваты.... А покуда обращаюсь къ Ивану Никитичу и его бершикамъ.

— Конечно, сказалъ я, принимая шуточный тонъ — около бершиковъ много не возьмешь. Однако, Иванъ Никитичъ, нынче, видно, бершики-то переродились. Смотри-ка, какая бершевая варка: точь-въ-точь судачья...

Старикъ покраснѣлъ и затрясся: ему и стыдно и досадно сдѣлалось, что бершики уличили его во лжи.

— Вамъ лучше знать: вы чиновники, а мы люди простые... Ступайте и бесѣдуйте съ чиновниками, отвѣчалъ онъ, и принялся кушать.

Мнѣ ничего не оставалось дѣлать, какъ только удалиться. Но мнѣ жаль было разстаться съ такимъ сокровищемъ, какъ Иванъ Никитичъ, не выпытавъ хорошенько образа его мыслей. Немного помолчавъ, я всталъ, принявъ видъ огорченнаго до глубины сердца, и проговорилъ, или, правильнѣе, прочиталъ слѣдующій монологъ, читанный мною и прежде и послѣ того на одну и ту же тему, но съ разными варіаціями:

— Мнѣ очень прискорбно, Иванъ Никитичъ, что ты встрѣчаешь меня такъ не любовно. Ты думаешь, будто я какой-нибудь шпионъ, будто съ подвохомъ къ тебѣ пришелъ. Напрасно! Я совсѣмъ не такой человекъ. Ты не смотри, что на мнѣ свѣтлыя пуговицы да лыки (галуны). Я ихъ ношу не по своей охотѣ: мнѣ велятъ носить... Хоша я и чиновникъ, но въ душѣ я крѣпко люблю старину, очень-очень уважаю стариковъ, — съ любовію, со слезами умиленія вспоминаю о тѣхъ казакахъ, которые, въ

старые годы, за старину стояли и страдали, люблю бесѣдовать съ почтенными стариками и слушать ихъ разумныя рѣчи . . . Я самъ, Иванъ Никитичъ, вышелъ изъ такого же семейства, какъ, примѣрно, твое. У меня у самого былъ такой же дѣдъ, какъ, примѣрно, ты... Какъ же мнѣ не любить васъ? Я самъ...

— Да ты кто? вдругъ прервалъ меня старикъ.

Я сказалъ ему свое имя.

— Денисъ Ѳедорычъ какъ тебѣ будетъ? спросилъ старикъ.

— Родной дѣдушка...

— Экой ты, экой ты какой! забормоталъ Иванъ Никитичъ, вскочивъ съ мѣста и усаживая меня на лавку около себя.—Экой ты, экой ты какой! Что жъ ты прежде не сказалъ, что ты Дениса Ѳедорыча мнучекъ? Вѣдь съ дѣдушкой-то твоимъ съ Денисъ Ѳедорычемъ — царство ему небесное! — пріятели были, закадычные: одна чашка, одна ложка; вмѣстѣ росли, вмѣстѣ на плавнѣ въ веслахъ, въ двойчаткахъ, плавали; вмѣстѣ по вечерамъ ходили. У! щеголь же былъ твой дѣдушка. И женились-то мы съ нимъ въ одинъ мясоѣдъ... Экой ты, экой ты какой!

Наконецъ-то добился, чего хотѣлъ. И толковать нечего, что тутъ у насъ со старикомъ пошла бесѣда какъ по маслу.

— Дѣдушка твой былъ человекъ куда хорошій, ретивый, только щедушный, говорилъ Иванъ Никитичъ.— Пожили мы съ нимъ этакъ заедино не годъ, не два, признали его обычай и все такое; напоследокъ и говоримъ ему: «Нѣтъ, Денисъ Ѳедорычъ, не годишься, не срученъ ты для нашей работы. Надѣлил тебя Господь умомъ здравымъ и сердцемъ добрымъ: такъ ступай, говоримъ, по начальнической дорогѣ; и тамъ, говоримъ, умны и добры люди намъ надобны. Только, говоримъ, не забывайся, штата не принимай.»—Сказали мы это ему, дали въ руки сотническій посохъ, да и пустили его по начальнической дорогѣ. И пошелъ нашъ Денисъ Ѳедорычъ, любо-дорого смотрѣть... Опосля, какъ штатомъ-то насъ нахлобучили, Денисъ Ѳедорычъ хотя и получилъ темлякъ и шпагу, однако честь и совѣсть не забылъ: жилъ и командовалъ нами по-христіански, какъ Богъ повелѣлъ, и какъ предками заповѣдано... Да, старые начальники не то были, чѣмъ нынѣшніе... Нынѣшніе-то ужъ больно костоваты, народъ обижаютъ; себя очень высоко возвышаютъ, дворянами величаются, а насъ за халуевъ почитаютъ... А, вѣдь, сказать правду, породой-те не далеко отъ насъ ушли: одна кровь, одна кость, одной полосы мясо...

— Правда, правда твоя, Иванъ Никитичъ! вторилъ я старику.

— Экой ты, экой ты какой!

Это любимое и всегдашнее восклицаніе Иванъ Никитича, когда онъ чувствуетъ себя довольнымъ и веселымъ.

— Татьяна! вдругъ вскричалъ Иванъ Никитичъ, обращаясь къ снохѣ. — Чтѣ глаза-то уставила? Ступай достань изъ погреба пару, что ни лучшихъ, судаковъ; отошли съ Мишей на фатеру къ нему.

Старикъ указалъ на меня.

«А, вотъ они каковы бершики-то: всплываютъ таки на-конецъ», подумалъ я.

— Спасибо, Иванъ Никитичъ, сказалъ я: теперь мнѣ не надо судаковъ.

— Да ты давѣ спрашивалъ?

— Дѣло прошлое, Иванъ Никитичъ, сказалъ я: я спрашивалъ такъ, чтобы разговоръ съ тобой чѣмъ-нибудь начать...

— Экой ты, экой ты какой! смѣясь проговорилъ Иванъ Никитичъ. Потомъ прибавилъ: —экой ты какой лукавый!... Ну завтра я живенькихъ тебѣ пришлю, а если Богъ благословитъ — стерлядку, и стерлядку пришлю.

Долго я пробылъ у Ивана Никитича Чакрыгина. Много, много мы съ нимъ толковали. О чемъ мы съ нимъ не толковали? И о Маринѣ Кайдановнѣ, и о Добрынѣ Никитичѣ съ Васильемъ Казберычемъ, и о Харкѣ, сподвижникѣ Разина, и о явленіи Алексѣя-Митрополита яицкимъ казакамъ, и о Кочкинѣ пирѣ... да всего теперь не припомнишь. Наконецъ, дошли до крестьянскаго вопроса....

Читатель, васъ удивляетъ, что крестьянскій вопросъ интересуетъ обитателей Урала, древняго Яика, гдѣ никогда не было рабства, а жила, по словамъ историковъ, одна сумасбродная вольница.

И меня удивилъ уральскій казакъ, Иванъ Никитичъ Чакрыгинъ, когда спросилъ:

— Правда ли, бають, что крестьяне отходятъ отъ баръ?

— Правда. Да намъ-то чтѣ за дѣло? сказалъ я, и съ удивленіемъ посмотрѣлъ на старика.

— Вамъ, чиновникамъ, пожалуй дѣла нѣтъ, сказалъ старикъ: — вы на дворянской погѣ. Чтѣ тамъ ни случись, вы все-таки на нашей шеѣ останетесь. Но намъ-то каково будетъ, когда насъ со всѣхъ сторонъ урѣжутъ.

— Чтѣ такое?

— А вотъ чтѣ. Старики наши на счетъ этого дѣла говорили: «придетъ-де время, когда крестьяне отойдутъ отъ баръ: тогда-де, чего добраго, отъ казаковъ отойдетъ рѣка Яикъ».

— Какъ такъ? спросилъ я, и еще съ большимъ удивленіемъ посмотрѣлъ на старика, все не понимая смысла его словъ.

— А вотъ какъ! сказалъ онъ съ таинственностію. — Бары крестьянами—слышь—а казаки Яикомъ—слышь—владеютъ на одномъ положеніи.

— А-а!?

Больше этого я ни слова не умѣлъ вымолвить: озадаченный новизною и оригинальною мысли казака, я весь превратился въ слухъ и удивленіе.

Старикъ продолжалъ приблизительно такъ:

— Въ стары годы, когда наши праотцы заселяли Яикъ — а это было у! какъ давно: старики-старожилые не запомнятъ, это было, касатикъ, и прежде Харка, и прежде Марины Кайда-новны, и прежде явленія Алексѣя-Митрополита, это было, должно полагать, вскорѣ послѣ того, какъ на Яикѣ былъ Добрыня Никитичъ съ Васильемъ Казберычемъ, да, въ стары годы, когда наши праотцы заселяли Яикъ: вотъ въ то-то, видно, время расейскій царь велъ брань-войну съ невѣрными царями. Въ стары времена Расея была земелька небольшая, слабо-сильная. Коли устояла она, коли и возвеличилась она надъ всѣми царствами и языками, въ томъ много ей помогли казаки-лыцари, всѣ казаки: и донскіе, и терскіе, и запорожскіе, и волжскіе, и сибирскіе, и яицкіе; они по границамъ расейскимъ «крѣпи даржали» и басурмановъ усмиряли. Безъ казаковъ не знай что бы съ Расеей было.... Въ старину басурмановъ было видимо-невидимо, словно саранчи проклятой. Со всѣхъ сторонъ они безперечь врывались въ Расею, и вызывали царей нашихъ на брань-войну. Хошь, бывало, радъ не радъ, а воюй; не то—дань плати. Такъ было и въ то время. Напали на Расею заразъ три невѣрныхъ царя: салтанъ турскій, царь казанскій и ханъ крымскій. Ну, нашему-то царю и не въ моготу стало. Онъ и такъ и сякъ, а справиться съ троими не можетъ. Вотъ онъ, батюшка нашъ, и шлетъ на Яикъ къ казакамъ грамотку, пишетъ: «такъ и такъ, помогите, православные! нехристи одолеваютъ. Сколько васъ тамъ на Яикѣ есть, всѣ не ходите: будетъ и половиночки.

«Значить и въ тѣ поры царю вѣдомо было, что яицкіе казаки молодцы, настоящіе воины, на руку охулки не положить. Ладно.

«Въ тѣ поры казаковъ на Яикѣ было всего-на-все человекъ триста; значить: самая малость. Получили они отъ царя грамотку, сошлись въ казачій кругъ, распустили знамечко свое шелковое, позлащенное, и стали думать думу крѣпкую. Что дѣлать? Всѣмъ идти — царь не желаетъ; да и Яикъ бросать опасно; пожалуй еще какъ-нибудь Орда нахлынетъ. Половиночкѣ идти — другой половиночкѣ завидно. Какъ тутъ быть? Думали, думали казаки, да и рѣшили: послать на подмогу къ царю только троихъ казаковъ, что ни самыхъ лучшихъ воиновъ, троихъ лицарей-поединщиковъ. — Помолясь и благословясь, поѣхали наши лыцари на поле Куликово, гдѣ было собраніе войсковое.

Первому лыцарю имя Иванъ Пыжала, второму — Иванъ Шатала, а третьему — Иванъ Кладъ. И четвертый лыцарь съ ними поѣхалъ, но тотъ такъ поѣхалъ: въ случаѣ какой неустойки, было бы кому на Яикъ вѣсть дать. Этого лыцаря звали: Иванъ Бирючьихъ-Лапъ. Ладно. Приѣхали наши лыцари въ армію царя расейскаго, то-псь, въ самую пору. Стоитъ на полѣ Куликовомъ расейская армеюшка словно сиротинушка: всѣ воины не веселы, всѣ воеводы и бояры головы повѣсили; и было, касатикъ, отъ чего. Супротивъ одной рати царя расейскаго стоятъ три рати трехъ царей невѣрныхъ. Боя они не начинаютъ, а вызываютъ поединщиковъ. Въ старину, вишь, былъ таковъ обычай: супротивныя арміи рѣдко въ бой вступали, а рѣшали споръ поединщиками. Такъ было и въ ту пору. Отъ трехъ ратей басурманскихъ выѣхали три богатыря-поединщика, прешрашнѣющіе. Каждый съ ногъ до головы желѣзомъ покрытъ, точъ-въ-точъ собака, лютый индрикъ-звѣрь...

— Какой звѣрь? прервалъ я.

— Индрикъ-звѣрь, что въ пѣснѣ поется. Развѣ не слыхалъ?

— Нѣтъ; а желалъ бы послушать, сказалъ я.

— Пожалуй, мнучекъ мой уже пропоетъ

— Нѣтъ, Иванъ Никитичъ, ты самъ пропой, если можно.

— Экой ты, экой ты какой! на старости-то лѣтъ я буду грѣшить.

— Ну, пожалуй, не пой, Иванъ Никитичъ, а Расскажи словами.

— Словами? Словами можно, сказалъ старикъ, и началъ:

Не галичѣя стая подымалася,
 Не звѣриное собраніе собиралось;
 Не галичѣя стая въ перелетъ летить,
 Не звѣриное собраніе въ перебѣгъ бѣжить —
 Напередъ бѣжить собака, лютый *индрикъ-звѣрь*.
 У индричка копыточки булатныя,
 Шерсточка на индричкѣ бумажная,
 Напередъ его щетинушки запрокинулись,
 На спиночкѣ два блюдечка серебряныя,
 На блюдечкахъ два яблочка катаются,
 Жемчугъ-бунчукъ разсыпается.
 Подбѣгаетъ, собака, къ быстрой рѣкѣ,
 Къ той рѣченькѣ, къ быстру Днѣпру.
 Засвисталъ-то онъ, загаркалъ по звѣриному,
 Зашипѣлъ-то онъ, собака, по змѣиному.
 Оттого-то наша Нѣпечка всколыхалася,
 Оттого-то съ дубьевъ вершины посломалися.

— Вотъ онъ какой, собака, лютый индрикъ-звѣрь! сказалъ старикъ. — Сунься-ка на него — ожгесся, зубъ скусишь. По-

бить такого звѣря, касатикъ, не мутовку облизать... Сколько тамъ съ расейской стороны ни было князей и бояръ, а выйти супротивъ басурманскихъ поединщиковъ ни одного охотника не выискалось. А невѣрные-то цари свое дѣло дѣлають, нудятъ нашего, говорятъ: «высылай поединщиковъ, иль бо самъ выходи; не то, покорись и дань плати.»— Каково нашему-то царю слушать таковы словеса изъ устъ поганой Орды!.. Царь, говорятъ, самъ хотѣлъ идти на поединокъ, велѣлъ-было коня сѣдлатъ и латы себѣ готовить. А тутъ, какъ-разъ, и прилетѣли наши орлы орловичи, сирѣчь наши три Ивана, да четвертый на-поддачу. Царь успѣлъ только вымолвить: «голубчики!»— А голубчики ужъ вылетѣли въ поле и ударили на басурманскихъ поединщиковъ, даромъ что они похожи на индрика-звѣря.—Разъ-два-три: басурманы съ коней долой!— Разъ-два-три: басурмански головы торчатъ уже на казачьихъ копьяхъ! Значить: шабашъ!

«Басурманскія рати, извѣстно, послѣ того преклонились передъ нашей. Значить: наша взяла! Царь нашъ возвеличился, и по всей вселенной прославился. Значить: никто же на ны!

«На такихъ великихъ на радостяхъ царь сзываетъ всѣхъ, и князей, и бояръ, и казаковъ нашихъ, въ первопрестольный градъ, въ каменну Москву. Значить: пиръ пировать и награды раздавать! Потуманили гурьбой въ Москву всѣ князья и бояры, другъ друга перегоняють, другъ друга перебивають... Отъ поединка хоша они и отказались, но отъ пира-банкета, а пуще отъ награды, не прочь. Значить: печи бить — нѣтъ насъ, пиво пить — мы не хуже васъ.

«И наши лыцари поѣхали, но не торопятся, и ѣдутъ себѣ, какъ въ старинныхъ пѣсняхъ поется, потихохоньку, посмирнехоньку. Думаютъ про себя: «наше отъ насъ не уйдетъ».

«Много ли, мало ли пировали у царя и князья, и бояры, и казаки яицкіе, наконецъ пришло время награды раздавать.

«Спрашиваетъ царь князей и бояръ:

«— Чѣмъ мнѣ васъ дарить-жаловать: золотой казной, иль драгоценными камнями?

«Отвѣчаютъ князья и бояры:

«— Не надо намъ ни золотой казны, ни драгоценныхъ камней, а пожалуй насъ деревнями да крестьянами.

«И пожаловалъ царь князей и бояръ деревнями да крестьянами.

«Спрашиваетъ теперь царь нашихъ казаковъ:

«— А васъ, атаманы-молодцы, чѣмъ дарить-жаловать: золотой ли казной, самоцвѣтными ли камнями, иль, какъ князей и бояръ, деревнями да крестьянами?

«Отвѣчаютъ наши казаки:

«— Не надо намъ, надѣжа-царь, ни золотой казны, ни самоцвѣтныхъ камней, не надо намъ ни деревень, ни крестьянъ; а пожалуй насъ рѣкой Яикомъ, отъ вершинъ до устьевъ, съ рыбными ловлями, стѣнными покосами и лѣсными порубами.

«И пожаловалъ насъ царь рѣкой Яикомъ, съ вершинъ до устьевъ, съ рыбными ловлями, стѣнными покосами и лѣсными порубами.

«А князья и бояры слышутъ да смѣются. — Вотъ дураки-то вотъ дураки-то, чего просятъ! говорятъ межъ себя. — Развѣ земля наша клиномъ сошлась: гдѣ нѣтъ воды, гдѣ нѣтъ травы, гдѣ нѣтъ лѣса? Воткни палку — и дерево вырастетъ. Прямые дураки, безтолочь! — говорятъ про нашихъ-то казаковъ.

«А наши казаки не дураки, не безтолочь. Они знали честь и совѣсть, помнили заповѣдь божію: «въ потѣ лица хлѣбъ себѣ добывай», — твердо знали и пословицу: «на чужой каравай, рта не разѣвай». — Нѣтъ, старики наши не дураки, они не о своей одной выгодѣ заботились, а заботились о пользѣ всего своего общества.

«Вотъ нынѣшніе-то казаки, прибавилъ Чакрыгинъ, можно сказать, тоже не дураки, да, за малымъ дѣло стало, себѣ на умѣ. Стараются только сдѣлать какую-нибудь отличку, выслужить что-нибудь себѣ одному, примѣрно крестъ, а пуще чинъ, чтобы, знаешь, чиновникомъ сдѣлаться, да съ нашего брата, не чиновнаго казака, волокшу драть...

— Вотъ на какомъ положеніи... сталъ-было договаривать Иванъ Никитичъ, но я перервалъ его словами:

— Довольно! понялъ...

І. Желѣзновъ.

ПО ПОВОДУ АМЕРИКАНСКОЙ ЖЕНЩИНЫ.

Чрезвычайно-интересно присматриваться къ впечатлѣніямъ, которыя производитъ движеніе гражданственности, если угодно: прогрессъ, въ нѣкоторыхъ кружкахъ и лицахъ современнаго русскаго общества. Случается слышать сужденія, исполненныя гомерическаго комизма. Есть старовѣры, съ циническою натяжкою осмѣивающіе событія, факты движенія; другіе поступаютъ проще: отвергаютъ ихъ, какъ бы не видя того, что, однако, каждому мечется въ глаза. То и другое, естественно, происходитъ преднамѣренно. Объяснить явленіе не мудрено: человѣку, пріобрѣтшему опредѣленный закалъ и недостаточно развитому морально и умственно, тяжело вообразить перемѣну. Бывали же старички, которые по день своей кончины не могли разстаться съ шелковыми чулками и косою, не глядя на то, что эти принадлежности иного времени давно живутъ единственно въ воспоминаніяхъ и на подмосткахъ театра. Многіе и по сей день не имѣютъ рѣшимости снять высокіе и жесткіе ошейники, какъ-будто взаправду удобнѣе носить хомутъ, нежели повязку легкую, нестѣснительную. Въ областяхъ нравственной и умственной закоренѣлость подобныхъ индивидуумовъ гораздо еще сильнѣе.

Въ женщинахъ аналогическое сбывается по другому закону. Мы не въ состояніи назвать ни одной матроны, которая согласилась бы отстать отъ времени своею внѣшностію. Если не всѣ почтенныя бабушки молодятся, бѣлятся, румянятся, покушаются на кринолинъ, — ни одна, и одѣваясь по-старушечьи, не захо-

четь одѣться иначе нежели принято теперь одѣваться старуш-камъ. А посмотрите, какіе есть нарядные чепцы *à la vieille*, рукава *à la vieille*, и такъ далѣе. Разумѣется, мы оставляемъ въ сторонѣ глухіе закоулки нашего отечества, тѣ углы городовъ и провинцій, куда еще не проникають лучи просвѣщенія, газа и даже стеарина. — Зато нравственно и умственно значительная масса прекрасныхъ особъ нашей національности, во сто разъ упрямѣ мужской ея половины. Онѣ, немножко по прирожденной дискразіи, вдесятеро болѣе по милости условій развитія, съ позволенія сказать: воспитанія, пренебрегая анализомъ, ревностно пристроиваются къ той дружинѣ, которая на-отрѣзъ отвергаетъ существованіе факта—пусть только онѣ пришелся не по вкусу. Не лишено, при этомъ, нѣкоторой занимательности то обстоятельство, что весьма достойные люди, умные, образованные, ученые, и не подозреваютъ приведенныхъ явленій. Насъ, впрочемъ, это не удивляетъ: теоретики, свѣтила науки, даже иные публицисты, такъ неохотно покидаютъ свои храмы-кабинеты, такъ мало соприкасаются съ животрепещущими біеніями не отвлеченной современности, наиболѣе слѣдя за нею не въ ея непосредственности, а изучая ее какъ врачи осуждены изучать человѣческое тѣло—изъ организмовъ, въ коихъ отправленія остыли. Мы же съ своей стороны, не боясь и упрековъ въ парадоксальности, къ сказанному выше прибавимъ: женщины не только обнаруживаютъ наибольшій спектицизмъ относительно событій гражданственнаго движенія,—онѣ-то наиболѣе оказываютъ ему сопротивленія; женщины вредятъ прогрессу. И это не въ одномъ нашемъ обществѣ: такъ было и есть на Западѣ, естественно съ тѣми отѣнками, которые насъ съ нимъ различають. Привычка, предразсудокъ, повѣрья, раболѣпное поклоненіе обычаю и модѣ, рутина: всѣ эти тунеядныя растенія столь роскошно принимаются на рыхлой почвѣ женской организаціи! Понятно; но развѣ оттого менѣе грустно, и въ идеѣ, и въ результатѣ — на дѣлѣ? Извѣстная госпожа Эмиль Жирарденъ, нѣкогда заслужившая столько сочувствія своими письмами-фѣльетонами въ «*Presse*», не смотря на всю не женскую способность къ діагностикѣ, съ коей разбирала нравственныя болѣзни современнаго ей французскаго общества, не взирая также на всю глубину и безпощадность ея сатиры, недавно не женской, сколько ни тонкой, — вдругъ, напимѣръ, не упомнимъ въ которомъ именно году, принимается за серьезный трактатъ въ честь кокетства: доказываетъ, какъ нельзя хладнокровнѣе и положителнѣе, что женщина обязана быть кокеткой; — г-жа Жирарденъ, та самая, которая клеймила слабости несравненно-меньшей важности! Чего же ждать отъ дюжинныхъ женскихъ

личностей? А между дюжинными и г-жою Жирарденъ сколько еще градацій!

Не странное ли дѣло? Есть ли что-нибудь въ натурѣ человека, какъ бы природный человекъ ни былъ выломанъ искусственностію и условностію современнаго общества, но если онъ только умѣетъ размышлять и чувствовать, — есть ли что-нибудь, говоримъ, въ человекѣ, оправдывающее теорію г-жи Жирарденъ? Неужели кокетство, въ томъ смыслѣ, который придаютъ ему вообще, не отталкиваетъ каждаго? Что это за непристойное, сколь бы ни тонкое и пристойное съ виду, набиваніе себя цѣны, — и неужели простота, безыскусственность, вѣрность своему природному началу и такъ-сказать конкретность формы съ этими идеями, не блистательнѣйшія средства, какими можетъ располагать женщина, чтобы производить впечатлѣніе, плѣнять, исполнять всѣ свои земныя назначенія: быть букетомъ жизни для юноши, подругой-утѣшительницей для зрѣлаго мужа, сестрою милосердія для старца? Неужели самое слово «кокетство» не звучитъ какъ-то непристойно?

У насъ если не найдется, или не нашлось до сихъ поръ, женщинъ, способныхъ публично пѣть гимны понятію, нами преслѣдуемому, такъ имѣется весьма много особъ, считающихъ понятіе совершенно-законнымъ, а глаголь, понесчастію обрυσый, ревностно спрягающихъ ежесекундными дѣйствіями. Назначьте какую угодно премію — изъ опредѣленнаго кружка не выступитъ ни одной героини, которая бы рѣшилась съ отвагою Курція броситься въ бездну простоты, естественности, непосредственной граціи, искренней прелести. Въ томъ кругу мудрено назвать даже и такую личность, которая бы вѣрила, что отчужденіе женщины отъ обветшалой пошлости необходимо, что исполненіе этого было бы благодѣтельнымъ событіемъ успѣха, а каждый шагъ по пути, діаметрально-противоположному нынѣшнему, слѣдуетъ назвать отраднымъ явленіемъ.

Тѣмъ не менѣе вопросъ былъ не разъ уже поднимаемъ, если не въ печати, такъ изустно. Истинно, мы живемъ въ прекрасное время. Русское общество, въ массѣ, жаждетъ улучшенія, какъ прозябаемое освѣжающей, живительной росы. Можетъ ли оно, поэтому, оставаться безстрастнымъ въ вопросѣ о женщинахъ! А тотъ, съ виду частный, вопросъ, о которомъ мы завели рѣчь здѣсь, составляетъ одинъ изъ самыхъ существенныхъ составовъ общаго, ибо несчастная теорія пропитываетъ инья жизни подобно медленному яду, который бы въ физическомъ организмѣ противодействовалъ всѣмъ законнымъ, правильнымъ отправленіямъ. Развѣ мало матерей и воспитательницъ, которыя питомицамъ своимъ внушаютъ кокетство на ряду съ тѣми житейскими

обязанностями, кои онѣ, руководительницы, почитаютъ священными?

На эти размышленія, не разъ занимавшія насъ, теперь навели насъ рассказы одной Француженки, не такъ давно, если и не вчера, путешествовавшей по Америкѣ. *

Представляемъ въ извлеченіи то, что насъ наиболѣе поразило въ наблюденіяхъ путешественницы.

Мы будемъ говорить отъ имени госпожи Фонтнэ.

Два пріятеля—Француза, Жюльэнь и Ришаръ, пріѣхали въ Америку. Ришаръ сразу окунулся въ Нью-Йоркѣ въ тѣсно-практическую, утилитарную жизнь, — Жюльэнь бросился путешествовать, да еще какъ? какъ и въ Европѣ путешествуютъ одни поэты: художники разныхъ наименованій, стихотворцы и прозаики, лица, повинующіяся единственно идеальнымъ влеченіямъ къ безусловному въ природѣ, искусствѣ, жизни, — словомъ, весьма и весьма немногіе.

Черезъ нѣкоторое время Жюльэнь возвращается въ Нью-Йоркѣ. Онъ преисполненъ разнообразныхъ впечатлѣній. Въ его душѣ, въ его воспоминаніи бездна восхитительныхъ картонновъ.

Практикъ—пріятель смѣется надъ энтузіастомъ, какъ... какъ жизнь, какъ общество каждый день смѣются надъ самыми святыми вѣрованіями, какъ взяточникъ смѣется надъ честнымъ чиновникомъ, откупщикъ надъ благоразумнымъ противникомъ нелѣпой системы, наконецъ, какъ Мефистофель смѣется надо всѣмъ. Жюльэнь не понимаетъ, не стынетъ.

Пріятели сидятъ у Мальяра, въ одной изъ великолѣпныхъ кондитерскихъ Нью-Йорка, куда городъ, въ лицѣ блистательнѣйшихъ представителей и представительницъ мѣстнаго общества, стекается уничтожать невѣроятнѣйшее количество мороженого, пирожковъ, конфетъ.

— Знаешь ты эту женщину? спрашиваетъ Жюльэнь, указывая на одну изъ присутствующихъ.

— Какъ же, отвѣчаетъ Ришаръ:—это миссъ Сара Кардуэль, одна изъ нашихъ наиболѣе извѣстныхъ и фэшенебельныхъ леди.

— Говоритъ она по-французски?

— Прекрасно. Въ богатыхъ американскихъ семействахъ почти исключительно говорятъ на французскомъ языкѣ.

— Можешь ты меня представить?

— Отчего же.

* «*L'autre monde*», p. Marie Fontenay (M-me Manoël de Grandfort). Paris 1855.

Спустя минуту, Жюльэнь представленъ миссъ Сарѣ; короткость устанавливается мгновенно, и Американка съ видимымъ удовольствіемъ внимаетъ поэтическія бутады молодаго Француза.

Миссъ Сарѣ Кардуэль девятнадцать лѣтъ. Семейство ея одно изъ самыхъ богатыхъ и извѣстныхъ въ Нью-Йоркѣ. Уже прославленная по роскоши и щедрости, она умна и хороша, хороша красотою своей страны. Правильный ростъ, роскошные волосы, вызывающій взглядъ, смѣлая поступь, блѣло-розовая карнація, блестящія уста: таковы внѣшнія особенности, дѣлающія уроженокъ Нью-Йорка красавицами отъ пятнадцатилѣтняго возраста до двадцатипятилѣтняго. Позже онѣ становятся дурны, и едва выносимо: невообразимое злоупотребленіе горячаго хлѣба и горячихъ пирожковъ скоро губить неподобные зубы; отъ преизбытка свѣтскихъ удовольствій вянетъ прозрачный цвѣтъ лица и розовой кожи.

Повидимому новый знакомецъ произвелъ на миссъ Сару самое благопріятное впечатлѣніе. Разставаясь съ друзьями, она обоимъ протянула руку.

— До завтра, господа, сказала она—я завтра даю балъ молодымъ людямъ—моимъ друзьямъ. Предупреждаю, что на этотъ вечеръ господинъ Жюльэнь будетъ моимъ любимымъ кавалеромъ.

— Ого! замѣтилъ Ришаръ съ намѣреніемъ — Франція торжествуетъ надъ Америкой. А съ вами что же будетъ? обратился онъ къ нѣкому сэру Вильяму, съ коимъ они застали красавицу.

— Увы! отвѣчалъ Вильямъ съ упрекомъ — вотъ и награда за три дня привязанности!

— Бѣдный Вильямъ! сказала миссъ Сара свободно и развязно — утѣштесь: сегодня ваша очередь, ваша же будетъ и послѣ завтра.

И она отправилась объ-руку съ Вильямомъ.

... Салоны миссъ Кардуэль блистали свѣтомъ и цвѣтами, когда, на слѣдующій вечеръ, явились къ ней Ришаръ и Жюльэнь. Здѣсь былъ, какъ бы на заказъ, сборъ прекраснѣйшихъ Американокъ и граціознѣйшихъ Креолокъ. Одна другой лучше, наряднѣе, милѣе. Американка горделиво выставяла длинные, полублачные бѣлокурые волосы, прозрачную кожу, бѣлыя плечи; южная Креолка пригладила косы, черныя какъ смоль, смѣялась, чтобы показать сырую эмаль жемчужныхъ зубовъ, такъ-сказать волнообразно играла, при свѣтѣ люстръ, цѣлымъ своей гибкой и богатой организациіи и, вальсируя, выставяла крошечную ножку въ шолковомъ чулкѣ, которую ревновала Американка.

Никогда *flirtation* — мы съ намѣреніемъ не переводимъ слова — не бывала такъ соблазнительна; никогда *corting-chairs* ¹⁾ не соединяли паръ болѣе влюбленныхъ, болѣе элегантныхъ. Салонъ для *flirtation* былъ въ восхитительномъ вкусѣ, и ничто бы не могло такъ содѣйствовать поэтической мечтательности, какъ тотъ мягкій, искусно-сбереженный свѣтъ, который неопредѣленными лучами падалъ въ прекрасный будуаръ.

Что шепчется въ продолженіе долгихъ часовъ *tête-à-tête* а, когда два лица обращены другъ къ другу, волосы почти соприкасаются, дыханія сливаются?

Я спросила однажды у ребенка, бѣленькаго, розовенькаго, съ голубыми глазками, миньятюрными ручками, — едва дѣвушки:

— Что такое *to flirt* или *flirter*?

Она взглянула на меня съ усмѣшкой.

— Слово масонской тайны, сказала она.

— Вѣроятно, продолжала я — между безчисленными кавалерами, съ которыми вы *флиртуете*, вы скоро сдѣлаете выборъ?

— Нѣтъ, отвѣчалъ розовый ребенокъ — мои нью-іоркскіе кавалеры мнѣ ужъ наскучили, и я на будущую зиму въ Бостонъ ²⁾. *Je n'ai pas fait ma vie de jeune fille*, прибавила она серьезно.

Онѣ всѣ говорятъ *ma vie de jeune fille*, совершенно какъ во Франціи говорится *ma vie de jeune homme*.

— Прекрасные планы, замѣтила я, улыбаясь — но можете ли вы поручиться, что сохраните независимость на столько, сколько общаете себѣ? Вы очень хороши; васъ окружить все, что есть въ Бостонѣ блистательныхъ джентльменовъ: возьметесь ли вы, молодая дѣвушка, отвѣчать за ваше сердце?

Американка бросила на меня взглядъ, котораго я никогда не забуду: — смѣсь презрѣнія и жалости.

— Отвѣчать за мое сердце! сказала она, пожимая чудными плечиками. — Надо быть Француженкой или Креолкой, чтобы спрашивать такія вещи.

И она отошла, не считая меня достойною бесѣдовать съ нею. Кажется, я совершила преступленіе, предположивъ въ ней сердце. Я была ошеломлена.

Впослѣдствіи я узнала, что въ отзывѣ моей собесѣдницы не было ровно ничего оригинальнаго для Американки. Всѣ дѣвушки *флиртуютъ*: дома, въ театрѣ, въ кондитерскихъ, въ богатыхъ ресторанахъ, въ концертахъ, на гуляньяхъ. Обычай; еще больше: мода. Что касается до отца и матери, не спрашивайте

1) Особая мебель.

2) Бостонъ — Аены Соединенныхъ Штатовъ.

меня, гдѣ они. Я ихъ никогда не видала. Мое мнѣніе на ихъ счетъ, что они не существуютъ.

... Жюльѣнъ и Ришаръ пробрались сквозь волны богато-одѣтыхъ женщинъ, стоявшихъ, громко разговаривавшихъ и обмѣнивавшихся шумными восклицаніями съ прибывавшими знаковыми.

— *How do you?* восклицали Американки, смѣясь во все горло.

— *How do you do?* отвѣчали джентльмены тѣмъ же тономъ.

Слѣдовали рукопожатія чуть-что не до вывиха.

Американки много смѣются. Не то, чтобы онѣ отъ природы были веселы и общительны — напротивъ, но это у нихъ знакъ удовольствія, котораго требуютъ приличія.

Разъ какъ-то я занялась чтеніемъ въ уголкѣ огромной залы гостиницы; въ нѣсколькихъ шагахъ отъ меня просто-на-просто заливались двѣ прехорошенькія и самыя приличныя миссъ.

Книга мнѣ надоѣла, — мнѣ вздумалось прислушаться къ ихъ разговору. «Вѣрно умны и добры», рѣшила я про себя: смѣхъ всегда казался мнѣ признакомъ доброй натуры.

— Какъ сегодня жарко, Эмма! сказала одна изъ незнакомокъ, покатываясь.

— Ужасно! отвѣчала другая, только-что не въ истерикѣ.

Я принялась за скучную книгу...

Прислонившись къ консоли съ свѣчами и цвѣтами, миссъ Сара, торжественно-прекрасная, улыбалась своимъ поклонникамъ, и, окруженная своимъ маленькимъ дворомъ, строила планы на завтрашній день.

Увидѣвъ Жюльѣна и Ришара, она подалась имъ на-встрѣчу.

— Поздно вы, господа, сказала она. — Мы давно танцуемъ. Полькируете вы, москѣ Жюльѣнъ?

— Съ вами-то? отвѣчалъ онъ, смотря на нее съ удивленіемъ.

Американка улыбнулась. Раздались звуки оркестра. Прекрасныя молодыя женщины, съ обнаженными плечами и грудью, пролетали, уносимыя похоронными Янками, одѣтыми съ ногъ до головы въ черное, какъ пажъ въ извѣстной пѣснѣ о Мальбрукѣ. Я часто искала между Американцами фizioномію любезную и молодую: никогда не встрѣтила ни одной. Всѣмъ имъ на лицо отъ тридцати-пяти до сорока лѣтъ; всѣ принадлежатъ къ одному изъ двухъ типовъ: торговца мыломъ, или реформатскаго пастора — *clergyman*.

Жюльѣнъ и Сара покружились съ минуту, и остановились: она висѣла на его рукѣ, онъ держалъ ее за талію, разговаривая шопотомъ.

Сара была лучезарна. Глаза ея были влажны, чудныя уста,

казалось, съ восторгомъ вдыхали жгучія рѣчи молодаго, пылаго путешественника.

Весь вечеръ продолжали они бродить вмѣстѣ въ подобномъ соотношеніи, какъ бы ища амбразуры или занавѣски, за которой бы укрыться отъ глазъ толпы.

Должно отдать справедливость американскимъ обществамъ: тамъ ни мало не занимаются безчисленными комеражми, столь часто составляющими существенную пищу европейскихъ бесѣдъ. Женщины, вмѣсто того, чтобы разбирать другъ друга, ревностно поддерживаютъ одна другую, и горе безумцу или неучу, который бы отважился на малѣйшій намекъ о добродѣтели которой-либо изъ нихъ. Такого господина постигъ бы общій остракизмъ со стороны его пріятельницъ. Если дѣвушку обманулъ кто-нибудь, ее сожалеютъ и утѣшаютъ, — соблазнителя дружно клеймятъ. Съ этой точки нельзя не сказать, что Америка дѣйствительно царство женщинъ.

— До свиданія! говорилъ миссъ Сарѣ, около трехъ часовъ утра, Жюльѣнъ—до свиданія, очаровательница!

Онъ нѣжно пожалъ ей руку, и, поцѣловавъ ее въ лобъ, спросилъ:

— Такъ это *flirtation*?

— *Flirtation*? отвѣчала она—мы еще и не начинали.

« Ну! подумалъ Европеецъ: я держалъ ее за талію и поцѣловалъ въ лобъ; я рукою и дыханіемъ прикасался къ ея шеѣ и волосамъ, а это еще не *flirtation*! Что же она называетъ *флиртовать*? »

— До завтра, прибавила Сара—будьте у меня въ семь часовъ, играютъ въ Пибло: мы съ вами отправимся.

Жюльѣнъ вышелъ вмѣстѣ съ Ришаромъ, нашептывая:

« *Elle est à moi, divinités du Pindel!* »

— Знаешь что, сказалъ онъ—эта женщина, по-моему, столько же умна, сколько хороша.

— Да, умна.... достаточно, чтобы разыграть съ тобою то же, что и со всѣми, кому она откланялась послѣ трехъ дней знакомства.

— Можетъ-быть!

— Ты не воображаешь ли, что она влюблена въ тебя?

— А почему бы нѣтъ? Развѣ я не влюбленъ въ нее?

— Резонъ. Жилъ ты въ которомъ-нибудь изъ городовъ сѣвера?

— Нѣтъ, я знаю только югъ, западъ и Канаду: сѣверные штаты я пролеталъ.

— Такъ я тебѣ дамъ понятіе о нравахъ здѣшнихъ молодыхъ Американокъ.

— Знаю, перебилъ энтузіастъ:—что по-нашему въ обращеніи женщины было бы неприлично, здѣсь не считается ни во что. Знаю также, что, подъ видомъ искренности и простосердечія, у здѣшнихъ женщинъ кроется глубокое притворство и страшный эгоизмъ; но нѣтъ правила безъ исключенія. И если на три тысячи Американокъ одна способна любить, почему не встрѣтить ее мнѣ? Миссъ Саръ, по-моему, наскучило *флиртовать*, и она сама бы рада остановить свой выборъ. Почему знать, не показалось ли ей, что она нашла во мнѣ осуществленіе своего идеала? Поистинѣ, въ моей наружности нѣтъ ничего непріятнаго, прибавилъ Жюльѣнъ, бросая на себя самодовольный взглядъ.— Всѣ мои любовницы говорили мнѣ, что я хорошъ и умѣю любить. Бьюсь объ закладъ, что миссъ Сара думаетъ то же?

— Вотъ увидишь! отвѣчалъ Ришаръ.

На другой день съ нашимъ героемъ случилась встрѣча хоть и вводная, но о которой упомянуть не лишнее.

Онъ сѣлъ въ омнибусъ, направлявшійся къ *Broadway*, Италіанскому бульвару Нью-Йорка.

Только-что онъ занялъ мѣсто, вошла еще женщина чрезвычайно-рѣшительныхъ пріемовъ. Въ Нью-Йоркѣ нѣтъ кондукторовъ, которые бы выставляли на экипажѣ надписи «*полно*» и помогали бы дамамъ входить и вылѣзть.

Дама быстро оглянула внутренность экипажа и, не видя свободнаго мѣста,

— Вставайте, сказала она Жюльѣну—скорѣе!

Жюльѣнъ поспѣшилъ исполнить требованіе, предполагая, что незнакомка забыла тутъ портмонэ или платокъ. Каково же было его удивленіе, когда она преспокойно заняла его мѣсто, не поблагодаривъ его ни словомъ, ни взглядомъ.

Онъ не зналъ что дѣлать, и между тѣмъ металъ въ Американку гнѣвные взгляды. Хотѣлъ онъ ужъ выйти изъ омнибуса, вдругъ слышитъ женскій голосъ:

— Сэръ, сэръ!

Оборачивается: видитъ молоденькую дѣвушку, одѣтую прилично, со вкусомъ.

— Садитесь сюда, говоритъ дѣвушка.

— Мѣста нѣтъ, замѣчаетъ Французъ.

— Ничего, идите.

Предложеніе было слишкомъ любезно. Жюльѣнъ подошелъ къ Американкѣ. Она встала, и, уступая ему свое мѣсто, сказала:

— Садитесь.

— Помилуйте! проговорилъ сконфуженный юноша—низачто!

— Вотъ дуракъ—то! воскликнула дѣвушка, толкнула его на лавочку, и сѣла къ нему на колѣни.

Французъ, съ своей національной самоувѣренностію, не преминулъ отнести фамиліярность молодой особы на счетъ своего

элегантнаго склада и свѣжести перчатокъ. Онъ грубо ошибался: дѣвушка поступила бы такъ съ первымъ встрѣчнымъ Янки.

На *Broadway* онъ издала узналъ миссъ Сару. Она шла съ дамой.

— А, мосье Жюльѣнь, весело и любезно привѣтствовала она его:— устали отъ вчерашняго бала?

Онъ поклонился.

Красавица продолжала:

— Это моя пріятельница; Лаура— обратилась она къ спутницѣ— представляю вамъ Француза, живописца, поэта. — Вы поэтъ? — Поэтъ, чьихъ стиховъ я не читала; но они должны быть очаровательны, если похожи на его прозу, прибавила дѣвушка, бросая ему знаменательный взглядъ.

— Я не люблю французскихъ поэтовъ, замѣтила миссъ Лаура — они-то и испортили вашихъ женщинъ.

— Какъ это? спросилъ Жюльѣнь.

— Они имъ льстили и закалили ихъ, отвѣчала Лаура — они посадили ихъ на тронъ, это правда, но съ тѣмъ вмѣстѣ приковали къ цѣпи; ихъ лестъ отзывается лестью властителя. Чего вамъ: Ламартинъ, нѣжнѣйшій изъ вашихъ поэтовъ, писалъ невозможности! Что такое его *Граціэлла*? Не позорно ли, что ваши женщины исполняются энтузіасма къ произведенію, которое ихъ унижаетъ? Какъ вы судите о дѣвушкѣ, которую онъ заставляеть обожать себя, чье сердце какъ-будто направляетъ, и которою потомъ пренебрегаетъ... даже презираетъ ее? Гдѣ достоинство женщины? гдѣ ея сила; гдѣ ея гордость?

«Блумеристка! подумалъ Жюльѣнь— вотъ попался-то!»

Они зашли въ кондитерскую къ Тэлдору.

Насладившись мороженымъ и конфетами, вышли.

— До свиданія, сказала Лаура Сарѣ— я въ *Трибуну*. А вы вечеромъ будете въ *Cottage Place*?

— Не знаю, отвѣчала Сара — мнѣ хотѣлось въ Нибло.

— Нѣтъ, пріѣзжайте лучше и привезите молодого Француза, замѣтила Лаура, безцеремонно указывая на спутника.

— Пожалуй: отвѣчаю вамъ за себя и за него. Кто жъ будетъ?

— Всѣ наши, кромѣ Люси Стоуъ, которая теперь въ Кентукки. Онѣ тамъ редижируютъ прошеніе объ опредѣленіи нашихъ политическихъ правъ: я послала мою подпись. Вы пошлете, Сара?

— Не знаю: переговоримъ.

— Неужели вы въ самомъ дѣлѣ собираетесь къ ней? спросилъ въ полголоса Жюльѣнь у Сары. Его заблаговременно давила предстоявшая атмосфера диссертаций.

— Непремѣнно: Лаура чрезвычайно замѣчательная женщина. Вы увидите у нея всѣхъ нашихъ передовыхъ. Прекрасный этюдъ

для васъ. Послѣ, можете сказать вашимъ Француженкамъ что такое Американки: женщины гордаго сердца и серьезнаго ума, которыя хотятъ сдѣлаться независимыми и свободными, между тѣмъ какъ ваши соотечественницы — рабыни, и замкнуты въ кругу мелкихъ предразсудковъ. О! воскликнула миссъ Сара вдохновенно — я бы, кажется, предпочла быть дочерью Индѣйца, нежели женою Француза, будь онъ герцогъ или маркизъ!

— Это отчего? спросилъ Жюльэнъ.

— Оттого, что ваши женщины подлы и тщеславны, и ихъ единственное удовольствіе разбирать другъ друга по косточкамъ и находить взаимно недостатки. Мы, дочери англо-саксонскаго племени, поддерживаемъ одна другую съ настойчивостію и мужествомъ, и тѣмъ сильны и велики. Если которая изъ насъ дала увлечь себя черезъ мѣру, мы не пренебрежемъ ею, не будемъ презирать ее, какъ у васъ, напротивъ: поможемъ ей чѣмъ умѣемъ, отъ души. По нашимъ обычаямъ, болѣе простымъ и истиннымъ, мы клеймимъ позоромъ и казнію не жертву, а соблазнителья.

— Я знаю, что ваши законы покровительствуютъ женщинамъ, сказалъ Жюльэнъ.

— Безъ сомнѣнія! До свиданія, однакоже, то-есть до вечера.

Дамы пошли своей дорогой.

Въ семь часовъ, вѣрный условію, Жюльэнъ явился къ миссъ Сарѣ, которая приняла его одна. Она одѣлась въ сѣренькое платье съ открытой грудью, и, взявъ его за руку, сказала:

— Скорѣе, скорѣй! Б*** долженъ сегодня читать рѣчь о рабствѣ: не опоздать бы.

«Ну! подумалъ опять Жюльэнъ, отъ-часу не легче!» и усадилъ красавицу на диванъ.

— Что такое *flirtation*? спросилъ онъ полушопотомъ, прижимая ее къ сердцу.

Американка опрокинула бѣлокурую, прекрасную головку на его плечо, и отвѣчала:

— Узнаете, только не сегодня. Ыдемъ, ѣдемъ.

Они отпровились къ блумеристкѣ Лаурѣ.

Первымъ дѣйствіемъ была здѣсь рѣчь почтеннаго Б***. Онъ началъ отъ сотворенія міра, перешелъ къ потопу, великимъ новѣйшимъ открытіямъ... чего только не говорилъ онъ, — и разразился громомъ противъ содержателей или владѣльцевъ Негровъ. Прекрасно. На другой день оказалось, что ораторъ былъ старый плантаторъ изъ Каролины, до провозглашенія своихъ убѣжденій имѣвшій благоразуміе продать своихъ Негровъ.

За нимъ повела рѣчь блумеристка, въ извѣстномъ костюмѣ.

Содержаніе спича подразумѣвается: естественно она отстаивала безусловное равенство женщины съ мужчиной, и доказывала необходимость дать прекрасному полу участіе во всѣхъ вопро-

сахъ и дѣлахъ гражданской жизни и государственнаго управленія.

Аргументамъ ея отвѣчало троекратное рукоплесканіе.

Миссъ Сара обратилась къ Жюльѣнъ съ энтузіазмомъ.

— Женщины, которыя такъ говорятъ, не заслуживаютъ, по-вашему, правъ, которыхъ требуютъ?

— Заслуживаютъ всего, что вамъ угодно. Жаль, въ видахъ пропаганды, что ораторша не поносила лицомъ и не помоложе двадцатью пятью годами.

— Вотъ вы Французы! умы поверхностные, оцѣнивающіе женщину единственно по мѣрѣ молодости и красоты, а къ остальному исполненные равнодушія и пренебреженія. Не люблю же и я вашихъ Француженокъ: характеры безъ малѣйшей возвышенности, созданные для рабства. Еслибъ можно было перевезти къ вамъ только пять сотъ Американокъ, не минуло бы сутокъ, произошелъ бы переворотъ, революція въ пользу женщины!

— Вы отвѣчаете, Сара, какъ-будто бы вы не красавица, какъ-будто ваша красота не въ состояніи свести съ ума всѣхъ Французовъ, какіе есть на свѣтѣ.

— Принципъ свободы женщинъ, гордо отвѣчала Американка — я ставлю превыше всѣхъ физическихъ преимуществъ, и чтобы содѣйствовать его торжеству, я, не колеблясь, принесла бы въ жертву мою красоту.

«Отвѣтъ, подумалъ Жюльѣнъ, который, конечно, не пришелъ бы въ голову Француженкѣ.»

Спорить съ Американкой, по его расчету, не приходилось: онъ безмолвно поклонился. Сара приняла жестъ за изъявленіе согласія и удивленіе.

— То-то! сказала она — мнѣ пріятно, что вы убѣждаетесь. Правду сказать, вы и ваши соотечественники — благодатныя натуры. Нужны только надъ вами свободныя, плодотворныя вліянія.

— Дай Богъ, нѣжно прошепталъ Жюльѣнъ — чтобы пришлось всегда быть подъ вашимъ!

Сара протянула свою ручку, которую поцѣловалъ влюбленный.

Затѣмъ произошли въ этомъ обществѣ событія, на которыхъ намъ незачѣмъ останавливаться долго. Съ однимъ изъ присутствовавшихъ приключилась апоплексія. Три докторши бросились къ нему, на перебой ревнуя о томъ, которой пустить ему кровь. Сара пошла взглянуть, и сдала покуда своего кавалера редактору *New-York Tribune*. Этотъ джентльменъ напустился на иностранца съ своими теоріями, и до-того измучилъ его, что

Жюльэнь, въ видахъ своего спокойствія, рѣшился увѣрить собесѣдника, что не знаетъ положенія завиднѣе положенія турецкаго султана.

Тѣмъ только отдѣлался онъ отъ иллюмината, который отско-чилъ отъ него какъ отъ змѣи.

Напалъ потомъ бѣдный Французъ на достославнаго ученика и переводчика Фуръэ, мистра Фицкалтона. Этотъ, указывая на чучелу птицы, началъ съ фразы: «И мы тоже будемъ съ хвостами!» и понесъ великолѣпнѣйшую гиль. Ксчастію, онъ до того углубился въ свою галиматью, что Жюльэнь нашелъ возможность ускользнуть отъ него и подойти къ Сарѣ, вернувшейся съ консиліума.

— Я имѣю намѣреніе противъ васъ, сказалъ онъ.

— Напримѣръ?

— Ваши философы меня извели, и я умру, если вы не послѣдуете за мною.

— Хотите? Я очень рада.

Они согласились ужинать у Томсона въ *Broadway*.

Выбравъ въ верхнемъ этажѣ залу, которую нашли пустою, они заняли самый укромный, самый комфортабельный уголокъ и совмѣстно соорудили экстравагантнѣйшую карту. Нечего и говорить: все время ужина Жюльэнь былъ до-нельзя влюбленъ; миссъ Сара казалась чрезвычайно-нѣжна. Юноша бралъ ее за руки, она склонялась на его плечо; онъ обнималъ ее, прижималъ къ себѣ: она и не защищалась, что экзальтировало самолюбіе поэта не менѣе нежели его воображеніе. Онъ считалъ себя влюбленнымъ, и тихимъ, нѣжнымъ голосомъ произнесъ надъ ухомъ Сары:

— Сара, любишь ты меня?

— Люблю.

— Такъ будь моя, вся моя?

— Прекрасный поэтъ, отвѣчала Сара, пропуская пальцы въ темные волосы юноши — будете вы продолжать любить меня, когда я скажу вамъ: нѣтъ?

Жюльэнь не могъ слышать. Онъ обезумѣлъ, онъ потерялъ голову; Сара сохранила все присутствіе духа.

— Смотрите, сказала она, вставъ и подойдя къ роскошному розовому кусту, находившемуся въ полномъ расцвѣтѣ.

Она наклонила лицо къ пышной розѣ, вдохнула ея аромать, поцѣловала ее, и еще, — нѣсколько разъ такъ наклонила вѣтку, что цвѣтокъ то показывался надъ ея волосами, то на груди; затѣмъ, не сорвавъ розы, она воротилась на мѣсто, и спокойно сказала.

— Вотъ одно изъ объясненій *flirtation*.

— Что вы хотите сказать?

— Если вы понимаете образы, вы теперь должны знать, куда могут простираться ваши надежды.

— И это...невозвратно?

— Невозвратно и положительно, какъ свобода женщинъ въ Америкѣ! произнесла молодая миссъ сухимъ, величественнымъ тономъ.

Юношу какъ морозомъ обдало; однако онъ не хотѣлъ легко отчаиваться: въ душѣ надежда еще улыбалась ему.

— Полноте, сказалъ онъ — я васъ на столько люблю, чтобы и подождать, — и нѣжно прикоснулся рукой къ ея щекѣ.

Они встали, сѣли въ первый проѣзжавшій фіакръ, и Французъ довезъ Американку до ея дома...безъ малѣйшаго инцидента.

На слѣдующій день, по уговору, Жюльѣнъ поѣхалъ къ Сарѣ. Ея не было дома. Проболтавшись до вечера, онъ очутился въ *Broadway* и вздумалъ отъ нечего дѣлать зайти въ ресторанъ Ловджоя.

Каково было его удивленіе! За однимъ изъ столовъ сидѣла Сара, не съ мистромъ Вильямомъ, какъ въ день ихъ первой встрѣчи у Мальяра, а съ другимъ джентльменомъ, котораго онъ никогда не видалъ съ нею.

Она нѣжно наклонялась на плечо незнакомца, и въ остальномъ поза ея была на столько «компрометантна», на сколько могла быть таковою для Американки.

Увидѣвъ Жюльѣна, она расхохоталась, и громко позвала его:

— Жюльѣнъ! другъ мой Жюльѣнъ! Сердитесь вы на меня?

— Я.... отвѣчалъ онъ съ сдержанной горестью—кажется, не нахожу причины.

— То-то! у васъ любезный характеръ, и я готова хоть сейчасъ подписать вамъ дипломъ на хорошаго товарища.

«Безстыдница!» подумалъ онъ.

— Вы знаете, продолжала она, что я васъ жду завтра. Садитесь же сюда. Мы можемъ говорить по-французски. Мой джентльменъ не понимаетъ ни слова.

Жюльѣнъ сѣлъ.

— Миссъ Сара, сказалъ онъ — я напрасно полюбилъ васъ.

— Это отчего?

— Оттого, что вы понимаете любовь по-своему.

— Какъ это?

— Во Франціи женщина, которая любитъ, вся принадлежитъ тому, кого любитъ.

— Франція, любезный мосьё Жюльѣнъ, старая страна съ старыми рутинами, старыми идеями и старыми нравами.

— А! Я думалъ, что слово «любовь» имѣетъ одно значеніе вездѣ.

— У насъ оно не имѣетъ никакого смысла; я ошибаюсь: оно смѣшно.

— А мнѣ нечего было дать вамъ, кромѣ любви!

— Я догадывалась, съ улыбкой отвѣчала молодая особа — оттого и позволила вотъ этому джентльмену ухаживать за мной. У васъ нѣтъ состоянія, у него сорокъ тысячъ піастровъ дохода.

— Такъ вотъ ваша американская любовь!

— Мы другой не знаемъ. Мушина, на нашъ взглядъ, представляетъ единственно извѣстную сумму денегъ, то-есть благосостоянія. Когда мы выходимъ замужъ, не за человѣка идемъ мы — за состояніе.

Жюльѣнъ былъ буквально ошеломленъ искренностію, которая произносила все и не притворялась ни на волосъ.

— Тѣмъ не менѣе, сказалъ онъ, какъ-будто самому себѣ — мушина и женщина, которые любятъ другъ друга, счастливы. Когда мушина силенъ и полонъ энергіи, онъ всегда найдетъ нѣсколько полотнищъ бѣлой кисеи на плечи жены или любовницы, цвѣтокъ къ ея корсажу или въ волосы. А тамъ, велика ли важность, что не будутъ удовлетворены всѣ воздыханія по роскоши, ежели сердце, рука, уста, глаза нашли сердце, руку, уста, глаза, которые отвѣчаютъ имъ? Есть ли въ мірѣ сумма денегъ или положеніе, которыя стоили бы восторговъ, восхищеній двухъ душъ, отдавшихъ взаимной любви? О, Сара, Сара!—воскликнулъ онъ, обращаясь къ Американкѣ, коей красота въ эту минуту, казалось, сіяла болѣе чѣмъ когда-нибудь — отчего нѣтъ у меня милліона піастровъ? я бы бросилъ этотъ милліонъ въ заливъ за одно бленіе твоего сердца!

— Еслибы вы располагали этой суммой, вы имѣли бы больше шанса достигнуть вашей цѣли, подаривъ мнѣ ее. Но не ваша вина, любезный мосье Жюльѣнъ, что вы говорите безсмыслицу. Вина вашихъ Француженокъ, повторяю, глупѣйшихъ женщинъ въ мірѣ. Онѣ-то поддерживаютъ на свѣтѣ ту сумму идеального, то-есть лжи, которая вмѣщается въ немъ. Чѣмъ привязываться къ дѣйствительному и положительному, чѣмъ просто-на-просто требовать отъ человѣка благосостоянія и даже роскоши, онѣ довольствуются то любезнымъ умомъ или милымъ характеромъ, то титуломъ или летучимъ обѣтомъ любви: вещами, не стоящими обрывка шелковинки, которою я шнурую свой бродеканъ. Если вы хотите жениться на Американкѣ, спѣшите приобрѣсти состояніе, или вамъ остается одно: воротиться домой. Богатая Француженка не поколеблется соединить свои экю съ вашей прекрасной наружностію.

— Вы мнѣ что совѣтуете?

— Остаться и работать. Я выхожу замужъ черезъ нѣсколько дней, правда; но что изъ этого слѣдуетъ? Мы будемъ продолжать видаться: вѣдь вы останетесь моимъ другомъ, не такъ ли?

— Увы, вздохнулъ Жюльѣнъ — а *flirtation*?

— Будетъ кончена, потому что цѣль будетъ достигнута, а мужъ, надѣюсь, исполнить всѣ мои прихоти.

— А ежели нѣтъ?

— Тѣмъ хуже для него тогда.

— Стало-быть, я опять имѣлъ бы шансъ?

— Да, если очень разбогатѣете.

Французъ думалъ, что все происходящее видитъ во снѣ. Онъ попытался, однако, скрыть отвращеніе, которое производило въ немъ подобное безстыдство.

— Bravo! воскликнулъ онъ — вотъ-такъ независимость!

Два дня прошло, — Жюльѣнъ не видалъ Сары; на третье утро ему подали раздушенное письмо.

«Отъ кого бы это?» подумалъ онъ, распечатывая не безъ смущенія, — и прочелъ слѣдующее:

«Любезный Жюльѣнъ! Вы премилый человѣкъ, иногда очень занимательный. Вы говорите какъ пишутъ во Франціи, т. е. съ огнемъ, увлеченіемъ и поэзіей. Будь у васъ нѣсколько сотъ тысячъ долларовъ, вы считались бы совершеннѣйшимъ джентльменомъ, за которымъ бы бѣгали всѣ наши женщины. Но увы! мы здѣсь не во Франціи, и умъ вашъ, сколь ни блестящъ онъ, не поможетъ вамъ отыскать богатую наслѣдницу. Мы, Американки, о человѣкѣ, годномъ къ браку, не спрашиваемъ, поэтъ ли онъ, ораторъ, любезенъ ли; нѣтъ, мы просто хотимъ знать *что онъ стоить*? И отвѣтъ рѣшаетъ насъ по мѣрѣ цифръ, въ немъ заключающихся. «Хижина и сердце» по-нашему вещи преглупыя, и мы ставимъ ни во что какъ то, такъ и другое. Мужъ для насъ не любовникъ, а человѣкъ, тоторый платитъ наши долги, содержитъ домъ, даетъ намъ роскошь и богатство. Въ вознагражденіе, мы довольно-исправно даемъ ему черезъ годъ ребенка; мы холодны и положительны, потому что весь огонь нашъ мы развѣяли *флиртуя*; оттого мы вообще подруги довольно-уживчивыя.

«Ревность, чувство столь общее во Франціи, намъ совершенно-неизвѣстно; мы предоставляемъ мужьямъ ту же свободу, какой требуемъ. Словомъ, бракъ, вмѣсто того чтобы сдѣлаться тяжелою цѣпью для непокорныхъ плечъ, у насъ есть просто связь, которую мы едва чувствуемъ и которая никогда не стѣсняетъ насъ.

«Прощайте! Благодарите меня, что я разочаровала васъ: несчастіе въ жизни происходитъ отъ склонности не видѣть вещи въ ихъ истинномъ свѣтѣ и не называть ихъ по имени.

«Я завтра ѣду въ южную Каролину съ мужемъ.

«Сара».

Жюльѣнъ повѣсилъ голову.

Ришаръ, догадываясь или нѣтъ, спросилъ:

— Кстати, а миссъ Сара?

— Чтобъ ее взялъ... евнухъ! отвѣчалъ съ озлобленіемъ пріятель.

— Любезное желаніе!

— Ну что жъ твои амуры?

— Пусть сбудется надо мною участь царя Мидаса, отвѣчалъ Жюльѣнъ, стараясь придать голосу тонъ беззаботности — если я еще разъ повѣрю сердцу здѣшной женщины. Ты почти угадалъ развязку.

И онъ разсказалъ пріятелю въ подробности все то, что мы разсказали вкратцѣ.

Здѣсь кончается повѣствованіе г-жи Гранфоръ о *flirtation*. Не повторить ли, для всякаго случая, что она изображаетъ въ немъ отнюдь не исключенія изъ общаго правила, а представляетъ примѣръ? Объ исключеніи говорить бы не стоило. Картина, кажется, понятна безъ комментарій; но мы не можемъ, выставивъ нелѣпыя черты американскаго міросозерцанія относительно женщины и дѣвушки, не обратить вниманіе читающихъ на одну его чрезвычайно-почтенную, нравственную сторону. Когда женщина пала, не она подвергается осужденію и преслѣдуется обществомъ, — гонится соблазнитель. До этой высоты старая Европа не доросла еще.

Отъ *flirtation*, благо заведена рѣчь о прекрасномъ полѣ, — перейдемъ къ блумеризму, — изъ Нью-Йорка перенесемъ въ Кентукки.

Разсказываетъ Жюльѣнъ, котораго мы по возможности! сокращаемъ:

По возвращеніи нашемъ изъ Цинциннати въ Луивиль, мы узнали о пріѣздѣ сюда знаменитой Ребекки Смессъ, коей молва и журналъ «*Кентуккіецъ*» уже приготовили блистательный пріемъ. Любопытство взяло верхъ надъ отвращеніемъ, и я рѣшился познакомиться съ блумеристкой, лично и со стороны ея пропаганды. Добрый пріятель мой, Нѣмецъ Гроцъ, преисполненный уваженія и къ лицу и къ его идеямъ, обязался удовлетворить моему желанію.

Въ назначенный день мы отправились слушать Ребекку. Чтеніе ея должно было начаться въ восемь часовъ вечера. Съ половины седьмага тысяча, восьмьсотъ слушателей уже толпились

передъ пустою еще эстрадою, — до тысячи человѣкъ осаждали входную дверь съ бранью и криками: плата была, однакожь, пол-доллара. Кое-какъ пробились мы.

Громкіе *how do you* такъ и перестрѣливались; лица были живы и красны, головные уборы мужчинъ — самыхъ независимыхъ видовъ, женщины — почти всѣ одѣты *à la Bloomer*. Сосѣдъ толкалъ сосѣда; сидящій на задней лавкѣ клалъ ноги только-что но не въ уши впереди-сидящему, и т. д.

На всѣ мои замѣчанія объ этой картинѣ, странной до дикости, Гроцъ выставлялъ глубину и серьезность міросозерцанія Американцевъ въ противоположность французской фривольности.

— Всѣ эти люди, заключилъ онъ — преисполнены здравого смысла и до совершенства знаютъ учрежденія своей страны. Заставьте Парижанина прочесть вамъ наизусть французскую конституцію: онъ запнется на первомъ словѣ. Здѣсь послѣдній работникъ знаетъ законъ не хуже президента.

— Парижане, отвѣчалъ я — знали бы свою конституцію не хуже вашихъ Янковъ, еслибы не были увѣрены, что это не поведетъ ихъ ровно ни къ чему. Я встрѣчалъ такихъ, которые, изучивъ одну за другою до шестнадцати шартъ и конституцій, не знали на чемъ остановиться на счетъ отечественнаго правительства. Наука бесполезная для народа: онъ сотворенъ для труда, не для политики. И напрасно онъ выходилъ изъ своихъ мастерскихъ, студій и конторъ! На свѣтѣ все и идетъ такъ плохо съ тѣхъ поръ, какъ торгующій классъ и *stagiaires* затѣяли сдѣлаться министрами, депутатами и государственными совѣтниками.

— О ужасъ! воскликнулъ Гроцъ внѣ себя — Европа погибла отъ аристократовъ; — Соединенные Штаты основаны адвокатами и купцами.

— Полноте: вы очень хорошо знаете, что виновниками европейскихъ переворотовъ и беспорядковъ были не аристократы, а идеологи. Что касается до вашихъ Соединенныхъ Штатовъ, *je ne les prends pas au sérieux*. Это не нація, а складочное мѣсто, которое дѣйствительно и могло быть основано только лавочниками.

Громогласный ура! прервали нашъ споръ. Вошла миссъ Ребекка Смиссъ.

Ей казалось тридцать пять лѣтъ. Она была замѣчательно дурна, одѣта, разумѣется, по-блумеристски. Соломенная шляпа, и та была мужская. Она сняла ее, обнаживъ голову, весьма обнаженную отъ волосъ, и, вынувъ изъ кармана рукопись, принялась за чтеніе.

Начавъ съ нелѣпости, она продолжала съ убійственной послѣдовательностію. Осмѣявъ здравыя и мѣткія замѣчанія

французскаго журнала *Le Cour d'oeil*, издающагося въ Новомъ Орлеанѣ, замѣчанія на продѣлки блумеристокъ, Ребекка представляла работѣнность европейской женщины и, рядомъ, возвышенный взглядъ Америки на свободу такъ-называемой прекрасной половины человѣческаго рода. Эссенціей ея системы, которой она только не выговаривала, было, что мущинѣ и женщинѣ пора обмѣняться ролями: первому сдѣлаться домохозяйкой, нянькой и кормилицей, — второй управлять государствомъ. Въ доказательство сочувствія къ этой пропагандѣ, она прочла письмо супруги одной блумеристки къ супругу другой блумеристки.

Вотъ оно цѣликомъ:

«Мой бѣдный другъ!

«Заштопываю семнадцатую паручулокъ и кончаю мѣтить рубашки жены. Пользуюсь досугомъ, который доставляетъ мнѣ сонъ нашихъ пятерыхъ дѣтей, чтобы отвѣчать на твое письмо и поговорить о себѣ. Съ удовольствіемъ вижу, что ты принялъ свою новую роль и помирился съ ея обязанностями. Я рѣшился на то же. Клара въ настоящую минуту въ Альбэни: говорить рѣчи о правахъ женщины; зачѣмъ?—признано, что права мущины отнынѣ ничего не стоить. Но я далекъ отъ мысли жаловаться. Клара не зла. Она иногда странна, немножко горяча подъ-часъ: случается, недѣли двѣ и не говоритъ со мной; но вѣдь она занята великими, міровыми предположеніями. Могу ли я претендовать?—Позволительно отложить попеченіе о мужѣ и хозяйствѣ, когда хлопчешь о преобразованіи вселенной. Ахъ, что за женщина эта Клара! отчего она не президентомъ въ Вашингтонѣ, я—не посланникъ ея въ Индіи или Австраліи?

«Прощай, бѣгу на кухню взглянуть на плитку.»

— Передъ такимъ торжественнымъ объясненіемъ замолчать ли наконецъ грязные люди, дерзающіе хулить насъ? воскликнула миссъ Ребекка по прочтеніи письма.

Затѣмъ она говорила о необходимости отмены брака, — о религіяхъ сказала, что ихъ можно допустить только подъ условіемъ, чтобы статуи блумеристокъ замѣнили всѣ символическія изображенія въ церквахъ, храмахъ, синагогахъ, пагодахъ, мечетяхъ. Была эпиталама и въ честь панталонъ: миссъ Ребекка доказывала, что женщина не только должна носить ихъ, но, вопреки мизернымъ теоріямъ Европы, показывать, гордиться ими, какъ знаменемъ женской независимости.

Ораторша сама прерывала себя довольно-частыми пріемами воды пополамъ съ *whiskey*; слушатели прерывали ее безпрестанными рукоплесканіями.

Мнѣ стало не въ мочь: я воображалъ, что сижу въ сумасшедшемъ домѣ—хуже! Утащивъ съ собою насильно Гроца, я вырвался на воздухъ.

Нѣмецъ упорно защищалъ до послѣдняго всѣ нечеловѣческіе тезисы безумной иллюминатки.

Мы зашли въ ресторанъ *Galvani House*, съ тѣмъ, чтобы поужинать. Столкнувшись съ однимъ знакомцемъ своимъ, Пальмеромъ, Гроцъ познакомилъ насъ. Пальмеръ оказался моимъ соотечественникомъ. Хотя и обжившись въ Новомъ Свѣтѣ, онъ очевидно смотрѣлъ на многія стороны американскаго либерализма, блумеризма и проч. съ моей точки зрѣнія. Я замѣтилъ это съ первыхъ его словъ и улыбокъ въ отвѣтъ на энтузіасмъ Гроца.

Только-что мы расположились ужинать, слышались женскіе голоса. Дверь нашей залы отворилась съ шумомъ: ворвалось семь женскихъ особъ, въ числѣ коихъ Ребекка.

— Я не ожидалъ такъ скоро карнавала, прошепталъ Пальмеръ.

И покусились—было мы съ нимъ отклониться отъ сообщества блумеристокъ, не смотря на убѣжденія Гроца,—но, возможности не нашлось, и Гроцъ повелъ насъ представить дамамъ.

Ребекка, вкусивъ наши комплименты, протянула намъ руку и съ естественностію, на которую я не считалъ бы ее способною, сказала:

— Съ этой минуты я смотрю на васъ какъ на старыхъ друзей. Садитесь поближе, давайте ужинать, — и кто кого перещеголяетъ!

«Ай-да блумеристка! подумалъ я: эти слова выкупаютъ ея спичъ. Какъ жалко, что не найдетъ она такихъ выражений, которыя бы заставили забыть ея наружность и лѣта!»

Мы сѣли съ Пальмеромъ возлѣ нея, Гроцъ—напротивъ: я сдѣлалъ про себя мысленный очеркъ дамъ.

Первая, по лѣвую руку отъ меня, была молода и даже очень недурна собою: во взглядѣ ея выдавала себя веселость. Казалось, она и сама не за чистую монету принимаетъ свою роль свободной женщины.

Вторая уподоблялась колокольнѣ съ луною надъ шпикомъ, какъ буква *i* съ принадлежащей къ нею точкою. Большая чахоточная фигура ея вѣроятно понравилась бы читателю, любящему героинь, умирающихъ разбитыми,—широкое лицо возбуждало бы капризъ всѣхъ Турковъ вселенной.

Третья имѣла плоскую фizioномію и какъ бы аскетическую грудь. Очевидно, эта не могла говорить иначе какъ сентенціально.

Четвертая бросалась въ глаза количествомъ и густотой своихъ бѣлокурыхъ папилйотокъ. Она глядѣла задумчиво, почти нѣжно, и никонимъ образомъ не казалась на высотѣ своей миссиі.

Пятая была маленькая и плотненькая: послѣднее свойство отнимало у меня вѣру въ предрасположеніе къ злобѣ, о которомъ хотѣло свидѣтельствовать непрерывное наморщиваніе ея бровей.

Наконецъ, шестая просто приводила въ ужасъ: это была совершенно-молоденькая дѣвочка, уже игравшая разсудительную женщину. Пріятельницы ея предсказывали, что она будетъ Лютеромъ ихъ реформы; я съ своей стороны сразу опредѣлилъ ея мѣсто въ званіи фигурантки на *Purdy* или *Wallak's theatre* въ Нью-Йоркѣ.

Завязался ужинъ.

РЕБЕККА, *обращаясь къ Гроцу*. Я не довольна вами: вы вышли изъ залы, едва я начала чтеніе.

ГРОЦЪ, *нѣсколько сконфуженный*. Не браните: я достаточно наказанъ, клянусь вамъ. Мосё Жюльэнъ имѣлъ дѣловое свиданіе, на которое я былъ вынужденъ ему сопутствовать.

РЕБЕККА, *мнѣ*. А, мосё Жюльэнъ! У васъ было свиданіе? Я знаю что это значить у Французовъ.

Я. О, миссъ, вы судите меня несправедливо! Какая женщина доставила бы мнѣ то удовольствіе, которое обѣщало ваше слово?

РЕБЕККА, *очевидно польщенная*. Французы также сильны по части комплиментовъ, какъ и въ эпиграммахъ. (*Пальмеру*) А вы, много вы мнѣ рукоплескали сегодня?

ПАЛЬМЕРЪ, *нѣсколько смущенный*. Не знаю, какъ и сказать: я не былъ на чтеніи. (*Ребекка обнаруживаетъ неудовольствіе*) Зала была полна, когда я пріѣхалъ. Я предлагалъ пять, десять, пятнадцать піастровъ, чтобы только войти: невозможно! Будь мѣста довольно, вы имѣли бы слушателями всѣхъ жителей Луи-виллы.

ШЕСТАЯ БЛУМЕРИСТКА, *самымъ тоненькимъ голоскомъ*. Скажите: всѣхъ жителей Кентукки.

РЕБЕККА. Мосё Пальмеръ, вы, я полагаю, читали все, что пишутъ обо мнѣ журналы Союза: что вы думаете о моихъ доктринахъ?

ПАЛЬМЕРЪ, *холодно и серьезно*. Онѣ достойны организаціи, подобной вашей.

РЕБЕККА, *принимая слова за комплиментъ, мнѣ*. А вы, какъ ваше мнѣніе?

Я, *съ энтузіазмомъ*. Я считаю ихъ послѣднимъ словомъ цивилизаціи!

Ребекка чуть не растаяла от восторга ; Пальмеръ взглянулъ на меня съ удивленіемъ ; Гроцъ, изумленный, пробормоталъ по-нѣмецки :

— Лгать до этой степени! Одни Французы и разбойники всѣхъ странъ способны на подобный апломбъ!

РЕБЕККА, *вздыхая*. О, сегодня я имѣла прекрасное торжество!

ТРЕТЬЯ БЛУМЕРИСТКА. Не вамъ рукоплескали, Ребекка: нашимъ мнѣніямъ.

РЕБЕККА, *бросая на себя взглядъ самодовольный, а потомъ на Пальмера томный*. Однакожь, я думаю, что мой голосъ, жестъ, и въ особенности моя фигура, тоже не разъ вызвали сочувствіе. (*Минь*) Знаете, пріятель вашъ очень не дурень. Женатъ онъ?

Я. Не думаю, миссисъ.

Ребекка, въ наблюденіи своемъ надъ Пальмеромъ, выразилась воодушевленно : очевидно, она говорила болѣе для ушей моего пріятеля, нежели для моихъ.

Онъ же, дѣствительно, все слышалъ, и содрогнулся: онъ зналъ, что нѣтъ женщинъ болѣе впечатлительныхъ, нежели блумеристки Союза.

Ребекка, наклонясь къ нему, завела разговоръ вполголоса. Спустя нѣсколько минутъ, Пальмеръ взглянулъ на меня съ отчаяніемъ. Онъ совершенно очаровалъ миссисъ Смесъ, и она завела его на дорожку, куда по-несчастью порядочный чело-вѣкъ не можетъ не слѣдовать за женщиной.

Я благодарилъ Бога, что я не Пальмеръ.

Между тѣмъ Гроцъ, добродѣтельный Гроцъ, предавался чрезвычайно-интимному *a parte* съ пятой блумеристкой. Я не нашелъ ничего лучшаго какъ завязать *tête-à-tête*, на который, казалось, вызывала своими вопросами моя сосѣдка съ лѣвой стороны.

— Вотъ, замѣтила она—время и уходитъ! А я вѣрила похва-ламъ характеру Французовъ! До сихъ поръ, однако, я не вижу, какая разница между вами и Цинциннатцемъ.

— Огромная, отвѣчалъ я—если ни одинъ изъ этихъ господъ не сказалъ вамъ, что вы красавица и что его сердце бьется въ честь вашу.

— Прекрасно! Не хотите ли вы сказать, что влюблены въ меня?

— Я былъ бы счастливѣйшій изъ смертныхъ, еслибъ могъ въ томъ убѣдить васъ.

Моя собесѣдница имѣла прекрасные темнорусые волосы, атласистую кожу, бѣлые зубы, блестящіе глаза. Въ ея костюмъ было что-то согрѣвающее, даже элегантное, чего, конечно, не

было у ея подругъ. Не безъ успѣха появилась бы она на балѣ Большой Оперы.

Чѣмъ больше я смотрѣлъ на нее, тѣмъ больше ослабѣвало мое отвращеніе отъ свободныхъ женщинъ.

— Такъ я по-вашему очень хороша? спросила она, граціозно наклоняя голову на мое плечо.

— Удивительно!

— А... какая же ваша цѣль?

Вопросъ, столько прямой, показался мнѣ великолѣпнѣе: въ Америкѣ все къ цѣли.

— Цѣль, отвѣчалъ я, — заставить полюбить себя также, какъ я васъ люблю.

— Вы забываете, сказала она съ очаровательной улыбкой, — что мое положеніе запрещаетъ мнѣ любовь.

Только-что я хотѣлъ отвѣтить, я почувствовалъ сильный толчекъ въ ногу. Уже нѣсколько минутъ, казалось мнѣ, кто-то или что-то ищетъ моей ноги. Поднявъ глаза, я встрѣтилъ взглядъ четвертой блумеристки, сидѣвшей напротивъ меня: она смотрѣла на меня знаменательно.

ЧЕТВЕР. БЛУМЕРИСТКА, *громко*. Видно, миссъ Кетти забрала все въ свою пользу?

ПЕРВАЯ БЛУМ., *грубо*. Вы должны быть очень дурно воспитаны, моя милая, что рѣшается обращаться къ этому джентльмену, тогда какъ онъ объясняется со мной!

ЧЕТВЕР. БЛУМ., *все-таки мнѣ, элегическимъ тономъ*. О, юноша! Какія сокровища любви быть-можетъ вмѣщаетъ твое сердце!

ПЕРВ. БЛУМ., *дразня ее*. О, Флора! что за руда смѣшного кроется во всей твоей персонѣ!

ТРЕТ. БЛУМ., *контральтомъ*. Вы знаете, Кетти, что Флора прилежно читаетъ современныхъ французскихъ поэтовъ.

ПЯТ. БЛУМ., *переставшая слушать Гроца, злобно—последне-говорившей*. Вамъ бы лучше приказать положить на вату жилетъ вашъ, чѣмъ такъ глупо напоминать намъ, что вы существуете на свѣтѣ!

ЧЕТВЕР. БЛУМ., *продолжая ласкать мой сапогъ ногою, отнюдь не легко*. Вы очаровательный молодой человѣкъ!

Я изумлялся ея флегмѣ передъ нападеніями подругъ, и столько же настойчивости говорить со мной, тогда какъ я не отвѣчалъ ей. Очевидно, я невольно покорилъ ея сердце. Нечего было дѣлать, я сказалъ ей:

— Не бѣглое слово, цѣлую рѣчь хотѣлось бы мнѣ сказать вамъ.

ЧЕТВЕРТ. БЛУМ. Приходите за мною завтра въ десять часовъ вечера: мы поѣдемъ за городъ.

Перв. блум., *перебивая*. Боже! какъ вы безобразны, моя милая, когда говорите по-французски! Что она вамъ говорить, мосьё Жюльэнь?

Я. Что вы ея лучший другъ и что она только для шутки дразнить васъ.

Перв. блум., *съ живостію ребенка*. Неправда, она говоритъ, что любить васъ. Вѣрите вы ей?

Я, *до-нельзя сентиментально*. Я не довольно-счастливъ, чтобы меня полюбили такъ скоро!

Перв. блум., *бросая презрительный взглядъ на остальныхъ*. Здѣсь только одна женщина и можетъ поправиться вамъ: — я!

Четв. блум., *нѣжно*. Одна изъ всѣхъ способна понять васъ: — я!

Перв. блум. Вы безстыдница!

Четв. блум. Вы свободная женщина!

Перв. блум., *гнѣвно*. Вы лжете! Это позволительно только вамъ и всѣмъ тѣмъ женщинамъ, которыя не хороши собою. Я хороша, и предпочитаю разговоръ прекраснаго джентльмена лучшимъ рѣчамъ вашимъ о нашей свободѣ.

Ребекка, облокотясь на столъ и совершенно обращенная къ Пальмеру, лакомилась *flirtation*, въ которой дѣйствовала сама.

Пятая блум., *порывисто вставая, ей*. Стобитъ быть проповѣдникомъ принципа, чтобы позволять безъ сопротивленія помярчать его! Слышите, Ребекка?

Ребекка, *едва оборачиваясь*. Что такое?

Трет. блум., *серьезно*. Позволительно забыться, когда получишь незаслуженное оскорбленіе. Флора оскорбила Кетти.

Пятая блум. Неправда! Но если бы и такъ, не резонъ вальть въ грязи знамя нашей эманципаціи.

Втор. блум., *съ дурнымъ расположеніемъ духа*. Насъ здѣсь четыре женщины: истинно неприлично претендовать на монополію единственнаго веселаго мушины, который на нашей сторонѣ.

Перв. блум., *смѣясь во все горло*. Имѣя вашу наружность, любезная Анна, должно говорить только съ тѣмъ, чтобы сказать: простите, пожалуйста, мое безобразіе!

Ребекка *докторально*. Изъ этого явствуетъ, милостивыя государыни, что вы ревнуете одна другую. Вы заслуживаете такого же порицанія, какого заслужили бы Леоноръ и юная Зенобія, еслибъ онѣ вздумали укорять меня въ вниманіи, которое исключительно мнѣ оказываетъ мосьё Пальмеръ, джентльменъ, сидящій на ихъ сторонѣ.

Пальмеръ бросилъ мнѣ взглядъ, исполненный отрицанія.

Пят. блум., *обиженная*. Мосьё Гроцъ говорилъ мнѣ такіа

интересныя вещи, что мнѣ некогда было замѣчать то, чѣмъ вы хвалитесь!

Гроцъ, *въ испугъ за свою добродѣтель*. Дѣйствительно, я объяснялъ миссъ Леоноръ, что въ Нью-Йоркѣ ближе на Буффало, чѣмъ на Филадельфію.

Леонора кажется смущенною. Подруги сострадательно поздравляютъ ее съ чувствомъ, которое она умѣла внушить Гроцу.

Перв. блум., *на ухо мнѣ*. Пріятель вашъ смѣется надъ Ребеккой; Гроцъ скучаетъ съ Леоноръ; остальные бѣсятся, что нѣтъ у нихъ кавалера, который бы паливалъ имъ херест или малагу. Только мы двое довольны не въ шутку.

Я, *притворяясь несчастнымъ*. Вы чрезвычайно ошибаетесь: мнѣ, напротивъ, грустно до-смерти.

— Это отчего?

— Оттого, что вы смѣетесь надъ чувствомъ, которое возбудила во мнѣ ваша красота.

— Ба! Сопротивленіе, которое я какъ-будто оказала вамъ, — вы сами знаете ему цѣну.

— А-а?

— Пріѣзжайте завтра, въ какое хотите время: мы отправимся прогуляться куда вы вздумаете.

— Милая Кетти, глазъ мой лобзаетъ ваши уста!

Въ эту минуту вошелъ одинъ изъ трактирныхъ слугъ съ бумагою, которую подаль Ребеккѣ. Она поспѣшила раскрыть ее. Молнія удовольствія блеснула на ея мертвомъ лицѣ. Величаво вставъ, она рекла:

— Милостивыя государыни, новое торжество! Депутація Кентуккійцевъ проситъ позволенія войти и поднести мнѣ подарокъ отъ лица всего штата. Я намѣрена принять. Вы же будьте при ней горды и достойны, какъ всегда.

Она пошла на встрѣчу депутаціи, Пальмеръ подвинулся ко мнѣ, и сказалъ:

— Мочи нѣтъ! Двадцать разъ принимался я разсуждать съ ней о нью-іоркской выставкѣ, о войнѣ на Востокъ, о китайскомъ возстаніи: упрямится и стоитъ на одномъ, что безъ ума отъ моихъ глазъ и бороды, и отдала бы панталоны всего свѣта за одну ленту отъ меня. Не знаю чтó въ ней страшнѣе: ея длинныя желтыя зубы или телячьи глаза!

Дверь отворилась; вошла значительная толпа женщинъ и мужчинъ изъ числа присутствовавшихъ при давшнемъ чтеніи. Тѣ же костюмы. Одна изъ блумеристокъ держала въ рукъ что-то такое, покрытое газомъ. Отдѣлившись отъ группы, она обратилась къ Ребеккѣ.

— Славная, благородная соотечественница! Кентуккии и, смѣю

сказать, весь Союз посылаютъ насъ къ вамъ съ выраженіемъ всего уваженія, которое внушаютъ имъ ваши добродѣтели и характеръ, всего сочувствія, какимъ исполнены они къ независимымъ мнѣніямъ, исповѣдуемымъ вашею возвышенною душою и проповѣдуемымъ вами столь краснорѣчиво. Честь вамъ, Ребекка! Честь и сподвижницамъ достославныхъ трудовъ, питомицамъ вашего громаднаго генія! Конечно, еслибы даръ вашихъ почитателей и друзей могъ быть соразмѣренъ съ уваженіемъ, которое они чувствуютъ къ вамъ, мало было бы Андорской республики, или имперіи Монако. Но не награду за добродѣтели ваши мечтали они поднести вамъ; нѣтъ: единственно знакъ чисто-правственной цѣны, который послужилъ бы, какъ вы сами столь блистательно выразились нынче вечеромъ, живымъ представленіемъ идеи, чувства. (*Срываетъ газъ*) Примите же, о Ребекка! сей мужескій символъ вашей силы, сей почтенный атрибутъ вашего генія, эти *невыразимыя*, наконецъ, которыя вы достойны носить днемъ и даже ночью!

Шумное ура! по всей залѣ.

РЕБЕККА, *видимо разочарованная, третьей блумеристкѣ*. Лукреція, примите этотъ подарокъ. (*Депутаціи*) Друзья, рѣчи, подобныя той, которую произнесла я сегодня, годны для толпы; вамъ, считая васъ прозорливѣе, скажу безъ фразы всю мою мысль. Вашъ подарокъ не полонъ: я предпочла бы эти *невыразимыя*, еслибы въ нихъ былъ мужчина!

Блумеристки издаютъ крикъ энтузіасма.

Депутація краснѣетъ до ушей.

Дамы утверждали, что рукоплесканія и тревоги вечера нѣсколько помutilи воображеніе Ребекки. Многіе Луивильцы предположили, будто пустыя бутылки, лежавшія на нашемъ столѣ, были не безпричастны въ выходкѣ миссисъ Смиссъ. Всѣ удалились смущенные.

Нашъ вечеръ кончился среди замѣтной безтолковщины. Блумеристки, сколько ни говорили, ѣли и пили съ увлеченіемъ. Послѣдовали тосты.

РЕБЕККА. За уничтоженіе прелюдій во всѣхъ случаяхъ жизни!

Пят. блум. За изведеніе робкихъ мужчинъ!

Тостъ былъ единодушно отнесенъ къ Гроцу, ея добродѣтельному сосѣду.

Пальмеръ. За наше пищевареніе!

Втор. блум. За несуществованіе ужиновъ безъ равнаго числа дамъ и кавалеровъ!

Трет. блум. За неопредѣленную способность къ дѣторожденію всѣхъ синихъ-чулковъ Франціи!

Гроцъ, еще полный иллюзий и все-таки отъ души. За бущность блумеризма!

Свободныя женщины разражаются смѣхомъ.

ЧЕТВЕР. блум. За успѣхъ *Женской Газеты!*

ШЕСТАЯ. За внезапную любовь!

ПЕРВ. блум. За восстановленіе платьевъ съ воланами!

Различные возгласы.

Я. За любезную Кетти!

При семъ послѣднемъ тостѣ, Ребекка гнѣвно взглянула на Пальмера; пятая блумеристка метнула въ Гроца презрительнымъ взоромъ; остальные вздохнули. Кетти встала, и поцѣловала меня, къ великому скандалу подругъ.

Встала и Ребекка, и сердито выразила Пальмеру:

— Любезный образъ дѣйствія вашего друга достаточно опредѣляетъ вашу грубость. Я считала васъ за Француза: вы послѣдній изъ Кентуккійцевъ!

И, подавъ знакъ, она вышла съ своими ученицами. Одна Кетти осталась, и крикнула имъ вслѣдъ:

— Я хороша собой и у меня есть любовникъ. Понимаете ли, что я больше не могу быть свободной женщиной?

— Я на васъ и не рассчитывала, сухо отвѣчала Ребекка.

Мы разстались въ часъ пополудни. Я кончилъ ночь съ Кетти въ прогулкѣ по портлендскому загородью, чудно освѣщенному луною.

Очевидно, кажется: женщины Союза, считаемыя свободными, имѣютъ невообразимую склонность найдти связь. Издали онѣ будто изъ цѣльнаго мрамора, или изъ несокрушимой добродѣтели; подумаешь, души ихъ непобѣдимы, сердца окостенѣли. Вблизи, кожа у нихъ теплая, и есть въ нихъ несомнѣнная способность къ воспріятію всѣхъ внѣшнихъ впечатлѣній наравнѣ съ самыми дюжинными ихъ сестрами.

Блумеризмъ, и въ Америкѣ, не болѣе какъ фантомъ; совершенная эманципація женщины—химера.

... Заклячая наши, невольно длинные, выписки, мы однакоже не каемся, что дали мѣсто и второй цитатѣ изъ путешествія французской писательницы. Конечно, блумеризмъ нанесъ самъ себѣ достаточный ударъ во мнѣніи всей Европы, а въ русскомъ обществѣ, разумѣется, не найдетъ прозелитокъ его вопіющій абсурдъ. Но мы указываемъ на него все-таки по нашей *Abschreckungstheorie*: пусть принципъ его, зерно несчастной идеи—выскочить изъ разумной среды, скромной и прекрасной по назначенію, будетъ навсегда страшилищемъ нашихъ соотечественницъ!

Удѣлъ женщины опредѣленъ природою такъ же, какъ и удѣлъ мужчины; миссію того и другаго пола достаточно указываютъ

разсудокъ и опытъ, философія и исторія. Имена отдаленныхъ украшеній домашняго очага переходятъ изъ вѣка въ вѣкъ, не помрачаемыя представленіями потомка о какихъ бы ни было экстравагантностяхъ, выходкахъ не женскихъ. Мать, приносящая первый камень для закладки сына-измѣнника, мать же, вручающая сыну щитъ съ напутственнымъ благословеніемъ «съ нимъ или на немъ»: вотъ героини, съ которыхъ пусть беретъ примѣръ русская женщина, сознающая въ себѣ силу выйти изъ ряда, — и мы будемъ благоговѣть передъ нею. Но порывы оставить за собою особъ своего пола какими бы ни было способами, печальны и смѣшны. Идите по стезѣ вашего дарованія, будьте писательницей, художникомъ, если Богъ далъ вамъ талантъ: прекрасно. Не забывайте, однакоже, что престолъ вашъ — очагъ, храмъ — *home*. Трибуна, слава, честолюбіе, итакъ далѣе... вещи не для женской организаціи, да, право, и не такъ забавны эти игрушки, чтобъ онѣ могли взаправду тѣшить васъ, прекрасныя особы. И то еще: нѣтъ у васъ сильнаго опредѣленнаго таланта, не лѣзьте изъ кожи, чтобы найдти его въ себѣ во что бы ни стало, *quand même*: добрая незатѣйливая мать, вѣрная жена въ тысячу разъ почтеннѣе посредственной писательницы, — дѣвицы, которая непремѣнно хочетъ участвовать во всѣхъ публичныхъ концертахъ, — безутѣшной вдовы, которая присылаетъ на выставку неудачные обрашки осуществленія своихъ тревожныхъ вдохновеній. А женщина синій-чулокъ, а дѣвушка-резонёрка! это такіе ужасы, передъ которыми мужчина, пьющій запоемъ, прелесть.

Что же мы скажемъ о *flirtation*?

Flirtation есть кокетство въ *n* степени. Всѣмъ извѣстно, что до американскаго совершенства, до такого превосходнаго *improvement* не достигла старая Европа. Но самое кокетство, увы! благополучно властвуетъ и въ нашемъ русскомъ обществѣ.

Между-тѣмъ оно не мирится ни съ однимъ изъ современныхъ воззрѣній на жизнь и вопросы къ ней близкіе, хотя бы и теоретически лишь съ ней связанные.

Европа отвергла картонныя теоріи Буало, Лагарпа, Батё и т. д., — единственно съ исторической точки смотритъ она на картонныхъ героевъ Расина и Корнеля: и какими живыми ключами эстетическаго наслажденія вознаграждена она за благоразумное отреченіе! А женщина-кокетка развѣ не тотъ же картонъ? Въ ней заглохли всѣ примѣты божественнаго происхожденія: это существо папѣ-маше.

Простота въ жизни, простота въ искусствѣ: вотъ къ чему очевидно стремится все свободно-мыслящее и добросовѣстно-дѣйствующее нашего времени. Простота въ женщинѣ, естественность, соотвѣтственность природному началу: вотъ достоин-

ства, безъ которыхъ прекрасный полъ отталкивается. Напрасно думаетъ онъ, этотъ полъ, что всѣ ужимочки, изучаемыя передъ зеркаломъ, вся эта система заготовленія *à froid* средствъ къ очарованію, въ силахъ замѣнить природную прелесть, небалетную грацію, все то, что далъ женщинѣ Богъ и что безо всякихъ теорій разработать такъ не трудно: — мы, конечно, не обращаемся къ особамъ, которыя имѣютъ въ виду плѣнять беззубыхъ дипломатовъ или тѣхъ салонныхъ рыцарей, чей желудокъ уже не въ состояніи справиться съ ложкой бульона безъ вспомогательной пилюли.

Что въ особенности отличаетъ отъ толпы всѣхъ идеальныхъ героинь всемірной поэзіи, что даетъ несравненный ни съ чѣмъ букетъ Офеліи, Гретхенъ, Джульеттѣ, Татьянѣ? Совершенное отсутствіе кокетства. Укажите гдѣ, въ которой-либо изъ нихъ, занятое, по французскому выраженію? Ничего не найдете такого. Въ ихъ привилегированныхъ натурахъ истина поетъ безпрерывно, какъ струна у Эрнста. Станьте же съ ними рядомъ, историческія очаровательницы, будуарныя стратегики блистательныхъ вѣковъ Франціи! Или нѣтъ: не становитесь. Каждый велитъ выбросить восковую куклу, которая попала бы между статуй Фидія, Микель-Анджело.

Простота въ женщинѣ, простота въ дѣвушкѣ, высшее достоинство и неотразимѣйшее орудіе прелести.

Кстати припомнить иносказательный экспромтъ Виктора Гюго.

Во время путешествія своего по бассейну Рейна, поэтъ въ извѣстной *Mäuseturm*, сталкивается съ группой, въ числѣ коей семнадцатилѣтняя дѣвушка, поражающая его своей натуральной граціей и красотой. Онъ оставляетъ башню уже въ сумерки, полный прекраснаго воспоминанія. Вдали слышны удары кузнечнаго молота. Мечты его выливаются въ импровизацію: Купидонъ куетъ стрѣлы, и птичка говоритъ другой птичкѣ, что куетъ онъ изъ взгляда Стеллы, той дѣвушки, которая очаровала поэта-странника:

«Et les oiseaux, riant du jeune maître,
De s'écrier: Amour, que ferez-vous
De ce regard qu'aucun fiel ne pénètre?
Il est trop pur pour vous servir, o traître!
Pour vous servir, méchant, il est trop doux!
Mais Cupidon, parmi les étincelles,
Leur dit: «Dormez, petits oiseaux des bois,
Couvez vos oeufs et repliez vos ailes:
Les purs regards sont mes flèches mortelles,
Les plus doux yeux sont mes pires carquois!»

Аугустъ Вильгельмъ Шлегель, въ одной изъ своихъ бесѣдъ

объ изящномъ, объясняя, не помнимъ какой именно *chef-d'oeuvre* живописи, отказывается, вопреки всѣмъ старымъ теоріямъ и руководствамъ, выразить опредѣленіемъ послѣднее слово изящнаго, но подставляетъ сравненіе. «Вода, говоритъ онъ, тогда и хороша, когда о ней сказать нечего, когда въ ней нѣтъ никакого вкуса. Я примѣняю это къ изящному произведенію: то изящно дѣйствительно, передъ которымъ стоишь благоговѣя, недоумѣвая что въ немъ хорошаго».

Почтется ли за натяжку, если мы скажемъ: та женщина и хороша, о которой сказать нечего, за которой слѣдилъ бы во всѣхъ ея проявленіяхъ, притаивъ дыханіе, невольно потерявъ всѣ способности анализа, всю, незаглушимую передъ несовершенными явленіями, потребность его? Кокеткѣ никогда не одержать подобной побѣды надъ нормальнымъ человѣкомъ: на нее можно, пожалуй, смотрѣть подь-часъ; но увлечется ею развѣ тотъ, кто увлекается балетомъ: семнадцатилѣтній мальчикъ, или прѣстарѣлый сластолюбецъ, если не рожденіемъ, такъ изломанными понятіями и побужденіями принадлежащій Регентству.

...Въ заключеніе отсылаемъ читателей къ книжкѣ госпожи Гранфоръ. Мы увѣрены, что многіе прочтутъ ее съ любопытствомъ. Что касается до насъ, не только приведенные нами эпизоды, но и всѣ рассказы объ Америкѣ занимательной путешественницы не разъ приводили намъ на память мѣткое слово о Новомъ Свѣтѣ одного извѣстнаго русскаго публициста, двадцать лѣтъ тому назадъ сказанное: «яровой пшеницы между государствами, видно, не бываетъ!»...

С. К — вѣ.



Deacidified using the Bookkeeper process.
Neutralizing agent: Magnesium Oxide
Treatment Date: Dec. 2006

Preservation Technologies

A WORLD LEADER IN PAPER PRESERVATION

111 Thomson Park Drive
Cranberry Township, PA 16066
(724) 779-2111



OCT 77



LIBRARY OF CONGRESS



00025337943